

К. ПАУСТОВСКИЙ



Северная  
повесть

# К. ПАУСТОВСКИЙ

---

Северная повесть



Повесть о лесах



Золотая роза



Маленькие повести



---

Москва  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»  
1989

84 P 7  
П 21

Иллюстрации и оформление  
Б. А. Школьника

П 4702010200—1873 1873—89  
080(02)—89

© Издательство «Правда», 1989. Иллюстрации.

---

## НЕСКОЛЬКО ОТРЫВОЧНЫХ МЫСЛЕЙ<sup>1</sup>

(Вместо предисловия)

Обычно писатель знает себя лучше, чем критики и литературоведы...

Но, с другой стороны, возможность говорить о себе у писателя ограничена. Он связан многими трудностями, в первую очередь — неловкостью давать оценку собственным книгам.

Кроме того, давать от автора объяснения собственных вещей — дело бесполезное. Чехов в таких случаях говорил: «Читайте мои книги, у меня же там все написано». Я с охотой могу повторить эти чеховские слова.

Поэтому я выскажу лишь некоторые соображения относительно своего творчества и вкратце передам свою биографию. Подробно рассказывать ее нет смысла. Вся моя жизнь с раннего детства до начала тридцатых годов описана в шести книгах автобиографической «Повести о жизни»... Работу над «Повестью о жизни» я продолжаю и сейчас.

Родился я в Москве 31 мая 1892 года в Гранатном переулке, в семье железнодорожного статистика.

Отец мой происходил из запорожских казаков, переселившихся после разгрома Сечи на берега реки Рось, около Белой Церкви. Там жил мой дед — бывший николаевский солдат — и бабка-турчанка.

Несмотря на профессию статистика, требующую трезвого взгля-

---

<sup>1</sup> Статья печатается с сокращениями (Прим. ред.).



да на вещи, отец был несправным мечтателем и протестантом. Из-за этих своих качеств он не засиживался подолгу на одном месте. После Москвы служил в Вильно, Пскове и, наконец, осел более или менее прочно, в Киеве.

Моя мать — дочь служащего на сахарном заводе — была женщиной властной и суровой.

Семья наша была большая и разнообразная, склонная к занятиям искусством. В семье много пели, играли на рояле, спорили, благоговейно любили театр.

Учился я в 1-й киевской классической гимназии.

Когда я был в шестом классе, семья наша распалась. С тех пор я сам должен был зарабатывать себе на жизнь и ученье. Перебивался я довольно тяжелым трудом — так называемым репетиторством.

В последнем классе гимназии я написал первый рассказ и напечатал его в киевском литературном журнале «Огни». Это было, насколько я помню, в 1911 году.

После окончания гимназии я два года пробыл в Киевском университете, а затем перевелся в Московский университет и переехал в Москву.

В начале мировой войны я работал вожатым и кондуктором на московском трамвае, потом санитаром на тыловом и полевом санитарных поездах.

Осенью 1915 года я перешел с поезда в полевой санитарный отряд и прошел с ним длинный путь отступления от Люблина в Польшу до городка Несвижа в Белоруссии.

В отряде из попавшегося мне обрывка газеты я узнал, что в один и тот же день убиты на разных фронтах оба мои брата. Я вернулся к матери — она в то время жила в Москве, но долго высидеть на месте не смог и снова начал свою скитальческую жизнь: уехал в Екатеринослав и работал там на металлургическом заводе Брянского общества, потом переехал в Юзовку на Новоросийский завод, а оттуда в Таганрог на котельный завод Нев-Вильдэ. Осенью 1916 года ушел с котельного завода в рыбацью артель на Азовском море.

В свободное время я начал писать в Таганроге свой первый роман — «Романтики».

Потом переехал в Москву, где меня застала Февральская революция, и начал работать журналистом.

Мое становление человека и писателя происходило при Советской власти и определило весь мой дальнейший жизненный путь.

В Москве я пережил Октябрьскую революцию, стал свидетелем

многих событий 1917—1919 годов, несколько раз слышал Ленина и жил напряженной жизнью газетных редакций.

Но вскоре меня «завертело». Я уехал к матери (она снова переехала на Украину), пережил в Киеве несколько переворотов, из Киева уехал в Одессу. Там я впервые попал в среду молодых писателей — Ильфа, Бабеля, Багрицкого, Шенгели, Льва Славина.

Но мне не давала покоя «муза дальних странствий», и я, пробыв два года в Одессе, переехал в Сухум, потом в Батум и Тифлис. Из Тифлиса я ездил в Армению и даже попал в северную Персию.

В 1923 году вернулся в Москву, где несколько лет проработал редактором РОСТА. В то время я уже начал печататься.

Первой моей «настоящей» книгой был сборник рассказов «Встречные корабли» (1928).

Летом 1932 года я начал работать над книгой «Кара-Бугаз». История написания «Кара-Бугаза» и некоторых других книг изложена довольно подробно в повести «Золотая роза». Поэтому здесь я на этом останавливаться не буду.

После выхода в свет «Кара-Бугаза» я оставил службу, и с тех пор писательство стало моей единственной, всепоглощающей, порой мучительной, но всегда любимой работой.

Ездил я по-прежнему много, даже больше, чем раньше. За годы своей писательской жизни я был на Кольском полуострове, жил в Мещере, изъездил Кавказ и Украину, Волгу, Каму, Дон, Днепр, Оку и Десну, Ладожское и Онежское озера, был в Средней Азии, в Крыму, на Алтае, в Сибири, на чудесном нашем северо-западе — в Пскове, Новгороде, Витебске, в пушкинском Михайловском.

Во время Великой Отечественной войны я работал военным корреспондентом на Южном фронте и тоже изъездил множество мест. После окончания войны я опять много путешествовал. В течение 50-х и в начале 60-х годов я посетил Чехословакию, жил в Болгарии в совершенно сказочных рыбацких городках Несебре (Мессемерия) и Созополе, объехал Польшу от Кракова до Гданьска, плавал вокруг Европы, побывал в Стамбуле, Афинах, Роттердаме, Стокгольме, в Италии (Рим, Турин, Милан, Неаполь, Итальянские Альпы), повидал Францию, в частности Прованс, Англию, где был в Оксфорде и шекспировском Страдфорде. В 1965 году из-за своей упорной астмы я довольно долго прожил на острове Капри — огромной скале, сплошь заросшей душистыми травами, смолистой средиземноморской сосной — пинией и водопадами (вернее, цветоподами) алой тропической бугенвиллии — на Капри, погруженном в теплую прозрачную воду Средиземного моря.

Впечатления от этих многочисленных поездок, от встреч с самыми разными и — в каждом отдельном случае — по-своему интересными людьми легли в основу многих моих рассказов и путевых очерков («Живописная Болгария», «Амфора», «Третья встреча», «Толпа на набережной», «Итальянские встречи», «Мимолетный Париж», «Огни Ла-Манша» и др.)...

Написал я за свою жизнь немало, но меня не покидает ощущение, что мне нужно сделать еще очень много и что глубоко постигать некоторые стороны и явления жизни и говорить о них писатель научается только в зрелом возрасте.

В юности я пережил увлечение экзотикой.

Желание необыкновенного преследовало меня с детства.

В скучной киевской квартире, где прошло это детство, вокруг меня постоянно шумел ветер необычайного. Я вызывал его силой собственного мальчишеского воображения.

Ветер этот приносил запах тисовых лесов, пену атлантического прибоя, раскаты тропической грозы, звон эоловой арфы.

Но пестрый мир экзотики существовал только в моей фантазии. Я никогда не видел ни темных тисовых лесов (за исключением нескольких тисовых деревьев в Никитском ботаническом саду), ни Атлантического океана, ни тропиков и ни разу не слышал эоловой арфы. Я даже не знал, как она выглядит. Гораздо позже из записок путешественника Миклухо-Маклая я узнал об этом. Маклай построил из бамбуковых стволов эолову арфу около своей хижинки на Новой Гвинее. Ветер свирело завывал в полых стволах бамбука, отпугивал суеверных туземцев, и они не мешали Маклаю работать.

Моей любимой наукой в гимназии была география. Она бесстрастно подтверждала, что на земле есть необыкновенные страны. Я знал, что тогдашняя наша скучная и неустроенная жизнь не даст мне возможности увидеть их. Моя мечта была явно несбыточна. Но от этого она не умирала.

Мое состояние можно было определить двумя словами: восхищение перед воображаемым миром и — тоска из-за невозможности увидеть его. Эти два чувства преобладали в моих юношеских стихах и первой незрелой прозе.

С годами я ушел от экзотики, от ее нарядности, пряности, приподнятости и безразличия к простому и незаметному человеку. Но еще долго в моих повестях и рассказах попадалась ее застрявшие невзначай золоченые нити.

Часто мы ошибочно соединяем в одно целое два разных понятия — то, что мы называем экзотикой, и то, что называем романти-

кой. Мы подменяем романтику чистой экзотикой, забывая о том, что эта последняя является лишь одной из внешних оболочек романтики и лишена самостоятельного содержания.

Сама по себе экзотика оторвана от жизни, тогда как романтика уходит в нее всеми корнями и питается всеми ее драгоценными соками. Я ушел от экзотики, но я не ушел от романтики, и никогда от нее не уйду — от очистительного ее огня, порыва к человечности и душевной щедрости, от постоянного ее покоя.

Романтическая настроенность не позволяет человеку быть лживым, невежественным, трусливым и жестоким. В романтике заключена облагораживающая сила. Нет никаких разумных оснований отказываться от нее в нашей борьбе за будущее и даже в нашей обыденной трудовой жизни.

Разумеется, экзотику можно найти в «Романтиках», «Блистающих островах» и во многих моих ранних романтических рассказах. Мне не казалось нужным переделывать эти вещи позднее. На них лежит печать своего времени, моего тогдашнего мироощущения. Поэтому они публикуются... в том виде, в каком появились на свет. Лишь кое-где пришлось исправить явные ошибки и стилистические погрешности.

Не без внутреннего сопротивления я порвал с чистой экзотикой и написал об этом рассказ под названием «Морская прививка».

В этом разрыве последним толчком было посещение Московского планетария. Его только что открыли. Строитель планетария архитектор Снявский повел меня на первый показ искусственного звездного неба. Я был, как и все, захвачен этим зрелищем.

Мы вышли из планетария поздним вечером. Стоял сухой октябрь. На улицах пахло палым листом. И вдруг как бы впервые я увидел у себя над головой огромное, живое, кипящее звездами небо. Дым легких облаков пролетал в вышине, но не застилал звезд. Казалось, черный воздух осени усиливал пылание небесного свода.

И вот — почти все, написанное мною до этого вечера, представилось мне таким же искусственным, как небо планетария — бетонный купол с фальшивыми созвездиями. Вначале оно поражало, но в нем не было глубины, воздуха, объема, слияния с мировым пространством.

После того вечера я уничтожил некоторые наиболее нарядные и искусственные свои рассказы.

Однако потом на протяжении своей дальнейшей жизни я убедился в банальной истине, что ничто — даже самая малость — не проходит для нас даром. Юношеская приверженность моя к экзотике в

какой-то мере приучила меня искать и находить живописные и даже подчас необыкновенные черты в окружающем.

С тех пор рядом с действительностью всегда сверкал для меня, подобно дополнительному, хотя бы и неяркому свету, легкий романтический вымысел. Он освещал, как маленький луч на картине, такие частности, какие без него, может быть, не были бы и замечены. От этого мой внутренний мир становился богаче.

Это легкое вмешательство вымысла помогло мне в работе над «Кара-Бугазом», «Колхидой», «Черным морем» и другими повестями и рассказами.

С экзотикой было покончено. Ее сменило стремление к правде и простоте.

Но сравнительно недавно экзотика заставила меня еще раз задуматься над ее сущностью. Случилось это во время плавания вокруг Европы.

Наш теплоход отошел из Одессы и двое суток пересекал пасмурную от облачного неба синеватую пустыню Черного моря. Пенный след ложился за кормой и как бы тянул на буксире стаю чаек с поджатыми красными лапами.

Мгла лежала на горизонте. Только на подходе к Босфору она просветлела, и за ней проступили дикие, покрытые черными лесами Анатолийские горы.

Теплоход, круто разворачиваясь, вошел в Босфор.

Перед нами открылась картина, похожая на старинную пышную декорацию приморской страны. Кое-где на этой декорации облетела позолота, кое-где ее подправили свежими красками. Вся эта путаница гор, древних башен, минаретов, скал, аркад, замков, маяков, оливковых рощ, парусов, диких роз, вековых кипарисов, мачт и рей оказалась мне в огне заката нарочитым и подчеркнуто праздничным зрелищем, придуманным неутомимым и веселым художником.

Десятки пестрых, как попуган, фелюг — карминных, желтых, зеленых, белых, синих и черных с золотыми обводами по бортам — шли, пеня воду, навстречу нашему теплоходу.

Мы стали на якорь против игрушечного городка. Вечером в домах загорелись огни. Они светили неярко, пробиваясь сквозь зелень.

Я увидел с палубы узкую улицу, уходящую в горы. Ее во всю длину перекрывал глухой, почти черный навес из виноградных лоз, растянутых на жердях. Большие зрелые кисти винограда висели низко над улицей. Под ними шел ослик с фонариком на шее. Фонарик был электрический и светил очень сильно.

Этот городок был преддверием Стамбула. С террасы маленькой кофейни, висевшей над водой, доносилась тягучая музыка. Девушки-турчанки в светлых платьях, облокотившись о перила, смотрели на пролив. Их лица, различимые в бинокль, казались очень бледными. С берега пахло олеандрами. В меркнувшем небе слабо сиял полумесяц — такой же, как на куполах бесчисленных маленьких мечетей.

Мне все это казалось каким-то нереальным и напомнило вымыслы юности. Но вместе с тем это была действительность.

Я, наконец, поверил, что передо мной легендарный Босфор, что это именно я стою на палубе и что рядом в сумраке тонут древнейшие области земли — Малая Азия, мифическая Троя, Геллеспонт.

Чем больше я воочию знакомился с тем, что недавно еще существовало только в моем воображении в виде экзотических картин, тем яснее становилось, что этот мир, перенесенный из области фантазии в область познания, гораздо интереснее, значительнее и, я бы сказал, сказочнее, чем были мои выдумки о нем.

С тех пор сознание этой реальности не покидало меня на всем пути — в лиловом Эгейском море, где тянулось по горизонту торжественное шествие розовых островов, в Акрополе, как бы построенном из старого воска, изъеденного пчелами, в Мессинском проливе с его ослепляющей голубишной воздуха, в Риме, где на простой и суровой гробнице Рафаэля в Пантеоне лежала высохшая гвоздика, в Атлантике, в кипучем Париже и в Ла-Манше, когда сквозь туман звонили навстречу кораблю старинные колокола на плавучих бакенах, — всюду и везде...

Мне кажется, что одной из характерных черт моей прозы является ее романтическая настроенность.

Это, конечно, свойство характера. Требовать от любого человека, в частности от писателя, чтобы он отказался от этой настроенности, — нелепо. Такое требование можно объяснить только невежеством.

Романтическая настроенность не противоречит острому интересу к «грубой» жизни и любви к ней. Во всех областях действительности и человеческой деятельности, за редкими исключениями, заложены зерна романтики.

Их можно не заметить и растоптать или, наоборот, дать им возможность разрастись, украсить и облагородить своим цветением внутренний мир человека.

Романтичность свойственна всему, в частности науке и познанию. Чем больше знает человек, тем полнее он воспринимает дей-

ответственность, тем теснее его окружает поэзия и тем он счастливее.

Наоборот, невежество делает человека равнодушным к миру, а равнодушие растет медленно, но необратимо, как раковая опухоль. Жизнь в сознании равнодушного быстро вянет, сереет, огромные пласты ее отмирают, и в конце концов равнодушный человек остается наедине со своим невежеством и своим жалким благополучием.

Истинное счастье — это прежде всего удел знающих, удел ищущих и мечтателей. И меня очень радует то обстоятельство, что после некоторых споров, бурно протекавших в критике еще совсем недавно, романтика опять заняла свое законное место в жизни нашей литературы,

В этом введении к своим книгам я пытаюсь проследить свой собственный путь, сделать его более ясным (в частности, и для себя), определить те явления, какие привели к рождению той или иной моей книги.

Необходимо знать, какие побуждения руководят писателем в его работе. Сила и чистота этих побуждений находятся в прямом отношении к безразличию или даже прямому отрицанию всего им сделанного. Желание все знать, видеть, путешествовать, быть участником разнообразных событий и столкновений человеческих страстей вылилось у меня в мечту о некоей необыкновенной профессии. Она обязательно должна была быть связана с этой кипучей жизнью.

Но есть ли на свете такая профессия? Чем больше я думал об этом, тем быстрее одна профессия отпадала вслед за другой. В них не было полной свободы. Они не охватывали жизнь целиком в ее стремительном развитии и разнообразии.

Одно время я всерьез думал стать моряком. Но вскоре мечта о писательстве вытеснила все остальные.

Писательство соединяло в себе все привлекательные профессии мира. Оно было независимым, мужественным и благородным делом.

Однако тогда я еще не знал, что писательство — это и труд, тяжелый и расточительный, что даже одна-единственная крупинка правды, утаенная писателем от людей, — преступление перед собственной совестью, за которое он неизбежно ответит.

Страдания и радости всех людей становятся уделом писателя. Он должен обладать талантом собственного видения мира, непреклонностью в борьбе, лирической силой и общностью жизни с природой,

не говоря уже о многих других качествах, хотя бы о простой психологической выносливости.

Решение пришло. Будущее стало ясным. Избранный путь оказался прекрасен, хотя и очень труден. И ни разу за долгие годы у меня не возникло искушение изменить ему.

Моя писательская жизнь, как я уже говорил, началась с желания все знать и все видеть. И, очевидно, на этом она и закончится.

Поэзия странствий, слившись с неприкрашенной реальностью, образовала наилучший сплав для создания книг. Почти в каждой повести и каждом моем рассказе видны следы скитаний.

Сначала был юг. С ним связаны «Романтики», «Блистающие острова», «Кара-Бугаз», «Колхида», «Черное море» и ряд рассказов, в том числе «Этикетки для колоннальных товаров», «Потерянный день», «Парусный мастер», «Снева» и некоторые другие.

Первая моя поездка на север — в Ленинград, Карелию и на Кольский полуостров — просто ошеломила меня.

Я узнал пленительную власть севера. Первая же белая ночь над Невой дала мне больше для познания русской поэзии, чем десятки книг и многие часы размышлений над ними.

Оказалось, что понятие «север» означает не только тихую прелесть природы, но почему-то еще и стихи «Подруга дней моих суровых...», написанные Пушкиным в глуши псковских лесов, грозные соборы Новгорода и Пскова, величавый и стройный Ленинград, Неву за окнами Эрмитажа, песни сказителей, спокойные глаза северянок, черную хвою, слюдяной блеск озер, белую пену черемухи, запах коры, звон пил лесорубов, шелест страниц, перечитываемых ночью, когда заря уже проступает над Финским заливом и в памяти поют слова Блока:

...Руку

Одна заря закинула к другой,  
И, сестры двух небес, прядут они —  
То розовый, то голубой туман,  
И в море утопающая туча  
В предсмертном гневном мечет из очей  
То красные, то синие огни.

Можно исписать много страниц этими неясными приметами, создающими явственный облик севера. Я был захвачен севером сильнее, чем югом.



Пожалуй, ни одному из художников не удалось передать таинственное безмолвие северной сыrovатой ночи, когда каждая капля росы и отражение костра в луговом озерке вызывают такую внезапную, сокровенную, такую застенчивую и глубокую любовь к России, что от нее глухо колотится сердце. И хочется жить сотни лет, чтобы смотреть на эту бледную, как полевая ромашка, северную красоту.

Север вызвал к жизни такие книги, как «Судьба Шарля Лонсевилья», «Озерный фронт», «Северная повесть», и такие рассказы, как «Колотый сахар» и «Беглые встречи».

Но самым плодотворным и счастливым для меня оказалось знакомство со средней полосой России. Прозошло оно довольно поздно, когда мне было уже под тридцать лет. Конечно, и до этого я бывал в Средней России, но всегда мимоходом и наспех:

Так иногда бывает: увидишь какую-нибудь полевую дорогу или деревушку на косогоре — и вдруг вспомнишь, что уже видел ее когда-то очень давно, может быть, даже во сне, но полюбил всем сердцем.

Так же случилось у меня и со Средней Россией. Она завладела мной сразу и навсегда. Я ощутил ее как свою настоящую давнюю родину и почувствовал себя русским до последней прожилки.

С тех пор я не знаю ничего более близкого мне, чем наши простые русские люди, и ничего более прекрасного, чем наша земля.

Я не променяю Среднюю Россию на самые прославленные и потрясающе красоты земного шара. Сейчас я со снисходительной улыбкой вспоминаю юношеские мечты о тисовых лесах и тропических грозах. Всю нарядность Неаполитанского залива с его пиршеством красок я отдаю за мокрый от дождя ивовый куст на песчаном берегу Оки или за извилистую речонку Таруску — на ее скромных берегах я теперь часто и подолгу живу.

С этим кустом и пасмурным небом, помаргивающим дождями, с дымком деревень и сырым луговым ветром отныне накрепко связана моя жизнь,

Я снова здесь в семье родной,  
Мой край, задумчивый и нежный...

Самое большое, простое и бесхитрое счастье я нашел в лесном Мещерском краю. Счастье близости к своей земле, сосредоточенности и внутренней свободы, любимых дум и напряженного труда.

Средней России — и только ей — я обязан большинством

написанных мною вещей. Перечисленные их займет много места. Я упомяну только главные: «Мещерская сторона», «Исаак Левитан», «Повесть о лесах», цикл рассказов «Летние дни», «Старый челн», «Ночь в октябре», «Телеграмма», «Дождливый рассвет», «Кордон 273», «Во глубине России», «Наедине с осенью», «Ильинский омут».

В Мещерском краю я прикоснулся к чистейшим истокам народного русского языка. Не буду здесь говорить об этом, чтобы не повторяться. Свое отношение к русскому языку и мысли о нем я высказал в книге «Золотая роза» (в главе «Алмазный язык»). Возможно, читателям этой статьи покажется странным то обстоятельство, что автор останавливается главным образом на внешней среде, в которой происходит действие его произведений, но почти ничего не говорит о своих героях.

Я не могу дать своим героям беспристрастной оценки. Поэтому говорить мне о них трудно. Пусть оценку даст им читатель.

Я могу лишь сказать, что всегда жил со своими героями одной жизнью, всегда стремился открыть в них добрые черты, показать их сущность, их незаметное порой своеобразие. Не мне судить, удалось ли мне это.

Я всегда был с любимыми героями во всех обстоятельствах их жизни — в горе и счастье, в борьбе и тревогах, победах и неудачах. И с той же силой, с какой любил все подлинное человеческое в самом незаметном и незавидном герое, ненавидел людскую накипь, тушность, невежество.

Каждая моя книга — это собрание многих людей разных возрастов, национальностей, занятий, характеров и поступков. Поэтому меня несколько удивляет упрек некоторых критиков, что я бегло и неохотно пишу о людях. Очевидно, за беглость принимают сжатые характеристики людей.

Ну что ж, все это легко проверить. Для этого можно взять любую книгу хотя бы из автобиографического цикла и посмотреть, кого мы встретим на ее страницах.

Меня всегда интересовала жизнь замечательных людей. Я пытался найти общие черты их характеров — те черты, что выдвинули их в ряды лучших представителей человечества.

Кроме отдельных книг о Левитане, Кипренском, Тарасе Шевченко, у меня есть главы романов и повестей, рассказы и очерки, посвященные Ленину, Горькому, Чайковскому, Чехову, лейтенанту Шмидту, Виктору Гюго, Блоку, Пушкину, Христиану Андерсену, Мопассану, Пришвину, Григу, Гайдару, Шарлю де Костеру, Флоберу, Багрицкому, Мультатули, Лермонтову, Моцарту, Гоголю, Эдгару По, Врубелю, Диккенсу, Григу и Малышкину.

Но все же чаще и охотнее всего я пишу о людях простых и известных — о ремесленниках, пастухах, паромщиках, лесных объездчиках, бакенщиках, сторожах и деревенских детях — своих закадычных друзьях.

В своей работе я многим обязан поэтам, писателям, художникам и ученым разных времен и народов. Я не буду перечислять здесь их имена, от неизвестного автора «Слова о полку Игореве» и Микеланджело до Стендаля и Чехова. Имен этих очень много.

Но больше всего я обязан самой жизни, простой и значительной. Ее свидетелем и участником мне посчастливилось быть.

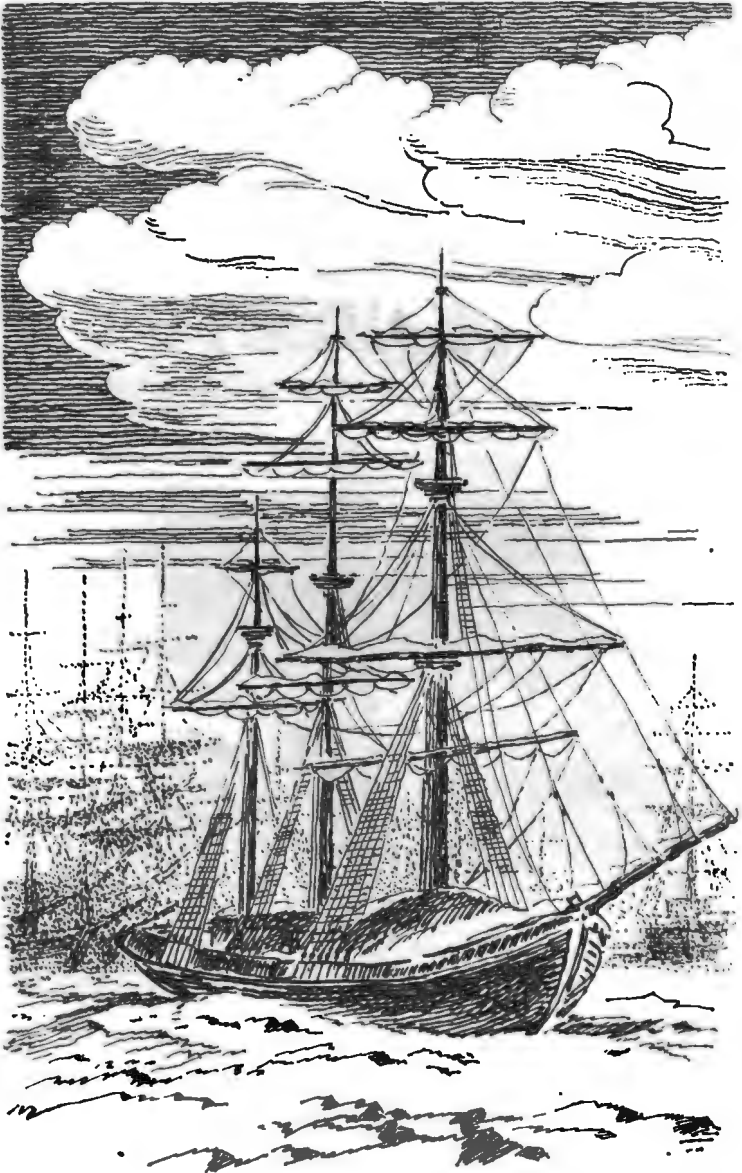
Напоследок хочу повторить, что мое становление писателя и человека произошло при советском строе.

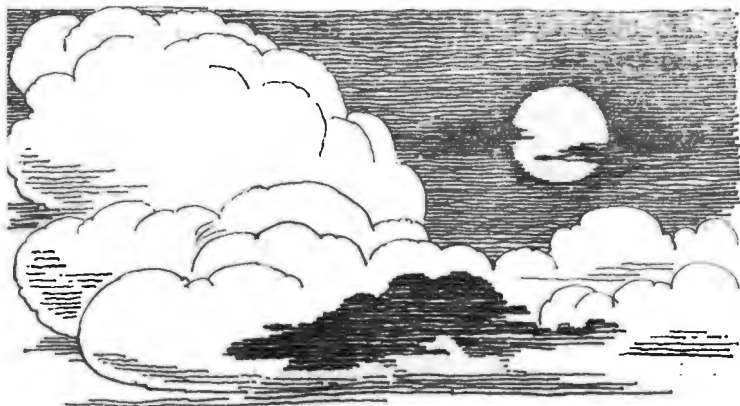
Моя страна, мой народ и создание им нового, подлинно социалистического общества — вот то высшее, чему я служил, служу и буду служить каждым написанным словом.

*К. Паустовский*

# СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ







## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Ботнический залив был скован льдом. Высокие сосны трещали от стужи. Непрестанный ветер сдувал со льда сухой снег. Залив угрюмо блестел по ночам, как черное стекло, и отражал звезды.

Офицеры Камчатского полка, греясь у трескучих каминов, вспоминали стихи Евгения Баратынского о том, как «чудный хлад сковал Ботнические воды». Многие еще помнили Баратынского. Изредка они рассказывали о молчаливом поэте, тяготившемся службой в пехотном полку в крепости Кюмель, о печальном «певце Финляндии», и завидовали его спокойной славе.

Камчатский полк стоял в то время на Аландских островах, в городке Мариегамне.

Издавна Аландские острова считались родиной парусных кораблей. Здесь, в отдалении от беспокойных столиц, в пустынности маленького северного архипелага, жили знаменитые корабельные мастера. Они строго хранили и передавали старшим сыновьям законы своего искусства. Равнодушно закусив трубки, они смотрели на дым от первых «пироскафов», грязнивших чистые морские горизонты: «Все равно пар никогда не справится с океаном».

Каждую осень на острова возвращались для починки высокие бриги и клипера, барки и бригантины.

Они приходили из Караибского моря, из Леванта и Шотландии, из всех углов земли. Приводили их шведские шкипера — неразговорчивые и честные люди.

Зимой корабли вмерзали в лед, их засыпало снегом. Офицеры Камчатского полка, выбегая во двор проветриться от винного и табачного чада во время пирушек, видели перед собой темные кузова кораблей, желтые фонари на смерзшихся снастях и слышали шум ветра в толстых реях.

К кораблям быстро привыкли, как привыкают к домам, к деревьям на улице, к полосатым будкам часовых. Их перестали замечать. Только в те редкие ясные дни, когда над ледяным заливом подымалось белое солнце, офицеры, солдаты и жители Мариегамна жмурились от блеска кораблей, заросших инеем, и удивлялись красоте этого зрелища.

Казалось, что косматая зима устроила себе жилье на кораблях. Комья снега слетали со снастей и с шорохом разбивались о палубы. Сосульки искрились и звенели. Колкие ледяные розы расцветали на иллюминаторах. Слоистый дым из камбузов стоял в снастях весь день до заката, когда он делался багровым, как дым ночного сражения, и постепенно превращался в черную мглу.

Время было неясное и беспокойное. Кончался январь 1826 года. Недавно пришли известия из Петербурга о декабрьском восстании и сражении на Сенатской площади.

Командир Камчатского полка Киселев, бывший забудыга гусар, переведенный в пехоту за дуэли и нечистую карточную игру, приказал выставить по островам караулы. Мера эта казалась офицерам излишней. Они посмеивались над ней, но никто не решался возразить командиру.

Киселев был человек самомнительный и не терпел своеволия. Он участвовал в войнах с Наполеоном, но ни разу не был не только ранен, но даже поцарапан саблей. «Для меня еще не отлита пуля», — говорил он хвастливо.

Передавали, что в 1814 году, после занятия Парижа, он сидел как-то в одном парижском кабачке. Вошло пятеро французов. Они потребовали пять пустых стаканов и одну бутылку шампанского. Киселев тотчас приказал подать себе один пустой стакан и пять бутылок шампанско-

го, выпил все бутылки до дна и твердо вышел из кабака под громкие рукоплескания пьяных посетителей.

О Киселеве офицеры Камчатского полка сложили эпиграмму:

Поля сражения для труса безопасны,  
Он, славу бранную переименн на ром,  
Громит врага за ломберным столом  
Отменно и всечасно.

Полковым адъютантом был немец, заика Мерк, человек твердых жизненных правил, службист и любитель музыки.

Мерк заставлял полковой оркестр играть на плацу по несколько часов во время жестоких морозов. Кровь текла у музыкантов по лопнувшим, обожженным холодной медью губам. Слюна примерзала к трубам. Седой морозный дым висел над ревущими тромбонами.

Когда оркестр, сыграв полковой марш, затихал, Мерк выходил на крыльцо в накинутой на плечи шинели и кричал заикаясь:

— Слышу скрип сапог! Грязно играете, братцы! Повторяйте марш, пока не будет ни единого лишнего звука.

Солдаты коченели от холода и играли. Они переминались с ноги на ногу очень тихо, чтобы Мерк не услышал скрипа сапог, но у заики был очень тонкий слух, и обмануть его не удавалось. Почти у всех музыкантов были обморожены ноги.

Мерк считал себя человеком правдивым. В полку его недолюбливали и боялись. Он говорил офицерам: «Вы, сударь, не умеете прилично есть рыбу — это срам», «Отучитесь наконец, поручик, трясти ногой под столом».

Финляндия была недавно покорена. Еще у всех в памяти был знаменитый переход русской армии по льду замерзшего Ботнического залива к берегам Швеции. Славу этого похода не могли затмить даже недавние победы над французами.

Гарнизонная служба в Финляндии считалась очень тяжелой. Ее приходилось нести среди сурового и молчаливого народа. Особенно трудна была служба в Камчатском полку, расквартированном на Аландских островах. Летом из Петербурга и Гельсингфорса еще приходили на острова корабли, зимой же единственная дорога на берег лежала по жгучим льдам. Но чаще всего залив замерзал только около берегов, и тогда на острова нельзя было попасть ни на корабле, ни на лошадях.



В Камчатский полк ссылали провинившихся офицеров. Среди них был прапорщик Бестужев, недавно произведенный в офицеры из солдат.

Бестужев попался на улице в Петербурге великому князю Михаилу Павловичу в меховой шапке вместо офицерского кивера. Был ветреный, холодный вечер. Бестужев страдал после ранения в висок под Бородином сильной мигренью и надел шапку, чтобы не простудить голову. Великий князь сорвал с Бестужева шапку и хотел бросить ее на землю. Бестужев вырвал шапку из рук князя, надел ее и пошел своей дорогой, не оборачиваясь на грозные приказы остановиться.

На допросе Бестужев сказал:

— Честь свою я почитаю выше присяги.

Об этом доложили императору Александру. Тотчас последовал приказ о разжаловании поручика Бестужева в солдаты и отправке в Камчатский каторжный полк.

Солдат Семен Тихонов стоял в карауле около маяка Эрасгруд. Низенький каменный маяк был построен на островке против Мариегамна. На караул приходилось ходить через узкий замерзший пролив.

На маяке жил только сторож — старый глухой швед, бывший шкипер. Весь день он сердито бормотал, жевал сухими желтыми губами и искоса поглядывал на заиндевелого солдата в башлыке, заходившего в сторожку греть красные большие руки.

— Ты не бранись, дед! — кричал Тихонов простуженным голосом. — Будто я по своей воле тут топчусь, холоду напускаю. Царская служба, она, дед, не житье, а каторга. Понял?

Дед молчал. Тихонов садился на корточки около печки. Его замерзшая шинель стучала по полу, как деревянная.

— Эх, беда, беда! — говорил, сокрушаясь, Тихонов и затирая сапогами лужи, натекавшие с шинели на чистый кирпичный пол.

Швед кивал головой.

— Понимаешь, значит? — спрашивал Тихонов. — Да и как не понять, когда мы люди простые, с малолетства к работе приучены. Ты сторожишь, и я сторожу. Только

чего я сторожу — об том один господь бог ведает да его высококороние полковник Киселев.

— О-о-о! — говорил швед.

— Вот то-то, что «о-о-о!» — сердито отвечал Тихонов. — Злодейский командир наш Киселев. Один во всем полку стоящий человек — прапорщик Бестужев, мой полуротный командир, а твой постоялец.

Бестужев снимал комнату в Мариегамне у маячного сторожа. Старик все дни проводил на маяке. В Мариегамн он возвращался только по воскресным дням. Прислуживали Бестужеву жена старика, седая старушка, и дочь Анна — темноволосая застенчивая девушка, бегавшая на лыжах, как мальчик.

Анна недавно кончила школу в Стокгольме, а теперь жила у родителей, помогала матери и читала все вечера напролет.

— Бестужев... — прошамкал старик, улыбнулся и хлопал Тихонова по шинели, вздувшейся горбом на спине. — О-о-о! Бестужев!

— Верно, дед, — сказал Тихонов и с удовольствием вытер лицо шершавой ладонью. — Ничего не скажешь, наш полуротный — душа человек!

Тихонов выкурнул трубку крепкого табаку и, гремя ружьем и тесаком, вышел из сторожки. Он захлопнул дубовую черную дверь, зажмурился от колючего снега, ударившего в глаза, и перекрестился.

— Ну и мóрок, упаси господи!

Тяжелая январская ночь стояла вплотную около тускло освещенных окон сторожки. Маяк не горел: зимой он был не нужен.

Тихонов ходил по берегу с ружьем на плече, часто останавливался и стоя дремал.

Изредка в заливе лопался от мороза лед. Унылый гул долго катился к берегам. Тихонов встряхивал головой, чтобы прогнать сон, ругался и хрипло кричал:

— Слуша-а-ай!

Кричал он по привычке. Вблизи часовых не было, и никто на его крик не отзывался. Только старый швед в сторожке каждый раз после этого крика медленно вставал, поправлял дрова в печке, возвращался к столу и продолжал читать толстую желтую библию.

— Слуша-а-ай! — протяжно кричал Тихонов.

Ветер стихал и прислушивался. Трескался лед, снег шумшал о каменную стену сторожки и скрипел под сапо-

гами у солдата. Солдат кашлял и сплевывал. Звуки эти давно наскучили ветру, и он, немного подождав, снова начинал сносить снег со льда к берегам и наваливать его длинными сугробами.

Тихонову надоело кричать. Он замолк. Ветер тоже стих. В наступившей тишине, где-то очень далеко, на льду солдат услышал глухой и медленный стук. Он поправил тесак и прислушался.

Стук приближался. Солдат осторожно прилег за камнями. Стук уже был слышен ясно, как будто по льду шел человек в тяжелых железных сапогах.

Солдат торопливо перекрестился, положил ружье на камень и прицелился в темноту, где слышались шаги. На льду появилось темное пятно. Оно медленно двигалось к берегу.

— Стой! Кто идет? — негромко окликнул Тихонов.

Но никто не ответил. Тихонов всмотрелся и увидел двух человек. Они шли молча, не останавливаясь, как глухие.

— Стой! — снова крикнул Тихонов и хотел было выстрелить, но передний человек споткнулся о прибрежные камни и упал.

Спутник его пытался поднять упавшего за плечи и посадить, но человек снова тяжело, как мертвый, падал на лед.

Тихонов взял ружье на руку и осторожно подошел к лежащему.

— Кто такие? — спросил он сурово. — Отвечай без утайки.

— Погоди, служивый, — сказал из темноты усталый голос. — Подсоби внести его в дом: человек без памяти.

Тихонов взял лежащего за плечо и отдернул руку: под плащом он почувствовал твердый офицерский эполет.

— Офицер? — спросил он шепотом.

— Офицер.

— А ты кто?

— Я матрос.

— Есть приказание, — сказал вполголоса Тихонов, — задерживать всякого, какого бы ни был звания, и представлять его высокородию полковнику Киселеву. Откуда идете и по какой надобности?

— Замерзает человек! — сказал с отчаянием матрос. — Подсоби внести в дом, Христа ради. Успеешь еще допытаться.

Тихонов смолчал. Вместе с матросом он поднял офицера и внес его в сторожку.

Старый швед встал, захлопнул библию и молча смотрел, как офицера укладывали на пол около печки. Потом он не торопясь достал из стенного шкафчика штоф с водкой, налил ее в синий стакан и, что-то бормоча и сердясь, поднял офицеру голову и влил ему водку в рот. Водка разлилась по грязному мундиру.

Офицер вздохнул, открыл глаза, увидел Тихонова и порывисто сел.

— Солдат? — спросил он и схватился рукой за грудь. — Куда мы вышли, служивый?

— Аландские острова, ваше благородие, — ответил Тихонов. — Разрешите спросить — откуда идете и по какой надобности?

Офицер усмехнулся.

— Идем мы, — ответил он медленно, — из самого Петербурга. В Швецию. А надобность у нас простая, братец: спасаемся от царской петли. Понял?

— Так точно, понял, ваше благородие.

— Что же ты думаешь делать?

Тихонов молчал. Он вытер нос мокрым рукавом шинели и долго мигал воспаленными от ветра глазами.

— Ну? — спросил офицер.

— Ваше благородие, — умоляюще сказал Тихонов, — здесь все доподлинно известно, караулы стоят по всем островам. Все равно не пройдете.

— Что вам известно?

— Насчет бунта. Прапорщик Бестужев нам объяснял.

Тихонов помолчал, помялся и спросил:

— Разрешите узнать, ваше благородие: был ли в деле лейб-гвардии Московский полк?

— Был. На стороне мятежников. Его расстреляли картечью.

Тихонов сел на корточки около печки и задумался.

— Эх, беда, беда! — сказал он, ворочая в печке дрова. — Брат мой младший в том полку служил. Неужто убили?

— Свободно, — ответил матрос. — Их в Неве сколько утопили, московцев, — не счастье!

— Слушай, солдат... — сказал офицер.

Тихонов сидел все так же, уставившись на огонь.

— Подымались мы за правое дело. За вольность народную, за счастливую солдатскую долю. Царь Нико-

лай — тиран. Он слезами затопит Россию; засечет ее на смерть. Наше дело проиграно, но семена брошены и взойдут. Не ты, так внуки твои увидят бесслезную жизнь и нас за нее поблагодарят. Понял?

— Понял, ваше благородие,— глухо сказал Тихонов.— Что ни делай, а правду в кандалы не забудешь.

Офицер встал, запахнул плащ и надел простую крестьянскую меховую шапку. Несмотря на жару в сторожке, в лице офицера не было ни кровинки. Он крепко взял за дрожащей левой рукой за стол и сказал матросу:

— Ну, Пахомыч, пойдем. Ночь еще долгая, до света успеем отойти на пять выстрелов от островов. Места здесь опасные.

— Поесть бы вам надо, Николай Иваныч,— сказал матрос.— Лица на вас нету.

Офицер махнул рукой и нетвердо пошел к двери. Матрос пошел за ним следом.

Тихонов вскочил.

— Стой, ваше благородие! — кричал Тихонов отчаянным голосом и бросился к офицеру.

Тот быстро обернулся.

Матрос схватил Тихонова за руки.

— Пусти! — крикнул Тихонов и вырвался; слезы текли по его обветренному растерянному лицу.

Трясущимися руками Тихонов начал развязывать свою солдатскую сумку, оборвал ремешки и вытащил краюху черного хлеба и кусок сала, завернутый в чистую тряпку.

— Возьми, ваше благородие,— сказал он задыхаясь и сунул хлеб и сало офицеру.— Возьми от всего солдатского сердца. Не обижайся.

Тихонов упал на колени и поклонился офицеру в ноги.

— Что ты, что ты! — растерянно сказал офицер и начал поднимать Тихонова.— Нешто можно? Встань.

Тихонов тяжело поднялся. Офицер притянул его к себе, и они поцеловались. Матрос похлопал Тихонова по плечу:

— Ну, прощай, служба!.. Помни!

Они вышли. Тихонов стоял у дверей. Ружье его валялось на полу около печки. Старый швед судорожно мял рукой небритую щеку.

Тихонов обернулся к нему, прижал заскорузлый палец к губам и погрозил большим кулаком. Швед радостно закивал — очевидно, понял.

Гулкий и близкий выстрел ударил в темноте. За ним — второй, третий, и хриплый голос закричал совсем близко: — Часовой!

Тихонов узнал голос полкового командира. Раз в неделю Киселев проверял по ночам караулы. Тихонов не двинулся с места, только быстро оправил шинель.

Дверь распахнулась. Нагнув голову, через высокий порог переступил Киселев. За ним следом шел Мерк. Два солдата держали в сенях за руки офицера в крестьянской шапке и матроса.

— Вести их! — крикнул Киселев солдатам.

Солдаты неловко ввели арестованных.

— Кто вы такой? — спросил Киселев офицера.

Офицер молчал.

Киселев распахнул его плащ. Офицер вспыхнул, выпрямился и оттолкнул Киселева левой рукой. Правая рука у него была забинтована. На бинтах запеклась черными пятнами кровь.

— Кто вы такой? — спросил Киселев офицера.

— Я сын своего несчастного отечества, — сказал офицер. — Прошу уволить меня от дальнейших вопросов.

— Вы бунтовщик, сударь, — сказал ласково Мерк. — Вы нарушили присягу и изволили поднять руку на священную особу императора.

— Пусть будет так, — ответил офицер и усмехнулся.

Тогда Киселев медленно подошел к Тихонову и посмотрел ему в глаза.

— Скотина! — сказал он и ударил солдата кулаком по мокрому лицу.

Тихонов моргал глазами.

— Домигался, дурак, прозевал государственного преступника. Дать триста шпицрутенов! Засечь, как собаку!

Когда увели арестованных и Тихонова, старый швед погасил свечу, вышел из сторожки и осторожно, сделав большую петлю, пошел по льду в Мариегамн. Всю дорогу он кряхтел и ругался.

Бестужева произвели в прапорщики летом. Он тотчас же подал прошение об отставке. Вначале он ждал приказа из Петербурга об отставке с нетерпением, но потом начал думать об этом приказе даже с некоторым страхом и дрожью в сердце. Он привык к Мариегамну, к пустынным островам, где в ясном воздухе долго теплились вечерние зори, к хмурому и доброму народу, к своим книгам, к чи-

стой комнате, устланной половиками из морской травы, к старухе хозяйке и к застенчивой тоненькой Анне. Сейчас, думая об отъезде в Россию, он все чаще повторял про себя навязчивые стихи:

Я вспомню с тайным сладострастьем  
Пустынную страну,  
Где я в размолвке с тихим счастьем  
Провел свою весну...

Анна часто бегала на лыжах на соседний остров к подруге. Просыпаясь по утрам, Бестужев слышал под замерзшим окошком свист лыж по снегу и грудной голос Анны, кричавшей матери прощальные ласковые слова.

Бестужев вставал, отодвигал занавеску и видел знакомую и милую картину. Снег лежал на крышах пухлыми пластами, как на елочных ветвях. Вся комната была озарена оранжевым блеском солнца и огня, шумно пылавшего в камине, и Анна — вся в снегу, слетавшем на нее с ветвей, — окользя на лыжах через поле к сосновому лесу.

Однажды Бестужев высказал желание пробежать вместе с Анной на лыжах на соседний остров. Анна засмеялась и согласилась.

Вышли они утром. В лесу было сумрачно. Сухие сосновые иглы медленно падали к их ногам. В густых чащах Анна воткнула палки в снег и остановилась.

— Смотрите, — сказала она, — может быть, на вашей родине вы никогда не увидите этого.

Зрелище, открывшееся их глазам, было исполнено необыкновенной прелести. В чащах стояло безмолвие и не было ни малейшего ветерка. Вверху же, над вершинами леса, дул слабый ветер. Он сбрасывал с ветвей снег. Сотни снежных хлопьев падали сверху, серебрясь в косых лучах солнечного света, придававшего зимним чащам таинственное освещение. Хлопья падали, задевали за ветки, рассыпались в длинные, медленно спускавшиеся к земле полосы белой пыли, шуршали вокруг, как сухой дождь.

Бестужев взглянул на Анну. Она была покрыта снежной пылью. Сквозь эту пыль блестели ее губы, мокрые ресницы и зеленоватые, переставшие смеяться глаза.

— Анна, — сказал Бестужев, — могли бы вы полюбить всей душой русского?

Анна быстро обернулась к нему, зацепила палками за ствол ели, и водопады мягкого снега обрушились на нее и Бестужева.





— Да, — сказала она и закрыла глаза. — Но отец мне не позволит выйти замуж за русского.

— Почему?

— Отец вас не любит.

Бестужев снял с ее руки зеленую вязаную перчатку и поцеловал холодные пальцы. Она молча взяла Бестужева рукой за подбородок и долго, печально смотрела в лицо. Потом оттолкнулась палками и побежала сквозь заросли, оставляя за собой вихри снега. Бестужев едва поспевал за ней.

На соседнем острове они зашли в дом, показавшийся Бестужеву построенным из старого янтаря — так были желты его бревенчатые стены. Беловолосая девушка-дурнушка, подруга Анны, напоила их горячим молоком.

Анна много болтала, и смех ее был слишком звонок и неспокоен. Девушка-дурнушка смотрела на Бестужева и Анну с лукавой улыбкой, — так люди улыбаются, наблюдая чужое счастье.

Обратно шли медленно, молча. Первые звезды загорались над заливом. Одна из них — самая яркая, сияющая нестерпимым синим огнем, — стояла очень далеко, в южной, зеленоватой части неба, прямо над верхней реей большого корабля.

Всю ночь после этой прогулки Анна проплакала. А на утро пришел отец. Он что-то отрывисто и сердито говорил ей. Потом в доме затихли. Днем Бестужев видел, как Анна вышла на крыльцо, долго стояла неподвижно и смотрела на залив, наморщив брови. Бестужев хотел окликнуть ее, но не осмелился.

Он решил, что, выйдя в отставку, никуда не уедет, останется на острове и, пренебрегая насмешками полковых товарищей и запрещением отца, все же женится на Анне.

Офицерская пирушка затянулась далеко за полночь.

Горел камин. В его багровых отблесках ночь за окнами казалась особенно синей. Изредка маленькая снежинка прилипала снаружи к стеклу, и если пристально вглядеться, то можно было увидеть ее тончайшее кристаллическое строение.

Пили вяло, хотя ни Киселева, ни Мерка не было. Оба они ушли проверять ночные караулы. Пили плохо уже

давно — со времени первого известия о мятеже в Петербурге.

От ломберных столов подымалась меловая пыль и першила горло. Игроки понтировали молча, посасывая потухшие трубки. Жарко горели свечи.

Поздней ночью вошел вестовой. Стараясь не стучать сапогами, он подошел к Бестужеву и доложил, что его дожидается в прихожей неизвестная девица. Лицо вестового было каменное. Офицеры переглянулись, и кое-кто чуть заметно улыбнулся в усы. В прежнее время этот случай вызвал бы взрыв шуток и игривых предположений, но сейчас шутки никому не приходили на ум.

Бестужев быстро поднялся и вышел. В прихожей его дожидалась Анна. Он взглянул на ее бледное лицо с прилипшими ко лбу прядями мокрых волос и спросил быстрым шепотом:

— Анна, что случилось?

Анна задыхалась.

— Павел,— сказала она, впервые называя Бестужева по имени,— только что отец пришел с маяка. Там схватили русского офицера. Он шел через залив в Швецию. Он бунтовщик. Что делать, Павел?

— Успокойся, Анна,— сказал Бестужев и ощутил внезапный холод в сердце,— предвестник безрассудных и скорых решений. Такой же холод он ощущал в бою под Бородином и в Петербурге, когда вырвал шапку из рук великого князя.— Пойдем, мы должны сговориться совместно, что делать.

Он взял ее за руку и ввел в зал. Офицеры, увидев заплаканную девушку, встали. Только игроки не заметили прихода Анны и продолжали скрипеть мелкими и перекидывать карты.

— Господа,— сказал Бестужев,— час назад у нас на острове случилось происшествие чрезвычайное, требующее нашего совместного обсуждения.

Молодой и пылкий поручик Лобов рванулся к Бестужеву:

— Ну, говори скорее, без предисловий!

Топот сапог и звон шпор не дали Бестужеву возможности продолжать. Дверь открылась. Вошел засыпанный снегом Киселев. Он сбросил мокрый плащ на стул и обвел офицеров веселым и хитрым взглядом. Взгляд этот как бы говорил: «Вот вы увидите сейчас, какой сюрприз я вам приготовил!»

За Киселевым вошел Мерк. Он замешкался в передней, счищая с ботфортов снег. Мельком взглянув на Анну, стоящую рядом с Бестужевым, он сказал с презрительной учтивостью:

— Прапорщик Бестужев, вам должно быть известно, что на офицерских собраниях полагается присутствовать лишь женам, близким семейным и невестам господ офицеров.

Бестужев вспыхнул.

— Это моя невеста,— сказал он глухо.

Анна стояла помертвевшая и спокойная.

Мерк поклонился и прозвенел шпорами. Никто не обратил внимания на его выходку; все смотрели на возбужденного полкового командира.

— Господа офицеры! — Киселев театрально поднял руку.— Малое время тому назад при обходе караульных постов около маяка Эрасгруд мною и капитаном Мерком был задержан мятежник, бежавший из Петербурга и пробравшийся по льду Ботнического залива в Швецию.

Наступила такая тишина, что было слышно, как поскрипывают под чьей-то ногой навощенные половицы.

— Судя по мундиру, он офицер лейб-гренадерского полка. С ним задержан второй мятежник — матрос взбунтовавшегося против императора гвардейского экипажа.— Киселев обвел глазами офицеров. Ему хотелось проверить необычайное впечатление, какое должны были произвести его слова.

Офицеры хмуро молчали.

— Имя свое этот царевича назвать отказался. Поскольку среди вас могут найтись люди, знающие его по прежней службе или по старому знакомству, то я полагаю необходимым предъявить вам бунтовщика для опознания.

Киселев постучал саблей о пол. Дверь отворилась, и солдаты ввели в комнату молодого офицера с обнаженной головой. На лбу его синел кровоподтек. Он провел рукой по слипшимся, спутанным волосам и внимательно посмотрел на офицеров. Взгляд этот, печальный и спокойный взгляд человека, готового к смерти, запомнился многим на долгие годы. Офицер остановился около стола и положил на него худую маленькую руку.

— Еще раз требую,— властно сказал Киселев,— чтобы вы назвали себя. Кто вы такой и как ваше имя?

— Я могу повторить лишь то, что сказал однажды,— ответил офицер.— Я сын моего несчастного отечества и за счастье его отдам свою кровь без остатка.

Он покачнулся и судорожно впился в стол пальцами. Худая его рука сорвалась со стола. Бестужев бросился к арестованному и пододвинул ему стул.

Офицер сел, оперся локтем и опустил на ладонь голову. Видно было, что он изнурен до беспамятыства. Плащ его распахнулся, и офицеры увидели правую руку в заокоружных, засохших бинтах. Краюха черного хлеба упала из-под плаща и покатилаь по полу. Лобов поспешно поднял ее и положил на стол около арестованного.

Киселев снова взглянул на своих офицеров и насупилсь. Он увидел побледневшие, сосредоточенные лица, увидел глаза, полные тревоги и сострадания, и решил скорее закончить неудавшийся спектакль.

— Он ранен,— громко сказал Лобов.— Какое бессердечие!

— Кто из вас, господа офицеры, может признать этого мятежника?— спросил Киселев, как бы не услышав слов Лобова.

Офицеры не отвечали.

— У господ офицеров,— промолвил язвительно Мерк,— от злоупотребления вином сильно повредилась память.

— Он ранен! — кркнул Лобов.— Вы разве не видите?

Бестужев сделал шаг вперед и, глядя в серые от ярости глаза Киселева, спокойно сказал:

— Есть простые законы, отделяющие нас от скотов. Один из этих законов — человечность в отношении к пленным. Этот офицер ранен и голоден. У него обморожены пальцы. Какое право вы имеете устраивать перед нами подлейший фарс и совершать надругательство над человеком? Напрасно вы ищете нашего сочувствия — его не будет.

Офицеры придвинулись ближе к Бестужеву и молчали. Спина у арестованного затряслась, он упал головою на стол. Анна бросилась к нему, обняла его за плечи и начала торопливо успокаивать, перемешивая русские и шведские слова.

— Это кто?— спросил Киселев и оттолкнул ее от арестованного.— Тотчас убрать эту девку!

— Идите, прошу вас,— тихо сказал арестованный Анне.— Из-за меня вы подвергаетесь оскорблениям.

Анна медленно поднялась и вышла. Лицо ее горело тяжелым румянцем.

Бестужев подошел к Киселеву и наотмашь ударил его по лицу.

Киселев выхватил саблю. Офицеры бросились к нему и схватили за руки.

— Я требую...— кричал Киселев, но за общим шумом его не было слышно.

— Я готов стреляться, когда вам угодно,— сказал Бестужев и вышел.

Киселев забыл, что ему, как полковому командиру, нельзя было драться со своим подчиненным.

На крыльце Бестужева ждала плачущая Анна.

Мерк вызвал караул и приказал увести арестованного. Офицеры тотчас разошлись, забыв погасить свечи. Они горели до утра, наполняя комнату чадом.

...Когда Анна и Бестужев спустились с крыльца, над Мариегамном гудел, свирепея и разыгрываясь с каждой минутой, южный ветер. С грохотом сыпался на палубы кораблей слезавшийся на реях снег. Мигали, загасая, фонари. Подобно далекой пушечной канонаде, гудел в заливе лед — его ломало ветром.

Ветер был теплый и тяжелый. Он теснил дыхание и приносил с собой воздух неожиданной оттепели.

Бестужев ни слова не сказал Анне о том, что произошло после ее ухода. Она протянула ему руку. Он сжал ее выше кисти и даже сквозь свист ветра и яростный шум бури слышал, как отдавалось в ее теплой руке частое биение сердца.

— Анна,— сказал Бестужев,— вы утешили несчастного, потерявшего надежду на жизнь. Сила моей любви к вам так велика, что я не имею достаточных слов, чтобы ее выразить.

Анна низко наклонила голову и ничего не ответила.

Ветер бушевал над городком с такой силой, будто хотел сорвать и унести на север эту тяжелую, непереносимую ночь с ее кромешным мраком, слезами, чадом свечей, людской жестокостью и любовью. Ветер срывал с ресниц Анны редкие слезы. Временами порывы ветра были так неистовы, что казалось, вот-вот ветер начисто сдует ночь и ей на смену откроется блистающее рассветное небо, покрытое легкими облаками.

В доме у Анны горел свет, на крыльце было натоптано. В прихожей крепко пахло табаком.

— Какие поздние у вас гости,— сказал Бестужев Анне.

— Это к отцу собрались старики.

Бестужев прошел в свою комнату, но едва он успел сбросить плащ и отстегнуть саблю, как Анна окликнула его из-за двери. Бестужев вышел.

— Отец просит вас зайти к нему по важному делу,— сказала она.— Он мог бы прийти к вам, но у нас более безопасно: окна выходят в сад.

Бестужев, волнуясь, пошел за Анной. Старик ждал его в кухне. Он тяжело поднялся навстречу, и вместе с ним из-за стола поднялось несколько седобородых неуклюжих шведов. Бестужев узнал их — то были шкипера кораблей, зимовавших в Мариегамне. Только один среди шкиперов значительно отличался от остальных. Он был черен, низок ростом, и глаза его хитро смеялись. Это был шкипер французского брига, Жак Пинер, застигнутый зимой со своим кораблем в Ботническом заливе и нетерпеливо дожидавшийся весны.

— Чем могу вам служить, господа? — спросил, смутившись, Бестужев.

— А мы, признаться,— ответил по-французски Пинер,— хотели задать этот вопрос вам. Не можем ли мы быть вам полезны, сударь?

Бестужев смутно начал догадываться, зачем его позвали шкипера.

— Мы верим вам,— сказал отец Анны,— мы будем рады, если не ошибаемся. Ветер ломает лед.

Старик замолчал и пошевелил сухими губами.

— Еще два дня такого ветра,— добавил он,— и море до самого Стокгольма будет открыто для кораблей.

— Ваши генералы,— сказал Бестужеву шкипер в желтых сапогах с черными блестящими отворотами,— сделали большую ошибку: они не прислали в Мариегамн ни одного русского военного корабля.

— Военный корабль давно вышел из Або, но его затерло льдом,— ответил шкипер с густой черной бородой. Шкипера говорили по-шведски. Бестужев понимал их с трудом. Он вопросительно взглянул на Анну, и она начала вполголоса переводить их неторопливый разговор.

— За моей «Валькирией»,— сказал шкипер в желтых сапогах,— не угнал бы даже самый легкий военный корабль. Но его, к счастью, нету.

— Друзья,— сказал Бестужев,— не будем медлить. Кто первый готов выйти в море?

— Готовы все,— промолвил Пинер, выколачивая трубку,— но мне легче всего это сделать. За мной меньше следят: я несу на корме флаг французского королевства.

— Пусть он берет, мы уступаем французу,— сказал самый старый шкипер, и все смолкли.— Но пусть русский офицер не думает, что мы уступаем с охотой. Нет. Каждый из нас хотел бы спасти от виселицы вашего соотечественника. Каждый из нас понимает, что где бы человек ни сражался за свободу, он сражался за нее и для нас. Мы — шведы, финны, французы; он — русский. Мы уважаем его. Каждый из нас умеет молчать. А что касается страха... — старик усмехнулся,— что касается страха, то об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз за кружкой пива. Сколько раз за каждое плавание смерть цепляется за наши борта и строит нам рожи — никто даже не станет считать.

— Самая трудная задача падет на вас,— сказал Пинер, обращаясь к Бестужеву.— Вам придется освободить его и матроса из-под стражи и незаметно доставить на мой корабль. Если ветер не стихнет, то не позже чем послезавтра ночью я снимусь с якоря.

— Хорошо,— ответил Бестужев.— Я вам благодарен за доверие.

Старики встали и засопели трубками. Бестужев крепко пожал им руки, и они, натягивая кожаные плащи и стараясь не стучать тяжелыми сапогами, вышли из дому через дверь, ведущую в сад.

Бестужев несколько минут говорил с Пинером. Надо было предусмотреть все препятствия побега, чтобы их счастливо избежать. Уходя, Пинер подмигнул и похлопал Бестужева по рукаву:

— Корабль велик, на нем хватит места для всех. Я с радостью приму на борт еще одного офицера, и если мне не изменяет мой старый шкиперский глаз, то и прелестную девушку, его невесту. Не так ли? Я доверяю любящим: они великодушны. Не принимайте это за шутку. Я прожил жизнь, полную неожиданностей и предательств. Поэтому я решаюсь дать вам совет: бегите отсюда.

— Не стоит сейчас говорить об этом. Мне надо подумать.

Француз попрощался и вышел.

Бестужев вернулся в свою комнату, зажег свечу и сел к столу. Он сжал голову ладонями и задумался: как быть с дуэлью?

Ежели он будет завтра убит на дуэли, то побег не состоится, арестованного офицера и матроса отправят с первой оказией в Петербург и там повесят. Этого нельзя было допускать.

Ежели он откажется от дуэли, то его сочтут трусом. Киселев предаст его военному суду за тяжкое оскорбление полкового командира, побег будет сорван, позор ляжет на его голову и отравит последние дни.

Оставалось одно: оттянуть дуэль до совершения побега, остаться в Мариенгамне и стреляться. Это означало крушение всех его тайных мыслей о бегстве с Анной и жизни, полной радости и скитаний.

После разговора с Пинером он уже видел себя вместе с Анной на палубе брига, плывущего в виду плодоносных южных берегов. В прибрежных долинах и на высотах, одетых померанцевыми рощами, разбросаны селения и замки.

Вода журчит за кормой корабля. Матросы улыбаются, поглядывая на молодую женщину, и уступают ей дорогу. Она осторожно ведет под руку по палубе офицера с перевязанной правой рукой, возвращенного их общими усилиями к жизни. Старинные города поднимаются из морских вод и волнуют сердце. Кровли их блестят под солнцем. Песни рыбаков долетают из утреннего тумана.

Бестужев решил затянуть дуэль до того времени, пока не будут спасены офицер и матрос. Мысль о двух людях, спасенных им, будет жить в сердце у него и Анны и делает их счастливыми.

Бестужев задумался. Он не слышал голосов старика и Анны за стеной и шагов Анны, подошедшей к двери.

Анна вошла без стука. Бестужев обернулся. Анна стояла в дверях, прислонившись к косяку.

— Павел,— сказала она,— отец только что позвал меня к себе и сказал, чтобы мы были с тобой счастливы. Он говорит, что ты будешь достойным мужем.

Бестужев встал.

— Этому пленному мы обязаны своим счастьем,— сказала Анна.— Мы его спасем, чего бы это ни стоило. Правда, Павел?

— Клянусь! — ответил Бестужев.



Зеленоватый таинственный свет зари проникал в комнату, и Анна казалась в этом свете очень бледной. Она улыбнулась. Бестужев сделал шаг к ней, но внезапный грохот барабанов раздался за окнами. Барабаны гремели торопливо, часто, но не могли заглушить отдаленный человеческий крик. Бестужев остановился.

— Что это?— вскрикнула Анна и бросилась к Бестужеву.

Она со страхом смотрела в окно. За ним ветер нес черный дым из труб, и в синеватом воздухе все громче, все настойчивее били барабаны.

— Это шпицрутены,— ответил, побледнев, Бестужев.

Анна медленно опустилась на пол: она была без чувств.

Семена Тихонова разбудили на рассвете. Унтер-офицер оставил дверь караульной комнаты открытой. Сырой ветер дул по полу и шуршал соломой. Невыспавшиеся солдаты теснились на крыльце, погромыхивали прикладами и громко зевали.

Тихонов вскочил и начал торопливо натягивать сапоги.

Он быстро оделся и стал во фронт. Унтер-офицер повернул его, как чучело, осмотрел со всех сторон и сказал: — Эх ты, Иван-мученик, ружье-то возьми!

Тихонов не понял, зачем брать ружье, когда его ведут пороть шпицрутенами, но ружье взял.

Его вывели. Снег шуршал и оседал на крышах. Каркали, как перед дождем, вороны. Дым из труб прижимало к земле.

«Неужто весна?» — подумал Тихонов и зашагал по сизой жиже из воды и тающего снега. В домах было еще темно.

«Сотню ударов дадут, не меньше,— думал Тихонов.— Полковник горяч на слова. Где ж это видано, чтобы давали триста шпицрутенов! Тогда уж лучше камень на шею — и в прорубь».

Вышли на плац. В две узкие шеренги лицом друг к другу были выстроены солдаты с шомполами в руках. На фланге стояли барабанщики. Около них ходил, покуривая трубку, Мерк. Изредка носком сапога он легонько ударял то одного, то другого барабанщика по ногам — выравнивал строй.

Тихонова подвели к Мерку.

— Сними, братец, мундир,— сказал Мерк. Он внимательно смотрел, как Тихонов застывшими пальцами растегивал медные пуговицы и стаскивал мундир.— Экий ты, братец, лодырь — рубаха у тебя рваная. Ну, гляди, держись молодцом.

— Рад стараться, ваше высокородие! — деревянным голосом крикнул Тихонов и снял рваную рубаху.

— Рота, слуша-ай! — прокричал Мерк и повернулся на каблуках.

Солдаты неестественно вытянулись и застыли. Барабанщики подняли палочки над серой кожей барабанов. Только посредине на каждом барабане темнело пятно от ударов.

Унтер-офицер и рыжеусый солдат привязали руки Тихонова к прикладу его ружья, взяли за дуло и повели Тихонова к началу шеренги. Тихонов шел медленно, будто недоумевая.

— Рота, слушай! — вторично крикнул Мерк.— По приказу командира полка! Прогнать рядового Тихонова оквозь строй. Дать триста ударов. Начин-а-ай!

— Ваше высокородие! — крикнул Тихонов и упал на колени в мокрый снег.

— Начин-а-ай! — Мерк махнул перчаткой.

Загремели, сбиваясь, барабаны. Унтер-офицер и рыжеусый солдат рванули Тихонова за дуло ружья. Тихонов упал, прополз несколько шагов по снегу, поднялся и, шатаясь, вошел в тесный проход между солдатами. Провистел первый шомпол.

— Раз! — хрипло крикнул унтер-офицер.

Снова свистнул шомпол.

— Два! — весело крикнул рыжеусый солдат.

Тогда Тихонов повернул к Мерку страшное, налитое кровью лицо и крикнул, срывая голос:

— Правду в кандалы не забьешь! Не забьешь, братцы! Придет им конец, извергам, кровососам!

Он бессвязно кричал и упирался. Со спины сочились струйки крови. Ныли и гудели барабаны. У солдат тряслись губы.

На пятидесятом ударе Тихонов упал. Его подняли. К спине прилипли комья кровавого снега.

Через несколько ударов он упал снова. Его волокли по снегу, он хрипел. Солдаты без приказа опустили шомпола. Барабаны затихли.

— Лежачего не бьют,— оказал, заикаясь, Мерк и подошел к Тихонову.

Унтер-офицер и рыжеусый солдат перевернули Тихонова лицом вверх. Мерк нагнулся. Тихонов открыл глаза и посмотрел на него мутным, безжизненным взглядом. Потом он перевел глаза на Мерка, с натугой сел, и челюсти у него задвигались, будто он пережевывал черствый хлеб.

— Отойдите, ваше высочорodie,— сказал унтер-офицер,— как бы беды не вышло.

Мерк быстро выпрямился. Тихонов хотел плюнуть ему в лицо, но кровавая слюна стекла у него по подбородку и застряла в небритой щетине.

— Убраты! — сказал Мерк, отвернулся и медленно пошел прочь.

Солдаты быстро подхватили Тихонова, положили на шинель лицом вниз и понесли в полковой лазарет.

Утром к Бестужеву приехали секунданты Киселева. Они застали Бестужева с правой рукой на перевязи.

— Я прошу вашего разрешения,— оказал Бестужев,— отложить дуэль на два дня. Вчера, возвращаясь ночью домой, я упал и повредил правую руку. Поверьте, что эта задержка мне крайне неприятна, но причина достаточно уважительная. Стрелять я не могу. Я приму все меры к тому, чтобы рука у меня была излечена в кратчайшее время.

— Мы снесемся об этом с господином Киселевым,— ответил один из секундантов, отставной шведский лейтенант, проживавший на мызе вблизи Мариегамна,— и доложим его решение вашим секундантам. Разрешите узнать их имена.

Бестужев назвал Лобова и полкового лекаря Траубе. С утра он успел известить их об этом запиской.

— Может быть, вам прислать моего домашнего врача? — любезно предложил, прощаясь, швед.

Бестужев покраснел.

— Благодарю вас,— оказал он резко.— Я нахожусь на ногах и сам могу пройти в случае надобности в лазарет.

Секунданты откланялись и вышли.

Через час приехал на маленьких санках, запряженных водовозной клячей, полковой лекарь Траубе — подслепо-

натый, с покрытыми розовым пухом щеками, в громадных очках.

Он ласково мям левую руку Бестужева в пухлых ладонях и сказал, что Киселев, как известный забияка и дуэлянт, требует, чтобы дуэль состоялась не позже завтрашнего утра, с тем, чтобы оба противника стреляли левой рукой.

Сердце у Бестужева упало. Он согласился. Траубе хотел осмотреть у Бестужева правую руку, но тот отмахнулся.

Траубе снял очки, долго протирал их красным платком и моргал светлыми ресницами, едва прикрывавшими его выпуклые глаза. Лицо лекаря морщилось, и углы рта дрожали.

— Павел Алексенч,— сказал он потупившись,— что же это такое? Вот уж действительно, как говорят старики, настали черные дни.

— Да, времена черные.

— Сколько печальных событий! Ночью доставили ко мне в лазарет двух задержанных мятежников.

— Почему в лазарет?

— Офицер, как вы, должно быть, заметили, имеет запущенную рану на руке. Он нуждается в лечении, он истощен. А у матроса отморожены ноги.

— Доктор,— сказал Бестужев,— зачем вы их лечите? Чтобы можно было потом повесить?

Лекарь уронил на пол красный платок.

— Неужто вы полагаете,— спросил он испуганно,— что я должен отказаться от лечения?

— Это было бы благороднее. Для чего сохранять здоровье людям, если их ожидает неизбежная казнь?

— Может быть, император помилует их?

— Никогда!

— Я лечу их,— сказал лекарь,— потому что сохраняю надежду, что жизнь им будет возвращена.

— Кем?

Лекарь снова снял очки и начал судорожно их протирать.

— Кем? — повторил Бестужев.— Могут ли они бежать без посторонней помощи?

— Какое безумие! — воскликнул лекарь.— У всех дверей и окон стоят часовые.

Тогда Бестужев наклонился к лекарю и сказал тихо:

— Если у вас есть хоть капля мягкосердечия и чести, если совесть не позволяет вам быть участником казни, каковым вы сейчас являетесь, то слушайте...

Лекарь опасливо взглянул на окна и придвинулся к Бестужеву. Они говорили долго. Вставая, Бестужев сказал:

— Я буду у вас в лазарете сегодня вечером. Мне надобно ознакомиться с его расположением и заодно навестить солдата моей роты Тихонова. Его сегодня секли.

— Тогда торопитесь,— сказал лекарь.— Ему осталось жить недолго. Он потерял много крови.

Лекарь попрощался и вышел. Водовозная кляча медленно потащила его сани к лазарету.

Бестужев подошел к окошку и прижался лбом к холодному стеклу.

— Кровь...— сказал он с тоской.— Сердце запекается кровью.

В сумерки Анна с Бестужевым вышли из дому. Анна весь день тревожилась. Она видела, как к Бестужеву приезжали офицеры, видела лекаря, но ни о чем не спрашивала. Она думала, что все это связано с приготовлениями к побегу.

С утра до ранних сумерек она просидела у горящего камина, закутавшись в платок, и отказалась от обеда, даже от чашки кофе. При каждом шуме она вздрагивала: ей все время мерещился грохот барабанов.

За день она осунулась, морщинка легла около ее нервных, взлетающих бровей, и в глазах, когда она смотрела на Бестужева, появился печальный, материнский свет.

Бестужев не выдерживал ее взгляда и отводил глаза. Он чувствовал глубокое смущение оттого, что вынужден был молчать о дуэли.

Он непрестанно думал об Анне. Он испытывал жестокую горечь оттого, что их любовь началась так поздно и незадачливо, в эти черные, беспокойные дни. А ведь еще недавно она могла бы так пленительно расцвести среди свежей и мягкой зимы, заставлявшей гулко биться горячее сердце, под веселый треск печей, под детский смех простодушных стариков, под звон прадедовских курантов.

Анна с Бестужевым вышли на окраину городка, к морскому берегу. Ноги проваливались в снег.

На берегу Анна тронула Бестужева за руку и показала на море. За неширокой полосой толстого треснувшего льда оно уже шумело пенистыми темными валами, и ветер нес в лицо водяную пыль.

Невдалеке виднелись корабли. Они качались, принимая удары волн. Якорные цепи то опускались в черную воду, то подымались с тяжелым звоном, и с них лились пенистые потоки.

Дул южный ветер. Временами начинал падать крупный мокрый снег. Он таял на лице и закрывал морские дали зловещей мутью. На кораблях уже зажигали фонари, и от тусклого их света вечер казался неприветливым и ненужным.

Анна и Бестужев медленно пошли обратно в город. Около лазарета они расстались: Бестужев хотел зайти в лазарет.

— Почему ты так печален, Павел? — спросила Анна, когда они прощались, и долго не выпускала руки Бестужева.

— В лазарете умирает мой солдат, — уклончиво ответил Бестужев. — Ты же знаешь.

— А больше тебя ничто не тревожит, милый?

— Нет, Анна.

Бестужев боялся поднять глаза. Анна вздохнула:

— Ну хорошо. Возвращайся скорее, я буду тебя все время ждать. Без тебя мне страшно и все кажется, что на острове нет ни души. Возвращайся.

Бестужев кивнул головой, повернулся и быстро пошел к лазарету. Анна смотрела ему вслед.

Бестужев вошел в холодную палату. Тихонов лежал на железной койке вниз лицом. Увидев Бестужева, он зашептал и зашевелился. Забинтованная его спина не была покрыта серым одеялом: тяжесть одеяла вызывала у Тихонова сильную боль.

Солдат — служитель при лазарете, в коротком грязном халате — загремел сапогами и вышел.

Бестужев подошел к Тихонову и стал на колени около койки, чтобы видеть лицо солдата. Но лица он не рассмотрел. Он видел только черную опухшую щеку и один темный усталый глаз.

— Встаньте, ваше благородие, тут мусорно, — прошептал Тихонов. — Я обернусь.

— Лежи, лежи, милый,— негромко сказал Бестужев и положил руку на шершавую голову Тихонова.

— Ваше благородие...— сказал Тихонов и заплакал.— За что они меня так?

— Ты не плачь, Тихонов.— Бестужев нахмурился и, отвернувшись, смотрел на темное окно.— Даст бог, мы с тобой оба живы останемся, кончим солдатскую службу, выйдем на волю.

— Какая воля! — сказал Тихонов едва слышно.— Кому воля, а кому маята. Жена померла. Осталась старуха да сын. Петрушкой его звать. Ваше благородие, уважьте, отпишите матери про мою кончину. Отпишите: представился, мол, ваш любезный сын Семен Тихонов от грудной горячки и приказал долго жить.

— Куда отписать?

— Новгородской губернии, Белозерского уезда, село Мегры на Ковже-реке, Авдотье Тихоновой,— прошептал Тихонов и надолго замолк.

Было слышно, как ходили у соседнего окна часовые и кто-то тяжело дышал за стеной.

— Ну, прощай, Тихонов,— сказал Бестужев.

Солдат медленно высвободил из-под одеяла холодную, восковую руку, сжал ею руку Бестужева и снова замолк. Казалось, он уснул. Бестужев ждал.

— Прощай, друг,— сказал наконец едва слышно Тихонов.

Бестужев осторожно вышел.

Домой Бестужев вернулся поздней ночью. Измученная Анна, не дождавшись его, уснула. Бестужев остановился около открытой двери в ее комнату.

— Что, Павел? — тревожно сказала во сне Анна и затихла.

Бестужев подождал, услышал ее дыхание и с холодным отчаянием в сердце прошел в свою комнату.

Он зажег свечу, сел к столу и посмотрел на часы — было два часа ночи. Дуэль была назначена на шесть часов в сосновой роще на берегу залива.

— Осталось всего четыре часа,— сказал Бестужев и, задумавшись, долго чинил гусиное перо.

Он достал из стола желтую плотную бумагу и начал быстро писать на ней косым брызгающим почерком.

«Анна,— писал он,— я совершил великий грех перед тобой, не сказав тебе ни слова о предстоящей дуэли. Наша любовь и без этого перенесла достаточно испытаний. Едва мы поняли, что любим друг друга, как тяжкие и возмутительные события вторглись в жизнь. Они наполнили сердца негодованием и беспокойством, заставили тебя проливать слезы, поглотили все мое существо, весь мой разум, занятый в этот час только одной мыслью — спасти благородных людей, обреченных на казнь.

Единственное утешение для нас в том, что мы, вопреки обычному бессердечию любящих, смогли от чистого сердца отделиться чужим несчастьям. Мы почитаем невозможным жить только своей любовью друг к другу перед лицом несправедливостей и мучений народных.

Я употребил эти слова вполне законно, ибо смерть Тихонова и арест участников петербургского восстания являются лишь небольшими случаями всеобщего народного страдания. Им щедро и незаслуженно наделена моя родина.

Наши мечты о бегстве рассеялись из-за дуэли. Только что я посетил Пинера на его корабле. Он снимается в ночь на послезавтра. Сняться сейчас он не может по причине неготовности парусов. Вся команда чинит паруса не покладая рук, из чего я заключаю, что мужественные матросы кое-что знают о наших планах.

Побег произойдет только через сутки, а дуэль — через четыре часа. Ежели я останусь жив, то участь несчастных арестованных станет нашей участью, и мы, освободив их, должны будем бежать вместе с ними. Ежели я буду убит или сильно ранен, то ты, Анна, заменишь меня.

В ночь на послезавтра караулом в лазарете командует Лобов. У него заготовлен подложный приказ командира полка о переводе заключенных в недостроенный форт Сэгбю. Доктор на нашей стороне. Солдаты возбуждены и готовы по первому слову повернуть оружие против вчерашних командиров. Полк волнуется.

Ежели Лобову удастся (держа в кармане подложный приказ на случай встречи с Мерком или с кем-либо из преданных командиру офицеров) вывести арестованных, то шлюпка с корабля будет ждать их за первым лесистым мысом по дороге в Сэгбю. Лобов скроется вместе с беглецами.



Я верю Пинеру и его морским способностям, но прошу тебя прийти на корабль с вечера и показать Пинеру берег, куда надлежит послать шлюпку за беглецами. Ты знаешь эти места, как свой дом. Пинер же опасается, что в темноте матросы могут заблудиться да и он сам не сможет в точности определить место за незнанием здешних берегов. В ответ на мои уверения, что ты будешь присутствовать на корабле, он сказал, что лучшего лоцмана, чем Анна, ему и не надобно.

Солдаты могут бежать, но вряд ли они на это согласятся. Их судьба в безопасности, ибо они будут действовать по прямому приказу начальника.

Я боюсь, что точность моих объяснений ты можешь принять за безразличие к тебе. Неужели ты скажешь: как он мог писать так спокойно и рассудительно, зная, что больше меня не увидит?!

Анна, моя любовь к тебе безмерна. Я боюсь думать о тебе в эти минуты. Я гоню от себя воспоминания и страшусь услышать твой голос. Если бы ты вошла сейчас, я бы не выдержал, забыл обо всем и на коленях умолял бы тебя лишь об одном — о спасительном бегстве. Я бы забыл свою честь и участь несчастных. Поэтому я пришел поздней ночью, чтобы застать тебя спящей.

Я знаю — и ты должна знать это вместе со мной, — что придут времена великой расплаты. Наши мучения и гибель ударят по сердцам с томительною силой. Пренебрежение к счастью народа будет почитаться мерзейшим преступлением. Все низкое будет раздавлено в пыли, и счастье человека станет самой высокой задачей народных трибунов, вождей и полководцев.

Я думаю об этих временах и завидую прекрасным женщинам и отважным мужчинам, чья любовь расцветет под небом веселой и вольной страны. Я завидую им и кричу в душе, как кричат узники из мрачных казематов: не забывайте нас, счастливицы!

Прощай! Прости за неумелую любовь и невольные страдания. Письмо на имя Авдотьи Тихоновой перешли в село Мегры, Новгородской губернии, Белозерского уезда».

Бестужев, не перечитывая письма, запечатал его в конверт и написал на нем: «Анне».

Потом он написал второе письмо, матери Тихонова, и оставил его на столе.

Несколько минут он сидел, закрыв глаза рукой, и как бы прислушивался к течению ночи. Она влеклась над землей, морем и лесистыми островами, безмолвная и печальная. Чуть заметная бледность уже проступала на стеклах.

Бестужев встал, надел на правую руку черную перевязь, накинул плащ и осторожно вышел в коридор. Анна спала. В теплой тишине комнат было слышно ее спокойное дыхание.

Бестужев вышел, прикрыл за собою дверь и крадучись спустился с крыльца. Далеко пели петухи. Стволы берез уже белели во мраке: приближался скудный и холодный рассвет.

Бестужев медленно пошел к сосновой роще за городом.

...Лобов и Траубе приехали первыми на водовозной кляче. Кожа у клячи была покрыта оспинами и все время дрожала. Как только секунданты вылезли из саней, лошадь уснула.

Чуть светало, и в пасмурном воздухе обледенелый лес поблескивал, как стеклянный.

Лобов зевнул. Лекарь посмотрел на него с недоумением.

— Эх,— сказал Лобов,— много бы я дал за то, чтобы выспаться! В такое утро лежать бы на койке и слушать, как угли в печке трещат, будто сверчки.

— Вы всегда шутите несообразно с обстоятельствами.

— Эх, Карл, мякиш мой милый! — ответил серьезно Лобов.— А что толку плакать? Что жизнь? «Живи, живой; спокойно тлей, мертвец».

Послышался глухой топот. Водовозная кляча проснулась и посторонилась. Швыряя снегом в лакированный козырек саней, примчались гнедые кони Киселева.

Киселев легко выскочил из саней, холодно посмотрел на секундантов Бестужева и поздоровался. За ним из саней вылезли длинный швед со скучным лицом и толстый развязный штабс-капитан Курочкин — полковой враль и фигляр. Курочкин достал из саней ящик с пистолетами.

Бестужев пришел пешком. Шел он медленно, проваливаясь в рыхлый снег и выбирая дорогу среди поваленных деревьев.

Секунданты вытоптали в снегу тропинку и поставили противников по ее краям. Мириться не предлагали — должно быть, об этом забыли. Швед стоял в стороне и потирал озябшие руки. Хлопотал один Курочкин. Лобов, нахмурившись, осмотрел пистолеты.

Бестужев прислонился к стволу молодой березы и взял пистолет. От непривычки стрелять левой рукой она казалась деревянной и болела в сгибе.

Бестужев прицелился. Киселев небрежно подымал пистолет левой рукой. Он сбросил плащ на снег и сильно шурился.

Вороны с отчаянным карканьем взлетели с березы и засыпали Бестужева снегом. Бестужев взглянул вверх, и в то же мгновение раздался выстрел. Бестужев увидел длинную струю дыма, различил пороховой запах — от него стало тошно на сердце, — отбросил пистолет и упал лицом вперед на вытопанную тропинку.

Лобов, спотыкаясь, подбежал к нему и поднял за плечи. Кровь капала в снег, и в снегу протаяло от нее несколько розовых ноздреватых воронок.

Торопливо подошел Траубе. Он наклонился над Бестужевым, покачал головой и медленно выпрямился.

— Ну что, как? — спросил Лобов.

— Выстрел в сердце.

Траубе начал судорожно вытаскивать из кармана большой красный платок. Слезы текли из-под очков по круглым щекам лекаря.

— Перевяжите его, — сказал Киселев.

— Что? — тонко крикнул Траубе, и щеки его задрожали. — Может быть, я ослышался? — Он повернул к Киселеву бледное пухлое лицо. — Вы не смеете мне приказывать. Вы не смеете ничего говорить. Вы убийца, и с вас сорвут за это погоны.

Киселев отвернулся и пошел к лошадям.

— Да, да! — кричал ему вслед Траубе. — Я подаю в отставку. Я не тюремщик и не мясник!

Киселев, делая вид, что он не слышит слов лекаря, быстро сел в сани с Курочкиным и тронул лошадей.

Лобов, Траубе и швед подняли мертвого Бестужева и перенесли в сани. Водовозная кляча оглянулась, мотнула головой и неохотно зашагала по снегу. Секунданты шли рядом.

Кляча часто останавливалась, и ее приходилось пону-кать.

Бестужева привезли в лазарет и положили в мертвецкой рядом с Семеном Тихоновым. А через час в лазарет прибежала Анна.

— Он не умер, неправда,— твердо сказала Анна лекарю и посмотрела мимо него пустыми глазами.— Он скоро очнется.

— Ах, боже мой, боже мой! — прошептал лекарь, вышел в соседнюю комнату и долго топтался около стеклянного шкафа с лекарствами.— Что делать?

Он налил в стакан ландышевых капель и разбавил их кипяченой водой. Он делал это долго, расплескивал воду и прислушивался. Ему было страшно оставаться наедине с Анной.

Анна молчала. Потом она вскрикнула. Траубе со стаканом в руке вошел в мертвецкую. Анна трясла Бестужева за плечи, подняла его голову, прижала к груди и посмотрела на лекаря впалыми сухими глазами.

— Уйдите! — сказала она хрипло.— Уйдите все, мне ничего не нужно.

Траубе протянул ей стакан с лекарством. Анна взяла его и швырнула в угол комнаты...

— Анна...— сказал Траубе, и голова его затряслась.— Анна, прошло уже много часов, как вы плачете здесь, в этой комнате. Уже вечер. Я прошу вас, я заклинаю вас, пойдите домой на несколько часов. Я посижу пока с ним.

Анна опустила голову Бестужева на подушку, набитую жесткой соломой, и встала.

— Уже вечер? — спросила она с недоумением.— Правда, темно. Но ведь весь день было темно, как ночью. Который час?

— Девятый.

Анна запахнула шубку, поправила на голове платок и, не оглядываясь, пошла к двери.

— Я вернусь,— сказала она Траубе.— Никуда не уходите.— Она вышла на улицу и быстро пошла к морю.

У обросших желтыми лишаями валунов качалась и билась о камни темная шляпка. Матрос молча протянул Анне руку и помог спуститься. Потом он вытер руки о старые бархатные штаны и взялся за весла.

Серые волны взлетали и исчезали в темноте. Изредка они плескали в шляпку. Матрос молча греб к темному кораблю. Анна неподвижно сидела на корме и не отрываясь смотрела на корабль, тяжело нырявший в беспокойной, покрытой пеной воде.

С корабля бросили веревочный трап. Анна поймала его и вскарабкалась на палубу. Не было сказано ни слова.

Пинер тихо свистнул, и тотчас безмолвная толпа матросов на баке начала вращать кабестан. Из воды поползла ржавая якорная цепь. Глухо шуршали, раскатываясь, паруса. На палубе не было огней, никто не курил.

Анна стояла на капитанском мостике рядом с Пинером. Корабль тихо скрипел. Волны били в его корму и разлетались в стороны с шипением и тусклым блеском. Бриг сильно вздрогнул, накренился на правый борт, и редкие огни городка начали меняться местами и гаснуть, скрываясь за скалами.

— Пошли,— сказал Пинер и перекрестился широким католическим крестом.

Анна, наморщив брови, вглядывалась в огни городка за кормой и время от времени протягивала вперед руку, показывая Пинеру, куда вести корабль.

На соседних шведских парусниках было темно и тихо; на них нарочно погасили огни. Только на одном из них Пинер разглядел темную фигуру, как будто махавшую шапкой. Фигура быстро слилась с ночным мраком.

Корабль плыл в оцепенении. Люди молчали. Только ветер туго гудел в парусах, и было слышно, как плещет о берега невидимый прибой. Изредка льдины били о деревянный борт брига, но корабль легко отшвыривал их, и они, неуклюже переворачиваясь и шипя, уходили под воду, чтобы снова всплыть за кормой.

— Держите ближе к берегу,— сказала Анна Пинеру.— Это здесь.

Пинер протяжно свистнул. Паруса заполоскали: корабль ложился в дрейф. На корме матросы осторожно спускали на таях большую, тяжелую шлюпку.

В полночь Лобов, одетый по-походному, явился в лазарет. Он вызвал Траубе, снял при нем часовых, прочел им приказ командира полка о переводе арестованных в форт Сэгбю и распорядился не отлучаться ни одному солдату из лазарета до его возвращения. Солдаты молча повиновались.

Лобов вывел арестованных и быстро по задворкам повел их в сторону леса. Тогда один из солдат сказал вполголоса:

— Улетели, сердешные, только след за ними горит.

— А ты помолчи, кавалер,— грубо оборвал его ни-

зенький старый солдат.— Мы люди казенные. Ты прика-  
зы сполняй, а в них за тебя офицеры небось разберутся.

Разговор оборвался.

Лобов и арестованные шли молча. Лес обступил их  
затишьем и мраком. Потом в мокрой его глубине послы-  
шались тяжелые удары моря и по ветвям подул ровный  
соленый ветер.

Лобов свернул с дороги и пошел напрямик к берегу.  
От берега тянуло запахом зернистого тающего льда.  
В черной мгле смутно виднелась седая неподвижная гро-  
мада корабля. На берегу беглецов ждали Анна и мат-  
росы.

— Скорей! — сказала Анна Лобову.— Течение сносит  
корабль на скалы. Торопитесь!

— А вы? — изумленно спросил Лобов.— Вы должны  
бежать вместе с нами.

— Нет,— Анна покачала головой,— я не могу уехать.

— Но почему?

— Неужели я должна вам объяснять это? — сказала  
Анна с такой горечью, что Лобов покраснел в темноте.

Он крепко пожал руку Анне и ничего не ответил. Ан-  
на обернулась к арестованному. Офицер сделал шаг впе-  
ред.

— Мы никогда не забудем,— сказал он,— вашей по-  
мощи. Мужайтесь! Всюду в мыслях я буду с вами. Мо-  
жет быть, мы еще свидимся и я смогу принести вам хотя  
бы ничтожное утешение.

Он хотел поцеловать у Анны руку, но она притянула  
его голову к себе и поцеловала в холодный лоб. Она сжа-  
ла плечи беглеца. Сердце ее тяжело билось от боли. Ра-  
ди его спасения было отдано все: счастье, любовь, отда-  
на жизнь. Он был теперь единственным родным ей чело-  
веком.

Ветер хлопал парусами корабля. Матросы торопили.  
Беглецы и Лобов вошли в шлюпку. Первая же волна от-  
кинула ее от берега и скрыла в темноте.

Анна стояла на берегу и ждала. Изредка она слыша-  
ла глухой стук уклучин. Ветер обдувал платье на Анне,  
леденил лицо. Она смотрела в темноту до тех пор, пока  
громада корабля, неясная как видение, не начала мед-  
ленно скрываться во мраке. Тогда Анна застонала, обня-  
ла сырой ствол сосны и прижалась к нему головой. Ни-  
когда она не думала, что в жизни может быть такое пол-  
ное и глухое одиночество, такое отчаяние.

Медленно, спотыкаясь и хватаясь за стволы деревьев, Анна побрела в город. Ночное море шумело за ее спиной равнодушно и угрюмо. Анна знала, что ничто в мире не может принести ей утешения, никто не поймет ее слез, что сейчас оборвались последние нити, привязывающие ее к жизни.

Бестужева и Тихонова похоронили на следующий день к вечеру.

Мерк не разрешил оркестру играть на похоронах. Только барабанщики шли впереди понурых солдатских рядов и отбивали печальную дробь. Два дощатых, плохо обструганных гроба солдаты несли на плечах. Впереди брел старый глухой священник. Он не слышал самого себя и потому то едва слышно бормотал слова молитв, то выкрикивал их во весь голос.

Впережку с солдатами шли немногие офицеры. Заплаканный Траубе шел рядом с Анной и изредка поддерживал ее за локоть. Анна каждый раз вздрагивала и оглядывалась. Ей казалось, что похоронное шествие стоит на месте. Она видела все одно и то же: мутное небо, землю, засыпанную белым снегом, серые стриженые головы солдат, их серые шинели и озябшие красные руки, державшие черные бескозырки.

Хор заунывно пел непонятные церковные напевы. Гробы качались. На крышке гроба Бестужева лежала его сабля, а у Тихонова — старая солдатская фуражка.

Анна опускала глаза и видела рыжие сапоги солдат, шедших впереди. Она смотрела на солдат, на их спины, на озябшие руки, осторожно поддерживавшие гроб, и думала, что эти руки почти прикасаются к телу Бестужева, к его бледному задумчивому лицу. Тогда она начинала плакать. Траубе брал ее за локоть, а солдаты позади сморкались, вытирали носы рукавами шинелей и перешептывались.

Их шепот доходил до Анны, и она слышала в нем слова неуклюжего и беспомощного утешения.

— От пули не посторонишься,—говорили солдаты.— У него легкая смерть была, нисколько не мучился. Горе — как полая вода: все затопит, а потом сойдет.

На кладбище открыли крышки гробов, и глухой священник, помахивая кадиллом, громко сказал страшные слова:

— Придите, дадим последнее целование.

Анна подошла к гробу, стала на колени, растерянно оглянулась и поцеловала Бестужева в холодные тонкие губы. Бестужев смотрел на нее из-под опущенных ресниц печально и сосредоточенно. Она положила Бестужеву на плечи худые маленькие руки и долго вглядывалась в его лицо.

Все ждали. Священник сердито кадил и кашлял. Траубе поднял Анну

К гробам один за другим подходили солдаты. Они поправляли кожаные пояса, одергивали шинели, крестились, целовали в лоб Бестужева и Тихонова и уходили. Иные становились на колени и кланялись до земли мертвецам.

Все это совершалось в полном безмолвии. Только свежая земля и щебень, сваленные около могилы, осыпались и шуршали под сапогами.

Гробы закрыли, и священник начал невнятно и быстро бормотать молитву «об убиенном рабе божьем боярине Павле и новопреставленном рабе божьем Семене». Хор запел «вечную память», серые ряды солдат тяжело рухнули на колени, и послышались всхлипыванья.

— Веселое горе — солдатская жизни! — сказал за спиной у Анны сильный голос.

Она оглянулась. Десятки тоненьких свечей пылали и коптели под сереньким небом. Кто-то дал свечу и Анне. Пламя ее сильно дрожало, будто хотело оторваться от фитиля, и Анна в испуге прикрыла его ладонью.

— Идемте! — Траубе взял Анну за руку. — Больше вам незачем оставаться.

К гробам подходили солдаты с веревками и лопатами.

Анна покорно ушла. Она осторожно несла горящую свечу и болезненно улыбалась. Траубе с беспокойством смотрел на нее и думал, что даже самый спокойный рассудок не может вынести бесследно таких потрясений.

— Чему вы улыбаетесь? — спросил он Анну.

— Тише, — ответила Анна и посмотрела на Траубе спокойными глазами.

Начал падать отвесный снег. Снежинки бесшумно ложились на землю. Анна долго смотрела на них.

— Вот видите, даже они стараются не шуметь.



Когда снежинки падали на горящий фитиль, свеча сильно трещала. Анна осторожно задула ее, повернулась и пошла обратно на кладбище.

Траубе посмотрел ей вслед, махнул рукой и, сгорбившись, сразу постарев, побрел к себе в лазарет.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В конце 1916 года, во время германской войны, штурман Александр Щедрин, только что окончивший морское училище, был отправлен на Аландские острова, во флотилию миноносцев.

Зима стояла теплая. За Ревелем море было свободно ото льда. Щедрин долго смотрел с палубы транспорта на затянутые сумраком берега. Там, в Ревеле, осталась мать. Она приехала из Петрограда проводить сына и остановилась в недорогой гостинице.

Отец Щедрина — морской врач — давно умер. Мать жила на пенсию. Она помогала своим сестрам, теткам Щедрина, и пенсии всегда не хватало. В одном Петрограде было три тетки. Кроме того, приходилось посылать деньги одной тетке во Владивосток, а другой — в Киев.

Все тетки были или старые девы, или вдовы с кучей детей на руках. Семья была дружная, петроградские тетки давали уроки музыки и французского языка. Они всегда торопились, беспокоились, бегали по лекциям и библиотекам, умилялись на концертах, вечно кого-то жалели и кому-нибудь помогали.

Почти все тетки были женщины добродушные и некрасивые. Это, по словам матери Щедрина, «разбивало их личную жизнь». Одна тетка прекрасно пела, у нее был оперный голос, но на сцену ее не взяли из-за близорукости. Без пенсне она слепла и делалась беспомощной, как ребенок, — куда же такую на сцену!

Но, несмотря на некрасивость, у всех теток были в молодости жестокие романы. Герои этих романов давно облысели, женились, заведовали департаментами и командовали полками, но все же тетки при случайных встречах с ними на улице вспыхивали, как институтки, потом прибегали к матери Щедрина, запирались в ее комнате и долго плакали.

— За что бог наградил меня такими дурами! — в сердцах кричала за дверью мать.

Но Щедрин знал, что она притворяется.

Сестры не могли жить друг без друга. Мать Щедрина считалась их общей утешительницей. Она была добра, рассудительна и называла себя революционеркой.

Но тетки были отходчивы. Через час после слез они уже возмущались за обеденным столом министром народного просвещения, тупицей Кассо.

Как и у каждой семьи, у Щедриных было свое семейное предание. Когда Александр подрос, мать рассказала ему, что его дед, Николай Щедрин, участвовал в восстании декабристов, был ранен в руку и бежал после восстания за границу. Вместе с матросом восставшего гвардейского экипажа он пробрался в Або и оттуда пошел пешком по льду замерзшего Ботнического залива в Швецию. На Аландских островах его арестовали, но ему удалось бежать в Стокгольм на французском парусном корабле.

Тогда же мать достала из комода и показала Щедрину небольшой портрет молодого военного, сделанный акварелью. Бледный офицер стоял, опираясь на саблю, в дверях пустого зала. На офицере был черный муидир. Позади, за стеклами дверей, висели в небе белые облака и стояли сады, покрытые серой дымкой. От портрета почему-то оставалось впечатление одиночества.

Щедрин не очень верил семейным преданиям. К своим восторженным теткам он относился снисходительно и даже насмешливо.

Александра Щедрина тетки звали увалььем и возмущались тем, что мальчик чрезмерно увлекается научными книгами и сидит по ночам над чертежами географических карт, вместо того чтобы зачитываться Тургеневым и декламировать стихи Фета.

Когда Щедрин получил назначение на Аландские острова и уезжал с матерью из Петрограда в Ревель, все тетки пришли провожать его на Балтийский вокзал.

Морские офицеры, ехавшие в одном вагоне с Щедриным, иронически поглядывали на стайку щебечущих старушек, окружавших Щедрина. Тетки крестили его, давали ему много советов, роняли от волнения пенсне и сумочки. Щедрин краснел и ждал третьего звонка.

Но когда поезд тронулся, он рассердился на себя, на свой стыд за теток перед офицерами и молчал всю дорогу.

...В Ревеле, в тесном номере гостиницы, где от обилия старых ковров и бархатных портьер воздух казался тусклым, мать Щедрина, сидя на диване, сказала ему:

— Саша, ты поищи, милый, на Аландских островах какие-нибудь следы деда Николая. Все-таки интересно.  
— Хорошо, мама.

Мать перед этим плакала, и Щедрин был рад, что она отвлеклась от мыслей о войне и вспомнила про деда.

В Ревеле во время войны запрещалось зажигать свет в домах, если на окнах не были опущены шторы. Они сидели в темноте, и старинный город за окнами был сумрачен и тих. Зеленые звезды горели над ним, и с улиц доносился тихий стук колес.

— Никогда я не думала,— сказала мать,— что буду сидеть с тобой где-то в ревельской гостинице и провожать тебя на войну. Чем все это кончится, Саша?

Мать печально вздохнула.

В дверь постучали. Вошел портье, лысоватый, похожий на сыщика. Он быстро obeжал глазами комнату и доложил, что, по старой традиции, владелец гостиницы ежегодно устраивает для своих жильцов, оторванных от родного дома, рождественскую елку. Владелец гостиницы просит всех сойти в зал, где елка уже зажжена и господа жильцы могут получить подарки.

Щедрин с матерью спустились в зал. Золотой жар разноцветных свечей наполнял его. Окна были завешены.

Елку так густо украсили стеклянными бусами, бумажными цепями, флажками союзных держав и золотыми орехами, что почти не было видно ее темной хвои. Елка стала похожа на дорогую куклу в розовых кружевах. Круглые маленькие столики стояли вокруг нее. За ними сидели морские офицеры и женщины в бальных нарядах.

Черное старенькое платье матери Щедрина выделялось среди шелкового сияния и горячего света, как нищенская заплатка. Мать стеснялась. Они сели в углу, за крайний столик, и долго ждали, пока официант подошел к ним и сунул на стол длинный список кушаний.

— Я выберу сама, Саша,— робко сказала мать и взяла карточку. Денег было немного, и она боялась, что сын, чтобы порадовать ее, закажет что-нибудь слишком дорогое.

Официант не стал ждать и отошел к соседнему столику. Там сидел плотный чернобородый капитан первого ранга. Глаза у него были темные и выпуклые. Он водил

ними по сторонам и с одинаковым выражением брезгливости смотрел и на официанта, и на Щедрина, и на свою даму — пышную и густо напудренную блондинку в лиловом платье.

Мать заказала чай с пирожным. Официант долго не подавал. Ждать за пустым столиком было тяжело и почему-то стыдно, как на скамье подсудимых.

Молоденький мичман подсел к роялю, ударил по клавишам и запел грассируя:

Дитя, не тянися весною за розой,  
Розу и летом сорвешь...

Мичман зажал папиросу в углу рта, небрежно поморщился и заиграл сладкий затихающий пассаж. Тогда из-за дальнего столика грубый голос неожиданно сказал:

— Я просил бы от имени всех господ офицеров сыграть сначала гимн, а потом ваши розы.

Мичман снисходительно улыбнулся, оборвал песню, встал и, слегка наклонившись над клавиатурой и рисуясь, заиграл гимн. Все поднялись. Официанты застыли с подносами среди зала.

Мать Щедрина торопливо встала, ридикюль у нее раскрылся, и из него выпал на ковер скомканный носовой платок. Он был еще сырой от слез.

Когда все сели, женщины вынули из сумочек изящные зеркальца и пудреницы и начали, смеясь и продолжая болтать, пудриться и подводить губы, как будто гимн разрушил их женское очарование в глазах мужчин.

Капитан с выпуклыми глазами подозвал официанта, ткнул коротким пальцем в сторону столика Щедрина и сказал:

— Уберите это!

Официант не понимал и, заискивая, смотрел в брезгливое лицо капитана.

— Что прикажете? — спросил он согнувшись.

— У вас под столиком валяются тряпки! — сказал, раздражаясь, капитан и начал краснеть.

Женщина в лиловом платье быстро заморгала глазами. Официант подошел, поднял скомканный носовой платок и положил его на стол около матери Щедрина.

— Обронили, — сказал он тихо и, пятясь, отступил.

Щедрин смотрел на капитана, руки у него холодели, и лицо чернело от гнева.

— Саша! — сказала мать. — Успокойся... Ради бога, успокойся!

Капитан жадно ел, не обращая на Щедрина никакого внимания. Он сочно жевал, и черная его борода ерзала по синеватой хрустящей салфетке, заткнутой за тугий крахмальный воротник.

— Пойдем отсюда, — сказал Щедрин матери. — Нам нечего делать здесь, среди этих...

Голова у матери затряслась от страха за сына.

Щедрин смолчал. Они вышли. Только на лестнице Щедрин договорил начатую фразу:

— Нам нечего делать среди этих скотов. Голубая остзейская кровь! Мало их топили в Кронштадте в пятом году!

Мать замахала на него руками.

База миноносной флотилии была расположена в городке Мариегамне, на одном из островов Аландского архипелага.

Щедрин был назначен на миноносец «Смелый». «Смелый» нес патрульную службу вблизи берегов, выискивая немецкие подводные лодки, и в Мариегамн возвращался редко.

Месяц за месяцем тянулись скитания по серой и пустынной Балтике. Днем и ночью холодная вода шипела у стальных бортов, гудели турбины, наблюдатели до ряби в глазах всматривались в горизонт, чтобы не пропустить дым или перископ подводной лодки. Офицеры играли в кают-компании в карты. Трудно было поверить, что на море идет война и тусклая вода вокруг полна опасностей. Моряки жаловались, что самая скучная служба во флоте, конечно, на дозорных судах.

— Рыщем, рыщем, — говорили между собою матросы, — блоху в сене ищем.

В последних числах февраля «Смелый» вышел к берегам Швеции. С утра шел снег, перемежавшийся градом и дождем. В корму бил порывистый ветер. Каждую минуту он менял направление и хлестал то в спину, то в лицо, то справа, то слева.

Рыхлые тучи, налитые темной водой, низко неслись над морем. Волны, казалось, дохлестывали до них крутыми гребнями. На всем лежал хмурый налет, будто море закрыла огромная зловещая тень, солнце ушло на-

всегда в другие, счастливые страны и посылает Балтике свой потухающий свет.

— Не то ночь, не то день — ни черта не разберешь! — жаловались вахтенные.— Вот собачья работа!

В свободное время Щедрин много читал. Сначала офицеры заходили к нему в каюту и просили дать почитать что-нибудь, но потом бросили. Выбор книг, по их мнению, был скучный. У Щедрина было больше всего научных книг, офицеры же спрашивали развлекательную беллетристику.

Кроме офицеров, книги у Щедрина брал иногда штурманский Марченко — бывший матрос торгового флота, черноморец, неуклюжий, сутулый человек с прищуренными глазами. Во всех случаях жизни он сохранял невозмутимость, а свое отношение к окружающему выражал несколькими любимыми словами. Самым любимым его словом было «кабаре».

— Это же кабаре! — говорил он, если видел что-нибудь нелепое или непонятное.— Чистое кабаре, накажи меня бог!

В один из этих сумрачных дней Щедрин, освободившись от вахты, лежал у себя в каюте и читал книгу о движении материков. Теория эта была в то время мало известна и поражала своей простотой. Особенно удивляло Щедрина наглядное доказательство этой теории. Щедрин брал небольшую карту земного шара, вырезал из нее ножницами Америку, Европу и Африку, пододвигал Америку к Европе, и контуры материков сходились, как края одного куска бумаги, разорванного на части.

За пристрастие к наукам молодой мичман с радостными глазами, Акерман, прозвал Щедрина «Чарльзом Дарвином», а миноносец был прозван «Смелым Биглем».

По старой морской привычке все миноносцы носили прозвища, так же как и большинство офицеров.

Волосатого командующего флотилией звали «Палубный лев». Старшего офицера на «Смелом», Виктора Попова, прозвали за его маленький рост «Полувитей». Когда Полувитя стоял на мостике, то над поручнями торчала одна его голова в клеенчатом штормовом капюшоне. Миноносец «Стремительный», ходивший вместе со «Смелым», прозвали «Паровой балагулой» за то, что он всегда отставал.

Акерман был начитан, обладал удивительной памятью, любил шутить и выражаться в торжественном стиле авантюрных романов.

Щедрин лежал с книгой в руке, но вдруг схватился за койку. Миноносец сильно качнуло. Он круто поворачивал, меняя курс. Книга упала на пол.

Щедрин сел на койке и вздрогнул: оглушительные колокола боевой тревоги гремели по миноносцу. Над головой, топоча сапогами по железным настилам, бежали люди.

Щедрин, путаясь в рукавах шинели, натягивая ее на ходу, выбежал на палубу. На трапе он столкнулся с Акерманом.

— Что случилось? — спросил Щедрин.

— Наш маленький отважный корабль, — ответил Акерман, — ринулся на неприятельский крейсер.

— Да ну вас! — отмахнулся Щедрин и побежал дальше.

— Команда застыла у орудий, готовая или победить, или умереть! — крикнул ему в спину Акерман. — Слышите?

— Сумасшедший! — успел прокричать Щедрин.

Акерман, ловко спускаясь по трапу к своему месту около орудия, показал Щедрину кулак.

Произошло следующее.

Вблизи шведских берегов с мостика заметили на горизонте немецкий крейсер. Он шел к юго-западу и вел на буксире небольшое судно. Из-за сумерек судно приняли сначала за миноносец, но потом рассмотрели, что это подводная лодка.

Когда Щедрин выбежал на палубу, «Смелый» полным ходом шел с запада на юг, сближаясь с крейсером.

Град бил в лицо. Восточная часть неба была темнее западной. В этом было преимущество «Смелого». С крейсера почти не видели миноносца — он казался сгустком дыма и мглы, мчавшимся в бурунах и пене. Крейсер же чернел на пасмурном небе громадой своих надстроек, труб и орудийных башен.

— Теперь на том крейсере чистое кабаре, — сказал Марченко, стоя рядом с Щедриним. — С таким грузом на хвосте немцы дратья. Сейчас немцы отдадут буксир и кинут свою лодку. Будет дело!

Крейсер становился все темнее и ближе. Он не прибавлял хода, грозно молчал, и в этой неторопливости

крейсера и в его молчании Щедрин почувствовал приближение сокрушительного удара.

Палуба миноносца дрожала. Размахи от волн делались все круче. Люди на мостике и у орудий были привязаны к поручням.

На крейсере полыхнули четыре широких багровых огня, и тяжелый гул понесся в непроглядные морские дали. Снаряды легли за кормой «Смелого».

«Смелый» развернулся бортом и послал мину. Взрыва не было. Крейсер отдал буксирный трос, оставил лодку и, громяхая из орудий, начал быстро уходить к югу. Снаряд ударил в правый борт «Смелого», около кормы. Столб воды обрушился на палубу. Щедрин насквозь промок. На корме слышались крики. Командир послал туда Щедрина.

— Мичман Акерман ранен,— сказал он.— Замените его.

Щедрин прошел на корму. Несколько матросов подняли Акермана. У него была раздроблена нога. Он успел сказать Щедрину:

— Немного рвануло борт, но это пустяки. Командуйте.— Он усмехнулся и добавил.— Истекая кровью, он отдавал приказания матросам...

Акерман хотел сказать еще что-то шутливое, но вскрикнул и застонал. Матросы, приседая и хватаясь за поручни, понесли его вниз, в кают-компанию.

«Смелый» перенес огонь на подводную лодку.

Люди у орудий работали торопливо и безмолвно. Лодка грузно качалась на волнах, как мертвый тюлень, и не отвечала. Ее уже едва было видно в сгустившихся сумерках.

Град барабанил по палубе и отскакивал от поручней. Мутное море гудело и несло к востоку мимо бортов миноносца.

Один снаряд взорвался на подводной лодке около командирского мостика, но лодка молчала. Молчание ее казалось зловещим и опасным.

— Она же пустая,— сказал Марченко Щедрину.— Зря снаряды тратим. Бьем по мертвому месту.

Щедрин не поверил матросу,— не могли же немцы вести на буксире подводную лодку без единого человека команды!

Сорвался шквал. Командир «Смелого» Розен приказал прекратить огонь. Снег лепил в лицо, порошок глаза,



ветер вертел его серыми вихрями вокруг широких труб миноносца.

Палуба была как будто залита темной тушью. Ночь завладела морем и миноносцем; даже в каютах, где были наглухо завинчены стальные крышки на иллюминаторах, лампочки горели в четверть накала.

«Смелый» открыл прожектор и медленно кружился около подводной лодки.

Щедрин спустился в кают-компанию к Акерману. В каюте было холодно, пахло лекарствами. Миноносец сильно качало, и при каждом размахе Акерман стонал все сильнее.

— Почему мы топчемся на месте, а не идем в Мариегамн? — спросил он Щедрина, не открывая глаз.

— Командир решил не отрываться от лодки. Лодка молчит. Черт ее знает, что с ней! Утром мы к ней пойдем.

— Значит, мне отрежут ногу,— сказал Акерман.— Она уже вся горит. Из-за какого-то железного, воняющего отработанным газом чудовища. Какая чепуха! Фельдшер ни бельмеса не понимает.

Акерман махнул Щедрину рукой, чтобы тот вышел.

Щедрин пошел к Розену. Щедрин тоже тряс озноб, и сильно болело под лопатками, трудно было дышать.

Розен стоял на мостике с Полувитей. Розен был тощий молчаливый остзеец. Он носил баки, и сейчас они, мокрые от снега, торчали по сторонам его фуражки, как маленькие уши хитрого и хищного зверя.

— Карл Игнатьевич,— сказал Щедрин очень громко, стараясь перекричать шум ветра в ушах,— мичману Акерману очень плохо. В ноге началось воспаление.

— Эх-хе-хе...— добродушно вздохнул Полувитя.— Придется ему потерпеть.

— Нельзя ли сейчас забуксировать лодку и идти в Мариегамн? — спросил Щедрин.

Розен обернулся к Полувите и пожал плечами.

— Вот извольте,— сказал он.— Сколько раз я просил, Виктор Петрович, этих дураков в штабе не назначать ко мне на миноносец юношей, интересующихся науками! — Он повернулся к Щедрину, засунул руки в карманы шинели и крикнул хрипловатым голосом.— Это военный корабль, а не студенческая сходка! Прошу мне не указывать!

Щедрин махнул рукой и спустился с мостика.

Ночь тянулась очень медленно. Казалось, что утро никогда не сможет пробиться сквозь гущу туч, сквозь темную сырость и снег.

На рассвете «Смелый» начал осторожно подходить к лодке и дал по ней предупредительный выстрел. Лодка молчала.

С трудом спустили шлюпку, перебросили на лодку людей и завезли буксирный трос.

В числе посланных на подводную лодку были Щедрин и Марченко.

То, что Щедрин увидел, показалось ему отвратительным сном. Люк лодки был открыт. В капитанской рубке сидел на полу немец-матрос. Он спал, и его никак не могли разбудить. Рядом с ними лежал труп офицера, должно быть командира лодки.

Из люка несло легким трупным смрадом и запахом хлора. Полувитя, Щедрин, Марченко и два матроса спустились внутрь лодки. Там было темно, пришлось светить карманными электрическими фонарями.

Вся команда лодки была мертва. Люди лежали на койках. На лицах было выражение усталости и умиротворения. Два мертвых матроса сидели скорчившись около открытых кислородных приборов.

Лодка качалась, и вместе с ней качались свисавшие с коек мертвые руки и головы людей.

— Да,— сказал Марченко,— вот она как обернулась, война. Без крови.

Слова его отдавались в голове тупой болью.

— Они задохлись,— сказал старший офицер.— Во сне. Должно быть, лодка опустилась ночью на дно, чтобы дать отдых команде. Два матроса были приставлены к кислородным приборам, чтобы раз за ночь выпустить немного кислорода. Матросы открыли приборы, но не успели их закрыть: они тотчас уснули, кислород их одурманил. Вы не представляете, какой тяжелый сон бывает у людей на подводных лодках!

Щедрин и матросы слушали молча.

— Воображаю,— сказал старший офицер,— какие замечательные сны они видели перед смертью. Сначала кислород заполнил лодку, потом так же быстро, как кислород, начала накапливаться углекислота. Она их и задушила.

— А как же, Виктор Петрович,— спросил Щедрин и проглотил слюну: во рту был привкус меди,— как они

могли всплыть и дать радио о помощи? Этого я не понимаю.

— Я ведь тоже ничего не знаю, голубчик,— ответил старший офицер и посветил фонарем на мертвых матросов.— Должно быть, двое или трое очнулись. Успели пустить сжатый воздух в цистерны, всплыть и послать радио. Но это было, как бы вам сказать, вроде их предсмертной судороги... Ну, пошли наверх!

— Заработали железный гроб,— пробормотал Марченко, подымаясь по трапу.

На палубе подводной лодки Щедрина снова окатило волной, и он начал дрожать так сильно, что с трудом отвечал на вопросы старшего офицера. Полувитя пристально посмотрел на Щедрина.

— Вернетесь на миноносец,— сказал он.— Здесь хватит и троих матросов.

— Да нет, я ничего,— ответил Щедрин и попытался улыбнуться, но из улыбки ничего не получилось.— Вот только промок.

Полувитя вздохнул и отвернулся. Матроса-немца подняли на руки и перетащили в шлюпку. Он зачмокал во сне губами, но не проснулся.

Шлюпка отошла к «Смелому». Он дымил, переваливаясь на волнах, и как будто укоризненно качал головой.

Щедрин сидел нахохлившись в шлюпке, и обрывки мыслей суетились у него в голове. Если бы знала об этом мать! Но ей даже трудно рассказать все, что он видел. Вообще никому нельзя об этом рассказать.

— Сами лезут к черту на рога,— сказал он вслух.

Но никто не обратил внимания на его слова. Матросы гребли, а Полувитя сидел, подняв воротник шинели, и вид у него был совсем не военный. Маленький, с рыжей мокрой бородкой и набрякшим лицом, он был похож на земского доктора.

«Но и ты ведь тоже сам лезешь»,— подумал Щедрин и начал вспоминать, как он попал на войну. Нет, конечно, он пошел не сам, его взяли. Значит, кто-то имеет власть над его жизнью, над любовью к матери, над его судьбой.

«Но кто же, кто? — спросил Щедрин.— Царь?» Над царем в его семье всегда смеялись, называли его тупицей и армейским пьянчужкой.

«В Мариегамне разберусь»,— подумал Щедрин. Сейчас думать не хотелось. Сейчас хотелось раздеться, лечь на койку, закутаться с головой в одеяло и следить за тонкими, как паутинки, постоянно обрывающимися снами.

Но все-таки зачем, например, Полувите, человеку скромному, обремененному кучей детей, дали в руки стальные приборы, созданные для того, чтобы рвать, рубить, кромсать живое человеческое тело?

«Произошла какая-то ошибка в нашем сознании»,— подумал Щедрин. Он вспомнил своего репетитора, студента Райковича. Этот голодный и насмешливый человек только один раз заговорил о войне, когда Щедрин поступал в морскую школу.

— Я признаю,— сказал он,— только одну войну. Она будет необходима и даже желательна. Я говорю о войне, направленной против возможностей всех войн в мире, о войне не между народами, а между теми, кто хочет жить в мире, и теми, кто живет войной.

Шлюпка подошла к «Смелому». С кормы спустили штормовый трап. Щедрин подымался с трудом. Перед ним карабкался Полувитя, и полы его мокрой шинели били Щедрина по лицу.

Щедрин заметил, что после боя матросы и некоторые офицеры потеряли прежний «воинский вид». Они были подавлены, ходили сгорбившись, и почти у каждого в глазах была та же тревога, что и у Щедрина,— тревога от разбуженных боем и недодуманных мыслей.

«Смелый» медленно, часто стопоря машины, чтобы не оборвать буксирный трос, пошел к Мариегамну.

Погода менялась. Ветер стихал. В полдень боязливый свет солнца прорвался сквозь облака. Флаг на «Смелом» был приспущен.

Щедрин лежал у себя в каюте, стонал от ломоты в костях, морщился и кашлял. Он часто засыпал. Его будил судовой фельдшер. Он приносил Щедрину чай и горькие пилюли. Щедрин безропотно проглатывал их и снова засыпал.

Ему снилось, будто он падает ночью в холодную воду. Она с шипением отскакивает от его горячего тела, и сквозь снежную крупу он видит, как взлетает почти до неба и падает в водяные провалы кильватерный огонь «Смелого», взлетает, падает и тускнеет, закатываясь, как звезда, в мрачных ночных горизонтах.

Щедрин звал во сне мать. Он ворочался, сбрасывал одеяло, и лицо его, воспаленное, со спутанными волосами, было похоже на лицо больного мальчика.

Щедрину было в то время всего двадцать лет.

В Мариегамне Акермана и Щедрина сдали в лазарет. У Щедрина началось воспаление легких.

Лазарет был старинный, построенный в начале XIX века. Почти все столетие до немецкой войны лазарет пустовал: народ на Алайдских островах был крепкий, краснощекий, болел редко.

От каменных полов в лазарете было холодно и гулко,— шаги врача доносились издалека. Щедрин и Акерман, лежа в дремоте, слушали треск огня в кафельных печах. На печных изразцах были изображены синеватые парусные корабли, неуклюжие, похожие на корыта. Корабли выпускали из пушек пухлые шары дыма.

В эту зиму в лазарете было особенно пусто и глухо. Кончался февраль. В России началась революция. Флот волиовался, и до лазарета никому не было дела. Об Акермане и Щедринах как будто забыли.

Единственным вестником, приходившим из далекого мира, шумевшего за окнами сиренами кораблей и звоном весенней капели, был доктор — обрусевший швед, проживший всю жизнь на Алаиде.

Его седые волосы торчали на голове в беспорядке, халат всегда распахивался. Он постоянно хохотал у себя в кабинете, и смех его долетал в самые дальние углы лазарета.

Щедрин любил посещения доктора. С ним в палату врывался живой запах табака и спирта. Доктор прикладывал ухо к груди Щедрина; волосы у доктора всегда были мокрые, должно быть от капели и тумана.

Чем ближе к весне, тем чаще остров был затянут туманом. В тумане пищали чайки, перекликались дети, а однажды вечером Акерман разбудил Щедрина, и они долго слушали, как в густом тумане за окнами торжественно и победно гремела «Марсельеза».

«К оружию, граждане!» — пели серебряные трубы.

Их заглушало глухое и грозное «ура».

— Узнаю голоса наших матросов,— говорил Акерман.— Худо сейчас шкуродерам, ой, худо! Разгневанный народ кинулся в дворцы тиранов!

Нога у Акермана заживала, и он снова начал шутить.

Однажды пришел Марченко.

Он рассказал, что его выбрали на «Смелом» председателем судового комитета, и принес Щедрина и Акерману подарки от команды — папиросы, два сухих апельсина и пачку газет за последние дни.

— Слушай, Марченко, мы же все-таки офицеры,— сказал Акерман.— Белая кость, голубая кровь и все такое прочее.

Марченко ухмыльнулся:

— Да вы же почти что наши. Какие вы, извините, офицеры! Офицеры — это шкуры, а вы студенты. У вас мозги другие.

— Ну, что ж,— сказал Акерман,— хоть мы и не заслужили, но и на том спасибо. Значит, будем винтить революцию до конца.

— Известно, до конца.

Марченко встал. Он торопился на матросский митинг.

— Где команды митингуют? — спросил Акерман.— На кораблях?

— Зачем на кораблях! На кораблях тесно. Собираемся на кладбище.

— Подходящее место! — усмехнулся Акерман.

— Самое подходящее,— серьезно возразил Марченко.— На кладбище есть одна могила, облюбовали ее матросы. Около той могилы и собираются, становятся прямо на камень, на валун, и говорят свои матросские речи.

— Чья же это могила?

— Вижу я,— сказал Марченко с сокрушением,— что придется вам об ней рассказать, а то вы вовсе как сухопутные, ничего не знаете. Лежат под тем камнем солдат Семен Тихонов и прапорщик Бестужев. Похоронены они вместе еще при Николае Первом. Понятно, матросы увидели ту могилу, и стало им интересно, почему это солдат зарыт с офицером и лежит на них один тяжелый валун. Стало матросам интересно, и доискались они обо всем у местных жителей. Сами знаете, нет такого дела на свете, до которого бы хороший матрос не мог попытаться. На то он и матрос. Докопались матросы, что сто лет назад стояли в этих местах крепкие зимы и залил замерзал кругом — от края до края. Теперь этого нету. Теперь, сами видите, зима здесь гнилая: снег,

да туман, да дожди, чистая слякоть... Сто лет назад было в Петербурге восстание. Один из тех, кто был в том восстании, бежал, уносил голову от царской награды. Дошел он по льду до здешнего острова, хотел податься в Швецию и попался: схватили его не то жандармы, не то офицеры. И был бы ему верный конец, когда бы не помогли ему бежать тот самый солдат Тихонов и прапорщик Бестужев. Выручили человека, а сами погибли злой смертью.

— Какой смертью?

— Об этом говорят разное. Кто говорит — расстреляли их перед казармами, кто говорит — засекали шомполами и похоронили рядом, в одной могиле.

— Офицера не могли засесть шомполами, — сказал Акерман.

— Ну, как-нибудь другим манером, а все-таки сжили со света... Спите, поправляйтесь, сейчас на воле весело.

Марченко попрощался и ушел.

Щедрин лежал, закрыв глаза. Он вспомнил рассказы матери о деде, восторженные рассказы теток, над которыми он насмеялся, и то, что с детских лет казалось ему семейной выдумкой, внезапно приобрело реальность, вышло из тесного круга их семьи, получило неожиданное значение для новых, революционных времен, становилось широко известным не только ему, матери, его смешным теткам, но и сотням матросов. Значит, дед действительно был здесь, и в тогдашние крутые и страшные времена нашлись два человека, пожертвовавшие жизнью, чтобы спасти его от казни. Подвиг этих людей казался Щедрину гораздо выше, чем подвиг деда. И чем больше Щедрин думал об этом, тем сильнее волновался.

— Слушай, Акерман, — спросил он тихо, — как их зовут?

— Кого?

— Ну этих двоих, похороненных вместе.

— Солдата — Тихонов, а прапорщика — Бестужев.

Щедрину хотелось рассказать Акерману о деде, но он сдержался: больше всего он боялся насмешек и недоверия. «Какой же ты, Саша, к черту, внук декабриста! — скажет Акерман. — Ты же теряешься перед Розеном и не умеешь запросто сойтись с матросами. Ты же типичная шляпа, а не внук декабриста».

Темнело. Зеленая заря горела за оконным переплетом.

В коридоре послышались шаги. Вошел веселый растрепанный доктор. За ним санитар вел, поддерживая за спину, плотного чернобородого человека. Нового больного уложили на койку. Он уставился в потолок выпуклыми насмешливыми глазами и молчал.

Доктор потер руки.

— Вот вам, молодые люди,— сказал он,— еще один товарищ по болезни. Втроем будет веселее.

Щедрин лежал, не открывая глаз. Он очень устал от разговора с Марченко и от мыслей о деде. Ему хотелось спать.

— Я настаиваю, доктор,— сказал новый больной резким голосом (Щедрин открыл глаза и быстро приподнял голову),— чтобы при первой возможности вы отправили меня в Гельсингфорс. Лечение здесь меня не устраивает.

— Господин каперанг<sup>1</sup>,— сказал Щедрин,— Гельсингфорс вам не поможет.

— То есть как? — нагло спросил новый больной.— Что вы городите, мальчик!

— Я не мальчик, а офицер революционного флота и к тому же кухаркин сын,— ответил Щедрин.— Мы с вами виделись на елке в Ревеле. Забыли?

— Представьте себе, не помню,— зло ответил каперанг.— Не припомню такого счастливого случая в своей жизни.

Щедрин сел на койке и сказал, обращаясь к встревоженному доктору:

— Уберите от нас этого хама!

— Но-но! — крикнул каперанг, приподымаясь.— Вы будете иметь дело с командиром флотилии.

— А вы будете иметь дело с матросами флотилии,— ответил, бледнея, Щедрин.— Доктор, этот офицер оскорбил при мне женщину только за то, что она была бедна и плохо одета. Сейчас он собирается дезертировать из флота в Гельсингфорс. Все равно — не здесь, так в Гельсингфорсе матросы с ним считаются.

— Ишиас — болезнь весьма удобная,— пробормотал

---

<sup>1</sup> Каперанг — сокращенное «капитан первого ранга». (Прим. авт.)



Акерман.— Болит — и ничего не видно. А бывает наоборот: и не болит — и все равно ничего не видно.

Капитан сел. Он смотрел на мичманов яростными глазами. Борода его тряслась, на виске вспухли толстые жилы.

— Замолчать! — внезапно крикнул он визгливым голосом.

— Бог мой! — сказал Акерман и зажал уши.— Если вы еще раз так крикнете, то от нас ничего не останется. Помилосердствуйте, господин каперанг!

Каперанг вскочил и, прихрамывая, вышел из палаты. Халат волочился за ним по полу. Доктор и санитар вышли следом за ним. Доктор укоризненно качал головой.

Каперанга уложили в дальней палате, а через два дня ночью пришли матросы, арестовали его и отправили под конвоем в Гельсингфорс, в Центральный комитет Балтийского флота.

В апреле Щедрин выписался из больницы. Доктор запретил ему возвращаться на корабль. Недели две-три после болезни Щедрин должен был поправляться и отдыхать.

По совету доктора Щедрин снял комнату у рыбака Петера Якобсена.

Маленький старый дом стоял у самой воды. Дом был разноцветный: стены синие, облезлые, оконные наличники и двери — оранжевые, а внутри у каждой комнаты был свой, когда-то яркий цвет.

Комната Щедрина была выкрашена в желтую краску и завешена фотографиями предков Якобсена.

По утрам, лежа на деревянной кровати, Щедрин рассматривал висевших над кроватью стариков с тонкими, железными губами — шкиперов и лоцманов, живших некогда в этом доме.

Тут же висели фотографии их дочерей — светлоглазых девушек с приветливым выражением лица — и жен — худых старух. Старухи сидели на фотографиях прямо, как полководцы, крепко положив на колени узловатые руки.

Среди фотографий был только один рисунок, написанный пастелью. Это был портрет молодой женщины с высоко взлетающими, нервными бровями, сумрачным блеском глаз и маленьким чистым лбом. Щедрин, глядя на этот портрет, всегда думал о том, что эта женщина дела-

ла здесь, в ничтожном рыбацьем городке, где сто лет назад было всего триста жителей.

В доме Якобсена было чисто и тихо; изредка только Якобсен пел на кухне заунывные песни и притопывал в такт ногой, ковыряясь в старых сетях.

У Якобсена была дочь трех лет, но она жила не у родителей, а у доктора. Бездетные доктор и его жена воспитывали девочку и собирались дать ей хорошее образование. Звали девочку Марией.

Жена Якобсена, Марта, была рассеянная женщина. Каждый день у нее сбегало молоко или кот воровал жареную рыбу из открытого шкафа. Якобсен беззлобно посмеивался над женой.

Вся эта жизнь производила на Щедрина такое впечатление, будто он перенесся на десятки лет назад, в патриархальную страну, где еще ходят почтовые кареты и в комнатах держат в маленьких клетках сверчков, приносящих счастье.

Странно было, сидя в этих старинных комнатах, читать газеты, пылавшие жаром революционного времени. Газеты были полны призывов, негодований, ошеломляющих известий, сообщений о возвращении в Россию Ленина.

Имя Ленина уже гремело на матросских митингах. Оно было всюду. Стремительные миноносцы разносили его по суровой Балтике. Радио, треща и разбрызгивая искры, передавало его на линейные корабли, в береговые батареи, в крепостные форты, на подводные лодки. Сигналисты набирали его пестрыми флагами.

Оно ширилось, росло, оно стало знаменем и надеждой балтийцев. Вокруг него кристаллизовались недовольство матросов, их воля, их неукротимый революционный пыл.

— Заря всемирной социалистической революции уже занялась,— сказал Ленин во время встречи его на Финляндском вокзале.

Эти слова разнеслись по всему флоту. Казалось, даже море победно шумело и, неся к берегам мощные массы сверкающей воды, повторяло эти слова.

Щедрин волновался. Один раз он был на митинге на миноносце и даже сказал путаную горячую речь.

Матросы долго хлопали ему, вернее — стучали деревянными, мозолистыми ладонями и вынесли Щедрина

с миноносца на берег на руках — должно быть, из жалости Щедрин едва держался на ногах от волнения.

Акерман ходил на костылях. Он относился к революции по-деловому; сидел в судовом комитете и прямо спорил с начальством о гречневой каше, отпусках, добавочных тельниках и других насущных матросских нуждах. Он уже меньше шутил и лишь изредка, заходя к Щедрину, произносил прежние любимые фразы:

— Змея царской власти раздавлена в прах босыми ногами илотов. Алое знамя восстания реет над великой страной.

Щедрин проснулся очень рано. В саду пересвистывались птицы. Над морем дымился ослепительный штиль. Он переливался прохладным блеском на сотни миль, плескал о гранитные берега и, как ребенок, шаловливо дул в лицо тепловатым ветром.

Щедрин пошел на кладбище. Невозможно было сидеть в комнатах в такое праздничное утро. Кроме того, Щедрин давно решил побывать на могиле Тихонова и Бестужева.

В расселинах скал пробивались слабые белые цветы. Щедрин сорвал несколько стебельков с цветами.

На кладбище Щедрин наткнулся на могилу немецких моряков с подводной лодки, захваченной «Смелым», и долго читал список имен.

Около одного из мшистых валунов он увидел Марту. Она сидела, как всегда, немного испуганная и бледная и, улыбаясь, смотрела на Щедрина. В руках у нее были темные еловые ветки. Она принесла их, очевидно, чтобы положить на родную могилу. Щедрин знал, что год назад у Марты умер четырехлетний сын.

Он подошел к ней и поздоровался. По-русски Марта говорила плохо. Но они друг друга все же понимали.

Щедрин прочел на могиле надпись и удивился. Надпись была на шведском языке, но Щедрин все же понял, что здесь похоронена какая-то женщина двадцати четырех лет, Анна-Христина Якобсен, умершая в 1827 году.

— Это ваша родственница? — спросил Щедрин.

Марта глядела на него улыбаясь, но не понимала.

— Кто это? — повторил Щедрин и дотронулся рукой до надписи.

— Анна,— сказала Марта,— бабушка Петера. Есть картина в вашей комнате. Такая милая. Она умерла в этот день.

Щедрин закивал головой. Он догадался, что это была могила той странной женщины, чей портрет он так часто рассматривал у себя над столом.

— А я ищу,— сказал он,— могилу Павла Бестужева.

Марта встала и провела Щедринна к большому камню. Он врос в землю, был отползрован матросскими сапогами. Вокруг него зеленел мох. Щедрин положил на камень цветы. Когда-то он смеялся над сентиментальностью своих теток, сейчас же сам испытывал непонятное волнение перед могилой людей, спасших его деда.

— Здесь лежат хорошие люди,— сказал он Марте,— они спасли от смерти моего деда.

Марта радостно закивала головой:

— Вы сказали — «мой дед»?

— Да.

Марта торопливо заговорила, путая русские и шведские слова. Она взяла Щедринна за рукав и смотрела ему в лицо. Она смеялась, и щеки ее даже порозовели.

— Я не понимаю,— сказал Щедрин.

Марта морщила лоб, подыскивая русские слова, но их не хватало, и Щедрин опять ничего не понял.

Марта досадливо закусила губу, и на глаза ее навернулись слезы. Она махнула рукой и быстро пошла в город. Щедрин, недоумевая, смотрел ей вслед. Ветер развеивал ее широкую юбку. Марта шла не оглядываясь.

«Чем же я ее обидел?» — подумал смущенный Щедрин, сел около могилы и закурил. Бледные, только что родившиеся бабочки летали вокруг, греясь на солнце.

Щедрин вернулся домой. Ни Марты, ни Петера не было. Только кот бродил из комнаты в комнату, жеманно изгибаясь около дверных косяков.

— Ну что, уже украд рыбу? — спросил Щедрин.

Кот сипло мяукнул.

Щедрин снял со стены портрет Анны Якобсен и долго его рассматривал. Щедрин еще никого не любил. Правда, он ходил одно время на каток в Петрограде, чтобы издали увидеть высокую гимназистку, бегавшую каждый день на коньках. Когда она падала и тотчас вскакивала, стряхивала снег с перчаток и моргала рес-

ницами, чтобы избавиться от налипших на них снежинок, у Щедрина начинало колотиться сердце. Но вскоре гимназистка исчезла с катка, и Щедрин ее забыл.

Щедрин смотрел на портрет, на горькие и нежные губы Анны, и думал, что эту женщину он мог бы полюбить беззаветно и преданно. Какая-то грустная тайна скрывалась за этим лицом.

Щедрин вздрогнул и повесил портрет на место: в дом входили.

В дверь постучалн. Щедрин крикнул:

— Войдите!

Дверь распахнулась, и на пороге появился доктор. Его белые волосы были растрепаны больше, чем всегда, глаза сверкали, и на лице сняла торжественная улыбка. За спиной у доктора стояли Петер и застенчивая Марта.

— Здравствуйте, друг мой! — загремел доктор и стиснул руку Щедрина. — Я пришел к вам в качестве переводчика... Войдите! — крикнул он Якобсенам. — Сядьте на эти стулья, и мы поговорим.

— А что, собственно, случилось? — спросил растерявшийся Щедрин.

— Сейчас узнаете! — прокричал доктор и захохотал. — Сейчас вы узнаете все, но прежде всего — расцелуйте эту женщину и этого простофилю, Петера Якобсена. Ну!

Доктор так крикнул «ну», что в старых рамах звянули стекла и кот, приседая, умчался из комнаты.

— Хорошо, — сказал, улыбаясь, Щедрин. — Я всегда рад расцеловать этих людей, но скажите, ради бога, что это значит?

— Целуйтесь! — крикнул доктор и топнул ногой.

Марта робко подошла к Щедрину, вытерла губы концом чистого передника, и они поцеловались. Петер поцеловался по-рыбачьи — три раза — и исколол щеки Щедрина своей щетиной.

— Да будет вам известно, — сказал доктор с торжеством, — что и в двадцатом веке могут случаться чудеса. Мне надоело вычитывать их только из книг. Я часто говорю своей жене: «Ты напрасно скучаешь на Аланде. Здесь каждый день рассказывает свои интересные истории. Дни проходят перед нами, как добрые знакомые, и ты еще очень и очень пожалеешь о наших островах, когда уедешь отсюда». Судите сами. Где вы дышали таким воздухом, как у нас? Где вы видели такое прозрачное мо-

ре? Нигде! Когда вы жили среди таких добрых и честных людей? Никогда!

— Все это так,— согласился Щедрин,— но я ничего не понимаю. Какое чудо случилось сейчас?

— Перейдем к делу,— сказал доктор. Он сел и взъерошил волосы.— Если здесь нет никакой путаницы, то вы внук того декабриста, что был спасен здесь, на Аланде, двумя русскими — солдатом и офицером.

— Да,— сказал Щедрин.— Это, кажется, так. Но откуда вы об этом узнали?

— От Марты,— сказал доктор,— вы сами ей об этом рассказали. Среди здешних моряков есть много степеней родства. Нам они кажутся странными. Мы признаем только кровное родство, а эти простодушные люди признают еще родство спасенных и спасителей. Если кто-нибудь из одной семьи спас человека из другой семьи, то семья родняется. Хороший обычай. Морское дело — опасное, спастись приходится часто, и в конце концов это привело к тому, что почти все жители острова стали родственниками. И, по законам этого острова, Петер Якобсен, Марта и их дочь Мария, находящаяся у меня на воспитании, являются в некоторой мере вашими родственниками.

— Но ведь деда моего спасли, кажется, русские!

— Вы, очевидно, ничего не знаете. Деда вашего спасли прапорщик Бестужев и его жена. Портрет ее вы сейчас видите перед собой. Это она.

Доктор показал на портрет Анны. Так вот кто была эта женщина с таким притягательным лицом!

— В семье Якобсенов,— продолжал доктор,— живет воспоминание о всех событиях, связанных со спасением вашего деда. Это понятно. Представьте себе простую семью, где сотни лет ничего не случалось. Мужчины служили матросами, а к старости делались рыбаками. Женщины, кроме своего дома и детей, ничего не видели вокруг. Говорят, раньше Якобсены были богаты и даже имели парусники, но это было очень давно. Последний из шкиперов, отец Анны, разорился и в старости был всего только маячным сторожем в Эрасгрунде. Но он успел воспитать свою дочь в Стокгольме. Это была необыкновенная девушка. Итак, представьте себе эту скучную и добрую семью, внезапно втянутую в бурю невероятных и печальных событий. В их доме поселяется молодой русский офицер Бестужев. Его пускают скрепя сердце.

Старик боится и не любит русских. Офицер влюбляется в Анну. Анна тоже полюбила его; она была девушка больших чувств и капризов. Старик не хочет и слышать о замужестве с русским.— Доктор замолчал, чтобы закурить папиросу.— Но вот на острове задерживают декабриста. Он пробирался в Швецию по льду замерзшего залива, наткнулся на часовых, и его схватили. Здешние рыбаки и шкипера заволновались. Появилась мысль спасти арестованного, освободить его и увезти на корабле в Швецию. Павел Бестужев стал во главе заговора. Тогда отец Анны смягчился, поверил в благородство русского и разрешил ей выйти за него замуж. Но судьба судила иначе: Бестужев был через несколько дней убит на дуэли. Арестованный бежал при помощи Анны и моряков.

— Из-за чего была дуэль? — спросил Щедрин.

Доктор поговорил по-шведски с Петером и Мартой и ответил:

— Бестужев ударил по лицу офицера за то, что тот грубо обошелся с декабристом. Офицер убил его. Через восемь месяцев после смерти Бестужева у Анны родился от него сын, отец Петера. Анна вскоре умерла. Она долго болела, ее даже считали здесь немного помешанной.

— Спросите их,— сказал Щедрин,— кто тот солдат, что похоронен вместе с Бестужевым?

Доктор снова поговорил по-шведски с Якобсенами и пожал плечами:

— Они не знают. Говорят, что этот солдат умер после порки. За что его поролн — об этом им никто не рассказывал. Думают, что за помощь декабристу.

Щедрин посмотрел на Петера. Петер похлопал его по плечу и засмеялся. Он повернулся к Марте и что-то сказал ей, очевидно, важное. Марта торопливо вышла, вернулась с маленькой старой книгой в кожаном переплете и протянула ее Щедрину.

— Это книга Бестужева,— сказал доктор.— Единственная реликвия. Ее нашли у Анны.

Щедрин бережно взял книгу, открыл титульный лист и прочел: «Эда, финляндская повесть Евгения Баратынского».

Марта что-то застенчиво сказала доктору. Тот перевел:

— В книгу заложено письмо. Оно тоже осталось после Анны. Она с ним никогда не расставалась.

Щедрин перелистал книгу и вынул несколько твердых желтых листков, исписанных гусиным пером. Писавший, видимо, торопился. На странице было много брызг от чернил.

«Анна,— прочел Щедрин,— я совершил великий грех перед тобой, не сказав тебе ни слова о предстоящей дуэли».

От письма шел запах сухой лаванды.

Щедрин читал письмо, хмурился, и руки у него начали дрожать так сильно, что он вынужден был положить письмо на стол, чтобы не выдать своего волнения.

Доктор и Якобсены старались не смотреть на Щедрина. Доктор постукивал пальцами по столу и напевал. Он делал это только в минуты сильного душевного смятения.

... Почти всю ночь Щедрин не спал. Он несколько раз перечитывал письмо Павла Бестужева, перечитал «Эду» Баратынского и подолгу задумывался над местами, подчеркнутыми карандашом. Особенно запомнились Щедрину две строки:

Когда, когда сметешь ты, вьюга,  
С лица земли мой легкий след?

Светлая ночь теплилась за окнами. Вода блестела, как фольга. В северной мгле тлел закат. Запах травы и влажных камней проникал в комнату вместе с голосами птиц.

В такие ночи все кажется прекрасным, даже самые обыкновенные человеческие лица. Тем более прекрасным казалось лицо Анны.

«Наши мучения и гибель,— прочел Щедрин строчку из письма,— ударят по сердцам с томительной силой».

«Что сделать, чтобы осуществить это пророчество?» — подумал Щедрин. Если бы он был поэтом или народным трибуном, он нашел бы слова, чтобы рассказать тысячам людей о судьбе Павла Бестужева и Анны и вызвать в ответ великую силу сострадания. Но даже в письме к матери он не нашел слов для этого.

«Да и нужно ли это?» — думал Щедрин. И дед и Бестужев верили в расплату. Расплата пришла. Разве матросы, солдаты, рабочие, миллионы крестьян, бросившиеся в революцию, как в родную стихию, не мстят за деда, за Бестужева, за Тихонова, не бьются за вольную страну, о которой они тосковали сто лет назад?



Письмо Бестужева Щедрин воспринял как завещание, как призыв, как далекий крик из глубины тяжелого и кровавого столетия: «Не забывайте нас, счастливы!»

Через несколько дней «Смелый» получил приказ идти в Гельсингфорс. Щедрин перешел на миноносец.

Якобсены относились к нему в последние дни, как к близкому родственнику. Марта весь день возилась на кухне и угощала его простыми и вкусными кушаньями. В приготовление их она вкладывала все свое умение. Петер постоянно беседовал с Щедриным о революции, о прошлых временах, о войне, водил на берег и показывал свою старую шляпку и сети.

Вместе с Мартой и Петером Щедрин был один раз в гостях у доктора. Якобсены хотели показать ему свою дочь. Они уже называли ее племянницей Щедрина и гордились этим новым родством.

В доме у доктора все светилось такой удивительной чистотой, какая бывает только в домах северян. Блиста-ли полы, стены, окна, посуда и даже потолок.

Щедрин ничего не понимал в детях. Если при нем говорили, что ребенок красивый, он соглашался, хотя сам никогда не замечал красивых или безобразных детей. Ему казалось, что все дети, за редкими исключениями, похожи друг на друга. И сейчас он охотно согласился с тем, что девочка очень славная.

Щедрина усадили на диван. Девочка села с ним. Она долго смотрела на золотые нашивки на рукаве Щедрина и осторожно царапала их пальцем.

Щедрин заспорил с доктором о том, будет ли революция в скандинавских странах. Спор прервал испуганный возглас толстой жены доктора.

Пока Щедрин спорил, девочка успела отпороть у него на рукаве одну нашивку. Порола она очень осторожно маленькими ножницами.

— Они любят золото, как сороки,— засмеялся доктор.

Девочка смутилась и спрятала голову в коленях у Марты.

Жена доктора надела черепаховые очки, достала шкатулку с иглками и пришила нашивку. Клубки разноцветных ниток лежали в шкатулке, как ежи,— со всех сторон из них торчали иглы.

Перед отъездом Петер пришел к Щедрину и сказал, что он вместе с Мартой просят его взять у них на па-

мять не только письмо и книгу, но и портрет Анны. Щедрин был растроган. Они дарили ему то, что в их семье переходило из рода в род как величайшая драгоценность,

Из Гельсингфорса командир миноносца Розен был отозван в Петроград. Полувитя списался с корабля по болезни, и командиром «Смелого» назначили Щедрина.

Дни, недели, месяцы проходили в непрерывном напряжении, митингах, спорах до хрипоты, в ожидании неизбежного взрыва против Временного правительства.

События надвигались стремительно. Июльская демонстрация в Петрограде, уход Ленина в подполье, роспуск Временным правительством Исполнительного комитета моряков Балтийского флота, всеобщая забастовка в Гельсингфорсе. В начале августа немцы прорвали фронт, взяли Ригу, и полки Корнилова двинулись на Петроград.

Часть матросов со «Смелого», под командой Марченко ушла драться с Корниловым. Миноносец опустел.

Лето стояло безветренное. Оно казалось Щедрину необыкновенно теплым и безмятежным, может быть, потому, что вокруг во флоте и в городе бушевала гроза.

Писем от матери не было.

Щедрин часто спускался в машину и вместе с механиками протирал и смазывал холодные части двигателей. Машины, так же как и люди, как будто ждали неотвратимых событий.

Осень пришла сырая и теплая. Туманы пропитали насквозь желтые листья, и под тяжестью холодной и уже ненужной влаги листья отрывались от веток и падали в траву и на гранитные мостовые.

Иногда Щедрин ходил в город к Акерману. Акерман из-за больной ноги не мог служить на миноносце, и его, как специалиста по связи, назначили комиссаром телеграфной станции. За столом, заваленным телеграфными бланками, Акерман читал Щедрину по длинным бумажным лентам последние, всегда ошеломляющие известия.

Они выходили вместе на улицу, и Акерман затаскивал Щедрина в маленькое кафе, где всегда было пусто, как на острове среди бушующего океана.

Акерман обрывал бледные цветы фуксий, стоявших на столике, и задумчиво говорил:

— Чем это объяснить, Саша? В такие дни особенно начинаешь ценить пустяки. Девушка на тебя только посмотрит, а ты улыбаешься потом весь день, как идиот. Воздух кажется совсем другим. И все другое — и море, и деревья, и даже миноносец.

— Чем же и миноносец другой?

— «Смелый» похож на брошенную дачу. Все прибрали, заколотили и уехали. Остался один сторож. Живет он в одиночестве, топит печи, слушает, как тикают ходики, и ждет, когда приедут новые хозяева.

— Однако ты поэт, Акерман, — сказал Щедрин. — Новые хозяева приедут скоро, ты не волнуйся.

— Да я и не волнуюсь, дурак. Меня не это заботит. Доживем ли мы с тобой до настоящего времени или нет — вот это весьма любопытно. Какую гущу старого придется пробивать и в себе и в окружающих!

Щедрин молча пил крепкий кофе. От сладкого пара слипались ресницы.

— Ты доживешь, я знаю, — сказал Акерман, — а я нет.

— Нога и вообще все у тебя в порядке?

— Что нога! Черт с ней, с ногой. Даже интересно: ходишь хромой, как Байрон. Дело в том, что слишком быстро перегорают нервы. Каждый день — как год. Пойди разберись!

— Ты устал. Поезжай в Питер.

— Я за эту усталость отдам свое прежнее лошадиное здоровье, — ответил Акерман. — Чудесное время! Я ведь не жалуясь. Это так — лирический разговор около облетающих фуксий.

Они вышли. Туман и сумерки смешались над городом в синюю мглу. Сильно пахло паровозным дымом, кофе и гвоздиками из цветочных магазинов: в те дни покупали только гвоздики — символ революции.

Через неделю вечером на палубе над головой Щедрина загремели торопливые шаги. Судя по звуку шагов, человек хромал. Щедрин догадался, что это Акерман, и вышел ему навстречу.

— Саша! — крикнул Акерман, ковыляя по трапу. — Вот камуфлет! Временное правительство свергнуто. Власть перешла к большевикам.

Он вытащил из кармана измятый бланк телеграммы и начал читать обращение нового правительства ко всем трудящимся.

...В Петроград Щедрин вернулся только зимой, после знаменитого ледяного похода Балтийского флота из Гельсингфорса в Кронштадт. Флот пробивался через тяжелые льды, чтобы не попасть в руки немцам, постепенно занимавшим Финляндию.

«Смелый» шел медленно, держа в кильватер линейному кораблю. Дни и ночи шуршал и трескался около бортов лед, и зеленоватая зернистая вода вспухала за кормой широкими буграми.

Дни были темные, как дым. По всем румбам лежала пасмурность. Глаза искали в ней хотя бы проблеск огня далеких родных берегов, но огня не было. Гудели турбины, пел в широких трубах ветер, ночи пели глухим железным гулом бортов и напирającego льда.

Команда зябла. Отопление работало плохо. Иней медленно пробирался по потолкам и стенам.

Особенно тяжелы были ночи. Их густота была так велика, что дневной свет не мог пересилить ее и отступал. День мерк, едва начавшись.

Изредка над кораблями пролетали стаи ворон. Покружившись над палубами, они летели дальше, как бы отмахиваясь крыльями от грозного зрелища обледенелых кораблей.

Из Кронштадта Щедрин пошел пешком по льду в Петергоф. На «Смелом» осталось всего десять матросов; все остальные записались в сухопутные отряды — драться с белыми.

До Петергофа Щедрин шел вместе с матросами. В Петергофе на берегу матросы оглянулись на Кронштадт, и один из них сказал с веселым отчаянием:

— Прощай, Балтика!

Прошли через безлюдный, засыпанный снегом парк. Уже смеркалось. Около дворцовой решетки ходил красногвардеец — пожилой рабочий с винтовкой. Матросы остановились покурить.

— Красная гвардия, — говорили они с уважением и заходили и с тыла и с боку, осматривая рабочего. — Вольные — и те дерутся, а нам сам черт велел. Будем живы — вернемся на свои коробки.

— Ну, чего глаза распялили, молодые люди! — сказал ворчливо рабочий. — Тут останавливаться запрещается.

Матросы захохотали, зашумели и двинулись дальше. Щедрин отстал. Он разговорился с рабочим.

— Я петергофский, — сказал рабочий. — Мебельщик, специалист по ценному дереву. А теперь состою в охране. Мы по трое дежуриим. Но пока что никто не трогает, только зайцы ночью кругом скачут. Вон, глядите, весь снег по откосу затоптали... Пойдемте в сторожку, погреемся, небось идти через лед зябко. В сторожке у меня теплота.

Пошли в сторожку. Там было жарко, роса стекала со стен.

Закурили, Щедрин сказал:

— Это хорошо, что вы дворцы охраняете.

— А как же! — ответил рабочий, сидя на корточках около печки. — Небось сам Растрелли строил. Большую красоту народ себе отвоевал.

Щедрин покурил, попрощался и ушел на вокзал. Говорили, что на Петроград из Петергофа изредка ходят поезда.

Он вошел в парк и оглянулся: дворец казался вылепленным из легкого снега.

В поезде, набитом матросами и красногвардейцами, Щедрин в два часа ночи добрался до Петрограда.

Петроград был черен, пуст. Щедрин пошел через весь город на Аптекарский остров, где жила его мать. Над громадами домов заунывно шумел ветер. Лязгали поломанные водосточные трубы. Под аркой Главного штаба курили часовые. Они потребовали документы и долго рассматривали их при свете железнодорожного фонаря.

Щедрин перешел Неву. Тускло блестел черный лед. Около биржи было пусто, лежал на боку занесенный снегом вагон трамвая. На востоке светилось бледное электрическое зарево — там был Смольный.

Щедрин долго шел по Кронверкскому проспекту. Великий город лежал вокруг в снегах и мраке ночи. Он был суров, молчалив. «Судьба этого города, — подумал Щедрин, — будет прекрасна, необыкновенна. Я еще доживу до этого».

В окнах в квартире матери горела свеча. Двор был занесен снегом. На старых березах спали галки. Они проснулись и захлопали крыльями, когда Щедрин остановился у дверей и начал сбивать с сапог примерзший снег.

Сердце у Щедрина замирало. Он постучал.

Послышались медленные старческие шаги. Мать открыла дверь, через цепочку крикнула: «Саша!» — и уронила свечу. Прибежала тетя Юля, сняла цепочку, и через

минуто Щедрин уже прижимал к мокрой черной шинели дрожащую седую голову матери, плакавшей навзрыд.

— Ну что ты, что ты! — говорил Щедрин. — Видишь, я жив! Успокойся!

Тетки, переселившиеся к матери, торопливо одевались за ширмами, задавали Щедрину бестолковые вопросы, плакали от радости.

На кухне уже гудел старый погнутый самовар. Мать беспрерывно вытирала глаза, суежилась около стола, все забывала, все смотрела на Щедрина и радостно и недоверчиво: уж не обманывает ли он и не надо ли ему завтра же отправляться на какой-нибудь новый фронт?

За ночь ветер засыпал всю палубу «Смелого» лепестками бузины. Щедрин вышел, посмотрел на палубу и вспомнил снег, зимнее плавание в Балтике и ледяной поход.

«Смелый» стоял у крутого берега реки Ковжи. По берегу тянулся заглохший деревенский сад с поломанным забором. Заросли высокой крапивы все время шевелились, и из них выглядывали белоголовые дети.

— Ша-а-а! — кричал на них, как на воробьев, матрос-эстонец Винер.

Дети, прыская от смеха, приседали в крапиве и замолкали. Потом слышался плач. Это значило, что кто-нибудь из ребят обстрекался.

— Пустите их на палубу, Винер, — сказал Щедрин, — пусть посмотрят... Эй, ребята! — крикнул он. — Валите!

Дети выползли из крапивы и собрались у сходней, но дальше они идти боялись и так и стояли около сходней, молча разглядывая миноносец.

«Смелый» шел из Петрограда на Волгу, на колчаковский фронт. Самая трудная часть пути — Маринская система — осталась позади. Мучения со шлюзами кончились. Впереди были Белое озеро, Шексна, Волга.

Дети сопели на берегу и не спускали глаз с миноносца. Впервые на их реке вместо запыхавшихся грязных буксиров появилось длинное и грозное морское чудовище. «Смелый» на реке был гораздо выше, чем на море, — его временно разоружили и облегчили от балласта.

— Ребята, — спросил Щедрин, — где тут деревня Мегры?

Ребята переглянулись и сделали было попытку бежать.

— Стой! — сказал Щедрин. — Кто посмелей — отвечай!

Дети вытолкнули вперед девочку в рубахе до пят.

— За бугром, — сказала девочка, потупившись, и казалось, что она вот-вот заплачет.

— Где «за бугром»?

— Тута.

— А ну-ка, ведите меня все! — сказал Щедрин и сошел на берег.

Дети, сверкая голыми пятками, побежали вперед. За околицей начался лес, заросший орешником.

Дети бежали, оглядывались на Щедрина, спотыкались. Иные ушибались и хныкали, но продолжали бежать, больше всего боясь отстать и пропустить интересное зрелище.

Деревня Мегры стояла за лесистым холмом, на берегу небольшого озера. Дети открыли околицу, пропустили Щедрина, но в деревню не пошли. Деревня была чужая, из окон выглядывали незнакомые сердитые бабы.

— Где здесь живут Тихоновы? — спросил Щедрин косматого деда с клюкой, гревшегося на солнышке около колодца.

— Да Тихоновых тут, сердешный, четыре семьи. Тебе каких?

Щедрину пришлось объяснять деду, что ему нужны те Тихоновы, где была когда-то, лет восемьдесят назад, бабка Авдотья.

— Ишь, куды загнул! — обрадовался дед. — Твое счастье, что я тебе встретился. Мне самому восьмой десяток пошел. Я старый ворон, даром не каркаю. Авдотья твоя померла, милый, когда меня не было на свете, в древнем возрасте померла.

— А кто из ее Тихоновых здесь живет? — спросил Щедрин.

— Да, почитай, кроме Насти, никто и не живет. Одна Настя с дочкой. Муж у нее убитый с ероплану на германской войне. Вон она белье на озере полощет. Ты туды и иди, иди, милый.

Щедрин пошел к Насте. Она звонко била вальком серое белье и кричала маленькой девочке лет пяти:

— Беги домой, нос утри!

— Вы Настасья Тихонова? — спросил Щедрин.

Женщина живо обернулась и, вытирая руки о подол, испуганно посмотрела на Щедрина.

— Флотский,— сказала она успокоившись.— А чего надо?

— Поговорить надо,— ответил Щедрин.— Да тут неудобно.

— А вы идите в избу,— сказала Настя.— Я сейчас уберусь и приду... Катька!— крикнула она девочке.— Проводи дядю в избу. У-у-у, бессовестная!

«Бессовестная» Катька, сопя и выставляя вперед круглый живот, торжественно повела Щедрина в избу. В избе сидел и чесался старый лохматый пес. Он с недоумением уставился на Щедрина, чихнул, поднял густую пыль и снова начал свирепо чесаться.

— Каштан!— хрипло сказала Катька.— Он больших не трогает. Смирной.

Вошла Настя. Щедрин стоял. Настя вытерла подолом лавку и пригласила сесть.

— Ну, давайте поговорим. А я все думаю, кто вы такой. Уж не с фронта ли?

— Нет,— ответил Щедрин,— я не с фронта. Была у вас в семье бабка Авдотья и был у нее сын, солдат Семен Тихонов?

— Был,— сказала Настя.— Мне дед рассказывал: заporоли насмерть в солдатах где-то в чужой земле.

— Был я на его могиле,— сказал Щедрин.— Это далеко, в Финляндии, на островах.

— Скажи, какой ужас!— вздохнула Настя и покачала головой.— Куды погибать загнали! А моего-то убили, сердешного, на фронте, прямо бомбой убили с ероплана, да-а-а.— Настя вытерла кончиком платка глаза и спросила:— А почему вы тем солдатом интересуетесь?

— Деда моего он спас от смерти,— сказал Щедрин и слегка покраснел.

— Скажи пожалуйста!— покачала головой Настя.— Хороший, значит, был человек.

Щедрин рассказал, что он здесь случайно, с миноносца, идущего на Волгу, что из письма одного офицера, умершего в один год с Семеном, он узнал, откуда родом Тихонов, и зашел кстати поведать. Все равно на миноносце делать нечего — надо сидеть, дожидаться буксирного парохода.

— У вас одна дочка?— спросил Щедрин и поглядел на Катьку.



Она стояла у печки, скребла одной ногой другую и смогрела на Щедрина.

— Мальчик есть еще у меня, так он в Петергофе. Обучается столярному делу у нашего одного, мегринского. Двенадцати лет мальчик. Характером тихий, в отца, а нравом очень смысленый... А ты в Петергофе небось будешь? — спросила Настя, переходя на «ты», — это означало, что Щедрин уже признан своим человеком.

— Если не убьют, то буду.

— Может, найдешь сынка-то? Найди, навести, сделай милость! Я тебе и адрес скажу.

Щедрин записал адрес: Алексей Тихонов, Дворцовый переулок, у столяра Никанора Никитина.

Щедрин собрался идти, но Настя его не отпускала без чая.

— Чай, правда, морковный, но ты испей, будь мне другом, — сказала она ласково.

Настя дала Катьке звонкий шлепок, и девочка вылетела на улицу — к соседям за сахаром.

Щедрин видел через низкое оконце, как Настя ставила во дворе зеленый маленький самовар и раздувала его подолом. Потом она ушла за перегородку; там послышался плеск воды и вздохи.

Настя вышла умытая, прибранная, в новом ситцевом платье. Она застыдилась, покраснелась и, накрывая на стол, шуршала вокруг Щедрина накрахмаленной розовой юбкой.

Чай пили долго, по-деревенски, высасывая из блюдец желтый кипяток. Настя с хрустом откусывала сахар крепкими зубами, и Щедрин невольно ею залюбовался.

Уходить ему не хотелось. Настя проводила его до околицы, не боясь завистливых и любопытных баб, выглядывавших из окошек.

У околицы они попрощались. Она протянула ему шершавую руку, опустила глаза и неожиданно сказала вполголоса:

— Может, свидимся. Вы бы мне письмо написали.

Щедрин пообещал написать письмо и вышел за околицу. Около леса он оглянулся. Настя стояла, прикрыв платком подбородок, и смотрела ему вслед. Он помахал ей рукой. Она не ответила — стояла все такая же неподвижная, окаменелая.

В лесу Щедрина дожидались дети. Торопясь и вытирая носы рукавами, они снова побежали вперед, разбра-

сывая песок голыми пятками. Они довели Щедрина до схода и остановились.

Через час подошел буксирный пароход и начал осторожно, покрикивая гудком, выводить миноносец на фарватер.

Перед вечером «Смелый» шел уже по Белому озеру. Оно было действительно белое — слюдяное и бледное. На низких его берегах стояли, как маяки, колокольни сельских церквей. За колокольнями опускалось в леса громадное чистое солнце.

Неожиданно с берегов долетел запах вянущих полевых цветов. Там уже косили сено, и бабы пели пронзительно и заунывно.

Миноносец шел по Шексне на юг, а в это время в Петергофе, в тесной квартирке мебельщика Никанора Никитина, происходил переполох.

Приятель Никитина — старый и рассудительный мебельщик Прохор — заболел и прислал сказать, чтобы Никитин поехал за него доделать книжные полки в Петроград, на Кронверкский проспект.

Дело было обычное. Никитину часто приходилось работать на дому у заказчиков, но сейчас заказчик был необыкновенный. Даже бестолковая жена Никитина — Матрена — и то его знала. Имя его было знакомо всей России, Европе, пожалуй, всему миру — имя одного из величайших писателей передового человечества.

Никитин поднялся в пять часов утра, всех разбудил, долго брился, поссорился с Матреной и, наконец, сердито сказал:

— Алешка со мной поедет. Подручным. Небось в дом его пустят. Пусть поглядит на настоящего человека.

Алеша Тихонов побледнел и одернул вылинявшую ситцевую рубашку.

Матрена крикнула:

— Ишь, чего придумал, старый черт! Гляди, чтоб тебя одного-то пустили. Не видали твоих подручных!

— Тихо! — сказал Никитин. — Слово мое окончательное!

Матрена плюнула и сказала в пространство:

— Одежи у него нет подходящей.

— Поедет в чем ходит.

Но все-таки Матрена вытащила рывком из старого, разошедшегося комода новую ситцевую рубашу для Алеши и разгладила ее на подоконнике. Алеша торопливо натянул ее. Рубаша была еще горячая и обожгла спину.

— Куда торопишься! — крикнула Матрена. — Шею умой сначала, ходишь тут обормотом. Нет на вас настоящей погибели, на обоих!

За чаем Матрена, не глядя на Никитина, говорила Алеше:

— Ты за им смотри. Он, знаешь, какой! Чуть что, сейчас язык распушит и пойдет чесать, и пойдет трепать, изговорится весь вконец. На одном разговоре душа держится.

— Молчи! — сказал Никитин. — Речи свои в себе держи, имей остротку.

Когда Никитин и Алеша уехали, Матрена побежала к соседкам и, гордая, раскрасневшаяся, рассказала, что ее изверга вместе с Алешкой вызвали на работу к знаменитому человеку. Соседки завистливо вздыхали.

— Да что ты, милая! — говорили они нараспев. — Страх-то какой! Да неужто он так-таки и поехал с мальчонкой? Ему, видать, все нипочем, он у тебя отчаянный мужчина.

А между тем отчаянный мужчина, шагая по заросшим травой торцам, по безлюдным петроградским проспектам, так охрип от волнения, что с трудом разговаривал даже с Алешей.

— Что-то голос у меня стал хриповат, ты не слышишь? — тревожно спрашивал он Алешу.

— Сип у вас сильный, Никанор Ильич, — отвечал Алеша.

Чтобы прочистить голос, Никитин зашел в пивную и выпил кружку кислого пива, похожего по вкусу на квас.

Алешу Тихонова привезли в Петергоф полтора года назад. Ему в Петергофе очень нравилось. Мальчик он был боязливый, на все смотрел долго и внимательно: на серое море, на дворцы, на матросов, хлопавших клешами по пустым петергофским улицам. Изредка, неизвестно откуда доносилась стрельба. Один раз даже забухали пушки, и Алеша робко спросил Никитина, что это значит. Никитин потянул его за нос и ответил:

— Вот для таких, как ты, стараемся, для несмышленишей.

Объяснение было туманное, но Алеша главное понял, а потом путем расспросов выяснил и все остальное: кто такие большевики, чего хочет Юденич, кто пролетариат и кто буржуазия.

Никитин учил мальчишку столярному делу и, за неимением собеседника, часами разглагольствовал с ним о старинной мебели, о различных свойствах дерева, о политуре и о знаменитых мастерах, которые — вечная им память! — давно уже померли. Никитин вспоминал золотильщиков, мастеров по бронзе, лепщиков, паркетчиков. Он знал тайны многих ремесел и старался втолковать их Алеше.

Алеша слушал внимательно. Никитин давал ему книжки — то Пушкина, то Гоголя, то малоизвестного Крестовского, заставлял читать и потом придирчиво требовал, чтобы Алеша рассказывал ему содержание прочитанного. Но Алеша предпочитал рисовать. Кроме цветных карандашей, у него ничего не было, но этими карандашами мальчик делал рисунки, приводившие Никитина в восторг.

— Быть тебе Репиным! — говаривал Никитин. — Рука у тебя сама рисует, без всякого умственного напряжения. Учить тебя, дурака, надо.

На Кронверкском проспекте Никитин и Алеша долго стояли перед высоким серым домом. Никанор Ильич поглядывал на его широкие окна и покашливал. Потом, решившись, вошел в подворотню и спросил какого-то человека, подметавшего двор, где живет знаменитый писатель.

— Налево, первая дверь, — сказал человек и даже не обернулся.

— Нахальный человек, малообразованный, — сказал Никитин Алеше, когда они подымались по лестнице.

Позвонили. Никитин и Алеша плохо помнили, кто им открыл, кто их провел в большую комнату, где не было никого и по стенам стояли полки с книгами. Сотни книг, тысячи, может быть, десятки тысяч, стояли на полках, лежали на столах, на стульях, на подоконниках и прямо на полу. Алеше захотелось тут же сесть на корточки и рассматривать их с утра до вечера, хотя бы целый год.

Никитин огляделся и дотронулся до полки, начатой Прохором. Она была из красного дерева. Осталось только ее отполировать.

Никитин начал работать. Сначала руки у него дрожали, и при каждом шорохе в соседней комнате замирало сердце, но потом от знакомой и любимой работы он успокоился и на постоянные вопросы Алеши: «А сам-то выйдет?» — отвечал:

— Откуда я знаю! Что я, бог?

Неожиданно дверь отворилась и в нее, сутулясь и тяжело шагая, вошел высокий седоватый человек с простым курносым и добрым лицом — настоящий дядя Василий, знакомый и Никитину и Алеше водолив с шекснинской баржи. Сутулый человек был одет в серый тонкий костюм, лежавший на нем свободно и мягко.

Он пожал громадной рукой руку Никитину, измазанную политурой, провел по голове Алеши от затылка ко лбу, отчего волосы сразу взъерошились, взглянул на полировку и сказал, покашливая:

— Великолепно работаете! Великолепно!

Алеша с испугом смотрел на громадного человека: это-то и был знаменитый писатель!

Писатель достал из кармана коробку длинных папирс, раскрыл и протянул Никитину. Алеша смотрел во все глаза. Никанор Ильич деликатно, тремя пальцами взял папироску и закурил, хотя не курил никогда в жизни, — неудобно было отказать такому человеку.

— Тебя как зовут, пузырь? — спросил писатель Алешу.

— Алексеём, — сердито пробормотал Алеша.

— Алексей — человек божий, зашитый в рогажу, — серьезно сказал писатель, но серые его глаза добродушно, по-стариковски улыбались, — гвоздиком прибитый, чтобы не был сердитый. Однако работайте. Я вам мешать не буду.

Он ушел. Из соседней комнаты долго погромыхивал его глухой бас. Он что-то объяснял кому-то и говорил:

— Не мне вас стыдить, не мне. Писатель должен знать все сорта яблок, раз о них пишет. Вот, скажем, грушовка или анисовка. Чем разнятся? У меня на Оке был друг садовник, большой души человек...

Но тут сразу заговорило несколько голосов, и слов писателя уже нельзя было разобрать.

Алеша в оцепенении смотрел, как работает Никитин. Мастер делал чудеса. Еще ни разу Алеша не видел, чтобы дерево покрывалось такой тонкой полировкой. Закатное солнце косо падало в комнату, и в коричневой глуби-

не дерева тлели золотые волокна. Дерево казалось погруженным в темную, но прозрачную воду, и сквозь эту воду было видно его строение — свободное, волнистое и сложное.

Снова вошел писатель. Он долго расспрашивал Никитина о разных тонкостях мебельного дела. Алеша с испугом замечал, что Никанор Ильич все смелее разговаривает с писателем и вот-вот, как говорила Матрена, сорвется и начнет «чесать и трепать» без конца.

— Вы ученый человек, — сказал Никанор Ильич. — Объясните мне, дураку: чем это дерево хуже драгоценного камня? Игра есть, блеску — сколько хочешь, цвет лучше, чем у граната. Однако это дерево показывает себя только при свечах. Электричество на него не действует.

Писатель слушал, хмурился и улыбался.

— Ежели бы у вас были свечи и в комнате было потемней, я бы вам показал настоящий вид этого дерева, — хвастливо сказал Никанор Ильич.

— Чудесно, можно показать! — ответил писатель, подошел к окнам и спустил шторы.

Стало почти темно. Писатель ушел и вернулся со свечкой.

— А ну-ка, светите, — сказал он, и в глазах его Алеша увидел такое же веселое любопытство, как и у своих прятелей-ребят. — Что получится в этом разе?

— В этом разе, — сказал Никанор Ильич, — получится полное превращение.

Он зажег свечу и поставил ее на полку. Дерево сразу же изменилось. Оно казалось теперь бездонным и черным. Пламя свечи плавало в его глубине, как маленькое туманное солнце. Оно было окружено ореолом и зажигало вокруг себя волокна. Они светились багровым винным огнем.

— Моцарт и Сальери, — сказал неожиданно Никанор Ильич, и Алеша затрясся от испуга: предсказание Матрены сбывалось. — Читал я двадцать раз эту пьесу, никак не мог начитать. Полирую такое вот дерево, а сам вспоминаю. Очень навязчивые слова: «Звучал орган в старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался, — слезы невольные и сладкие текли».

Писатель ухмыльнулся в усы и позвал из соседней комнаты каких-то людей. Он показал им дерево при свете свечи, любовался и говорил глухим басом отрывистые

слова о прелести подлинного искусства — будь то литература или полировка мебели.

Алеша слушал как в тумане. Почему-то разговор перешел на архитектуру, и Никанор Ильич сказал громким и развязным голосом, что Воронихин перед Растрелли — мальчишка и щенок. Все зашумели, а писатель держал Никанора Ильича за руку и говорил сердясь:

— Это вы, батенька, хватили не туда. А Горная академия — разве плохо? А Казанский собор?

— Тяжести много. Здание должно легко и точно стоять на земле, — ответил Никанор Ильич.

Писатель засмеялся, взял Никанора Ильича за плечи и сильно встряхнул.

Разговор вдруг зашел об Алеше, и мальчик не знал, куда деваться. Никанор Ильич начал «трепать» всем про его рисунки и повторил свои любимые слова:

— Рука у него сама рисует, без всякого умственного напряжения.

— Вот вам и ученик, — сказал писатель, обращаясь к худому человеку с редкой бородкой и сердитыми глазами. — Все вы позапирались в своих мастерских, учеников не создаете. В стране — революция, а вы — как кроты. А как бывало у старинных художников? Какая вокруг них выростала замечательная семья учеников! Прекрасная была традиция. Плодотворная и великая. Надо ее возвратить нашему времени. Скупцы вы, прабабку мою чапоминаете. Она ассигнации закапывала в землю, чтобы другим не достались. Деньги все сгнили, краска слезла. Она их сушила потом на печке, да что толку: никто их не брал.

Худой человек строго посмотрел на Алешу.

— Попробую, — сказал он. — Возьму его к себе в академию.

— Давно пора, — сказал писатель так сердито, как будто он говорил об Алеше этому художнику уже целый год. — Великолепные возможности упускаете.

Алеша и не помнил, как они с Никанором Ильичом ушли от писателя. Над безлюдным Петроградом стояла белая ночь, многоцветные воды тускло поблескивали, и на севере, за черными кущами островов, яснала заря.

— Будешь ты человеком, Алексей, — сказал Никанор Ильич. — Будешь! Слово мое окончательное!

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В Ботаническом саду на Аптекарском острове небольшой фотографический аппарат был наведен на голую ветку яблони. Стоял март, на ветке едва заметно завязывались почки.

Через каждые три часа аппарат щелкал и делал снимок. Так он щелкал весь март, апрель и май, пока ветка не расцвела.

Алексей Тихонов часто заходил в Ботанический сад. В стволах деревьев, в рисунке листьев, в разросшихся в беспорядке ветвях он находил разнообразие форм и красок, помогавшее ему работать над своими картинами.

Он сдружился, как с человеком, с маленьким черным аппаратом, спрятанным в листве. Аппарат жил одной жизнью с растениями. Он проводил с ними и дни и ночи, когда в оранжереях было так тихо, что можно было услышать шорох земли, всасывающей падавшие с листьев капли. Когда аппарат убрали, Тихонов почувствовал сожаление, будто из оранжереи увели маленького зверя, жившего в траве и никому не причинявшего зла.

Сотрудники Ботанического сада показали Тихонову снятую аппаратом пленку. За пять минут они пропустили ее через проекционный фонарь. Тихонов смотрел на белый маленький экран и видел, как почка на глазах росла, набухала, покрылась клейким соком, лопнула и из нее, потягиваясь, как после сна, распрямляя измятые лепестки, расцвел белый цветок и вдруг весь задрожал от упавшего на него солнечного света.

Когда Тихонов думал о долгих годах, прошедших над его страной и над его жизнью, он вспоминал этот как будто внезапно, но на самом деле медленно расцветший цветок.

Тихонов знал, что годы шли с закономерной, давно вычисленной неторопливостью, что страна менялась с каждым месяцем, и с каждым месяцем в сознание входили новые мысли, желания и цели, определявшие лицо иного человека.

Но вместе с тем ощущение прожитых лет было таким, будто стояло все одно и то же утро и до полудня было еще далеко. Время казалось единым, не раздробленным на скучные отрезки лет. Длился монолитный и величавый год революции.



А между тем у Тихонова на висках уже пробивалась ранняя седина, а у дряхлого Никанора Ильича тряслись руки. Он все чаще отрывался от работы и сидел неподвижно, жалуясь на сердце.

Бросать работу он не хотел.

— Помирать уже время,— говорил он,— а я, видишь, работаю. Упираюсь. Почему? Очень просто: я считаю, что должен отблагодарить новую жизнь своей работой, оставить молодым поучительные и богатые подарки.

И он оставлял, старик, эти подарки. Они были в тонкости отделки дерева, в вещах, не уступавших работам лучших мебельных мастеров девятнадцатого века.

— Я самоучка,— говорил он.— Мне бы до хороших образцов дотянуться — и то победа. А вам все дано, молодым,— с вас народ взыщет побольше, чем с нас.

Знаменитый писатель умер. Умер и учитель Тихонова — художник с сердитыми глазами. Умерла и мать Тихонова, Настасья.

Он поехал в Мегры, когда получил письмо от нее с просьбой «приехать, похоронить старуху».

Настасья лежала в избе прозрачная и молчаливая, улыбалась, и зубы у нее блестели, как в молодости. Она рассказала Тихонову, что почти двадцать лет назад приехал в Мегры какой-то флотский, расспрашивал про деда Семена, запоротого насмерть, и обещал навестить в Петергофе Алешу.

— Был он у тебя? — спрашивала она тревожно. — Говори: был?

— Нет, мать, не был.

— Как же так? — спрашивала Настасья с недоумением. — Такой высокий, ладный. Я об нем сколько лет все помнила, все тужила. Неужто убили его на фронте?

Она заплакала.

На похороны приехала из Череповца Катя — высокая смуглая девушка. Она работала учительницей, но хотела переменить профессию и стать инструктором по спорту. Она брала призы на гребных состязаниях. Любовь к воде и лодкам была у нее ревнивая и неистовая.

Тихонов взял ее с собой в Ленинград, и через месяц она уже работала на водной станции на Крестовском острове.

Тихонов жил все там же, в Петергофе, в домике Никитина. Ленинград сиял чистотой новых домов. В мраморе, в зеркальных стеклах отражался величественный го-

род, сбросивший прежнюю хмурость, но Тихонов полюбил стариков, не хотел их обижать и по-прежнему жил у них в мезонине.

Где бы он ни был — в Севастополе или Баку, во Владивостоке или на Волге, — он всегда знал, что вернется в этот домик, заваленный холстами, подрамниками, кусками ценного дерева, пропахший красками, спиртовым лаком и геранью, — Матрена разводила ее с неизменным упорством.

Деревянные платформы Балтийского вокзала потемнели от росы. Была белая ночь. Электрические поезда на Петергоф ходили без огней. Вагоны мягко гремяли на стыках, боясь спугнуть тишину дачных поселков, нарушить безветрие, давно стоявшее над взморьем.

Тихонов спешил в Петергоф. В газетах было опубликовано сообщение о большом празднике искусств в Ленинграде, назначенном на 24 июня. Тихонов хотел порадовать этим сообщением старика Никитина.

Сидя у окна вагона, Тихонов пытался в десятый раз прочесть это сообщение в газете, но свет был очень слаб. Прочесть можно было только напечатанное крупным шрифтом. Тихонов отложил газету и взглянул в окно. Там простиралась неясная и высокая ночь. Единственная звезда преодолела сумрак и медленно пылала над высокими зарослями садов.

«Должно быть, Юпитер», — подумал Тихонов. Он представил себе ночь над Финским заливом, когда во мгле виднеются только три огня: белый огонь маяка в Кронштадте, пепельный огонь Юпитера и тихий золотой блеск на куполе Исаакиевского собора, освещенном зарей. Заря горела тут же, за краем земли. Утро стояло рядом, и жители верхних этажей ленинградских домов видели его всю ночь из своих окон.

...Старик Никитин не спал. Он окликнул Тихонова из открытого окна. Старик работал: полировал крышку от старого рояля.

— Газету привез, Алеша? — спросил Никитин. — Говорят, там про наш праздник уже напечатано.

Тихонов особенно любил старика за то, что все относившееся к архитектуре, скульптуре и украшению зданий старик считал своим личным делом. Великий зодчий Захаров, строитель Адмиралтейства, или скульптор Андреев были для него такими же своими и понятными людьми, как и знакомые бронзиривщики и плотники.

Старика объединяло с этими людьми знание дела, верный глаз, любовь к материалу — будь то тонкослойное дерево, тертая краска или кусок хорошей звонкой бронзы.

«Должно быть, в этом и заключается преемственность культуры, — решил Тихонов, — в этом тысячелетнем содружестве мастеров, кто бы они ни были — слесари, плотники, зодчие или поэты».

Никанор Ильич попросил Тихонова прочесть сообщение о празднике. Тихонов прочел его вслух, сидя на подоконнике, и простые слова сообщения показались ему созданными для того, чтобы быть высеченными на камне:

«Социалистическая культура, завоеванная кровью и созданная героической работой трудящихся Союза, уверенно идет по пути непрерывного расцвета. Социалистическая эпоха требует создания монументальных памятников и художественных произведений, которые могли бы запечатлеть и передать потомкам ее величие и ее героическую сущность. Создание этих памятников искусства даст применение разнообразным талантам, которыми так богаты народы, населяющие Союз.

Наш город — город Ленина — является не только колыбелью революции и центром передовой индустрии, но и городом знаменитых мастеров искусства.

Закон зваения нашим обществом культурного наследства имеет в нашем городе наибольшие основания для своего выражения. Достаточно вспомнить имена хотя бы одних только зодчих — строителей города — Баженова, Растрелли, Воронихина, Захарова и других, чтобы ясной стала мысль, что именно здесь, в городе Ленина, молодая социалистическая страна может учиться законам мастерства у славных художников прошлого.

В связи с тем, что в Ленинграде открываются академии, готовящие мастеров архитектуры, скульптуры, живописи и гравюры, мастеров художественной обработки камня, дерева и металла, фарфорового и гранитного дела, Ленинградский Совет решил устроить в Ленинграде 24 июня большой народный праздник. Основная мысль, которой должен быть отмечен этот праздник, заключается в том, что социалистический город, в отличие от городов капиталистических стран, является не только местом расселения людей и средоточием государственных учреждений, общественных организаций и заводов, но и самостоятельным произведением искусства — мощным фактором в деле художественного воспитания масс».

— О чем разговор идет в этом сообщении, как я понимаю? — сказал Никанор Ильич. — О благородстве души человеческой. Я давно замечаю, что народ разный бывает, в полной зависимости от того, что он вокруг себя видит.

— Благородство твое где, — сказала из угла Матрена, — когда заказчик уже телеграмму прислал, тревожится, а крышка у тебя не готова!

— Ничего с ним не делается, с заказчиком. Заказчик мне все простит за эту крышку. Он у меня моряк, разнообразный человек. Говорить с ним, прямо скажу, затруднительно. Я ему про черное дерево, а он мне про климат. Я ему про темный лак, а он мне про климат. Замутил меня с этим климатом!

— А что с климатом? — спросил Тихонов.

— А с климатом дело сложное. Ежели оно ему удастся, мы будем самой счастливой нацией в мире. Стоит у него в кабинете срез дуба; лет этому дубу четыреста, если не больше. Ну, понятно, на дубе годовые слои. По-нашему это называется «древесный глаз». Одни слои толще, другие тоньше, есть и совсем тонкие, не шире нитки. Вот он и спрашивает: «Что ты перед собой видишь, Никитин, мудрый человек, всезнающий мебельщик?» — «Слои как слои, говорю. Дубовый слой тоже имеет красивый вид, ежели его с умом отполировать». А он начинает спорить: «Не в полировке дело, а в точных выводах. Я, говорит, немного и метеоролог и ботаник. Каждый год слой нарастает в зависимости от влаги. В дождливое лето слой растет больше, в засушливое — меньше, и по этому дубу можно рассказать на пятьсот лет назад, какой климат его окружал». — «А к чему вам это знать? — спрашиваю. — Есть ли из этого хоть самая маленькая польза для нашего брата — человека?» — «Есть, говорит, только рассказывать долго. Пока скажу тебе одно: прочли мы по этим срезам и по другим всяким приметам чудесную вещь; а вещь эта заключается в том, что были времена, когда у нас стоял климат теплый и веселый, как на острове Цейлоне. Леса из магнолий росли кругом по берегам Финского залива. Мы, говорит, будем стараться этот климат вернуть. Сделать это, говорит, можно и нет в этом никаких чудес».

— Помереть не дадут спокойно! — пробормотала Матрена. — Герани им не хватает, старым дуракам, давай им магнолию!

— Герань против магнолии — дрянь! — рассердился Никанор Ильич. — У герани лист надоедливый, шерсткий. Ты со мной не заводись, старая!

Старики заспорили. Тихонов попрощался и ушел к себе в мезонин. Из окон был виден залив. Птица зашевелилась в сырых ветвях и осторожно крикнула, будто кого-то позвала. Часы внизу долго шипели и наконец пробили два медных удара.

Тихонов постоял в раздумье у окна, потом осторожно спустился и пошел в дворцовый парк.

Спать не хотелось. Читать в рассеянном блеске белой ночи было нельзя, так же как нельзя было зажигать свет. Электрический огонь казался крикливым. Он как бы останавливал медленное течение ночи, уничтожал тайны, свернувшиеся, как невидимые пушистые звери, в углах комнаты, делал вещи неприятно реальными, более реальными, чем они были на самом деле.

В аллеях застыл зеленоватый полусвет. Поблескивали золоченые статуи. Фонтаны ночью молчали, не было слышно их быстрого шороха. Падали только отдельные капли воды, и плеск их разносился очень далеко.

Каменные лестницы около дворца были освещены зарей; желтоватый свет падал на землю, отражаясь от стен и окон.

Дворец просвечивал сквозь неясную темноту деревьев, как одинокий золотой лист светится ранней осенью сквозь гущу еще свежей и темной листвы.

Тихонов пошел вдоль канала к заливу. В канале меж заросших тиной камней плавали маленькие рыбы.

Залив был чист, спокоен. Над ним лежала тишина. Море еще не просыпалось. Только розовый отблеск воды предвещал близкий восход солнца.

Океанский пароход шел к Ленинграду. Заря уже горела в его иллюминаторах, и легкий дым тянулся за кормой.

Пароход затрубил, приветствуя великий северный город, конец трудного морского пути. Далеко в Ленинграде, где уже светился бледным золотом шпиль Адмиралтейства, ему ответил протяжным криком другой пароход.

В канале стояли шлюпки. На них, укрывшись брезентом, спали молодые матросы. Тихонов видел их румяные от сна лица, слышал изредка легкий храп. Предраассветный ветер задувал с моря и шевелил листья над головой.

Тихонов прошел на берег. Никого не было, только на самом конце пристани на деревянной скамейке сидела какая-то женщина.

«Что она здесь делает в такой час?» — подумал Тихонов. Черный облезлый кот осторожно ходил по сырому настилу пристани и после каждого шага брезгливо тряс лапой.

Тихонов остановился у перил и заглянул в воду. Кот тоже заглянул, и глаза его сразу почернели: около свай шевелила хвостами стая серебряных длинных рыб.

Женщина встала и пошла к Тихонову. Он смотрел на нее, и чем ближе она подходила, тем все яснее, как из тумана, звучали легкие шаги, и уже была видна ее смущенная улыбка. Маленькая шляпа бросала тень на ее лоб, и поэтому глаза казались очень блестящими. Шелковое платье цвета морской воды поблескивало и шуршало, и Тихонов подумал, что женщине, должно быть, холодно, — предрассветный ветер, как бы он ни был тепел, всегда несет с собой запах снега.

Женщина подошла. Тихонов взглянул ей в лицо и догадался, что это иностранка.

— Скажите... — произнесла женщина медленно, и легкая морщинка появилась у нее между бровей. — Скажите, скоро будет пароход в Ленинград?

Она, видимо, с трудом подбирала слова и выговаривала их с сильным акцентом.

— Через два часа. Поездом вы доедете скорее.

Женщина отрицательно покачала головой:

— Поездом нет. С поезда я не могу искать в Ленинграде дорогу домой.

— Почему вы здесь в такое время? — спросил Тихонов.

— Я опоздала на последний пароход. Очень глупо. Я сидела всю ночь здесь. Только я и вот этот страшный кот. — Она показала на черного кота и засмеялась.

— Вы француженка? — спросил Тихонов и покраснел: что он, следовательно, что ли, что задает ей такие вопросы.

Женщина подняла голову. В твердом овале ее лица и маленьком подбородке было одновременно что-то французское и северное.

— О нет! — сказала она протяжно. — Я шведка. Но я говорю по-французски.

Тихонов смотрел на нее, но думал о себе. Он старался представить себя со стороны.

Несмотря на свой возраст, он чувствовал себя мальчишкой и страдал в обществе взрослых. Его сверстники были уже маститые люди и по внешности и по своему душевному складу. Тихонов же еще плохо верил в свою талантливость и любил все, что любят мальчишки: рыбную ловлю, поезда, вокзалы, лыжи, пароходы и путешествия.

Перед взрослыми он часто терялся, чувствовал себя связанным, знал, что он совсем не такой, каким его представляют другие. Когда он читал о себе в газетах или слышал разговоры товарищей-художников о своей одаренности, он оставался равнодушным, как будто речь шла не о нем, а об его однофамильце или двойнике.

Он знал, что до сих пор его лучшая картина еще не написана, и потому искренне удивлялся шуму, который все чаще подымался вокруг его вещей.

Сейчас он подумал о себе потому, что с особенной силой ощутил себя мальчиком. Он растерялся перед незнакомой женщиной, бывшей моложе его.

Женщина тоже смутилась и, наклонившись, чтобы спрятать лицо, гладила облезлого кота. Кот вопросительно смотрел на нее и мяукал.

Взошло солнце. Сады начали разгораться, сбрасывая рассветную дымку. Живой свет пробежал, как ветер, наискось по лицу женщины, блеснул в ее глазах, осветил ресницы и нервную руку, сжимавшую перила.

Залив покрылся полосами света и тумана. Далеко по воде катился глухой крик парохода, подходившего из Ораниенбаума. Пароход шел в Ленинград.

Худошавый хромой смотритель пристани вышел с удочками на дощатый настил. Он поздоровался с Тихоновым и спросил:

— Что это вы, Алексей Николаевич, так рано собрались в Ленинград?

— Нет, я провожаю, — ответил Тихонов.

Смотритель развернул удочки, сел, свесив ноги с пристани, и начал удить. Он изредка посматривал на Тихонова и незнакомую женщину и сказал про себя со вздохом:

«Мысль о потерянной молодости угнетала его дряхлое сердце».

У него клюнуло, он выругался и вытащил маленькую рыбу.

Подошел пустой пароход. Тихонов проводил женщину





до сходен. Она протянула ему руку и рассеянно посмотрела в глаза.

— Ну, прощайте,— сказала она и отвернулась.— Благодарю вас.

— Граждане пассажиры,— сказал с мостика капитан,— пора!

Она взошла по сходням. Пароход сердито закричал, медленно попятился и повернулся носом в море. Высокие вежи блестели на воде.

Тихонов увидел ее на палубе. Ветер обтягивал платье около ее высоких ног и хлопал кормовым флагом.

Тихонов пошел к берегу. Около смотрителя он оглянулся. Женщина все еще стояла на палубе.

— Какое лето! — сказал смотритель.— Я еще никогда не видел такого лета на Балтике. Сплошное солнце.

Тихонов согласился, неторопливо отошел от пристани, но, когда скрылся за деревьями парка, быстро пошел к вокзалу.

Первый поезд на Ленинград отходил в шесть часов. Тихонов ждал его, волнуясь и глупо надеясь, что поезд отойдет раньше.

В Ленинграде он взял такси и приказал везти себя на Петергофскую пристань. Город пестрел полосами утреннего света и теней. Сторожа поливали в скверах цветы. Медленный дождь падал из брезентовых рукавов, разлетаясь под ветром. На мостах в окна машины бил невский ветер.

У пристани стоял знакомый пароход. Он был пуст. Босой матрос мыл палубу шваброй.

— Давно пришли из Петергофа? — спросил Тихонов.

— Минут десять.

Тихонов вышел на набережную. Только что она была здесь, может быть, минуту назад. Он знал это по блеску воды, по солнечным отсветам, перебежавшим вдоль гранитных берегов, по добрым глазам чистильщика сапог, задумавшегося над своими щетками, по легкому полету облаков в небе.

...Щедрин жил в новом маленьком доме, выстроенном около водной станции на Крестовском острове.

Все комнаты в этом доме были расположены на разном уровне. Из комнаты в комнату вело две-три ступени, и это придавало дому особенный, морской уют, тем более

что на второй этаж вели лестницы с медными поручнями, похожими на трапы, а круглые окна в коридоре напоминали иллюминаторы.

Щедрин сильно поседел, и когда писал, то надевал очки. Он преподавал метеорологию и астрономию в Морской академии.

В его кабинете стояло много медных приборов и висели карты, исчерченные синим и красным карандашами. Приборы теплились в ясные дни, как свечи.

Чистота в доме была корабельная. Убирал комнаты Винер. В бою под Елабугой он потерял руку и с тех пор уже не мог управлять своими любимыми машинами.

Щедрин переписывался с Якобсенами и доктором в Мариегамне. В начале июня из Стокгольма приехала погостить на два месяца Мария Якобсен. И Щедрин и Винер звали ее Мари.

Присутствие молодой веселой женщины преобразило комнату, бывшие до тех пор спокойными и точными, как астрономические приборы. Появился легкий, приятный беспорядок. Женские перчатки лежали на секстанах, цветы осыпались на письменный стол, на рукописи с вычислениями, запах духов и тонких тканей проникал всюду из комнаты Мари на втором этаже, серебряная бумага от шоколада валялась на диване рядом с начатой и еще не разрезанной до конца книгой. Мари жадно читала, чтобы получше изучить русский язык.

Около портретов Анны Якобсен, Павла Бестужева и матери Щедрина Мари всегда ставила на столик букеты листьев, ветки лип, цветы гелиотропа. Раньше дом был похож на корабль, теперь он стал похож на оранжерею.

Мари была безрассудна и тревожила этим Щедрина. Она оставалась все такой же, как в Мариегамне, когда спорила у него с рукава золотую нашивку.

Она радовалась свободе, была в восторге, что могла одна ходить по городу, радовалась всему, что видела в Ленинграде: дворцам и театрам, жизни, лишенной стеснительных правил и нравочений, простоте отношений между мужчинами и женщинами, между рабочими и учеными и, наконец, тому, что всюду на нее смотрели с улыбкой. Она в ответ сама улыбалась, хотя и старалась сохранить на лице строгое выражение красивой и немного разочарованной женщины.

Особенно беспокоили Щедрина прогулки Мари. Она уже два раза заблудилась. Однажды ее привел домой

худенький пионер, позвонил, сдал с рук на руки и сказал серьезно Винеру:

— Будьте добры, не пускайте ее одну на улицу. Я веду ее от самого Смольного.

Мари расцеловала пионера, втащила его в комнаты, показала модель «Смелого», инструменты, карты, картины, изображавшие морские бури и штиты. Мальчика напояли чаем, дали ему конфет, и он ушел счастливый и оглушенный.

Второй случай был гораздо хуже. Мари уехала в Петергоф, опоздала на последний пароход и всю ночь в одном легком платье просидела на петергофской пристани.

Щедрин в два часа ночи начал звонить во все отделения милиции, поднял на ноги десятки людей, а потом, когда Мари нашлась, ему пришлось извиняться и выслушивать шуточные замечания дежурных.

— Глупости! — сказала Мари за утренним чаем. Глаза ее сияли, несмотря на то что ей смертельно хотелось спать. — В вашей стране я ничего не боюсь. Я даже смело подошла ночью к одному человеку на пристани, и мы долго беседовали.

— О чем? — спросил Щедрин.

— Обо всем, — ответила Мари. — А потом пришел хромо́й человек удить рыбу и поклонился мне, как старой знакомой.

— Да это же, должно быть, Акерман! — воскликнул Щедрин. — Вот старый черт! Он все еще ловит рыбу?

— Да, — сказала Мари. — Вместе с черным котом. Как в сказке.

Мари спала до вечера. Окна были открыты. Ветер перелистывал книгу, забытую на окне. Он переворачивал страницы то вперед, то назад, разыскивая любимые строчки, наконец нашел их и затих: «Из царства вьюг, из царства льдов и снега как чист и свеж твой вылетает май».

Мари проснулась от шелеста в комнате. Ветер сбрасывал со стола разорванные конверты. Было сумрачно. Далеко на взморье громыхнул и покотился в пропасть железный гром.

Мари вскочила. Молния зажглась за окнами, задрожала и погасла в глубине зашумевших садов.

Мари быстро умылась, оделась и сбежала вниз. Щедрин сидел у рояля.

— Гроза,— сказал он Мари.— Вы спали девять часов.

— Что вы играете? — спросила Мари и села в кресло, поджав ноги.

Она смотрела за окно, где горячий ветер уже бушевал в садах и швырял на подоконники сорванные листья. Один лист упал на рояль. Крышки на рояле не было, и лист запутался в стальных струнах. Щедрин осторожно вынул лист и сказал:

— Чайковского. Если бы я был композитором, я написал бы симфонию о климате.

Мари засмеялась.

— Мари, не смейтесь,— сказал Щедрин и тронул струны.— Это все очень просто. Мы можем вернуть Европе миоценовый климат<sup>1</sup>. Не знаю, учили ли вы в Стокгольме историю Земли. Но вы, должно быть, знаете, что Земля пережила несколько страшных обледенений.

Мари поежилась.

— Не нужно их больше,— серьезно сказала она.

— Конечно, не нужно. Обледенение приходит из Гренландии. Это очень долго рассказывать, чтобы все было понятно, но я скажу только вывод. Мы можем уничтожить гренландские льды. Когда мы их уничтожим, в Европу вернется климат миоцена.

— Теплый?

— Очень,— ответил Щедрин.— Финский залив будет дымиться, как парное молоко. Здесь будут снимать по два урожая. Леса магнолий расцветут на Аландских островах. Вы представляете: белые ночи в магнолиевых лесах! От этого можно совсем одуреть!

— Что это значит — одуреть? — спросила Мари.

— Писать стихи, влюбляться в девушек, одним словом — сходить с ума.

— Очень хорошо! — сказала Мари.— Но что нужно для этого?

— Пустяки! Нужна маленькая революция в Гренландии. Нужно начать в Гренландии громадные работы, чтобы растопить хотя бы на короткое время слой льда в полтора метра на вершинах плоскогорий. Этого будет достаточно.

— Как вы дошли до этого?

---

<sup>1</sup> Миоценовый климат — теплый, почти тропический климат, бывший в Европе во время миоцена — отдаленной геологической эпохи. (Прим. авт.)

Щедрин показал на книги, валявшиеся на столе, на карты, на приборы.

— А это зачем? — сказал он. — Вы знаете, что на Северном полюсе зимовали наши ученые. Их наблюдения мне очень помогли.

Ливень шумел за окнами, и в комнатах стало темно. Пузыри воздуха лопались в лужах в саду, и, может быть, поэтому от луж долетали маленькие волны озона.

— Сыграйте, — попросила Мари. — Каждый день вы рассказываете мне сказки, как глупенькой девочке.

— Это не сказки, — сказал Щедрин и заиграл увертюру из «Евгения Онегина». — Пушкин тоже не сказка. Это все настоящее.

Мари вздохнула и задумалась. Утренняя встреча казалась сейчас далекой, как детство. Была ли она? Кто этот человек — худой, с седыми висками и молодым лицом? Почему она не спросила его, кто он? Трудно встретить второй раз человека в таком громадном городе.

Ливень прошел, и капли громко шуршали, скатываясь с листьев.

Мари тихо встала, надела легкий дождевой плащ и вышла. Гроза уходила на восток. На западе горел омытый дождем неяркий закат.

Мари пошла к Летнему саду.

Она побродила по сырым аллеям сада, вышла на Лебязью канавку и долго смотрела на Михайловский замок.

Призрачная ночь застыла над городом. Шаги прохожих звучали в тишине. Белые фонари на площадях были лишь немного светлее ночи.

Величественные здания, окружавшие Мари, казались нарисованными слабой краской. Выделялись только колонны и мощные аттики, освещенные рассеянным светом. Нельзя было догадаться, откуда он исходил. Было ли это отражение ночи в каналах, или тонкая полоска зари еще тлела на западе, или фонари, смешав свой блеск с сумраком, вызывали это странное освещение, — но свет этот рождал сосредоточенность, раздумье, легкую печаль.

Мари прошла мимо Эрмитажа. Она уже была в нем и старалась сейчас представить себе его ночные залы, тусклый блеск Невы за окнами, столетнее молчание картин.

Мари вышла на площадь у Зимнего дворца, остановилась и сжала руки. Она не знала, чей гений, чья тонкая рука создали этот прекраснейший в мире разворот колон-

над, зданий, арок, чугунных решеток, этот простор, наполненный зеленоватой ночной прохладой и величавой архитектурной мыслью.

Обратно Мари возвращалась последним речным катером. Стекланный и пустой, он нес ее, покачиваясь, по черной Неве мимо Петропавловской крепости, мимо рavelинов и кронверков, мимо свай, мостов и парков. Милиционер дремал в углу каюты.

За мостом Свободы в небо поднялся, дымясь и тускнея, широкий луч прожектора. Он опустился и осветил на берегу белое каменное здание, простое и величественное.

Милиционер открыл глаза.

— Начинается подготовка, — сказал он Мари. — Светят по лучшим зданиям.

— Какая подготовка? — спросила Мари.

Ей было холодно. Она побледнела от речной сырости.

— К празднику, — сказал милиционер. — В честь нашего города. Нету на свете красивее города, чем наш Ленинград. Я здесь живу с малых лет, а каждый день смотрю не посмотрю. Стоишь ночью на посту и не знаешь иной раз, снится ли тебе все это, или на самом деле. Подойдешь к дому, посмотришь — горит фонарь с номером; тогда успокоишься: значит, не снится.

Мари застенчиво улыбнулась.

— Я в гребной школе учусь, — сказал милиционер. — Выезжаю на аутригере<sup>1</sup> в море. Выплывешь вечером — города не видно, он в тумане. Одни фонари блестят на воде. Даже на берег возвращаться неохота.

— А вы где стоите в городе? — спросила Мари.

— Вы, видать, не русская: разговор у вас не наш.

— Я шведка.

— А-а-а... — сказал милиционер. — Значит, тоже любуетесь. Я стою у Зимней канавки, в том месте, где Лиза утопилась.

На пристани у рекн Крестовки Мари сошла. Милиционер сошел вместе с нею и проводил ее до дому.

— Я не боюсь, зачем! — смущенно говорила Мари. — Вы работали, устали.

— Да вы не беспокойтесь, — уверял ее милиционер. — Я домой не пойду. Пойду на водную станцию, там буду ночевать. Мне утром все равно тренироваться к празднику. Будут гонки. Отсюда — прямо в Сестрорецк. На выдержку.

---

<sup>1</sup> Ау три гер — особый тип гоночной легкой лодки.

У калитки своего дома Мари попрощалась с милиционером. Он вежливо пожал ей руку и ушел. Мари немного постояла в саду, потом засмеялась. Она подумала: что сказали бы ее подруги в Стокгольме, если бы она там подала руку постовому полицейскому.

К празднику город был разделен на районы. В каждом районе убранство зданий и улиц было поручено художнику и архитектору.

Тихонову достался Петергоф. Празднику в Петергофе придавали морской характер. Сюда должны были прийти из Кронштадта команды военных кораблей, а во дворце решено было устроить бал для старых и молодых моряков — встречу двух поколений.

После случая на пристани Тихонов обнаружил в себе новые свойства. Он начал замечать вещи, мимо которых раньше проходил равнодушно. Мир оказался наполненным удивительными красками, светом, звуками. Он, художник, никогда раньше не видел такого разнообразия красок. Они были всюду, но больше всего их переливалось в морской воде.

Мир стал значителен во всем. Тихонов ощущал жизнь во всем разнообразии ее проявлений, как нечто единое, мощное, созданное для счастья.

Этим полным чувством жизни он был обязан своему времени. Это чувство только усилилось под влиянием встречи на рассвете с молодой женщиной.

Что-то было в этой встрече, не поддававшееся ни описанию, ни рассказу. Это что-то было любовью. Но Тихонов еще не признавался себе в этом. В его сознании все слилось в один сверкающий круг: далекий гудок океанского парохода, золотое мерцание города в утренней мгле, тишина воды, шаги женщины, хромой смотритель пристани и его слова о необыкновенном балтийском лете.

В таком состоянии Тихонов начал работать над украшением Петергофа. Работая, он думал о своем времени, о стране и о ней.

Ему вспомнились слова знаменитого писателя, того, что взъерошил когда-то ему волосы и обозвал «пузырем». Он перечитал все его книги и статьи. В одной из статей писатель говорил своему юному современнику:

«Когда будете писать — думайте о ней, хотя бы ее и не было, и о превосходных людях, которым вы — тоже

превосходнейший человек — искренне и просто и очень задушевно рассказывает о том, что известно только вам, что необходимо узнать и ей и всем им,— понимаете?»

Она была. И Тихонов думал о ней, думал, что она пройдет здесь, увидит всю прелесть земли, украшенной им, и почувствует, так же как и он, дыхание свободной и веселой страны, куда она приехала как гостья.

Никанор Ильич страшно взволновался, узнав, что Тихонову поручили украшать Петергоф. Несколько дней он волновался впустую. Поговорить было не с кем. Матрена была туга на разговоры, а Тихонов слишком занят. Поэтому старик обрадовался до слез, когда в Петергоф приехала Катя. Приехала она к брату поговорить о том, как украсить к празднику свои лодки и яхты.

От Тихонова она спустилась к старикам, и Никанор Ильич тотчас затеял с ней разговор.

— Люблю я праздники,— сказал Никанор Ильич.— Праздник, я полагаю, иной раз человеку больше нужен, чем хлеб насущный.

— Ох, господи! — вздохнула Матрена.— Сил нет! Уйми хоть ты его, Катюша, проклятушего.

— Тихо! — грозно сказал Никанор Ильич и закашлялся.— Сама к празднику дом будешь мыть, чистить. Небошь старые свои обноски не наденешь. Почему это, спрашиваю? Ответь!

Катюша кое-как помирила стариков и ушла. А вечером Никанор Ильич слег. Он жаловался на боль в сердце и позвал к себе Тихонова.

— Алеша... — сказал он и вдруг заплакал.

Матрена тоже сморкалась в своем углу.

— Слабость у меня сердечная. Неужто окочурюсь и ничего не увижу? А мне бы, дураку, жить и жить. Любопытство меня жжет. Все норовил подняться к тебе, посмотреть эскизы — чего ты придумал к празднику,— да боюсь помешать.

Тихонов принес старику эскизы. Никанор Ильич долго смотрел на них, потом похлопал Тихонова по плечу.

— Люблю я в тебе, Алеша, совершенство,— сказал он.— Ты настоящий. Слово мое окончательное.

Прощаясь, он попросил, чтобы Тихонов, когда будет в Ленинграде, заехал к заказчику и передал, что крышка от рояля готова и ее можно забрать.



Только на второй день Тихонов разыскал по адресу, оставленному Никанором Ильичом, маленький дом в саду на Крестовском острове. Накрапывал дождь, земля пахла прибитой дождем пылью.

Открыл Тихонову белобрысый старик без одной руки — Винер. Тихонов спросил гражданина Щедрина. Винер ввел его в комнату с настезь открытыми окнами.

На стене Тихонов увидел два портрета прекрасной работы. На одном был изображен офицер в черном мундире, на другом — молодая женщина с высоко взлетающими, нервными бровями. В ней было ясно осязаемое сходство с незнакомкой, встреченной на пристани.

Тихонов провел рукой по лбу, как бы стараясь отогнать навязчивую мысль, но женщина смотрела на него уже знакомыми глазами, и он невольно все ближе подходил к портрету и все пристальнее вглядывался в него.

Кто-то вошел, но Тихонов обернулся не сразу: ему понадобилось сделать над собой усилие, чтобы оторваться от портрета.

За спиной Тихонова стоял высокий седой моряк и внимательно смотрел на него.

— Я к вам от Никанора Ильича,— сказал Тихонов.— Он болен. Он просил передать, что крышка от рояля готова. За ней можно приехать.

— Садитесь,— сказал моряк и показал Тихонову на кресло.

Если бы Тихонов сел в него, то очутился бы спиной к портрету. Тихонов шагнул к креслу, но передумал и сел другое — так, чтобы видеть портрет.

Моряк все так же внимательно смотрел на Тихонова.

— Благодарю вас,— сказал он.— А что с Никанором Ильичом?

— Сердце,— коротко ответил Тихонов.

— Вы его сын?

— Нет, я его бывший ученик.

— Вы, очевидно, художник?

— Да.

— Я догадался, когда увидел, как вы вглядываетесь в этот портрет.

— Великолепная работа! Кто это?

— Это прекрасная женщина, дочь одного старого шкипера с Аландских островов.

— Она шведка? — быстро спросил Тихонов.

— Да. Ее зовут Анна Якобсен. Ее жизнь связана с очень трагическими обстоятельствами. Это жена офицера Павла Бестужева, убитого на дуэли на Аланде в начале прошлого века. Она сошла с ума.

— Моего прадеда,— сказал Тихонов,— тоже убили в Финляндии, но только не на дуэли. Его заповороли. Он был простой солдат.

— Позвольте,— сказал моряк,— когда это было?

— Я думаю, что тоже в начале прошлого века.

Моряк встал и подошел к окну. Он посмотрел на дождь, сыпавшийся пылью в лужи на дорожках, потом обернулся и спросил:

— Вы родом не из деревни Мегры на реке Ковже?

— Да,— сказал удивленно Тихонов.— Откуда вы это знаете?

Моряк не ответил.

— Ваш прадед,— сказал он,— похоронен в одной могиле с Павлом Бестужевым. Оба они были убиты в один и тот же день. Их связывала общая судьба. Ваша фамилия Тихонов?

— Да.

— Наконец-то! — Моряк широко улыбнулся и крепко, обеими руками, пожал руку Тихонову.— Меня зовут Щедрин. Я вас долго искал, потом бросил. Во время войны я служил на Аландских островах. Там я узнал подробную историю гибели Павла Бестужева. Он был вольнодумец. Он спас от казни декабриста и был убит на дуэли из-за столкновения с командиром полка. Я был на его могиле и удивился тому, что он зарыт не один, а вместе с солдатом Тихоновым. Я старался узнать, чем были связаны эти два человека — Тихонов и Павел Бестужев,— но никто не мог мне этого объяснить. Местные жители ничего не знали, рыться же в архивах я не мог. Мне бы их не дали, да и было совсем не до этого: началась революция. Мне попало в руки предсмертное письмо Бестужева. В нем я нашел просьбу сообщить о смерти солдата Тихонова его родным, в деревню Мегры на реке Ковже. Во время гражданской войны я случайно попал в Мегры, разыскал потомков солдата Тихонова и видел вашу мать.

— Она меня спрашивала о вас,— перебил Тихонов.

— Она умерла? — спросил моряк.

— Да.

— Я нашел вашу мать, но она ничего об этом не знала. Она дала мне ваш адрес и просила найти вас, но адрес пропал в бою с колчаковской флотилией под Елабугой. Память у меня плохая, я никак не мог его вспомнить... Но все-таки мы встретились! — Щедрин засмеялся. — Ну, теперь я вас не выпущу. Давайте сюда шляпу.

Он отобрал у Тихонова шляпу, принес бутылку вина, печенье и папирсы.

— Выпьем по этому случаю, — сказал он. — Хорошее слабое вино. Его особенно приятно пить в такую серенькую погоду.

Тихонов выпил и почувствовал легкое головокружение. Все события последних дней казались ему невероятными, а встреча с Щедриным еще усилила это ощущение.

— В последнее время, — сказал он Щедрину, — я попал в полосу необыкновенных встреч.

— Тем лучше. Пейте. Недавно приехала с Аландских островов моя родственница, девушка, правнучка Анны Якобсен. Ее зовут Мари. Она мне рассказала более подробно о судьбе вашего прадеда. Приемный отец этой девушки — дряхлый чужак доктор — затеял писать историю Аландских островов. Он перерыл все архивы и нашел указания, что солдат Тихонов был засечен шпицрутенами за то, что помог вместе с Павлом Бестужевым бежать декабристу... Давайте выпьем за дедов!

Вино казалось Тихонову растворенными в холодной воде осенними листьями.

Тихонов плохо слушал Щедрина.

«Это она!» — говорил он себе, и сердце его билось до боли.

Он хотел услышать в комнатах женские шаги, но ничего не доносилось, кроме стука стенных часов и отдаленных гудков автомобилей.

«Где же она? Надо дождаться ее, чтобы окончилось это страшное незнание. Может быть, это совсем другая? Может быть, в комнату войдет белобрысая девушка в очках и с крикливым голосом?.. Я дурак, — думал Тихонов. — Мне давно пора уходить. Пора. Надо встать».

Тихонов уже готов был встать и попрощаться с Щедриным, но его остановила мысль о портрете. Сходство было слишком поразительным. Он снова взглянул на портрет и увидел те же нервные, взлетающие брови и маленькую печальную складку в углу рта.

— Что с вами? — спросил Щедрин, заметив рассеянность Тихонова. — У вас усталый вид.

— Я много работаю. Мне поручили украшать Петергоф. Это очень сложно и даже страшно. Как украсить Растрелли!

Остаться дольше было невозможно. Тихонов встал. Щедрин взял с него слово, что он в первый же свободный вечер придет на Крестовский остров, пообещал навесить большого Никанора Ильича, и они расстались.

Тихонов шел через сад, и пока он прошел это небольшое расстояние, сотни мыслей пронеслись перед ним.

Тихонов впервые почувствовал связь с прошлым, с деревней, где сотни лет его отец, дед, прадед ковыряли холодную глину, где в детстве мать присыпала ему порезы золой из печки, где умирали от грыж, от родов, от голодного тифа. Все это было давно мертво. О нем если и вспоминали, то с неохотой.

Но теперь прошлое заговорило другим языком. В нем, в Алеше Тихонове, была кровь этих людей и кровь прадеда — николаевского солдата, убитого за смелость, за бунт, за помощь декабристам.

Мысль, что он должен быть достойным потомком немудрого крестьянина, замуштрованного казармой, одетого в грязную солдатскую шинель, появилась в сознании Тихонова.

Дождь прошел. Тучи медленно сваливались к югу и открывали на западе пустынное небо.

У калитки Тихонов столкнулся с женщиной. Он посторонился и поднял голову. Это была она, петергофская незнакомка.

Она держалась за железную решетку и смотрела на Тихонова. Тихонов снял шляпу.

— Как хорошо, — сказал он, — что я вас снова встретил! Город так велик, а вы, должно быть, не единственная шведка в Ленинграде.

Мари молчала. Рука ее медленно разжалась, на перчатке осталось серое пятно от решетки. Она прислонилась к ограде и быстро сказала:

— Да, да... Говорите.

— Что? — спросил Тихонов. — Что я могу сказать сейчас? Вы уже, пожалуй, знаете все сами.

— Если бы я знала... — сказала Мари и улыбнулась. — Пойдемте.

Она крепко взяла Тихонова за руку выше кисти и, как мальчика, повела за собой. Они шли молча по улице. Пустынное небо лежало у них под ногами, отраженное в лужах дождевой воды.

— Я думал, что встречу вас,— сказал Тихонов.— Невозможно было не встретить.

Мари наклонила голову, как бы соглашаясь с ним.

Они вышли на пристань речных катеров.

— Поедем в город,— сказала Мари.— Вы покажете мне ваши любимые места. Этот город создан для того, чтобы бродить по нему ночи напролет.

У Мари немного болела голова. Она часто прикладывала ладонь к глазам и болезненно улыбалась.

На катере Тихонов рассказал Мари обо всем, что он узнал от Щедрина: об Анне Якобсен, о Павле Бестужеве и о своем прадеде.

— Значит, Анна завещала мне вас,— сказала Мари по-французски.

До поздней ночи они ходили по городу. Он был в этот вечер особенно прекрасен. Он возникал перед ними мощными колоннадами зданий, горбатыми арками безлюдных мостов, бронзовыми памятниками и кущами столетних лип.

Нева несла огни в глубокой воде. Игла Адмиралтейства блистала над рекой, воспетой поэтами.

Они останавливались около чугунных решеток, смотрели сквозь них на полумрак садов, и Тихонов говорил о воплощенных мечтах знаменитых зодчих, создавших в северных болотах и лесах этот блистательный город. Это был город великих воспоминаний и не менее великого будущего.

Они шли вдоль набережных Невы. Мальчишки ловили рыбу с гранитных парапетов. У берега около какого-то сада стоял пришвартованный стальными тросами старый военный корабль. Ветки лип опускались над его палубой и орудиями, закрытыми брезентом.

— Это «Аврора»,— сказал Тихонов.— Вы знаете?

— Знаю,— ответила Мари.

Они прошли через площадь, где медный всадник скакал на север, и вернулись к Мойке.

На Мойке среди свай, высоких зданий и позеленевших гранитных берегов стояла летняя ночная тишина. Они облокотились о перила и смотрели на воду. В ней дрожала синяя звезда.



— Мари,— сказал Тихонов,— оглянитесь: в этом доме умер Пушкин.

Мари обернулась. Она смотрела на окна, на выступ дома, почти висевший над водой, на каменные, истертые столетиями тумбы, на одуванчики, проросшие среди плит по обочинам узкого тротуара.

— Сюда его привезли, когда он был ранен?— спросила она.

— Да. Его внесли вот в эту дверь.

— Может быть, здесь капала его кровь,— сказала Мари и посмотрела на Тихонова с виноватой улыбкой.

— Это были годы,— сказал Тихонов,— когда был убит Павел Бестужев и мой прадед, и Анна умерла от горя. Лучше всего об этом времени сказал сам Пушкин.

— Как? — спросила Мари.— Что он сказал?

— Простые слова: «И мрачный год, в который пало столько отважных, добрых и прекрасных жертв, едва оставит память о себе в какой-нибудь простой пастушьей песне — унылой и приятной». Правда, хорошо?

Мари не позволила Тихонову себя провожать. Они расстались у Летнего сада. Мари протянула Тихонову обе руки, резко вырвала их и быстро сбежала по каменной лестнице к пристани.

...Тридцать прожекторов поднялись в небо над Петергофом и перепутали свои лучи со звездами. Так начался ночной праздник.

Миноносцы, неся на бортах и мачтах цепи огней, мчались, разбивали в пену воду залива и, круто повернув, стопорили вблизи петергофской пристани.

С палуб миноносцев морякам открывалось невиданное зрелище. Дворец пламенел хрустальным пожаром. Водопады лились среди мрамора и бронзы.

Молодые краснофлотцы и старые командиры подымались по лестницам к дворцу.

Стеклянные чашечки, полные чистого огня, горели по сторонам. Фонтаны били, теряясь в темноте нависших деревьев. Здесь, в парке, явственно ощущались тяжесть и запах листвы, воздух небывалого лета.

Окна дворца были распахнуты настежь.

На балконах, в синих и белых залах стояли моряки, отраженные в зеркалах. Зеркала повторяли их смех, улыбки, загорелые лица.

Испуганные птицы проносились сквозь этот блеск, слепли, ударялись о струи фонтанов и в брызгах и шу-

ме крыльев улетали в ночь, к заливу. Там отражалось в воде привычное небо, забытое на этот вечер людьми.

Но вскоре заговорил и залив. Невидимые форты загремели, выбрасывая вспышки огня. Кронштадт салютовал сто одним выстрелом в честь великого города.

За гулом канонады не было слышно говора самолетов, разлетающихся по всем румбам горизонта и оставляющих за собой световые дорожки.

Потом как будто звездное небо начало падать на землю: самолеты сбросили сотни огненных шаров. Воздушные течения качали их над землей и перепутывали. Они то уносили шары к заливу широкими взмахами — и весь залив пылал, казалось, до самого дна их отражениями, — то сгущали их в облака света, сиявшие над потрясенными берегами.

Ленинград сверкал над Невой, как драгоценный камень. Никогда еще благородство его перспектив не было так ощутительно.

Мари со Щедриным и Винером приехали в Петергоф очень рано.

На террасе дворца Щедрина остановил Никанор Ильич. Матрена, в черном шелковом платье, испуганная и раскрасневшаяся, вела его под руку, — старик слеп от огня и с трудом передвигался.

— Большую красоту народ себе отвоевал, Александр Петрович, — сказал старик Щедрину и украдкой вытер набежавшую слезу. — Большую красоту!

Щедрин вспомнил зимнюю ночь, когда он с матросами шел по льду из Кронштадта в Петергоф и отогревался в сторожке у красногвардейца.

— Никанор Ильич, — спросил он, — так это вы в восемнадцатом году охраняли дворец?

— Я, милый, я. И моя доля есть во всем этом совершенстве.

Глаза Мари блеснули, но лицо было строгим и бледным. Никанор Ильич посмотрел на нее. Мари вопросительно улыбнулась.

Она взяла старика под руку и повела во дворец.

На крыльце стоял Акерман, выбритый и сухой, в парадной морской форме. Глаза его лукаво смеялись. Он поздоровался со всеми и сказал Щедрину:

— Саша, ты, я помню, когда-то смеялся над сказками. Тебе стыдно, скажи?



— Замолчи, дурак! — сказал Щедрин. — Это ты не верил, что доживешь до хорошего времени.

— Стуча костылем, — сказал Акерман, — он проходил среди кликов народного ликования.

Они вошли во дворец. Моряки расступились. Сдержанный гул прошел по их рядам. Мари осторожно вела дряхлого рабочего. Сзади шла Матрена, а за ней — Щедрин, Винер и Акерман.

Шепот прошел и стих, потом прошел снова: позади взволнованной молодой женщины моряки увидели легендарного капитана Александра Щедрина, прославленного победами над флотилией белых, создателя знаменитой теории о возвращении в Европу климата миоцена

На площадке лестницы ждал Тихонов. Он видел Мари, и ему казалось, что он не сможет выдержать минут ее приближения. Он думал, что ни одно искусство в мире не может передать красоту молодой женщины, любящей и счастливой.

Моряки собрались в большом позолоченном зале. Люстры звенели, и свечи, зажженные для праздника, тонко дрожали.

Мари остановилась с Тихоновым около окна. Щедрин прошел вперед и повернулся к морякам. Седая его голова белела на темном полотне картины, висевшей за его спиной. Картина изображала старинное морское сражение. В глубине зала играл оркестр.

Щедрин поднял руку. Оркестр умолк. Два поколения моряков затаили дыхание.

— Друзья! — сказал Щедрин. — Старые и молодые моряки! Надо ли говорить о том, что каждый носит в сердце, — говорить о гордости своей эпохой, своей родиной! Мы призваны охранять страну, создающую счастье для трудового человечества. Мы дрались за нее. Мы побеждали в прошлом и будем побеждать всегда. Каждый из нас отдаст всю кровь, силы, все мужество для того, чтобы могли спокойно работать и процветать наша страна и ее культура.

Не только мы одни создавали ее. Мы, поколение победителей, не можем быть неблагодарными. Мы всегда будем беречь в своем сердце память о рабочих и крестьянах, поэтах и писателях, ученых и художниках, философах, солдатах и матросах, погибших за народное счастье в далекие времена, отделенные от нас десятками и сотнями лет,

Позвольте мне вместо праздничной речи рассказать вам простую историю, случившуюся больше ста лет назад...

Моряки зашевелились и стихли. Щедрин коротко рассказал историю гибели солдата Семена Тихонова, Павла Бестужева и Анны Якобсен.

Иногда он умолкал и проводил рукой по волосам, стараясь не выдать своего волнения.

— Павел Бестужев перед смертью оставил письмо. Я прочту из него несколько строк.

Щедрин вынул письмо. Свет от люстр был слаб, при нем было трудно читать. Молодой матрос взял с камина канделябр, стал рядом с Щедриным, и чем дальше читал Щедрин, тем заметнее канделябр наклонялся и тем чаще капли воска падали на паркет.

— «Я знаю,— читал Щедрин,— и ты должна знать это вместе со мной, что придут времена великой расплаты. Наши мучения и гибель,— читал Щедрин, и легкий гул шел по рядам моряков, как будто они повторяли за ним вполголоса слова этого письма, подобно словам присяги,— наши мучения и гибель ударят по сердцам с томительною силой. Пренебрежение к счастью народа будет считаться мерзейшим преступлением. Все низкое будет раздавлено в пыли...»

Мари вздрогнула. Зал гулко вздохнул, все моряки встали.

— «...будет раздавлено в пыли,— повышая голос, читал Щедрин,— и счастье человека станет самой высокой задачей народных трибунов, вождей и полководцев. Я думаю об этих временах и завидую прекрасным женщинам и отважным мужчинам, чья любовь расцветет под небом веселой и вольной страны...»

Моряки слушали стоя.

— «Я завидую им,— голос Щедрина нарастал и подымался до грозного крика,— и кричу в душе: «Не забывайте нас, счастливы!»

Мари глазами, полными слез, смотрела в окно.

В зале молчали.

— Друзья,— сказал Щедрин,— всего несколько слов. Потомок солдата Семена Тихонова — один из лучших наших художников. Великолепием этого праздника мы обязаны ему. Правнучка Анны Якобсен, умершей от горя,— среди вас. Она приехала в нашу страну. Она на-

шла здесь новую родину и счастье. О нем я не могу говорить.

Щедрин замолчал. Тогда в глубине зала встал Акерман и крикнул:

— А внук спасенного декабриста — это ты!

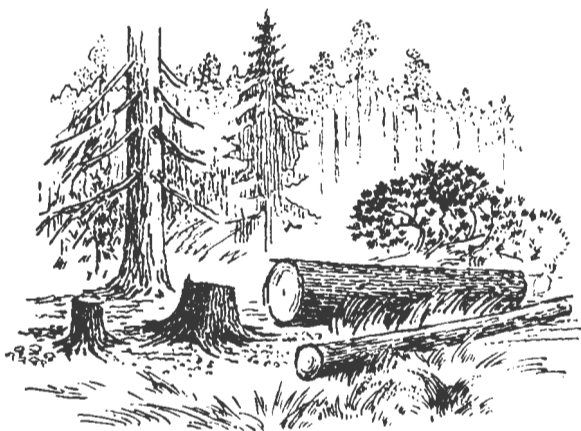
Зал вздрогнул от бурн приветственных криков.

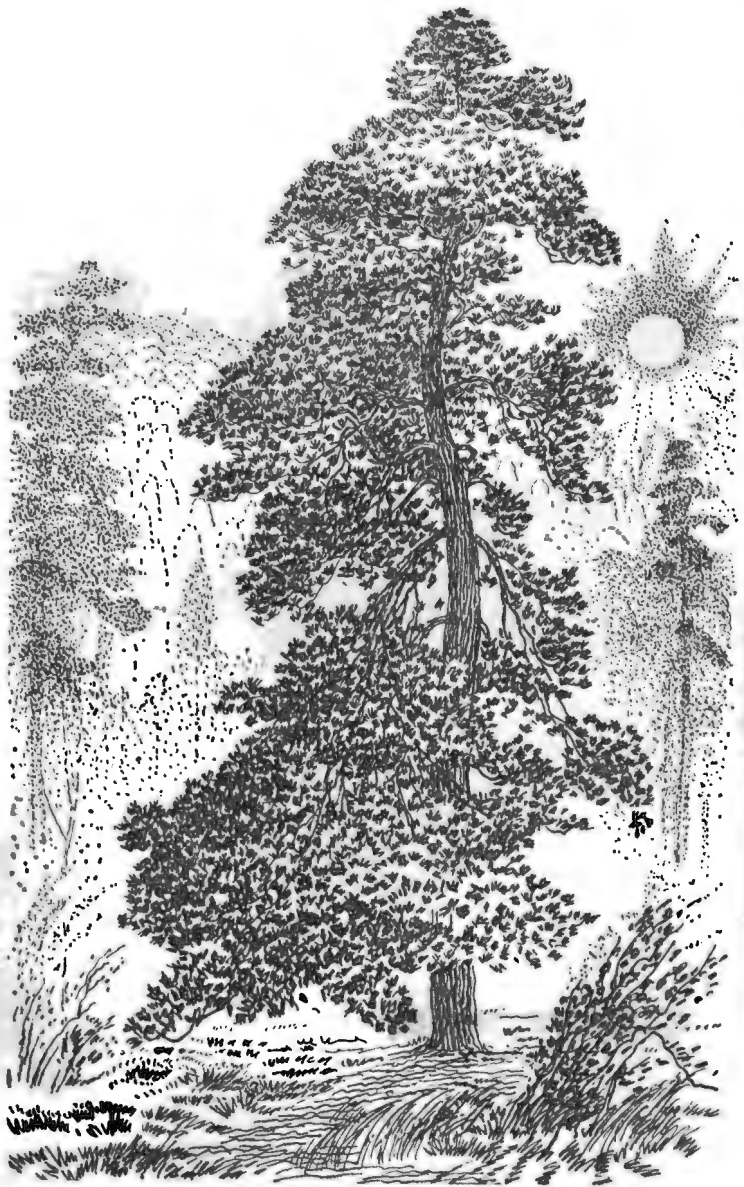
Широкое пламя блеснуло в окнах. Моряки оглянулись. Над Ленинградом подымались к небу сотни световых потоков.

Но Щедрин не смотрел на огни Ленинграда. Он смотрел на Мари, потому что нет в мире большей красоты, чем лицо молодой женщины, любящей и счастливой.

1939

# ПОВЕСТЬ О ЛЕСАХ







Краса полуночной природы,  
Любовь очей, моя страна!

*Языков*

### СКРИПУЧИЕ ПОЛОВИЦЫ

Дом разохся от старости. А может быть, и от того, что он стоял на поляне в сосновом лесу и от сосен все лето тянуло жаром. Иногда дул ветер, но он не проникал даже в открытые окна мезонина. Он только шумел в вершинах сосен и пронесил над ними вереницы кучевых облаков.

Чайковскому нравился этот деревянный дом. В комнатах слабо пахло скипидаром и белыми гвоздиками. Они в изобилии цвели на поляне перед крыльцом. Растрепанные, высохшие, они даже не были похожи на цветы, а напоминали клочья пуха, прилипшего к стебелькам.

Единственное, что раздражало композитора,— это скрипучие половицы. Чтобы пройти от двери к роялю, надо было переступить через пять шатких половиц. Со стороны это выглядело, должно быть, забавно, когда пожилой композитор пробирался к роялю, приглядываясь к половицам прищуренными глазами.

Если удавалось пройти так, чтобы ни одна из них не скрипнула, Чайковский садился за рояль и усмехался. Неприятное осталось позади, а сейчас начнется удивительное и веселое: разохшийся дом запоет от первых же звуков рояля. На любую клавишу отзовутся тончайшим резонансом сухие стропила, двери и старушка лю-

стра, потерявшая половину своих хрусталей, похожих на дубовые листья.

Самая простая музыкальная тема разыгрывалась этим домом как симфония.

«Прекрасная оркестровка!» — думал Чайковский, восхищаясь певучестью дерева.

С некоторых пор Чайковскому начало казаться, что дом уже с утра ждет, когда композитор, напившись кофе, сядет за рояль. Дом скучал без звуков.

Иногда ночью, просыпаясь, Чайковский слышал, как, потрескивая, пропоет то одна, то другая половица, как бы вспомнив его дневную музыку и выхватив из нее любимую ноту. Еще это напоминало оркестр перед увертюрой, когда оркестранты настраивают инструменты. То тут, то там — то на чердаке, то в маленьком зале, то в застекленной прихожей — кто-то трогал струну. Чайковский сквозь сон улавливал мелодию, но, проснувшись утром, забывал ее. Он напрягал память и вздыхал: как жаль, что ночное треньканье деревянного дома нельзя сейчас проиграть! Проиграть незамысловатую песню пересохшего дерева, оконных стекол с обвалившейся замазкой, ветра, постукавшего веткой по крыше.

Прислушиваясь к ночным звукам, он часто думал, что вот проходит жизнь, а ничего еще толком не сделано. Все написанное — только небогатая дань своему народу, друзьям, любимому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Но еще ни разу ему не удалось передать тот легкий восторг, что возникает от зрелища радуги, от ауканья крестьянских девушек в чаще, от самых простых явлений окружающей жизни.

Чем проще было то, что он видел, тем труднее оно ложилось на музыку. Как передать хотя бы вчерашний случай, когда он укрылся от проливного дождя в избе у объездчика Тихона! В избу вбежала Феня — дочь Тихона, девочка лет пятнадцати. С ее волос стекали капли дождя. Две капли повисли на кончиках маленьких ушей. Когда из-за тучи ударило солнце, капли в ушах у Фени заблистали, как алмазные серьги.

Чайковский любовался девочкой. Но Феня стряхнула капли, все кончилось, и он понял, что никакой музыкой не сможет передать прелесть этих мимолетных капель.

А Фет распевал в своих стихах: «Лишь у тебя, поэт,

крылатый слова звук хватает на лету и закрепляет вдруг и темный бред души, и трав неясный запах...»

Нет, очевидно, это ему не дано. Он никогда не ждал вдохновения. Он работал, работал, как поденщик, как вол, и вдохновение рождалось в работе.

Пожалуй, больше всего ему помогали леса, лесной дом, где он гостил этим летом, просеки, заросли, заброшенные дороги — в их колеях, налитых дождем, отражался в сумерках серп месяца,— этот удивительный воздух и всегда немного печальные русские закаты.

Он не променяет эти туманные зори ни на какие великолепные позлащенные закаты Италии. Он без остатка отдал свое сердце России — ее лесам и деревушкам, околицам, тропинкам и песням. Но с каждым днем его все больше мучает невозможность выразить всю поэзию своей страны. Он должен добиться этого. Нужно только не щадить себя.

К счастью, в жизни выдаются удивительные дни — вот такие, как сегодняшний. Он проснулся очень рано и несколько минут не двигался, прислушиваясь к перезвону лесных жаворонков. Даже не глядя в окно, он знал, что в лесу лежат росистые тени.

На соседней сосне куковала кукушка. Он встал, подошел к окну, закурил.

Дом стоял на пригорке. Леса уходили вниз, в веселую даль, где лежало среди зарослей озеро. Там у композитора было любимое место — оно называлось Рудым Яром.

Самая дорога к Яру всегда вызывала волнение. Бывало, зимой, в сырой гостинице в Риме он просыпался среди ночи и начинал шаг за шагом вспоминать эту дорогу: сначала по просеке, где около пней цветет розовый иван-чай, потом березовым грибным мелкоколосьем, потом через поломанный мост над заросшей речкой и по изволоку — вверх, в корабельный бор.

Он вспоминал этот путь, и у него тяжело билось сердце. Это место казалось ему наилучшим выражением русской природы.

Он окликнул слугу и заторопил его, чтобы поскорее умыться, выпить кофе и идти на Рудой Яр. Он знал, что сегодня, побывав там, он вернется — и давно живущая где-то внутри любимая тема о лирической силе этой лесной стороны перельется через край и хлынет потоками звуков.



Так и случилось. Он долго простоял на обрыве Рудого Яра. С зарослей липы и бересклета капала роса. Столько сырого блеска было вокруг, что он невольно прищурил глаза.

Но больше всего в этот день Чайковского поразили свет. Он вглядывался в него, видел всё новые пласты света, падавшие на знакомые леса. Как только он раньше не замечал этого?

С неба свет лился прямыми потоками, и под этим светом особенно выпуклыми и кудрявыми казались вершины леса, видного сверху, с обрыва.

На опушку падали косые лучи, и ближайšie стволы сосен были того мягкого золотистого оттенка, какой бывает у тонкой сосновой дощечки, освещенной сзади свечой. И с необыкновенной в то утро зоркостью он заметил, что сосновые стволы тоже отбрасывают свет на подлесок и на траву — очень слабый, но такого же золотистого, розоватого тона.

И, наконец, он увидел сегодня, как заросли ив и ольхи над озером были освещены снизу голубоватым отблеском воды.

Знакомый край был весь обласкан светом, просвечен им до последней травинки. Разнообразие и сила освещения вызвали у Чайковского то состояние, когда кажется, что вот-вот случится что-то необыкновенное, похожее на чудо. Он испытывал это состояние и раньше. Его нельзя было терять. Надо было тотчас возвращаться домой, садиться за рояль и наспех записывать проигранное на листах нотной бумаги.

Чайковский быстро пошел к дому. На поляне стояла высокая раскидистая сосна. Ее он прозвал «маяком». Она тихо шумела, хотя ветра и не было. Он, не останавливаясь, провел рукой по ее нагретой коре.

Дома он приказал слуге никого к себе не пускать, прошел в маленький зал, запер дребезжащую дверь и сел к роялю.

Он играл. Вступление к теме казалось расплывчатым и сложным. Он добивался ясности мелодии — такой, чтобы она была понятна и мила и Фене, и даже старому Василию, ворчливому леснику из соседней помещичьей усадьбы.

Он играл, не зная, что Феня принесла ему махотку земляники, сидит на крыльце, крепко сжимает загорелыми пальцами концы белого головного платка и, приот-

крыв рот, слушает. А потом приплелся Василий, сел рядом с Феней, отказался от городской папироски, предложенной слугой, и скрутил сигарку из самосада.

— Играет? — спросил, подымив сигаркой, Василий.— Прекратить, говоришь, нельзя?

— Никак! — ответил слуга и усмехнулся на необразованность лесника.— Он музыку сочиняет. Это, Василий Ефимыч, святое дело.

— Дело, конечно, святое, — согласился Василий.— А ты бы все-таки доложил.

— И не просите. Надо же иметь понимание вещей.

— А мы что ж, не понимаем? — рассердился Василий.— Ты, брат, охраняй, да в меру. Мое дело, ежели разобратся, поважнее, чем этот рояль.

— Ой! — вздохнула Феня и еще туже затянула концы платка.— Весь бы день слухала!

Глаза у нее были серые, удивленные, и в них виднелись коричневые искорки.

— Вот, — сказал с укором слуга, — девчонка босоногая, и та чувствует! А ты протестуешь! Смыслу от тебя не добьешься. И неизвестно, за каким ты делом пришел.

— Я не в трактир пришел, — ответил бранчливо Василий.— В трактире встретимся — будем лаяться, кипеть до утра. Я к Петру Ильичу за советом пришел.

Он снял шапку, поскреб серые космы, потом нахлобучил шапку и сказал:

— Слыхали небось? Помещик мой не вытянул, ослаб. Весь лес продал.

— Да ну!

— Вот тебе и ну! Ну да ну, повесь язык на сосну!

— Ты чего вяжешься? — обиделся слуга.— А то я и ответить могу!

— Жилетку ты носишь бархатную, — пробормотал Василий, — с кармашками. А что в них класть, неведомо. Леденцы для девиц? Или платочек засунуть и пойти форсить под окошками? Ты, выходит, блудный сын. Вот ты кто!

Феня фыркнула. Слуга молчал, но смотрел на Василия презрительно.

— То-то! — сказал Василий.— Понимать надо, где правда, а где беззаконие. Лес помещик профукал. А толку что? С долгами расплатиться не хватит.

— Кому продал?

— Харьковскому купцу Трошенке. Принесла его сюда, за тыщи верст, нелегкая из Харькова!.. Слышал про такого?

— Купцов много,— уклончиво ответил слуга.— Ежели бы еще он был московский... да первой гильдии...

— Повидал я купцов на своем веку каких хошь гильдий. Таких видал обормотов, что спаси господи! А этот — с виду приличный господин. В золотых очках, и борода седенькая, гребешочком расчесанная. Чистая борода. Отставной штабс-капитан. А не похоже. Вроде как церковный староста. В чесучовом пиджаке ходит. А в глаза, брат, не гляди — там пусто. Как в могиле. Приехал с ним приказчик, все хвалится: «Мой, говорит, волкодав лесá свел по всей Харьковской и Курской губерниям. Сплошной рубкой. Он, говорит, к лесу злой — на семена ничего не оставит. На лесах большие капиталы нажил». Думали, конечно, что врет приказчик. Они при денежных людях угождают; им соврать или человека разуть-раздеть — пустое дело. А вышло на поверку, что не брешет приказчик. Купил Трошенко лес, рубаху еще не сменил, а пригнал уже лесорубов и пильщиков. С завтрашнего дня лес начнут валить. Всё, говорят, велел пустить под топор. До последней осины. Так-то!

— Серьезный мужчина,— заметил слуга.

— Хо-озяин! — злобно выкрикнул Василий.— Шея у него из одних мослаков, у анафемы!

— А тебе что? Твоя какая беда? Что велют, то и делай. Только поспевай шапку скидать.

— Служишь ты у хорошего господина,— раздумчиво сказал Василий,— а душа у тебя как гнилой орех. Щелкнешь — а в нем заместо ядра белый червь. Был бы я твоим барином, обязательно бы тебя выгнал. Взашей! Как язык поворачивается такое спрашивать — мне-то что! Да я со своих двадцати годов к этому лесу приставлен. Я его растил, нянчил. Как баба ребят не растит.

— Вона! — насмешливо отозвался слуга.

— «Вона!» — передразнил его Василий.— А теперь что? Разбой! Да я еще должен дерева к смерти метить. Нет, брат, совесть у меня не бумажная. Меня не купишь. Теперь одна путь — жаловаться.

— Кому? — спросил слуга и пустил из ноздрей табачный дым.— Царю Гороху?

— Как кому? Губернатору. Земству. А не поможет — в суд! Дойти до сената.

— Будет сенат с таким делом вожжаться!

— А не будет — так до царя-императора!

— Ну, а как царь не поможет?

— Тогда всем миром стать и стоять. Стенкой. Не допустим, мол, разбоя. Уходи, откуда пришел.

— Мечты! — вздохнул слуга и затоптал папиросу. — С такими словами ты лучше к Петру Ильичу не приступай.

— Это мы еще поглядим!

— Ну и сиди, дожидайся! — рассердился слуга. — Только имей в виду, что ежели он занграется, так до ночи не выйдет.

— Небось выйдет! Ты меня не пугай. Я, брат, не из робких.

Слуга взял у Фени махотку с земляникой и ушел в дом. Феня еще долго сидела пригорюнившись, смотрела перед собой удивленными глазами. Потом тихонько встала и, оглядываясь, пошла прочь по дороге. А Василий палил сигарки, скреб грудь, ждал. Солнце уже перевалило к вечеру, от сосен пошли длинные тени, а музыка не затихала.

«Колдует! — подумал Василий, поднял голову, прислушался. — Господи, да ведь это как бы знакомое! Неужто наше, деревенское? «Среди долины ровных!» Нет, не то. А схоже! Или то пастухи заиграли в лугах, скликающая к вечеру стадо? Или то соловьи ударили сразу, будто сговорились, по окрестным кустам? Эх, старость! А душа, видно, не сдается. Душа помнит молодость. С молодостью человеку расставаться куда как жаль. Не с руки расставаться!»

Когда в окнах запылал багровый закатный огонь, музыка наконец оборвалась. Несколько минут было тихо. Потом скрипнула дверь. Чайковский вышел на крыльцо, достал из кожаного портсигара папиросу. Он был бледен, руки у него дрожали.

Василий поднялся, шагнул к Чайковскому, стал на колени, стащил с головы выгоревший картуз, всхлипнул.

— Ты что? — быстро спросил Чайковский и схватил Василия за плечо. — Встань! Что с тобой, Василий?

— Спаси! — прохрипел Василий и начал через силу подыматься, опираясь рукой о ступеньку. — Мочи моей нету! Криком бы кричал, да никто не отзовется. Помогите, Петр Ильич, не дай случиться палачеству!

Василий прижал к глазам рукав застиранной синей рубахи. Он долго не мог ничего выговорить, сморкался, а когда наконец рассказал все как есть, то даже оторопел: никогда он не видел Петра Ильича в таком гневе.

Все лицо у Чайковского пошло красными пятнами. Обернувшись к дому, он крикнул:

— Лошадей!

На крыльцо выскочил испуганный слуга:

— Звали, Петр Ильич?

— Лошадей! Вели закладывать.

— Куда ехать-то?

— К губернатору.

Чайковский плохо помнил эту позднюю поездку. Коляску подбрасывало на выбоинах и корнях. Лошади всхрапывали, пугались. С неба падали звезды. Холодом ударяло в лицо из заболоченных чащ.

Временами дорога прорывалась через такую гущу лещины, что нужно было сидеть согнувшись, чтобы ветками не исхлестало лицо. Потом лес кончился, дорога пошла под гору, в просторные луга. Кучер гикнул, и лошади пошли вскачь.

«Успею ли? — думал Чайковский. — В крайнем случае разбужу. Завтра начнут валить лес. Что за подлость такая!»

С губернатором он познакомился как-то на благотворительном концерте в губернском городе. Смутно помнил гучный человек в тесном сюртуке, с припухшими, больными веками. Поговаривали, что губернатор — либерал.

Вот и город. Колеса загремели по мосту, пересчитали все бревна, потом покатались по мягкой пыли. В окошках церковно блестели киоты. Потянулись каменные лабазы. Проехали мимо темной каланчи, мимо сада за высокой оградой. Коляска остановилась у белого дома с облупленными колоннами.

Чайковский позвонил у калитки.

Из сада доносились голоса, смех, удары деревянных молотков. Там, должно быть, играли при фонарях в крокет. Значит, в доме была молодежь. Это успокоило Чайковского. Он поверил, что ему удастся убедить губернатора. Как бы ни был губернатор сух и чиновен, ему будет стыдно перед своей молодежью отказать Чайковскому в таком правом деле.

Горничная в ситцевом, до скрипа накрахмаленном

платье, провела Чайковского на веранду, где губернатор пил чай. Он был вдовец, и чай разливала пожилая экономка с оскорбленным лицом.

Губернатор тяжело встал, сделал шаг навстречу. На нем была шелковая белая косоворотка с расстегнутым воротом. Он извинился, глядя на Чайковского припухшими глазами.

Стук крокетных шаров в саду прекратился. Должно быть, молодежь узнала Чайковского и прекратила играть. Да и трудно было его не узнать — изящного, седеющего, со знакомыми по портретам серыми внимательными глазами. А когда он, слегка поклонившись, принял от экономки стакан чаю, молодежь увидела его руку, — тонкую, но сильную руку музыканта. На портретах его часто изображали облокотившимся на эту руку.

— Существующие законоположения, — медленно говорил губернатор, выжимая ложечкой в стакане чая ломтик лимона, — к сожалению, не дают мне возможности, Петр Ильич, что-либо предпринять. Вырубка леса разрешена Трошенке на основании имеющихся на то инструкций. Господин Трошенко волен действовать к своей выгоде. Ничего тут не поделаешь!

Губернатор выжал лимон и выудил его ложечкой из стакана.

— А что, собственно, вы находите в действиях Трошенки преступного? — осведомился он вежливо.

Чайковский молчал. Что он мог сказать этому человеку? Что гибель лесов несет его стране разорение? Губернатор, может быть, и поймет, но, руководствуясь законами и разъяснениями к ним, тотчас мягко отведет это возражение. Что же сказать еще? О поруганной красоте земли? О своем убитом вдохновении? О могучем влиянии лесов на душу человека? Что сказать? «Мы тем и замечательны, что вспоили и вскормили свою народную силу в согласии с этой удивительной природой»? Или просто признаться, что жаль до боли этих лесов, их свежести, шума, сияния воздуха на полянах?

Чайковский молчал.

— Конечно, — сказал губернатор и поднял брови, как бы о чем-то раздумывая, — лесное хищничество — вещь безобразная. Но я бессилен помочь вам в этом затруднении. Рад бы душой, но не могу, Петр Ильич. Разделяю ваше негодование. Но стремления артистической натуры не всегда совпадают с коммерческим интересом.

Чайковский встал, откланялся и молча пошел к выходу. Губернатор торопливо шел позади.

Над крокетной площадкой висели на ветках фонари. Две девушки и юнкер стояли в саду с крокетными молотками в руках и молча смотрели вслед Чайковскому.

Обратно ехали медленно. Временами кучер засыпал. Голова его моталась, как у пьяного, пока коляску не встряхивало на ухабе. Тогда кучер просыпался, покрикивал на лошадей: «Но, лодыри!» — и ерзал на козлах. Лошади на минуту ускоряли шаг, а потом снова едва плелись, фыркали, тянулись к темной траве по обочинам дороги.

Чайковский курил, откинувшись на спинку кожаного сиденья, подняв воротник пальто. Что делать? Один выход: перекупить у Трощенки втридорога лес. Но где взять денег? Послать разве завтра же телеграмму своему издателю Юргенсону? Пусть достанет деньги, где хочет. Под заклад его сочинений... Это решение несколько успокоило Чайковского.

— Не гони, Иван, ради бога! — сказал он, хотя кучер ни разу не подхлестнул лошадей.

Чайковскому хотелось ехать долго, всю ночь, — в дремоте, легкой, неясной, представлять себя едущим среди этой темной равнины к друзьям, где его ждут признание, счастье...

Когда Чайковский очнулся, коляска стояла на берегу реки. Темнели заросли. Кучер слез с козел и, поправив кнутовищем упряжь на лошадях, сказал:

— Паром на том берегу. Спят, должно, перевозчики. Покричать, что ли? — Он подошел к самой воде, помедлил, негромко крикнул: — Перево-оз!

Никто не ответил. Кучер подождал, снова крикнул. На том берегу задвигался огонек. Кто-то шел с сигаркой. Паром, скрипя, отчалил.

Когда паром подошел, Чайковский вышел из коляски. Кучер осторожно свел лошадей на дощатый помост. Потом долго шуршал канат, кучер тихо переговаривался с перевозчиком. Из близкого леса тянуло теплом.

Какое облегчение! Он спасет этот уголок земли. К нему он привязался душой. Эти леса были неотделимы от его размышлений, от музыки, рождавшейся в тайниках сознания, от лучших минут его жизни. А их было не так уж много, этих минут.

Если бы композитора спросили, как он написал про-

ставленные свои вещи, он мог бы ответить только одно: «По совести говоря, не знаю». Он нарочно говорил иногда о своей музыке как о поденной работе, но знал, что это далеко не так. И говорил он о ней как о чем-то обыденном только потому, что сам не мог понять, как это происходит.

Недавно в Петербурге восторженный студент спросил его, в чем тайна его музыкального гения. Студент так и сказал: «гения». Чайковский вспыхнул, покраснел — он никак не мог принять по отношению к себе это высокое слово — и резко ответил: «В чем тайна? В работе. И никакой тайны вообще нет. Я сажусь за рояль, как сапожник садится тачать сапоги».

Студент ушел огорченный. Тогда Чайковскому сгоряча показалось, что он был прав. А сейчас, перед лицом этой ночи, слушая, как журчит вода о бревна парома, он подумал, что создавать — не так уж просто. Это приходит внезапно, как в забытых стихах: «Одной волной подняться в жизнь иную, учуять ветр с цветущих берегов...» Ветр с цветущих берегов! У него замерло сердце. Какие неожиданности таит в себе жизнь! И как хорошо, что мы не знаем, когда она их откроет — здесь ли, на пароме, в блеске ли театрального зала, под молоденькой сосной, где качается от неощутимого ветра ландыш, или в сиянии женских глаз, ласковых и пытливых.

Как хорошо знать, что в содружестве с этими лесами, в полной безмятежности он окончит начатую вчера работу и посвятит ее... кому? Тому молодому, застенчивому собрату, бывшему земскому доктору, чьи рассказы он читает и перечитывает по вечерам: Антону Чехову. Пусть сердятся музыканты. Он устал от их самонадеянности, солидности и неискренних похвал.

После переправы, садясь в коляску, Чайковский сказал кучеру:

— В усадьбу к Липецкому. Там этот купец остановился... как его... Трощенко?

— Надо быть, там. Да рановато приедем, Петр Ильич. Только-только начнет развиднать.

— Ничего. Мне нужно перехватить его пораньше.

В усадьбе Чайковский Трощенко не застал.

Уже рассвело. Весь усадебный двор зарос репейником. Среди репейника бегал по ржавой проволоке оспивший пес. Морда у него была в репьях, и пес, немного полаяв, начинал тереть морду лапой, отдирая колючки.



На крыльцо вышел кривоногий человек в рыжих кудряшках. От него издали разило луком. Рыжий равнодушно посмотрел на коляску, на Чайковского и сказал, что Трощенко только что уехал на порубку.

— А вам он на что понадобился? — недовольно спросил рыжий. — Я ихний управитель.

Чайковский не ответил, дотронулся до спины кучера. Лошади с места взяли рысью. Рыжий посмотрел вслед коляске, длинно сплюнул:

— Дворяне! Разговаривать брезгуют. Много мы таких пустили по миру, с пустым карманом!

По дороге обогнали лесорубов. Они шли с топорами, с гнущимися на плечах синеватыми пилами. Лесорубы попросили закурить и сказали, что Трощенко недалеко, на пятом квартале.

Около пятого квартала Чайковский остановил коляску, вышел и направился в ту сторону, где слышались голоса.

Трощенко, в сапогах и шляпе, которую звали «здравствуй и прощай», — шлеме из люфы с двумя козырьками, спереди и сзади, — ходил по лесу и сам метил топором сосны.

Чайковский подошел, назвал себя. Трощенко спросил: — Чем могу служить?

Чайковский коротко изложил свое предложение — перепродать ему на корню весь этот лес.

— Желаете округлить владения? — ласково спросил Трощенко. — Этому лесу цены нету. Слышите? — Трощенко ударил обухом топора по сосне. — Поет древесина! А иасчет ваших слов надо подумать. Своего рода неожиданность. Все дело, как сами понимаете, в цене. За свою цену я вам отдать не могу. Смысла нету. К тому же расходы. Одних лесорубов привезти да прокормить чего стоит! Ну, и начальство нам, лесопромышленникам, недешево обходится. Начальство вроде магнита — золото сильно притягивает.

— Назовите вашу цену. Торговаться я не собираюсь. Если цена будет сходная...

— Где вам торговаться! Вы человек возвышенных сфер жизни. Я вам верную цену скажу... — Трощенко помолчал. — Десять тысяч будет, пожалуй, самая цена.

— А за сколько вы купили этот лес?

— Это дело десятое. Мой товар — моя и цена.

— Хорошо! — сказал Чайковский и почувствовал хо-

лодок под сердцем, будто поставил на карту всю жизнь.— Я согласен.

— Что-то больно легко соглашаетесь,— промолвил Трощенко и протянул Чайковскому деревянный портсигар.— Прошу!

— Спасибо. Только что курил.

— Деньги-то у вас есть? — вдруг грубо спросил Трощенко.

— Будут.

— Царствие божие тоже будет. Когда помрем. Я о наличных деньгах спрашиваю.

— Я вам выдам вексель.

— Подо что? Под эту усадьбу? Да ей две тысячи — красная цена!

— Усадьба эта не моя. Вексель я выдам под свои сочинения.

— Так-с!..— протянул Трощенко и закурил.—Под музыку!.. Ее послушать, конечно, приятно. Послушал — ушел, а следа-то и нету! — Он протянул к Чайковскому ладонь и поскреб по ней скрюченными пальцами.— Воздушная вещь. Сегодня она, может, и в цене, а завтра — дым! Векселя я, извините, не беру. Только наличными.

— Наличных сейчас у меня нет.

— На нет и суда нет! И опять же о цене был у нас весьма примерный разговор.

— То есть как? Вы же назначили цену!

— Обследовать еще надо. Лес обследовать. По-настоящему его оценить. Да, пожалуй, и несерьезное это дело. Кто же так договаривается — на ходу!.. Нет! — сказал он резко.— Пустой разговор! Ежели бы вот завтра вы мне выложили пятнадцать тысяч, тогда бы я отступился.

— Да вы что,— сказал Чайковский, и лицо его опять пошло красными пятнами,— в своем уме?

— Мой ум всегда при мне. Я не в эмпиреях живу.

— Вы просто маклак!

— Тогда нечего вам с маклаком и разговаривать! — огрызнулся Трощенко.— Жили мы маклаками и умрем маклаками, зато в чести и достатке. У нас не благородством шубы подбиты. Честь имею кланяться!

Он приподнял шляпу и зашагал в глубину леса.

«Всегда я так! — подумал Чайковский.— Вспылю, наговорю резкостей и сорву все дело».

Он поехал домой, стараясь не вслушиваться в разносившийся по лесу стук топоров.

Лошади вынесли коляску на поляну. Кто-то впереди предостерегающе закричал. Кучер с ходу осадил лошадей.

Чайковский встал, схватился за плечо кучера. От полножия сосны, согнувшись, как воры, разбегались лесорубы.

Внезапно вся сосна, от корней до вершины, вздрогнула и застонала. Чайковский явственно слышал этот стон. Вершина сосны качнулась, дерево начало медленно клониться к дороге и вдруг рухнуло, круша соседние сосны, ломая березы. С тяжким гулом сосна ударилась о землю, затрепетала всей хвоей и замерла. Лошади попятись и захрапели.

Это был миг, один только страшный миг смерти могучего дерева, жившего здесь двести лет. Чайковский стиснул зубы.

Вершина сосны загородила дорогу. Проехать было нельзя.

— Придется ворочаться на большак, Петр Ильич, — сказал кучер.

— Езжай! Я пешком пройду.

— Эх, обормоты! — вздохнул кучер, подбирая вожжи. — Рубить и то по-людски не умеют. Нешто дело — валить сначала большие деревья, а малые ломать в щепки? Ты сначала малые повали, тогда большое в просторе ляжет, убытку не даст...

Чайковский подошел к вершине поваленной сосны. Она лежала горой сочной и темной хвой. На хвое еще сохранился блеск, свойственный тем воздушным просторам, где эта хвоя только что дрожала под ветерком. Толстые сломанные ветки, покрытые прозрачно желтоватой пленкой, были полны смолы. От ее запаха першило в горле.

Тут же лежали обломанные сосной ветки берез. Чайковский вспомнил, как березы пытались удержать падающую сосну, принять ее на свои гибкие стволы, чтобы смягчить смертельное падение, — от него далеко окрест дрогнула земля.

Он быстро пошел домой. То справа, то слева, то позади слышался гул падающих стволов. И все так же тупо ухала земля. Птицы металась над порубкой. Даже

облака, казалось, ускорили свой бег в равнодушной ко всему небесной синеве.

Чайковский все ускорял шаги. Он почти бежал.

— Подлость! — бормотал он. — Мерзость чудовищная! Кто дал право человеку калечить и безобразить землю ради того, чтобы какой-то Трощенко слюнявил по ночам ассигнации? Есть вещи, которые не оценить ни рублями, ни миллиардами рублей. Неужели так трудно понять там, в Петербурге, этим многомудрым государственным мужам, что могущество страны — не в одном материальном богатстве, но и в душе народа! Чем шире, свободнее эта душа, тем большего величия и силы достигает государство. А что воспитывает широту духа, как не эта удивительная природа! Ее нужно беречь, как мы берем самую жизнь человека. Потомки никогда не простят нам опустошения земли, надругательства над тем, что по праву принадлежит не только нам, но и им. Вот они где, «промотавшися отцы»!..

Чайковский задышался. Он уже не мог идти быстро. В груди возникла приступами обморочная пустота. После нее начинало так крепко стучать сердце, что удары его больно отдавались в висках. Он подумал, что и гибель леса, и бессонная ночь — все это состарило его сразу на несколько лет.

Значит, теперь он уже никогда не окончит начатую вчера работу. Придется тотчас уехать, чтобы не видеть этого варварства.

Наступила разлука с любимыми местами. Знакомое состояние! Почему любимые места, когда с ними надо расставаться, бывают особенно хороши? Почему они сияют такой прощальной красотой? Вот и сейчас все было необыкновенным. И небо, и воздух, и мокрая от росы трава, и одинокая паутина в синеве.

Еще вчера он мог остановиться, спокойно следить за полетом паутины и гадать, зацепится ли она за ветку березы или нет. А сегодня это уже невозможно. Нет покоя, — значит, нет радости. Нет ничего.

Дома он приказал слуге укладывать чемоданы.

Слуга сразу ожил:

— В Москву, Петр Ильич?

— Пока в Москву. А там будет видно.

Взглянув на расплывшееся от счастья лицо слуги, он нахмурился, прошел в маленький зал, сел к роялю. Значит, так! Значит, харьковский купец в скрипучих сапо-

гах, наглый, распоясавшийся маклак, безнаказанно пако- стит землю. И начатая симфония умерла, не успев рас- цвести. Он усмехнулся. «Не расцвел и отцвел в утре па- смурных дней...» А там, в сознании, где вчера еще было столько звуков, осталась одна пустота. Какой-то барыш- ник выгнал его из этих удивительных мест, поднял руку на его работу. Впереди опять скитальчество, одиночество. Опять жизнь, как сплошная гостиница, где за все — рав- нодушную заботу, относительный покой, возможность создавать свои вещи — надо платить в срок и по дорогим счетам.

Он откинул крышку рояля, взял аккорд и поморщил- ся: одна клавиша не звучала. Очевидно, ночью лопнула струна.

Он резко — резче, чем следовало, — захлопнул крыш- ку, встал и вышел.

А к вечеру снова пришел Василий. Дом был заперт, пуст. Василий ходил вокруг, заглянул через окно в ма- ленький зал, — никого! И сторожиха, должно, обрадова- лась, что барин уехал, подалась на деревню к сыну.

— Та-а-ак! — сказал Василий, присел на ступеньки крыльца, закурил.

Ухала и сотрясалась земля: Трощенко валил лес без усталости, без срока.

«Вот господин хороший хотел правды добиться, да рука, видать, не сильна, — подумал Василий. — Отступил- ся. Улетел. А мне здесь жить одному, в разорении».

Василий поднял голову. Кто-то шел к дому по дороге. Уже смеркалось, и Василий сначала не мог разобрать, кто идет. А когда увидел, встал, одернул рубаху и шаг- нул навстречу Трощенко.

— Хозяин здесь?

— А тебе чего? — глухо спросил Василий. — Чего на- до? Остатний лес хочешь скупить? Свести под корень?

— Ты хозяина позови. У меня с ним разговор, не с тобой.

— Я этих мест хозяин! Я! Не понимаешь, анафема? Так я тебе и втолковать могу!

— Ты что, очумел?

— Уйди от греха! — тихо сказал Василий и замахнул- ся на Трощенко. — Нашелся распорядитель! Волчья сыть! Кровосос!

— Ты не того... — пробормотал Трощенко. — Не очень... Болван!

Трошенко повернулся и торопливо пошел прочь. Василий тяжело поглядел ему вслед, выругался, сплюнул.

За свежей порубкой, за навалом сосен открывалась тусклая предвечерняя даль. Над ней низко висело багровое солнце.

### МЕЧТАТЕЛЬНИЦА

Месяц назад Анфиса окончила десятилетку. Будущее было еще неясно. Отец, Николай Никитич, хотел, чтобы Анфиса уехала в Москву и поступила в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию; Анфиса же думала совсем о другом — еще туманном, но привлекательном: о театре, путешествиях...

Начитавшись книг, она часто представляла себя в какой-то чудесной стране. Она совершенно ясно видела, как сходит с парохода на берег этой страны ранним утром, оставляет на сыром песке следы и в каждом из них прячется маленькая синяя тень, потому что солнце только что взошло и свет его косо падает на землю. А вдали дымятся кручи сиреневых гор, и с них с шумом летят, разбиваясь в пыль, холодные водопады.

Чуть не каждый день Анфиса ходила в городскую библиотеку менять книги. Библиотека помещалась на главной улице городка, рядом с новым кино. Она занимала нижний этаж кирпичного дома. Здесь пахло чернилами. Крашенные полы были тусклы, истерты. На стене висели правила для посетителей и стенная газета, раскрашенная цветными карандашами.

Все это наводило скуку, но впечатление это было обманчивым. Анфиса знала, что на библиотечных полках запрятаны такие сокровища мысли и поэзии, что от одного представления о них у нее темнели глаза.

Она читала книги запоем, глотала страницу за страницей, прячась в отцовском саду, в темной беседке, похожей на шалаш и увитой диким виноградом.

— Анфиса, глаза испортишь! — кричал из сада Николай Никитич; он весь день возился со своими яблонями и сливами.

— Сейчас, — невнятно отвечала Анфиса. — Только дочитаю до новой главы.

— Да ты мне вовсе и не нужна,— примирительно говорил Николай Никитич.— Дурочка! Глаза бы свои пожалела. Выцветут и будут как оловянные плошки.

Но как ни боялся Николай Никитич, а глаза у Анфисы от чтения не только не выцвели, а, наоборот, от каждой интересной книги то наполнялись слезами и от этого становились блестящими и темными, то смеялись, то становились туманными, ничего не видящими вблизи, будто Анфиса вглядывалась во что-то далекое, ускользающее за краем земли.

«Мечтательница,— думал Николай Никитич.— Ох, и хлебнет же она горя в жизни. Подумать страшно. Ох, и хлебнет!»

Николай Никитич был обеспокоен будущим Анфисы и однажды пошел посоветоваться об этом к Нине Порфирьевне Евсеевой — городскому врачу, женщине пожилой, решительной и лишенной каких бы то ни было сантиментов.

Николай Никитич был старый садовод, человек, как он думал сам о себе, «практической складки». Ему хотелось уберечь Анфису от всего легковесного в жизни. А легковесным он считал ее стремление стать актрисой и увлечение стихами и романами. Все это казалось ему слишком пестрым, нарядным и быстро увядающим, как иные цветы, что осыпаются, не успев толком расцвести. Например, мак. Чуть подует ветерок — и его лепестки уже сваливаются на землю. А глядишь, через какой-нибудь час они уже пожухли и валяются в пыли под забором. Ну, конечно, что говорить — внешность у Анфисы театральная: девушка стройная, тонкая, да и голос такой, что берет за душу. И косы до самой земли. Но не в этом же дело.

— Непонятно мне,— сказал Николай Никитич Нине Порфирьевне,— в кого Анфиса вышла. Мать у нее была домовитая, а я человек здравых мнений. Люблю ту человеческую деятельность, которая дает осязательный результат.

— В вас она и вышла! — сердито ответила Нина Порфирьевна.

— То есть как это? Не понимаю,— удивился Николай Никитич.— Я садовод, хочу и из нее садовода сделать, а она упирается. Заладила одно: в театр да в театр. А что в нем проку, в театре? Людей только тешить!





— Садовод-то вы садовод,— возразила Нина Порфирьевна,— а цветы-то зачем разводите? Полон сад цветов. Вот и сейчас мне букет приесли чудесный.

— Это для услаждения глаз,— неуверенно объяснил Николай Никитич.— Вы поглядите на эти колеры — от красного до голубого и золотистого. Редчайший цветок!

— Как называется? — строго спросила Нина Порфирьевна, разглядывая крупные и такие легкие цветы, что они трепетали от ветерка, проникавшего из сада в кабинет Нины Порфирьевны.

— Немезия. Африканский цветок. Я его прямо вымолил у одного старика цветовода, когда был в Москве. В ногах валялся. Вы поглядите хотя бы на этот лепесток. Голубой цвет переходит в фиолетовый, а фиолетовый в багряный.

— А какой же осязательный результат? — неожиданно спросила Нина Порфирьевна.

Николай Никитич растерялся:

— Не пойму, чего спрашиваете?

— Результат, говорю, какой от этих цветов? Вы же их не на продажу растите?

— В жизни ни единого цветка не продал! — торжественно ответил Николай Никитич.— Только дарю.

— Эх вы! — сказала Нина Порфирьевна и сняла пенсне. Тотчас глаза ее потеряли строгость и сделались усталыми и добрыми.— Гордитесь, что подружились с композитором Аренским, когда он здесь жил, а от искусства требуете немедленного практического результата! Искусство создает хороших людей, формирует человеческую душу. Для этого оно и существует.

— Так то искусство... — робко возразил Николай Никитич.

— А театр — не искусство? — спросила Нина Порфирьевна.— Как вы думаете?.. Анфиса правильно выбрала дорогу. Вы ей не мешайте. Я зайду как-нибудь вечером, поговорю с ней.

Николай Никитич ушел не очень успокоенный.

Были уже сумерки. В городке зажигались огни, но гораздо ярче фонарей освещал тихие улицы свет ламп из открытых окон.

В доме у Николая Никитича было темно. «Ушла Анфиса, что ли?» — подумал он. Поохал, зажег фонарь и пошел в сад; надо было подставить подпорки под старую яблоню.

В саду сидела на скамейке Анфиса. Сидела так тихо, что Николай Никитич сразу ее и не заметил, а когда заметил, то испугался: сидит как неживая, сгорбилась, куたается в платок.

Николай Никитич подошел, сел рядом. Анфиса молчала.

— Что ты, дочка? — спросил Николай Никитич и положил руку на плечо Анфисе. — Никак, заболела?

— Нет, — ответила Анфиса и туже закуталась в платок.

— Что же ты сидишь в темноте?

Анфиса повернулась к Николаю Никитичу и посмотрела ему в глаза. Фонарь стоял на земле, освещал снизу лицо Анфисы. Николай Никитич нахмурился. Что-то блеснуло на щеке у Анфисы, тусклым огоньком поползло по щеке и, погаснув, упало в темноту на песчаную дорожку.

— Что с тобой? — тихо сказал Николай Никитич. — Что это ты плачешь?

— Папа! — Анфиса обняла Николая Никитича за морщинистую шею, прижалась к плечу. — Старичок ты мой милый!

— Ну что ты... — растерянно бормотал Николай Никитич. — Полюбила кого-нибудь, что ли? Или скучно тебе?

Анфиса покачала головой:

— Нет, не полюбила. Я много хорошего сделать могу, папа. Много. Для всех. Я знаю свою силу. Отпусти меня в театральную школу, папа! Никогда не раскаешься.

— Поживем — увидим, — ответил Николай Никитич. — Не завтра же ехать, а к осени.

Сердце у него похолодело. Ясно, надо будет отпустить. Но как же он будет тут жить и копать в саду без Анфисы? Уж лучше бросить все, уехать вместе с ней и жить там, в Москве.

— Непонятная нынче молодежь... — тихо сказал Николай Никитич.

Анфиса крепче прижалась к нему.

— Брось, дурочка, — сказал Николай Никитич строгим голосом, но голова у него затряслась. — Может, и я с тобой поеду.

Но Анфиса долго не могла успокоиться. Только когда из-за реки подул ветер и стало холодно, она встала и, крепко держась за Николая Никитича, пошла с ним в дом — надо было собрать старику ужин.

## РАЗГОВОРЫ ЗА ЧАЙНЫМ СТОЛОМ

Когда поезд, лениво постукивая на стыках, проходил по мосту над рекой, Коля Евсеев, студент Лесного института, бросился к окну. С моста лучше всего был виден родной городок. В нем Коля не был уже около трех лет.

Первое, что он увидел,— это стадо коров. Они стояли по брюхо в воде и, задумавшись, жевали жвачку. На берегу лежал пастух и, закинув руки за голову, смотрел на небо. Он не обратил на поезд никакого внимания.

Позади пастуха поднимались крутые бугры, а на них врассыпную стояли дома. Почти все дома были одинаковые: первый этаж кирпичный, а второй деревянный. За кружевными занавесками цвели в вагонах комнатные цветы. Протертые стекла блестели от солнца.

Недаром про этот городок ходила поговорка: «Ливны своими хоромами дивны». Городские хозяйки из всех сил поддерживали чистоту в домах. Они гордились этим перед жительницами пригородной Стрелецкой слободы. В слободе ни порядка, ни чистоты покои веков не было. Слободские всегда жили «по-цыгански».

Городок показался Коле после жизни в Ленинграде очень маленьким, чуть выцветшим, но воздух был чистый, яркий, и далеко были видны из окон вагона золотые подсолнухи в огородах.

На вокзале, где слободские женщины набивались с вишней-скороспелкой и солеными огурцами, Колю встретила мать, Нина Порфирьевна, седая, решительная, в пенсне.

Доктора Нину Порфирьевну знал не только весь город, но и весь район. Многим великовозрастным людям она, по старой привычке, говорила «ты», так как лечила их еще в те времена, когда они были совсем «клопами»— мальчишками и девочками.

Нина Порфирьевна крепко поцеловала Колю, сняла пенсне, вытерла покрасневшие близорукие глаза и сказала парнишке с кнутом, что стоял рядом и с восхищением глядел на Колю:

— Ну вот, Кузя, дождался. Посмотрел, какие из себя ленинградские?

Кузя покраснел и невнятно ответил:

— Да уж посмотрел...

— Тащи вещи на таратайку.

Таратайка запрыгала по булыжной мостовой. Мостовая была горбатая, и таратайка ехала боком, будто хотела повернуть обратно к вокзалу, несмотря на то, что гнедые лошадки бежали шустро и старались тащить таратайку вперед.

Коля засмеялся, а Нина Порфирьевна сказала:

— Драндулет! На нем еще твой дед ездил по больным. А все держится. Ну ничего, осенью дадут мне машину, «эмку».

Нина Порфирьевна очень радовалась, что Коля наконец-то приехал. Помог случай. Местность вокруг городка была известна на весь Союз обилием оврагов. С каждым годом они отхватывали куски полей, разрушали дороги, и то и дело приходилось строить новые мосты вместо обвалившихся старых.

Как говорили, «овражность» была здесь резко выражена, и поэтому в городке открыли недавно овражно-опытную станцию.

Коле повезло: его назначили на эту станцию на летнюю практику. Если бы не это обстоятельство, то Нина Порфирьевна не увидела бы Колю и в этом году: опять бы уехал на лето в какую-нибудь глушь мерить леса.

— Я уж и надежду потеряла, что ты явишься,— говорила Нина Порфирьевна.— Специальность у тебя лесная, а в наших местах от лесов остались одни ошметки. Вот, думаю, глупо как получилось! Не видать мне теперь моего Коленьки никогда. Хоть переводись в лесные края. А вышло, что и для лесного специалиста нашлась здесь работа.

В это время из-под копыт лошадей взлетела, теряя пух, черная тощая курица. Она так пронзительно закричала, что лошади шарахнулись и прижали уши. Кузя погрозил курице кнутовищем:

— Вот я тебя! Нашла где рыться, старая дура!

Нина Порфирьевна жила на выезде из городка, на крутом берегу реки. Деревянный дом, построенный еще Колиным дедом, покосился, но сад разросся.

В саду щипал траву привязанный к дереву телок с белым пятном на лбу. Увидев таратайку, он поднял голову и так уставился на лошадей, что даже позабыл отмахиваться от прилипчивых мух.

Нина Порфирьевна накормила Колю и ушла на прием в амбулаторию. Она торопилась, и потому расспросы и разговоры пришлось отложить до вечера.

Коля прошел в свою комнатку. Все в ней оставалось на прежних местах, как в тот последний день, когда он уезжал из дому. Только стало темнее от разросшейся за окнами сирени.

Коля сел к старенькому столу, начал выдвигать ящики и перебирать уже позабытые вещи: школьные тетради, коллекцию уральских камней, развинченный на части старинный телефон, альбом с почтовыми марками, высушенные листья дуба, клена, березы, каштана... Все это уже пропылилось и показалось Коле таким давнишним, старым, что он даже рассмеялся. Будто это не заветные и когда-то любимые мальчишеские вещи, а склад рухляди скряги Плюшкина.

И вместе с тем ему было бы жаль расстаться с этими вещами. Они, конечно, утратили свою былую значительность, но он оставался благодарен им за прошлые радости, за мечты, за игру воображения, которую они в нем вызывали.

Сейчас, встретившись с ними, он долго их рассматривал, а затем тщательно сложил в ящик стола в том же порядке, в каком они лежали там уже давным-давно.

Кто знает, если бы не эти вещи, то, может быть, он никогда не выбрал бы себе то занятие, к которому теперь так пристрастился. Может быть, никогда бы не стал лесоводом. Дело это требовало особых свойств: любви к природе, романтического отношения к действительности, выносливости. Человеку, лишенному воображения, нечего было делать в этой области. Нужно было обладать и сильным воображением, и большой любовью к человеку и земле, чтобы отдать все силы рассчитанной на десятилетия работе, окончания которой ты, может быть, не увидишь.

В доме было тихо. Коля отвык от такой тишины. Он прошел в столовую, поднял крышку рояля, сильно ударил по клавише. Тотчас за окном вскрикнул петух, рывшийся на грядке с огурцами, и, не оглядываясь, помчался на сухих жилистых ногах прочь, в глубину двора.

Коля зашел на кухню. Там старая нянька Марьевна чистила самовар. Марьевна совершенно оглохла. Разговаривать с ней было невозможно.

— Как здоровье, Марьевна? — прокричал Коля.

— Шибче говори, — отозвалась Марьевна. — Шибче! Я с летошнего года уже и грома не слышу.

Коля походил по саду. В саду жило множество муравьев, они повсюду проложили свои песчаные дорожки. Коля поглядел, как муравьи бегут друг за другом по клумбе между ползучих и сочных цветов портулака, и позавидовал муравьям: живут среди цветов, трав, всяких листиков, в уютных древесных дуплах, но, конечно, этого не понимают. Не ценят.

Коля вернулся в дом, захватил полотенце и пошел на реку купаться.

Река сильно обмелела. Противоположный берег был весь в оврагах. Даже с этого берега было слышно, как журчат по их дну родники.

Коля начал осторожно спускаться по крутой тропке. Навстречу ему подымалась загорелая девушка в сарафане, с льняными косами, уложенными вокруг головы.

— Анфиса! — крикнул Коля. — Неужто ты?

— Я, — низким голосом ответила Анфиса и улыбнулась. — Господи, как ты вырос!.. Надолго приехал?

— На все лето. Буду работать на овражной станции.

— А я этой весной окончила школу.

Они поздоровались. Рука Анфисы была холодная от купанья.

С Анфисой Коля учился в одной десятилетке. Анфиса была на два класса моложе его.

— Вот папа обрадуется! — сказала Анфиса. — Он у меня совсем стал старенький.

— А как сад?

— Беспокойство одно с садом. Вырастил яблоки новые. Назвал их в мою честь «анфис». Похоже на «анис». — Она засмеялась. — Пойдем сейчас к нам.

— Ну что ж, — согласился Коля. — Я только выкупаюсь.

— Ну, иди! Я наверху подожду.

Коля сбежал на берег, разделся, но, чтобы броситься в плавь, пришлось идти чуть ли не до середины реки. Коля взглянул в сторону железнодорожного моста: коровы все еще стояли в воде.

«Ну и жара, — подумал Коля. — Как хорошо, что я встретил Анфису!»

Она сидела далеко, на крутом берегу, под вязом, и красный ее сарафан пылал на солнце.

Коля выкупался и, свежий, с мокрыми волосами, вскарабкался по обрыву. Анфиса смотрела, как он легко взбирается к ней, и улыбалась.

В саду Николая Никитича, раскинутом над оврагом, среди низких и широких яблонь колебался под ветерком солнечный свет. Через полосы этого света пролетали пчелы.

Николай Никитич, уже совсем седенький, усохший, сидел на бревне в расстегнутой рубахе и подтяжках и строгал ножиком дощечку для улья. Он расцеловался с Колей, показал ему яблоню «анфис» и приказал дочери согреть самовар и накрыть под яблоней стол.

Коля еще с детства любил эти чаепития под деревьями за круглым дощатым столом, покрытым суровой скатертью с голубой каймой. Вместо сахара подавался соевый мед в глиняной миске, а чай всегда был жидкий, но вкусный. На стол падали божьи коровки. На мед слетались осы. Коля давил их ножом. За это ему попадало от Нины Порфирьевны.

А какие только разговоры велись за чайным столом! Николай Никитич умел поговорить. Он многое знал — не только свое садоводство.

У себя в саду он устроил «цветочные часы». Об этих часах в городке было множество разговоров. Дело в том, что разные цветы точно раскрываются в разные часы утра и так же точно закрываются к вечеру. Николай Никитич засадил этими цветами клумбу и узнавал по ней время с ошибкой, по его словам, не больше чем на тридцать минут.

За этим же чайным столом Коля впервые услышал от Николая Никитича рассказы о Мичурине и Докучаеве, о дубравах — «засеках», которые росли когда-то по ту сторону реки и охранялись стрельцами — пращурами нынешних обитателей Стрелецкой слободы.

Эта сплошная полоса лесов спасала Русь от татарских набегов. В лесах прорубали с запада на восток широкие просеки. Лес рубили, или «засекали» так, чтобы вековые дубы своими вершинами падали к югу. Получался огромный вал из частых и крепких ветвей. Через него не могли пробраться не только всадники и пешие, но даже лесные звери.

— Теперь, конечно, — говорил Николай Никитич, — засеки повырубили, и от них остались, пожалуй, одни названия. Вот, например, Козлова Засака около Ясной Поляны, где обитал Лев Николаевич Толстой.

В этом саду и решила судьба Колина после окончания школы.

В Ливнах жил в прежние времена композитор Аренский. Николай Никитич знал его и даже с ним подружился. Однажды Николай Никитич рассказал со слов Аренского историю о том, как Чайковский хотел спасти от вырубki сосновый лес вблизи усадьбы, где он в то время жил, как ничего из этого не вышло и в каком отчаянии был знаменитый композитор.

— Вот,— говорил Аренский,— дорогой Николай Никитич, какова игра жизни! Если бы не вырубili этот лес, Чайковский, пожалуй, подарил бы нам еще одну симфонию. Лес его всегда вдохновлял чрезвычайно. А тут все сорвалось. Невольно задумаешься: какую силу оказывают на талант столь разные по значительности вещи, как лес и любовь, рожок пастуха и деревенская песня. Вот и поди разберись!

Николай Никитич соглашался, что действительно человек загорается новыми мыслями от вещей совершенно разных и на первый взгляд не имеющих отношения к предмету его занятий, или, как нынче принято выражаться, к его творчеству.

— Вот я, к примеру,— говорил Николай Никитич,— очень легко себя чувствую и получаю разнообразие мыслей, когда ловлю рыбу в нашей реке. Как будто занятие мальчишеское, а на поверку выходит, что оно и нервы успокаивает, и пищу дает для размышлений по любым вопросам, свойственным нашему уму.

Вспомнив об этом случае с Чайковским, Николай Никитич заговорил о лесах, о том, что они не только приносят великую пользу человеку, украшают и оздоравливают землю, но поддерживают самую жизнь на земле.

В степной полосе, где был расположен родной Колин городок, лесов не было. Может быть, поэтому они всегда казались мальчику чем-то таинственным, величественным и привлекательным. А Николай Никитич еще подогревал это представление своими разговорами. Поэтому Коля, подумав, решил идти после школы в Лесной институт.

У Николая Никитича висели в доме копии с картин художника Шишкина. И хотя Николай Никитич и говорил, что Шишкин малость скучноват, но при долгом рассматривании эти картины все же действовали. Коля представлял себя в лесах, написанных Шишкиным, и представлял так ясно, что из этих лесов уже долетал до него запах смолистых пней и земляники.



А сейчас Николай Никитич затеял разговор о Курской магнитной аномалии. О ней в последнее время много писали в газетах.

Городок славился сильными грозами. Николай Никитич объяснял это тем, что городок расположен в области магнитной аномалии. Глубоко под землей лежат мощные залежи железной руды и притягивают грозы.

Коля улыбнулся, слушая объяснения Николая Никитича. Старик Колиной улыбки не заметил, а то бы, конечно, обиделся.

Николай Никитич обрадовался, узнав, что Коля будет работать по «овражному делу».

— Хвалю! — сказал он. — Ты выбрал чудесное занятие в жизни. А вот что с Анфисой делать, не знаю. Ей все в театр хочется, в театральную школу. Шла бы лучше по отцовским стопам. Сады бы разводила. Мало на земле растительности — от этого всякие беды. К примеру, овраги. Они по нашей области треть земли охватили за какие-нибудь сорок лет. На моей памяти. Как стали сводить лес — так и пошло!

После чая Анфиса проводила Колю. Они пошли к мостику через ручей, впадавший в реку. Ручей едва струился в темном овраге. Тропка к мостику была протоптана в высокой крапиве, и Коля обстрекал себе руки.

На мостике Анфиса остановилась:

— Ну, дальше я не пойду. Приходи к нам почаще.

Они попрощались. Анфиса медленно пошла обратно. Она несколько раз останавливалась, оглядывалась на Колю, и каждый раз случалось так, что в это же время оглядывался и Коля. Потом Анфиса помахала рукой и скрылась за поворотом.

— Прощай, Анфис! — крикнул Коля, но Анфиса не отозвалась.

На следующий день Коля пошел на овражную станцию и представился директору ее, Смышляеву. Это был низенький пожилой человек в желтоватых очках.

Овражная станция временно помещалась в приземистом доме на главной улице городка. Половину дома занимала аптека, половину — станция. Сотрудники станции ходили к себе через прихожую аптеки. Так им было удобнее, потому что вход на станцию был через двор, а двор всегда был заставлен телегами. Колхозники со всего района приезжали сюда за лекарствами.

Двор походил на базарную площадь — весь в конском навозе, в сенной трухе. Привязанные к телегам лошади упорно, без отдыха жевали сено и стегали себя жидкими хвостами.

Из-за этого двора происходили частые стычки с аптекарем Абрамом Борисовичем — подслеповатым, но деятельным старичком в просторном халате. Он так близко рассматривал рецепты, что казалось, будто он их не читает, а нюхает.

Когда Коля вошел, Смышляев как раз ссорился с Абрамом Борисовичем. Он разговаривал с ним через маленькую форточку, прорезанную в двери, что вела из его кабинета в аптеку. Такие форточки обычно устраивают в кассах.

— Абрам Борисович, — говорил Смышляев, — это же не постоянный двор! Надо что-то делать.

«Вы, очевидно, полагаете, — пронзительным голосом отвечал Абрам Борисович, взбалтывая склянку с мутной жидкостью и рассматривая ее одним глазом на свет, — что это образцовая аптека номер один в Москве? Где вы находитесь? Это же черно-зем! — крикнул он, со стуком поставил склянку на прилавок и яростно посмотрел на молодую смешливую колхозницу, дожидавшуюся лекарства. — Вот, извольте, поглядите на эту красавицу!

Молодайка закрылась локтем и фыркнула.

— Подойдите сюда! — приказал Абрам Борисович.

— Ой, батюшки, страх какой! — сказала молодая и бесстрашно подошла к прилавку.

— Вот капли, а вот полосканье! — сказал Абрам Борисович. — Смотри не напутай. Покажи, которые капли.

— Да что показывать-то! Уж вы всегда придумаете.

— Покажи, а то не выдам лекарство!

— Неужто не выдадите? — насмешливо спросила колхозница. — Человек старый, а молодец завсегда обижаете. Хоть в аптеку не ходи.

— Вот! — сказал Абрам Борисович и победоносно посмотрел на Смышляева. — Вы, надеюсь, слышали? Странно, как я столько лет работаю при таких обстоятельствах, — он показал на смешливую колхозницу, — и еще чувствую себя нормальным человеком.

— Уж вы всегда так! — пробормотала женщина, забрала лекарство и вышла, хлопнув дверью.

За дверью она прыснула от смеха и сказала кому-то:  
— Нигде, молодайки, нету нам проходу из-за нашей неземной красоты.

Абрам Борисович посмотрел на Смышляева долгим, теперь уже возмущенным взглядом и сказал:

— Ну, знаете, это уже чересчур!

— Простите, Абрам Борисович,—пробормотал Смышляев, закрыл форточку в аптеку и обернулся к Коле:— Никогда раньше мне не приходилось работать в такой обстановке. Но в конце концов это соседство не мешает. Иногда даже веселит. А для работы это полезно. Как вы думаете?

Коля согласился.

— Работать полагается весело,—наставительно заметил Смышляев,—и любить те места, где работаешь. Я очень доволен, что вы родом из этого привлекательного городка. Пока что займитесь обмером оврагов около Адамовской мельницы. Определите их годовой рост и выясните уровень грунтовых вод. Я подозреваю, что там овраги уже прорезали землю до водоносного горизонта и сильно отсасывают грунтовые воды. Очень что-то быстро сохнет земля...—Смышляев помолчал.—Кого бы дать вам в подручные?

— Я сам найду помощника,—ответил Коля.—У него ведь работа будет несложная: волочить по земле цепь да держать рейку. С этим каждый мальчишка справится.

— Ну и чудно! — согласился Смышляев.

Вечером Коля зашел к Николаю Никитичу. В сумерках летало много ночных бабочек. За рекой, в Стрелецкой слободе, пели, сидя на берегу, девушки:

Спускается солнце за степи,  
Вдали золотится ковыль...

Коля сидел с Анфисой на пороге дома. Отсюда были видны весь сад, заречье и далекие поля.

Анфиса куталась в платок, хотя вечер был теплый и на яблонях не шевелился ни один листок.

— Тебе холодно? — спросил Коля.

— Нет. Это так...

— Загрустила?

— Нет... Или да. Загрустила. Вот ты уже третий год живешь в Ленинграде. А я один только раз и уезжала отсюда. В Курск. К тетке.

Они помолчали.

— Завтра начинаю работать,— сказал Коля.— Буду обмерять овраги. За Адамовской мельницей.

— Один?

— Нет. Хочу взять Кузю и еще какого-нибудь деревенского ребятенка. Они будут таскать цепь и рейку.

— Возьми вместо деревенского ребятенка меня,— предложила Анфиса.— Я справлюсь.

— Работа тяжелая.

— Я сильная. Вот, смотри! — Анфиса вытянула голую до плеча руку, казавшуюся в сумерках очень белой, потом медленно согнула ее в локте.— Потрогай!

Коля потрогал. Мускулы на руке были маленькие, но крепкие.

— Хорошо,— согласился Коля.— Заметано. Если Николай Никитич тебя отпустит.

— Отпустит.

Николай Никитич зажег в комнате лампу. Ее свет упал через окно в сад. Большой мир вдруг сузился, и от него остались только освещенный мягким светом уголок старого сада с забытой под деревом лейкой, белые пахучие звезды цветущего табака да отдаленная песня слободских девушек:

И вот повели, затанули,  
Поют, заливаясь, они  
Про Волги широкой раздолье,  
Про даром миновавшие дни.

Анфиса встала, подошла в глубину сада, остановилась над обрывом и долго стояла, слушала.

## ОВРАГИ

Обмер оврагов оказался делом нелегким. Приходилось спускаться в овраги, взбираться по крутым глинистым склонам, делать большие обходы, набрасывать примерные карты.

За несколько дней Анфиса, Коля и Кузя сожглись на солнце до черноты, обветрились, пропахли полынью и пылью.

Это были удивительные дни — под жарким солнечным зветом, среди трав и полей, где пробегал по дорогам, чуть пыля, ветерок.

К вечеру все так уставали, что с трудом добирались до городка. Тогда Коля решил брать с собой из дому кое-какие продукты, и по два-три дня они не возвращались домой, а ночевали в избе у мельничного сторожа Ивана Дмитриевича, тощего и рыжего. Командовала в избе его жена — веселая старуха Давыдовна. А Иван Дмитриевич только помалкивал, вздыхал, посасывал кислые папироски и неопределенно жаловался то на сухость, то на мокроту в груди.

В избе по вечерам при свете кухонной лампочки Анфиса помогала Коле чертить примерные карты оврагов. Бывало, Коля засыпал за столом от усталости. Тогда Анфиса силой поднимала его и вела в угол избы, где для Коли и Кузи было постлано сено.

Коля сваливался на сено, тотчас засыпал, а Анфиса еще долго сидела за столом, чертила, слушала, как шумит у плотины вода. А потом, улегшись у себя в клетушке, где пахло пшеном, думала, что если Николай Никитич не отпустит ее в театральную школу, то она просто сбежит, а когда ее примут, будет просить у старика прощения.

Однажды Анфиса держала полосатую рейку, а Коля наводил на нее нивелир. Вдруг Анфиса опустила рейку и нагнулась к земле.

— Иди сюда! — крикнула она Коле. — Смотри, что за прелесть!

Коля подошел. Анфиса стала на колени, косы ее упали, концы их лежали на траве.

Анфиса протянула руки к чему-то еще невидимому, находившемуся на земле и, должно быть, очень маленькому. Казалось, Анфиса заслоняет язычок свечи, чтобы его не задуло ветром.

— Что такое? — спросил Коля шепотом.

Анфиса подняла на него счастливые глаза:

— Лилловый сон!

Меж ее ладоней цвели на земле покрытые густым серебряным пухом колокольчики лилового сна.

Глядя на Анфису, на ее руки и чуть приподнятые плечи, Коля подумал, что, конечно, Анфиса права, когда бредит театром. Очевидно, театр ее призвание, — столько легкости и простоты было в положении ее тела, в ее движениях.

Работа увлекала Колю. Разветвления оврагов были сложны, запутанны. Это была обширная и причудливая

страна обвалов, глубоких балок, рытвин, водороев, пещер, родников, крутых красноватых склонов, кое-где поросших терновником и редкой травой, но большей частью глинистых и голых. Некоторые овраги тянулись на километры.

Более жестокой картины уничтожения плодородной почвы Коля еще не встречал. Он знал, что площадь оврагов в этой полосе России настолько велика, что урожай с нее мог бы легко прокормить такую густонаселенную страну, как Бельгия. Он знал, что половина земель здесь заброшена и негодна для сельского хозяйства из-за оврагов. Сознание, что склоны этих оврагов скоро будут превращены в террасы, засажены лесом, вишневыми и яблоневыми садами и что в этом будет часть его труда, наполнило Колю гордостью.

Вскоре они добрались и до того оврага, о котором говорил Смышляев. В нем уже был вскрыт водоносный слой. Вода сочилась по склонам тонкими струйками. Она стекала на дно и немного подалее, вниз по оврагу, образовала чистое озерцо.

Они решили спуститься к этому озерцу, передохнуть на его берегу и выпить чаю.

Овраг был глубокий. Когда они очутились на дне, Анфиса посмотрела вверх, где переплывали через овраг облака, казалось задевая и покачивая на его краю сухую траву, и спросила:

— Как же мы теперь отсюда выберемся?

— Это что! — хвастливо сказал Кузя. — Тут есть такой овраг, что бросишь в него камень — и считай до двухсот, куда тот камень доскочит до дна. Осенью там разбойники награбленное пропивают.

— Это ты брось, — заметил Коля. — Какие теперь разбойники!

— Сам я их не видел, врать не буду, а слышать — слышал. Ехал я как-то мимо того оврага ночью. И вдруг слышу — гармошка, наша ливенка, в овраге заливается. Прямо продрало меня по спине! Я как свистнул, кони как взялись — только меня и видели те разбойники. Один свист от меня остался.

— Ну и ладно, утешайся своими разбойниками!

День выдался жаркий. От зноя все стало желтым — и небо, и поля, и воздух. Как будто зной долго крепчал, томился и наконец приобрел этот тоскливый и зловещий

оттенок. Костер из сухих стеблей быстро перегорал, а чайник все не хотел закипать.

Вдалеке раздался удар без отката, будто кто-то взял на рояле, нажав педаль, басовую струну и тотчас отпустил педаль.

— Что это?—испуганно спросил Кузя.—Никак, гром?

— Не похоже на гром,— неуверенно ответил Коля.— Это орудие. Тут где-нибудь стрельбище.

— Нету тут стрельбища. Надо бы полезть наверх, поглядеть.

Кузя начал карабкаться по откосу. Сухая глина комьями сыпалась из-под его ног.

Анфиса, подкладывая в костер сухие стебли, сказала:

— Хорошо, Коля, что у тебя есть мама!

Коля удивленно посмотрел на Анфису:

— А у тебя есть отец.

— Это не то,— промолвила Анфиса.— Отцу многого не расскажешь. Не с кем мне поговорить... обо всем...

— А со мной?

Анфиса покачала головой:

— С тобой как раз и нельзя.

Коля хотел спросить ее: «почему?» — но сверху хрипло закричал Кузя:

— Вылезайте! Гроза! Страсть какая!

— Анфиса, скорей! — быстро сказал Коля.

Он с облегчением вспомнил, что рейку и инструменты оставил наверху, на краю оврага.

Анфиса накинула на голову платок, начала торопливо его завязывать.

— Скорей! — умоляюще повторил Коля и схватил Анфису за руку.

Вдруг все померкло. Желтая пыль, сорванная с дорог и полей, завилась вверху, и в этой пыли исчез Кузя.

Коля тащил Анфису по крутому обрыву, хватался за колючий терновник, изодрал руки. Вверху уже все ревели. Взглядывая на край обрыва — далеко ли еще взбираться,— Коля один только раз увидел солнце. Но лучше бы он не видел его совсем. Оно было косматое и так дымилось, будто ветер запустил его, как волчок, с чудовищной скоростью и от солнца отрываются и улетают вместе с бурей клочья мрачного пламени.

Анфиса что-то сказала. Коля взглянул на нее. Лицо у Анфисы помертвело, только глаза — темные, напряжен-

ные — смотрели вверх, где бурьян рвался из стороны в сторону, цепляясь за землю.

— Что? — спросил Коля.

— Темно... как ночь! — крикнула Анфиса. — Мы успеем... до дождя. Не волнуйся!

«Что она кричит? — подумал Коля. — Какая ночь?.. Ах, да!» Там, наверху, в разъяренном небе, летела тьма. Последние остатки света ветер гнал впереди урагана. В полях они были, должно быть, еще видны, эти быстро меркнущие кровавые отблески во всклокоченных далах.

Лишь бы не начался сейчас дождь! Если хлынет ливень, тогда они пропали. Глина размякнет, поползет вниз, начнет обваливаться глыбами. Они не удержатся, сорвутся на дно оврага, а там уже будет мчаться, подымаясь все выше, грязный пенистый поток. Он их захлестнет и потопит.

Коля хорошо понимал опасность, захватившую их врасплох, и полную свою беспомощность. Но вместе с тем, может быть из-за этой внезапности, он временами не верил, что опасность так велика.

«Сон это, что ли?» — подумал он и застонал от досады: на руку упала первая теплая капля дождя.

— Что ты? — крикнула Анфиса. — Это не дождь. С тебя пот льет ручьями.

Тогда только Коля сообразил, что на руку ему упала капля пота.

Склон оврага стал более пологим. Над краем его показалась растрепанная голова Кузи. Кузя протянул руку и помог Анфисе и Коле выбраться наверх.

Коля вздохнул всей грудью и взглянул в ту сторону, откуда подходила гроза. Спасены! Но он не успел ничего сказать. Небо расколосось вдребезги ветвистой струей огня. Тяжелым взрывом грохнул весь горизонт.

— Тут шалаш, землянка! — прокричал Кузя и показал в поле.

Они подхватили рейку и инструменты, побежали к шалашу, навстречу свинцовой стене ливня, и успели спрыгнуть вниз, в землянку, когда отвесно падающая вода шумела, набегаая, уже рядом, в нескольких шагах.

Анфиса села на старое, перепревшее сено, и закрыла глаза. Коля сел рядом с ней, несмело взял ее руку. Анфиса тихонько подышала на его пальцы, как бы стараясь приласкать и успокоить Колю.



— Какие молнии! — сказала Анфиса. — Я сижу с закрытыми глазами, а все равно слепит.

Ливень шумел, набирал силу. Запахло мокрой землей. Ветер стих, и теперь в ровный гул дождя вошел новый звук: рев и плеск потоков, мчавшихся по оврагам.

Потоки вспухали, подмывали склоны. Глина глыбами падала в воду. Вода несколько секунд переливалась через эти глыбы грязными каскадами, потом размывала их и, вертя в водоворотах, среди пузырей и пены, утонувшего черного галчонка, неслась дальше.

— Гроза будет затяжная или короткая? — неожиданно спросила Анфиса.

— Не знаю, — ответил Коля.

— А как бы ты хотел? Чтобы затяжная?

— Да!

Пусть этот проливной дождь длится хоть до утра, лишь бы сидеть здесь, в шалаше, и видеть, как уже обессленные, медленные молнии освещают лицо Анфисы, ее темные узкие брови. А до городка можно добраться и ночью, — ночь будет лунная.

Дождь стих только в сумерки. Обратно шли разувшись. Глина прилипала к ногам. От промокнувшей земли тянуло холодком, и Анфиса продрогла в отсыревшем платье.

В обмытой траве наперебой кричали перепела. Туча уходила на север, еще лилась там черной стеной дождя на притихшие села, еще мигала зарницами, а на юге вечернее небо уже очистилось и сияло голубоватым светом.

Они вошли в городок поздним вечером. Река тяжело шумела в крутых берегах. На улицах блестели в мураве лужи, засыпанные сломанными ветками. Городок был растрепан бурей.

Зашли сначала к Нине Порфирьевне. Ее не было дома. Марьевна сказала, что Нина Порфирьевна ушла к Николаю Никитичу.

— Зачем? — испуганно спросила Анфиса.

Марьевна виновато посмотрела на Анфису и промолчала. Она не слышала.

Анфиса повернулась и выбежала на улицу. Коля бросился за ней. Кузя не решился идти следом за ними и поплелся домой.

«Ну и наломала гроза хворосту! — подумал он, отбрасывая ногой поломанные ветки. — Должно, опять повалило мамашин забор».

Каждый раз после грозы этот забор заваливался, и Кузе уже надоело его чинить.

На главной улице Кузя увидел вывернутые дождевыми потоками огромные булыжники, заржавленные кровельные листы на мостовой и засвистел,— дело было серьезное.

### СТАРАЯ ЯБЛОНЯ

Дело действительно было серьезное. Когда Николай Никитич только что прилег отдохнуть, за рекой пробормотал первый гром. Николай Никитич нехотя встал. Что-то опять начала побаливать застарелая язва. Надо бы сходить к Нине Порфирьевне. Она вновь скажет, что не обойтись без операции. А какая операция, когда человеку перевалило за шестьдесят! Лучше уж так дожить, без операции,— только беречься, не поднимать тяжестей, не надрыватьсья.

Николай Никитич закрыл вьюшки в печах, вышел на крылечко, посмотрел на тучу и покачал головой. Много он видал гроз, но эта ему особенно не понравилась. Во всю длину тучи шло, дымясь, желтое облако, похожее на грязную вату.

«Низкая гроза,— определил Николай Никитич.— Ох, и будет же хлопыстать!»

Он оглянулся на город. Окна в домах хмуро поблескивали, как бы с неодобрением поглядывая на тучу. Из-за реки летели, разевая клювы, галки и прятались на чердаках. Около заборов перекликались встревоженные женщины.

За рекой, со стороны грозы, шел товарный поезд. Дым из паровоза рвался клубами вверх и казался на аспидном небе необыкновенно белым.

Николай Никитич посмотрел на сад. Его издавна тревожило одно обстоятельство: за последние три года овраг подошел к саду вплотную, в одном месте даже покосился забор. А когда Николай Никитич сажал этот сад, овраг был от забора не меньше, чем в ста шагах.

«Как бы сад не подрыло!» — взволновался Николай Никитич.

Несколько раз за лето он обходил овраг, прикидывал, что бы можно сделать. И заметил, что водомоина, по которой дождевая вода стекала в овраг, проходила очень

близко от другого оврага, который тянулся в сторону ручья. У Николая Никитича возник план — прокопать из водомоины канаву в этот соседний овраг, чтобы отводить туда во время ливней воду. Но было как-то совестно это делать: на краю соседнего оврага стояла чужая хибарка. Правда, в ней давно никто не жил, она была заколочена, но все-таки неудобно.

Пока Николай Никитич раздумывал над этим, туча закрыла солнце и переползла через реку. Вороватая молния опалила глаза. Хлынул ливень.

Николай Никитич попятился от порога. Ему почудилось, что в потоках воды, хлеставших с неба, мечется по саду что-то седое, будто скачут все на одном и том же месте белые лошади.

Потом он услышал легкий треск и заметил, что забор медленно валится в сторону оврага.

— Подмывает! — крикнул Николай Никитич, нахлобучил кепку, натянул порыжелую кожаную куртку, схватил лопату и, нагибаясь под дождем, побежал через сад к водомоине.

По ней уже неслась грязная вода. Николай Никитич перепрыгнул через водомоину, упал, измазался в глине, поднялся и начал торопливо копать канаву к соседнему оврагу. Теперь, в такой проливень, никто не мог ему помешать.

Земля была вязкая, прилипала к лопате. Дело шло медленно, а до соседнего оврага оставалось еще шагов двадцать.

Вода лилась с кепки по лицу, мешала видеть. Внезапно Николай Никитич вспомнил об Анфисе и перестал копать. Ну, как ливень застанет их в поле, в этих проклятых Адамовских оврагах? Быть не может! Все-таки не дети. Где-нибудь спрячутся.

Николай Никитич провел мокрым рукавом по лицу, посмотрел на сад: забор весь уже повалился, и по ту сторону его вода размывала свежую землю.

Николай Никитич отшвырнул лопату. Он видел, как осел большой кусок земли за старой яблоней. Яблоня наклонилась, в обнаженной земле показались темные корни соседней молодой яблони; они старались удержать эту осевшую землю, но не осилили. Земля обрушилась, старая яблоня упала, вокруг ее вершины закипела вода, и яблоня, ныряя, показывая спутанные корни и вертясь,

поплыла по оврагу. Она ударилась о берег, зацепилась, но вода оторвала ее и унесла вниз в реку.

— Анфис! — крикнул Николай Никитич и пошел, спотыкаясь, к дому, забыв на земле лопату.

Он вошел в свою комнатенку и лег, мокрый, весь в глине, на деревянный диван. Вверху живота ощущалась острая боль. Иногда она затихала, а потом снова схватывала. Сначала слабо, потом все сильнее и сильнее, чуть не до крика, и опять затихала.

Николаю Никитичу почему-то казалось, что боль возвращается, когда вода начинает подмывать новую яблоню, усиливается, когда она выворачивает ее из земли, доходит до предела, когда с треском рвутся корни, и затихает, когда вода наконец оторвет яблоню и унесет по оврагу. Но тут же вода начинала подмывать другую яблоню, и боль возобновлялась.

Когда ливень стих, соседка Николая Никитича, Антонина Васильевна, женщина сердобольная и любопытная, заглянула в сад — посмотреть, что натворила гроза, и только всплеснула руками. Половины сада как не бывало. Тотчас за клумбой с цветочными часами начался провал.

Антонина Васильевна прошла в дом. Николай Никитич лежал на диванчике, черный, землистый. Судорога дергала его реденькую бороду.

Антонина Васильевна побежала к Нине Порфирьевне, не разбирая дороги, прямо по лужам, подобрав подол.

Когда прибежали Анфиса с Колей, в доме было пусто. Дверь была прикрыта, но не заперта на замок. Антонина Васильевна рассказала, что Николай Никитич заболел, что приходила Нина Порфирьевна, определила прободение язвы желудка и Николая Никитича тотчас увезли на операцию в больницу. Что с ним теперь, неизвестно.

В больнице было тихо. Тускло горела в коридоре лампа. Нина Порфирьевна вышла навстречу Анфисе и Коле из операционной в белом халате и шапочке, близорукими глазами строго посмотрела на Анфису, взяла ее за руку, сказала: «Пойдем сюда!» Ввела в свой кабинет и прикрыла дверь.

Коля остался в приемной. Он слышал, как вскрикнула Анфиса, хотел войти к матери, но не решился.

Появилась знакомая сиделка, кивнула Коле, достала из шкафа чистую простыню, развернула ее, прикинула длину и сказала про себя

— Как раз по нему.

— Коля! — позвала из-за двери Нина Порфирьевна

Она сидела на кожаном диване перед хирургическим столиком и держала за плечи Анфису. Анфиса сидела наклонившись, упершись руками в кожаный диван: косы ее упали. Одну косу она крепко зажала зубами, и Коля услышал тихий звук, похожий на стон: Анфиса сдерживалась, чтобы не разрыдаться.

— Коля, — спокойно сказала Нина Порфирьевна и показала глазами на Анфису, — пожалуйста, проводи Анфису к нам домой. Посмотри за ней... — Нина Порфирьевна помолчала. — Теперь Анфиса будет жить у нас.

— Не надо! — прошептала Анфиса, затрясла головой, но тотчас обняла Нину Порфирьевну за шею и прижалась к ней.

— Ну, ничего... — Нина Порфирьевна сняла пенсне и пригладила Анфисины волосы. — Ты же взрослая, сама все понимаешь. Утешать тебя я не буду. Для меня и для Коли ты родной человек. И мы, я думаю, для тебя тоже не чужие. Правда?

Анфиса не ответила, только крепче прижалась к Нине Порфирьевне.

Дома Коля сначала не знал, что делать, чтобы успокоить Анфису, но потом понял, что чем сильнее она будет плакать, тем для нее легче.

Коля ждал Нину Порфирьевну, но она все не шла. Анфиса, измучившись от слез, затихла в уголке дивана. Коля укрыл ее пледом, погасил лампу и вышел. Он сел в соседней комнате так, чтобы видеть за открытой дверью Анфису, и просидел почти до рассвета, до возвращения Нины Порфирьевны.

Хоронили Николая Никитича через день. Перед похоронами Анфиса пошла в размытый сад. Стараясь не глядеть на свежий обвал, она срезала все цветы с клумбы, где были цветочные часы, и принесла их на кладбище.

День похорон выдался пасмурный, теплый.

После похорон Нина Порфирьевна пригласила Смышляева и Абрама Борисовича выпить чаю. Оба охотно согласились. По дороге Смышляев сказал:

— Много я испытал, но такой грозы еще не видел.

— Я хотя и привык,— добавил Абрам Борисович,— но, между прочим, каждый раз волнуюсь.

— Народ наш — мечтатель,— заметил Смышляев.— Вся история это доказывает. Возьмите переселенцев на Белые Воды, сказание о Китеже, все эти поиски справедливости и счастья — от Разина до наших дней, до революции. Вот, к примеру, Николай Никитич. Тоже ведь человек своей мечты. Овраги его погубили. Может быть, и к лучшему, что он умер. Трудно было бы ему пережить гибель сада.

— Дело всей жизни! — вздохнул Абрам Борисович.

— Да, овраги... — задумчиво сказал Смышляев.— Сколько этим ливнем погубило земли! Я уже выяснил, что здесь каждый год ливни смывают в овраги пять тонн плодородной земли с гектара. Это дает недобор хлеба с каждого гектара примерно в три центнера.

— Недурно! — рассердился Абрам Борисович.— Когда же это кончится?

— Скоро. Осенью начнем засаживать склоны оврагов. Через несколько лет они превратятся в рощи. Размывов больше не будет.

— Сказка Андерсена! — пробормотал Абрам Борисович, покачал головой и сказал: — Не могу выбить из себя скептицизм.

Чай пили на веранде. По углам стояли в кадках фикусы. Сквозь плотный слой облаков белым пятном проглядывало солнце.

Анфиса отказалась от чая и пошла в сад, в беседку. Она села на скамью, смотрела на поля за рекой и вытирала набегавшие изредка слезы.

— Пусть побудет одна,— вполголоса сказала Нина Порфирьевна Коле.— Посиди с нами.

За чаем Нина Порфирьевна говорила, как она рада, что Коля пристрастился к лесному делу — самому, по ее мнению, благородному и замечательному занятию,— и спросила, почему Смышляев выбрал себе эту профессию.

— Это у меня от матушки,— ответил Смышляев.— Отец мой был слесарем на одном из московских заводов. Жили мы в Лефортове, в бараках. Кругом — мусор, пыль, ни травинки. А мать у меня из-под Вологды. Раз в два-три года она ездила к своим старикам в деревню. И меня с собой брала. Там леса. Бывало, приедем, отдохнем, потом мать наденет сарафан, заплетет косу, как девушка, и идет со мной в лес. Это у нее было как празд-

ник. Сядет на полянке, перебирает стебельки, а сама смеется. Приходила в лес прямо как на свидание с любимым. С тех пор у меня особенное отношение к лесу. Я считаю, что лес — прекрасное выражение силы природы и самый ясный образчик ее совершенства.

Коля слушал плохо. Он все поглядывал в сад, где среди листвы виднелось черное платье Анфисы. Сейчас Анфиса казалась Коле необыкновенно печальной и прекрасной.

Коля ощущал присутствие Анфисы у себя в доме как нечто неправдоподобное. Страшно было подумать, что может наступить время, когда в комнатах уже не раздастся ее голос, не заскрипят ступеньки под ее ногами.

Просыпаясь по ночам, Коля напрягал слух, будто мог услышать за стеной Анфисино дыхание. Он поворачивался к окну и смотрел на небо. Одни и те же звезды светили в комнату и к нему и к Анфисе, и в этих звездах было не передаваемое никакими словами спокойствие ночи.

### РЕЧНЫЕ ФОНАРИ

Писатель Леонтьев только что возвратился в Ленинград после десяти дней, проведенных на охоте в глухих, болотистых лесах около устья Свири. Он вдоволь надышался резким и холодным воздухом непролазных дебрей, продымился у костров и весь еще был во власти недавно пережитой тишины. Отсюда, из Ленинграда, она казалась неправдоподобной. Разная бывает тишина, но безмолвие тамошних лесов было, как казалось Леонтьеву, абсолютным.

Каждый звук, врывавшийся в это безмолвие, тотчас давал толчок воображению — будь то отдаленный гудок озерного парохода, или крик ястреба, или выстрел.

Особенно привлекали Леонтьева гудки пароходов. Он нарочито пошел к берегу Ладожского озера, чтобы посмотреть на пароходы, хотя это было очень далеко от той деревни, где он обосновался.

Вышел он на берег озера к концу весеннего дня, когда день уже меркнул и переходил в северную ночь. Все было чисто и невесомо — и песчаный берег, и гладь воды, и мгла, порождаемая каждым открытым пространством. По озеру шел пароход, и Леонтьев долго смотрел на его

легкий корпус и на зажженные, несмотря на белую ночь, фонари.

Там, в этой лесистой и почти безлюдной местности, Леонтьев еще раз понял, что всю жизнь писал не то, что мог бы написать. Всю жизнь он мучился тем, что не в состоянии был с полной силой выразить себя, мучился сознанием, что может и должен написать замечательные и нужные людям вещи. Но каждая написанная книга, как только он ее заканчивал, казалась ничтожной, неудавшейся и непоправимо испорченной.

Он ругал себя за то, что у него хватало сил только на хорошие замыслы, но не доставало упорства, чтобы их выполнить.

Первое время после возвращения в Ленинград Леонтьев никак не мог усидеть в своей холостяцкой квартире. Его все тянуло на воздух, наружу, к Неве. Счастье его, что он жил именно в Ленинграде, где природа входила в самый город и сливалась с площадями, фронтонами зданий, набережными, с самим воздухом и перспективой ленинградских улиц.

Вот и сейчас Леонтьев бродил вечером по городу и думал о множестве разнообразных вещей.

Сначала он, конечно, в какой уж раз, изругал себя за то, что ленив и никогда не пишет книги во весь голос. Всегда они у него идут по «затухающей кривой». Это были неприятные мысли, и Леонтьев постарался поскорей от них избавиться.

Была поздняя весна, и чувство этой весны, завладевшей городом, и ожидание длинного лета было таким радостным, что Леонтьев скоро успокоился.

Он долго стоял на набережной, но смотрел не на Неву, а поверх нее, на тонущие в световой дымке строгие здания, на свет зари и на самое прекрасное, что украшало каждую ночь, — прозрачную, как капля воды, звезду, горевшую над купами темной зелени.

В небе прошел на большой высоте самолет и оставил после себя снежную полоску. Она долго не таяла. Она будто тянулась от шпиля Михайловского замка к этой звезде и казалась воздушной тропой, ведущей в мировое пространство.

Леонтьев всегда испытывал необъяснимую грусть, когда становился свидетелем чего-либо простого и прекрасного. Грусть эта пришла к нему и сейчас. Стараясь отыскать ее причину, он внезапно понял, что это не грусть, а



какое-то необычное — очень светлое и плодотворное — состояние. Только по косности своей мы называем его грустью, не желая тратить силы и время, чтобы в нем разобраться. А разобраться бы надо давно.

Потом он подумал, что есть особая прелесть как раз в таких вот неясных человеческих состояниях. Из них-то и рождается поэзия.

Вот весна. В памяти возникают давно прочитанные слова. Вскоре они уже поют все настойчивее, их уже невозможно, нельзя позабыть, они утверждают свою власть над человеком и входят в его жизнь, как входит сама весна:

Ты счастие! Ты радость прежних лет!  
Весна моей мечты далекой...

Прозаик — по самой своей сути человек медлительный, обстоятельный и простой. Поэзию же Леонтьев считал волшебством. Поэтам он завидовал и не уставал восхищаться их способностью всегда по-новому — неожиданно и броско — передавать давно знакомые ощущения.

Леонтьев медленно пошел через Петроградскую сторону. На северо-западе никак не могла погаснуть заря, а на востоке ее уже сменяла другая. Он, усмехаясь, думал, что вот идет навстречу заре, навстречу какой-то новой жизни, и это выражение «навстречу заре» — вовсе не затасканная, старая метафора. Если взглядеться в чистоту неба, в его золотизну, то невольно начнешь волноваться, как будто впереди и вправду тебя ждет счастье. Это счастье скрыто и в прозрачности ночи, и в огнях речных фонарей, и в том, что где-то высоко, на четвертом этаже, слышен из открытого окна детский смех.

«Черт возьми! — подумал Леонтьев. — Как бы это все же собрать воедино свои мысли и привести их в полную ясность?!»

Единственное, что он сейчас ощущал, — это волнение, вызванное быстро меняющимися мыслями. Но в этих мыслях было что-то одно, главное, чего он еще не мог уловить, выразить словами.

Он знал, что в ту минуту, когда весь этот хаос как будто мимолетных мыслей и впечатлений станет совершенно отчетливым, наступит время писать. Наступит та жажда писать, когда каждая потерянная минута кажется катастрофой. Тогда весь этот поток разрозненных мыслей войдет в гранитные, строгие берега повествования.

Удивительнее всего, что окружающее было под стать той ночи с ее сумрачным блеском: и тусклый отсвет адмиралтейской иглы, и слабый огонь зари в окнах, и приглушенные голоса, и даже внешность людей.

Вот прошел старик без шляпы, с заложенными за спину руками — известный ученый; остановился на берегу и долго смотрел на черные грузные баржи, стоявшие на якоре на Большой Невке. Он, должно быть, удивлялся тому, что баржи эти, сделанные из тяжелого темного дерева, казались сейчас, в свете ночи, совершенно невесомыми. Или вот девушка в темном скромном платье. Она сидит на каменном спуске к воде и, низко нагнувшись, читает при последнем, иссякающем свете какую-то книгу.

«Что она читает?» — подумал Леонтьев, остановился, хотел спросить об этом девушку, но та обернулась, посмотрела на Леонтьева раздосадованными глазами — такими большими, что вокруг блестящего зрачка был виден нежный белок, — и захлопнула книгу. Спрашивать не пришлось — на обложке Леонтьев прочел: «Алексей Толстой. Хождение по мукам». Девушка поднялась, пошла по набережной, и Леонтьев, глядя ей вслед, увидел, что это совсем еще юное существо — тоненькое, со слабыми плечиками и детскими косами.

Всю ночь Леонтьев бродил по островам, долго сидел на бонах лодочной станции. Быстрое течение на Невке перебирало и расчесывало зеленые нити водорослей. Стало холодно. Туман серыми струйками начал осторожно выползать из садов и стлаться по воде. Никого вокруг не было.

И тут наконец Леонтьев понял, что все эти его такие разрозненные мысли, по существу, являются мыслями о родине и о нем самом как частице многомиллионного народа, частице своей страны. Ленинград был одним из лучших ее выражений, и все в нем, до последней мелочи, говорило о прошлом, о настоящем и будущем России.

Теперь Леонтьеву стало ясным, о чем он будет писать: о России. Она сейчас представлялась ему обширным миром поэзии, далеко еще не до конца исчерпанным поэтами, писателями и художниками. Да, полно, можно ли эту поэзию исчерпать до дна? Конечно, нет. Но он все-таки должен добавить ко всему, что писалось о России, свой вклад, свою любовь к ней, свое ощущение эпохи — бытвалой и удивительной.

Как, каким путем он это сделает? Это в конце концов было не так уже важно. Он твердо знал, что сделает.

Он лег на боны, зачерпнул невской воды и умыл ею лицо. Вода пахла водорослями и немного железом.

Леонтьев встал, вытерся носовым платком. На лицо его упал луч только что взошедшего солнца, и он улыбнулся от ощущения утренней теплоты.

### ДОРОЖНАЯ КНИГА

Пароход сел на мель на рассвете. Он долго работал то вперед, то назад, из-под колес буграми била вода, но сняться с мели не удалось.

Ока волочила грунт на перекате с такой силой, что было видно, как песчаное дно переливается вниз по течению.

Засели прочно. Пароход жалобно загудел, но всем было ясно, что гудеть бесполезно, и гудок вскоре затих. Оставалось ждать попутного или встречного буксира, который мог бы стащить пароход с мели. Но река была пока что пустыня.

На гудок приехал с берега бакенщик. Он божился, что только вчера над этим местом прошел буксир «Кочегар» с четырьмя баржами-нефтянками и ни разу не коснулся дна.

— Шалит река! — виновато говорил бакенщик капитану. — Несет песок бесперечь второй год. Каждый день перекаат меряю, переставляю бакены. Да за этой рекой разве угонишься! Чуть оглянулся, а она — пожалуйста! — завалила уже песком весь фарватер.

— Нарочно в Залесье задержались, — с отчаянием сказал капитан, — чтобы проскочить этот проклятый перекаат засветло. И вот — иа тебе! Проскочили!

Анфиса стояла на палубе, облокотившись о борт, и смотрела на крутой берег реки, заросший желтыми цветами. На берегу, на перевальном столбе, висели черные шары. Около столба сидел мохнатый пес и смотрел на пароход. Каждый раз, когда Анфиса на него взглядывала, пес начинал мотать пушистым хвостом и повизгивать, но подойти к обрыву не решался.

— Твоя собака? — спросил капитан бакенщика.

— Моя. Дамка. Пароходы она уважает. Будет так вот сидеть глядеть хоть целый день. А вот моторок не лю-

бит. Прямо сипнет от злости, как их увидит. И чего ей дались те моторки, не пойму!

— Что-нибудь да есть,— сказал капитан.— Не без причины.

— Известно, не без причины! — радостно согласился бакенщик.

Он охотно соглашался со всем, что говорил капитан, лишь бы оттянуть неприятный разговор о неправильно поставленных бакенах и посадке парохода на мель. В глубине души он сам не знал, виноват ли он, что пароход сидит на мели, или нет за ним никакой вины.

Пожалуй, скорее, вины нет. Не может же он каждые два часа мерить глубину на фарватере и переставлять бакены с места на место!

Река за последние годы совсем отблнлась от рук. Кто его разберет, чего в ней теперь больше, воды или песку! Вот, месяц назад, села на мель беляна у Ближних Полян, а сейчас уже намыло вокруг нее целый остров, и с того острова мальчишки ставят закидные удочки, ловят рыбу.

— А вокруг беляны-то,— спросил капитан, и бакенщик даже поежился: вот он, старый разговор,— той, что у Ближних Полян, небось лоза уже выросла?

— Это верно, выросла! — с готовностью подтвердил бакенщик, хотя знал, что никакой лозы там еще нет.

Он помолчал и наконец спросил капитана о том, что его давно и больше всего беспокоило:

— Отец мой, бывший водолив, все серчает, что происходит такое обмеление. Это, говорит, инженеры виноваты. Городить должны реку плотинами, не упускать полую воду. Правильного распределения воды, говорит, нету. Надо думать, пустые это слова.

— Почему пустые?

— Я так полагаю, что не в распределении дело, а бесперечь сохнет земля. Вода куда-то девается, шут ее знает!

— Что ты путаешь! — рассердился капитан.— Старик твой верно говорит. Воды на земле не убавилось—и дожди те же и снега те же. А вот распределение воды в природе дурацкое. В мае размахнет разлив на десять километров, а через месяц нет воды, утки вброд переходят.

— Правильно!

— А почему такое явление? Не соображаешь? Потому что голо кругом,— капитан кивнул на песчаные бере-

га.— Голо! Я по этой реке плаваю уже тридцать пять лет. Что тут было раньше, забыл?

— Лес, конечно, был,— ответил неуверенно бакенщик.— Ха-а-роший лес! Семь верст до небес — и все лесом.

— Вот то-то! Лес воду берег, притенял землю, питал реку весь год. Были бы леса — не надо нам никаких плотин. Понятно?

— Понятно,— пробормотал бакенщик.

Анфиса слушала этот разговор и думала о Коле Евсееве. Этим летом Коля проходил практику под Ленинградом, в пригородных парках. Анфиса плохо представляла, какая там может быть работа для будущего лесовода.

Зиму Анфиса прожила в Москве, училась в театральной студии. Поселилась она в студенческом общежитии на Гоголевском бульваре. Ей сразу же понравилась Москва: ее зимние туманы, огни, сутолока, театры, куда она научилась пробираться со своими подругами по пропускам, студия, где преподавание было поставлено очень интересно, жаркие, до слез, споры об искусстве, о последних спектаклях, непрерывная работа над собой, которой настойчиво добивались преподаватели,— от постановки дыхания и голоса до умения фехтовать.

«Чтобы быть хорошим актером, надо много знать, понимать и прочувствовать» — таков был закон студии. Анфиса жадно читала, бегала по музеям.

Стипендии ей не хватало, и она кое-что подрабатывала: помогала писать декорации в мастерской одного из театров. Художник был невероятно ленивый и наваливал на Анфису гораздо больше работы, чем полагалось. Анфиса очень уставала.

Но всё искупали репетиции, когда декорации впервые ставились на сцене и на них пробовали освещение. Блеск красок, свет — то багровый, то золотой, то синий, шумное отчаяние режиссера и художника, их постоянные стычки, запах олифы, звуки оркестра, тут же разучивавшего музыкальные куски,— все это нравилось Анфисе. Особенно любила она пустой и неосвещенный зрительный зал. Нигде чувство приближающегося неизбежного праздника не было так сильно, как там. Пройдет еще несколько часов, и темный этот зал преобразится, засверкает огнями, позолотой и наполнится до самого купола пеннием оркестра. Легкий театральный ветер будет коле-

бить занавес, и наконец начнется спектакль — то удивительное зрелище, к которому Анфиса все еще не могла привыкнуть.

С Колей Анфиса переписывалась редко.

Коля звал ее приехать на летние каникулы в Ленинград. Анфиса уже совсем было собралась, но передумала: решила поехать со своей подругой, студийкой Татой Базилевич, на две недели на пароходе от Москвы до Казани и обратно.

«Вернусь и, если останется свободное время, поеду в Ленинград», — говорила она себе, хотя хорошо знала, что свободное время останется.

На палубу вышел плотный человек, лысоватый, загорелый, с седеющей бородкой и прищуренными спокойными глазами, — ленинградский писатель Леонтьев. Анфиса и Тата познакомились с ним, как только пароход отвалил от речного вокзала в Москве, и тотчас сдружились, хотя Леонтьев оказался великим молчальником. Говорил он редко — больше усмехался.

— Сидим? — спросил Леонтьев Анфису.

— Сидим!

— Люблю речное плавание, — хитро сказал Леонтьев. — От торопливости, говорят, жизнь сокращается.

Он сел в плетеное кресло на корме, закурил и, как всегда, углубился в чтение. Читал он все одну и ту же толстую книгу. Называлась она: «Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга. Среднерусская черноземная область».

Леонтьев разложил на столике карту. Отрываясь от книги, он рассматривал ее, прищурив глаз, чтобы в него не попадал дым из трубки. Изредка он делал выписки в толстую зеленую тетрадь.

Он читал и работал на палубе так же спокойно, как, должно быть, у себя в холостяцкой квартире. Ничто ему не мешало — ни разговоры пассажиров, ни вечный смех Таты Базилевич, ни остановки на пристанях, ни встречные пароходы.

Леонтьев безмолвно участвовал во всей пароходной жизни. Он часто откладывал книгу и смотрел на берега. Вот на крутояре деревенские девушки наваливают на телегу сено из стогов, что-то задорно кричат вслед пароходу, и зубы их блестят на солнце. Потом стога и девушки пропадали за поворотом, и пароход гудел, сбавляя ход перед разводным мостом.

Мост торопливо разводили. Пароход проходил в узкий пролет. Пассажиры висели на бортах. Леонтьев вставал и тоже подходил к борту.

На мосту, засыпанном сухим сеном, дремали лошади, свистели в два пальца мальчишки, махали платочками девушки. Бородатый паромщик с багром в руке кричал:

— «Рылеева» не видали?

— Следом идет! — отвечали с мостика.

— Там у меня зять механиком!

— Чего?

— Зять, говорю, механиком!

— С чем вас и поздравляем, папаша! — кричали с парохода.

Паромщик неодобрительно качал головой. Пароход проходил. Волны весело били по мосту, захлестывали на него; девушки с визгом подбирали платья, лошади прыгали, прядая ушами; дружно качались привязанные к мосту дощаники, и пароход, широко разворачивая за кормой пенистый след, прибавлял ход до полного.

Все успокоивалось. Леонтьев возвращался в плетеное кресло. Монотонно работала машина. С лугов доносился запах клевера. Клонило в дремоту. Леонтьев засыпал на несколько минут, а когда просыпался, за излучиной реки в слюдяной дымке полудня виднелись вершины старых верб и деревянные шести — антенны над крышами какого-то села. И страшно высоко, оставляя в синеве перистый след, проходил над рекой самолет.

Книга «Россия», которую так медленно читал Леонтьев, заслуживала изучения.

В конце XIX века петербургский издатель Девриен начал выпускать многотомное географическое описание России. Руководил этим изданием известный географ Семенов-Тян-Шанский. Каждый том был посвящен той или иной области страны и снабжен картами и множеством рисунков и фотографий.

Обширный этот труд был интересен тем, что, помимо общего описания каждой области, ее рек и озер, почвы, климата, растительного и животного мира, исторических судеб, быта и культуры, промыслов и занятий населения, в нем были еще подробно описаны не только все города, вплоть до самых ничтожных, «заштатных», но даже все села и деревни.

Это описание России, по мнению Леонтьева, не потеряло значения и теперь, хотя его трудолюбивые состави-

тели и отличались пристрастием к церковной старине, ярмаркам и помещичьим имениям.

Леонтьев смотрел сквозь пальцы на эти слабости авторов «России». Он находил в книге много полезного и неожиданного. В конце концов это была первая географическая энциклопедия страны. Она давала представление о ней в те времена, когда в России особенно бурно развивалась промышленность, строились железные дороги, начиналась каменноугольная горячка в Донецких степях.

Леонтьев выписывал из книги отдельные места, сам еще не зная, пригодятся ли они ему для работы. Просто эти места казались ему интересными.

«На реке Воронеже, при вступлении этой реки в обширное лесное пространство, расположенное в трех уездах (Козловском, Липецком и Раненбургском), находится село Старая Казинка, бывшая в начале XIX века во владении помещика Ивана Герасимовича Рахманинова. Этот Рахманинов был поклонником Вольтера и переводчиком его сочинений. В 1788—1789 годах Рахманинов, будучи конногвардейским офицером, издавал журнал «Утренние часы» и завел свою типографию, которую по выходе в отставку перевез в Казинку. В 1795 году по допису козловского цензора типография была закрыта, а сам Рахманинов отдан под суд. Но вскоре типография и книжный склад сгорели, и Рахманинов был освобожден.

Племянник Ивана Герасимовича был замечательным ученым и профессором механики в Киевском университете.

В настоящее время семья Рахманиновых дала даровитого молодого композитора, автора оперы «Алеко» и ряда других произведений».

Леонтьев усмехнулся, перелистал несколько страниц и снова начал выписывать:

«В семи верстах выше устья реки Красивая Меча расположено село Троекурово, имеющее больше трех тысяч жителей, две церкви и лавки. Троекурово в конце XVII века, по свидетельству синодика, хранящегося в Лебедянском монастыре, принадлежало князю Ивану Троекурову, спутнику юности Петра Первого. Он был назна-



чен начальником Стрелецкого приказа и в этом качестве должен был «вершать» разнообразные дела. Так, в 1695 году к Троекурову привели мужика, который закричал «караул» и сказал за собой «государево слово». Допрошенный Троекуровым, он заявил, что если ему помогут сделать крылья как он укажет, то он будет «летать, как журавль». Крылья были сделаны «по указу великих государей». Мужик надел их, перекрестился и приказал раздувать крылья мехами, но подняться все-таки не смог, ссылаясь на их тяжесть, а потому бил челом Троекурову, чтобы ему дозволили сделать другие крылья, которые обойдутся всего только в пять рублей. Но князь «раскручинился», приказал бить мужика-журавля батогами, а 18 рублей казенных издержек доправить на нем, продав его имуществу».

Выписав это место, Леонтьев улыбнулся: до чего чудесный народ — беспокойный, талантливый, золотые руки! Как знать: если бы дали этому мужику еще пять рублей, то, может быть, и вышел бы толк.

Чтение «Географического описания» навело Леонтьева на мысль, что пришло время выпустить такое же издание о Советском Союзе — ряд книг, где были бы описаны все области, края, все города, и старые и только что возникшие к жизни, все колхозы, села, новые железные дороги, плотины, электростанции, автострады, заводы, каналы, заповедники, огромные, созданные руками человека озера — каждый уголок страны в его новом качестве, с новой историей, с новыми людьми, с новой, созданной после революции географией русской равнины. Это не исключало бы, конечно, и описания старины, памятников искусства и всей прошлой истории этих мест.

В предисловии к тому «Среднерусской области» с гордостью перечислялись знаменитые уроженцы этой области: Баратынский, Тютчев, Лермонтов, Никитин, Фет, Тургенев, Лев Толстой, Лесков, Белинский, капитан Головин, художник Крамской, актер Щепкин, генерал Ермолов и многие другие.

«А мы? — думал Леонтьев. — Плохо мы еще знаем биографии наших людей. Мы могли бы продолжить этот список именами наших ученых, политических деятелей, писателей, инженеров, военных, летчиков, путешественников — уроженцев этой же области».

Леонтьев начал вспоминать: академик Павлов, Циол-

ковский, Мичурин, скульптор Голубкина, писатели Малышкин, Новиков-Прибой, Гайдар, Пришвин, Вересаев, поэты Асеев, Есенин, художник Архипов...

Для этой работы нужно создать содружество писателей, художников и ученых. Каждый из писателей изучил бы два-три района страны, а потом их описал.

Это была работа на много лет — захватывающая, новая, значительная. Леонтьев увлекся этой мыслью, но, как человек осторожный, пока что о ней никому не рассказывал. Зимой он разработал план издания, а летом решил проехать в какой-нибудь уголок глуше, пожить там и посмотреть, как изучение страны будет выглядеть «в натуре».

Леонтьев был страстный охотник и рыболов. Поэтому он выбрал в средней полосе России самый лесистый район, где сохранились еще девственные боры с их озерами и болотами.

Сейчас он ехал туда на пароходе, и чем дальше, тем больше эта поездка казалась ему и необходимой и заманчивой.

Всегда его тянуло в лесные края. Леса были его страстью, его увлечением. Может быть, потому, что раннее свое детство он провел в Заволжье, в безлесных, пыльных, перегоревших от постоянной засухи землях.

Однажды вечером, сидя на корме парохода вместе с Анфисой и Татой, он вдруг разговорился и рассказал им свою жизнь.

Никогда и никому он так подробно о ней не рассказывал. Даже когда у него попросили автобиографию для энциклопедического словаря, он написал всего несколько строк:

«Происхожу из крестьян бывшей Самарской губернии. С трех лет остался сиротой. Был взят на воспитание крестьянином-бобылем. Приемный мой отец с великим трудом дал мне среднее образование. А затем — с семнадцати лет — я жил самостоятельно, работал дорожным мастером, землемером. Писать начал в двадцать два года. Сначала печатался в приволжских газетах, а потом добрался до Москвы и Ленинграда».

Теперь, на пароходе, если бы Леонтьев не увидел в руках у Анфисы книгу Мельникова-Печерского «В лесах», он бы ничего, наверно, не рассказал. Книга эта вы-

звала у него воспоминания, и незаметно для себя он разговорился.

— Вы знаете, о каких лесах идет у Мельникова разговор? — спросил он Анфису. — О Керженских. В старые времена пояс дремучих лесов охватывал с севера русские степи. Теперь от него остались только острова — Черниговские леса, Брянские, Мещерские, Муромские, Керженские. В Керженских лесах народ был крепкий, строгий. Мой отчим был родом оттуда.

— А отец? — спросила Анфиса.

— Ни отца, ни матери я не помню. С трех лет остался сиротой. Жили в деревне Песчаное бывшей Самарской губернии. Взял меня к себе в избу один отставной солдат, георгиевский кавалер, бирюк и бобыль. Человек был хмурый, всем недовольный. Только и делал, что ругал мужиков за невежество. Бедняк был немислимый. Но с воображением. Уважал науку. Говорил, что ученый человек, как дубовый клин, расколет самое вязкое полено.

— Как же он дал вам образование? — удивилась Тата.

— По крохам. Буквально вымолил. Обивал пороги. Даже в ногах валялся у попечителя учебного округа. С гордостью своей не посчитался. А старик был занозистый, прекословить себе не давал. Есть такие мужички: уж если что вобьет в голову, то ничем не выколотишь. Семью пустит по миру, последнюю коровенку продаст, в лаптях будет зиму ходить, всем осточертеет, всех изругает, шелуху от проса будет жевать, а со своего пути не сойдет. Древнее русское упорство. Мой отчим был с Керженца. Потому и прозвище у него было на деревне «Кержак». Детство, в общем, было у меня невеселое. Засухи, голод, «черные бури». Кончилось тем, что вся деревня снялась и ушла на запад, за Волгу, а там разбрелись кто куда. Мы с отчимом попали в Пензу. Там он сапожничал.

— Он умер? — спросила Анфиса.

— Давно. Но первые свои рассказы я напечатал еще при нем. Он их вырезал из газет и клеил на стенку: очень гордился. Надо было съездить к нему на могилу, да вот все некогда... Да, — повторил, помолчав, Леонтьев, — невеселое было детство. Когда я появился на свет, леса в Заволжье уже давно были сведены. Остались кругом только одни сухие равнины. И гуляли по тем равнинам

горячие ветры. С тех пор я ветер не люблю; прямо заболелаю, когда начинается ветер. Засухи были жестокие. Суховей. Хлеба сохли на корню. Пух от репейника летал, бывало, целыми облаками, набивался в рот, в нос, прилипал к лицу. Оводы гудели над каждой лошадеикой и коровой тучами. Черт знает что! Даже куры сидели на земле, разинув клювы, и тяжело дышали. А вода из нашей речонки все уходила. Оставался один грязный ручеек, да и тот затаптывали ногами и копытами. И весь день висело в небе солнце — красное, страшное. Мужики как поглядят на него, сейчас же ругаются. Но хуже всего было по вечерам. Каждый вечер в полях поднимались тучи, но никогда не доходили до нашей деревни. Останавливались на горизонте, полыхали зарницами, а к утру от этих туч не оставалось и следа. Иногда только от них налетал ветер, и, помню, шумели хлеба, — сухо, мертво, как жестяные.

Да... Однажды, в такую вот засуху, забрел к нам в деревню бродячий монах. Ходил он с железной кружкой, собирал на построение сгоревшего где-то в Тамбовской губернии храма. Худой был монах, носастый, и глаза такие, что прожигали насквозь. Мужики и то от его взгляда отворачивались. «Не гляди! — говорили. — И так дышать нечем». Помню, как монах все кричал: «Бога забыли! За грехи ваши господь постановил испепелить эту землю на пять аршин в глубину. Покайтесь! А не то задымятся хлеба, и все погибнет. Спасутся, кричал, только птицы небесные, улетят в те губернии, где дождик моросит, землю мочит!»

Сначала мужички наши уперлись. «Чего нам каяться! — говорят. — Грехи наши обыкновенные, всеобщие. Мы хуже других, скажем парамоновских (а Парамонов от нас в шести верстах), не грешили». А монах все кричит, мол, надо отслужить молебен о ниспослании дождя и опахать на бабах и ребятах вместо коней все село.

— Прямо средние века! — возмутилась Тата.

— Да, — ответил Леонтьев. Мужички наши подумали и согласились: терять-то все равно нечего. Ночью опахали село. Запрягли в соху баб и нас, нескольких ребят. Меня отчим тоже заставил. Мы волочим соху, а монах идет рядом и покрикивает: «Помолимся, православные! Во избавление!» А сзади валит толпа. Пыль, пот, ночь мутная. И опять, как всегда, поднялась над полями ту-

ча. Передернуло ее бегучим огнем, и даже гром проворчал где-то за самым краем земли. Ну, бабы, конечно, на колени, бьют поклоны, крестятся. А зарницы все реже и реже. Потом взошел за этой тучей месяц, и видим мы: туча совсем прозрачная, месяц через нее просвечивает, как через сито. Тут Кержак плюнул и закричал, что никакая это не туча, а просто сбило пыль под небом, и нет там ни капли дождя.

Бросили соху, пошли в деревню, а наутро пришел из Парамонова поп с псаломщиком служить молебен о ниспослании дождя. Вышел весь народ с хоругвями на бугор среди полей,— с того бугра в ясную погоду был виден правый берег Волги. Поп пригладил руками волосы и завел: «Миром господу помолимся...» Кадит, искры из кадила сыплются в сухую траву, а она тлеет. Мужики и бабы приминают ее руками, с колен не встают.

Потом поп окропил крест-накрест поля святой водой. Бабы плачут, прижимают к себе ребят, просят: «Защити, батюшка! Не дай малым помереть голодной смертью!» Я тоже стою на коленках, крещусь. Вдруг слышу, хоругви захлопали, зазвенели. Смотрю, поп простер руки с крестом к востоку, а оттуда несется черная туча. Несется прямо по земле и вся дымится. Поп говорит: «Вот, православные! Услышал господь моления наши. Подходите ко кресту, сестры и братия». Все стоят на коленях, как окаменели, и никто к кресту не подходит. Только Кержак встал с колен и говорит попу: «Ну и намолил ~~мы~~ нам, батюшка, дьявола! Спасибо!»

— А что же это было? — испуганно спросила Тата.

— Погодите. Я смотрю, десятки смерчей летят перед тучей — и прямо на нас. Солнце сразу померкло, и налетел на поля пыльный ураган. Черная буря. Хоругви все расшвыряло, в двух шагах от пыли ничего не видно — и ни единой капли дождя. Только песок бьет в глаза, и жара такая, будто открыли рядом огромную печь. Все упали лицом на землю. Дышать нечем. А как только первый вихрь прошел, кто-то вскочил, кричит: «Где монах? Народ замутил, накликать беду, косматый!» Кинулись искать монаха, да где там найдешь в такой пыли и урагане! Потом рассказывали, что видел его кто-то, как он, подобрав рясу, мчался от деревни к Волге. И кружкой брякал, как коренник бубенцом.

Тата засмеялась.

— Да!.. — вздохнул Леонтьев. — Все поля занесло пе-

ском, хлеба погорели, листва на деревьях пожухла и свернулась в трубочки. Мужики подумали — да и снялись с насиженных мест. И ушла наша деревня на правый берег Волги — искать счастья. Проклятые были места! Теперь там уж не то. Теперь наши места не узнаешь. Рассадили колхозники леса для защиты полей, повсюду пруды, свежесть...

Леонтьев замолчал и начал раскуривать трубку. Девушки тоже молчали и смотрели, как тонут во мраке тусклые перевальные огни на берегах.

#### ♦ НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ ♦

Пароход сел на мель вблизи того городка, куда ехал Леонтьев. Эта задержка совершенно не огорчила Леонтьева, Анфису, Тату и еще одного пассажира — молодого лесничего. Все же остальные пассажиры волновались и брюзжали.

Лесничий ехал туда же, куда и Леонтьев. У лесничего были льняные волосы, белесые ресницы, серые глаза, и ходил он в светлом, стального цвета, костюме.

Больше всех был недоволен задержкой инженер с громовым голосом, в черепаховых очках. В числе многих других инженеров он работал над проектом Большой Волги. Затягиваясь табаком и удушливо кашляя, он рассказывал о плотине через Волгу длиной в десять километров, о гигантском искусственном озере и гидростанции, и временами слушателям не верилось, что Большая Волга — реальность.

«Работа исполинов!» — думал Леонтьев.

Все пассажиры сошлись в салоне за утренним чаем. Раньше всех заняла столк какая-то суетливая старушка. Она везла в Горький к своей дочери внука — толстошекого мальчика с сонным лицом.

— Можете себе представить, — трещала старушка, — сколько у меня переживаний с этим пароходом! Я же везу ребенка. На всех пристанях я ему вынуждена покупать молоко от неизвестных коров. Если бы Соня знала, она сошла бы с ума. А эта мель меня прямо зарезала. Если мы опоздаем, то можете себе представить, что будет с Соней.

— Чего вы так волнуетесь? — заметил инженер. — Добро бы по делу ехали.

— Ну, знаете! — воскликнула старушка, и глаза ее загорелись боевым огнем. Видно, она только и ждала, чтобы вступить с кем-нибудь в перепалку. — Каждый думает, что его дело — самое важное. Ваша Волга тоже не остановится, если вы опоздаете на какой-нибудь день.

Инженер пожал плечами:

— Я совсем не собираюсь останавливать Волгу.

На палубе загудел гудок. Снизу, из-за переката, ему ответил другой, ленивый и низкий.

— Буксир! — крикнула Тата, вскочила и помчалась на палубу.

За ней поспешили остальные пассажиры. Всем было интересно посмотреть, как пароход будут стаскивать с мели.

Только старушка не могла уйти, потому что сонный мальчик, надув щеки, со свистом высасывал из стакана молоко от неизвестной коровы. Старушка смотрела на внука колючими глазами. Но мальчик не обращал на нее внимания и после каждого глотка долго, с наслаждением отдувался.

Когда пароход сняли с мели, оказалось, что у него поломаны плицы на колесах и погнут какой-то вал. В ближайшем городке пароход поставили на ремонт. Пассажирам объявили, что ремонт займет больше суток, и потому желающие могут пересесть на «Рылеева», который идет следом.

Почти все пассажиры перешли на «Рылеева». Леонтьев и лесничий попрощались с девушками и сошли совсем: оба они ехали только до этого городка. На пароходе остались Анфиса и Тата да еще две женщины — инженеры с текстильной фабрики.

Из затона Анфиса и Тата пошли побродить по городку. Он понравился им чистотой, садами, мощеными спусками, гостиним двором, где в прохладных лабазах висели хомуты и от них крепко пахло кожей.

Зашли в городской сад. Там целыми полями цвели анютины глазки. Обнаружили дощатый павильон, где продавали малиновое мороженое.

Когда доедали третью порцию, в павильон вошел Леонтьев. Девушки ему очень обрадовались. Леонтьев подсел к столику и заказал себе сразу пять порций: день был жаркий.

— Этот лесничий, — сказал наконец Леонтьев, заканчивая третью порцию, — совершенно замечательный че-

ловец! Предложил мне пожить у него в лесу. Отсюда тридцать километров. Через час туда пойдет грузовик. Я на него уже и вещи свои положил. Хотите поехать? Куда интереснее, чем сидеть здесь целые сутки.

— Ну как? — спросила Анфиса Тату и посмотрела на нее умоляющими глазами.

— Что «как»? — ответила Тата. — Конечно, поедем. Но только если нас завтра утром подбросят обратно.

— Подбросят, — пообещал Леонтьев. — Там лес, говорят, заповедный.

— Я толком и не видела настоящего леса... — грустно призналась Анфиса. — Наша область безлесная.

— А вы откуда?

— Я из-под Курска.

Вскоре действительно подошел грузовик. Из кабинки выскочил лесничий. Он был теперь уже в гимнастерке и сапогах. Сейчас только девушки узнали, что фамилия лесничего Баулин. Он, видимо, обрадовался, что Анфиса и Тата поедут в лесничество, но только забеспокоился, где их уложить на ночь.

— Да у Марии Трофимовны! — подсказал пожилой шофер. — Она в отпуск уехала. Комната ее пустая.

Машина, пыля, пронеслась через городок, потом покатила по окраинным улочкам, заросшим муравой и мелкой ромашкой.

Гуси, гогоча и переваливаясь, поспешно отходили к заборам. Конопатые босые мальчишки изо всех сил бежали вслед за машиной, но цепляться боялись. Из дворов выносились собаки и, чихая от пыли, догоняли машину, с наигранной яростью заливаясь лаем.

Анфисе нравилось здесь все: и гуси, и мальчишки, и собаки, и глупый теленок. Он долго скакал перед машиной и отбрыкивался от нее, пока не догадался свернуть в переулок.

Потом пошли поля, задул горячий ветер, но никакого леса не было.

— Где же ваш лес? — поинтересовалась Анфиса у Баулина.

— А вон он синее!

Баулин показал в сторону, где по горизонту тянулась темная полоса. Анфиса сразу ее и не заметила.

Въехали в пески. Машина заскрипела от натуги. Из радиатора начал бить пар. Пески делались глубже, под-



нимались по сторонам сыпучими буграми. Кое-где торчали редкие кусты лозняка.

Среди этих горячих и сухих песков стояла деревня. Только одинокая ракета у околицы давала жидкую тень, а дальше все избы, дворы и широкая улица были залиты таким нестерпимым светом, что больно было смотреть.

В деревне было пусто. Редко-редко высунется из окна женщина или подбежит к плетню и повиснет на нем, разинув от любопытства рот, мальчишка с измазанными ягодой щеками.

Остановились около колодца, чтобы налить воды в радиатор и дать остыть мотору. Высокая старуха доставала из колодца воду. Она вытаскивала не больше трети ведра и бережно переливала воду в другое ведро, стоявшее на земле.

— Что ж так? — спросил шофер. — Вода у вас будто по карточкам.

— Ох, деточка, — вздохнула старуха, — покуль наберешь воды, прямо измаешься! Безводное наше село.

— А где все? На работе?

— Ушли, милый. У нас поля далеко, за песками.

— Что ж вы пески такие развели! — шутливо прекнул старуху Баулин.

— Ох, деточка, — опять запела старуха и заправила под платок седые волосы, — пески у нас великие! Как солнечный день, так продыху нет. Калятся они от солнца и все сушат, до самого корня. Вздохнуть нечем, деточка. А как ветер, так лучше не живи на свете. Все запорошит, в избу пыли набьет, песку полон рот — не отплюешься. А главное, заносит поля. Так и ползет и ползет — хоть переноси деревню на новое место.

— Сами виноваты, — сказал Баулин. — Сосняк рос на песках — вырубил. Начали скот на порушке пасти. Скот всю землю истолок — вот тебе и пошли пески. А теперь жди, куда их остановят.

— Ты меня не вини, — испуганно сказала старуха, — это дело мужиковское. Кабы наши мужики знали, что стряется такая беда, неужто хоть бы одну сосенку срубили? Нипочем. И скот бы пасли на другом месте. Это хорошо, что пынче всё разъясняют. А рапе кто нам мог разъяснить? До Советской власти? Учительша совсем была хвора, а поп барышничал, лошадами торговал по ярмаркам. И не служил, а прямо ржал — не разбери господи, чего и кричит. Такой уж нам попался.

От жары и пыли хотелось пить. Зашли в избу к старухе попить молока. В избе сидела на лавке девочка лет пяти и, затаив дыхание, во все глаза смотрела на Анфису и Тату.

Анфиса дала девочке конфету в цветастой обертке, но, пока девочка ее рассматривала и озабоченно сопела, из сеней осторожно вошла пестрая курица, не спеша подошла к девочке, выхватила у нее из рук конфету и тут же на полу начала было поспешно ее клевать. Девочка заревела, зажав кулаками глаза.

Конфета была спасена, и девочка успокоилась.

Поехали дальше. Вскоре начались пески, усаженные рядами сосенок и чернойбыла.

— Наша работа,— сказал Баулин.— Закрепляем пески. Они здесь летучие.

Сосенки становились все выше. На песках уже зеленело сосновое мелколесье. Среди сосенок во множестве цвели лиловые колокольчики и бессмертники.

«Да! — думал Леонтьев.— Что может быть лучше, чем так вот скитаться из деревни в деревню, из города в город, среди этих лесов, полей, рек, луговин, огородов, под солнцем, в запахе созревающей ржи... Скитаться и утром, и днем, и по вечерам, когда поют на возах, возвращаясь с покоса, женщины, и глаза их кажутся золотистыми от заката... И по ночам, когда выпь перекликается в сырой темноте с низкими огнистыми звездами. И все это такое родное, давно известное и любимое: и гудки пароходов, и лай собак, и мычанье коров, и далекий веселый голос гармоники около избы сельсовета».

«Обо всем этом я и буду писать,— думал Леонтьев.— О нашей земле, ее заботах, богатстве и красоте. О лесах и пастбищах, о тружениках, что живут на этой земле, о простой и значительной жизни народа».

— Головы! — внезапно крикнул Баулин.

Анфиса быстро наклонила голову и услышала, как обмахнула весь кузов густая листва. Листья растрепали ей волосы. Тотчас в лицо повеяло живительным холодком.

— Вот и лес! — сказал Баулин.

— Анфиса! — крикнула Тата.— Смотри, что делается! Пригоршни солнечных пятен бежали по лицу. Анфиса встала, схватилась за крышу кабинки.

Дорога шла вверх среди столетних сосен. Подножия их прятались в кустарнике, а вершины качались среди

облаков и ветра. И оттого, что дорога поднималась по увалу и лес становился все выше и выше, Анфисе казалось, что они, точно в сказке, несутся — летят в неизвестную страну.

— Как здорово! Ах, как здорово! — восхищалась Тата.

Анфиса наклонилась к окну кабинки и прокричала:  
— Хорошо, Сергей Иванович!

Леонтьев улыбнулся и показал глазами на лес. Он делался все гуще. Солнечные лучи падали на цветущий подлесок, на его словно роящуюся листву.

На перевале машина остановилась около деревянной пожарной вышки.

— Перекур! — сказал шофер. — Мотор греется.

Баулин предложил подняться на вышку, чтобы оттуда посмотреть на леса. Он предупредил, что, поднимаясь по сквозным деревянным лестницам, нельзя смотреть вниз, а только на ступеньку перед собой. Вышка была не меньше тридцати метров, выше самой высокой сосны.

Баулин полез первым, за ним — Леонтьев, позади — девушки.

Анфиса поднималась вслед за Татой, и чувство растворения в потоках воздуха, возникшее еще в машине, не оставляло ее и сейчас. Ветерок обдувал платье, ноги, все ее тело, и оно, казалось, теряло вес, дышало свежим теплом.

Вершины сосен покачивались теперь совсем рядом. До их блестящей хвои можно было дотянуться рукой. На одной из вершин суетилась, стараясь спрятаться от человеческих глаз, рыжая белка. На стволе сидел пестрый дятел. Он недовольно посмотрел на Анфису, будто спрашивал, что ей здесь нужно. Потом перебежал по стволу повыше и с размаху ударил клювом по коре. На самом краю тонких веток вертелись синицы.

На верхней площадке вышки их встретил объездчик — веснушчатый, с русой квадратной бородой. На шее у него висел на ремешке бинокль.

К дощатому столу была приколоты кнопками карта лесного района. Тут же стояли кувшин с молоком, берестяная кошелка с малиной, и на платке лежали коржи из ржаной муки.

— Угощайтесь, — предложил объездчик. — Малина наша, лесная.

— Спасибо, потом,— торопливо ответила Тата.— Сначала посмотрим.

Она подошла к перилам вышки, села на нестроганный пол, обхватила руками колени и замерла. До самого дальнего края земли, то поднимаясь на взгорья, то уходя в низины, где, должно быть, протекали речушки, важно шумел девственный лес.

Анфиса села рядом с Татой. Океан хвои колыхался вокруг. Парили ястребы.

— «И нет конца лесам сосновым...» — неожиданно сказал Леонтьев.— Не то я выбрал себе занятие. Мне бы объездчиком быть, лесовиком!

Объездчик засмеялся, а Баулин тотчас сказал:

— Ну что ж, пожалуйста! У нас временно есть свободное место.

— На девятом кордоне,— подсказал объездчик.— Заместо Прохора Стерлигова. Он на операцию лег. Только там, на кордоне, глухомань, болота...

— А что ж! — ответил Леонтьев.— Пожалуй, сговоримся?

— Сговоримся,— согласился Баулин.

Анфиса думала о Коле. Через год он окончит Лесной институт и будет работать в таких вот местах. И, может быть, она... Анфиса покраснела. Что она? Выйдет за него замуж? Во всяком случае, она будет ему завидовать. Любит ли она его? Она не знала этого. Ей было только грустно, что Коля не сидит сейчас рядом с ней и не видит всей этой красоты. Это была жгучая грусть, отравленная сознанием, что даже если она попадет когда-нибудь с Колей в эти места, то все равно день будет, может быть, и прекрасный, но уже не этот, а совсем другой. А этот день ничем нельзя остановить, вернуть, пережить сначала.

Шофер закричал снизу, что пора ехать. Объездчик заставил девушек взять на дорогу по ржаному коржу. Коржи были пригорелые, но необыкновенно вкусные.

Лесничество стояло на большой поляне на берегу реки. Течения в реке не было, и казалось, что темная ее вода остановилась и чего-то ждет.

Баулин повел Анфису и Тату в комнату к Марии Трофимовне. На самом деле это была вовсе не комната, а отдельный домик в одну комнату. Она была такой чистой, будто ее только что прострогали рубанком. Внутри пахло стружками.

Анфиса и Тата сбегали к колодцу, умылись, поливая друг другу на руки. Тотчас к колодцу подошла строгая курносая девочка с куклой, уложенной в котомку, и долго рассматривала Анфису и Тату. Потом, подумав, спросила:

— У вас мыло земляничное? Или детское?

— Детское,— ответила Тата.

— Дадите умыться?

— Берн, мойся.

Девочка тотчас положила куклу на бревно, шустро засучила рукава рубашонки и так ловко намылила все лицо, такую развела на нем пышную пену, что вся ее голова заиграла от солнца радужным блеском.

— Вот это девочка! — засмеялась Тата.

А девочка, не смущаясь, с азартом плескала себе в лицо колодезной водой, фыркала и отплевывалась.

— Эй, Манька! — раздался издали сердитый женский голос.— Утрись сейчас же, безобразница! Чего еще выдумала!

— Сейчас, маменька! — пискнула в ответ Манька. С ее счастливого красного и мокрого лица крупными каплями сбегала вода.— Вот спасибо! — поблагодарила она, крепко вытерлась, подобрала куклу и ушла.

— Слушай, Анфиса,— сказала Тата, все еще смеясь,— что кругом за прелесть! Умирать не надо.

В комнате у Марии Трофимовны, где девушки приводили себя в порядок, над столом висел портрет Чайковского, а под ним — фотография крестьянской избы. На скамейке около избы сидела старуха — очень стройная, с красивыми большими глазами, повязанная черным платком.

Анфиса почему-то подумала, что фотография этой старухи висит рядом с Чайковским неспроста.

За обедом у Баулина Анфиса спросила его, кто такая Мария Трофимовна и что означают эти два портрета — Чайковского и красивой старухи, висящие рядом в ее комнате.

— Мария Трофимовна — лаборантка в нашем лесничестве,— ответил Баулин.— А вы, оказывается, проникательная девушка! Сразу догадались, что тут кроется тайна. Да, собственно, тайны-то никакой и нет. Эта старуха — мать Марии Трофимовны, Аграфена Тихоновна Самойлова. Тверская крестьянка. Мария Трофимовна вся в нее: и глаза такие же, да и строгость, как она сама го-

ворит, у нее материнская. Сейчас Аграфена — бригадирша у себя в колхозе, в Калининской области. А ей уже шестьдесят лет, не меньше. Она дочь лесника, да и ее муж, отец Марии Трофимовны, был тоже лесным объездчиком. Так что у Марии Трофимовны пристрастие к лесному делу наследственное. Сейчас Мария Трофимовна как раз там, у матери. Уехала в отпуск.

— А Чайковский при чем? — спросил Леонтьев.

— Это у них в семье вроде предания. Отец Аграфены служил лесником рядом с усадьбой, где Чайковский жил как-то летом. Чайковский часто заходил к отцу Аграфены. Тогда ее еще звали попросту Феней. Феня каждый день приносила Чайковскому кувшин, а то и два земляники. Заметили на фотографии сережки? Это Чайковский подарил Фене. Мария Трофимовна говорит, что в каждой сережке — по небольшому алмазу. Аграфена надевает эти серьги только по праздникам. Будто Чайковский увидел Феню во время слепого дождя... знаете, когда дождь при солнце. На ушах у Фени блестяли капли воды. Чайковскому это очень понравилось. Он пообещал подарить Фене такие же сережки, как эти дождевые капли. И выполнил свое обещание.

— Романтическая история! — заметил Леонтьев.

Анфиса вспомнила рассказ своего отца о том, как Чайковский пытался спасти от уничтожения лес. Может быть, это и случилось как раз в тех местах, где произошла история с Феней и сережками?

После обеда пошли в лес, в сторону девятого кордона, где собирался поселиться Леонтьев. И он и Баулин говорили об этом как о деле решеном, но девушки никак не могли поверить, что Леонтьев всерьез будет работать объездчиком. Леонтьев даже рассердился:

— Не боги горшки обжигают! Как-нибудь справлюсь.

Лес становился глуше и сумрачней. Кое-где сквозь чащу виднелись болотца. В колеях неезженной дороги росло много грибов. Дорога привела к ветхому мостику через канаву.

Баулин рассказал, что давным-давно здесь работала экспедиция по осушке болот — копала канавы, отводила болотную воду в озера. Сейчас все эти канавы позаросли, и болота решено впредь не трогать: они дают исток рекам и поддерживают грунтовые воды. И вообще в заповедном лесу нельзя вмешиваться в жизнь природы. Для этого и создан заповедник.

— Я все-таки не совсем понимаю,— сказала Тата,— в чем смысл заповедника.

Она сидела на низеньких перилах моста, покрытых желтыми лишаями. Вода в канале, коричневая, как кофейный настой, была покрыта ряской. По берегам разрослись высокие хвощи и кукушкин лен. А дальше в лесу так пышно раскинулся папоротник, что закрыл своей светлой зеленью даже высокие пни.

— В чем смысл?— удивился Баулин.— Прежде всего в том, чтобы сохранить нетронутой хотя бы небольшую часть природы, с ее растениями, зверями и птицами. Для изучения. А затем и для того, чтобы выяснить влияние девственного леса на окружающую среду: на поля, на питание водой рек, на высоту грунтовых вод, на влажность, состав и плодородие почвы. Вопросов множество. Но есть еще и другие заповедники. Их, правда, немного. Но будет много. И называются они странно.

— Как? — спросил Леонтьев.

— Вы удивитесь, конечно. Называются они «лесами эстетического значения». Это леса, которые украшают землю и тем самым повышают духовную энергию человека. Кроме того, есть заповедные леса, укрепляющие здоровье. Их государство тоже охраняет.

— Леса эстетического значения,— повторил Леонтьев.— Интересно!

Они помолчали. Луч солнца прорвался через чашу и осветил воду в канаве. Стало заметно, что вода чуть струится. В ней сверкнула золотым боком какая-то рыба.

— Тут карасей развелось видимо-невидимо,— заметил Баулин.

— Вы знаете,— сказал Леонтьев,— я не люблю насаженные леса. Деревья стоят по ниточке и все одинаковые. Как солдаты в строю.

— Старый спор! — усмехнулся Баулин.— Есть ученые, которые думают вот так же, как и вы. Они окружают девственные леса романтической дымкой. Они стоят за естественное возобновление леса. Человек, мол, не должен в это вмешиваться. Природа, по их мнению, умнее человека и его вмешательство приносит только вред.

— Я этого не говорю.

— Вы-то не говорите, а некоторые ученые говорят. Они утверждают, что человек не должен нарушать равновесие, существующее в природе. По их словам, девственные леса никогда не страдают от вредителей, а почва в

этих лесах сохраняет плодородие тысячелетиями. Но опыт показал, что все это чепуха. Человек может, умело подобрав древесные породы, не только сохранить девственное плодородие лесной почвы, но и увеличить его до огромных размеров. Сто лет назад, когда люди в разведении лесов были еще младенцами, они заложили в виде исключения первые опытные леса под Москвой и Петербургом. Посмотрите теперь на них. Такой мощи стволов, такой красоты и ценности древесины вы не найдете ни в одном девственном лесу! Мы научились делать чудеса. Как можно отрицать искусственное разведение лесов, если без него мы не сможем исправить географию русской равнины? А ее необходимо исправить.

— Вот энтузиаст! — сказала Тата. — Разве человек может исправить географию?

— Не только может, а просто обязан.

Леонтьев тотчас представил себе будущее. Он едет в скором поезде Ленинград — Севастополь к морю, стоит у окна вагона где-то под Мелитополем и не узнает знакомые степи.

Поезд пронесется через тенистые рощи. По склонам балок сбегают к прудам кудрявые заросли лещины. Потом встает впереди синий лес. Поезд мчится к нему, предчувствуя прохладную тень, и врывается в чашу листвы, цветов, трав и солнечного света, золотящего могучие стволы. Смолистый сосновый запах, к которому мы привыкли на севере — там он неотделим от хмурых пространств, — влетает в опущенные окна вагонов, смешавшись с воздухом близкого южного моря.

Это уже совсем не та Россия, что описана в толстых томах девриеновского издания.

— Да... — сказал Леонтьев. — Мне бы только дожить!

— До чего? — спросила Анфиса.

— До окончания одной книги. Понимаете?

— Не очень, — ответила Анфиса.

Но Леонтьев ничего ей не объяснил.

В лесу засиделись до сумерек. Солнце позолотило вершины деревьев, потом раскинуло во все небо нежный свет своей закатной зари и ушло за лесной край, в туманы.

В воде канавы острым огнем загорелся Юпитер. Анфиса подняла глаза от отражения Юпитера и нашла его в небе, как раз над вершиной тонкой сосны. Он посылал свой огонь земле через сотни световых лет, как безмолв-



ный и прекрасный свидетель законов мироздания. Казалось, все вокруг существовало, чтобы внушить человеку ощущение красоты земли и сказать ему, как он должен быть счастлив своей судьбой.

На гибкую ветку ольхи села маленькая птица и закачалась, как на качелях. Качаясь, она то застилала свет Юпитера, то снова его открывала. Анфиса не могла отвести глаз от этого зрелища.

— Темнеет,— сказал Баулин.— Пора домой.

Анфиса подумала, что пора не домой, а пора остаться здесь, лицом к лицу с этой лесной ночью, с ее тишиной, россыпью звезд, все яснее проступавших на небе, с последними отблесками заката.

Но она только вздохнула и пошла вслед за всеми в лесничество.

## МАТЬ И ДОЧЬ

Июль в этом году был похож на август. Перепадали частые дожди, и на березовых листьях появилась первая желтизна. С запада прояснилось, и чистая заря долго горела над лугами. Эти луга были далеко видны с бугра, где стояла деревня Бартенево — родина Марии Трофимовны.

Мария Трофимовна ходила в луга вместе с матерью Аграфеной Тихоновной убирать сено. Сенокос запоздал из-за дождей. Надо было пользоваться каждым ясным днем, чтобы ворошить сено и сгребать его в копны.

Аграфена жаловалась, что вот, мол, в кои-то веки единственная дочь приехала в отпуск отдохнуть, а вместо этого мучит себя, изводит тяжелой работой.

Но Мария Трофимовна ничуть не уставала. В лугах всегда дул ветер, трепал пестрые подола и платки, путал волосы. Марии Трофимовне нравилось идти с граблями вровень с товарками — колхозницами, замужними женщинами, перекликаться с ними, слушать их рассказы о своих бабьих делах. Женщины дружно завидовали Марии Трофимовне, ее красоте, легкому стану и, видимо, гордились ею, своей сверстницей. Со многими из этих женщин Мария Трофимовна бегала когда-то в сельскую школу.

По вечерам Мария Трофимовна часто сидела с Аграфеной на скамейке около своей избы. Изба стояла на са-

мом юру. С него, по словам Аграфены, было видно «половину России». Действительно, вид был широкий: за лугами блестела извилистая речка, за ней желтели пологие пажити, стояли деревни, а за ними закрывал кругозор темный лес.

Всегда на скамейку кто-нибудь присаживался, и начинался неторопливый, спокойный разговор. Спокойствие это исходило, казалось, от бледных далей, примолкшего вечера и от луны, что косо поднималась над лесом и светила прямо в глаза.

В усадьбе, где жил когда-то Чайковский, невдалеке от Бартенева, сейчас был устроен дом отдыха для престарелых музыкантов. Раз в месяц старые музыканты устраивали в доме концерт и всегда приглашали на него Аграфену — единственную жительницу тех мест, знавшую и помнившую Чайковского. Один из таких концертов совпал с пребыванием Марии Трофимовны в родном селе, и Мария Трофимовна была на нем вместе с Аграфеной.

Аграфена начала волноваться за несколько дней до концерта, дольше обычного засиживалась на скамейке около избы, все вздыхала, плохо спала по ночам. Волнение это передалось и Марии Трофимовне. Она тоже просыпалась ночами и слышала, как Аграфена ворочалась на постели.

Ночь тускло светила в окна. От печки пахло теплой глиной. Сонно кричал сверчок. Мария Трофимовна легко вздыхала от ощущения покоя, долго лежала с открытыми глазами и думала. О чем? Чаще всего о счастье. Она перебирала в памяти все, что люди считают счастьем: любимую работу, дружную семью и многое другое, но ей казалось, что этого мало. Она была убеждена, что для полноты счастья нужно что-то еще, но это «что-то» все время ускользало из ее сознания. И только уже засыпая, когда трудно было разобрать, что происходит на самом деле, а что снится, она просто чувствовала это «что-то».

Это всегда оказывалось чем-то самым простым, привычным, но все же удивительным. Иногда это был слабый синий блеск на стекле, все время переливавшийся и падавший откуда-то издалека, пока Мария Трофимовна не догадывалась, что у оконного переплета спокойно горит звезда.

«Звезда полей,— думала она.— Путеводная звезда». И ей уже виделось сквозь сон, что она идет ночью под этой звездой по луговой дороге в маленький глухой горо-

док и знает, хотя сама и не видит себя, что лицо у нее бледное от счастья, потому что идет она к самому любимому человеку, несет ему свое сердце, и если бы ей сказали, что он никогда не жил на свете, она бы упала и умерла от отчаяния

Глухой городок. Там сторож отбивает на колокольне часы и в гостинице чадит в коридоре свеча. Но эта гостиница и этот городок сейчас для нее самые родные места на свете, потому что она знает: здесь, за темными окнами, спит он, избранник ее души, поэт, гонимый судьбой, перед которым будут преклоняться сотни поколений. Он загорелся и погас в русской ночи, как пламень падучей звезды.

Ведь это же ей, ей он сказал: «Я знал, что голова, любимая тобою, с твоей груди на плаху перейдет».

Она стоит ночью около гостиницы, гладит кирпичную холодную стену, и у нее разрывается сердце оттого, что он не знает и никогда не узнает всей силы ее любви. Потому что он давно умер, убит на дуэли под Пятигорском. Но если бы он был жив... Если бы он был жив...

Аграфена вполголоса спросила: «Ты что не спишь?» Но Мария Трофимовна не слышала старушечьего шепота. Сон вел ее все дальше, к далекому морскому гулу, и гул этот затихал в непроглядной темноте.

Мария Трофимовна проснулась с ощущением легкости на душе и, слушая пение пастушьего рожка, улыбнулась про себя. Она не могла вспомнить своих ночных мыслей, но главное от них осталось и наполнило все ее существо тем «что-то», что и было, должно быть, счастьем.

Утром того дня, когда был назначен концерт, Аграфена вынула из сундука свое лучшее платье темного старого шелка. Мария Трофимовна выгладила его, повесила пока что на стене избы, и вся изба от этого платья стала наряднее. Потом Аграфена достала с самого дна сундука синюю коробочку, где лежали в вате сережки, подаренные ей Чайковским.

Мария Трофимовна осторожно промыла и выполоскала сережки в теплой мыльной воде, вытерла их, и они засверкали так ярко, будто собрали в избу весь свет летнего дня.

Мария Трофимовна надела их, посмотрелась в маленькое зеркальце на стене и покраснела,— сережки ей очень шли.

— Вот помру,— сказала Аграфена,— останутся эти сережки тебе. И ты их носи, не снимай. Они как раз для тебя, для молодых твоих годов. Я бы их и сейчас тебе отдала, да нельзя: дареное при жизни дарить — обидно это тому, кто дарил!

На концерте Аграфена сидела тихая, спокойная. Изредка она теребила бахрому нарядной шали, черной с алыми розанами, и все смотрела на портрет Чайковского на стене, на его серые строгие глаза.

«Глаза строгие,— думала она,— а сам-то был такой уж добряк, что другого такого не сыщешь».

Мария Трофимовна изредка поглядывала на мать и любовалась ею. Аграфена помолодела, зарумянилась, сережки светло поблескивали в ее загорелых темных ушах.

Старый дом звенел от пения струн, похожего на дивный человеческий голос. И как ночь рождала сны, так и эти звуки вызвали из-под спуда видения, похожие на сны, но их рассказывал мужественный голос композитора. В голосе этом были сила, печаль, надежда, раздумье, любовь.

Постепенно одна мысль завладела Марией Трофимовной — мысль о том, как велик мир, как он разнообразен, как удивителен человек и как чудесно, что она существует именно сейчас и делает все, что в ее слабых силах, для украшения и обогащения земли, для того, чтобы людское существование становилось легче, разумнее, справедливее и прекраснее.

«Этого ты хотел? — спрашивала она про себя, глядя на портрет Чайковского.— Да? Этого? Значит, желание сбылось, и твое имя будет гореть сотни лет, не тускнея. Потому что ты затронул у человека самое лучшее, что ему дано,— стремление к совершенству».

С концерта возвращались поздно. Была, вся в звездной игре, холодная ночь. И этот край, где все было так знакомо, показался сейчас Марии Трофимовне совершенно иным — не то что загадочным, а новым.

Чуть белели песчаные косогоры в лесу, и с озера, со стороны Рудого Яра, долетел протяжный и непонятный звук, как будто там трубил лось.

— Никогда еще я так не отдыхала! — сказала Мария Трофимовна.— Тебе не холодно, мама?

— Неужто ж я не привыкла? — ответила Аграфена.— Я за тебя беспокоюсь. Очень ты от жизни волнуешься,

Маша, хоть на вид ты и спокойная. А это, говорят, худо: от этого люди меньше положенного срока живут.

— А иначе и жить не стоит, мама,— ответила Мария Трофимовна.

— Да оно, пожалуй, и так,— засмеялась Аграфена.— Без интереса, без любви — куда уж хуже!

## ГЛУХОМАНЬ

Леонтьев проснулся сразу, будто кто-то толкнул его в плечо. Несколько минут он пролежал, не открывая глаз.

«Так-так, так-так!» — торопливо стучали над головой ходики. Потом звонко, одним дыханием протрещал сверчок и замолк.

Эти звуки существовали рядом. А за стеной избы — где-то далеко-далеко — проходил непрерывный гул, медленный, похожий на рокотание моря. Там шумел лес.

Голова была совсем свежая, спать не хотелось.

«Ну вот,— подумал Леонтьев,— сбылось наконец то, о чем я мечтал!» А мечтал он о лесной хижине, о жизни в лесу, о том, чтобы испытать редкое для горожанина состояние затерянности среди природы.

Сбылось все очень просто. Баулин совсем не шутил, когда предложил Леонтьеву заменить на время болезни одинокого объездчика с девятого кордона, Прохора Стерлигова. Лесничий понимал, что со стороны Леонтьева желание поселиться на кордоне — никак не блажь. Слишком серьезен и добродушен был этот ленинградец, чтобы можно было заподозрить его в желании порисоваться. Баулина располагало к Леонтьеву еще и то, что писатель был, видимо, работяга, крепкий, широкоплечий, и обладал хорошими познаниями в лесном и охотничьем деле.

Даже в прищуренных глазах Леонтьева было то же выражение, что и у большинства лесников: соединение добродушия и пронизательности, ума и лукавства. И говорил он мало, будто берег слова, копил их для настоящего дела, для книги, а не для пустого разговора.

Да, сбылось!

Когда телега, что привезла Леонтьева на кордон, скрылась, постукивая по корням, он посмотрел вокруг и вздохнул. С этим вздохом будто десятилетие свалилось с плеч. Ему захотелось долгой жизни, многих дней вот такого су-

ществования — без спешки, без постоянной мысли, что время идет, а жизнь стоит на месте.

В первый же день Леонтьев чисто-начисто вымыл сторожку. Вода была рядом в небольшом зарастающем озере. Он зачерпывал ее оттуда и таскал в сторожку тяжелые ведра. Он решил, что обязательно сколотит на берегу дощатый помост. С него легче будет доставать воду, полоскать белье. К нему можно будет причаливать старый челн,— Прохор загнал его в тростники, и до челна надо было добираться по колено в воде.

Леонтьев протер два небольших оконца, затопил печь. В сторожке сразу посветлело. Она казалась уже обжитой, уютной, добродушной.

Как только в печке затрещал огонь, неизвестно откуда появился серый худущий кот с желтыми глазами. Он тотчас начал тереться о ноги Леонтьева и вопросительно на него поглядывать.

Леонтьев дал ему кусочек сала. Кот хищно его съел, ворча на воображаемых врагов и завистников.

Леонтьев разобрал вещи. Продукты он спрятал в поставец в углу, книги разложил на дощатой полке. Новое жилище все больше ему нравилось.

Он почистил песком чугунок, выполоскал его, поставил вариться кулеш. И поймал себя на мысли, что удивительно приятно перемывать скользкое пшено, а каменную желтую соль надо будет растворить и потом выпарить: получится пушистая и белая столовая соль.

Пока варился кулеш, Леонтьев осмотрел все кордонное хозяйство. Дров было запасено много. В сарайчике лежали лопаты, грабли, плетенные из лозы вентеры, висели на стене пилы и две косы. Леонтьев снял косу, подержал в руке. «Какая почти невесомая и красивая вещь!» — подумал он. Снаружи к сарайчику были прислонены длинные березовые удилица. Все было исправно, сделано «на совесть». Хороший, должно быть, мужик этот Прохор Стерлигов!

Леонтьев вернулся в избу, почистил тертым кирпичом самовар с изображением медалей, полученных тульским самоварником Баташевым на Парижской выставке, и раздул самовар, не в избе, а снаружи, где были вкопаны в землю столик и две скамейки.

Он накидал в самовар сосновых шишек. Тотчас из трубы вырвался алый язык пламени. Труба загудела.

~~Леонтьев вытаскил из дачи~~ удятком чугунок с готовым кулешом и вышел наружу умыться. Он долго обливал себя холодной водой и кричал от наслаждения.

Кот, поглядев на Леонтьева, тоже сел умываться. Изловчившись, он начал драть шершавым языком пушистый живот.

«Робинзон и Пятница!» — подумал Леонтьев и усмехнулся.

Вокруг была действительно глухомань. Особенно ясно Леонтьев почувствовал это вечером. Звезды одиноко горели над соснами.

Густой туман курился над болотцами. Он был так резко очерчен, что к нему можно было подойти вплотную, протянуть руку, и она тотчас тонула в этом тумане.

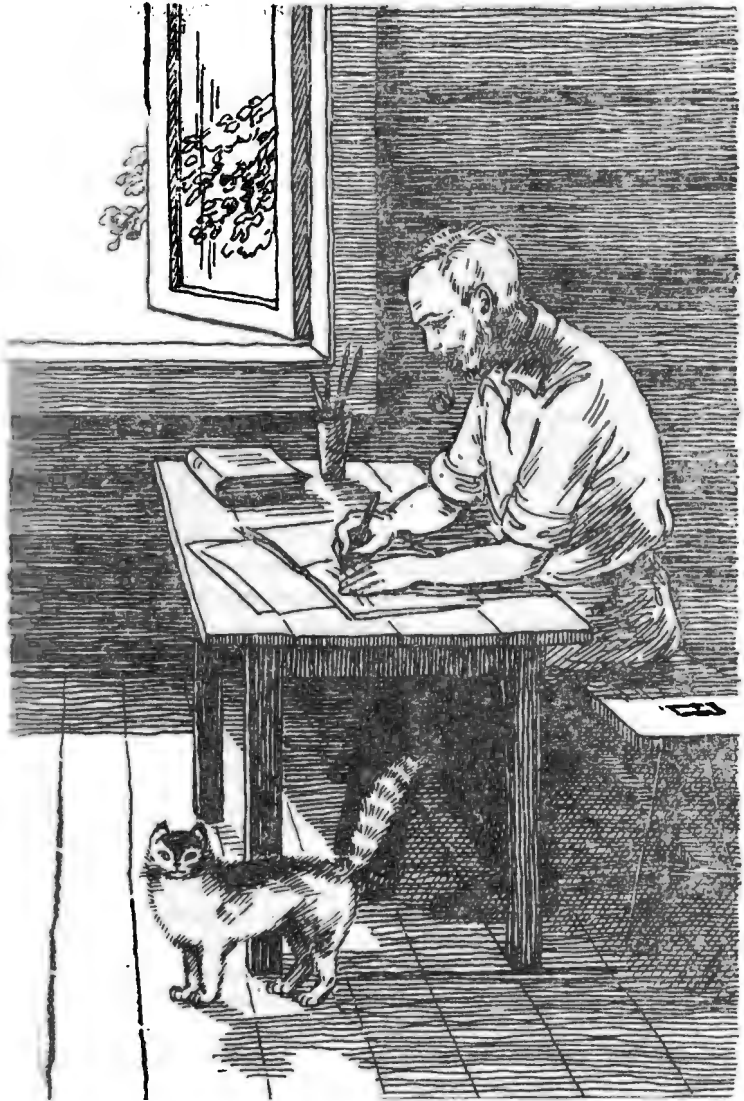
Все молчало кругом. Леонтьев вдруг представил себе весь этот лесной край, погруженный в ночную тишину, все эти дебри, заваленные буреломом и валежником, овраги, безыменные озера, пущи, отрезанные от мира туманами, сон птиц в густых кронах деревьев, где, наверно, гораздо теплее, чем на земле, тусклую воду болот, заброшенные дороги — весь этот заповедный край, потерявший сейчас дневные краски и казавшийся ему надежной защитой, потому что все скрывала, все прятала тихая темнота.

Странно и удивительно было знать, что под ногами цветет розовый вереск, а на озере — желтые кувшинки, а еще дальше стоит непролазная гуща дикой малины, усыпанная ягодой. Ночь погасила цвета. Но на предрассветной заре деревья, травы и цветы опять оденутся в краски, гораздо более яркне, чем днем, потому что эту яркость придаст им роса.

В этот вечер впервые после многих лет Леонтьев сел за дощатый стол и раскрыл тетрадь с удивительным чувством, что сейчас он почти шутя напишет то главное, чего раньше не мог, как ни мучился, передать множеством слов.

Он подумал и написал:

«Я посвящаю эту книгу России. Мне выпало счастье родиться в ней и прожить полвека. Ничего нет в мире милее для меня, чем мой народ, его судьба, чем волшебный русский язык и трогающая сердце то силой, то грустью, то покоем и радостью наша природа. Только с годами начинаешь понимать силу этой любви и жалеешь един-





ственно о том, что отпущено так мало времени для жизни. Век бы не умирать!»

Он остановился, задумался, пососал трубку. Кот вскочил на стол, сел на лист бумаги спиной к Леонтьеву, зевнул и задремал. Леонтьев усмехнулся и начал писать дальше. Строчки у него выходили кривые, так как приходилось писать, не задевая кота. А прогнать кота он не решался.

Леонтьев вспомнил пароход, Анфису, Тату, вспомнил, как они загрустили, когда наутро им пришлось уезжать из лесничества. Было видно, что они с радостью остались бы здесь и не ездили бы ни в какую Казань.

Он подумал, что вот он пишет о своей стране, никем, по существу, не любимый, а это очень плохо. И, печально усмехнувшись, подумал еще, что если бы был молод и полюбил, то какую бы удивительную книгу наверняка создал.

На следующий день он обошел часть своего кордона. Лес потряс его дикостью и красотой.

С первого же дня он начал работать: прореживать и осветлять молодой сосняк, разросшийся по ту сторону озера. Покончив с этим, он принялся за просеку. На ней было много сухого хвороста.

Леонтьев стал очищать просеку, складывал хворост в большие кучи, окапывал их и сжигал.

Через несколько дней он пошел в лесничество на собрание лесников и объездчиков. Баулин созвал их в связи с тем, что лето стояло засушливое, влажность воздуха упала, можно было ждать сильных гроз,— и потому надо было зорко следить за лесом на случай пожара.

Баулин коротко рассказал о лесных пожарах. Одно обстоятельство в его словах поразило Леонтьева. Оказывается, дым от лесных пожаров резко уменьшает солнечный свет и задерживает вызревание хлебов. В 1915 году, когда в сибирской тайге был большой пожар, из-за сильного дыма хлеба созрели на месяц позже обычного срока.

Лесники с любопытством поглядывали на Леонтьева. Хоть и городской и, говорят, писатель, а обходительный человек и, глядя по рукам и комплекции, мужик спортивный и здоровый.

Это безмолвное признание со стороны лесников Леонтьев почувствовал в том расположении, с каким они

напребой угощали его махоркой и жалели, что он сразу попал не на «светлый кордон», а на «самый глушняк». Но, угощая Леонтьева махоркой, лесники все же не упускали случая одолжить у писателя на одну самокрутку трубочного табачку,— больно уж он был духовитый.

Баулин выслушал рассказ Леонтьева о его первых работах в лесу и сказал:

— Да вас и учить нечему, Сергей Иванович. Все правильно. Только, боюсь, заскучаете.

— Ну вот,— чуть не рассердился Леонтьев,— уж и заскучаю!

Леонтьев вернулся на кордон, как в родной дом. Усталость от работы в лесу была легкая, совсем не похожая на городскую. Она не мешала Леонтьеву писать.

С каждым днем Леонтьев начал замечать в лесу все больше признаков ранней осени. На березах и осинах появились первые сухие листья. Роса по утрам была обильнее, чем раньше, а небо стало густым, глубоким, и в нем уже чувствовался холодок.

Как-то, возвращаясь днем из лесу, Леонтьев увидел у своего крылечка телегу. Спутанная лошадь паслась рядом. У него упало сердце. Неужели вернулся из города Прохор Стерлигов? Почему же его не предупредили?

Леонтьев подошел к дому.

На крылечке сидели низенький старичок, заросший до глаз бородой, и молодая женщина в дождевом плаще поверх черного платья.

Старика Леонтьев узнал: это был лесник с соседнего кордона, Евтей. А женщина была незнакомая. Но все же у Леонтьева отлегло на душе: Стерлигова с ними не было.

— Здорово, хозяин! — бодро сказал низенький старичок.— Все ходишь, а тут гости тебя дожидаются.

Женщина крепко пожала Леонтьеву руку.

— Я Мария Трофимовна. Вот приехала, привезла вам кое-какие продукты... и новые правила пожарной охраны.

— Спасибо, очень рад,— сказал Леонтьев и смутился.

— Кстати хотела познакомиться с вами. Я ваша читательница. И почитательница. Необыкновенный случай, что вы поселились здесь в качестве объездчика. Я думаю, это правильно.

— Я тоже так думаю..

— Скучаете?

— Нисколько.

— Что ж, это хорошо,— промолвила Мария Трофимовна и замолчала.

Леонтьев смотрел на нее. Действительно, она была похожа на ту красивую старуху на фотографии. Те же большие и светлые глаза, тот же мягкий овал лица и густые брови. Косы, связанные узлом на затылке, были, должно быть, густые и тяжелые. Все казалось, что они упадут и распустятся.

Надо было напоить гостей чаем. Леонтьев принес воды, поставил самовар.

— А мы, милоч,— сказал Евтей, сидя за столом и высасывая горячий чай с блюдца,— несколько заплутались. Даже удивительно! Весь этот лес я насквозь знаю, а тут — такая оказия! Не иначе как леший запутал. Он любит с нашим братом побаловаться.

— Будет тебе врать, Евтей! — сказала Мария Трофимовна.

— Зачем врать! — обиделся Евтей.— Ежели бы ты лешего встрела...

— А ты встречал?

— Милая,— огорченно воскликнул Евтей,— да я их всех в лицо знаю!

Мария Трофимовна засмеялась.

— Это тебе хорошо смеяться, когда ты в лесничестве обитаешь! — сердито сказал Евтей.— А поживи у меня на кордоне, тогда я погляжу, как ты посмеешься. Ты, главное, не пугайся. У лешего наружность обыкновенная. Мужичок и мужичок. Вроде меня. Только у меня черный волос еще кой-где остался, а он весь сивенький.

Мария Трофимовна взглянула на Леонтьева и снова засмеялась.

— Они, лешие, любители ночью к кострам подходить,— спокойно объяснил Евтей.— Подойдет, обопрется на посошок, посмотрит, скажет: «Ты с огнем, дорогой товарищ, в лесу поаккуратнее. А то долго ли до беды!» Заботливый старичок! Так вот постоит, а иногда и присядет, покурит с тобой, пожалуется. Больше на ревматизм они жалуются.

— Что за прелесть старик, правда? — тихо спросила Леонтьева Мария Трофимовна.

— Кости, говорит, ноют, в плечо отдает, и надоело мне, милый человек, ваших баб по гушам пугать. Ска-

звать тебе не могу, как надоело. Тут, конечно, спросишь его — вежливо, понятно, спросишь: «А зачем это вы, гражданин, баб пугаете? Какой в этом резон?» А он, понятно, отвечает: «Эх ты, а еще объездчик государственного лесхоза! Неужто не знаешь? Лес я от бабьей потраши стерегу. Бабам только дай волю — они все ягоды обертут, до последней, семечка не оставят». Ты, конечно, слухай его, но не прекословь. Я один раз посмеялся так-то над лешим, сказал ему: «У меня, говорю, как я есть человек, на руке пять пальцев. А вы, лешие, шестипалые. Что это означает?» А он говорит: «Это означает наше различие». А я говорю: «Спорить я с вами, гражданин, не буду. Может, это и для различия сделано, но только шестой палец вам ни к чему. Я со своими пятью управляюсь ловчее, чем вы с шестью». Он, конечно, рассерчал. Ка-а-ак ударит посошком по костру! Ка-ак загукает! Я вскочил — и давай лататы. С тех пор он на меня злобится. То с пути собьет, то лаптей старых на ветках повешает невесть сколько, чтобы меня, значит, пугать. То шишкой запустит в загривок, то ночью вдруг начнет голосить, как младенец. Безобразничает, понятно. А я виду не показываю, что сердчаю. Его от этого еще пуще злость разбирает. Однако со мной он не совладеет. Я тоже старик тертый.

— Да тебя, Евтей, записывать надо! — воскликнул Леонтьев.

— Меня записывать — бумаги не хватит. Я вот так погужу, порасскажу чего-нибудь, посмею людей — и самому весело. Когда человек смеется, он зла не сделает.

— Это правильно, — сказал Леонтьев.

Евтей обернулся к Марии Трофимовне:

— Слышь, что человек говорит! А ты меня коришь: «будет врать-то» да «будет врать»! Иной человек правду скажет, так она горше небылицы. А иной совет — гляди, и работа у тебя пошла веселее, и засмеялась ты, а то и задумалась насчет чего-нибудь путного. Отличать надо, что к чему.

После чая Мария Трофимовна взяла с полки томик Лермонтова, раскрыла, прочла: «И свежий лес шумит при звуке ветерка...» Захлопнула книгу и сказала:

— Как-нибудь дадите мне почитать? У меня с собой нет здесь Лермонтова.

— Конечно, когда захотите. Вы любите его?

— Больше всего на свете.

Леонтьев хотел расспросить Марию Трофимовну о ее матери, о Чайковском, но не решился, отложил этот разговор на то время, когда они познакомятся поближе.

### ВСТРЕЧНЫЙ ОГОНЬ

День был знойный. В небе как застыли на одном месте, так и простояли до ночи тугие облака. Ближе к закату солнце вошло в лиловую мглу и раскаленным диском опустилось к земле.

Ночь не принесла прохлады. Почему-то не выпала роса. Наутро, выкупавшись в озере, Леонтьев почувствовал раздражение. «Заболел я, что ли?» — подумал он.

Днем над соснами появилось пепельное облако, похожее на исполинский гриб. Задул порывистый ветер, зашумел лес. Где-то высоко прогремел гром. Надвигалась гроза.

Гроза была сухая. Короткий гром гремел все чаще. Молнии не ударили в землю зигзагами, а полыхали размытым розовым светом.

Лесные чащи напряженно гудели. С сухим треском обламывались сучья. Протяжно скрипели сосны. Потом в этот разноголосый гул вошел рокот мотора.

Самолет шел низко. Он вырвался из-за сосняка, снизился, густо заревел и сделал круг над сторожкой, ложась на крыло. Потом взмыл, ушел, а невдалеке от сторожки упал на землю маленький мешок с песком. К нему была привязана красная лента. Ветер подхватил ее, и она трепетала, как пламя.

Леонтьев подбежал к мешку. Сбоку, в кармане мешка, он нащупал листок бумаги, вытащил его, развернул и прочел:

«Немедленно сообщите в лесничество! На двенадцатом квартале пожар. Загорелось от молнии. Огонь верховой. Идет по ветру на северо-восток. Лечу на аэродром. Мешает гроза».

Леонтьев в первую минуту растерялся: бежать в лесничество или к месту огня? Пожар, по расчетам Леонтьева, шел стороной. Только в случае если ветер изменится, огонь может перебросить и к нему, на девятый кордон.

Леонтьев услышал свист крыльев, поднял голову: с лесных болот большими стаями летели дикие утки. «Спасаются», — подумал Леонтьев.

Он снова перечитал записку и решил идти в лесничество. Он быстро пошел по заросшей дороге.

Ветер усиливался. По временам долетал уже запах гари. Леонтьев вышел на просеку, посмотрел вдоль нее, остановился, и сердце у него заколотилось: в конце просеки стремительно несло по земле густой желтый дым.

Леонтьев побежал. Он пробегал сто — двести шагов, останавливался, чтобы отдышаться, и бежал снова. С отчаянием он думал, что до лесничества еще далеко, а огонь под таким ветром идет, должно быть, со скоростью десяти километров в час.

Он услышал шум машин и остановился. Из-за поворота вынырнул грузовик с людьми, за ним — второй, третий...

Леонтьев закричал. Первый грузовик замедлил ход. Баулин открыл дверцу кабины и крикнул:

— Скорее! В кузов!

Леонтьев схватился за борт. Несколько рук протянулось к нему, его втащили в машину.

В машине тесно сидели рабочие, лесники, были навалены лопаты, пилы, топоры и метлы из толстой проволоки, чтобы гасить кусты и траву.

Леонтьев достал записку, протянул ее в окошко кабины Баулину. Баулин прочел и крикнул Леонтьеву:

— Пожар не верховой! Дым желтый. При верховом бывает черный.

«Тем лучше», — подумал Леонтьев. Он знал, что самый страшный лесной пожар — это верховой, когда деревья горят целиком, от вершин до подножия. При таком ветре, как сейчас, верховой пожар так стремителен, что на языке лесников называется «ураганным огнем».

При низовом пожаре горят подлесок, подстилка, кусты и молодые деревья. У старых деревьев огонь только опалает нижнюю часть стволов. И в такой сильный ветер низовой пожар менее опасен. Его лесники называют «беглым». Он идет быстро и оставляет нетронутыми целые куски леса. Огонь, подгоняемый по пятам ветром, не успевает их выжечь.

— Что ж так мало людей? — спросил Леонтьев знакомого лесника.

— Уже все колхозы поднялись, все население, — ответил лесник. — Они тут будут часа через два.

Машины остановились в перелеске, затянутом дымом. С последней машины соскочила Мария Трофимов-

на. Она была в сапогах, в короткой юбке и кожаной куртке. Она издали помахала рукой Леонтьеву.

Уже вечерело, и сумеречное небо подернулось багровым отсветом пожара. Ветер все не стихал.

Вышли на узкую просеку. Сначала Баулин распорядился расширить эту просеку. Люди начали быстро валить лес, но прискакал верховой объездчик, потный, весь в саже, и доложил, что огонь идет с таким напором, что просека его не остановит.

— Остается одно,— сказал, помолчав, Баулин,— встречный огонь.

Леонтьев заметил, как переглянулись лесники, когда услышали эти слова. Раньше он смутно представлял себе, что такое «встречный огонь», но не догадывался, что эта мера связана с опасностью для людей.

Баулин отдавал распоряжения коротко и спокойно.

Вместе со всеми Леонтьев начал рубить на просеке кустарник и небольшие деревья и сваливать их вместе с сухим валежником в высокий, во всю длину просеки вал.

В поздние сумерки, когда зарево осветило даже облака и залило красноватым светом все вокруг, появились крестьяне из окрестных деревень. Работа пошла быстрее. Баулин торопил. Вал быстро рос.

Взглянув вдоль просеки, Леонтьев увидел сотни работающих людей. Женщины собирали хворост и сносили на вал. Сверху набрасывали сухую хвою.

Потом сразу, одним ударом, из леса выдохнуло дым. Он несся низко по земле и перехлестнул через вал.

— Береги-ись! — протяжно закричали издали.

Баулин приказал надеть противогазы.

Женщин отослали в глубину леса, под защиту соседнего озера. Туда же ушло и большинство колхозников. Около вала остались одни лесники. Они стояли вдоль вала шагах в сорока друг от друга. Среди них стоял и Леонтьев. Все ждали.

Баулин подошел к Леонтьеву, стал спиной к ветру, оттянул противогаз и сказал:

— Уходите в лес, к озеру. Туда, где все. Вам здесь нечего делать.

Леонтьев отрицательно покачал головой.

— Нельзя рисковать. Если бы вы были обыкновенным человеком...

— Я и есть обыкновенный,— глухо ответил Леонтьев, не снимая противогаза.— Оставьте меня в покое.

Баулин ничего не ответил, повернулся и пошел вдоль просеки.

Огонь быстро приближался. Леонтьев со страхом и одновременно с каким-то непонятым восторгом смотрел на бьющую в небо с треском и гулом стену живого огня. Ливнем летели искры. Они прожигали одежду. Временами дым заволакивал небо. Потом его сбивало в сторону, и стена пламени появлялась снова, но уже ближе.

Леонтьев не мог отвести от нее глаз. Он понимал, что такой огонь нельзя остановить, что это стихия. Огонь сожжет их так же незаметно, как пламя костра сжигает мошкарю.

Он подумал об этом, но не двинулся с места. На лице и руках он уже чувствовал палящее дыхание пожара. Он снова взглянул на огонь, но это было страшно, и он тотчас посмотрел выше, на небо, где летели горящие сучья и листья, а еще выше смутно виднелся сквозь дым молодой месяц.

Когда он опустил глаза, что-то изменилось. Несколько мгновений он не мог сообразить, что же это, пока не заметил, что ветер стих и весь огонь пошел вверх гудящим светоносным занавесом.

Потом он почувствовал, как его сильно качнуло током горячего воздуха. С верхушки вала понесло в огонь сухие листья. Баулин поднял руку, что-то закричал, и лесники сразу подождгли вал.

Вал как бы вздохнул, вымахнул от края до края жадное пламя. Оно слилось с огнем пожара и, ревя и треща, ударило в небо.

Люди начали отбегать в лес. Мария Трофимовна пробежала мимо Леонтьева. Она оттащила его от огня и тотчас куда-то исчезла.

Леонтьев оглянулся. Две стены пламени сшиблись, как два огромных бешеных зверя, тесно сливаясь, расшвыривая мириады искр. Казалось, вот-вот огонь двинется дальше и от него уже никому не спастись.

И вдруг Леонтьев вскрикнул от неожиданности. Огонь, как подрезанный, упал на землю и только низкими языками перебежал, затихая, вдоль вала. Люди кинулись к просеке и начали засыпать песком вялое пламя. Через несколько минут огня уже не было. Только едкий дым быстро струился к небу и застилал свет месяца. Все было кончено.



Стремительное исчезновение огня произвело на Леонтьева впечатление чуда. Что произошло? Почему пожар сразу погас?

Леонтьев разыскал Баулина. В лесу было темно. Лесники ходили с фонарями.

Баулин распорядился, чтобы вдоль границы пожара остались караульные. Нужно было следить за пожарищем, пока оно совершенно не погаснет.

— Сергей Иванович,— оживленно сказал Баулин Леонтьеву,— а огонь-то подходил и к вашему участку! Если бы не просека, та, что вы расчистили,— сгорел бы и девятый кордон. В общем, здорово справились!

— Не могу понять,— сказал Леонтьев,— почему встречный огонь погасил пожар. Раздули такой костер, что, кажется, пылал весь мир.

— Да весь смысл встречного огня в том, чтобы дать пожару огромную пищу, действительно раздуть его до невиданных размеров. Тогда в окружающем воздухе сразу сгорает почти весь кислород, просека заполняется углекислотой и дымом, и огонь, естественно, гаснет... А теперь идите домой, отдыхайте.

— Сейчас. Вот покурю и пойду.

Только теперь Леонтьев почувствовал усталость. Глаза слезились. Кожа на лице саднила. Руки были в смоле и ожогах.

Около машин сидели на земле лесники, рассказывали, как перед встречным огнем через вал скакали зайцы, а вдоль вала промчалось несколько волков. И, говорят, огонь загнал в Линёвое озеро трех медведей; они еще сидят в воде и режут от страха.

Леонтьев пошел к себе на кордон. Чем дальше от пожарища, тем воздух делался свежее. Уже слышался запах влажной травы. Только месяц был все же мутен, зловещ. Долетали голоса крестьян, возвращавшихся по домам после пожара.

Леонтьев догнал нескольких женщин. Среди них была Мария Трофимовна. Они шли вместе до межевого столба и молчали. Мария Трофимовна сказала всего несколько слов: похвалила его книги, спросила, как он себя чувствует в объездчиках и почему кашляет—не повредил ли на пожаре легкие. У межевого столба они расстались. Мария Трофимовна пожала Леонтьеву руку:

— Не прячьтесь, приходите. Я буду вам очень рада.

Леонтьев постоял, пока не стихли голоса женщин, и

свернул к себе на кордон. Дома он умылся, тотчас лег и, засыпая, слышал, как кот осторожно топтался около его головы по подушке, потом свернулся у него на плече и зашел.

«Так-так, так-так, так-так!» — стучали ходики, отмеряя время.

Леонтьеву приснился желтый по осени лесной край. Солнце и луна стояли рядом на небе над этим краем, и весь день по дворам голосисто пели петухи. Он шел по дороге среди березового мелкоколосья, очень торопился, почти бежал, и ему встретился офицер в пропыленном мундире, маленький, черный, с темными смеющимися глазами. Фуражку он держал в руке. Она была полна спелой брусники. Офицер высыпал бруснику на ладонь и подкидывал в рот пригоршнями.

— Куда идешь, дружище? — спросил офицер.

— В Пронск. А что?

— Да ничего, — ответил офицер. — Там у меня старики свой век доживают. Увидишь их — скажи, что я писать ленив, что полк в поход послали и чтоб меня не ждали.

Леонтьев остановился, во все глаза посмотрел на офицера, крикнул:

— Вы кто?

Офицер отступил, споткнулся, упал, брусника рассыпалась по траве, и почему-то рядом с офицером очутилась Мария Трофимовна. Она подняла его голову. Из груди офицера крупными, как спелая брусника, каплями стекала на песок кровь.

— Скорее! — закричала Мария Трофимовна. — Подымите его!

Они вдвоем подняли офицера — он был легкий, как мальчик, — и понесли по дороге. Мария Трофимовна умоляла идти скорее, потому что леса горят, пожар может пересечь дорогу, а этого человека надо спасти.

— Вы что ж, любите его? — спросил Леонтьев.

— Больше всего на свете!

Леонтьев проснулся. За окнами светало. Сон еще не прошел, сознание вернулось только наполовину, и Леонтьев все слышал голос: «Куда идешь, дружище?»

Леонтьев снова заснул, а утром, окончательно проснувшись, долго ходил под впечатлением этого сна, пока наконец не догадался, что встретился во сне с Лермонтовым.

Он достал с дощатой полки томик его стихов, открыл наугад и прочел:

Проселочным путем люблю скакать в телеге,  
И, взором медленным пронзая ночи тень,  
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,  
Дрожащие огни печальных деревень...

— Великан! — сказал Леонтьев и положил книгу на место.

К вечеру неожиданно приехала из лесничества вместе с Баулиным Мария Трофимовна.

— Проведать вас решили, — сказал, смущенно улыбаясь, Баулин. — Как вы тут после пожара? Мария Трофимовна говорит, что вы сильно кашляете.

— Пустяки. Немного горло першило. От дыма.

Баулин пошел на озеро выкупаться. Леонтьев сидел на ступеньках крылечка рядом с Марией Трофимовной. Она задумчиво жевала травинку, потом повернулась к Леонтьеву, посмотрела ему в лицо строгими глазами и сказала:

— Я приехала за книгой... за Лермонтовым.

### РОВНЫЕ СТРУЖКИ

К осени в лесничестве начали строить плотину для небольшой гидростанции. Строили ее на реке, в пяти километрах от девятого кордона. Леонтьев часто ходил на стройку.

Он несколько раз бывал на стройтельствах, привык к зрелищу изрытой земли, кучам щебня и глины, навалу бревен. Здесь же его удивляли порядок и забота о том, чтобы не повредить ни одного деревца. Баулин придирчиво следил за тем, чтобы рабочие берегли окрестный лес, чтобы материал подвозили к плотине по одной дороге, а не прокладывали для этого десятки дорог, как вздумается шоферам, и не обдирали без нужды деревья.

Леонтьев любил немного посидеть на стройке и полюбоваться работой плотников. Здесь он часто встречал Евтея.

Лучше всех плотников работал косматый пожилой Федор. В корявых его руках топор превращался в крылатое сказочное существо. Это было тем более удивительно, что самокрутку из махорки Федор сворачивал медленно,

с патугой, чертыхаясь,— то рвалась газетная бумага, то самокрутка расклеивалась, и махорка высыпалась на землю.

Уже издали, подходя к плотине, Леонтьев слышал дробный стук топоров. Евтей обычно сидел на бревнышке около плотников, покуривал. Он здоровался с Леонтьевым, подмигивал на плотников и говорил:

— Стучат наши дятлы!

— Стучат,— соглашался Леонтьев.

Чтобы стесать бревно, Федор сначала делал насечки. На топор он совсем не глядел, морщился от махорочного дыма, но насечки клал быстро и ровно. Потом Федор одним длинным ударом снимал толстый слой дерева, и в сторону отлетал смолистый пахучий горбыль.

— Здорово тешешь! — говорил Леонтьев.

— По-касимовски! — отвечал Федор.— Главное, хороший струмент надо иметь. А обтесать — дело десятое.

— Глазомер еще нужен,— замечал Леонтьев.

— Как и во всяком деле,— соглашался Федор.— В твоём занятии тоже без глазомера ни черта не получится.

— В каком это занятии?

— В письменном. Мне сын зимой книжки читает. Я этого дела большой любитель. Сразу видать, как книга притесана. Иная просто впритык, а иная заподлицо. Сколько ни гляди, а где швы, не отыщешь.

— Также труд великий! — вздыхал плотник Илларион — худой, болезненный, никогда не снимавший бараньей шапки.— Кто топором, кто плугом, кто циркулем, а кто и словом. Каждый по-своему дает предназначение жизни.

— А в чем оно заключается,— хитро спросил Евтей,— предназначение жизни?

Плотники на минуту перестали тесать, вопросительно посмотрели на Евтея.

— То-то! — сказал Евтей.— Предназначение жизни! Каждое слово имеет свои рамки, а ты, Илларион, видать, мелешь — сам не понимаешь что. Какое, например, мое предназначение? Щи хлебать да махорку курить? Или есть во мне другой смысл?

— Тебе виднее,— пробормотал Илларион.

— Вот и видно мне,— сказал Евтей,— что человек не для себя существует, а для движения жизни. Ты что же полагаешь, что я за одну свою зарплату лес стерегу?

Хватай выше! Я хоть и неученый, а котелок у меня варит. Ты скажешь, закон такой, чтобы лес стеречь. Правильно! А кто этот закон выдумал? Человек. Вот я тебя и спрашиваю: для чего?

— Каждому это известно,— сердито ответил Федор.— Любому дураку ясно. Что ты нас спозаранку учишь! — Он в сердцах ударил топором по бревну, косо срезал слой, отшвырнул топор, плюнул и закричал: — Не гуди под руку! Из-за тебя бревно покалечил, старый черт! Нам работа, а ему, видишь, побаски, развлечения! Профессор какой! Иди лес свой стереги. А мы и без тебя управимся, без твоей науки. Небось полено расколоть не может, а суется указывать!

— Это ты еще не подрос — так со мной разговаривать,— спокойно ответил Евтей, затоптал самокрутку и встал.— Я те покажу, как дрова умею колоть.

Он обернулся к Иллариону:

— Давай топор!

— Чего ты?

— Топор давай, говорю! Надо спесь с Федора малость сшибить.

— Это как? — спросил озадаченно Федор.

— А вот так! По часам. Часы есть? — спросил Евтей у Леонтьева.— Ты гляди, сколько кто из нас за полчаса стешет. А потом проверим по мерке и на глаз, у кого чище работа.

— Это ты брось, друг,— строго сказал Федор.— За каждое бревно я в ответе — не ты. Ты мне здесь игру не устраивай! Здесь не ярмарка.

— Значит, смущаешься? Не осилишь?

Федор мельком, но презрительно посмотрел на Евтея:

— Ох и распетушился ты, дед! Прямо наскაკиваешь.

— Я не таких плотников, как ты, переплевывал,— сказал Евтей и снял старый пиджачок.— Знаменитости из себя не строй.

— Проучить тебя надо, вот что! — гневно ответил Федор.— Только потому и берусь. Ну, давай! Становись!

— Вот-вот! — закричал Евтей, засучивая рукава рубахи.— Давай!

Он поплевал на руки, подбросил топор, поймал его на лету и звонко ударил по дереву. Полетели смолистые щепки. В ту же минуту ударил и Федор.

Чем дальше, тем яростнее работали Евтей и Федор. Щепки летели все чаще. Одна из них больно ударила

Леонтьева по руке. Он отступил. Илларион, приоткрыв рот, смотрел на Евтея.

Федор бил стремительно, нахмурившись, дышал трудно, со свистом. Евтей ухал и покрикивал:

— Так-то, касимовские! Так-то!

Леонтьев следил за этим стремительным состязанием. Стук топоров все учащался, сливался в тугую дробь. Леонтьев не сразу заметил, что позади собрались рабочие и подошли Баулин и Мария Трофимовна.

— Крой! — кричали рабочие.— Крой, Федя! Не отступай!

— Нас не перекроешь! — хрипел Евтей.

— Ну и чешет старик! Вроде мотор!

Рабочие хохотали.

Баулин потянул за руку Леонтьева, но тот только замолотил головой,— он не отрываясь смотрел на часы.

— Стой! — закричал Леонтьев и поднял руку.— Стой! Время!

Стук топоров оборвался. Евтей тщательно вытер рукавом потный лоб и сплюнул. Федор отбросил топор и дрожащими пальцами начал свертывать самокрутку.

— Вот, товарищ начальник,— сказал, отдышавшись Евтей и обернулся к Баулину,— глядите, кто больше да лучше стесал. Ваше слово решительное.

Все притихли.

— Чего там смотреть! — хрипло сказал Федор, ни на кого не глядя.— И так видно. Твоя взяла, дед. Удар у тебя верный.

— Давай руку! — воскликнул Евтей.— Я хоть и стар, а кое-чем располагаю.

Евтей и Федор протянули друг другу руки.

— Вот и хорошо! — засмеялся Евтей.— Я тебе отныне мешать не стану. Ни-ни! Ни капельки! Ты, Федор, своего дела, конечно, артист, только больно горяч.

— Ладно уж! — согласился Федор.— Приходи-ка к завтраму. Еще раз померимся.

— Прийти можно. Мне вот охота и с Илларионом схватиться.

— Куда уж там! — смущенно пробормотал Илларион.— Мне бы свою норму обтесать — и то спасибо.

— Неужто меня не осилишь? — спросил Евтей.

Илларион снял шапку, поскреб в затылке, подумал:

— Это как сказать... Может, и осилю.

— Куда тебе, Илларион! — снисходительно заметил Федор.— Против меня ты куда слабже. Не срамись.

— Это как сказать! — повторил Илларион.— Может, я и против тебя срамиться не соглашусь. Ты не суди, что я с наружности квелый. Я такой с малых лет.

— Растравил старик плотников,— сказал Баулин Леонтьеву, когда они вместе с Марией Трофимовной подошли к реке, чтобы посмотреть, как копер заколачивал в дно реки сваи.— Такой задиристый, черт, никому не даст покоя!

Поглядев, как работает копер, Мария Трофимовна пошла вниз по берегу реки. Евтей доложил вчера в лесничестве, что километрах в четырех ниже плотины, на девятом кордоне, есть свежие бобровые норы. Надо было их осмотреть и отметить.

Леонтьев отправился вместе с Марией Трофимовной. Стук топоров вскоре затих и сменился стуком дятлов и журчанием воды около коряг. День был яркий, прохладный в тени. С листьев орешника брызгала роса. Река уходила в лес крутыми поворотами. На рудых песчаных ее берегах над омутами густо цвел меж сосен розовый вереск.

Долго шли молча — Мария Трофимовна впереди, Леонтьев сзади. Несколько раз Мария Трофимовна оглядывалась на Леонтьева, и он каждый раз усмехался про себя: вот он, простой объездчик, сопровождает Марию Трофимовну по своему кордону, и она каждую минуту может сделать ему замечание.

Так оно и случилось. Мария Трофимовна остановилась и сказала:

— Что ж это вы? Не заметили бобровых нор на своем участке? Евтей вас опередил. Вроде как Федора.

Леонтьев пожал плечами и промолчал.

— Посидим здесь на берегу,— неожиданно сказала Мария Трофимовна.— Какая тут теплота! И тишина...

— Сказочная река,— сказал Леонтьев, садясь рядом с Марией Трофимовной.

— Да... сказочная.

Мария Трофимовна помолчала.

— Вы скоро уедете?

— Недели через две. Стерлигов выздоровел, на днях возвращается.

— А почему бы вам не остаться? Поживете у нас в лесничестве.

— В Ленинграде дела.

— Странно,— промолвила Мария Трофимовна.— Со всем вы не похожи на делового человека.

— Да я и не деловой,— засмеялся Леонтьев.— Я не так выразился. Просто в Ленинграде у меня работа. Времени у меня впереди мало, а я не сделал еще и половины того, что хочу... и могу,—добавил он неуверенно.—В конце концов, писатели не принадлежат себе. Они принадлежат всем.

— Значит, и мне? —спросила Мария Трофимовна и улыбнулась.

— Отчасти и вам.

— А я думаю — наоборот,— ответила Мария Трофимовна, глядя ему прямо в лицо потемневшими глазами.

— Я не совсем вас понимаю,—сказал Леонтьев.—Что «наоборот»?

— Как же не понимаете? —вполголоса, почти шепотом, ответила Мария Трофимовна, все так же глядя на Леонтьева.— Вы чуткий, хороший человек и не замечаете самых ясных вещей. Не вы принадлежите людям, а иные люди принадлежат вам. Вас, должно быть, много любили в жизни?

Мария Трофимовна ждала ответа, но Леонтьев промолчал.

— Конечно, любили,— сказала Мария Трофимовна.— Да и как вас не любить! —добавила она и покраснела.

— За что? —спросил Леонтьев, тут же понял, что не надо было спрашивать, и смутился.

— Ни за что. Просто за то, что вы есть на свете.

Мария Трофимовна быстро наклонилась к Леонтьеву, взяла его руки, прижалась к ним пылающим нежным лицом, вскочила и быстро пошла, не оглядываясь, вдоль берега.

Вечером Леонтьев возвратился к себе на кордон. На столе лежал томик Лермонтова, тот, что Мария Трофимовна взяла у него после лесного пожара. Значит, она приходила на кордон.

Леонтьев перелистал всю книгу по страницам, но ничего не нашел — ни записки, ни подчеркнутых у Лермонтова строк. Он подумал, что все равно эту книгу отдаст Марии Трофимовне насовсем.

«Вот и все! —сказал про себя Леонтьев.— Эх ты, чуткий, хороший писатель! Неласковый ты человек, вот что!»



Он подошел к столу, где лежала рукопись его нового, неоконченного рассказа, медленно изорвал ее на клочки и без всякого сожаления выбросил в печку. Ему стало легче на душе, будто, наказав самого себя, он снял со своей души великий грех непонимания чужого сердца.

### ЛЕНИНГРАДСКИЕ ПАРКИ

Квартира профессора ботаники Петра Максимовича Багалея на Аптекарском острове, в Ленинграде, отличалась многими хорошими качествами. Она выходила окнами в Ботанический сад, в ту его часть, которая была закрыта для посетителей. Поэтому в квартире всегда было тихо и в комнатах стоял зеленоватый полусвет от листвы.

Комнаты были заставлены таким множеством вазонов с цветами, ящиков с рассадой, плошек, где выращивались редкие растения под стеклянными запотевшими колпаками, что казалось, в квартире столько же зелени, сколько и в саду, за ее стенами.

Самой интересной комнатой был, пожалуй, кабинет Петра Максимовича, с низким потолком и множеством одинаково переплетенных книг. Петр Максимович любил поражать по вечерам гостей и студентов одним приемом. Он вводил гостя в полуосвещенный кабинет, приглашал садиться в кожаное кресло и незаметно зажигал ослепительную люстру.

Яркий свет превращал кабинет в уголок цветущего растительного мира. Вазоны с карликовыми соснами стояли прямо на полу. Тут же склонялись плакучими ветками карликовые ивы. На столе цвели оранжевые и белые цветы с мечевидными листьями. На стенах висели под стеклом высушенные травы, венчики цветов и листья, не потерявшие естественного цвета, очень яркие и самых причудливых форм.

Все краски, которыми природа в таком изобилии, с таким бесконечным числом оттенков и с таким безупречным вкусом наделила растения, были собраны здесь, как в волшебной шкатулке.

Петр Максимович, несмотря на свои годы и седину, был подвижной, бритый, в выпуклых очках, с несколько удивленными добрыми глазами. Страсть к ботанике со-

единялась у него со страстью к коллекционированию. Он собирал разные ботанические редкости.

Особенно гордился Петр Максимович отполированным срезом ствола восьмисотлетнего мамонтового дерева. Около слоев, нараставших в те годы, когда в мире происходили великие события, Петр Максимович прикрепил маленькие медные дощечки. На них было выгравировано: «Год открытия Америки», «Смерть Ньютона», «Правление Петра Первого», «Пожар Москвы в 1812 году» — и так далее, вплоть до таблички «Октябрьская революция». Дальше слоев уже не было, так как дерево было спилено в 1918 году.

Петр Максимович был вдовец. Детей у него не было. Хозяйством заведовала его сестра Полина Максимовна, совершенно незаметная горбатенькая старушка.

Этим летом Коля остался на практике в Ленинграде и работал с Петром Максимовичем над вопросом об озеленении городов и о создании вокруг городов, заводов и рабочих поселков зеленых лесных поясов и парков.

Работе этой придавалось особенное значение. Социалистическое государство требовало превращения пыльных и душных городов в города-сады.

Новая планировка городов обязательно заключала в себе обширные сады, бульвары, парки, пруды и пригородные заповедные леса.

Петр Максимович всегда занимался со студентами по тщательно обдуманному плану.

Прежде всего надо было выяснить, как влияют на жизнь города сады, парки и пригородные леса. Мало было сказать, что они поглощают из воздуха убийственную для человека углекислоту, которая накапливается в огромных количествах в городах, и восстанавливают целый кислород. Мало было сказать, что они уменьшают силу ветров, поглощают пыль и газы, усиливают солнечное сияние, дают отдых, радуют глаз, повышают тонус жизни. Все это надо было доказать.

Петр Максимович сейчас и занимался этим с помощью нескольких студентов, своих учеников. Каждому вновь найденному доказательству он радовался, но радость свою выражал обычно ядовитыми высказываниями по поводу неумения людей «жить по-человечески».

Коля никогда не встречал такого неумолимого противника городов. В этом отношении Петр Максимович явно преувеличивал. По его словам, ничего не могло быть вреднее, чем города, эти скучные и нездоровые гнезда для нескольких миллионов людей, теснящихся на ничтожном клочке земли, тогда как просторная и пригодная для жизни земля расстилается совсем рядом.

— Биологический возраст человека составляет в среднем полтора ста лет,— говорил Петр Максимович,— а люди современных цивилизованных стран живут только половину этого времени. Вторую половину их жизни ворует город.

Петр Максимович всегда ссылался при этом на Лондон, как на самый «отвратительный» город в мире.

Тяжелый дым, висящий над Лондоном, приглушает солнечный свет. А кроме того, туманы! Установлено, что знаменитые лондонские туманы вызваны к жизни главным образом каменноугольным дымом. Чем больше дыма, тем чаще и гуще туманы. О чудовищном количестве дыма, заволакивающего Лондон, говорил простой подсчет количества саж, сыпавшейся с неба на этот угрюмый город. Подсчет показал, что на каждый квадратный километр Лондона выпадает за год четыреста тонн саж.

Легкие у лондонцев не розовые, а черные. Нигде в мире так не развиты туберкулез и рахит. Недаром эта болезнь и называется «английской».

Петр Максимович так убедительно говорил об оглушенном, отравленном, обреченном на преждевременное умирание человеке, тоскующем по воздуху лесов, по солнцу, что вчуже становилось страшно за этого человека.

У нас этого не должно больше быть и не будет. Петр Максимович знакомил студентов с проектами перепланировки старых и планировки новых городов, где зеленые рощи подходили вплотную к домам и заводам и вклинивались в жилые кварталы.

Он посвящал студентов не только в науку лесонасаждения, но и в необыкновенно сложное и увлекательное искусство разбивки садов и парков, когда деревья сажаются с таким расчетом, чтобы они давали разные планы освещения, чтобы многоцветная по оттенкам листва радовала глаз, чтобы осеннее золото одних деревьев оттеняло пурпур других, а лиловатость третьих создавала законченное обрамление.

Это было забытое дело, опыт его никто не обобщал. Благородство садового искусства чрезвычайно волновало Петра Максимовича.

Петр Максимович не ограничивался разговорами. В свободное время он ездил со студентами в парки Пушкина, Гатчины, Павловска.

Он показывал своим ученикам «в натуре» великолепие этих мест, созданных трудом и талантом человека, совершенство заранее обдуманых насаждений. Здесь все, вплоть до цвета коры, мощности стволов и обширности подных зеркал, удваивавших торжественный пейзаж, действовало с гармонической силой и вызывало душевный подъем — наилучшее, как говорил Пушкин, расположение для восприятия впечатлений и для передачи их окружающим, — иначе говоря, вызывало то вдохновенное состояние, которому мы обязаны появлением великих творений искусства.

Петр Максимович говорил, что в эти парки надо бы силой приводить тех консерваторов-ученых, которые до сих пор твердят, что вмешательство человека в жизнь природы уродует ее и ослабляет ее естественные силы.

О каком уродстве может идти речь в этих блистательных парках — созданиях человека? Чем они хуже девственных, нетронутых лесов? Наоборот, они лучше их, здоровее, прекраснее. Их рост не подвержен случайностям, какие часто встречаются в природе.

Петр Максимович поручил этим летом Коле интересную работу. Нужно было выяснить, как леса и парки влияют на состав воздуха и чистоту его в городах. Прежде всего Коля занялся изучением лесов как заграждений против пыли. Ленинград окружен сосновыми лесами. Надо было начинать с сосны.

Студенческое общежитие при институте закрылось на ремонт, и Петр Максимович предложил Коле переехать пока к нему в комнатку, где хранились гербарии. Коля с радостью согласился.

Целые дни он проводил в городских парках и на островах, а иногда ездил за город в окрестные леса. Приходилось определять густоту хвои и листвы на деревьях, чтобы выяснить, как выражался Петр Максимович, «пылезащитные свойства разных древесных пород».

Работа была сложная, кропотливая, требовала расчетов и вычислений.

Приближалось время, когда могла приехать Анфиса. Стоило Коле подумать об этом, как тотчас начиналась путаница в вычислениях. Каждый день Коля ходил на почтамт, куда Анфиса обещала прислать телеграмму до востребования. Но телеграммы все не было.

Коля не мог придумать, как устроить Анфису в Ленинграде. Где она будет жить? В гостинице дорого, да и трудно получить место, а родственников ни у Анфисы, ни у Коли в Ленинграде не было. И, как назло, погода стояла холодная и сырая. Только изредка просвечивало солнце, согревало воздух, и тогда ленинградцы вспоминали, что лето еще не прошло.

Коля заканчивал свою работу. Он подсчитал, что площадь хвои, нависающей в воздухе над гектаром земли, равна тридцати гектарам.

Если всю хвою старой сосны разложить по земле в одну ниточку, то она протянется на двести километров. Эти цифры сами по себе говорили о том, каким непроницаемым для пыли пологом является хвоя сосны. А листва деревьев и кустарников задерживала еще гораздо больше пыли, чем сосна.

Потом Коля занялся вычислением количества пыли в разных районах города — в тех, где совсем не было зелени, и в тех, где были сады. Он сравнивал эти цифры с количеством пыли в пригородных лесах. Оказалось, что на Елагином острове с его густыми садами пыли было в пятьдесят раз меньше, чем около Нарвской заставы, а в пригородных лесах — в тридцать раз меньше, чем на Елагином острове.

Наконец, когда работа уже близилась к завершению, Коле подали на почтамте телеграмму.

«Приехала десятого остановилась квартире писателя Леонтьева Фонтанка 28 жду Анфиса».

Откуда взялся этот писатель?

Коля зашел в парикмахерскую, побрился, посмотрел на себя в зеркало: худой, загорелый и почему-то все время улыбается.

Он отправился на Фонтанку. Ему не верилось, что сейчас, в этом ставшем его родным городе, он увидит Анфису. Год назад, когда он проходил по этим улицам, Анфисы не было еще в его жизни, сердце его было пусто.

Коля разыскал в глубине третьего двора двухэтажный особняк, поднялся по мраморной лестнице и, немного помедлив, позвонил.

За дверью залаяла собака, слышались тяжелые мужские шаги. Дверь открыл плотный, с обветренным лицом, седоватый человек в коричневой фуфайке. Это был Леонтьев.

— А! — радостно сказал он, будто виделся с Колей уже сотни раз. — Наконец-то! Коля Евсеев? Анфиса вас второй день дожидается. Пойдемте.

Леонтьев отворил дверь в большую комнату, залитую дымным солнцем. В этом солнце стояла Анфиса, придерживаясь за притолоку. Она улыбалась, глядя на Колю. Сейчас она была гораздо тоньше и взрослее, чем год назад в Ливнах.

Они пожали друг другу руки, минуту молча смотрели и глаза, потом застенчиво поцеловались.

— Ну вот, видишь... — сказала Анфиса, и рдеющий румянец появился у нее на щеках. — Вот видишь, мы и встретились. Сядем здесь, поговорим.

Они сели на тахту, покрытую ковром. Леонтьев куда-то исчез и прикрыл за собой дверь.

— Ну как ты? — спросил Коля.

Анфиса хотела ответить, но тотчас за дверью заскреблась и заскулила собака — она требовала, чтобы ее выпустили. Анфиса встала, открыла дверь. В комнату вошла, кляцая когтями по паркету, кривоногая такса с недопольной мордой.

— Я очень рада, — сказала Анфиса.

— Чему? — спросил Коля.

Такса чихнула, стукнулась мордой об пол, подошла к закрытой двери и опять начала скулить — проситься, чтобы ее выпустили. Анфиса встала, выпустила таксу и закрыла за ней дверь.

— Всему, — ответила, возвращаясь, Анфиса. — Ты знаешь, я все не решалась ехать в Ленинград.

Такса снова заскреблась в дверь, повизгивая и поднывая.

— О господи! — сказала с досадой Анфиса и опять выпустила таксу.

Такса подошла к тахте, начала подпрыгивать, чтобы взобраться на нее, но это ей не удавалось. Тогда такса пронзительно заскулила. Коля взял ее за шиворот и посадил на тахту. Такса сердито заворчала.

— Почему же ты не решалась? — спросил Коля. — Я так тебя ждал!

— Правда? — радостно спросила Анфиса.

Такса тяжело спрыгнула с тахты и заковыляла к двери. Она ткнулась мордой в дверь, оглянулась на Анфису и заскулила.

— Ну и характер!— с отчаянием сказала Анфиса, порывисто встала, открыла дверь и вытолкнула таксу.

Обиженная такса начала отчаянно лаять. Тогда появился Леонтьев, взял ее за шиворот, унес в ванную и там запер. Такса тотчас начала выть.

— Ну, погоди!— пробормотал в коридоре Леонтьев.— Я с тобой еще посчитаюсь, чертовка!

— Знаешь что,— предложила Анфиса,— пойдём лучше побродим по улицам. Она нас замучит. Не понимаю, как только Сергей Иванович ее терпит!

В передней смущенный Леонтьев пытался их удержать, но не очень настаивал, так как понимал, что такса может вывести из себя даже влюбленных.

Он отпустил Анфису и Колю, но взял с них слово, что они вернуться к обеду.

А такса, сообразив, что гости уходят без нее, отчаянно скребла дверь в ванной и визжала.

На лестнице Анфиса и Коля остановились, посмотрели друг на друга и расхохотались.

— Нет,— сказал Коля,— здесь жить невозможно.

— Это только в первый день,— ответила Анфиса.— Потом она привыкнет.

Они прошли в Летний сад. Он был полон солнечным светом до вершин старых лип. Никто бы не поверил, что стоит уже конец августа, если бы на землю не слетали листья, покрытые слабой позолотой. Небо над городом было таким ярким, будто соседнее море отдало ему весь свой блеск, а само стало от этого блеклым и прозрачным, как и подобает северному морю. Осенняя дымка висела над Невой, и в этой дымке золоченой иглой мерцало легендарное Адмиралтейство.

Трудно передать, о чем они говорили. О театральной школе и поездке в Казань, о знакомстве с Леонтьевым, о родном городке, который казался сейчас таким далеким, как во сне, о Нине Порфирьевне, Петре Максимовиче, о Чайковском и старухе Аграфене Тихоновне, о лесничестве, о Колиной работе в будущем, пока Коля не сказал, что они никогда, никогда не должны надолго расставаться, а Анфиса ответила, что об этом не надо даже говорить.

Потом Анфиса искоса взглянула на Колю и спросила:

— Ты понимаешь?

— Да.

Есть минуты, когда сразу меняется значение слов. Так и теперь. Слова возникали, тонули, исчезали, сменялись другими, но каждое самое обыкновенное слово, такое, как «истер», «улица», «да», «нет» говорило о любви. О том удивительном состоянии, когда неотделимы друг от друга и радость и грусть, а дрожание губ предвещает или смех, или счастливые слезы.

Только к вечеру Анфиса и Коля спохватились и на речном трамвае вернулись с Елагина острова на Фонтанку, к Леонтьеву.

Леонтьев давно их уже ждал. Всего пять дней назад он возвратился из лесничества, где его сменил Прохор Стерлигов, разговорчивый и покладистый старик.

В лесничестве его провожали как своего, звали обязательно приехать на будущий год, а Марня Трофимовна и Баулин даже проводили его до города и посадили на пароход. Они долго стояли на высоком берегу, пока пароход не скрылся за поворотом реки.

Солнце садилось в лугах. Пыль, поднятая стадом, золотилась над берегом, и долго еще было слышно с палубы парохода требовательное мычание коров.

Мария Трофимовна стояла неподвижно, а Баулин долго махал кепкой.

Сейчас, в Ленинграде, Леонтьев никак не мог войти в колею городской жизни. Среди всяких занятий и забот он вдруг вспоминал свою работу в лесу, заросшую вереском дорогу, стук ходиков в сторожке, рассветный туман над болотцами, пожар, сон о Лермонтове, свой разговор с Марией Трофимовной на берегу реки — и его охватывала тоска. Все, что было связано с заповедным лесом, с лесничеством, казалось ему очень милым, родным. Мысли о Марии Трофимовне он сначала всячески гнал от себя, но вспоминал о ней все чаще, пока наконец не понял, что эта женщина вошла в его жизнь и уже никогда не уйдет.

Леонтьев почти до слез обрадовался неожиданному приезду Анфисы и первое время все не мог сообразить, как она разыскала его в Ленинграде, хотя сам дал ей на пароходе свой адрес.

Распорядилась в доме Леонтьева чистенькая старушка родом с реки Свири. Он звал ее «нянюшкой» и под-



смеивался над ней. А старушка очень его почитала, хотя и жаловалась Анфисе, что Леонтьев «не хочет входить в свои лета».

— Так вот весь свой век,— горестно говорила старушка,— чемодан то укладывает, то раскладывает. Ездит и ездит, бог с ним совсем! А теперь, к примеру, рассказывает, что служил в лесу объездчиком. Уж и не знаю — верить ай нет?

— Правда, служил,— подтвердила Анфиса.— Я там была, знаю.

— И к чему это мученье! Мало ему книги писать, так нет, во все надо соваться. А человеку уже шестой десяток!

На следующий день Коля с Анфисой и Леонтьевым пошли к Багалею.

Петр Максимович внимательно посмотрел на Анфису и сказал, что после знакомства с ней он прощает Коле некоторые ошибки в вычислениях площади поверхности хвой. Анфиса не совсем поняла, о чем говорит Петр Максимович, но смутилась.

Петр Максимович показал, конечно, все свои редкости и был весьма доволен восхищением Леонтьева. Узнав, что тот служил объездчиком, он очень это одобрил и тут же завел разговор о том, что писатели зачастую делают совсем не то, что нужно, слишком возятся с психологией и пренебрегают другими удивительными явлениями жизни.

— Ведь психология, по существу, мало меняется, — говорил он, сердясь.— Любовь, ревность и все прочее повторяется из века в век. Получается рутина.

Леонтьев усмехнулся.

— Вы не согласны?— запальчиво спросил Петр Максимович.

— Конечно, нет. Психика людей меняется очень заметно. Но это ничуть не опровергает ваших слов о новых темах в литературе. О чем, по-вашему, следовало бы писать? Ну, хотя бы в том деле, которым занимаетесь вы.

— Да тысячи тем! Для всего. Для рассказов, повестей, романов. Даже для сказок.

— Вот не думал!— нарочно, чтобы подзадорить Петра Максимовича, сказал Леонтьев.

— Именно для сказок. Вы знаете, когда мы, лесоводы, сажаем сосновые леса, то кто для нас собирает самые отборные сосновые шишки, лучшие семена? Белки!

Мы просто отыскиваем склады шишек, припрятанные белками на зиму, и отбираем их. Грабим, конечно, зверьком. Но зато есть полная уверенность, что лучших семян мы нигде не найдете.

Леонтьев так увлекся разговором с Петром Максимовичем, что засиделся до полуночи. По дороге домой он сказал Анфисе, что обязательно будет писать книгу о лесах и что перед этой темой «надо снимать шапку».

Перед отъездом из Ленинграда Анфиса поехала с Колей в Пушкин.

Коля хотел показать Анфисе тамошние парки.

День был прохладный, уже осенний — «в полсвета». Солнце не давало полного сияния. Тени на земле лежали неясные, размытые.

Приглушенное освещение накладывало на все сероватую дымку. Почему-то эта дымка, и увядающие сады, и побледневшее небо вызвали ощущение легкой печали.

Это чувство преследовало Колю и Анфису весь день, до тех пор, когда заходящее солнце наполнило сады золотым блеском. Сонная гладь прудов отразила этот блеск, придав ему вечернее неколебимое спокойствие.

До этого Коля с Анфисой долго сидели перед памятником юному Пушкину.

Анфиса облокотилась на скамью и, задумавшись, смотрела на поэта. А Пушкин, тоже опираясь на тонкую бронзовую руку, смотрел на Анфису, как бы обдумывая легкий мадригал в честь этой девушки, пришедшей его навестить.

К вечеру на фигуру Пушкина тоже лег закатный свет. Юношеский порыв его легкого тела говорил о мечтательной и шутливой молодости.

Казалось, что Пушкин вот-вот спрыгнет на землю, подойдет к Анфисе и Коле, сядет с ними рядом и заговорит о садах, Лицее, поэзии.

Весь этот день Анфиса чувствовала необыкновенное волнение.

Она спрашивала себя: что же это такое, почему она так волнуется, почему боится вечера, когда придется проститься с этими садами?

Она никак не могла определить свое состояние и знала только одно: что этот бронзовый Пушкин, и полукруглый фасад Лицея, и Камеронова галерея, меркнувшая в багрянце листвы, и могучие стволы лип, к которым хотелось прижаться щекой, как прижимаются к лицу родно-

го человека; и блеск воды; и сумерки, и первое просто-душное мерцание звезд — все это связано чем-то общим, единым, и если исчезнет одно из этих явлений, то померкнет и все остальное.

Так, ощущая все это, но не находя своим ощущениям пазвания, она всем существом переживала совершенную гармонию окружающего.

Пришла ночь, но Анфиса и Коля не хотели уходить. Они еще долго прощались с парком, прошли несколько раз по глухим аллеям и мостикам над прудами.

Сады стояли как бы в оцепенении. Ночная их тишина хранила в своей глубине шуршание листа, слетающего на траву с вершины дерева, всплеск крытого фонтана, вздох спящей птицы, беззвучное течение знакомых строк, которое слышишь ты один: «Сады прекрасные, под сумрак ваш священный вхожу с поникшей головой...»

Где-то очень высоко еще угадывался последний — густой и лиловый — блеск небосклона. Но тьма уже завладевала садами окончательно и полновластно.

И в этой темноте остался наконец один только звук — звон воды, льющейся из разбитого кувшина бронзовой девушки.

### ВСТРЕЧА С ЧИТАТЕЛЕМ

Зима прошла в трудах, в работе над книгой, а в июне Леонтьев решил снова поехать в лесничество, к Баулину.

Не было, пожалуй, такой области в стране — от Уссурийского края до Одессы и от Баренцева моря до Самарканда, — где бы Леонтьев не побывал за свою жизнь. Но лучшего места, чем заповедный лес и свой девятый кордон, он не встречал. Там все было ему мило, все успокаивало, все казалось таким родным, как материнский дом, когда мы возвращаемся в него уже взрослыми и искушенными жизнью.

У Леонтьева была обычная человеческая слабость — затягивать приближение того, что доставляло ему счастье. Ожидание хорошего всегда волновало его и уже само по себе давало ему радость. И на этот раз он скрывал от себя, что самую большую радость испытывал от ожидания встречи с Марией Трофимовной.

Поэтому он поехал в лесничество не по железной дороге — через Москву, а на пароходе — через Свирь, Мариинскую систему и Череповец.

В дорогу он взял несколько книг, которые мог читать и перечитывать бесконечно: письма Чехова и описание растительности Советского Союза. Эту последнюю книгу написал молодой талантливый ученый Кожевников. Леонтьев читал ее с таким же интересом, как мальчишки читают романы путешествий и приключений.

За Вытегрой пошли по берегам леса и переменялись пассажиры. Исчезли последние горожане. Пароходом завладели лесные люди: заготовители живицы, лесорубы, охотники, медвежатники, землемеры. На палубе заговорили о подсочке, скипидаре, выволочке леса — трелевке, о том, что нынче рано зацвела сосна, о мелкослойности древесины, борьбе с майским хрущом, подгрызающим корни молодых сосен, и о прочих не менее интересных вещах.

В Белозерск пароход пришел утром. Над Белым озером лежал туман. Вся палуба и пристанские сооружения были покрыты обильной росой. Роса эта не высыхала, хотя солнце уже поднялось высоко.

В Белозерске стояли долго. Леонтьев пошел побродить по городу. Он дошел до самой окраины, где за последним бревенчатым домом начинался кочкарник, поросший березками, сел на лавочку у ворот, закурил. Тотчас из дома вышел мальчик лет четырнадцати, белобрысый, без шапки, застенчиво одернул ситцевую рубашу, поздоровался с Леонтьевым и, искоса на него поглядывая, начал чинить развалившийся мостик через придорожную канаву, отдирать лезвием топора прогнившие доски.

— Учишься?— спросил Леонтьев.

— В шестом классе,— ответил мальчик, не оглядываясь.

— Много читаешь?

— Да как придется. Я летом больше читаю. Зимой некогда.

— А кого же ты из писателей любишь?

— Я всяких люблю.— Мальчик отложил топор и, улыбаясь, посмотрел на Леонтьева.— Пржевальского люблю. И Льва Толстого. И еще люблю французского писателя Гюго.

— А из теперешних?

— Горького,— ответил мальчик,— и Леонтьева.

— Кого?

— Леонтьева. Вы разве его не читали? Он про охоту пишет и про всякие наши области. Я как его книгу прочту, так мне сразу хочется сесть на пароход, да и поехать подальше. А вы не ленинградец?

— Да,— ответил Леонтьев,— ленинградец. Но что-то не слышал я про такого писателя Леонтьева.

— А я вам сейчас покажу,— сказал мальчик и убежал в дом.

«Вот так случай!— сказал Леонтьев про себя и засмеялся.— Встреча с читателем!»

Леонтьев часто встречался с читателями, но эта встреча с мальчиком особенно его обрадовала и растрогала.

Мальчик вынес Леонтьеву зачитанную, пухлую его книгу, изданную давным-давно в Ленинграде.

— Прочтите непременно,— сказал он.— У нас все его читают. Даже бабушка, а ей семьдесят лет. Она у нас бывшая учительница. Ходить ей уже трудно. Она весь день сидит в саду и читает... Вы в Белозерске живете?

— Нет. Я проездом. С парохода.

— Жалко,— сказал мальчик.— А то бы я вам дал прочитать эту книгу. Здорово написано про растения. Мы ее в школе вслух читали с Петром Игнатьевичем и решили насадить школьный сад.

— И что же, насадили?— тихо спросил Леонтьев.

— А как же! И всю улицу засадили. Вон, смотрите! Березками. Карнауховские мальчишки две березы сломали. Футбольным мячом. Ну мы их поколотили! Всем классом. Теперь они только на выгоне и играют.

Леонтьев посмотрел вдоль улицы. Молодые березки шелестели блестящей листвой, бросали легкую тень на деревянные тротуары. Леонтьев почувствовал теплый запах березовой коры.

Что-то сжалось у него в груди, он вздохнул, встал, протянул мальчику руку:

— Ну, спасибо! Мне надо идти. Живи хорошо.

Он пошел на пристань и так был взволнован этой встречей, что ничего по дороге не замечал. «Вот и награда,— думал он.— Лучшей мне, пожалуй, и не нужно».

Он был счастлив этой встречей и потому с недоумением остановился, увидев, как из маленького чистого дома с неизменной геранью на окнах выбежала плачущая молодая женщина с растрепанными волосами и, запа-

живая на груди кофту, начала стучать в дверь соседнего, такого же маленького дома. Она стучала неистово, всхлипывала и не вытирала слез,— они катились по ее щекам, падали на красную кофту и оставляли там темные пятна.

— Что случилось?— спросил Леонтьев.

Женщина обернулась к Леонтьеву, сердито посмотрела ему в лицо серыми заплаканными глазами и сказала:

— Да вы что ж, не знаете? Война началась!

— То есть как?— спросил Леонтьев, чувствуя, что на лице у него появилась напряженная и болезненная улыбка — признак растерянности.

— «Как, как!»— с сердцем крикнула женщина.— Только что Молотов говорил. По радио. Сегодня, на самом рассвете, немцы напали на нашу границу.

— Та-ак!— сказал Леонтьев, глядя на женщину.— Значит, из-за угла?

Он как-то сразу стал холоднее, спокойнее. Ему хотелось успокоить и эту женщину, но вместо всяких утешительных слов он неожиданно сказал:

— Пойдите умойтесь, причешитесь. Нельзя в такое время так...

— Господи!— сказала женщина и густо покраснела.— Я как услышала, вовсе обеспамятела. Бросилась к тете Даше. У нее Миша в армии. Уж вы меня извините...

Леонтьев повернулся и продолжал путь к пристани. Все как-то сразу переменялось — даже солнечный свет и самый воздух. Все окружающее, внешнее воспринималось мимоходом, не задерживалось в сознании: и тихие улочки, заросшие под забором крапивой, и встревоженные люди, куда-то торопившиеся по этим улочкам, и блеск утренней ливны, и мычание коров.

В Череповце Леонтьев сошел с парохода и возвратился поездом в Ленинград.

А через два дня ночью из Москвы приехала похудевшая, бледная Анфиса с незнакомой пожилой женщиной, Ниной Порфирьевной, матерью Коли. Леонтьев встретил их, как родных, хотя и видел Нину Порфирьевну впервые. Он тотчас захлопотал со своей старушкой-нянюшкой, чтобы дать гостям умыться, накормить их и устроить им комнату.

Анфиса отвела Леонтьева в сторону, рассказала, что Нина Порфирьевна, как только узнала о войне, тотчас примчалась к Анфисе в Москву, и они обе решили сейчас

же ехать в Ленинград к Коле. Его, должно быть, в ближайшие дни призовут в армию.

Потом Анфиса покраснела и извинилась за то, что она ворвалась к Леонтьеву. Но в гостиницах не оказалось ни одного свободного номера.

Леонтьев сначала ее не понял, а когда понял, рассердился.

— Вот не ожидал,— сказал он,— что вы с такими предрассудками! И вы и Коля для меня свои люди, хотя и знакомы мы — всего ничего. Этот дом — ваш дом. И чтобы вы мне больше об этом не смели заикаться!

Анфиса взяла руку Леонтьева и тихонько ее погладила.

Они стояли у открытого окна. Была уже поздняя ночь. В комнату тянуло речной сыростью. Призрачный свет лежал над городом. Гулко отдавались в пустынности улиц шаги патруля.

— Надо выстоять,— сказал Леонтьев.— И сберечь свое сердце. Тогда ничего не страшно.

— Да,— ответила Анфиса, глядя за окно светлыми большими глазами.— Да, Сергей Иванович,— повторила она и, взявшись за раму открытого окна, долго смотрела на белую ночь и на слабый свет зари над Невой и островами.

## АГРАФЕНА

С годами случилось так, что Аграфена начала думать о Чайковском как о родном человеке. Ей все чаще хотелось поговорить о нем с кем-нибудь, вспомнить старое, но говорить было и некогда и не с кем.

«Дурная я, старая! — бранила себя Аграфена.— Он, может, через год, когда от нас уехал, позабыл даже, как меня звать. Вот уж верно: чем старше, тем дурее».

Пришла война. Престарелых музыкантов увезли куда-то на восток, дом закрыли, а ключи передали на сохранение Аграфене. Но за недосугом во время войны она в доме ни разу не была.

Поздней осенью областной город заняли фашисты. Вскоре начала достигать до Аграфениного села отдаленная канонада.

Аграфена захворала: ноги ослабели, стали как ватные. А когда оправилась, начала ходить, уже пришли враги.

Так Аграфена и осталась в селе с несколькими маломощными стариками.

Фашисты пришли на серых машинах, с черным оружием, будто они вымазали его болотной грязью. И говорили они по-болотному, будто квакали. Солдатские головы под разлатыми шлемами были похожи на лягушечьи: с тонкими желтоватыми губами и белыми ледяными глазищами. Сапоги у гитлеровцев были, как ведра, — широкие, низкие, гремели на ходу.

В первый же день они деловито повесили на березе свойственника Аграфены, лесника Онуфрия, за то, что застали его на мосту через лесную речушку, когда он подпиливал сван. Но все равно вышла у фашистов задержка. Мост пришлось разобрать и строить на его месте новый. Для моста солдаты начали валить лес. А дальше — больше, уже валили его целыми кварталами, и так безобразно, что пни оставляли высотой с человеческий рост. Бревна тащили на блиндажи и укрытия. А потом привезли лесопильную машину, начали пилить доски и отправлять их в свой тыл, должно быть, в Германию.

Был еще в деревне девятилетний мальчик Пашка. Он заболел, когда все уходили, и остался с Аграфеной. Он прикидывался дурачком, гундосил, приставал к солдатам, клянчил у них невесть что — коробки от сигарет, патроны, пуговицы. Пашка вошел к ним в такое доверие, что солдаты только похохатывали над ним, дергали за издернутый нос и даже подарили ему зеленый старый мундир. Пашка лихо носил его внакидку на одном плече, как пиджак. Мальчонка целыми днями шастал по селу и лесу, все разузнавал и рассказывал Аграфене.

Стояло то время года, когда осень уже вылила все дожди, а ветер ободрал с деревьев последние листочки. По ночам уже подмораживало. Сухая земля потрескивала под ногами. Вот-вот начнет сыпать первый снежок.

Были сумерки. Аграфена сидела у окна, не вздувая огня. Очень было смутно жить на захваченной фашистами земле. Смутно и беспокойно. Только в такие поздние сумерки Аграфена отдыхала: темно, никто ее не видит, и так тихо, что слышно, как на краю села брешет собака.

Аграфена решила: если услышит близко топот немецких сапог, тихонько выйдет, прикроет избу и спрячется в сарайчик, там отсидится. Лишь бы фашисты ее не трогали, ничего не клянчили и не приставали с расспросами.



Но на этот раз Аграфена так крепко задумалась, что очнулась, когда солдаты уже вошли в сени. Их было двое. Обоих Аграфена давно уже заметила. Один был худой, горбоносый — не то немец, не то румын. Он говорил по-русски, но чудно коротко, и, разговаривая, всегда держал руки в карманах шинели и смотрел на Аграфену, посмеиваясь. Другой был плотный, в тесном мундире, в сапогах желтой кожи.

Солдаты пришли к Аграфене за самоваром. Переговариваясь и посмеиваясь, они объяснили, что самовар нужен для генерала, потому что у него сегодня праздник: генерал получил от фюрера награду — железный крест — и желает угостить своих гостей чаем из настоящего русского самовара.

— Да где же он, этот ваш генерал? — спросила Аграфена. — В нашем селе никаких генералов нету.

— В лесу, — сказал горбоносый немец. — В старой вилле, что есть в лесу. Там квартирует теперь генерал.

— Ой, — сказала Аграфена, — чегой-то вы все врете, путаете! Тот дом давно стоит заколоченный.

Солдаты ничего не стали объяснять, но снова потребовали самовар.

— Да вы его мне распячете! — рассердилась Аграфена. — Небось сроду самовара не ставили.

Солдаты молчали.

— Я сама с вами пойду. Поставлю вашему этому генералу самовар. И обратно самовар заберу. Вам поверишь — наплачешься. Улетит самовар — ищи потом ветра в поле.

Солдаты были озадачены. Они о чем-то поговорили между собой, даже поспорили, а потом горбоносый сказал:

— Пожалуйста. Прошу. Генерал, будем думать, останется доволен. Старая русская женщина сама подает ему самовар. Как в кино.

Аграфена взяла с собой на всякий случай Пашку. Солдаты осторожно, держа за ручки, несли самовар.

— Пашка, — тихо спросила Аграфена, — неужто в том доме фашисты? Что ж ты мне ничего не сказал?

— В каком доме? В музыкантском?

— Ну да.

— Третьего дня въехали. Я сам только сегодня узнал. Там, должно, штаб. Генерал живет, весь седой, морда, как у мерина. И офицеры при нем.

— Ладно,— сказала Аграфена.— Теперь помолчи.

Шли осиновым перелеском. Неизвестно откуда на землю падал серый свет, хотя ни звезд, ни месяца не было. В тишине слышался трепет одинокого уцелевшего на ветке осинового листка.

Потом серый свет вздрогнул, и над землей прокатился пушечный удар. Он долго затихал, закатывался в ночные дали. Солдаты остановились, поставили самовар на землю, прислушались.

— Зо! — сказал солдат в тесном мундире и покачал головой.

Горбоносый закурил, сложив ладони лодочкой, затянулся, сплюнул, но ничего не ответил.

— Смекаешь? — спросила Аграфена Пашку.

— Смекаю,— коротко ответил Пашка.

Дорога пошла вниз, в сыроватый лес, где белел туман. Через болотце был перекинут ветхий бревенчатый мосток.

Когда подошли к мостку, долетел второй пушечный удар. Он встряхнул сырую ночь. Застоявшийся в кустах холодноватый воздух ударил в лицо. По черной болотной воде пробежала мелкая рябь.

И в этом пушечном ударе, похожем на вздох облегчения, были неторопливость и сила.

Аграфена усмехнулась, вытерла рукой сухие губы, взглянула на солдат.

«Что за притча!» — подумала Аграфена. Все свое, знакомое: и низинка эта в тумане, где она девочкой пасла гусей, и мосток, что стоит здесь еще с тех времен, когда жил в лесном доме Петр Ильич и ходил по этой дороге к ним в село, и стог сена, почернелый от дождей,— все свое! И вот идут по этим местам, топчут своими сапогами-ведрами фашисты. «Далеко залетели, голубчики, да посмотрим, где сядут!»

Генерал Штумпф, высокнй, с седыми, стриженными ежиком волосами и запудренными на щеках синими пятнами — следами неизлечимой прыщавости, был весьма доволен наградой фюрера. Он представлял себе, как в скором времени будет сидеть в имперской канцелярии в Берлине на совещании и крест на его груди отразится на полированной поверхности длинного стола. На стол нельзя было даже положить руку — тотчас на полировке появлялось влажное пятно. Оно долго не проходило.

Говорили, что фюрер не выносил этих пятен. Поэтому никто не осмеливался прикасаться к столу. Все сидели вытянувшись и, так как боялись смотреть на яростное, дергающееся лицо фюрера, смотрели на его отражение в столе. Это было безопаснее.

Генерал был доволен еще и тем, что в расположение его войск приехал из Берлина крупный лесопромышленник Бальцен. Сам генерал происходил из семьи почтового служащего и с молоком матери всосал почтение к людям высшего круга. Ему нравилось, что они никогда ничем не смущались, небрежно носили дорогую одежду и имели смелость относиться к некоторым поступкам фюрера с оттенком снисходительности, будто в глубине души знали, что он всего-навсего ефрейтор и главные силы, управляющие государством, находятся в руках не у него, а у них.

Генерал отвел Бальцеву лучшую комнату в лесном доме, ту, где, по преданию, жил когда-то известный русский пианист Чайковский.

Бальцен приехал, как он говорил, с тремя целями: отдать дань уважения армии в обстановке войны, совершить несколько экстравагантную прогулку по России и кстати ознакомиться с качеством и размерами русских лесов в этой части страны в связи с тем, что он получил право на их эксплуатацию для Германии.

Генерал Штумпф знал, конечно, что это «кстати» было главной целью появление Бальцена.

Бальцен объехал всю Северо-Западную область, где уже начались валка и вывоз леса, и добрался наконец почти до передовой линии. Из этого генерал заключил, что Бальцен — человек не только деловой, но и храбрый.

В лесном деле Штумпф ничего не понимал и относился к дереву пренебрежительно. Он считал этот материал малопригодным для военного дела. Железо, алюминий, медь — это да! Это были военные материалы. А дерево только и годилось для ложи винтовок.

За обедом генерал слушал Бальцена вежливо, но равнодушно.

— Итак, мои господа, — говорил Бальцен, обводя круглыми глазами офицеров, — вы, оказывается, не подозревали — да, не подозревали! — какую пользу вам дает древесина. Да! На всякие взрывчатые штуки идут ацетон и метиловый спирт. Эти химикалии изготавливаются из древесины. Да, из древесины, мои господа! Наши враги

сейчас озабочены тем, чтобы сжечь и уничтожить немецкие леса. Да, все наши леса! Об этом они говорят и пишут открыто. Леса, где до сих пор живут гномы и поют Лорелен, расчесывая свои волосы.

Бальцен засмеялся, а Штумпф сдержанно улыбнулся, — человеку в его ранге смеяться было неудобно.

— Они хотят лишить нас ацетона и метилового спирта, чтобы поставить на колени. Они забывают, что у нас в резерве есть русские леса. Мы их вырубим, если понадобится, до последнего дерева.

Генерал знал, что Бальцен может разглагольствовать о своем деле часами. Это было, конечно, утомительно, но с этим приходилось считаться.

Офицеры тоже были не очень довольны болтовней лесопромышленника в серых гетрах. Они перешептывались о предстоящем ужине и о том, что генералу привезли ищик венгерского коньяку.

Но и за ужином Бальцен снова затеял наскучивший разговор о лесной промышленности. По мнению подвыпивших офицеров, это было уже слишком. Лейтенант Кньюфер, человек с пустыми опасными глазами, сказал:

— Я думаю, что вы прихвастнули, господин Бальцен, когда утверждали, что сведете все русские леса.

— Мы уже свели десять миллионов гектаров, молодой человек! — с достоинством ответил Бальцен.

— Не вы, а мы! — сказал с угрозой в голосе Кньюфер. — Мы косим их снарядами и танками, как траву.

— Спокойно! — строго произнес Штумпф.

Всмотревшись по очереди в красные лица офицеров, он понял, что люди взвинчены и может произойти неприятность.

— Мы навалим сосновые бревна до самого неба, — прокричал Кньюфер, — подожжем их и на этом костре поджарим для вас, господин Бальцен, чудовищную котлету!

— Из чего? — спросил майор с бегающими глазами. У него был такой вид, будто он все время ищет на столе самое вкусное кушанье.

— Из штатских мозгов!

— Вы плохо шутите, — сказал Бальцен и обернулся к генералу: — Не правда ли, мой генерал?

— Шутки не входят в обязанности моих офицеров, — ответил скрипучим голосом Штумпф. — Я не могу требовать от них искусства в этом деле. Каждый шутит, как

может. Не обижайтесь, господин Бальцен. Фронт есть фронт: люди имеют право несколько отдохнуть от утомительных приличий.

Штумпф понимал, что говорит не то, что нужно, но в голове у него уже шумело, и пятна на лице сделались совершенно лиловыми. К черту все! К черту этого Бальцена!

Поднялся шум. В разгар этого шума и подошла к дому Аграфена с солдатами, тащившими самовар.

Шум все время менялся. Сначала он походил на шум скандала. Было слышно, как офицеры вскочили, начали двигать стульями, кто-то кого-то удерживал, кто-то требовал: «Прочь руки! Пустите меня!» Бальцен несколько раз крикнул: «Обратите внимание, мой генерал!» Потом кто-то захохотал, зазвенело разбитое стекло, все закричали «хайль», и шум сразу перешел в беспорядочный гамой обычной офицерской пирушки.

Солдаты пошептались на кухне с денщиком генерала. Тот пошел доложить о самоваре и вернулся с ухмыляющимся лицом.

— О, генерал рад! — сказал он.

Солдаты притащили воды, долго и осторожно лили ее в самовар. Очевидно, вся эта история с самоваром казалась им необыкновенно забавной. Особенно после того, как денщик принес начатую бутылку коньяку, и они выпили по стаканчику.

Аграфена развела самовар, села на табурет, поправила на голове платок, осмотрела кухню. Самовара ей, конечно, вовсе не было жаль — бог с ним, с самоваром! — а просто она хотела узнать, что натворили гитлеровцы в этом старом любимом доме.

С той минуты, как она узнала, что в нем стали постоем фашисты, у нее начало ныть сердце. А она-то думала, что дом стоит в стороне от дороги, заколоченный, тихий, и его не заметят, не тронут!.. Что тут поделаешь! Как бы еще не спалили спяну. Ишь сколько поставили керосиновых ламп. И как они пылают!

В кухне и во всем доме было жарко. Окна были наглухо завешены. Слоистый керосиновый чад висел под потолком. Дышать было почти нечем. Все полы замараны, затоптаны.

А бывало, при Петре Ильиче, Феня входила в этот дом боязливо, застенчиво. Каждый раз перед этим она мыла в бочке с дождевой водой загорелые ноги, исцара-

линные колючками шиповника и малины. Половицы были чистые, поскрипывали. В тех местах, где на пол падало солнце, было приятно ступать босой ногой по теплomu дереву.

День и ночь тогда окна были открыты. Слабый ветерок шевелил занавески на окнах и полевые цветы, расставленные на столах.

Почти каждый день Феня приносила Петру Ильичу землянику и цветы. Она ходила за цветами в заливные луга и рвала их долго, подбирала всегда одинаковые: то одну ромашку, то кипрей, то подмаренник.

А когда весна входила в полную силу и всю ночь над лесом не потухала заря, Феня пробиралась в усадьбу к Липецкому и рвала там для Петра Ильича сирень.

До чего она была холодная, пахучая, росистая! Прижмешь к лицу пышные ветки — будто умоешься. Принесешь цветы, Петр Ильич возьмет за подбородок, приподнимет зардевшееся лицо, скажет: «Эх ты, сероглазая!» — и обязательно чем-нибудь отдарит.

А потом сядет к роялю, заиграет. Сирень вся задрожит, и роса с нее польется прямо на рояль...

Но тут Аграфена очнулась. Вестовой тронул ее за плечо.

— Генерал лично хочет сказать вам спасибо, — торжественно сообщил горбоносый немец. — Он сильно доволен.

Аграфена запахнула шаль на груди, встала, поблелнев. Она гнала от себя мысль, что фашисты пьянствуют как раз в том маленьком зальце, где стоял рояль, в любимой комнате Петра Ильича. Не может этого быть!

Но фашисты пьянствовали как раз в этом зальце. Аграфена вошла, остановилась в дверях и поклонилась, опустив глаза.

Офицеры захлопали в ладоши, закричали, затопали ногами, а вестовой поднес Аграфене на тарелке стаканчик коньячку. Кто-то заиграл на рояле туш.

Аграфена подняла глаза, быстро выпрямилась... Что ж это, господи!

Длинноногий офицер сидел за роялем в таком виде, что было совестно глядеть. Ноги он положил на рояль, раздвинул их, сколько мог, и играл между ног — колотил, изловчившись, длинными пальцами по клавишам.

— Ах ты охальник! — тихо сказала Аграфена и мед-

ленно пошла к офицеру, который все колотил по роялю, похохатывая и подмигивая.

Платок упал с головы Аграфены на плечи. Все увидели ее седые чистые волосы, светлые от гнева глаза, лицо, такое пылающее, будто кто-то дал ей пощечину.

Был у нее холод на сердце, словно шла она на верную смерть, и сердце уже знало, что надо делать.

— Ах ты охальник! — громко повторила Аграфена и крепко взяла белобрысого офицера за потный ворот растегнутого мундира. — Пащенко! Скотина фашистская!

Она рванула офицера за ворот. Офицер упал. Круглый табурет покотился по полу.

Фашисты вскочили, а Аграфена наклонилась над офицером, глядя ему в лицо ненавидящими глазами.

Офицер привстал и быстро шарил в кармане рейтуз, ругаясь сквозь зубы. Он вытащил маленький черный пистолет.

— Ах ты, скотина фашистская! — так же громко повторила Аграфена.

— Не здесь! — крикнул кто-то из гитлеровцев, но пистолет уже щелкнул резко и судорожно три раза подряд.

Аграфена охнула, отступила, схватилась за рояль, тяжело села на пол.

— Пашка! — крикнула она и захлебнулась. — Пашка, беги!

Аграфена прижала руки к ушам, будто трогала сережки, но их не было, и она застонала. Потом она упала головой на пол. Откуда-то со страшной силой начала валиться на нее горячая тьма, послышался запах гари, приближалась, должно быть, сама смерть. «А я вам, Петр Ильич, сиренн нарвала», — не то подумала, не то вслух в последний раз сказала Аграфена и затихла.

Когда Пашка услышал крик Аграфены: «Пашка, беги!» — он вскочил и, плохо соображая, что делает, смахнул со стола лампу и бросился к дверям. Он успел выскочить во двор, кинулся наугад в лес, в кусты, споткнулся, упал и притих. Весь дом гудел от криков.

Пашка оглянулся. В окнах кухни полыхал багровый огонь. Кто-то выбил раму, и черный дым уже валил наружу, перемешиваясь с языками пламени.

Солдаты вытащили из дома пьяного генерала, потом начали вытаскивать какие-то ящики. Все кричали, суетились, и только горбоносый солдат, тот, что нес самовар, стоял, засунув руки в карманы, смотрел на горящий дом





и насвистывал. Потом в доме что-то начало взрываться — должно быть, гранаты.

Пашка отполз подальше от дома, тихо плача, вытирая глаза рукавом старого немецкого мундира. «Баушка,— шептал он и захлебывался слезами.— А баушка!»

Пашка лежал, уткнувшись лицом в палые листья. Земля была холодная, и что-то в ней шуршало — должно быть, жуки зарывались перед зимой поглубже, копали теплые норы.

Все чаще долетали пушечные удары. Пашка поднял голову, прислушался, осторожно встал. В небе загорался и гас смутный мгновенный блеск. Пашка постоял, подумал и решил в село не возвращаться: фашисты часто видели его вместе с Аграфеной, и если поймают, то обязательно убьют.

Лесной дом, должно быть, сгорел дотла — уж очень он был сухой и маленький. В том месте, где он стоял, лес чуть светился, будто там догорал костер.

Пашка выбрался в темноте на опушку, на высокий песчаный обрыв. В лесу было тихо, а на обрыв с лугов тянуло холодом. Прямо под ногами лежала тьма. Но в этой тьме Пашке чудилось движение. Оттуда изредка долетал торопливый грохот. Потом опять все стихало.

Пашка залез в яму от вывернутой ветром сосны. Там было теплее и как-то надежнее, будто в блиндаже. «Досижу тут до утра, а там посмотрю»,— решил Пашка, сел, уткнулся носом в колени, натянул на уши шапку и затих. На руку ему пала снежинка, потом вторая,— уже шел реденький, мелкий снег. Пашка съежился сильнее, совсем втянул голову в воротник.

Он дремал, просыпался, снова задремывал, а удары орудий вскоре слились в сплошной гул. За стеной дальнего леса сотнями красных звезд поднялись и, повисев в воздухе, погасли ракеты. После этого вся даль начала вспыхивать непрерывным беглым огнем.

Разрывы приблизились. Снаряды ложились уже на большаке. Над лесом занялось зарево. Оно разгоралось, шло в стороны, потом поднялось в небо и осветило наконец угрюмую осеннюю равнину, лес и даже Пашкины руки.

«Чего это горит? — подумал Пашка.— Горит во всю ширь. Нет у нас таких больших сел».

Он вглядывался в пожар, соображая, что же это горит, и радуясь. Громыхание боя приближалось, станови-

ость явственной. Может быть, наши прорвали гитлеровский фронт и к утру уже будут здесь?

Странно было лишь то, что бой шел как бы сам по себе. Никакого признака людей не было вокруг. Один лес да обожженные огнем корявые корни поваленной ветром сосны.

Зарево разгоралось, огонь уже поднимался высоко в черное небо. Пашка догадался, что горит лес. Должно быть, фашисты подожгли его, чтобы задержать наше наступление.

Земля тряслась, песок сыпался Пашке за шиворот.

Ближе к рассвету все небо заревело от мчавшихся с востока невидимых самолетов. Один снаряд ударил прямо под обрывом. Пашка лег на дно ямы, свернулся и долго ждал, но больше близких разрывов не было; очевидно, это прилетел случайный шальной снаряд.

Так Пашка пролежал до утра. На рассвете он увидел, как шли по дальней дороге прямо к их селу наши танки, и за ними бегом продвигалась пехота.

Фашисты огрызались. Изредка то тут, то там разрывался вражеский снаряд, выбрасывая веера желтого дыма. Но разрывы становились все реже, а к утру совсем затихли. Тогда Пашка вылез из ямы и начал осторожно пробираться в село.

Первое, что он увидел у околицы, была большая толпа пленных гитлеровцев — озябших, как будто высушенных и угрюмых. Они понуро стояли на выгоне и ждали, пока наши автоматчики их пересчитывали.

На третий день после того, как выбили из Бартенева фиништов, Пашка, возвращаясь от околицы, где он вертелся около тягачей с тяжелыми орудиями, увидел около Аграфениной избы привязанного к заборчику гнедого коня под седлом. Конь нюхал мерзлую землю, позванивая стременами. В дверях избы пожилой офицер с темным лицом разговаривал с дряхлым сельским дедом, по прозвищу «Покуль». Дед любил повторять это слово, и потому его так и прозвали.

Дед завидел Пашку и сказал офицеру:

— Вот этот мальчонка, Пашка, жил у нее в избе, у Аграфены, покуль тут хозяйевали фашисты. Его спросите.

Офицер посмотрел на Пашку прищуренными спокойными глазами.

— Здорово, Пашка!

— Здравствуйте,— неуверенно ответил Пашка

— Где Аграфена Тихоновна?

— А вам зачем?

— Хочу ее повидать.

— Нету ее,— ответил Пашка и засопел.— Убили ее фашисты...

Офицер нахмурился и взял Пашку за плечо, а дед Покуль вдруг весь затрясся, снял шапку, и редкие его седые волосы зашевелились от ветра.

Офицер ввел Пашку в избу, сел на лавку, поставил Пашку перед собой и крепко встряхнул:

— Рассказывай, как было. Не бойся.

— А вы кто? — спросил Пашка и потянул носом.— Сродственник ей, что ли?

— Нет. Я дочку ее, Марию Трофимовну, хорошо знаю. Сам я ленинградский.

— Машу знаете? — спросил Покуль. Он тоже вошел в избу, сел поодаль, стащил шапку и пристально ее рассматривал, вертя в руке.— Быстроногая была девчонка. Сноровистая. Вся в мать. Да, покуль мы здесь землю ковыряли, покуль то да се, она высоко поднялась. Ученая, говорят, стала. Лесовод!

Пашка сбивчиво рассказал офицеру всё, что случилось с бабкой Аграфеной: как забрали солдаты самовар; как пошли они в лесной домик, и там бабу Аграфену застрелил фашистский офицер. А дом как занялся от упавшей лампы, так и сгорел, как свечка. Фашисты ничего и вытащить не успели.

Дед перекрестился, а офицер снял шапку и сидел молча.

— Да,— сказал он наконец,— простая русская женщина Аграфена Тихоновна...

И опять замолчал. Видно, было ему трудно говорить. Пашка понял это и с уважением смотрел на офицера.

Действительно, Леонтьеву трудно было говорить. Редко в жизни он плакал, но еще реже бывало так, как сейчас: будто комок застрял в горле и не дает вздохнуть.

«Есть женщины в русских селеньях...» — вспомнил он почему-то давно уже не читанные стихи.

— «Есть женщины в русских селеньях...» — повторил он, и эти слова преследовали Леонтьева весь день.

С самого начала войны, когда Леонтьев ушел в армию, и до этого дня он вспоминал лесничество. И решил про себя, что если выйдет живым из войны, то прежде всего съездит туда.

С болью в сердце Леонтьев следил за гибелью лесов. Он знал, что гитлеровцы начисто вырубали великолепные дубравы на Украине. Он видел леса, похожие на испанские кладбища, где к небу поднимались обугленные стволы, лишённые ветвей.

В Смоленской области он видел опытный лес из лиственницы. Фашисты свели его весь, до последнего дерева. Это был, как выражались лесоводы, классический лес: необыкновенной мощи, чистоты и прелести.

Тогда, любуясь этим лесом, Леонтьев подумал, что термин «классический лес» точен и соответствует понятию классичности в литературе, живописи и музыке. Простота, совершенство формы, здоровая жизненная сила — все это было особенно ясно выражено в этом лесу.

Леонтьев вспоминал не только лесничество, но и людей, с которыми там подружился. Вспомнил Баулина, Гитя, Марию Трофимовну и рассказ о ее матери — красивой старухе, которой Чайковский подарил когда-то сережки.

Это воспоминание преследовало его как удивительная по чистоте, почти детская тема. Ему все казалось, что это тема для музыки, а не для прозы. Но все же он решил обязательно написать об этом после войны, попробовать силы в небольшом лирическом рассказе, тогда как до сих пор считал себя только писателем-краеведом и втайне огорчался, считая это свойство ограниченностью.

Когда их часть перебросили на тот участок фронта, где была родина Марии Трофимовны, Леонтьеву захотелось обязательно повидать Аграфену, послушать ее рассказы о Чайковском и побывать в том стареньком доме, где жил когда-то композитор.

В записной книжке у Леонтьева был адрес Аграфены Тихоновны: село Бартенево.

Сейчас, когда он въехал в село, оно оказалось совсем не таким, каким он часто представлял его себе, а гораздо лучше. Оно все раскинулось по горе. По обочинам села прозрачной стеной стояли облетевшие ветлы. Внизу, за рекой, тянулись луга, а по взгорью подымался лес.

Лес еще горел в глубине, и по серому небу тянулись ровные струи дыма.

Пашка проводил Леонтьева к пепелищу. Около дома валялись ящики, обрывки газет, грязные биты, жестянки от консервов, патроны, рваные автомобильные шины.

Вокруг было тихо, спокойно, и в глубине леса на ветках рябины с оранжевыми ягодами шелкали снегири.

Леонтьев постоял на пожарище, сняв шапку. Потом побродил немного по лесу и вернулся с Пашкой в село. Он рассказал Пашке о сережках Аграфены и добавил, что надо бы их найти и переслать Марии Трофимовне.

— Они в сундучке у нее,— охотно сообщил Пашка.— Я видел. А ключик за божницей.

В избе у Аграфены Леонтьев нашел за иконой ключ, открыл сундучок. В сундучке лежала черная шелковая шаль, под ней — чистые сорочки, потом ленты, фотография Аграфены с Машей — вихрастой девочкой с напряженными круглыми глазами, потом игральные карты, паспорт, а под ними в коробочке — серьги.

Леонтьев достал их и подошел к окну. В каждой сережке поблескивал маленький кристалл.

Леонтьев засунул коробочку с серьгами в боковой карман куртки, запер сундучок, а ключ положил на прежнее место. Потом он сел за иззубренный стол, достал из полевой сумки блокнот и написал три письма.

Первое письмо он написал председателю местного райисполкома. Он сообщал о смерти Аграфены и настоятельно просил разыскать ее останки и похоронить. А после войны он приедет в эти места и сам займется памятником и могилой.

Второе письмо было для Марии Трофимовны. Он не знал, где она, но решил отправить письмо в лесничество. В нем он тоже сообщал о смерти Аграфены Тихоновны и оставлял ее дочери свой фронтовой адрес. Он хотел приваить, что ждет ее писем, но почему-то не решился.

Третье письмо он написал Анфисе.

Когда Леонтьев ушел в армию, судьба Коли еще не выяснилась. Леонтьев так и уехал, оставив Анфису, Нину Порфирьевну и Колю в Ленинграде. Квартиру свою он поручил Нине Порфирьевне.

Сейчас он был уверен, что женщины застряли в Ленинграде, не успели выехать, и каждый раз, когда вспоминал об этом, только махал рукой и старался поскорее отвлечься от беспокойных мыслей.

В письме к Анфисе Леонтьев вновь подробно описал смерть Аграфены, почти ничего не сказал о своей боевой жизни и закончил словами:

«Берегите себя. Я привязался к вам всем, как старый дворовый пес. Если останемся живы, то, так и быть, я

буду вашим посаженным отцом. Вам с Ниной Порфирьевной очень трудно и голодно, а чем помочь — не знаю. Где Коля? Вот дерусь, забросил свои писания, и все мне думается, как достойно сражаться за свою страну и ее людей, за молодежь — чтобы ничто не омрачало ее дни, чтобы она не потеряла доверия к жизни и способности радоваться каждой малости, если та наполняет смыслом и украшает существование. Целую вас, Нину Порфирьевну и Колю».

### ЖЕЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ

Между прошлой и настоящей жизнью будто встала непроницаемая грозовая туча. И как сквозь мглу этой тучи уже нельзя различить зеленые пригорки и легкие облака, так и за войной не было видно дней прошлого.

«Вернутся ли они? — думала Анфиса. — Конечно, вернуться. Но останется ли все таким, как было?»

От Коли с того дня, как он уехал на фронт, не пришло еще ни строчки. Страшно было вставать по утрам и отгонять от себя мысль, что с ним что-нибудь случилось.

И выживет ли Нина Порфирьевна? Она совсем высохла, лицо ее сделалось в кулачок, но глаза по-прежнему строго поблескивали из-за стекол пенсне.

А где Леонтьев? Что с ним? С некоторых пор Анфиса ощущала его отсутствие как потерю жизненной опоры. Этот медлительный человек неожиданно стал ей близким, нужным, и ей уже казалось, что без него ей будет трудно жить. Не с кем будет посоветоваться, некому будет пожаловаться и услышать в ответ, что все будет великолепно. И нельзя уже будет броситься ему на шею, повиснуть на ней и поцеловать колючую, небритую щеку.

Как только выяснилось, что выехать из Ленинграда не удастся, Нина Порфирьевна тотчас начала работать в госпитале, а Анфиса поступила в бригаду актеров, обслуживавшую Ленинградский фронт.

Во время одной из гастрольных поездок она простудилась так сильно, что ей пришлось вернуться в Ленинград.

Нина Порфирьевна, не ожидавшая увидеть Анфису так скоро, вдруг непривычно засуетилась. У Анфисы упало сердце. Она подумала, что, наверно, что-нибудь случилось с Колей, но оказалось, что Коля жив, прислал уже

несколько писем, а волнуется Нина Порфирьевна оттого, что ей нечем накормить иззябшую и едва держащуюся на ногах Анфису.

— Смотреть на тебя не могу,— говорила Нина Порфирьевна,— какая ты стала худенькая. А у меня только и есть что хлеб и чай. Правда, и сахара немного.

Нина Порфирьевна поставила на чугунную плитку чайник. Он тотчас, совсем по-диккенсовски, засипел, запел, потом начал булькать, бурлить, выплескивать кипяток, будто радовался, что так быстро и хорошо сделал свое маленькое, но доброе дело. Анфиса, лежа на тахте, укутанная в три одеяла, смотрела на чайник. Он представлялся ей живым, добрым и дружеским существом.

...Пришла блокадная зима. Взрывы тяжело и привычно гремели по городу. Дома обледенели. Жизнь на первый взгляд только теплилась в людях. Но человек жил, и сопротивлялся, и побеждал наперекор всему.

Леонтьевская старушка-работница как-то уснула с утра и больше не проснулась. Лежала она чистенькая, прибранная, с выражением исполненного долга на лице.

Беспокойную таксу давно закопали во дворе и положили на ее могилу кирпич.

Анфису после выздоровления приняли в единственный оставшийся на время блокады в Ленинграде театр. Играли на ледяной сцене. Зрители сидели в тулупах и ватниках и аплодировали, не снимая варежек. Во время воздушной тревоги все спускались в обширный подвал, и актеры доигрывали пьесу прямо на цементном полу, без декораций.

Анфиса часто оставалась ночевать в театре, в маленькой артистической уборной. Всю ночь за стеной мыши грызли декорации. Особенно они любили выгрызать из пазов столярный клей.

Анфиса ложилась на вычурный диванчик с золочеными ножками, наваливала на себя вороха театральных костюмов и медленно согревалась. Иногда за стеной пианист Метнер играл среди ночи на рояле. Это значило, что Метнер замерзает и старается согреться самым доступным для него способом. Иногда Метнер даже пел. Это пение почему-то успокаивало Анфису, хотя он пел вещи, как будто совершенно неподходящие к обстоятельствам.

Музыка помогала думать. Анфиса думала, что она еще очень молода, а какая большая жизнь уже позади: родной городок, любовь к Коле, Москва, театральная

студия, Леонтьев с его дымящейся трубкой и неожиданными поступками, осада, выступления перед бойцами, пожары, розовый от зарева снег, опухшие пальцы...

Она вспоминала прошлое и думала: удалось ли ей за это время одарить хоть кого-нибудь из людей настоящей помощью и радостью? Иначе жизнь теряла смысл, была похожа на безразличное прозябание...

Однажды она рассказала об этих своих мыслях Нине Порфирьевне. Та рассердилась, ответила, что все это чепуха, что в такое тяжелое время каждый должен делать свое дело и поменьше ковыряться в собственной душе. Даже удивительно, откуда у Анфисы берутся такие мысли!

Анфиса смутилась и дала себе слово никогда больше не предаваться этим бесплодным размышлениям.

Однажды утром, когда Нина Порфирьевна ушла в госпиталь, пришло коротенькое письмо от Коли, всего несколько слов. Он писал, что невредим, что сейчас у них некоторое затишье и что он все время думает об Анфисе и Нине Порфирьевне. В конце письма Коля сделал приписку: просил узнать о судьбе Петра Максимовича Багалея. Где он, куда эвакуировался?

Анфиса прочла письмо, быстро оделась и понесла письмо в госпиталь, к Нине Порфирьевне. Госпиталь находился на Аптекарском острове.

Стояло хмурое утро, падал снег. Изредка в стороне Васильевского острова и порта рвались снаряды. В прорубях на Неве закутанные изможденные люди брали воду. Тонкие стволы зениток смотрели наискось в небо из разных углов Марсова поля.

Вмерзшие в лед свинцовые корабли казались покинутыми: ни одного человека не было видно на палубах. Занидевелые рваные провода звенели, когда прохожие их задевали.

Анфиса пошла по набережной Фонтанки. В Летнем саду на голых липах не было ни одной галки. Сад был пустынен, мертв. Сугробы снега лежали около желтого старинного павильона и Петровского дворца.

Если тревога заставляла Анфису на улице, ее всегда тянуло укрыться в каком-нибудь живописном уголке — под колоннадой, под карнизом вот такого садового павильона или в подьезде, где стояли по сторонам входа шестигранные чугунные фонари с выбитыми стеклами.



Ей почему-то казалось, что самая прелесть, самая красота этих мест спасительна и надежна, что бомба не посмеет упасть здесь, как будто красота окружала эти колонны, портики и сады непроницаемой для взрывов средой.

Нина Порфирьевна прочла Колино письмо и спрятала его в карман халата. Ей было некогда, и Анфиса тотчас ушла. В театр Анфисе нужно было только к двум часам, и она решила зайти сейчас в дом, где жил Петр Максимович. Может быть, в доме кто-нибудь остался и удастся узнать, что случилось со старым профессором.

В квартире Петра Максимовича, видимо, кто-то жил. В форточку была выведена жестяная труба. Из нее валил дым.

Анфиса поднялась на крыльцо и постучала. Никто не открывал. Анфиса стучала долго, пока не услышала за дверью медленные шаги. Кто-то подошел к двери, остановился, прислушался, но дверей не открывал.

— Откройте,— сказала Анфиса.— Я к Петру Максимовичу.

— Тяните дверь к себе,— ответил глухой голос.

Анфиса потянула дверь, переступила порог и в полутьме прихожей взгляделась в сутулого, закутанного в теплый длинный платок человека в меховой шапке и варежках.

— Петр Максимович! — вскрикнула Анфиса.— Да разве вы в Леинграде?

— Не вижу кто,— сказал Петр Максимович.— Кто вы такая?

— Я невеста Коли Евсеева, Анфиса. Помните? Я была у вас с Колей.

— Пойдемте,— сказал Петр Максимович.— Только, будьте добры, возьмите меня под руку. Сестра ушла за хлебом, я уронил очки и почти ничего не вижу, а поднять не могу. С некоторых пор я не в силах наклониться — безбожно задыхаюсь... Я рад. Очень рад!

Анфиса осторожно провела Петра Максимовича в его кабинет, как раз в ту комнату, где топилась чугунная печурка и из форточки валил дым.

— Тут у нас тепло,— сказал Петр Максимович.— Топим сколько возможно. Иначе пропадут растения.

Анфиса огляделась. Все будто постарело в квартире, потускнело. Повсюду стояли цинковые ящики.

- А я не уехал,— сказал Петр Максимович.— Заболел крупозным воспалением легких и так и остался, представляйте себе!.. Я вас совсем не вижу.

Анфиса спохватилась, осмотрела пол и нашла очки. Они лежали около вазона с высохшей карликовой ивой. Петр Максимович надел очки, подвел Анфису к окну.

— Да, теперь узнаю. Садитесь и рассказывайте... Сейчас придет Полина Максимовна, и мы напоим вас чаем. Правда, это один кипяток, но горячая вода очень поднимает жизнедеятельность организма.

Анфиса рассказала Петру Максимовичу о Коле и немного о себе.

— Так,— сказал он.— Значит, вы живете у Леонтьева. Жаль.

— Почему?

— Во-первых, Фонтанка гораздо опаснее в смысле обстрела. А во-вторых, мы с Полиной Максимовной часто говорим о том, что вокруг нас уже не осталось молодежи. Я всю жизнь провел с молодежью, люблю ее, знаете, всей душой и молодею с ней сам. И сестра тоже скучает. Переезжайте-ка лучше к нам. Места хватит. Из той комнаты все ящики можно будет убрать.

Анфиса объяснила, что это невозможно, и спросила Петра Максимовича, что в этих ящиках.

— Золото! — засмеялся Петр Максимович, и добрые его глаза весело сощурились за стеклами очков.— Пожалуй, нечто даже дороже золота: это семена.

— Какие семена?

— Быстрорастущих деревьев. Здесь,— Петр Максимович показал на ящики,— весь запас этих семян. Сейчас я, знаете, даже рад, что мне не удалось уехать из Ленинграда. Иначе семена бы пропали. А у меня они в сохранности. Я их забрал из института к себе, и когда подумаю, что в этих ящиках дожидаются своего часа будущие великолепные леса, я счастлив.

Стекла в окнах звякнули, и вскоре после этого дошел до комнаты полновесный удар.

— Всё по Васильевскому! — заметил Петр Максимович.— С утра палят и палят.

Петр Максимович начал шарить по столу, что-то искал.

— Представьте себе,— сознался он,— я начал понемножку курить. Во время осады. Все-таки легче. Папиросы кое-как достаю.

Он закурил, весь окутался дымом и спросил:

— Вы терпеливая?

— Очень.

— Так вот, слушайте. Потерпите. А когда надоест, вы мне скажете. А то мне, знаете, не с кем слова молвнть. Он помолчал.

— Война скоро окончится. Мы победим. Это бесспорно. Но вы представляете, что будет после войны? Разбитые города, села, мосты, дороги, одичалые земли, сорняки, лесные гари, взорванные плотины и заводы... И так далее и так далее. Начнется восстановление. Превосходно. Но это меня не устраивает.

— То есть как? — удивленно спросила Анфиса.

— Устраивает, конечно! Но не в полной мере. Потому что нужно возродить не только города и заводы, но и естественные силы земли. Они тоже подорваны войной. Восстановить то, без чего невозможна жизнь на земле, самое наше существование.

— Леса? — спросила Анфиса.

— Безусловно. Иначе у нас из года в год начнут падать урожаи, пересыхать реки, засухи и суховеи будут сжигать поля, а кое-где начнется и засоление почвы. Я боюсь показаться парадоксальным, но, возможно, изменится и самый состав воздуха. И мы испытаем то, что называется кислородным голодом. Человеческий организм требует много времени, чтобы приспособиться к новой жизненной среде. Он будет мучительно переживать нехватку кислорода.

— Ну что вы! — сказала Анфиса.

— Да. Очень может быть, что это так. Мне хотелось бы доказать свою мысль, но я уже, извините, устал. Очень быстро устаю и засыпаю прямо здесь, за столом.

В это время вернулась Полина Максимовна. Она узнала Анфису, расцеловалась с ней, сказала:

— А я вас часто вспоминала. От Коли были письма? Были? Ну, слава богу!

— Вам очень, должно быть, трудно, — заметила Анфиса.

— Нет, не очень. Я еще и в детском интернате работаю. Сколько могу. Днем ничего, а вот ночей не люблю. Привычка у нас стариковская: по ночам спим мало, больше всё ходим, что-то делаем или лежим, разговариваем в темноте. Прислушиваемся, где рвутся снаряды. Вот видите... — она кивнула на Петра Максимовича, который

успул в кресле,— слабеет, а все горит, все со своими легами. А пока дело дойдет до лесов, продержаться надо. Сбереечь себя надо. А это у него не в обычае. Сам воду носит из Карповки, доски таскает на топку из разбомбленного дома и сидит за микроскопом. А как с микроскопом работать в варежках! Хоть и топим, а холодно... Да они все, старики, такне! — неожиданно заключила Полина Максимовна.— Про семена Петр Максимович им рассказывал?

— Рассказывал.

— Тут семена есть наши, древесные,— почему-то шепотом заговорила Полина Максимовна,— а вон те, в той комнате,— это семена пшеницы. Лучших засухоустойчивых сортов. Тоже их теперь оберегаем. Хранил их с самого начала блокады наш большой друг, профессор Паховов Николай Евгеньевич. Да вот умер месяц назад, и Петр Максимович тотчас перевез семена от него к себе. Это, знаете, какая ценность! Сколько выращивали, работали, берегли... А тут блокада, голод. Конечно, соблазн большой появляется съесть эти семена, спастись от смерти. Другой бы нипочем не устоял. Но Николай Евгеньевич святой человек, рыцарь. Зернышка не тронул. А что стоило вскрыть один-другой ящик! Остался бы жив. Но, говорит, рука не подымается. Это, говорит, было бы величайшим преступлением перед народом, перед человечеством, перед совестью. А главное, скрывать надо, чтобы люди не дознались. Дверь у нас взрывом перекосило, плохо закрывается. Унести один-два ящика ничего не стоит. Вот мы никого к себе и не пускаем. Удивительно, как это Петр Максимович вас впустил!

— Не удержалась? — спросил, не открывая глаз, Петр Максимович.— Выболтала? Доживем мы с тобой до беды!

Полина Максимовна встала, торопливо вышла в соседнюю комнату.

— Я никому не скажу, Петр Максимович,— сказала Анфиса.— Поверьте мне.

— Я знаю,— ответил Петр Максимович и открыл глаза.— Ее тоже надо понять, Полину. Я плохой собеседник. Мы с ней обо всем уже переговорили. А душу отвести надо. Вот и дорвалась... Полина,— сказал он погромче,— не волнуйся, милая! Вскипяти нам лучше водицы... Так вот,— Петр Максимович обернулся к Анфисе, будто их разговор не прерывался и он совсем не засыпал,— минует война, надо будет восстанавливать леса, а это дело,

вы знаете, длительное. Нужны годы и годы. А ждать некогда. Вот тут-то и появятся на сцену быстрорастущие деревья,— он показал на цинковые ящики,— пихта, конский каштан, серебристая ель, ива, канадский тополь, веймутова сосна. Канадский тополь, как выражаются лесники, самое «гонкое» дерево, растет со сказочной быстротой — по полтора, а то и по два метра в год. Тут у меня есть еще один сорт белой акации, так называемой мачтовой. Дает стройные и высокие стволы и никогда не гниет. А об эвкалипте, этом алмазе лесов, нечего и говорить. Вымахает за какие-нибудь двадцать лет на шестьдесят метров. Сосне для такого роста нужно двести лет. Тут-то старик Галилей здорово промахнулся. Он писал, что в природе не может быть деревьев выше ста метров, потому что не только их ветви будут обламываться от собственной тяжести, но и стволы не будут выдерживать чудовищного веса всего дерева.

— Петя,— сказала из соседней комнаты Полина Максимовна,— да не мучь ты ее, ради бога, своими лекциями! Какой там Галилей, когда, наверно, сосет под ложечкой. Идите, чай готов.

— Ничего, она будущая жена лесоведа. Ей это нужно знать.

Анфиса напилась кипятку с кусочком сахару, разрумянилась и повеселела.

Распростившись со стариками, она вышла на улицу и подумала, что там, в квартире у Петра Максимовича, она как-то совсем позабыла о тяжелых днях, пустынном Ленинграде, голоде, блокаде. Почему? Наверно, потому, что там не умирали человеческая мысль и теплота. А может быть, еще и потому, что устоявшаяся жизнь с ее разумным бытом оказалась гораздо большей силой, чем можно было предполагать. Война могла ее убить, но не разрушить.

Анфиса вспомнила микроскоп Петра Максимовича — блестящий, протертый замшей, без единой пылинки. Этот микроскоп показался ей сейчас мощнее тяжелых орудий.

Она вышла в Бирже. Обстрела не было. Стояла такая тишина, что было слышно шуршание снега, задевавшего на лету за рваные листы кровельного железа.

Она остановилась у гранитного парапета, посмотрела на город, подумала, что вот так же на него смотрели, задумываясь о его великой судьбе, многие люди на протя-

женщи двух столетий. Может быть, тут стояли и Пушкин, и Герцен, и Чехов. А может быть, остановился на мгновение и стремительный Ленин, взглянул и подумал, что вот она, удивительная и непобедимая цитадель революции, город — провозвестник социалистических времен.

Сейчас в немых его далях все было смутно, приглушено снегом, сумраком, будто город вымер и она одна бредет по нему со свонми не додуманными до конца думами, с упрямой верой в то, что придет избавление. Потому что нельзя же, чтобы вот здесь, сейчас, под этим снегом, в осажденном, обледенелом городе, начисто исчезло будущее и оборвалась жизнь. Не может этого быть!

Как бы подтверждая ее мысли, вмерзшие в Неву корабли вдруг опоясались ослепительными вспышками пламени. В снеговую муть с медным звоном помчались снаряды. Балтийский флот начал обстрел немецких позиций.

Тотчас, откликаясь на резкие удары корабельных орудий, загрели по всему кольцу обороны пушечные залпы. Бледные зарницы выстрелов начали разверзаться в пасмурности городских горизонтов. И вскоре весь город и все пригороды уже гремели непрерывным орудийным огнем.

В бесконечной дали со стороны Ладоги слух уловил чистую и упорную канонаду — должно быть, по ту сторону вражеского кольца. Раньше ее Анфиса никогда не слышала.

«Неужели наши прорвали блокаду?» — подумала Анфиса и побежала, спотыкаясь, по Дворцовому мосту, поправляя на бегу сбившийся с головы платок и чувствуя, как жарко и радостно горят ее глаза.

Снег летел навстречу сухими мелкими хлопьями, будто канонада отряхивала с низкого неба обильный черемуховый цвет.

## ОЖИДАНИЕ

В госпитале за Колей присматривала молчаливая молодая сестра. Руки у нее были всегда холодные. Каждое прикосновение ее пальцев будто сбавляло жар.

Сестру звали Марией Трофимовной.

Когда было очень трудно, Коля просил Марию Трофимовну положить ему руку на лоб. Она делала это, и

свежесть сразу проникала глубоко в мозг, где билась, стараясь разорвать сосуды, перегретая кровь.

Боль быстро утихала. Коля засыпал, и снова один и тот же сон наплывал издалека, пока не заполнял все вокруг.

Один и тот же сон, такой знакомый, как в мамином доме была знакома каждая щелка в деревянном крашеном полу.

Коля не мог бы рассказать этот сон. В нем все было в тумане, будто весной в прелом обогреваемом саду, где из-под лиловых, слежавшихся за зиму прошлогодних листьев ползут стрелки молодой травы.

За роялем в маленьком доме сидел Кузя и тихонько ударял по одной и той же клавише. Постепенно звук начинал нарастать, превращался в резкий свист, в глаза ударяло пламя. Коля стонал и просыпался.

Да... в глаза ударяло пламя. Так вот оно ударило в глаза где-то под Стародубом, когда Коля шел в сумерки по дороге, заросшей по краям густым ольшаником. Он упал и очнулся в кузове грузовой машины.

На борту машины сидел боец с автоматом. Звезды над головой мелко дрожали от тряски машины. В груди была такая боль, что Коля сжал зубы, но не мог из-за толчков машины держать их сжатыми и невольно начал стонать.

В госпитале, когда Коля приходил в себя, он видел, что сестра сидела обычно около окна и читала одну и ту же книгу — томик стихов Лермонтова. Она закладывала книгу какой-то запиской и подходила к Коле.

— Ну как? — спрашивала она. — Легче?

Коля кивал в ответ.

За окном орала галки, таяли сосульки. По унавоженному спуску лошади волочили розвальни с сеном. Начинаясь весна.

Однажды сестру куда-то срочно позвали, и она второпях оставила томик Лермонтова на столике около Колиной постели. Коля осторожно вытянул руку, взял книгу.

На одеяло из книги выпало письмо. Пряча его обратно в книгу, Коля нечаянно прочел подпись: «Ваш С. Леонтьев».

«Уж не Сергей ли Иванович Леонтьев?» — подумал Коля. Да нет, мало ли Леонтьевых на свете. Но все-таки, когда сестра возвратилась, он сказал ей:

— Вы извините, я уронил письмо.

— Ничего,— ответила сестра и переложила письмо из книги в карман халата.

— Сергей Иванович Леонтьев,— сказал Коля.— Хороший человек, писатель. Это он?

— Вы его знаете? — Сестра быстро села на кровать, в ногах у Коли.— Откуда?

— Хорошо знаю. По Ленинграду. Я же студент Лесного института.

— Удивительно! — сказала сестра.— Я тоже лесовод.

— Почему же вы работаете сестрой?

— Это всего на один месяц. У нас в лесничестве сейчас работу свернули, почти нечего делать. Главный врач — знакомый. Взял меня, я его упросила. Скоро опять поеду в лесничество. Это отсюда недалеко, всего тридцать километров. А вы слышали, что Леонтьев работал у нас объездчиком? Два месяца.

— Слышал. Он лесной человек... Это при вас приезжали в лесничество две девушки?

— Нет. Я была в отпуску. Но мне рассказывали. Вы их тоже знаете?

— Одну знаю. Мы из одного города.

— А вот этого Лермонтова,— сказала без всякой связи сестра,— Сергей Иванович мне подарил перед отъездом.

— Извините,— сказал Коля,— но откуда вы получили письмо? Где он сейчас?

Сестра посмотрела за окно, где галки все сразу снялись со старых деревьев и со страшным гомоном полетели на другой берег реки.

— В армии. Был в Калининской области. Я сама из тех мест. Вот пишет — там у меня мать погибла.

— Да...— сказал Коля.— Тяжело.

— Знаете что,— сказала сестра,— не надо вам разговаривать. Рано еще. Вы лежите тихо, а я с вами посижу... Как удивительно, что вы его знаете!

— Только вы не уходите,— попросил Коля.

— Нет, не уйду,— ответила сестра, отвернувшись к окну, задумалась и положила свою руку на Колин локоть, как бы предупреждая его, чтобы он не двигался.

Коля смотрел на Марию Трофимовну. Лицо ее точно светилось изнутри. Вдруг она улыбнулась, должно быть, чему-то такому хорошему, что Коля, сам не зная почему, закрыл глаза.



Как только он их закрыл, в голове поплыли беспорядочные мысли.

«Что это? — подумал Коля. — Кажется, я засыпаю. Неужели выздоровел? И даже рана уже не болит, а только чуть ноет... Как кричат галки! Ведь это весна. Говорят, что лед на реке весь потемнел и потрескался. И уже стоят на столике около кровати ветки вербы с пушистыми барашками. А старая нянюшка сказала утром, что сегодня благовещенье и мальчишки в этот день выпускают на волю птиц, что сидели всю зиму в тесных клетках. Благовещенье. Благая весть...» Он ждал ее. От Анфисы,

Коля открыл глаза. Сестра наклонилась над ним, встревоженно смотрела ему в лицо.

— Что с вами? — спросила она. — Вам нехорошо?

— А что?

— Вы кричите во сне.

— Не знаю. Приснилось что-нибудь.

— Ну, спите, — сказала Мария Трофимовна. — Набирайтесь сил.

Она вышла из палаты. А Коля тут же крепко уснул.

Городок был в шестидесяти километрах от железной дороги. Летом, когда ходили пароходы, никто от этой его отдаленности особенно не страдал, но зимой было трудно, особенно сейчас, в военную зиму, когда раненых приходилось доставлять в городок со станции железной дороги на автобусах.

На следующий день после того, как Коле стало лучше, Мария Трофимовна уехала на станцию за ранеными. День был ветреный, произывающий. Раненых закутали в тулупы и одеяла.

Все шло хорошо, но на обратном пути в лесу машину встряхнуло на корнях, в одном из окон треснуло стекло, и небольшой его кусок вывалился наружу. Сразу же всю машину начало обдывать ледяным сквозняком. Под руками не оказалось ничего, чтобы закрыть разбитое стекло. Тогда Мария Трофимовна села к окну и прижалась к нему спиной. Так она просидела до самого городка, радуясь, что в машине снова тепло и раненые перестали беспокоиться.

В госпитале она сдала раненых, зашла к Коле, немного с ним поговорила, потом переделась у себя в комнате и вышла на улицу.

Ложились сумерки, но огня нигде не было. Городок был еще в полосе затемнения. В узком разрыве между

гучами истлевал желтый закат. Ручьи шумели по обочинам деревянных тротуаров.

Мария Трофимовна поднялась на крутой берег, откуда она в последний раз смотрела вслед пароходу, когда уезжал Леонтьев. Все это было, но повторится ли опять? Увидит ли она его?

Она ходила по городу до позднего вечера. Она очень любила. Ох, уж эта весенняя сырость! Недаром говорят, что пока не прошла река, нельзя снимать шубы. А она сняла свою старую, надоевшую шубку и надела серое легкое пальто. В нем она сама себе нравилась.

Для кого надела — неизвестно. Кто ее мог увидеть? На что она надеялась? На чудо? На то, что вдруг в пустынной и тихой улице увидит его, идущего навстречу? А как было бы хорошо!

Она знала, что сегодня она какая-то особенная, полная нежности и любви, и что все это отражается в каждом ее взгляде, в каждом движении, слове. И все это для одного человека.

Мария Трофимовна вернулась к себе, легла, но никак не могла согреться. А тут еще разболелась голова. Она уснула ненадолго, а когда проснулась, часы пробили всего одиннадцать. Мария Трофимовна сжалась в комок, но резкий озноб вдруг прошел по всему телу. К утру она уже была без сознания.

Тяжелее всего были не боль и не слабость, а утомительное состояние полусна-полубодрствования, когда никак нельзя было разобрать, что происходит наяву, а что — во сне. Когда-то она уже испытывала это состояние, прошлым летом, в Бартеневе, но тогда оно давало радость, а теперь тяготило. Мария Трофимовна очень уставала от быстрой смены дня и ночи, света и темноты. Откроешь глаза — желтоватым огнем горит электрическая лампочка, а около постели сидит на стуле бледный юноша в халате, и почему он сюда попал — неизвестно. Должно быть, это Коля. Молчит, опустив голову, и кажется, дремлет.

Закроешь глаза на минуту, снова откроешь — видно, как за окнами ветер качает ветку с набухшими почками, пролетают, куда-то торопясь, облака, и нянюшки гремят посудой. А через минуту снова ночь, и мать, Аграфена, стоит у кровати, берет ее за руку, накидывает на плечи старый тулупчик. От него холодно голым горячим пле-

Аграфена ведет ее за руку в лес. Гул сосен оказывается вовсе не гулом, а музыкой, и в ее мелодию входит знакомая песня: «Во поле березонька стояла...» Аграфена закрывает концом платка рот. «Мама,— говорит Мария Трофимовна,— ну, мама же! Как это можно всю жизнь убиваться по человеку за то, что он подарил тебе эти сережки!» — «Дурочка ты,— шепчет Аграфена,— разве я сердце свое могу замкнуть на замок?»

А музыка становится все слышнее, и каждый звук вызывает перед глазами новые удивительные вещи: то поляну с вереском, то иволгу на ветке, то красноватый ствол сосны. «Великий лес!» — говорит Аграфена.

А где-то за этим великим лесом шумят города, кричат сотни автомобильных рожков, блестят миллионы окон, и в толпах людей, смешавшись с ними, Мария Трофимовна видит Леонтьева. Но он чужой. Он не слышит, как она зовет его. Он даже не оглядывается.

«Михаил Юрьевич,— тихо просит Мария Трофимовна,— помогите мне, милый! Подайте руку».

Кто-то подает ей маленькую загорелую, крепкую руку, но поздно: вокруг уже тьма и жар, и только с тоненьким скрипом, как вода в незаметную щель, медленно сочится, уходит сознание.

Мария Трофимовна умерла ночью. Утром, когда Коля вошел в ее палату, там уже стоял на столике стакан с каким-то розовым цветком и было чисто и тихо. Лицо Марии Трофимовны покрывала спокойная бледность. Живыми казались только ее темные ресницы.

Похоронили Марию Трофимовну в лесничестве, среди молодых сосен. Коля, уже оправившийся после болезни, ездил на эти похороны, и его поразила старый лесник Евтей. Он только кричал, закрыв лицо серой облезлой шапкой. Когда могилу засыпали, он сказал:

— Беспорядку много в этом деле... в смерти. Легкой души была женщина, а умерла молодой. А вот я скриплю, старый пень. Нет на меня управы! Я бы с ней обменялся в охотку, да меня, видишь, никто об этом и не спрашивает.

Коля познакомился с лесничим Баулиным, молчаливым, усталым человеком. Баулин был так подавлен смертью Марии Трофимовны, что ни с кем, в том числе и с Колей, не разговаривал.

## В ТУМАНЕ СПРЯТАННОГО СОЛНЦА

Вскоре после смерти Марии Трофимовны Коля уехал в Ленинград. Пришла первая после блокады весна.

Под Любанию Коля проснулся, заглянул в окно вагона и выругался. До самого края земли тянулся горелый лес. Он был похож на частокол из огромных жердей. От косого утреннего солнца, освещавшего лоснящиеся обугленные стволы, изрытую землю, воронки с тухлой водой и ржавую проволоку, запутавшую все вокруг, этот лес казался совершенно неправдоподобным видением, горячечным бредом. Ветер раздувал пепел, застилал черную редину леса сизым угаром.

Сосед по вагону, бородатый солдат, долго глядел на лес, наморщив лоб, потом сказал:

— Иссобачили, измордовали фашисты нашу землю. На сотни лет.

— Ничего! — ответил Коля. — Вырастим леса и раньше.

— Это точно, — согласился солдат. — При теперешнем развитии нашей мысли.

В Любани было солнечно, а над Ленинградом лежал туман. Это был тот легкий голубоватый туман, за которым неясным пятном проступает утреннее солнце. То тут, то там его багряные отблески пробивались через туман, ложились на воду, на стены домов. Было ясно, что этот туман очень непрочный, что его снесет первым же движением воздуха с залива и за ним откроется чистое небо и город в блеске росистых поутру садов.

Коля с бьющимся сердцем вышел из вагона на дощатую платформу Московского вокзала. Он ничего не написал о своем приезде ни Анфисе, ни Нине Порфирьевне. Они знали лишь, что он лежит на излечении в госпитале, что все идет хорошо и что, как только он поправится, сейчас же приедет в отпуск.

Город оживал на глазах. Жизнь брала свое. С утра до вечера по всем улицам был слышен стук топоров, голоса девушек, возившихся на лесах. С Невы опять долетали гудки катеров и пароходов. На окраинах уже мощно дымили и звенели станками заводы.

Даже пунцовые свечи кипрея, разросшегося в изобилии на стенах сгоревших домов, хотели, казалось, украсить этот город.

Коля шел на Фонтанку. Он был в старой шинели с мятыми, выгоревшими погонами, с почти пустым вещевым мешком, висевшим через плечо.

В тумане жужжали пилы на стройках. Воздух был наполнен запахом моря; с залива чуть тянуло утренним ветерком.

Коля вошел в знакомый двор на Фонтанке. Там было пусто. Пробивалась трава. Кучей лежали пустые гильзы от зенитных снарядов.

В углу двора, около кирпичной стены, какая-то женщина колола дрова. Коля прошел мимо нее к парадной двери, забитой фанерой, и оглянулся.

Женщина выпрямилась, откинула со лба прядь светлых волос, взглянула на Колю, вскрикнула, опустилась на кучу наколотых дров и закрыла лицо руками.

— Ты, Анфиса? — крикнул Коля и побежал к ней.

Она никак не могла встать. Она только схватила его руки и что-то шептала. Потом подняла на Колю счастливые глаза, и Коля увидел знакомые взлетающие брови и маленькую родинку на виске.

— Я сейчас встану. Милый ты мой, родной мой человек! Что же ты ничего не писал?

И она, как маленькая девочка, крепко обняла Колины колени и прижалась к его шершавой шинели пылающим худеньким лицом.

#### КОРОТКОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Петр Максимович вышел из Кремля, спустился к Москве-реке и пошел по набережной. Ему захотелось пройти. Он кивнул шоферу, и машина осторожно двинулась следом за ним.

Шофер поглядывал на старого профессора и усмехался,— тот, по мнению шофера, был чудак. Сев в машину, по дороге в Кремль он сразу же начал возмущаться духотой, опустил окна и устроил сквозняк. На него не произвели никакого впечатления ни две махровые гвоздики в стеклянной колбочке, прикрепленной около дверцы, ни электрическая зажигалка, хотя профессор заметно нервничал и выкурил по пути в Кремль две папиросы.

Шофер был обижен. Машиной восхищались все, а

этот старик только фыркал, будто его везут на трясуцей таратайке. Поэтому, подумав, шофер сказал:

— Эта машина легкая, послушная, не то что какой-нибудь муровый «бьюик».

— А что такое этот ваш «бьюик»? — сердито спросил Петр Максимович.

Шофер усмехнулся:

— Такая марка.

— Все эти марки одинаковы,— проворчал профессор.— Отравляют воздух. И портят людям нервы.

Шофер живо обернулся. Машина стояла перед закрытым светофором.

— Против этого я не возражаю,— сказал шофер.— Я сам любитель свежего воздуха. У меня на родине, в Калужской области, места привольные. Только так рассуждать, как вы, не совсем, по-моему, правильно.

— Это почему же?

— А потому, что если вы пожелаете, то я вас через два часа в эти места доставлю на своей машине. Съедем с шоссе, поставим машину под березу, вы дверцу откроете и — пожалуйста! — собирайте землянику под самыми колесами. Удобство! А поездом будете семь часов ехать. Да еще с пересадкой.

Профессор издал звук, похожий на легкий смешок, но промолчал. Шофер, не дождавшись ответа, с места рванул машину под открытый светофор. Презрительно прищурившись, он домчал ее до Кремля. Там он ловко остановил машину почти с полного хода, зашуршав ногами шинами.

Пока профессор находился в Кремле, шофер успокоился и даже вздремнул. А сейчас он, сидя в машине, смотрел, так же как и профессор, на сероватую мглу, что опускалась к вечеру на город, на вереницы белых огней, на речные трамваи, подгонявшие к гранитным берегам гладкие волны, на далекую зелень Ленинских гор и разноцветные фонари троллейбусов, пронесившихся по длинному мосту. Окна в машине были опущены, и постепенно в нее начал проникать запах зацветающих лип.

— Хорошо! — вздохнул шофер.

Ему захотелось, чтобы профессор постоял на набережной подольше. Но профессор взглянул на часы, торопливо сел в машину и приказал ехать в театральную студию.

В студию так в студию! Шоферу это было безразлично. Но все-таки странно: какое отношение мог иметь этот ученый старик к театру.

Когда машина въехала во двор студии, навстречу ей бросилась девушка в разлетающемся от ветра платье. Волосы ее отливали медью. Она открыла дверцу, помогла профессору выйти, и они расцеловались.

Шофер поглядел им вслед, сдвинул на глаза кепку, почесал затылок, тихонько пропел: «Когда б имел золотые горы и реки, полные вина, все отдал бы за эти взоры, за эти милые глаза...» Только после этого он неохотно выехал со двора.

— Ну, как в Кремле? — взволнованно спросила Анфиса.

— Превосходно! В общем, вашему Коле хватит работы на всю жизнь.

Анфиса засмеялась.

— Вы рады?

— Какое там рад! — ответил Петр Максимович. — Я не рад — я счастлив.

В вестибюле студии Петра Максимовича ждал режиссер — высокий, седой, с учтивыми движениями. Он провел Петра Максимовича к себе в кабинет, усадил за круглый столик, где стояли вазы с пирожными и мандаринами, и попросил подать чай.

— Я чрезвычайно рад такому счастливому случаю, — сказал режиссер. — От одной из наших учениц я узнал, что вы в Москве по важным делам, но все же осмелился вас побеспокоить.

— Какое же беспокойство! — возразил Петр Максимович. — Одно удовольствие. Я без молодежи жить, знаете, совсем не могу.

— Да? — спросил режиссер и сделал восхищенные глаза. — Это замечательно! Я побаивался, что вас удивит наша просьба. Слышанное ли дело: известный лесовод, крупнейший знаток этого дела в нашей стране... — Петр Максимович заерзал на кресле, — простите, но я говорю совершенно откровенно... ученый большого плана приезжает к нам, чтобы побеседовать с театральной молодежью о лесных делах. Я не знаю, сообщили ли вам, что мы работаем над чеховским «Дядей Ваней»?

Петр Максимович кивнул.

— Образ доктора Астрова, с его любовью к лесу, с его идеей облагораживающего влияния леса на психику человека, требует знакомства актеров, занятых в этом спектакле, со всем комплексом лесоводческих вопросов. Таков наш метод воспитания актера.

В это время Тата Базилевич внесла на подносе два стакана чаю. Петр Максимович взглянул на нее и удивился: что за глаза у этой девушки! Они были полны такого заразительного веселья, что Петр Максимович заулыбался. Легкое его раздражение на высокопарного режиссера сразу прошло. Тата, поставив поднос, слегка поклонилась, покраснела и выскользнула из кабинета.

— У меня прекрасная молодежь,— сказал режиссер таким тоном, будто все эти юноши и девушки были в некоторой мере его собственностью.

— Вижу, вижу,— пробормотал Петр Максимович.— Радуюсь.

Петр Максимович с наслаждением выпил стакан чаю.

Из открытого окна в разгоряченное его лицо подувал вечерний ласковый ветерок. Да, жизнь в общем хороша! Это бесспорно.

Петра Максимовича провели в длинный сумрачный зал. Он поднялся на сцену. Студийцы дружно встали. Петр Максимович замахал на них руками, подошел к краю сцены и начал говорить.

— Прежде всего,— сказал он,— я бы хотел познакомиться с тем юношей, который будет играть доктора Астрова.

Во втором ряду встал смущенный молодой человек.

— Вы бывали в наших лесах?— спросил его Петр Максимович.

— Да,— ответил юноша; звали его Женей Горбачовым.— Но, конечно, мало.

— Так вот,— сказал Петр Максимович,— я могу вам помочь, чтобы вы провели хотя два месяца в настоящем заповедном лесу.

Юноша вспыхнул, заулыбался.

— А как же мы?— испуганным шепотом, но так, что было слышно во всем зале, спросила Тата.



— Я думаю, что вам всем было бы полезно провести некоторое время в этих лесах. Но об этом мы поговорим потом. Пока же я только могу сказать, что тот юноша, который будет играть доктора Астрова, должен быть его достойным потомком. Он должен любить леса и хорошо понимать их значение в нашей жизни. Поэтому я собираюсь сказать вам и ему несколько слов о лесе как о мощном хозяйственном, биологическом и эстетическом факторе. Начну с последнего...

Чехов устами доктора Астрова выразил одну из своих совершенно удивительных по меткости мыслей о том, что леса учат человека понимать прекрасное. В лесах с наибольшей выразительностью предстают перед нами величавая красота и могущество природы, усиленные некоторой дымкой таинственности. Это сообщает им особую прелесть. Помните пушкинское: «лесов таинственная сень»? Я не могу умолчать о том, что в глубине наших лесов создавались подлинные жемчужины нашей поэзии, хотя бы такие, как «Подруга дней моих суровых...» или «Роняет лес багряный свой убор...». Извините, что цитирую только Пушкина: стихи позднейших поэтов с такой ясностью не удержались у меня в памяти.

Леса являются величайшими источниками вдохновения и здоровья. Это исполинские лаборатории. Они вырабатывают кислород и улавливают ядовитые газы и пыль. Представьте себе, что на леса обрушился пыльный ураган. Уже в километре от опушки вы будете ощущать его лишь как потоки чистого и свежего ветра. Каждый из вас, конечно, помнит воздух после грозы. Он душист, свеж, полон озона. Так вот, в лесах как бы бушует невидимая и неслышная вечная гроза и расточает по земле потоки озонированного воздуха.

Не знаю, слышали ли вы, что в больших городах в кубическом метре воздуха находится около сорока тысяч разных бактерий, а в лесах в каждом кубическом метре их всего двести — триста, а то и меньше. Там вы дышите воздухом, который в двести раз чище и здоровее воздуха городов. Он целебен, он удлиняет жизнь, он повышает нашу жизненную силу, и, наконец, он превращает механический, а подчас и затруднительный для нас процесс дыхания в наслаждение. Кто испытал это на себе, кто знает, как дышится в прогретых солнцем сос-

новых лесах, тот вспомнит, конечно, удивительное состояние как бы безотчетной радости и силы, охватывающее нас, как только мы попадаем в леса из душных городских домов.

Но главное не в этом. Лес — это самый верный наш помощник в борьбе за урожай. У меня мало времени, чтобы рассказать со всей полнотой о том, в какой огромной мере лес способствует повышению урожаев. Он хранит почвенную влагу, смягчает климат, останавливает сухие и жаркие ветры, преграждает своими зелеными плотинами путь сыпучим пескам — лазутчикам пустыни. Он является конденсатором влаги: росы, тумана, инея. Из лесных болот берут начало реки. И, наконец, грунтовые воды в лесах и вблизи лесов стоят гораздо выше, чем в безлесных областях.

Места, где уничтожен лес, подвергаются жестоким размывам от талых вод и дождей. Довольно тонкий, как мы, конечно, знаете, слой плодородной земли зачастую смывается начисто, и реки уносят его в море. А то, что пощадили дожди, потом развеивается ветром. Иногда ураганы поднимают на воздух целые материи плодородной почвы и уносят ее за тысячи километров. Это так называемые пыльные, или черные, бури.

Невозможно перечислить все бедствия, какие несет истребление лесов. Если бы вы знали о них, то у вас, должно быть, не поднялась бы рука даже на то, чтобы сломать для букета ветку цветущей липы.

В тех местах, где уничтожены леса, земля заболевает бесплодием и сухими язвами оврагов. Нет ничего безотраднее, чем зрелище пересыхающих грязных рек, порубок, гарей, всех этих пустошей, вызванных к жизни невежеством, нерадивостью и жадностью человека — теми его отталкивающими качествами, привитыми старым обществом, с которыми мы жестоко боремся и успешно их преодолеваем.

Напомню вам пророческие слова о роли лесов, сказанные Энгельсом:

«Людам, которые в Месопотамии, Греции, в Малой Азии и в других местах выкорчевывали леса, чтобы добыть таким путем пахотную землю, и не снилось, что они этим положили начало нынешнему запустению этих стран, лишив их, вместе с лесами, центров скопления и сохранения влаги»

— ...Сегодня я был в Кремле,— сказал, помолчав, Петр Максимович.— Там обсуждались работы по восстановлению лесов после войны. Во время войны у нас погибли леса на площади почти в двадцать миллионов гектаров. В одной только Белоруссии гитлеровцы сожгли, вырубili и обратили в пустыри пятьсот тысяч гектаров леса. В первую очередь фашисты уничтожили превосходные леса, созданные трудами человека, посадки лиственницы на Смоленщине и дубравы Украины. В Орловской области они вырубili все рощи, воспетые нашим Тургеневым.

Нам нужно сажать леса не только для восстановления природных сил земли, но и для нашего хозяйства. Нам нужно много древесины. В нашем народном хозяйстве существует не менее пяти тысяч способов ее применения.

Поэтому мы и работаем сейчас над разведением быстрорастущих лесов и над тем, чтобы ускорить рост и улучшить качество наших привычных деревьев: сосны, осины, тополя. Я уверен, что знаменитая проблема «преодоления времени», иначе говоря — ускорения роста деревьев, в самом недалеком будущем будет решена нашими учеными.

Мы можем гордиться именами Докучаева, Тимирязева, Вильямса, именами талантливых лесничих — таких, как покойный Высоцкий, как женщина-лесовод Колосова, прошедшая тысячи километров по лесам, гарям и ветровалу, обследуя северные лесные массивы.

Это всё подвижники лесного дела, великие труженики во имя будущего, во имя идущих нам на смену поколений. Сознание, что вся твоя работа является подарком будущему, что ты сам не всегда увидишь ее плоды, не ослабляет их силы. Эти люди лишены тщеславия и поэтому могут быть названы истинными творцами.

Таков был доктор Астров. Таков был и сам Чехов. Когда он говорил, что мы увидим небо в алмазах, то, может быть, он думал о необыкновенном блеске звезд в чистейшем воздухе лесной страны. Кто знает!

Мы идем через времена стройки и напряженного труда к совершенной жизни. Думая об этом, я представляю себе человека, который, совершив путь через пески и гари, после изнурительного зноя, обветренный, сожженный солнцем, входит наконец в глубину торжественных и ти-

лих лесов, и все его тело охватывает прохладой листвы. От бальзамических запахов лесных цветов, трав, хвон и коры исчезает усталость.

Великая сила жизни видна во всем: в колебании вершин, в пересвисте птиц, в мягком освещении. А к вечеру где-нибудь около лесных вод человек садится у костра, и рядом с ним садится тишина. Звезды, во сто крат более яркие, чем над пыльным пологом городов, загораются в небе.

При взгляде на них человек начинает понимать все величие мироздания, начинает понимать, что значит заслуженный отдых и душевный покой. Ночь поднимается над миром, полная свежих запахов, смутного света, росы, крика ночных птиц. А впереди сотни таких ночей, и рассветов, и дней, и вечеров, когда над Россией расстилается не то туман, не то дымок костров. Может быть, об этом и думал Чехов. Не знаю.

Позвольте мне закончить свое короткое сообщение старинной поговоркой, которая говорит, что каждый человек должен вырастить в своей жизни хотя бы одно дерево, иначе он — мертвец и сухое полено...

Аплодисменты не затихали очень долго, и долго еще покрасневшиеся юноши и девушки не отпускали Петра Максимовича и просили, чтобы он рассказал еще что-нибудь о лесах. Если бы не Анфиса, то ему не скоро удалось бы уйти. Она взяла его под руку и увела в кабинет.

Режиссер долго благодарил Петра Максимовича, жал ему руку, а Анфиса шепнула:

— Как я за Колю рада, Петр Максимович, если бы вы только знали! Какое удивительное дело он себе выбрал!

Когда Петр Максимович вышел во двор, шофер на тяжелой лакированной машине уже вернулся и ждал его.

Петр Максимович усадил в машину Анфису, Тату и Женю Горбачова, сел сам и приказал шоферу везти всех на речной вокзал в Химки.

Шофер тотчас сдвинул кепку на затылок, повеселел и, рисуясь своей сноровкой и небрежностью, помчал машину по узким улицам, пока не вырвался на Ленинградское шоссе. Там он «показал марку». Машина понеслась, как торпеда, лишь изредка приседая на рессорах.

На речном вокзале было просторно, пусто. Прошел небольшой дождь. Блестел мокрый асфальт. Из сада пахло туюй, от воды — нефтью, а на открытой веранде ресторана горели матовые фонари.

Туча, пролившаяся коротким дождем, уходила на юг, а на западе уже открылось сияние летней зари. Цепь речных огней горела на этой заре. Издалека долетали звуки оркестра: должно быть, в Москву возвращался прогулочный пароход.

— Что играют? — спросила Тата.

Все прислушались. Оркестр играл так далеко, что незаметные воздушные токи перепутывали его звучание, и можно было только догадаться, что оркестр играет вальс. Он кружился над подмосковными рощами, постепенно приближался, словно выплывая из этой широкой зари.

Петр Максимович заказал ужин, вино, чай с пирожными.

Когда Женя Горбачов разлил в бокалы вино, кто-то осторожно тронул Анфису сзади за плечо. Она быстро откинула голову.

Позади Анфисы стоял Леонтьев, похудевший, спокойный, и, прищурившись, хитро смотрел на Анфису.

Она вскочила, обняла одной рукой Леонтьева за шею, коса ее упала, но она, не замечая этого, крепко прижалась щекой к колючей, как обычно, щеке Леонтьева и прошептала:

— Родной мой, как вы меня напугали! Откуда вы?

Петр Максимович торопливо протирал очки, чтобы рассмотреть этого странного человека. Протерев их, надел, узнал Леонтьева и сказал:

— Вас нам как раз и не хватало.

Леонтьев поздоровался со всеми, сел к столику, потребовал еще вина и сказал:

— Прямо из Берлина. Только что демобилизовался. Всю войну мечтал о встрече со всеми вами. И вот — можно поверить, что наша старушка Земля не без чудес, — все случилось так, как я думал.

Почему-то все замолчали. Слышнее стал оркестр, и как будто ярче загорелась заря.

— Кончено испытание, — промолвил Леонтьев. — Ну что ж! Выпьем, что ли, за хороших людей! И за леса, конечно!

## ГОНКОЕ ДЕРЕВО

Выступая перед молодежью, Петр Максимович не рассказывал о главном, что произошло в Москве: о том, что был принят проект постепенного восстановления знаменитых Брянских лесов.

Не рассказал он об этом из глубочайшего убеждения, что пока дело не начато, лучше о нем не болтать.

Петр Максимович был уверен, что у болтунов никогда ничего не выходит. «Терпеть не могу краснобаев! — говорил он. — Ох уж эти мне златоусты! Наговорят с три короба, а как дойдет до дела, так туда-сюда, пыр-мыр — и ничего не получается».

Петр Максимович думал о себе, что он человек немногословный, почти молчаливый, не замечая того, что, даже оставаясь без собеседника, все время разговаривал сам с собой. Эту черту Петра Максимовича знали все его друзья и ученики. Она служила постоянной пищей для добродушных шуток над ним.

План восстановления Брянских лесов, жестоко пострадавших во время войны, был взвешен со всех сторон и настолько убедителен, что не встретил возражений.

Петр Максимович был сторонником восстановления лесов, как он выражался, «по-настоящему» — большими массивами, а не путем насаждения узких лесных полос.

С давних времен Брянские сосновые леса были лучшими в стране. Это были корабельные боры превосходного качества, самого высокого, говоря языком лесоводов, фонитета.

Объяснялось это тем, что в песчаных землях, на которых разрослись эти леса, много фосфоритов. Такая почва дает сосне могучий рост и крупную и красивую древесину.

До революции брянская сосна ценилась и на внутреннем и на европейском рынках дороже всякой другой. Весь безлесный юг России жил за счет Брянских лесов. Множество брянского леса вывозилось из черноморских портов за границу. Пароходы везли на палубах могучие сосновые кряжи, разнося по всему миру освежающий, удивительный запах вековых сосен.

Еще до революции на обширных порубках в Брянских лесах начали селиться крестьяне и превращать те земли, где исчез сосновый лес, в поля. Песчаная почва давала тощий хлеб. Овчинка не стоила выделки.

Поэтому Петр Максимович предложил восстановить сосновые брянские боры на всем их обширном пространстве, создать для страны богатейшие запасы прекрасной древесины, а под поля свести, если понадобится, те листовенные леса, что вклинивались в брянский сосняк и разрастались не на фосфоритных песках, а на земле, пригодной для земледелия.

План был принят, и с весны научные работы были перенесены из Ленинграда в одно из лесничеств в Брянских лесах.

Там же Петр Максимович заложил питомники скорорастущих деревьев.

Место для скорорастущих было удобное: средняя и теплая полоса России, где отсутствовали сильные ветры, была хорошая почва. Наиболее пострадавшие от войны лесные области, в которых предстояло вести посадки, находились поблизости.

Петр Максимович приехал в лесничество раньше всех, вместе с Колей.

Приехала и Полина Максимовна. За многие годы она впервые вырвалась из города и никак не могла надышаться и насмотреться на окружающую красоту.

Вблизи лесничества протекала река. Ее заливные луга еще не были скошены и цвели крупным клевером. На реке стояла до войны водяная мельница, но фашисты ее сожгли, и осталась только плотина — любимое место Полины Максимовны. Обугленный и обвалившийся мельничный сруб густо зарос лебедой.

Анфиса была еще в Москве. Она обещала приехать ближе к осени: студия готовилась к выпускному экзамену.

Нина Порфирьевна давно вернулась в Ливны и писала оттуда Коле и Анфисе короткие открытки, звала осенью хоть на две недели к себе. Звала, между прочим, и Леонтьева и Петра Максимовича. Последнего она соблазняла разросшимися посадками по склонам знаменитых оврагов.

Леонтьев остался в Ленинграде и засел за свою «дорожную книгу». В письмах к Коле он жаловался, что по-

лучается совсем не то, что он задумал, а какая-то лирическая поэма.

Он писал Коле, что завидует тем людям, которые умеют работать по плану. Для него точный план — нечто недостижимое. С первых же страниц план трещит, расплывается, и сквозь щели этого хорошо пригнанного плана начинает прорастать буйная поросль. Очевидно, художественная правда крушит план, и автор не в силах справиться с внутренней логикой вещей.

Особенно возмущали Леонтьева его герои. С непонятным упорством они сопротивлялись ему, делали совсем не то, что намечал он для них (и, очевидно, как раз то, что им и нужно было делать), и производили на Леонтьева впечатление хотя и хороших, но чрезвычайно несговорчивых людей. Иногда он умилялся упорству своих героев, иногда приходил в ярость и рвал целые страницы. Но это не помогало.

— Ну и профессия! — говорил в сердцах Леонтьев. — Чтоб ей пропасть!

Но он прекрасно знал, что дело свое не променяет ни на что в мире. «Все равно, — говорил он, — буду есть мякину, а литературу не кину».

Когда Леонтьев узнал от Коли о смерти Марии Трофимовны, он как-то весь сжался и несколько дней ходил подавленный. Потом внезапно уехал и возвратился лишь через две недели.

Выяснилось, что он побывал сначала в том селе, где была похоронена Аграфена, а оттуда ездил в лесничество, где работал объездчиком, провел там несколько дней и возвратился с томиком Лермонтова в кармане и фотографией Аграфены. Он повесил ее у себя над письменным столом.

Больше Леонтьев ничего никому не рассказывал, и Коля, естественно, его ни о чем не расспрашивал.

После поездки Леонтьев три дня не выходил из своей квартиры. Но после этих трех дней он вышел спокойный, как прежде. Перед этим он достал из письменного стола футляр с серьгами, долго, положив на ладонь, рассматривал их, потом снова спрятал в ящик стола.

Хотя Леонтьеву и очень хотелось поехать в лесничество, к Петру Максимовичу, но он решил до осени, пока хотя бы вчерне не окончит книгу, никуда не уезжать из Ленинграда.



В лесничестве было очень много работы с посадкой новых лесов и с закладкой питомников. Все разговоры вертелись вокруг семян, их всхожести и свойств скорорастущих деревьев. Лесники называли эти деревья «гонким деревом».

Петр Максимович волновался из-за посадок нашей сосны и «экзотов» — скорорастущих заморских деревьев: дугласовой пихты, канадского тополя и так называемой сосны Муррея.

Коля хорошо знал свойства этих деревьев, привык уже к ним, но изредка даже ему они казались фантастическими существами. Особенно сосна Муррея.

Ее прозвали «пожарной сосной» за ее свойство великолепно разрастаться на гарях. Это свойство объяснялось тем, что шишки такой сосны висели на дереве по пятнадцать—двадцать лет и раскрывались только в сильную жару. Легче всего эти шишки раскрывались во время лесных пожаров. Но семена высыпались из шишек только после того, как огонь прекращался. Семена «пожарной сосны» не теряли всхожести десятки лет.

Петр Максимович любил рассказывать, как однажды такая шишка вросла в ствол сосны, вокруг нее образовалось пятьдесят годовых слоев, а когда шишку выковыряли из глубины дерева и исследовали, то в ней нашли совершенно свежие семена.

Канадский тополь поражал скоростью роста, высотой и толщиной ствола. В Средней России этот тополь за шесть лет вытягивался в высоту на девять метров.

Но самым замечательным из «быстроходных» деревьев была, конечно, дугласова пихта. У себя на родине, в Канаде, она поднимается в высоту на семьдесят пять метров. Средний возраст дугласовой пихты доходил до тысячи лет.

Вскоре леса из этих деревьев должны были, по мысли Петра Максимовича, заполнить многие пустоши, оставленные войной.

Скорорастущие «экзоты» были в работе Петра Максимовича уже пройденным этапом. Он их просто разводил в питомниках для создания новых опытных лесов.

Сейчас он работал над выращиванием быстрорастущих деревьев из наших отечественных пород — ивы, сос-

ны, сли. Это был смелый, но продуманный опыт. В этом деле наш ученый Яблоков добился уже удивительных результатов. Он вывел породу исполинской осины. За сорок лет она достигала сорока метров высоты. Древесина ее была крепкая, чистая и совершенно не загнивала, как древесина нашей обыкновенной осины.

Петр Максимович скрещивал наши деревья с заморскими исполинами и добивался их быстрого роста.

Эта кропотливая и сложная работа уже подходила к концу, и Петр Максимович был уверен в ее успехе.

Один небольшой участок питомника Коля засеял семенами из отборных сосновых шишек, заготовленных на зиму белками. Он решил посвятить молоденькие сосны, которые вырастут из этих семян, Леонтьеву. Могут же писатели посвящать книги друзьям и любимым людям! Почему же лесовод не может посвятить любимому человеку прекрасное дерево, на выращивание которого потратил много труда? Работа над ним требовала такого же напряжения, стольких же забот, как и работа над книгой.

Особенно ясно Коля почувствовал это, когда в питомнике появились первые, слабые побеги деревьев. Они были похожи на побеги травы. С ними было, пожалуй, столько же хлопот, как с детьми. В жаркие дни их надо было притенять еловыми ветками, а осенью, когда из низин начали наползать по ночам холодные туманы, приходилось разжигать вдоль питомника костры, окутывать посадки дымом, чтобы согреть их и не дать туману съесть побеги.

## КИПРЕЙ

В начале августа в лесничество приехали Анфиса с Женей Горбачовым.

Коля поехал встречать их в городок на большой реке — туда подходила ветка железной дороги.

Машины все были заняты, и Коле дали телегу и лошадь. Коля даже обрадовался. Поездка в телеге была приятнее, чем тряска в машине по сосновым корням.

Городок был маленький, наполовину сгоревший во время войны. Улицы были так густо засыпаны сеной трухой, что телега катилась по ним бесшумно, как по

ковру. От складов с пенькой тянуло сухим приятным запахом, напоминавшим запах вошины. В городском саду над рекой сварливо кричали и дрались на деревьях галки. Сад зарос чистотелом, крапивой. На круглой деревянной тумбе у входа была наклеена афиша: в кино «Аврора» шла новая картина «Машенька». Коля усмехнулся: подходящее название для кино в таком городке — «Аврора»! Богиня утренней зари!

Поезд должен был прийти только на следующее утро, и Коля переночевал в Доме колхозника.

Проснулся Коля на рассвете. Он вышел во двор умыться. Роса лежала на траве. Вокруг колодца ходил, гогоча, заспанный, недовольный гусь.

Дом колхозника стоял на юру. Вытираясь, Коля видел, как в туманах, в свежести, еще оставшейся от ночи, всходило за рекой солнце. Розовые лучи протянулись в вышину, где еще висел месяц, усталый и побледневший от ночного скитания по огромному небу.

Вокзала в городке не было, он сгорел. Вместо вокзала стоял пока товарный вагон.

Поезд подходил медленно и остановился далеко от товарного вагона. Коля побежал к нему навстречу, но опоздал — Анфиса уже прыгнула на насыпь, а Женя вытаскивал из вагона и подавал ей чемодан и кошелку.

Анфиса крепко поцеловала Колю и сказала:

— Как все-таки мы много путешествуем, Коля!

— Никогда я не был в таких глубинных местах, — заметил, оглядываясь, Женя. — Очень все интересно.

Женя удивился телеге и еще больше удивился, когда узнал, что никакого возницы нет, а повезет их Коля.

— Доедем! — успокоил его Коля. — Садитесь. По дороге завернем в чайную на берегу, около плашкоута. Выпьем чаю, закусим.

В чайной было тепло, чисто. Девочка в красном ситцевом платье домывала полы. Сели за дощатый стол. Анфиса достала из кошелки бутерброды. Коля выложил на стол редиску; он купил ее около вокзала. Девочка внесла маленький самовар.

И Анфисе, и Коле, и особенно Жене это утро в чайной представлялось удивительным. Казалось, что они стали участниками неторопливого романа, действие которого происходит в неизвестном городке с деревянными домами,

с заглохшими садами, молодой любовью, дружбой,— романа, перенесенного из столиц в глубину страны, в лесные края, на проселочные дороги.

Было слышно, как по сырым оврагам тихопью бормотали родинки. Женщины спускались к ним с ведрами и коромыслами. Ведра звякали в тишине.

Долго ехали лугами. В балках застоялись лужицы воды, заросшие по краям незабудками. Потом пошли гари с одинокими тонкими соснами. Гари сплошь были покрыты красным кипреем.

Солнце палило нещадно. Тучами налетали слепни. Лошадь часто останавливалась, отбиваясь от них головой и хвостом.

Когда гари окончились и телега въехала в большой лес, решили переждать жару.

Коля распряг мерина, завел его в гущу орешника. Мерин довольно фыркал и срывал листья серыми, замшевыми губами. Слепни исчезли.

Очень хотелось пить. Они напильсь воды из круглой ямки во мху, где вода стояла в уровень с землей и была холодная и чистая. Если приглядеться, то была видна тонкая струйка воды, бившая откуда-то снизу, из мха. Она покачивала утонувшую в этой криничке высохшую ветку брусники.

Женя лежал на земле около старого пня и рассматривал его. Кора кое-где отвалилась. Виднелись запутанные ходы, проточенные лубоедом. По этим ходам бежали муравьи и тащили в хранилище внутри пня разные зернышки и сухую хвою. Сбоку на пне вырос древесный гриб — желтый, как сера. Потом прилетел бархатный шмель — черный, с золотой полоской на брюшке,— сел на цветы кипрея и деловито загудел.

— Как здорово! — промолвил Женя.— Такой пень можно рассматривать без конца.

— Этот старый, перегнивший пень,— сказал Коля,— при умении можно прочесть, как книгу. Он весь в иероглифах.

— Как это? Какую книгу?

— Книгу о круговороте жизни в природе. И еще о многом. Вот, смотрите, около пня растет кипрей. Но только около пня. На полянке его уже нет. Кипрей любит землю, богатую азотом, а такая почва всегда образуется около муравейников. Редкий цветок. Помните, на горяч

целые поля кипрея. Он там разрастается тоже неспроста. Дело в том, что кипрей очень смягчает жару и не дает солнцу на горях сжигать молодые побеги деревьев. Нигде, как на горях, земля так сильно не раскаляется от солнца. И, кроме того, кипрей по ночам не подпускает к побегам холодный воздух. Бывает так, что все верхушки кипрея обмерзнут, но он не даст погибнуть всходам. Самоотверженный цветок. Но этого еще мало: кипрей влияет не только на температуру воздуха вблизи земли, но и на температуру почвы. Он охраняет не только побеги, но и их слабые корни.

— Слушай, Коля,— сказала Анфиса,— это похоже на какую-то сказку. Цветок-нянька! На месте Леонтьева я только бы и писала, что об этих травах и деревьях. Хватило бы на целую жизнь. Какую бы книгу он мог написать! Надо его растормошить.

— Каждый может это знать,— ответил Коля,— но передать по-настоящему может, конечно, только поэт.

Шмель торопливо вылез из цветка кипрея, почистил лапки, взлетел и сразу же набрал высоту.

— Вот Петр Максимович,— сказал, помолчав, Коля,— говорит, что в будущих лесах должно быть много пасек. Пчелы будут опылять деревья и кустарники. И, кстати, в лесах будут жить хорошие люди — пасечники. Пожалуй, нигде занятие так сильно не сказывается на человеке, как здесь. Пчелы не любят неряшливых и шумных людей.

...Жара начала спадать. Небо медленно заволкло тучами, по лесу прошел ветер.

Коля запряг мерина, и они поехали дальше. Дорога заросла высоким папоротником. Он хлестал мерина по ногам и оставлял на них оранжевую пыльцу.

В лесу стало очень тихо. Потом в кустах послышался едва заметный шорох.

— Дождь! — сказала Анфиса и вытянула руку.

Тотчас на ладонь ей упали две теплые капли дождя. Потом, помедлив, упала третья.

Зашевелились от ударов капель листья, запахло прибитой пылью. Где-то далеко прогремел ленивый гром.

Потом вдруг дождь припустил и начал часто-часто сыпаться с неба быстрыми мелкими каплями. Деревья

весело и торопливо зашумели, листва покрылась мокрым блеском, а от спины мерина повалил пар. Стащили с сена на телеге грубое полосатое рядно и накрылись им, как шалаткой.

Дождь усиливался. Песок промок, потемнел. Кое-где в колеях уже налились лужицы, и капли, ударяя по ним, оставляли пузыри.

Коля свернул лошадь с большака на боковую дорогу.

— Ты куда? — спросила Анфиса.

— Тут лесная сторожка рядом. Надо переждать.

Около лесной сторожки их обляял взлохмаченный пес со смеющимися глазами. Лаял он, как потом выяснилось, от досады, что ему нельзя сразу же положить Анфисе лапы на плечи и лизнуть ее в лицо. Но он это сделал, как только Анфиса соскочила с телеги.

На крыльцо вышел худой лесник.

— Назад! — крикнул он на пса, но тот уже прыгал на Женю и в конце концов ухитрился лизнуть в лицо и его.

— Дождиком прихватило? — спросил лесник. — Похоже, обкладывает. Пожалуйте в избу.

Вошли в избу. В ней никого не было.

— Хозяйки у меня нету, — сказал лесник. — Померла еще до войны. Так один и верчусь. Сейчас я самоварчик поставлю. Молоко есть в подполе. Выпейте.

— А кто же у вас корову доит? — спросила Анфиса.

— Самому приходится, — неохотно ответил лесник.

Лесник делал все медленно, не спеша: достал чашки, деревянную солонку с крупной желтой солью, поставил самовар, потом полез в подпол.

Пока он возился там, Анфиса заметила за ситцевой занавеской на русской печке два серых испуганных глаза. Они смотрели на нее не мигая. Когда лесник вылез из подпола, Анфиса спросила:

— Кто это у вас там?

— Где? — встревоженно спросил лесник.

— На печке.

Лесник оглянулся на занавеску, ничего не ответил и начал раздувать самовар. Было видно, что вопрос Анфисы застал его врасплох и он этим недоволен. Наступило неловкое молчание.

Лесник сел на лавку около Анфисы, начал скручивать сигарку и, помолчав, сказал вполголоса:

— Дочка там у меня. Маша. Хвоя.

— А что с ней?— так же тихо спросила Анфиса.

— Душевная у нее болезнь. Дикая она, пугливая. Людей боится. Ране я на людном кордоне служил, да вот из-за нее перевелся сюда, в самый глушняк. Тут потише. Прохожие люди ее не беспокоят.

— С чего же это она?— спросил Коля.

— Да-а...— сказал, не расслышав вопроса, лесник,— была девочка звонкая. Бывало, как побежит в лес по грибы — никаких тебе малиновок не надо! Как пришли фашисты, мы с ними, понятно, бились здесь, в своем лесу. Партизанили. Маша, понятно, при мне — куда ей деваться. Побегла она как-то на покров в соседнее село, а вернулась уже не в себе. Вся черная, заикается, ко мне жметя. А там, видишь, какое дело: фашисты при ней человека повесили. Значит, не все детский глаз видеть может. Не все! Не выдержала. С тех пор так и пошло: от людей хоронится, как зверек какой-нибудь лесной. Так что вы не обижайтесь, ежели я неласково вас встретил. Все опасуюсь, как бы ей хуже от людей не было. Но, замечая, теперь ей полегче. Ежели с ней тихо, ласково, она уже не боится.

Лесник обернулся к печке, сказал:

— Маша! А Маша! Ты выйди. Это люди хорошие. Они с добром к нам приехали.

— Здравствуйте,— прошептала из-за занавески девочка.

— Здравствуй, Маша,— ответила Анфиса.— Слезай, иди к нам. Будем чай пить вместе. У меня гостинцы для тебя есть.

— Я босая,— ответила девочка.

— Ну что ж, что босая? Я тоже разуться могу.

Девочка шире раздвинула занавеску и долго смотрела на Анфису.

— Вы ее больше не кличьте,— сказал лесник,— а то опять напугается. Она, может, сама придет.

Девочка действительно слезла с печки, подошла к столу, долго смотрела на Анфису жадными глазами, потом подошла к ней, тронула пальцем часики на руке Анфисы и сказала:

— Там старичок сидит. Чего-то весь день пилит и

шилит. Только ваш старичок махонький, а наш большой.

— Какой ваш?

— А вон тот!— Девочка показала на старые ходики.— Наш старичок кузнец. Он ножик кует. Как выкует — всех зарежет.

— Ты брось, дурочка, выдумывать!— строго сказал лесник.— Ни к чему это все!

Губы у девочки задрожали. Она с испугом посмотрела на отца, закрыла лицо ладонями и заплакала. Анфиса притянула девочку к себе, погладила ее плечи, растрепанные косицы. Девочка уткнулась горячим, мокрым лицом в грудь Анфисы и все плакала, никак не могла остановиться.

— Ну чего ты?— сказала Анфиса.— Он совсем не ножик кует, а стучит молотком, мастерит себе сапоги на зиму. Он добрый дед, глухой. Зачем же его обижать!

Девочка перестала плакать, судорожно вздохнула, искоса посмотрела на Анфису и еще теснее прижалась к ней.

— Отошла,— сказал лесник.— А со мной бы — нипочем. Вот беда!

— Лаской ее можно вылечить,— заметил Коля.

— Оно, конечно, так. Да на ласку, милый человек, времени много нужно. А где его взять? Я целый день в лесу, а она тут одна. Вот и выдумывает бог знает что.

— Я за ней дня через три приеду,— сказала Анфиса.— Возьму ее на время в лесничество. Может быть, там у нее все и пройдет... Поедешь со мной, Маша?

— Поеду,— едва слышно ответила девочка и еще крепче прижалась к Анфисе, к ее платью, от которого дивно пахло не то травами, не то цветами.

— Да...— сказал лесник.— Незнамо как и благодарить. Женское сердце — оно все одолеет. Это уж истинно!

Дождь прошел только к ночи. Туча ушла куда-то за леса. Низко, касаясь вершущек деревьев, вошла луна. Свет ее блеснул в лужах.

Лесник запряг лошадь, навалил на телегу сухого сена.

Анфиса задремала в телеге от усталости. Изредка она открывала глаза и видела все то же: лес и лес и блеск



лунного света на дуге. Она слышала обрывки разговоров Коли и Жени, снова начинала дремать, и ей казалось, что этому лесу не будет конца.

### СТАРЫЕ СЕРЬГИ

Леонтьев сговорился в городке с веснушчатым шофером, что тот доставит на машине его вещи в лесничество, к Петру Максимовичу, а сам пошел пешком.

Леонтьев ожидал, что шофер удивится этому, но шофер отнесся к решению Леонтьева совершенно равнодушно. Это почему-то удивило и даже немного обидело Леонтьева. Так они и расстались, условившись завтра встретиться в лесничестве.

Освободившись от вещей, Леонтьев прошел через городок к реке. На наплавном мосту человек в гимнастерке с медалями за Сталиград и Берлин удил рыбу. Он покосился на Леонтьева и спросил:

— Огонька нету? Я свой коробок подмочил.

Леонтьев дал ему закурить и присел рядом на бревно. Когда позади проезжала телега, Леонтьева встряхивало.

В темной струящейся воде что-то поблескивало.

— Головли,— сказал человек с медалями.— Нету клева. Шут их разберет, какая им насадка нужна! Подойдут, понюхают и уйдут.

— Хорошо здесь у вас!

— Да,— согласился человек с медалями.— Это точно, хорошо... Далеко идете?

— В лесничество.

— Ну и развернулись там наши ученые! — с гордостью сказал человек с медалями.— Леса сажают по всей округе. Да как? Через двадцать лет тут будет рай суший. Это точно!

Он наклонился, схватил воткнутое между бревен удилице и резко подсек. Леска натянулась и быстро пошла к берегу.

— Шалишь! — сказал человек с медалями и потащил из воды бьющуюся серебряную рыбу. Он ловко выбросил ее на настил моста. Рыба запрыгала, сверкая на солнце.

Женщина, ехавшая в телеге, остановила лошадь, сказала:

— Вот тебе, голубчик, и добыча. Хочешь меняться?

— На что?

— Сметанка у меня есть.

— Езжай! — сказал человек. — Привыкли меняться. Может, еще и кобылу выменяешь.

— Что ты! — ответила женщина. — Шутишь как несообразно. Кобыла колхозная. А мне ушицы охота попробовать. Я ее очень обожаю.

Женщина задергала вожжами и проехала. Леонтьев попрощался с человеком с медалями и пошел дальше.

Кончался август. В лугах облепляла лицо паутина, но летали те же бабочки, что и весной: крапивницы и лимонницы.

Леса по горизонту терялись в сухом розовом тумане. В ощущении простора, раскинутого во все концы земли, было что-то и праздничное и грустное, как в коротком возвращении детства.

Леонтьев прошел мимо поемного озерца, заросшего по берегам шиповником, нарвал оранжевых ягод и попробовал. Их сухая сладковатая мякоть ему очень понравилась.

За лугом пошли новые лесные посадки. Леонтьев остановился и засвистел: тысячи молодых сосенок зеленели в бороздах, поросших кипреем.

Вскоре начался нетронутый лес. Леонтьев лег на землю около молодой сосны. Рядом с ним под черным осиновым листком прятался клейкий маслюк. К нему прилипла какая-то зеленая мушка и тонко жужжала, пытаясь освободиться. На травинку села лимонница, сложила молитвенно крылышки и уснула. От земли потягивало теплом. Леонтьев не заметил, как задремал.

Сквозь дремоту он думал о своей книге. Удалось ли ему передать в ней очарование этих просторов, весен, зим, полей, лесов? Кажется, удалось. Но, должно быть, нелегко будет читать эту книгу. Человек стал слишком тороплив, а такие книги надо читать медленно, стараясь увидеть внутренним взором все, что там написано.

...Он очнулся от ощущения, что на него кто-то смотрит.

На дороге стояла девочка лет десяти, русоволосая,

немного растрепанная. Косицы ее были завязаны зелеными тесемками. В руке она держала кошелку с грибами.

— Тебя как звать?— спросил Леонтьев.— Феней?

— Нет. Я Настя. Я по грибы ходила. А вы зачем на солнце спите? Голову нажжете.

— Ты откуда?

— Из лесничества. А почему вы меня Феней назвали?

— Похожа ты на Феню. Потому и назвал.

— А откуда вы ее знаете, Феню?

— Знаю.

— Вот и неправда!— засмеялась девочка.— Она «сахар» сказать не может. Говорит «шахар». И вовсе на меня не похожа.

— Да ну!— удивился Леонтьев.— Значит, это не та Феня.

— Одна у нас Феня. У нее нос рыжий. От веснушек.

— Ну, пойдем,— сказал Леонтьев и поднялся.— Мне тоже в лесничество. Далеко еще идти?

— Часа два,— ответила Настя.— Я быстро хожу.

И она проворно двинулась по дороге, перебирая маленькими загорелыми ногами и немного наклонившись набок, чтобы легче было тащить тяжелую кошелку с грибами.

— У нас в лесничестве теперь новая девочка живет,— сказала Настя.— Маша, лесникова дочка. Она с отцом жила на кордоне. А ему трудно. Она больная, Маша. Будто немного безумная. Тут приехала из Москвы одна молодая тетенька и забрала ее к себе в лесничество.

— Зачем?

— Чтобы, значит, вылечить ее.

— Ну и как?

— Ничего. Полегчало. Маша с нами теперь даже играет. А ране, бывало, как увидит кого из нас, так и бежит, бежит — не догонишь.

— А кто же эта молодая тетенька?

— Артистка!— ответила с гордостью Настя.— Я расту, тоже пойду в артистки. Плясать буду.

«Анфиса!— подумал Леонтьев.— Конечно, она».

Вышли на порубку. Сосны были спилены высоко, на уровне человеческой груди. Местами завалы из стволов и высохших веток с рыжей хвоей казались непроходимыми. Из земли уже пробивалась березовая поросль.

Но во многих местах ветки и сушняк уже были убраны в большие кучи, а пни спилены под корень. В этих местах порубка уже не производила впечатления сплошного бурелома и хаоса.

— Это здесь фашисты лес валили,— сказала девочка.— Хотели наших остановить. Смотри, чего наломали. А нынче все это прибирают, и тут новый лес посадят из какого-то дерева — я забыла, как его зовут. Оно духовитое. И мы тоже лес сажаем.

— Кто это «мы»?

— Ребята. Мы старших иногда обгоняем.

Девочка шла все быстрее. Леонтьев за ней не поспевал. Да ему и не хотелось торопиться.

— Ты беги,— предложил он девочке.— Дорога прямая, я сам пойду.

— Ладно. А то мне поскорее надо.

Она кивнула Леонтьеву и уже через минуту была далеко, а потом и совсем исчезла за густой порослью.

Леонтьев остановился. Среди поваленных сосновых стволов лежал на боку заржавленный танк с запыленным фашистским крестом на башне.

Леонтьев подошел к нему. Башня была открыта. Из нее пахло нагретым воздухом. Серая ящерица, заметив Леонтьева, быстро побежала по броне и юркнула внутрь танка. Там было пусто. Виднелись острые зубцы развороченного взрывом металла.

Со свойственным ему любопытством Леонтьев пошарил вокруг танка, поискал, но ничего не нашел, кроме втопанной в землю кожаной рукавицы. Леонтьев хотел поднять ее, но сквозь рваную рукавицу пророс подорожник, и ее можно было оторвать от земли только вместе с ним. Леонтьев пожалел подорожник и не тронул рукавицу.

Он потрогал на танке выбоины от осколков, усмехнулся, подумал, что вот этот сеятель смерти стал игрушкой для наших деревенских ребят и что никакие танки и бомбы не остановят движения нашей жизни. Никогда, ни при каких обстоятельствах.

Он пошел дальше. День был на исходе. Мошкара толкалась в теплом воздухе. На землю спускалась предвечерняя дымка.

Вдали на дороге показались люди. Они шли навстречу Леонтьеву. Он остановился, пригляделся. Шли двое: мужчина и женщина. Кажется, это были Анфиса и Коля. Леонтьев замахал рукой, крикнул:

— Эге-гей!

Ему ответил голос Анфисы. Она и Коля уже бежали ему навстречу. Леонтьев остановился, засмеялся, и в уголках его прищуренных глаз заблестели слезинки.

— Черт знает что!— сказал он, когда они подбежали к нему.— Я сделался чувствительным, как старая дева. Стыд и срам!

Он расцеловался с Анфисой и Колей и, смеясь, потряс Колю за плечи.

Анфиса выбрала его за то, что он ничего не написал, и если бы Настя не прибежала в лесничество полчаса назад, то они бы его и не встретили.

Они сели на песчаный бугорок около дороги и никак не могли наговориться. Оказалось, что надо сейчас же рассказать друг другу очень много важного, но на это не хватит не то что часов, но целых дней, и потому все разговоры придется пока отложить на ближайшее будущее.

Солнце уже село за порубкой. Оно обрушило на землю столько червонного золота, что все вокруг пылало.

— Пора идти,— сказал, вставая, Коля.— Тут кругом болота. Будет туман.

Они встали.

— Ну как,— спросил Леонтьев,— вы поженились?

Анфиса и Коля переглянулись, потом Анфиса строго посмотрела на Леонтьева и молча кивнула.

Тогда Леонтьев достал из кармана пиджака маленький потертый футляр и раскрыл его. В нем лежали две простые на вид сережки. Но как только заходящее солнце бросило на них свой последний свет, в каждой сережке загорелась яркая капля воды.

— Это что? — тихо спросила Анфиса.

— Помните те сережки, что Чайковский подарил девочке Фене?

— Ну да, конечно, помню,— еще тише сказала Анфиса.

— Это они. Нагните голову.

Анфиса молча наклонила голову, и Леонтьев осторожно вдел серьги в мочки ее маленьких, зардевшихся от волнения ушей.

— Это вам,— сказал Леонтьев.— Не от меня. От Аграфены, от Марии Трофимовны. Потому что вы — одна из тех простых русских женщин, ради которых стоит делать всякие чудесные вещи.

Анфиса опустила голову. Румянец сошел с ее щек. Она была очень бледна.

Потом она подняла на Леонтьева испуганные глаза, обняла его одной рукой за шею, другой рукой притянула к себе Колю, крепко прижалась к их лицам своим горячим лицом, отвернулась и быстро пошла по дороге.

Леонтьев и Коля пошли за ней следом. Оба молчали. Коля взял Леонтьева за локоть и крепко его пожал.

— Ничего,— сказал Леонтьев.— Успокойтесь.

Сумерки густели, и в сумерках белело только платье Анфисы. Наконец Анфиса остановилась, подождала Леонтьева и Колю, а когда они подошли, взяла их под руки, и они пошли рядом.

Вечерняя заря догорала на небе. Леонтьев думал, что вот прошел отрезок его жизни, и как будто, на первый взгляд, ничего необыкновенного в ней не произошло.

Но на самом деле жизнь за это время так далеко ушла вперед, что трудно даже было все осмыслить и оценить. Он чувствовал, что жизнь еще больше приблизилась к тем временам, ради которых работали тысячи его соотечественников, ради которых жил и работал он сам.

«Может быть, золотой век уже рядом»,— подумал Леонтьев.

Перед этим сознанием меркнет все — все тяготы, неурядицы, неудачи, ошибки. Наш путь правильно продолжен на карте. Это главное.

И как за вечерней зарей неизбежно придет утренняя, во всей своей ясности, в кристаллическом блеске Венеры, и бодрости и тишине, так и за его жизнью, склонившейся в середине, придет жизнь молодежи — и Анфисы, и Коли, и тысячи других девушек и юношей.

Ради них стоит работать, преодолевать и побеждать, чтобы оставить им в наследство эту любимую землю, великие леса, этот чистейший воздух, богатые поля и города, талантливые книги, разумный, привлекательный труд — все, что наполняет жизнь смыслом и радостью

В их руки мы отдаем все свершения своей жизни, отдаем свое сердце. И наша самая высокая награда — в сознании, что эти руки бережно пронесут все, чего мы добились, что выстрадали ради высокой справедливости, пронесут к новым поколениям и к новым, счастливым временам.

1948

# ЗОЛОТАЯ РОЗА



*Моему преданному другу  
Татьяне Алексеевне Паустовской*







Литература изъята из законов  
тления. Она одна не признает смерти.

*Салтыков-Щедрин*

Всегда следует стремиться к прекрасному.

*Оноре Бальзак*

Многое в этой работе выражено отрывочно и, быть может, недостаточно ясно.

Многое будет признано спорным.

Книга эта не является ни теоретическим исследованием, ни тем более руководством. Это просто заметки о моем понимании писательства и моем опыте.

Важные вопросы идейного обоснования нашей писательской работы не затронуты в книге, так как в этой области у нас нет сколько-нибудь значительных разногласий. Героическое и воспитательное значение литературы ясно для всех.

В этой книге я рассказал пока лишь то немногое, что успел рассказать.

Но если мне хотя бы в малой доле удалось передать читателю представление о прекрасной сущности писательского труда, то я буду считать, что выполнил свой долг перед литературой.

## ДРАГОЦЕННАЯ ПЫЛЬ

Не могу припомнить, как я узнал эту историю о парижском мусорщике Жане Шамете. Шамет зарабатывал на существование тем, что прибирал мастерские ремесленников в своем квартале.

Жил Шамет в лачуге на окраине города. Конечно, можно было бы обстоятельно описать эту окраину и тем самым увести читателя в сторону от основной нити рассказа. Но, пожалуй, стоит только упомянуть, что до сих пор в предместьях Парижа сохранились старые крепостные валы. В то время, когда происходило действие этого рассказа, валы были еще покрыты зарослями жимолости и боярышника, и в них гнездились птицы.

Лачуга мусорщика приткнулась к подножию северного крепостного вала, рядом с домишками жестянщиков, сапожников, собирателей окурков и нищих.

Если бы Мопассан заинтересовался жизнью обитателей этих лачуг, то, пожалуй, написал бы еще несколько превосходных рассказов. Может быть, они прибавили бы новые лавры к его устоявшейся славе.

К сожалению, никто из посторонних не заглядывал в эти места, кроме сыщиков. Да и те появлялись только в тех случаях, когда разыскивали краденые вещи.

Судя по тому, что соседи прозвали Шамета «Дятлом», надо думать, что он был худ, остронос и из-под шляпы у него всегда торчал клок волос, похожий на хохол птицы.

Когда-то Жан Шамет знал лучшие дни. Он служил солдатом в армии «Маленького Наполеона» во время мексиканской войны.

Шамету повезло. В Вера-Крус он заболел тяжелой лихорадкой. Больного солдата, не побывавшего еще ни в одной настоящей перестрелке, отправили обратно на родину. Полковой командир воспользовался этим и поручил Шамету отвезти во Францию свою дочь Сюзанну — девочку восьми лет.

Командир был вдовцом и потому вынужден был всюду возить девочку с собой. Но на этот раз он решил расстаться с дочерью и отправить ее к сестре в Руан. Кли-мат Мексики был убийственным для европейских детей. К тому же беспорядочная партизанская война создавала много внезапных опасностей.

Во время возвращения Шамета во Францию над Ат-

лилитическим океаном дымилась жара. Девочка все время молчала. Даже на рыб, вылетающих из маслянистой воды, она смотрела не улыбаясь.

Шамет, как мог, заботился о Сюзанне. Он понимал, конечно, что она ждет от него не только заботы, но и ласки. А что он мог придумать ласкового, солдат колониального полка? Чем он мог занять ее? Игрой в кости? Или грубыми казарменными песенками?

Но все же долго отмалчиваться было нельзя. Шамет все чаще ловил на себе недоумевающий взгляд девочки. Тогда он наконец решился и начал нескладно рассказывать ей свою жизнь, вспоминая до мельчайших подробностей рыбацкий поселок на берегу Ла-Манша, сыпучие пески, лужи после отлива, сельскую часовню с треснувшим колоколом, свою мать, лечившую соседей от изжоги.

В этих воспоминаниях Шамет не мог найти ничего такого, чтобы развеселить Сюзанну. Но девочка, к его удивлению, слушала эти рассказы с жадностью и даже настаивала повторять их, требуя все новых подробностей.

Шамет напрягал память и выуживал из нее эти подробности, пока в конце концов не потерял уверенность в том, что они действительно существовали. Это были уже не воспоминания, а слабые их тени. Они таяли, как ключья тумана. Шамет, правда, никогда не предполагал, что ему понадобится возобновлять в памяти это давно ушедшее время своей жизни.

Однажды возникло смутное воспоминание о золотой розе. Не то Шамет видел эту выкованную из почернелого золота грубую розу, подвешенную к распятию в доме старой рыбацки, не то он слышал рассказы об этой розе от окружающих.

Нет, пожалуй, он однажды даже видел эту розу и запомнил, как она поблескивала, хотя за окнами не было солнца и мрачный шторм шумел над проливом. Чем дальше, тем яснее Шамет вспоминал этот блеск — несколько ярких огоньков под низким потолком.

Все в поселке удивлялись, что старуха не продает свою драгоценность. Она могла бы выручить за нее большие деньги. Одна только мать Шамета уверяла, что продавать золотую розу — грех, потому что ее подарил старухе «на счастье» возлюбленный, когда старуха, тогда еще смешливая девушка, работала на сардинной фабрике в Одьере.

— Таких золотых роз мало на свете,— говорила мать Шамета.— Но все, у кого они завелись в доме, обязательно будут счастливыми. И не только они, но и каждый, кто притронется к этой розе.

Мальчик с нетерпением ждал, когда же старуха делается счастливой. Но никаких признаков счастья не было и в помине. Дом старухи трясся от ветра, а по вечерам в нем не зажигали огня.

Так Шамет и уехал из поселка, не дождавшись перемены в старухиной судьбе. Только год спустя знакомый кочегар с почтового парохода в Гавре рассказал ему, что к старухе неожиданно приехал из Парижа сын-художник — бородатый, веселый и чудной. Лачугу с тех пор было уже не узнать. Она наполнилась шумом и достатком. Художники, говорят, получают большие деньги за свою мазню.

Однажды, когда Шамет, сидя на палубе, расчесывал Сюзанне своим железным гребнем перепутанные ветром волосы, она спросила:

— Жан, а мне кто-нибудь подарит золотую розу?

— Все может быть,— ответил Шамет.— Найдется и для тебя, Сузи, какой-нибудь чудак. У нас в роте был один тощий солдат. Ему чертовски везло. Он нашел на поле сражения сломанную золотую челюсть. Мы пропили ее всей ротой. Это было во время аннамитской войны. Пьяные артиллеристы выстрелили для забавы из мортиры, снаряд попал в жерло потухшего вулкана, там взорвался, и от неожиданности вулкан начал пыхтеть и извергаться. Черт его знает, как его звали, этот вулкан! Кажется, Крака-Така. Извержение было что надо! Погибло сорок мирных туземцев. Подумать только, что из-за какой-то челюсти пропало столько людей! Потом оказалось, что челюсть эту потерял наш полковник. Дело, конечно, замяли,— престиж армии выше всего. Но мы здорово нализались тогда.

— Где же это случилось? — спросила с сомнением Сузи.

— Я же тебе сказал — в Аннаме. В Индокитае. Там океан горит огнем, как ад, а медузы похожи на кружевные юбочки балерины. И там такая сырость, что за одну ночь в наших сапогах вырастали шампиньоны! Пусть меня повесят, если я вру!

До этого случая Шамет слышал много солдатского вранья, но сам никогда не врал. Не потому, что он этого

не умел, а просто не было надобности. Сейчас же он считал святой обязанностью развлекать Сюзанну.

Шамет привез девочку в Руан и сдал с рук на руки высокой женщине с поджатыми желтыми губами — тетке Сюзанны. Старуха была вся в черном стеклярусе и сверкала, как цирковая змея.

Девочка, увидев ее, крепко прижалась к Шамету, к его выгоревшей шинели.

— Ничего! — шепотом сказал Шамет и подтолкнул Сюзанну в плечо. — Мы, рядовые, тоже не выбираем себе ротных начальников. Терпи, Сузи, солдатка!

Шамет ушел. Несколько раз он оглядывался на окна скучного дома, где ветер даже не шевелил занавески. На тесных улицах был слышен из лавчонок суетливый стук часов. В солдатском ранце Шамета лежала память о Сузи — синяя измятая лента из ее косы. И черт ее знает почему, но эта лента пахла так нежно, как будто она долго пробыла в корзине с фиалками.

Мексиканская лихорадка подорвала здоровье Шамета. Его уволили из армии без сержантского чина. Он ушел в гражданскую жизнь простым рядовым.

Годы проходили в однообразной нужде. Шамет перепробовал множество скудных занятий и в конце концов стал парижским мусорщиком. С тех пор его преследовал запах пыли и помоек. Он чувствовал этот запах даже в легком ветре, проникавшем в улицы со стороны Сены, и в охапках мокрых цветов — их продавали чистенькие старушки на бульварах.

Дни сливались в желтую муть. Но иногда в ней возникало перед внутренним взором Шамета легкое розовое облачко — старенькое платье Сюзанны. От этого платья пахло весенней свежестью, как будто его тоже долго держали в корзине с фиалками.

Где она, Сюзанна? Что с ней? Он знал, что сейчас она уже взрослая девушка, а отец ее умер от ран.

Шамет все собирался съездить в Руан навестить Сюзи. Но каждый раз он откладывал эту поездку, пока наконец не понял, что время упущено и Сюзанна наверняка о нем позабыла.

Он ругал себя свиньей, когда вспоминал прощание с ней. Вместо того чтобы поцеловать девочку, он толкнул ее в спину навстречу старой карге и сказал: «Терпи, Сузи, солдатка!»

Известно, что мусорщики работают по ночам. К этому их понуждают две причины: больше всего мусора от кипучей и не всегда полезной человеческой деятельности накапливается к концу дня, и, кроме того, нельзя оскорблять зрение и обоняние парижан. Ночью же почти никто, кроме крыс, не замечает работу мусорщиков.

Шамет привык к ночной работе и даже полюбил эти часы суток. Особенно то время, когда над Парижем вяло пробивался рассвет. Над Сеной курился туман, но он не подымался выше парапета мостов.

Однажды на таком туманном рассвете Шамет проходил по мосту Инвалидов и увидел молодую женщину в бледно-сиреневом платье с черными кружевами. Она стояла у парапета и смотрела на Сену.

Шамет остановился, снял пыльную шляпу и сказал:

— Сударыня, вода в Сене в эту пору очень холодная. Давайте-ка я лучше провожу вас домой.

— У меня нет теперь дома,— быстро ответила женщина и повернулась к Шамету.

Шамет уронил свою шляпу.

— Сузи! — сказал он с отчаянием и восторгом. — Сузи, солдатка! Моя девочка! Наконец-то я увидел тебя. Ты забыла меня, должно быть. Я — Жан-Эрнест Шамет, тот рядовой двадцать седьмого колониального полка, что привез тебя к этой поганой тетке в Руан. Какой ты стала красавицей! И как хорошо расчесаны твои волосы! А я-то, солдатская затычка, совсем не умел их прибирать!

— Жан! — вскрикнула женщина, бросилась к Шамету, обняла его за шею и заплакала. — Жан, вы такой же добрый, каким были тогда. Я все помню!

— Э-э, глупости! — пробормотал Шамет. — Какая кому выгода от моей доброты. Что с тобой стряслось, моя маленькая?

Шамет притянул Сюзанну к себе и сделал то, на что не решился в Руане, — погладил и поцеловал ее блестящие волосы. Тут же он отстранился, боясь, что Сюзанна услышит мышиную вонь от его куртки. Но Сюзанна прижалась к его плечу еще крепче.

— Что с тобой, девочка? — растерянно повторил Шамет.

Сюзанна не ответила. Она была не в силах сдержать рыдания. Шамет понял: пока что не надо ее ни о чем расспрашивать.





— У меня,— торопливо сказал он,— есть логово у крепостного вала. Далековато отсюда. В доме, конечно, пусто — хоть шаром покати. Но зато можно согреть воду и уснуть в постели. Там ты сможешь умыться и отдохнуть. И вообще жить сколько хочешь.

Сюзанна прожила у Шамета пять дней. Пять дней над Парижем подымалось необыкновенное солнце. Все здания, даже самые старые, покрытые копотью, все сады и даже логово Шамета сверкали в лучах этого солнца, как драгоценности.

Кто не испытал волнения от едва слышного дыхания спящей молодой женщины, тот не поймет, что такое нежность. Ярче влажных лепестков были ее губы, и от ночных слез блестели ресницы.

Да, с Сюзанной все случилось именно так, как предполагал Шамет. Ей изменил возлюбленный, молодой актер. Но тех пяти дней, какие Сюзанна прожила у Шамета, вполне хватило на их примирение.

Шамет участвовал в нем. Ему пришлось отнести письмо Сюзанны к актеру и научить этого томного красавчика вежливости, когда тот хотел сунуть Шамету несколько су на чай.

Вскоре актер приехал в фиакре за Сюзанной. И все было как надо: букет, поцелуй, смех сквозь слезы, раскаяние и чуть надтреснутая беззаботность.

Когда молодые уезжали, Сюзанна так заторопилась, что вскочила в фиакр, забыв попрощаться с Шаметом. Тут же она спохватилась, покраснела и виновато протянула ему руку.

— Раз уж ты выбрала себе жизнь по вкусу,— проворчал ей напоследок Шамет,— то будь счастлива.

— Я ничего еще не знаю,— ответила Сюзанна, и слезы заблестели у нее на глазах.

— Ты напрасно волнуешься, моя крошка,— недовольно протянул молодой актер и повторил: — Моя прелестная крошка.

— Вот если бы кто-нибудь подарил мне золотую розу! — вздохнула Сюзанна.— Это было бы наверняка к счастью. Я помню твой рассказ на пароходе, Жан.

— Кто знает! — ответил Шамет.— Во всяком случае, не этот господинчик поднесет тебе золотую розу. Извини, я солдат. Я не люблю шаркунов.

Молодые люди переглянулись. Актер пожал плечами. Фиакр тронулся.

Обыкновенно Шамет выбрасывал весь мусор, выметенный за день из ремесленных заведений. Но после этого случая с Сюзанной он перестал выбрасывать пыль из ювелирных мастерских. Он начал собирать ее тайком в мешок и уносил к себе в лачугу. Соседи решили, что мусорщик «тронулся». Мало кому было известно, что в этой пыли есть некоторое количество золотого порошка, так как ювелиры, работая, всегда стачивают немного золота.

Шамет решил отсеять из ювелирной пыли золото, сделать из него небольшой слиток и выковать из этого слитка маленькую золотую розу для счастья Сюзанны. А может быть, как говорила ему когда-то мать, она послужит и для счастья многих простых людей. Кто знает! Он решил не встречаться с Сюзанной, пока не будет готова эта роза.

Шамет никому не рассказывал о своей затее. Он боялся властей и полиции. Мало ли что придет в голову судебным крючоктворам. Они могут объявить его вором, посадить в тюрьму и отобрать у него золото. Ведь оно было все-таки чужое.

До поступления в армию Шамет батрачил на ферме у сельского кюре и потому знал, как обращаться с зерном. Эти познаниягодились ему теперь. Он вспомнил, как веяли хлеб и тяжелые зерна падали на землю, а легкая пыль уносилась ветром.

Шамет построил небольшую веялку и по ночам перееивал во дворе ювелирную пыль. Он волновался до тех пор, пока не увидел на лотке едва заметный золотящийся порошок.

Прошло много времени, пока золотого порошка накопилось столько, что можно было сделать из него слиток. Но Шамет медлил отдавать его ювелиру, чтобы выковать из него золотую розу.

Его не останавливало отсутствие денег — любой ювелир согласился бы взять за работу треть слитка и был бы этим доволен.

Дело заключалось не в этом. С каждым днем приближался час встречи с Сюзанной. Но с некоторых пор Шамет начал бояться этого часа.

Всю нежность, давно уже загнанную в глубину сердца, он хотел отдать только ей, только Сузи. Но кому нужна нежность старого уroda! Шамет давно заметил, что

единственным желанием людей, встречавшихся с ним, было поскорее уйти и забыть его тощее, серое лицо с обвисшей кожей и пронзительными глазами.

У него в лачуге был осколок зеркала. Изредка Шамет смотрелся в него, но тотчас же с тяжелым ругательством отшвыривал прочь. Лучше было не видеть себя — эту неуклюжую образину, ковылявшую на ревматических ногах.

Когда роза была наконец готова, Шамет узнал, что Сюзанна год назад уехала из Парижа в Америку — и, как говорили, навсегда. Никто не мог сообщить Шамету ее адрес.

В первую минуту Шамет даже испытал облегчение. Но потом все его ожидание ласковой и легкой встречи с Сюзанной превратилось непонятным образом в железный заржавленный осколок. Этот колючий осколок застрял у Шамета в груди, около сердца, и Шамет молил бога, чтобы он скорее вонзился в это старое сердце и остановил его навсегда.

Шамет бросил прибирать мастерские. Несколько дней он пролежал у себя в лачуге, повернувшись лицом к стене. Он молчал и только один раз улыбнулся, прижав к глазам рукав старой куртки. Но никто этого не видел. Соседи даже не приходили к Шамету — у каждого хватало своих забот.

Следил за Шаметом только один человек — тот пожилой ювелир, что выковал из слитка тончайшую розу и рядом с ней, на одной ветке, маленький острый бутон.

Ювелир навещал Шамета, но не приносил ему лекарств. Он считал, что это бесполезно.

И действительно, Шамет незаметно умер во время одного из посещений ювелира. Ювелир поднял голову мусорщика, достал из-под серой подушки золотую розу, завернутую в синюю помятую ленту, и не спеша ушел, прикрыв скрипучую дверь. От ленты пахло мышами.

Была поздняя осень. Вечерняя темнота шевелилась от ветра и мигающих огней. Ювелир вспомнил, как преобразилось после смерти лицо Шамета. Оно стало суровым и спокойным. Горечь этого лица показалась ювелиру даже прекрасной.

«Чего не дает жизнь, то приносит смерть», — подумал ювелир, склонный к шаблонным мыслям, и шумно вздохнул.

Вскоре ювелир продал золотую розу пожилому литератору, неряшливо одетому и, по мнению ювелира, недостаточно богатому, чтобы иметь право на покупку такой драгоценной вещи.

Очевидно, решающую роль при этой покупке сыграла история золотой розы, рассказанная ювелиром литератору.

Запискам старого литератора мы обязаны тем, что кое-кому стал известен этот горестный случай из жизни бывшего солдата 27-го колониального полка — Жана-Эрнеста Шамета.

В своих записках литератор, между прочим, писал: «Каждая минута, каждое брошенное невзначай слово и взгляд, каждая глубокая или шутливая мысль, каждое незаметное движение человеческого сердца, так же как и летучий пух тополя или огонь звезды в ночной луже, — все это крупинки золотой пыли.

Мы, литераторы, извлекаем их десятилетиями, эти миллионы песчинок, собираем незаметно для самих себя, превращаем в сплав и потом выковываем из этого сплава свою «золотую розу» — повесть, роман или поэму.

Золотая роза Шамета! Она отчасти представляется мне прообразом нашей творческой деятельности. Удивительно, что никто не дал себе труда проследить, как из этих драгоценных пылинок рождается живой поток литературы.

Но, подобно тому как золотая роза старого мусорщика предназначалась для счастья Сюзанны, так и наше творчество предназначается для того, чтобы красота земли, призыв к борьбе за счастье, радость и свободу, широта человеческого сердца и сила разума преобладали над тьмой и сверкали, как незаходящее солнце».

### НАДПИСЬ НА ВАЛУНЕ

Для писателя полная радость наступает только тогда, когда он убеждается, что совесть его находится в соответствии с совестью ближних.

*Салтыков-Щедрин*

Я живу в маленьком доме на дюнах. Все Рижское изморье в снегу. Он все время слетает с высоких сосен длинными прядями и рассыпается в пыль.

Слетает он от ветра и оттого, что по соснам прыгают белки. Когда очень тихо, то слышно, как они шелушат сосновые шишки.

Дом стоит у самого моря. Чтобы увидеть море, нужно выйти за калитку и немного пройти по протоптанной в снегу тропинке мимо заколоченной дачи.

На окнах этой дачи еще с лета остались занавески. Они шевелятся от слабого ветра. Должно быть, ветер проникает сквозь незаметные щели в пустую дачу, но издали кажется, что кто-то подымает занавеску и осторожно следит за тобой.

Море не замерзло. Снег лежит до самой кромки воды. На нем видны следы зайцев.

Когда на море подымается волна, то слышен не шум прибоя, а хрустенье льда и шорох оседающего снега.

Балтика зимой пустынна и угрюма.

Латыши называют ее «Янтарным морем» («Дзинтара юра»). Может быть, не только потому, что Балтика выбрасывает много янтаря, но еще и потому, что ее вода чуть заметно отливает янтарной желтизной.

По горизонту весь день лежит слоями тяжелая мгла. В ней пропадают очертания низких берегов. Только кое-где в этой мгле опускаются над морем белые косматые полосы — там идет снег.

Иногда дикие гуси, прилетевшие в этом году слишком рано, садятся на воду и кричат. Тревожный их крик далеко разносится по берегу, но не вызывает отклика — в прибрежных лесах зимой почти нет птиц.

Днем в доме, где я живу, идет привычная жизнь. Трещат дрова в разноцветных кафельных печах, приглушенно стучит пишущая машинка, молчаливая уборщица Лилия сидит в уютном холле и вяжет кружево. Все обычно и очень просто.

Но вечером кромешная темнота окружает дом, сосны придвигаются к нему вплотную, и когда выходишь из ярко освещенного холла наружу, тебя охватывает ощущение полного одиночества, с глазу на глаз, с зимой, морем и ночью.

Море уходит на сотни миль в черно-свинцовые дали. На нем не видно ни одного огонька. И не слышно ни одного всплеска.

Маленький дом стоит, как последний маяк, на краю туманной бездны. Здесь обрывается земля. И поэтому кажется удивительным, что в доме спокойно горит свет, поёт

рядно, мягкие ковры заглушают шаги, а на столах лежат раскрытые книги и рукописи.

Там, к западу, в сторону Вентспилса, за слоем мглы лежит маленький рыбацкий поселок. Обыкновенный рыбацкий поселок с сетями, сохнувшими на ветру, с низкими домами и низким дымом из труб, с черными моторками, выгнанными на песок, и доверчивыми собаками с косматой шерстью.

В поселке этом сотни лет живут латышские рыбаки. Поколения сменяют друг друга. Светловолосые девушки с застенчивыми глазами и певучим говором становятся обветренными, кряжистыми старухами, закутанными в тяжелые платки. Румяные юноши в щегольских кепках превращаются в щетинистых стариков с невозмутимыми глазами.

Но так же, как и сотни лет назад, рыбаки уходят в море за салакой. И так же, как и сотни лет назад, не все возвращаются обратно. Особенно осенью, когда Балтика свирепеет от штормов и кипит холодной пеной, как чертов котел.

Но что бы ни случилось, сколько бы раз ни пришлось стаскивать шапки, когда люди узнают о гибели своих товарищей, все равно надо и дальше делать свое дело — опасное и тяжелое, завещанное дедами и отцами. Уступить морю нельзя.

В море около поселка лежит большой гранитный валун. На нем еще давно рыбаки высекли надпись: «В память всех, кто погиб и погибнет в море». Эту надпись видно издалека.

Когда я узнал об этой надписи, она мне показалась печальной, как все эпитафии. Но латышский писатель, рассказавший мне о ней, не согласился с этим и сказал:

— Наоборот. Это очень мужественная надпись. Она говорит, что люди никогда не сдадутся и, несмотря ни на что, будут делать свое дело. Я бы поставил эту надпись эпитафией к любой книге о человеческом труде и упорстве. Для меня эта надпись звучит примерно так: «В память тех, кто одолевал и будет одолевать это море».

Я согласился с ним и подумал, что этот эпитафия подходил бы и для книги о писательском труде.

Писатели не могут ни на минуту сдать перед невзгодами и отступить перед преградами. Что бы ни случилось, они должны непрерывно делать свое дело, завещанное им предшественниками и доверенное современниками. Не-

даром Салтыков-Щедрин говорил, что если хоть на минуту замолкнет литература, то это будет равносильно смерти народа.

Писательство — не ремесло и не занятие. Писательство — призвание. Вникая в некоторые слова, в самое их звучание, мы находим их первоначальный смысл. Слово «призвание» родилось от слова «зов».

Человека никогда не призывают к ремесленничеству. Призывают его только к выполнению долга и трудной задачи.

Что же понуждает писателя к его подчас мучительному, но прекрасному труду?

Прежде всего — зов собственного сердца. Голос совести и вера в будущее не позволяют подлинному писателю прожить на земле, как пустоцвет, и не передать людям с полной щедростью всего огромного разнообразия мыслей и чувств, наполняющих его самого.

Тот не писатель, кто не прибавил к зрению человека хотя бы немного зоркости.

Писателем человек становится не только по зову сердца. Голос сердца чаще всего мы слышим в юности, когда ничто еще не приглушило и не растрепало по клочкам свежий мир наших чувств.

Но приходят годы возмужалости — и мы явственно слышим, кроме призывного голоса собственного сердца, новый мощный зов — зов своего времени и своего народа, зов человечества.

По велению призвания, во имя своего внутреннего побуждения человек может совершать чудеса и выносить тягчайшие испытания.

Одним из примеров, подтверждающих это, была судьба голландского писателя Эдуарда Деккера. Он печатался под псевдонимом «Мультипули». По-латыни это означает «Многострадаальный».

Возможно, что я вспомнил о Деккере именно здесь, на берегу сумрачной Балтики, потому, что такое же бледное северное море расстилается у берегов его родины — Нидерландов. О ней он сказал с горечью и стыдом: «Я — сын Нидерландов, сын страны разбойников, лежащей между Фрисландией и Шельдой».

Но Голландия, конечно, не страна цивилизованных разбойников. Их меньшинство, и не они выражают лицо народа. Это страна трудолюбивых людей, потомков мятежных «гезов» и Тиля Уленшпигеля. До сих пор «пепел

Клааса стучит» в сердца многих голландцев. Стучал он и в сердце Мультатули.

Выходец из семьи потомственных моряков, Мультатули был назначен правительственным чиновником на остров Яву, а недолгое время спустя — даже резидентом одного из округов этого острова. Его ждали почести, награды, богатство, возможный пост вице-короля, но... «пепел Клааса стучал в его сердце». И Мультатули пренебрег этими благами.

С редким мужеством и упорством он пытался взорвать изнутри вековую практику порабощения яванцев голландскими властями и негодьями.

Он всегда выступал в защиту яванцев и не давал им обиду. Он жестоко карал взяточников. Он насмехался над вице-королем и его приближенными, — конечно, добрыми христианами, — ссылаясь, в объяснение своих поступков, на учение Христа о любви к ближнему. Ему ничего нельзя было возразить. Но его можно было уничтожить.

Когда вспыхнуло восстание яванцев, Мультатули принял сторону восставших, потому что «пепел Клааса продолжал стучать в его сердце». Он с трогательной любовью писал о яванцах, об этих доверчивых детях, и с гневом — о своих соотечественниках.

Он разоблачал военную гнусность, придуманную голландскими генералами.

Яванцы очень чистоплотны и не выносят грязи. На этом их свойстве и был построен расчет голландцев.

Солдатам приказали забрасывать яванцев во время так человеческого калом. И яванцы, встречавшие, не дрогнув, ожесточенный ружейный огонь, не выдерживали этого вида войны и отступали.

Мультатули был смещен и отправлен в Европу.

Несколько лет он добивался от голландского парламента справедливости для яванцев. Он всюду говорил об этом. Он писал петиции министрам и королю.

Но тщетно. Его выслушивали неохотно и торопливо. Вскоре его объявили опасным чудаком, даже сумасшедшим. Он нигде не мог найти работы. Семья его голодала.

Тогда, повинувшись голосу сердца, иными словами, повинувшись жившему в нем, но до тех пор еще неясному призыву, Мультатули начал писать. Он написал разоблачительный роман о голландцах на Яве: «Макс Хавелаар, или Торговцы кофе». Но это была только первая проба.



В этой книге он как бы нащупывал еще зыбкую для него почву литературного мастерства.

Но зато следующая его книга — «Письма любви» — была написана с потрясающей силой. Эту силу давала Мультатули иступленная вера в свою правоту.

Отдельные главы книги напоминают то горький крик человека, схватившегося за голову при виде чудовищной несправедливости, то едкие и остроумные притчи-памфлеты, то нежные утешения любимым людям, окрашенные печальным юмором, то последние попытки воскресить наивную веру своего детства.

«Бога нет, или он должен быть добр,— писал Мультатули.— Когда же наконец перестанут обкрадывать нищих!»

Он уехал из Голландии, надеясь заработать на кусок хлеба на стороне. Жена осталась с детьми в Амстердаме — у него не было лишней копейки, чтобы взять их с собой.

Он нищенствовал по городам Европы и писал, писал непрерывно, этот неудобный для благоприличного общества, насмешливый и замученный человек. Он почти не получал писем от жены, потому что у нее не хватало денег даже на марки.

Он думал о ней и о детях, особенно о маленьком мальчике с синими глазами. Он боялся, что этот маленький мальчик разучится доверчиво улыбаться людям, и умолял взрослых не вызывать у него преждевременных слез.

Книги Мультатули никто не хотел издавать.

Но вот наконец свершилось! Крупное издательство согласилось купить его рукописи, но с условием, что он нигде больше не будет их издавать.

Измученный Мультатули согласился. Он вернулся на родину. Ему даже дали немного денег. Но рукописи купили просто для того, чтобы обезоружить этого человека. Рукописи были изданы в таком количестве экземпляров и по такой недоступной цене, что это было равносильно их уничтожению. Голландские купцы и власти не могли чувствовать себя спокойно, пока эта пороховая бочка была не у них в руках.

Мультатули умер, так и не дождавшись справедливости. А он мог бы написать еще много превосходных книг,— тех книг, о каких принято говорить, что они написаны не чернилами, а кровью сердца.

Он боролся, как мог, и погиб. Но он «одолеет море». И, может быть, вскоре на независимой Яве, в Джакарте, будет поставлен памятник этому бескорыстному страдальцу.

Такова была жизнь человека, слившего воедино два великих призвания.

По неистовой преданности своему делу у Мультатули был собрат, тоже голландец и его современник,— художник Винсент Ван-Гог.

Трудно найти пример большего отречения от себя во имя искусства, чем жизнь Ван-Гога. Он мечтал создать во Франции «братство художников» — своего рода коммуны, где ничто не отрывало бы их от служения живописи.

Ван-Гог много перестрадал. Он опустил на самое дно человеческого отчаяния в своих «Едоках картофеля» и «Прогулке заключенных». Он считал, что дело художника — противостоять страданию всеми силами, всем своим талантом.

Дело художника — рождать радость. И он создавал ее теми средствами, какими владел лучше всего,— красками.

На своих холстах он преобразил землю. Он как бы промыл ее чудотворной водой, и она осветилась красками такой яркости и густоты, что каждое старое дерево превратилось в произведение скульптуры, а каждое клочковатое поле — в солнечный свет, воплощенный во множестве скромных цветочных венчиков.

Он остановил своей волей непрерывную смену красок, чтобы мы могли проникнуться их красотой.

Разве можно утверждать после этого, что Ван-Гог был равнодушен к человеку? Он подарил ему лучшее, чем обладал,— свою способность жить на земле, сияющей всеми возможными цветами и всеми их тончайшими переливами.

Он был нищ, горд и непрактичен. Он делился последним куском с бездомными и хорошо узнал на собственной шкуре, что значит социальная несправедливость. Он пренебрегал дешевым успехом.

Конечно, он не был борцом. Героизм его заключался в фанатической вере в прекрасное будущее людей труда — пахарей и рабочих, поэтов и ученых. Он не мог быть борцом, но он хотел внести и внес свою долю в сокровищницу будущего — свои картины, воспевающие землю.

Из всех видов этой красоты Ван-Гог выбрал только один: цвет. Его всегда поражало свойство природы к безошибочному соотношению красок, неисчислимое множество их переходов, та раскраска земли, которая все время меняется, но одинаково хороша во все времена года и под всеми широтами.

Пора восстановить справедливость по отношению к Ван-Гоггу, к таким художникам, как Врубель, Борисов-Мусатов, Гоген, и многим другим.

Нам нужно все, что обогащает внутренний мир человека социалистического общества, все, что возвышает его эмоциональную жизнь. Неужели нужно доказывать эту прописную истину?!

По существу, мы должны быть владельцами искусства всех времен и всех стран. Мы должны изгнать из своей страны ханжей, озлобленных против красоты за то только, что она существует независимо от их волн.

Прошу извинить меня за эти отступления из области литературы в живопись. Я считаю, что все виды искусства помогают писателю в усовершенствовании его мастерства. Но об этом будет особый разговор.

Нельзя терять чувство призвания. Его не заменить ни трезвым расчетом, ни литературным опытом.

В истинном писательском призвании совершенно нет тех качеств, какие ему приписывают дешевые скептики,— ни ложного пафоса, ни напыщенного сознания писателем своей исключительной роли.

Пришвин был человеком безусловного писательского призвания. Он подчинил ему жизнь. Но он же и сказал замечательные слова, что «величайшее счастье писателя — не считать себя особенным, одиночным, а быть таким, как все люди».

### ЦВЕТЫ ИЗ СТРУЖЕК

Часто я спрашиваю себя, когда думаю о своих занятиях литературой: когда же это началось? И как это вообще начинается? Что впервые заставляет человека взять в руки перо, чтобы не выпускать его до конца жизни?

Труднее всего вспомнить, когда это началось. Очевидно, писательство возникает в человеке, как душевное со-

стояние, гораздо раньше, чем сл начинает исписывать сто-  
ны бумаги. Возникает еще в юности, а может быть, и в  
детстве.

В детстве и юности мир существует для нас в ином ка-  
честве, чем в зрелые годы. В детстве жарче солнце, гуще  
травы, обильнее дожди, ярче небо и смертельно интересен  
каждый человек.

Для детей каждый взрослый кажется существом не-  
много таинственным — будь это плотник с набором инст-  
рументов, пахнущих стружкой, или ученый, знающий, по-  
чему трава окрашена в зеленый цвет.

Поэтическое восприятие жизни, всего окружающего  
нас — величайший дар, доставшийся нам от поры детства.

Если человек не растеряет этот дар на протяжении  
долгих трезвых лет, то он поэт или писатель. В конце кон-  
цов разница между обоими невелика.

Ощущение жизни как непрерывной новизны — вот та  
плодородная почва, на которой расцветает и созревает  
искусство.

Когда я был гимназистом, я, конечно, писал стихи, та-  
кое множество стихов, что за месяц исписывал толстую  
общую тетрадь.

Стихи были плохие — пышные, нарядные и, как мне  
тогда казалось, довольно красивые.

Сейчас я забыл эти стихи. Помню только отдельные  
строфы. Например, такие:

О, срывайте цветы на поникших стеблях!  
Тихо падает дождь на полях.  
И в края, где горит дымно-алый осенний закат,  
Пожелтые листья летят...

Чем дальше, тем больше я нагромождал в стихах вся-  
ческие, даже бессмысленные, красоты:

И опалами блещет печаль о любимом Саади  
На страницях медлительных дней...

Почему печаль «блещет опалами» — этого ни тогда,  
ни сейчас я объяснить не могу. Просто меня увлекало са-  
мое звучание слов. Я не думал о смысле.

Больше всего я писал стихов о море. В ту пору я его  
почти не знал.

Это не было какое-то определенное море — Черное,  
Балтийское или Средиземное, — а праздничное «море во-  
обще». Оно соединяло в себе все разнообразие красок,

всю безудержную романтику, далекую от подлинной жизни, времени и реального географического пространства. Тогда эта романтика окружала в моих глазах земной шар, подобно плотной атмосфере.

Это было пенистое, веселое море — родина крылатых кораблей и отважных мореплавателей. Изумрудами горели на его берегах маяки. В портах ключом бурлила беззаботная жизнь. Смуглые женщины неслыханной прелести были ввергнуты по моей авторской воле в кипение жестоких страстей.

Правда, с годами мои стихи делались менее нарядными. Из них постепенно начала выветриваться экзотика.

Но, честно говоря, детские и юношеские годы никогда не обходятся без экзотики, будь то экзотика тропических стран или гражданской войны.

Кто в детстве не осаждал старинные замки, не погибал на корабле с изодранными в клочья парусами у берегов Магелланова пролива или Новой Земли, не мчался в тачанке вместе с Чапаевым по зауральским степям, не искал сокровища, так ловко запрятанные Стивенсоном на таинственном острове, не слышал шума знамен в Бородинском бою или не помогал Маугли в непролазных дебрях Индостана?

Экзотика сообщает жизни ту долю необыкновенности, которая необходима каждому юному и впечатлительному существу.

Дидро был прав, когда говорил, что искусство заключается в том, чтобы найти необыкновенное в обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном.

Во всяком случае, я ничуть не жалею о детском своем увлечении экзотикой.

Это увлечение, конечно, не исчезло у меня сразу. Оно держалось долго, как держится стойкий запах сирени в садах. Оно преображало в моих глазах знакомый, немного даже надоевший Киев. Золото закатов пылало в его садах. За Днестром мигали во мраке молнии. Мне казалось, что там раскинулась неведомая — грозовая и влажная — страна, наполненная бегущим шумом листьев.

Весна сыпала на город желтоватые цветы каштанов с красными крапинками на лепестках. Их было так много, что во время дождей плотины из опавших цветов задерживали сток дождевой воды и некоторые улицы превращались в мелкие озера.

А после дождей небо над Киевом светилось, как купол из лунного камня. И с неожиданной силой приходили на память стихи:

Царит весны таинственная сила  
С звездами на челе.—  
Ты, нежная! Ты счастье мне сулила  
На суетной земле.

С этим временем у меня была связана первая влюбленность — то удивительное состояние, когда почти все девушки казались прекрасными. Любая черта девичества, мелькнувшая на мгновение на улице, в саду, в трамвае, — застенчивый, но внимательный взгляд, запах волос, блеск зубов за полуоткрытыми губами, обнаженное плечом маленькое колено, прикосновение холодных пальцев — все это напоминало, что рано или поздно, но и меня настигнет в жизни любовь. Я был уверен в этом. Так мне хотелось думать, и так я думал.

Каждая такая встреча была для меня началом непонятной тоски.

В стихах и неясном волнении прошла большая часть моей бедной и, по существу, довольно горькой молодости.

Вскоре я бросил писать стихи. Я понял, что это мисшуря, цветы из хорошо раскрашенных стружек, сусальная позолота.

Вместо стихов я написал свой первый рассказ. У него была своя история. О ней я расскажу в следующей главе.

### **ПЕРВЫЙ РАССКАЗ**

Я возвращался на пароходе по Припяти из местечка Чернобыль в Киев. Лето я прожил под Чернобылем, в запущенном имении отставного генерала Левковича. Мой классный наставник устроил меня в семью Левковича в качестве домашнего учителя. Я должен был подготовить генеральского сынка-балбеса к двум осенним переекзаменовкам.

Старый помещичий дом стоял в низине. По вечерам курился вокруг холодный туман. Лягушки надрывались и окрестных болотах, и до головной боли пахло багульником.

Шалые сыновья Левковича били диких уток из ружей прямо с террасы во время вечернего чая.

Сам Левкович — тучный, сивоусый, злой, с вытаращенными черными глазами — весь день сидел на террасе в мягком кресле и задыхался от астмы. Изредка он хрипло кричал:

— Не семья, а шайка бездельников! Кабак! Всех выгоню к чертовой тетке! Лишу наследства!

Но никто не обращал внимания на его сильные крики. Имением и домом заправляла его жена — «мадам Левкович», — еще не старая, игривая, но очень скупая женщина. Все лето она проходила в скрипучем корсете.

Кроме шалопаев сыновей, у Левковича была дочь — девушка лет двадцати. Звали ее «Жанна д'Арк». С утра до ночи она носилась верхом на бешеном караковом жеребце, сидя на нем по-мужски, и разыгрывала из себя демоническую женщину.

Она любила повторять, чаще всего совершенно бессмысленно, слово «презираю».

Когда меня познакомили с ней, она протянула мне с коны руку и, глядя в глаза, сказала:

— Презираю!

Я не чаял, как вырваться из этой оголтелой семьи, и почувствовал огромное облегчение, когда наконец сел в телегу, на сено, покрытое рядом, и кучер «Игнатий Лойола» (в семье Левковичей всем давали исторические прозвища), а попросту Игнат, дернул за веревочные вожжи, и мы шагом поплелись в Чернобыль.

Тишина, стоявшая в низкорослом полесье, встретила нас, как только мы выехали за ворота усадьбы.

В Чернобыль мы притащились только к закату и заночевали на постоялом дворе. Пароход запаздывал.

Постоялый двор держал пожилой еврей по фамилии Кушер.

Он уложил меня спать в маленьком зальце с портретами предков — седобородых старцев в шелковых ермолках и старух в париках и черных кружевных шالях.

От кухонной лампочки воняло керосином. Как только я лег на высокую, душную перину, на меня изо всех щелей тучами двинулись клопы.

Я вскочил, поспешно оделся и вышел на крыльцо. Дом стоял у прибрежного песка. Тускло поблескивала Припять. На берегу штабелями лежали доски.

Я сел на скамейку на крыльце и поднял воротник гимназической шинели. Ночь была холодная. Меня знобило.

На ступеньках сидели двое незнакомых людей. В темноте я их не мог разглядеть. Один курил махорку, другой сидел, сгорбившись, и будто спал. Со двора слышался мощный храп Игнатия Лойолы,— он лег в телеге, на сене, и я теперь завидовал ему.

— Клопы? — спросил меня высоким голосом человек, куривший махорку.

Я узнал его по голосу. Это был низенький хмурый еврей в калошах на босу ногу. Когда мы с Игнатием Лойолой приехали, он отворил нам ворота во двор и потребовал за это десять копеек. Я дал ему гривенник. Кушер заметил это и закричал из окна!

— Марш с моего двора, голода! Тысячу раз тебе повторять!

Но человек в калошах даже не оглянулся на Кушера. Он подмигнул мне и сказал:

— Вы слышали? Каждый чужой гривенник не дает ему спать. Таки он подохнет от жадности, попомните мое слово!

Когда я спросил Кушера, что это за человек, он неохотно ответил:

— А, Иоська! Помешанный. Ну, я понимаю — если тебе не с чего жить, то по крайности уважай людей. А не смотри на них, как царь Давид со своего трона.

— За тех клопов,— сказал мне Иоська, затягиваясь, и я увидел щетину у него на щеках,— вы еще заплатите Кушеру добавочные гроши. Раз человек пробивается до богатства, он ничем не побрезгует.

— Иося! — неожиданно сказал глухим и злым голосом сгорбленный человек.— За что ты загубил Христю? Второй год нету у меня сна...

— Это ж надо, Никифор, не иметь ни капли разума, чтобы говорить такие поганые слова! — сердито воскликнул Иося.— Я ее загубил?! Пойдите до вашего святого отца Михаила и спросите, кто ее загубил. Или до исправника Сухаренки.

— Доня моя! — сказал с отчаянием Никифор.— Закапилось мое солнце по-за болотами на веки вечные.

— Хватит! — прикрикнул на него Иося.

— Панихиду по ней отслужить — и то не позволя-



ют! — не слушая Иосю, сказал Никифор. — Дойду в Киеве до самого митрополита. Не отстану, пока не помилуется.

— Хватит! — повторил Иося. — За один ее волос я бы продал всю свою паршивую жизнь. А вы говорите!

Он вдруг заплакал, сдерживаясь и всхлипывая. Оттого что он сдерживался, из горла у него вырывался слабый писк.

— Плачь, дурной, — спокойно, даже одобрительно, сказал Никифор. — Кабы не то, что Христа тебя любила, мишуреса несчастного, я бы разом кончил с тобой. Взял бы грех на душу.

— Кончайте! — крикнул Иося. — Пожалуйста! Может я того и хочу. Мне же лучше гнить в могиле.

— Дурной ты был и остался дурной, — печально ответил Никифор. — Вот ворочусь из Киева, тогда и кончу тебя, чтобы ты не травил мне сердце. Забедовал я совсем.

— А на кого вы хату покинули? — спросил Иося, перестав плакать.

— Ни на кого. Заколотил — и годи! Нужна мне теперь та хата, как мертвому понюшка!

Я слушал этот непонятный разговор. Над Припятью стеной подымался туман. Сырые доски пахли лекарственно и резко. По местечку нехотя брехали собаки.

— Хоть бы знать, когда припрется та чертова макитра, тот пароход! — с досадой сказал Никифор. — Выпили бы мы, Иосиф, косушку. Оно бы на душе и полегчало. Да где ее теперь взять, косушку?

Я согрелся в шинели и задремал, прислонившись к стене.

Утром пароход не пришел. Кушер сказал, что он заночевал где-нибудь из-за тумана и беспокоиться нечего — все равно пароход простоят в Чернобыле несколько часов.

Я напился чаю. Игнатий Лойола уехал.

От скуки я пошел побродить по местечку. На главной улице были открыты лавчонки. Из них несло селедкой и стиральным мылом. В дверях парикмахерской с висевшей на одном костыле вывеской стоял в халате веснушчатый парикмахер и грыз семечки.

От нечего делать я зашел побриться. Парикмахер, вздыхая, намылил мне щеки холодной пеной и начал обычный в провинциальных парикмахерских деликатный допрос — кто я и зачем попал в это местечко.

Вдруг по дощатому тротуару мимо окна промчались, свистя и гримасничая, мальчишки, и знакомый голос Иоськи прокричал:

Не разбужу я песней удаюю  
Роскошный сон красавицы моей.

— Лазарь! — крикнул из-за дощатой перегородки женский голос. — Закрой на засов двери! Опять Иоська пьяный. Что ж это делается, боже мой!

Парикмахер закрыл дверь на засов и задернул занавеску.

— Как увидит кого в парикмахерской, — объяснил он со вздохом, — так сейчас же зайдет и будет петь, танцевать и плакать.

— А что с ним? — спросил я.

Но парикмахер не успел ответить. Из-за перегородки вышла молодая растрепанная женщина с удивленными, блестящими от волнения глазами.

— Слушайте, клиент! — сказала она. — Во-первых, здравствуйте! А во-вторых, Лазарь ничего не сообразит рассказать, потому что мужчина не в состоянии понять женское сердце. Что?! Не качай головой, Лазарь! Так слушайте и хорошо подумайте про то, что я вам скажу. Чтоб вы знали, на какой ад идет девушка от любви к молодым людям.

— Маня, — сказал парикмахер, — не увлекайся.

Иоська кричал где-то уже в отдалении:

Как умру, так приходите  
На мою могилку,  
Колбасы мне принесите  
Да ханжи бутылку!

— Какой ужас! — сказала Маня. — И это Иоська! Тот Иоська, что должен был учиться на фельдшера в Киеве, сын Песи — самой доброй женщины в Чернобыле. Слава богу, она не дожила до такого позора. Вы понимаете, клиент, как надо женщине полюбить мужчину, чтобы пойти из-за него на пытку!

— Что ты такое говоришь, Маня! — воскликнул парикмахер. — Клиент же ничего от тебя не поймет.

— Была у нас ярмарка, — сказала Маня. — На ту ярмарку приехал вдовый лесник Никифор из-под Карпиловки со своей единственной дочерью Христей. Ох, если бы вы ее видели! Вы бы потеряли рассудок! Я вам ска-

жу,— глаза были синие, как то небо, а косы светлые, будто она их мыла в золотой воде. А ласковая! А тонкая, как я не знаю что! Ну, Иоська увидел ее и потерял дар речи. Полюбил. Так в этом, я вам скажу, ничего удивительного я не нахожу. Сам царь, если бы ее встретил, тоже начал бы сохнуть. Удивительно то, что она его полюбила. Вы же его видели? Маленький, как тот мальчик, весь рыжий, голос писклявый, ничего не делает без причуд. Одним словом, кинула Христа отца и пришла до Иоськи в дом. Вы пойдите посмотрите этот дом! Полюбуйтесь! Коже в нем тесно было бы жить, не то что им троим. Одно только, что чисто. И что же вы скажете — Песя ее приняла, как королевскую принцессу. И Христа жила с Иоськой, как жена, и он был такой веселый, Иоська,— светился, как фонарь. А вы знаете, что это значит, когда еврей живет с православной? Их же нельзя повенчать. Все местечко закудахтало как сто квочек. Тогда Иоська решил выкреститься и пошел в церковь до отца Михаила. А тот ему говорит: «Раньше следовало бы выкреститься, а потом портить христианскую девушку. Ты сделал навыворот, и теперь без разрешения митрополита я тебя, иерусалимский дворянин, не окрещу». Иоська обозвал его нехорошим словом и ушел. Тогда вмешался наш раввин, наш ребе. Он узнал, что Иоська ходил креститься, и проклял его за это в синагоге до десятого колена. А тут еще приехал Никифор, валялся в ногах у Христа, просил, чтобы вернулась домой. Так она только плакала и ни за что не вернулась. Ну, конечно, мальчишек кто-то подговорил. Они как увидят Христа, так и кричат: «Эй, Христа, кошерная! Хочешь кусочек трэфного мяса?» И показывают ей дули. На улице все оглядываются, смотрят ей вслед, смеются. А другой раз кто-нибудь возьмет да и кинет ей в спину из-за забора кусок навоза. Весь дом тети Песи измазали дегтем, вы представляете?

— Ой, тетя Песя! — вздохнул парикмахер. — Это была женщина!

— Постой, дай рассказать! — прикрикнула на него Маня. — Раввин позвал до себя тетю Песю и сказал: «Вы развели блуд в своем доме, уважаемая Песя Израилевна. Вы преступили закон. За это я прокляну ваш дом и Иегова покарает вас, как продажную женщину. Поимейте жалость к своей седой голове». Так вы знаете, что она ему ответила! «Вы не раввин,— сказал она.— Вы городо-

ной! Люди любят друг друга, так какое ваше дело лезть до них со своими жирными от смальца лапами!» Плюнула и ушла. Тогда раввин и ее проклял в синагоге. Вот как у нас умеют мордовать людей. Только вы никому этого не передавайте. Все местечко только и жило, что этим делом. Наконец Иоську и Христю потребовал до себя исправник Сухаренко и сказал: «Тебя, Иоська, за кощунственное оскорбление неряя греко-российской церкви отца Михаила я отдаю под суд. И ты попробуешь у меня каторги. А Христю я силой верну отцу. Даю тебе три дня на размышление. Вы мне взбаламутили весь уезд. Я за вас получу нагоняй от господина губернатора».

Тут же Сухаренко посадил Иоську в холодную, — говорил потом, что хотел только поугагать. И что же случается, как вы думаете? Вы мне не поверите, но Христя умерла от горя. На нее было жалко смотреть. Прямо сердце останавливалось у добрых людей. Она плакала несколько дней, а потом у нее уже и слез не хватило, и глаза высохли, и она ничего не ела. Только просила, чтобы допустили ее до Иоськи. А в самый Иом-Кипур, в Судный день, она, как уснула вечером, так и не проснулась. И лежала такая белая и счастливая, — должно быть, благодарила бога, что он взял ее от этой паскудной жизни. Зачем ей такая кара, что она полюбила того Иоську? Скажите же мне: зачем?! Нету разве других людей на свете? Иоську Сухаренко тут же выпустил, но он сделался совсем психический и с того дня начал пить и выпрашивать у людей на хлеб.

— Я б на его месте предпочел умереть, — сказал парикмахер. — Пустил бы себе пулю в лоб.

— Ой, какне вы храбрецы! — воскликнула Маня. — А как дойдет до дела, то будете обходить смерть за сто перст. Вы же не имеете понятия, как любовь может спалить до пепла женское сердце.

— Что женское, что мужское сердце, — ответил парикмахер и пожал плечами, — какая разница!

Из парикмахерской я пошел на постоянный двор. Ни Иоськи, ни Никифора там не было. Кушер сидел в потертом жилете у окна и пил чай. В комнате жужжали жирные мухи.

Маленький пароход пришел только к вечеру. Он стоял в Чернобыле до ночи. Мне дали место в салоне на облезлом клеенчатом диване.

Ночью опять нанесло туман. Пароход приткнулся носом к берегу. Так он простоял до позднего утра, пока туман не рассеялся. Никифора я на пароходе не нашел. Должно быть, он запил вместе с Иоськой.

Я так подробно рассказал об этом случае потому, что, вернувшись в Киев, тотчас сжег тетради с первыми ранними своими стихами. Без всякой жалости я смотрел, как превращались в пепел изысканные фразы и гибли без возврата «пенные хрустали», «сапфирные небеса», таверны и пляски гитан.

Отрезвление пришло сразу. Любовь, оказывается, сопровождалась не «томлением умирающих лилий», а комьями навоза. Его бросали в спину прекрасной, любящей женщине.

Думая об этом, я и решил написать свой первый, как я говорил себе, «настоящий рассказ» о судьбе Христи.

Я долго мучился над ним и не понимал, почему он выходит у меня вялым и бледным, несмотря на трагическое содержание. Потом я догадался. Во-первых, потому, что рассказ был написан с чужих слов, и, во-вторых, потому, что я увлекся любовью Христи и оставил в стороне изуверский быт местечка.

Я заново переписал рассказ. Меня самого удивляло, что в него никак «не ложились» изысканные и красивые слова. Он требовал правды и простоты.

Когда я принес этот свой первый рассказ в редакцию журнала, где раньше печатали мои стихи, редактор сказал:

— Зря тратили порох, молодой человек. Рассказ напечатать нельзя. За одного исправника нам пропишут кузькину мать. Но вообще рассказ сделан крепко. Принесите нам что-нибудь другое. И подписывайтесь, пожалуйста, только псевдонимом. Вы же гимназист. Вас за это выгонят из гимназии.

Я забрал рассказ и спрятал его. Только на следующую весну я достал его, прочел и понял еще одно обстоятельство: в рассказе не чувствовалось автора — ни его гнева, ни мыслей, ни преклонения перед любовью Христи.

Тогда я снова переделал рассказ и отнес его редактору — не для печатания, а для оценки.

Редактор прочел его при мне, встал, похлопал меня по плечу и сказал только одно слово:

— Благословляю!

Так впервые я убедился в том, что главное для писателя — это с наибольшей полнотой и щедростью выразить себя в любой вещи, даже в таком маленьком рассказе и тем самым выразить свое время и свой народ. В этом выражении себя ничто не должно сдерживать писателя — ни ложный стыд перед читателями, ни страх повторить то, что уже было сказано (но по-иному) другими писателями, ни оглядка на критиков и редактора.

Во время работы надо было забыть обо всем и писать как бы для себя или для самого дорогого человека на свете.

Нужно дать свободу своему внутреннему миру, открыть для него все шлюзы и вдруг с изумлением увидеть, что в твоём сознании заключено гораздо больше мыслей, чувств и поэтической силы, чем ты предполагал.

Творческий процесс в самом своем течении приобретает новые качества, усложняется и обогащается.

Это похоже на весну в природе. Солнечная теплота неизменна. Но она растапливает снег, нагревает воздух, почву и деревья. Земля наполняется шумом, плеском, игрой капель и талых вод — тысячами признаков весны, тогда как, повторяю, солнечная теплота остается неизменной.

Так и в творчестве. Сознание остается неизменным и своей сущности, но вызывает во время работы вихри, потоки, каскады новых мыслей и образов, ощущений и слов. Поэтому иногда человек сам удивляется тому, что написал.

Писателем может быть только тот, у кого есть что сказать людям нового, значительного и интересного, тот человек, который видит многое, чего остальные не замечают.

Что касается меня, то очень скоро я понял, что могу сказать до обидного мало. И что порыв к творчеству может так же легко угаснуть, как и возник, если оставить его без пищи. Слишком небогат и узок был запас моих житейских наблюдений.

В то время книга стояла у меня над жизнью, а не жизнь над книгой. Нужно было наполнить себя жизнью до самых краев.

Поняв это, я совершенно бросил писать — на десять лет — и, как говорил Горький, «ушел в люди», начал скитаться по России, менять профессии и общаться с самыми разными людьми.

Но это не была искусственно созданная жизнь. Я не был профессиональным наблюдателем или сборщиком фактов.

Нет! Я просто жил, не стараясь хоть что-нибудь записывать или запоминать для будущих книг.

Я жил, работал, любил, страдал, надеялся, мечтал, зная только одно — что рано или поздно, в зрелом возрасте или, может быть, даже в старости, но я начну писать, вовсе не оттого, что я поставил себе такую задачу, а потому, что этого требовало мое существо. И потому, что литература была для меня самым великолепным явлением в мире.

## МОЛНИЯ

Как рождается замысел?

Почти не бывает двух замыслов, которые бы возникали и развивались одинаково. Очевидно, ответ на вопрос, «как рождается замысел», надо искать не вообще, а в связи с каждым отдельным рассказом, романом или повестью.

Легче ответить на вопрос, что нужно для того, чтобы замысел появился, или, говоря более сухим языком, чем должно быть обусловлено рождение замысла. Появление его всегда бывает подготовлено внутренним состоянием писателя.

Возникновение замысла, пожалуй, лучше всего объяснить путем сравнения. Сравнение вносит иногда удивительную ясность в самые сложные вещи.

Астронома Джинса спросили однажды, каков возраст нашей Земли.

— Представьте себе, — ответил Джинс, — исполинскую гору, хотя бы Эльбрус на Кавказе. И вообразите единственного маленького воробья, который беспечно скачет и клюет эту гору. Так вот, этому воробью, чтобы склевать до основания Эльбрус, понадобится примерно столько же времени, сколько существует Земля.

Сравнение, которое дало бы понять возникновение замысла, гораздо проще.

Замысел — это молния. Много дней накапливается над землей электричество. Когда атмосфера насыщена им до предела, белые кучевые облака превращаются в грозные

грозовые тучи и в них из густого электрического настоя рождается первая искра — молния.

Почти тотчас же вслед за молнией на землю обрушивается ливень.

Замысел, так же как молния, возникает в сознании человека, насыщенном мыслями, чувствами и заметками памяти. Накапливается все это исподволь, медленно, пока не доходит до той степени напряжения, которое требует неизбежного разряда. Тогда весь этот сжатый и еще несколько хаотический мир рождает молнию — замысел.

Для появления замысла, как и для появления молнии, нужен чаще всего ничтожный толчок.

Кто знает, будет ли это случайная встреча, запавшее в душу слово, сон, отдаленный голос, свет солнца в капле воды или гудок парохода.

Толчком может быть все, что существует в мире вокруг нас и в нас самих.

Лев Толстой увидел сломанный репейник — и вспыхнула молния: появился замысел изумительной повести о Хаджи-Мурате.

Но если бы Толстой не был на Кавказе, не знал и не слышал о Хаджи-Мурате, то, конечно, репейник не вызвал бы у него этой мысли. Толстой был внутренне подготовлен к этой теме, и только потому репейник дал ему нужную ассоциацию.

Если молния — замысел, то ливень — это воплощение замысла. Это стройные потоки образов и слов. Это книга.

Но, в отличие от слепящей молнии, первоначальный замысел зачастую бывает неясным.

«И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал».

Лишь постепенно замысел зреет, завладевает умом и сердцем писателя, обдумывается и усложняется. Но это так называемое «вынашивание замысла» происходит совсем по-иному, нежели представляют себе иные наивные люди. Оно не выражается в том, что писатель сидит, стиснув голову руками, или бродит, одинокий и дикий, выборматывая свои думы.

Совсем нет! Кристаллизация замысла, его обогащение идут непрерывно, каждый час, каждый день, всегда и повсюду, во всех случайностях, трудах, радостях и горестях нашей «быстротекущей жизни».

Чтобы дать замыслу созреть, писатель никогда не должен отрываться от жизни и целиком уходить «в себя».



Наоборот, от постоянного соприкосновения с действительностью замысел расцветает и наливается соками земли.

Вообще о писательской работе существует много предвзятых мнений и предрассудков. Некоторые из них могут привести в отчаяние своей пошлостью.

**Вольше всего опошлено вдохновение.**

Почти всегда оно представляется невеждам в виде выпученных в непонятном восхищении, устремленных в небо глаз поэта или закушенного зубами гусяного пера.

Многие, очевидно, помнят кинокартину «Поэт и царь». Там Пушкин сидит, мечтательно подняв глаза к небу, потом судорожно хватается за перо, начинает писать, останавливается, вновь возводит глаза, грызет гусяное перо и опять торопливо пишет.

Сколько мы видели изображений Пушкина, где он похож на восторженного маньяка!

На одной художественной выставке я слышал любопытный разговор около скульптуры кургузого и как бы завитого перманентом Пушкина с «вдохновенным» взором. Маленькая девочка долго смотрела, сморщившись, на этого Пушкина и спросила мать:

— Мама, он мечту мечтает? Или что?

— Да, доченька, дядя Пушкин мечтает мечту,— разнеженно ответила мать.

Дядя Пушкин «грезит грезу»! Тот Пушкин, что сказал: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в наш жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал!»

А если «святое» вдохновение «осеняет» (обязательно «святое» и обязательно «осеняет») композитора, то он, вздымая очи, плавно дирижирует для самого себя теми чарующими звуками, какие, несомненно, звучат сейчас в его душе,— совершенно так, как на слащавом памятнике Чайковскому в Москве.

Нет! Вдохновение — это строгое рабочее состояние человека. Душевный подъем не выражается в театральной позе и приподнятости. Так же как и пресловутые «муки творчества».

Пушкин сказал о вдохновении точно и просто: «Вдохновение есть расположение души к живому приятию впечатлений, следственно, к быстрому соображению понятий,

что и способствует объяснению оных». «Критики,— сказал он вдобавок,— смешивают вдохновение с восторгом». Так же как читатели смешивают иногда правду с правдоподобием.

Это было бы еще полбеды. Но когда иные художники и скульпторы смешивают вдохновение с «телячьим восторгом», то это выглядит как полное невежество и неуважение к тяжелому писательскому труду.

Чайковский утверждал, что вдохновение — это состояние, когда человек работает во всю свою силу, как вол, и вовсе не кокетливо помахивает рукой.

Прошу извинить меня за это отступление, но все, о чем я говорил выше,— совсем не пустяк. Это признак того, что жив еще пошляк и обыватель.

Каждый человек хотя бы и несколько раз за свою жизнь, но пережил состояние вдохновения — душевного подъема, свежести, живого восприятия действительности, полноты мысли и сознания своей творческой силы.

Да, вдохновение — это строгое рабочее состояние, но у него есть своя поэтическая окраска, свой, я бы сказал, поэтический подтекст.

Вдохновение входит в нас как сияющее летнее утро, только что сбросившее туманы тихой ночи, забрызганное росой, с зарослями влажной листвы. Оно осторожно дышит нам в лицо своей целебной прохладой.

Вдохновение — как первая любовь, когда сердце громко стучит в предчувствии удивительных встреч, невообразимо прекрасных глаз, улыбок и недомолвок.

Тогда ваш внутренний мир настроен тонко и верно, как некий волшебный инструмент, и отзывается на все, даже самые скрытые, самые незаметные звуки жизни.

О вдохновении написано много превосходных строк у писателей и поэтов. «Но лишь божественный глагол до глуха чуткого коснется» (Пушкин). «Тогда смиряется души моей тревога» (Лермонтов). «Приближается звук. И, покорна щемящему звуку, молодеет душа» (Блок). Очень точно сказал о вдохновении Фет:

Одним толчком согнать ладью живую  
С наглаженных отливами песков,  
Одной волной подняться в жизнь иную,  
Учуть ветр с цветущих берегов,

Тоскливый сон прервать единым звуком,  
Упитья вдруг неведомым, родным,  
Дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам.  
Чужое вмиг почувствовать своим...

Тургенев называл вдохновение «приближением бога», озарением человека мыслью и чувством. Он со страхом говорил о неслыханном мучении для писателя, когда он начинает претворять это озарение в слова.

Толстой сказал о вдохновении, пожалуй, проще всех: «Вдохновение состоит в том, что вдруг открывается то, что можно сделать. Чем ярче вдохновение, тем больше должно быть кропотливой работы для его исполнения».

Но как бы мы ни определяли вдохновение, мы знаем, что оно плодотворно и не должно исчезнуть бесследно, не одарив собою людей.

### БУНТ ГЕРОЕВ

В старое время, когда люди переезжали с квартиры на квартиру, для переноски вещей нанимали иногда арестантов из местной тюрьмы.

Мы, дети, всегда ждали появления этих арестантов со жгучим любопытством и жалостью.

Арестантов приводили усатые надзиратели с огромными револьверами «бульдогами» на поясах. Мы во все глаза смотрели на людей в серой арестантской одежде и серых круглых шапочках. Но почему-то с особенным уважением разглядывали мы тех арестантов, у которых были подвязаны ремешком к поясу звенящие тонкие кандалы.

Все это было очень таинственно. Но самым удивительным представлялось то обстоятельство, что почти все арестанты оказывались обыкновенными усталыми людьми и до того добродушными, что никак нельзя было поверить что они злодеи и преступники. Наоборот, они были не то что вежливы, а просто деликатны, и больше всего боялись кого-нибудь ушибить при переноске громоздкой мебели или что-нибудь поломать.

У нас, детей, по соглашению со взрослыми, был выработан хитрый план. Мама вводила надзирателей на кухню пить чай, а мы в это время торопливо засовывали в карманы арестантам хлеб, колбасу, сахар, табак, а иногда и деньги. Их нам давали родители.

Мы воображали, что это рискованное дело, и были в восторге, когда арестанты благодарили нас шепотом, подмигивая в сторону кухни, и перепрыгивали наши гостинцы подальше, во внутренние потайные карманы.

Иногда арестанты незаметно давали нам письма. Мы наклеивали на них марки и потом шли всей гурьбой бросать в почтовый ящик. Перед тем как бросить письмо в ящик, мы оглядывались: нет ли поблизости пристава или городского? Как будто они могли догадаться, какое письмо мы отправляем.

Среди арестантов я помню человека с седой бородой. Его называли старостой.

Он распоряжался переноской вещей. Вещи, особенно шкафы и пианино, застревали в дверях, их трудно было развернуть, а иногда они никак не становились на предназначенное для них новое место, сколько арестанты с ними ни бились. Вещи явно сопротивлялись. В таких случаях староста говорил по поводу какого-нибудь шкафа:

— Ставьте его там, где ему хочется. Что вы его мордуете! Я пять лет перевожу вещи и характер ихний знаю. Раз вещь стоять здесь не желает, так сколько на нее не жми — не уступит. Поломается, а не уступит.

Я вспомнил об этой сентенции старого арестанта в связи с писательскими планами и поступками литературных героев. В поведении вещей и этих героев есть что-то общее. Герои часто вступают в борьбу с автором и почти всегда побеждают его. Но разговор об этом еще впереди.

Конечно, почти все писатели составляют планы своих будущих вещей. Некоторые разрабатывают их подробно и точно. Другие — очень приблизительно. Но есть писатели, у которых план состоит всего из нескольких слов, как будто не имеющих между собой никакой связи.

И только писатели, обладающие даром импровизации, могут писать без предварительного плана. Из русских писателей таким даром обладал в высокой степени Пушкин, а из современных нам прозаиков — Алексей Николаевич Толстой.

Я допускаю мысль, что писатель гениальный тоже может писать без всякого плана. Гений настолько внутренне богат, что любая тема, любая мысль, случай или предмет вызывают у него неиссякаемый поток ассоциаций.

Молодой Чехов сказал Короленко:

— Вот у вас стоит на столе пепельница. Хотите, я напишу сейчас же о ней рассказ.

И он бы написал его, конечно.

Можно представить себе, что человек, подобрав на улице измятый рубль, начнет с этого рубля свой роман,

начнет как бы шутя, легко и просто. Но вскоре этот роман пойдет и вглубь и вширь, заполнится людьми, событиями, светом, красками и начнет литься свободно и ровно, подгоняемый воображением, требуя от писателя все новых жертв, требуя, чтобы писатель отдавал ему драгоценные запасы образов и слов.

И вот уже в повествовании, начавшемся со случайности, возникают мысли, возникает сложная судьба людей. И писатель уже не в силах справиться со своим волнением. Он, как Диккенс, плачет над страницами своей рукописи, стонет от боли, как Флобер, или хохочет, как Гоголь.

Так в горах от ничтожного звука, от выстрела из охотничьего ружья начинает сыпаться по крутому склону блестящей полоской снег. Вскоре он превращается в широкую снежную реку, несущуюся вниз, и через несколько минут в долину срывается лавина, сотрясая грохотом ущелье и наполняя воздух искристой пылью.

Об этой легкости возникновения творческого состояния у людей гениальных и к тому же обладающих даром импровизации упоминают многие писатели.

Недаром Баратынский, хорошо знавший, как работал Пушкин, сказал о нем:

...Пушкин молодой, сей ветренник блестящий,  
Все под пером своим шутя животворящий...

Я упомянул о том, что некоторые планы кажутся набором слов.

Вот небольшой пример. У меня есть рассказ «Снег». Перед тем как ему появиться, я исписал лист бумаги, и из этих записей и родился рассказ. Как же выглядят эти записи?

«Забывтая книга о севере. Основной цвет севера — фольга. Пар над рекой. Женщины полощут белье в прорубях. Дым. Надпись на колокольчике у Александры Ивановны: «Я вишу у дверей,— звони веселей!» «И колокольчик, дар Валдая, звенит уныло под дугой». Их зовут «дарвалдаями». Война. Таня. Где она, в каком глухом городке? Одна. Тусклая луна за облаками,— страшная даль. Жизнь сжата в небольшой круг света. От лампы. Всю ночь что-то гудит в стенах. Ветки царапают о стекла. Мы очень редко выходим из дома в самую глухую

пору зимней ночи. Это надо проверить... Одиночество и ожидание. Старый недовольный кот. Ему ничем нельзя угодить. Все как будто видно — даже витые свечи (оливковые) на рояле, но пока что ничего больше нет. Искала квартиру с роялем (певица). Эвакуация. Рассказ об ожидании. Чужой дом Старомодный, по-своему уютный, фикусы, запах старого табака Стамболи или Месаксуди. Жил старик и помер. Ореховый письменный стол с желтыми пятнами на зеленом сукне. Девочка. Золушка. Нянька. Больше пока никого нет. Любовь, говорят, притягивает на расстоянии. Можно написать рассказ только об ожидании. Чего? Кого? Она сама не знает этого. Это рзырывает сердце. На пересечении сотен дорог случайно сталкиваются люди, не зная, что вся их прошлая жизнь была подготовкой к этой встрече. Теория вероятности. Применительно к человеческим сердцам. Для дураков все просто. Страна тонет в сиегах. Неизбежность появления человека. От кого-то всё приходят на имя умершего письма. Их складывают стопкой на столе. В этом — ключ. Какие письма? Что в них? Моряк. Сын. Страх перед тем, что он приедет. Ожидание. Нет предела доброте сердца. Письма превратились в действительность. Сноил витые свечи. В ином качестве. Ноты. Полотенце с дубовыми листьями. Рояль. Березовый дым. Настройщик, — все чехи хорошие музыканты. Закутанный до глаз. Все ясно!»

Вот то, что можно с большой натяжкой назвать планом этого рассказа. Если прочесть эту запись, не зная рассказа, то станет понятно, что это хотя и медленное и неясное, но упорное ищущивание темы и сюжета.

Что же происходит с самыми точными, продуманными и выверенными писательскими планами? Правду сказать, жизнь у них большей частью короткая.

Как только в начатой вещи появляются люди и как только эти люди по воле автора оживают, они тотчас же начинают сопротивляться плану и вступают с ним в борьбу. Вещь начинает развиваться по своей внутренней логике, толчок для которой дал, конечно, писатель. Герои действуют в соответствии с их собственным характером, несмотря на то что творцом этих характеров является писатель.

Если же писатель заставит героев действовать вопреки внутренней логике, если он силой вернет их в рамки

плана, то герои начнут мертветь, превращаться в ходячие схемы, в роботов.

Эту мысль очень просто высказал Лев Толстой.

Кто-то из посетителей Ясной Поляны обвинил Толстого в том, что он жестоко поступил с Анной Карениной, заставив ее броситься под поезд.

Толстой улыбнулся и ответил:

— Это мнение напоминает мне случай с Пушкиным. Однажды он сказал какому-то из своих приятелей: «Представь, какую штуку удрала со мной Татьяна. Она замуж вышла. Этого я никак не ожидал от нее». То же самое и я могу сказать про Анну Каренину. Вообще герои и героини мои делают иногда такие штуки, каких я не желал бы! Они делают то, что должны делать в действительной жизни и как бывает в действительной жизни, а не то, что мне хочется.

Все писатели хорошо знают эту неподатливость героев. «Я в самом разгаре работы,— говорил Алексей Николаевич Толстой,— не знаю, что скажет герой через пять минут. Я слежу за ним с удивлением».

Случается, что второстепенный герой вытесняет остальных, сам становится главным, поворачивает весь ход повествования и ведет его за собой.

Вещь по-настоящему, со всей силой, начинает жить в сознании писателя только во время работы над ней. Поэтому в ломке и крушении планов нет ничего особенного и ничего трагического.

Наоборот, это естественно и свидетельствует только о том, что подлинная жизнь прорвалась, заполнила писательскую схему и раздвинула и сломала своим живым напором рамки первоначального писательского плана.

Но это ни в коей мере не опорочивает и план, так как роль писателя далеко не сводится лишь к тому, чтобы записывать все по подсказке жизни. Ведь жизнь образов в его произведении обусловлена сознанием писателя, его памятью, воображением, опытом, всем строем его души.

## ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОВЕСТИ

«Планета Марс»

Попытаюсь вспомнить, как возник замысел моей повести «Кара-Бугаз». Как все это произошло?

Во времена моего детства в Киеве, на Владимирской

горке над Днепром, каждый вечер появлялся старик в пыльной шляпе со свисающими полями. Он приносил облезлый телескоп и долго устанавливал его на трех погнутых железных ногах.

Старика этого звали «Звездочетом» и считали итальянцем, потому что он нарочно коверкал русские слова на иностранный лад.

Установив телескоп, старик говорил заученным, монотонным голосом:

— Любезные синьоры и синьорины! Буона джиорно! За пять копеек вы уносите с Земли на Луна и разные звезды. Особенно рекомендую смотреть зловещую планету Марц, имеющую тон человеческой крови. Кто родился под знаком Марца, может враз погибнуть на войне от фузильерской пули.

Однажды я был с отцом на Владимирской горке и смотрел в телескоп на планету Марс.

Я увидел черную бездну и красноватый шар, бесстрашно висевший без всякой опоры среди этой бездны. Пока я смотрел на него, шар начал подбираться к краю телескопа и спрятался за его медный ободок. Звездочет слегка повернул телескоп и вернул Марс на прежнее место. Но тот опять начал сдвигаться к медному ободку.

— Ну как? — спросил отец. — Ты видишь что-нибудь?

— Да, — ответил я. — Я даже вижу каналы.

Я знал, что на Марсе живут люди — марсиане — и что они выкопали, неизвестно для чего, на своей планете громадные каналы.

— Ну, положим! — сказал отец. — Не выдумывай! Никких каналов ты не видишь. Их заметил только один астроном — итальянец Скиапарелли — и то в большой телескоп.

Имя соотечественника Скиапарелли не произвело на Звездочета никакого впечатления.

— И еще я вижу какую-то планету налево от Марса, — сказал я неуверенно. — Но она почему-то бежит по кругу во все стороны.

— Да яка ж це планета! — добродушно воскликнул Звездочет. — То якась гадючка заскочила тебе в глаз.

Он крепко взял меня за подбородок и ловко вытащил у меня из глаза соринку.

От зрелища Марса мне стало холодно и жутко. Я с облегчением оторвался от телескопа, и киевские улицы



с их неяркими огнями, грохотом извозчичьих пролетов и пыльным запахом отцветающих каштанов показались мне уютными и надежными.

Нет, в то время у меня не было никакой охоты унести с Земли на Луну или Марс!

— Почему он красный? — спросил я отца.

Отец рассказал мне, что Марс — умирающая планета, что она была такой же прекрасной, как наша Земля, — с морями, горными кряжами и буйной зеленью, но постепенно моря и реки высохли, зелень умерла, горы выветрились до основания, и Марс превратился в исполинскую песчаную пустыню. Должно быть, горы на Марсе были из красного камня, поэтому и песок на Марсе красноватый.

— Значит, Марс — шар из песка? — спросил я.

— Да, пожалуй, — согласился отец. — То, что случилось с Марсом, может случиться и с нашей Землей. Она превратится в пустыню. Но это будет через многие миллионы лет. Так что ты не пугайся. Да в конце концов люди что-нибудь придумают к тому времени и прекратят это безобразие.

Я ответил, что совершенно не пугаюсь. Но на самом деле мне было и страшно и обидно за нашу Землю. К тому же дома я узнал от старшего брата, что уже сейчас пустыни занимают чуть ли не половину всей площади на Земле.

С тех пор боязнь пустыни (хотя я ее еще тогда и не видел) приобрела у меня навязчивый характер. И хотя я и читал в журнале «Вокруг света» заманчивые рассказы о Сахаре, самумах и «кораблях пустыни» — верблюдах, но они меня не прельщали.

Вскоре мне пришлось испытать первое знакомство с пустыней. Это еще усилило мой страх перед ней.

На лето мы всей семьей поехали в деревню к деду Максиму Григорьевичу.

Лето было дождливое, теплое. Густо росли травы. Крапива около плетней вытянулась в человеческий рост. Жито колосилось на полях. От огородов тянуло сочным укропом. Все предвещало богатый урожай.

Но однажды, когда я сидел с дедом на берегу реки и удил пескарей, дед вдруг поспешно встал, прикрыл ладонью глаза от солнца, долго всматривался в поля за рекой, потом с досадой плюнул и сказал:

— Катится, кат, чертяка! Чтoб ему сгинуть навеки!

Я посмотрел в ту сторону, куда глядел дед, но ничего не увидел, кроме длинного мутного вала. Он быстро приближался. Я думал, что это подходит гроза, но дед сказал:

— Та то ж суховой! Пекло проклятое! Ветер из Бухары, с пустыни. Все поглотит! От какое несчастье приближается, Костик. Не буде чем даже дыхаты.

Зловещий вал несся по земле прямо на нас. Дед топорливо сматывал свою длинную удочку из орешины и говорил мне:

— Тикай до хаты, а то забьет глаза пылью. А я полетусь следом. Тикай!

Я побежал к хате, но суховой настиг меня в пути. Вихри неслись, шурша песком и подымая к небу птичий пух и щепки. Тяжелая муть заволокла все вокруг. Солнце вдруг сделалось косматым и багровым, как Марс. Закачались и засвистели ракиты. Сзади дохнуло таким жаром, будто у меня на спине затлела рубашка. Пыль трещала на зубах и порошила глаза.

На пороге хаты стояла моя тетушка Феодосия Максимовна и держала в руках икону, завернутую в шитый рушник.

— Господи, спаси и помилуй! — испуганно бормотала она. — Пречистая богородица, пронеси краем!

На хату налетел, кружась, смерч. Зазвенели плохо замазанные стекла. Солома на стрехе задралась. Из-под нее, как черные пули, залпом вылетели воробьи.

Отца с нами в то время не было — он остался в Киеве. Мама была заметно встревожена.

Я помню, что тяжелее всего был нарастающий жар. Я думал, что через час-два загорится солома на крыше, а потом и у нас затлеют волосы и платье. Поэтому я заплакал.

К вечеру листья на густых ракитах поникли и висели, как серые тряпки. У всех плетней ветер намел сугробы мелкой, как мошкара, черноватой пыли.

К утру листва пожухла и высохла. Сорванные листья можно было растереть пальцами в порошок. Ветер усилился. Он начал срывать эту мертвую, грязную листву, и многие деревья стояли уже обнаженные и черные, как поздней осенью.

Дед ходил на поля и вернулся растерянный и жалкий. Он никак не мог развязать завязку у ворота своей посконной рубахи, руки у него тряслись, и он говорил:

— Когда за ночь не утихомирится, то чисто попа-лит все жито. И садочки и огороды.

Но ветер не утихомирился. Он дул две недели, потом немного стих и задул с новой силой. Земля на гла-зах превращалась в серое пепелище.

По хатам голосили женщины. Мужики понуро сидели на завалинках, прячась от ветра, ковыряли палками-дрючками землю и изредка говорили:

— Каменюка, а не земля! Прямо смерть ухватила тебя за свитку, и некуда кинуться человеку.

Из Киева приехал отец и забрал нас в город. Когда я начал расспрашивать его про суховей, он неохотно отве-тил:

— Пропал урожай. Пустыня идет на Украину.

— А можно что-нибудь сделать? — спросил я.

— Ничего. Не выстроишь же высокую каменную стenu в две тысячи верст длиной.

— Почему? — спросил я. — Построили ведь китайцы свою Великую стену.

— Так то китайцы, — ответил отец. — Они были великие мастера, да и когда это было.

Эти детские впечатления с годами как будто забылись. Но конечно, они продолжали жить в глубине моей памяти и изредка прорывались наружу. Чаще всего во время засух, всегда вызывавших у меня непонятное бес-покойство.

К зрелым своим годам я полюбил Среднюю Россию. Возможно, что толчком к этой любви была свежесть ее природы, обилие чистых и прохладных вод, сырые лесные чащи, морозящие, пасмурные дожди.

Поэтому, когда засуха докатывалась до Средней Рос-сии и врезалась в нее палящим клином, мое беспокойство сменялось бессильной яростью против пустыни.

#### Ливенские грозы

Прошло много времени, и пустыня опять напомнила о себе.

В 1931 году я поехал на лето в город Ливны Орлов-ской области. Я готовил тогда к печати мой первый, дав-но написанный роман, и меня тянуло в какой-нибудь ма-ленький городок, где нет ни души знакомых, где можно сосредоточиться и никто и ничто не мешает работать.

В Ливнах я никогда не был. Городок понравился мне чистотой, множеством цветущих подсолнухов, своими мостовыми из цельных каменных плит и рекой Быстрая Сосна, вырывшей ущелье в толще желтого девонского известняка.

Я снял комнату на окраине, в деревянном ветхом доме. Он стоял на обрыве над рекой. Позади дома тянулись и переходил в береговые заросли наполовину высохший сад.

У пожилого и робкого хозяина — продавца газет в станционном киоске — была мрачная, тощая жена и две дочери: старшая — Анфиса и младшая — Полина.

Полина — слабенькая, прозрачная, — когда разговаривала со мной, все время расплетала и заплетала от смущения русую косу. Ей было семнадцать лет.

Анфиса была статная девушка лет девятнадцати, с бледным лицом, строгими серыми глазами и низким голосом. Она ходила в черном, как послушница, и почти ничего не делала по дому, — только часами лежала в саду на сухой траве и читала.

На чердаке у хозяина было свалено много тронутых мышами книг, главным образом сочинений иностранных классиков в издании Сойкина. Я тоже брал с чердака эти книги.

Несколько раз я замечал сверху, из сада, Анфису на берегу Быстрой Сосны. Она сидела под крутым обрывом, около куста боярышника, рядом с хилым подростком, лет шестнадцати, светловолосым, тихим, с большими пристальными глазами.

Анфиса приносила ему тайком на берег чего-нибудь поесть. Мальчик ел, а Анфиса смотрела на него с нежностью и иногда гладила его по волосам.

Однажды я видел, как она вдруг закрыла лицо ладонями и затряслась от рыданий. Мальчик перестал есть и смотрел на нее с испугом. Я незаметно ушел и долго старался не думать об Анфисе и мальчике.

А я-то наивно рассчитывал, что в тихих Ливнах никто не вырвет меня из круга тех людей и событий, о которых я писал в своем романе! Но жизнь тотчас же разбила вдребезги мои наивные надежды. Конечно, ни о какой сосредоточенности, ни о каком покое для работы не могло быть и речи, пока я не узнаю, что с Анфисой.

Еще до того, как я увидел ее с мальчиком, я подумал, глядя на ее измученные глаза, что в жизни у нее есть какая-то горькая тайна.

Так оно и оказалось.

Через несколько дней я проснулся среди ночи от раскатов грома. Грозы в Ливнах бывали очень часто. Жители объясняли это тем, что Ливны стоят на залежах железной руды и будто бы эта руда и «присасывает» грозы.

Ночь металась за окнами, то распахиваясь стремительным белым огнем, то сжимаясь в непроглядную тьму. За стеной были слышны взволнованные голоса. Потом я услышал, как Анфиса гневно крикнула:

— Кто это придумал? В каком это законе написано, что мне нельзя его полюбить? Покажите мне этот закон! Дали мне жизнь, так не отымайте. Он с каждым днем чахнет, как свечечка. Как свечечка! — крикнула она и задохлась.

— Мать, уймись! — неуверенно прикрикнул хозяин на жену. — Пусть живет, дура, по своему сердцу. С ней не сладишь. А денег я тебе, Анфиса, все одно не дам.

— Не нужны мне ваши проклятые деньги! — крикнула Анфиса. — Я сама заработаю, увезу его в Крым. Может, там он хоть лишний год проживет. Уйду я от вас все равно. Сраму вам не миновать. Так и знайте!

Я начал догадываться, что происходит. За дверь в коридорчике кто-то тоже плакал и сморкался.

Я открыл дверь и при воровском блеске молнии увидел Полину. Она стояла, прижавшись лбом к стене, закутанная в длинную шаль.

Я тихо окликнул ее. Гром расколол небо и, казалось, одним ударом вогнал домишко в землю по самую крышу. Полина испуганно схватила меня за руку.

— Господи! — прошептала она. — Что же это будет? А тут еще такая гроза!

Она рассказала мне шепотом, что Анфиса полюбила всем сердцем Колю, сына вдовы Карповны. Карповна ходит по домам, занимается стиркой. Женщина она тихая, бессловесная. А Коля больной, у него туберкулез. Анфиса нравная, горячая, с ней никто не справится. Она или сделает по-своему, или наложит на себя руки.

Голоса за стеной неожиданно замолкли. Полина убежала к себе. Я лег, но долго прислушивался и не мог заснуть. У хозяев все было тихо. Тогда я задремал.

Сквозь дремоту я слышал ленивые раскаты грома и лай собак. Потом я уснул.

Проспал я, должно быть, очень недолго. Разбудил меня сильный стук в дверь. Стучал хозяин.

— Беда у нас,— сказал он за дверью мертвым голосом.— Не взыщите, что обеспокоил.

— А что случилось?

— Анфиса убежала. В чем была. Я пойду на Слободку, к Карповне. Наверное, она туда кинулась. А вы уж, пожалуйста, побудьте с мной. Жена лежит без памяти.

Я торопливо оделся, отнес хозяйке валерьянку. Полина окликнула меня, и я вышел с ней на крыльцо. Не могу объяснить почему, но я знал, что сейчас случится несчастье.

— Пойдемте на берег,— тихо сказала Полина.

— Фонарь у вас есть?

— Есть.

— Несите скорей.

Полина принесла тусклый фонарь, и мы спустились по скользкому обрыву к реке.

Я был уверен, что Анфиса где-то здесь, рядом.

— Анфиса-а-а! — вдруг отчаянно закричала Полина, и этот крик почему-то напугал меня. «Напрасно она закричала! — подумал я.— Напрасно!»

Молнии полыхали за рекой, уже обесшленные и тихие. Гром едва докатывался. В кустах на обрыве шуршали капли.

Мы пошли вниз по течению реки. Фонарь чуть свегил. Потом прямо над головой небо загорелось от запоздалой молнии, и в ее свете я увидел, что впереди на берегу что-то белеет.

Я подошел к этому белому и нагнулся над ним. Я увидел платье Анфисы и ее сорочку. Тут же валялись ее мокрые туфли.

Полина закричала и бросилась назад, к дому. Я добежал до парома, разбудил перевозчика. Мы сели в дощаник и поплыли, все время пересекая реку от одного берега к другому и вглядываясь в воду.

— Нешто ночью найдешь, да еще при таком дожде! — говорил перевозчик и зевал — сон у него еще не прошел.— Пока не всплывет, все равно не сыщешь. Знать, и красивых смерть не щадит. Вот оно как, милый мой. Разделась, значит, чтобы легче было ей помраться. Ну и девица!

Нашли Анфису на следующее утро около плотины. В гробу она лежала невыразимо прекрасная, со своими влажными, тяжелыми косами червонного золота и виноватой улыбкой на бледных губах.

Какая-то старушка сказала мне:

— Ты на нее не гляди, милый. Нельзя. Ведь это ж красота такая, что сердце невзначай разорвется.

Но я не мог не смотреть на Анфису. Впервые в жизни я сам оказался свидетелем той безмерной женской любви, которая сильнее смерти. До тех пор я читал о ней только в книгах и слышал о ней. Почему-то мне тогда подумалось, что такой любви больше всего отпущено на долю русских женщин.

На похоронах было много народу. Коля шел далеко позади — боялся родных Анфисы. Я хотел было подойти к нему, но он бросился от меня, свернул в переулок и исчез.

Все было перевернуто на сердце, и я не мог больше написать ни строчки. Пришлось переехать с окраины в город, вернее — не в город, а на станцию, в низкий, темноватый дом железнодорожного врача Марии Дмитриевны Шацкой.

Незадолго до смерти Анфисы я проходил через городской сад. Около летнего кино сидело на земле множество мальчишек. Они, видимо, чего-то дожидались и трещали, как воробьи.

Но вот из кино появился седой человек, роздал мальчишкам билеты, и они, теснясь и переругиваясь, ринулись в зал.

Судя по молодежавому лицу, седому человеку было не больше сорока лет. Он добродушно прищурился, посмотрел на меня, помахал мне рукой и ушел.

Я решил разузнать у мальчишек, что это за чудак. Вошел в кино и просидел полтора часа на старой картине «Красные дьяволята», слушая свист, топанье, возгласы восторга и ужаса и сопенье мальчишек.

Когда сеанс окончился, я вышел вместе с ними и спросил, что это за седой человек покупал им билеты.

Тотчас вокруг меня собрался крикливый мальчишеский митинг, и все более или менее прояснилось.

Оказалось, что седой человек — брат железнодорожного врача Марии Дмитриевны Шацкой. Он больной,

«тронутый мозгами». Получает от Советского правительства большую пенсию. А за что — неизвестно. Раз в месяц, в тот день, когда ему приносят пенсию, он собирает всех стационарных мальчишек и ведет их в кино.

Мальчишки точно знали, когда придет пенсия. В этот день они с раннего утра толклись около дома Шацкого, сидели в привокзальном палисаднике и делали вид, что очутились там совершенно случайно.

Вот все, что мне удалось узнать от мальчишек. Не считая, конечно, подробностей, не имевших отношения к делу. Например, что мальчишки из Ямской слободы тоже хотели примазаться к Шацкому, но стационарные дали им сокрушительный отпор.

Моя хозяйка после смерти Анфисы так и не вставала с постели, все жаловалась на сердце. Однажды к ней пришел врач — Мария Дмитриевна Шацкая, и я с ней познакомился. Это была высокая, весьма решительная женщина в пенсне. До пожилых лет она сохранила внешность курсистки.

От нее я узнал, что брат ее геолог, что он психически болен и действительно получает персональную пенсию за свои научные труды, широко известные и у нас и в Европе.

— Незачем вам здесь жить, — тоном врача, не привыкшего к возражениям, сказала мне Мария Дмитриевна. — Скоро осень, польют дожди, тут будет непролазная слякоть. Да и обстановка мрачноватая, куда тут работать! Переезжайте ко мне. У меня мать-старушка, брат да я, а квартира при станции в пять комнат. Брат деликатный человек и мешать вам не будет.

Я согласился и переехал к Марии Дмитриевне. Так я познакомился с геологом Василием Дмитриевичем Шацким — одним из будущих героев моей повести «Кара-Бугаз».

В доме было действительно тихо, даже как-то сонно. Мария Дмитриевна весь день пропадала в амбулатории и по больным, старушка-мать сидела за пасьянсом, а геолог редко выходил из своей комнаты. С утра он прочитывал от доски до доски газеты, потом почти до ночи что-то быстро писал, исписывая за день толстую общую тетрадь.

Изредка с пустынной станции доносилась гудки единственного маневрового паровоза.



Шацкий сначала дичился меня, потом привык и начал разговаривать. В этих разговорах выяснился характер его болезни. С утра, пока Шацкий не уставал, он был совершенно здоровым человеком и интересным собеседником. Он много знал. Но при малейшей усталости начинался бред. В основе этого бреда лежала маннакальная идея, но развивалась она с неумолимой логикой.

История болезни Шацкого описана в «Кара-Бугазе». Во время геологической экспедиции в Среднюю Азию он попал в плен к белым. Его вместе с остальными пленными каждый день выводили на расстрел. Но Шацкому везло. Когда расстреливали по счету каждого пятого, он оказывался третьим, когда каждого второго — он оказывался первым. Он уцелел, но сошел с ума. Сестра с трудом отыскала его в Красноводске, где он жил в разбитом товарном вагоне.

Каждый день к вечеру Шацкий ходил на ливенскую почту и сдавал заказное письмо в Совет Народных Комиссаров. По просьбе Марии Дмитриевны, начальник почты эти письма в Москву не отправлял, а возвращал ей, и она их сжигала.

Меня интересовало, что пишет Шацкий в этих своих донесениях. Вскоре я это узнал.

Как-то вечером он вошел ко мне, когда я лежал и читал. Мои туфли стояли около койки, носками к середине комнаты.

— Никогда так не ставьте туфли,— сердито сказал Шацкий.— Это опасно.

— Почему?

— Сейчас узнаете.

Он вышел и через минуту принес мне лист бумаги.

— Прочтите! — сказал он.— Когда кончите, по постучите мне в стенку. Я приду и, если вы чего-нибудь не поняли, объясню.

Он ушел. Я начал читать:

«В Совет Народных Комиссаров. Неодиократию я предупреждал Совет Народных Комиссаров о приближении грозной опасности, сулящей гибель нашей стране.

Всем известно, что в геологических пластах заключена мощная материальная энергия (как, например, в каменном угле, нефти, сланце). Человек научился освобождать эту энергию и использовать ее.

Но мало кто знает, что в этих же пластах спрессо-

лина и психическая энергия тех эпох, когда эти пласты слагались.

Город Ливны стоит на самых мощных в Европе толщах девонского известняка. В девонский период на земле только что зарождалось сумеречное сознание, жестокое, лишенное малейших признаков человечности. Тусклым мозгом панцирных рыб был тогда преобладающим.

Эта зачаточная психическая энергия сконцентрировалась в моллюсках-аммонитах. Окаменелыми аммонитами буквально насыщены пласты девонского известняка.

Каждый аммонит — маленький мозг того периода и включает в себе огромную и злую психическую энергию.

За много веков люди, к счастью, не научились освобождать психическую энергию геологических напластований. Я говорю «к счастью» потому, что эта энергия, если бы ее удалось вывести из состояния покоя, погубила бы всю цивилизацию. Люди, отравленные ею, превратились бы в жестоких зверей и ими руководили бы только низменные, слепые инстинкты. А это означало бы гибель культуры.

Но, как я уже неоднократно сообщал Совету Народных Комиссаров, фашисты нашли способ развязать психическую энергию девона и оживлять аммониты.

Поскольку самые богатые толщи девона лежат под нашими Ливнами, то именно здесь фашисты и собираются выпустить эту энергию. Если это удастся, то невозможно будет предотвратить моральную, а затем и физическую гибель всего человеческого рода.

План освобождения психической энергии девона в районе Ливен разработан фашистами до мельчайших подробностей. Как все сложнейшие планы, он легко уязвим. Стоит не предусмотреть пустую мелочь — и план сорвется.

Поэтому, помимо необходимости немедленно окружить Ливны крупными воинскими соединениями, следует дать строжайшее распоряжение жителям города, чтобы они отказались от привычных поступков (поскольку план фашистов рассчитан именно на привычное течение жизни в Ливнах) и совершали бы поступки как раз обратные тем, каких могли бы ожидать фашисты. Поясню это примером. Все граждане Ливен, ложась спать, ставят свою обувь около постели носками к середине комнаты. Впредь следует ставить ее носками к стене. Именно эта

частность, возможно, не предусмотрена планом и от такого, в сущности, пустяка он будет сорван.

Должен добавить, что естественное (правда, ничтожное) просачивание психической заразы из пластов девона в Ливнах приводит к тому, что нравы этого города гораздо грубее, чем в других такого же размера и типа городах. Три города стоят на толщах девонского известняка: Кромы, Ливны и Елец. Недаром о них существовала старая поговорка: «Кромы — всем ворах хоромы, Ливны — ворами дивны, а Елец — всем ворах отец».

Эмиссаром фашистского правительства в Ливнах является местный аптекарь».

Теперь мне стало ясно, почему Шацкий повернул монгуфли носками к стене. Вместе с тем мне стало жутко. Я понял всю непрочность спокойствия в семье Шацких. Каждую минуту можно было ждать взрыва.

Вскоре я заметил, что эти взрывы случались не так уж редко, но мать Шацкого и Мария Дмитриевна умели скрывать их от посторонних.

На следующий вечер, когда все мы сидели за чайным столом и мирно разговаривали о гомеопатии, Шацкий взял крынку с молоком и спокойно вылил молоко в самоварную трубу. Старушка-мать вскрикнула. Мария Дмитриевна строго посмотрела на Шацкого и сказала:

— Ты чего чудишь?

Шацкий, виновато улыбаясь, начал объяснять, что именно такой дикий поступок с молоком и самоваром наверняка не предусмотрен фашистами в их плане и поэтому, конечно, разрушит этот план и спасет человечество.

— Иди к себе! — так же строго сказала Мария Дмитриевна, встала и с сердцем открыла настежь окна, чтобы выпустить из комнаты чад пригорелого молока.

Шацкий, опустив голову, покорно ушел к себе.

Но в свои «ясные часы» Шацкий охотно и много говорил. Тогда-то я и узнал, что он больше всего работал в Средней Азии и был одним из первых исследователей Кара-Бугазского залива.

Он обошел его восточные берега. В то время это считалось предприятием почти смертельным. Он описал их,

нанес на карту и открыл в сухих горах вблизи залива присутствие каменного угля.

От Шацкого я впервые узнал о Кара-Бугазе — устрашающем и загадочном заливе Каспийского моря, о неисчерпаемых запасах мирабилита в его воде, о возможности уничтожения пустыни.

Пустыню Шацкий ненавидел так, как можно ненавидеть только живое существо, — страстно и неумолимо. Он называл ее сухой язвой, струпом, раком, разъедающим землю, непонятной подлостью природы.

— Пустыня умеет только убивать, — говорил он. — Это смерть. Человечество должно понять это. Если оно, конечно, не спянуло с ума.

Странно было слышать такие слова от сумасшедшего.

— Ее надо скрутить в бараний рог, не давать ейдохнуть, бить ее непрерывно, смертельно, беспощадно. Бить без усталости, пока она не сдохнет. И на ее трупе вырастить влажный тропический рай.

Он разбудил во мне дремавшую ненависть к пустыне — отголосок монх детских переживаний.

— Если бы люди, — говорил Шацкий, — потратили на истребление пустыни только половину средств и сил, какие они тратят на взаимное убийство, то пустыня давно бы исчезла. Войне отдают все народные богатства и миллионы человеческих жизней. И науку и культуру. Даже поэзию сумели сделать сообщницей массовой религии.

— Вася! — громко сказала из своей комнаты Мария Дмитриевна. — Успокойся! Войны больше не будет! Никогда.

— Никогда — это ерунда! — неожиданно ответил ей Шацкий. — Не дальше как сегодня ночью оживут аммониты. И знаете где? Около Адамовской мельницы. Пойдемте прогуляемся и проверим.

Начинался бред. Мария Дмитриевна увела брата, дала ему «бехтеревки» и уложила в постель.

Мне же хотелось поскорей закончить роман, чтобы печатать новую книгу об уничтожении пустыни. Так появился еще неясный замысел «Кара-Бугаза».

Из Ливен я уехал поздней осенью. Перед отъездом я пошел к прежним хозяевам попрощаться.

Были сумерки. Лед трещал в колеях. Сады почти осыпались, но кое-где еще висели на яблонях сухие ро-

зовые листья. В застывшем небе гасло последнее облако, освещенное холодным закатом.

Полина шла рядом со мной и доверчиво держала меня за руку. От этого она казалась мне маленькой девочкой, и нежность к ней — одинокой и застенчивой — наполнила мое сердце.

Из городского кино долетала заглушенная музыка. В домах зажигались огни. Самоварный дымок висел над садами. За голыми ветками деревьев уже блестели звезды.

Непонятное волнение сжало мне сердце, и я подумал, что ради этой прекрасной земли, даже ради одной такой девушки, как Полина, нужно звать людей к борьбе за радостное и осмысленное существование. Все, что угнетает и печалит человека, все, что вызывает хотя бы одну слезу, должно быть вырвано с корнем. И пустыни, и войны, и несправедливость, и ложь, и пренебрежение к человеческому сердцу.

Полина дошла со мной до первых городских домов. Там я попрощался с ней. Она потупилась, начала расплетать свою русую косу и неожиданно сказала:

— Я буду много читать теперь, Константин Георгиевич.

Она подняла смущенные глаза, протянула мне руку и быстро пошла домой.

Я ехал в Москву в переполненном жестком вагоне.

Ночью я вышел покурить в тамбур, опустил окно и высунулся наружу.

Поезд несся по насыпи сквозь облетевшие леса. Их почти не было видно. Они больше угадывались по звуку — по тому торопливому эху, которое рождал в их чащах грохот колес. Воздух, будто остуженный на зернистом снегу, веял в лицо запахом подмерзшей листвы.

А над лесами мчалось, не отставая от поезда, дымясь от нестерпимо ярких звезд, осеннее полуночное небо. Коротко гремели мосты. Несмотря на быстрый ход поезда, можно было заметить под ними мгновениые отблески звезд в темной — не то болотной, не то речной — воде.

Поезд грохотал, гремел, в пару, в дыму. Пылали, догорая, свечи в дребезжащих фонарях. За окнами пролетали по траектории багровые искры. Паровоз ликующе кричал, опьяненный собственным стремительным ходом.

Я был уверен, что поезд мчит меня к счастью. Замысел новой книги уже роился у меня в голове. Я верил в то, что напишу ее.

Я пел, высунувшись из окна, какие-то бессвязные слова о ночи, о том, что нет на свете милее края, чем Россия. Ветер щекотал лицо, как распутившиеся душистые девичьи косы. Мне хотелось целовать эти косы, этот ветер, эту холодную родниковую землю. Но я не мог этого сделать и только бессвязно пел, как одержимый, и удивлялся красоте неба на востоке, где проступала очень слабая, очень нежная синева.

Я удивлялся прелести неба на востоке, его чистому, слабому сиянию, пока не сообразил, что это занимается новая заря.

Все, что я видел за окном, и весь тот хаос радости, что бился в груди, соединились непонятным для меня образом в решении — писать, писать и писать!

Но о чем писать? В тот миг для меня было безразлично, вокруг чего соберутся, к какой теме будут притянуты, как магнитом, мои мысли о прелести земли, мое страстное желание оградить ее от истощения, чахлости и смерти.

Через некоторое время эти мысли вылились в замысел «Кара-Бугаза». А могли вылиться и в замысел какой-нибудь другой книги, но обязательно наполненной тем же главным содержанием, теми же чувствами, что владели мной в то время. Очевидно, замысел почти всегда исходит из сердца.

С тех пор началась новая полоса жизни — так называемое «вынашивание» замысла, вернее — наполнение его реальным содержанием.

### Изучение географических карт

В Москве я достал подробную карту Каспийского моря и долго странствовал (в своем воображении, конечно) по его безводным восточным берегам.

Еще в детстве у меня появилось пристрастие к географическим картам. Я мог сидеть над ними по несколько часов, как над увлекательной книгой.

Я изучал течения неведомых рек, прихотливые морские побережья, проникал в глубину тайги, где маленькими кружочками были отмечены безыменные фактории, пошторял, как стихи, звучные названия — Югорский

Шар и Гебриды, Гвадаррама и Инвернесс, Онега и Кордильеры.

Постепенно все эти места оживали в моем воображении с такой ясностью, что, кажется, я мог бы написать вымышленные путевые дневники по разным материкам и странам.

Даже мой романтически настроенный отец не одобрял этого чрезмерного увлечения географическими картами.

Он говорил, что оно сулит мне много разочарований.

— Если жизнь сложится удачно,— говорил отец,— и ты сможешь путешествовать, то наживешь себе одни огорчения. Ты увидишь совсем не то, что выдумал. Например, Мексика может оказаться пыльной и нищей страной, а небо над экватором — серым и скучным.

Я не верил отцу. Я не мог представить, чтобы экваториальное небо бывало хоть когда-нибудь серым. По моему, оно было таким густым, что даже снега на Килиманджаро приобретали его индиговый цвет.

Но как бы то ни было, я ничего не мог поделаться с этим увлечением. А потом, в зрелом возрасте, для меня с очевидностью выяснилось, что отец был не совсем прав.

Когда я впервые попал, например, в Крым (его я до того вдоль и поперек изучил по карте), то, конечно, он оказался совсем другим, чем я о нем думал.

Но мое предварительное представление о Крыме заставило меня увидеть его с гораздо большей зоркостью, чем если бы я приехал в Крым без всякого понятия о нем.

На каждом шагу я находил то, чего не было в моем воображении, и эти новые черты Крыма особенно хорошо запоминались.

Мне кажется, что так же велика и роль нашего заочного «знакомства» с некоторыми людьми.

У каждого есть свое представление, скажем, о Гоголе. Но если бы могло случиться так, что мы увидели его в жизни, то заметили бы много черт, не совпадающих с нашим представлением о нем. И именно эти черты свежо и сильно врезались бы в память.

А если бы этого предварительного представления не было, то, может быть, мы многого и не заметили бы в Гоголе, и он оставался бы для нас совершенно обычным человеком.

Мы привыкли представлять себе Гоголя несколько унылым, мнительным и флегматичным. Поэтому мы сразу заметили бы те его качества, которые далеки от этого образа,— блеск глаз, живость, даже некоторую вертливость, смешливость, изящество одежды и сильный украинский акцент.

Эти мысли мне трудно выразить с полной убедительностью, но я думаю, что это именно так.

Привычка странствовать по картам и видеть в своем воображении разные места помогает правильно увидеть их в действительности.

На этих местах всегда остается как бы легчайший след вашего воображения, дополнительный цвет, дополнительный блеск, некая дымка, не позволяющая вам смотреть на них скучными глазами.

Итак, в Москве я уже странствовал по угрюмым берегам Каспийского моря и одновременно с этим читал много книг, научных докладов и даже стихов о пустыне — почти всё, что мог найти в Ленинской библиотеке.

Я читал Пржевальского и Анучина, Свена Гедина и Вамбери, Мак-Гахама и Грум-Гржимайло, дневники Шевченко на Мангышлаке, историю Хивы и Бухары, докладные записки лейтенанта Бутакова, труды путешественника Карелина, геологические изыскания и стихи арабских поэтов.

Великолепный мир человеческой пытливости и знаний открылся передо мной.

Наконец пришла пора ехать на Каспий, в Кара-Бугаз, но у меня не было денег.

Деньги я все же, хотя и с великим трудом, достал и поехал в Саратов, а оттуда спустился по Волге до Астрахани. Там я и застрял. Скучные мои средства кончились, и мне пришлось, чтобы двинуться дальше, написать в Астрахани несколько очерков для журнала «Тридцать дней» и для астраханской газеты.

Для того чтобы написать эти очерки, я ездил в Астраханскую степь и на Эмбу. Эти поездки также помогли мне написать книгу о Кара-Бугазе.

На Эмбу я плыл по Каспийскому морю вдоль берегов, заросших широкой полосой тростника. Старый колесный пароход назывался странно — «Геллотроп». Как на всех старых пароходах, на нем было много красной меди. Поручни, компасы, бинокли, всякие приборы и даже высокие пороги кают — все это было медное. «Ге-



лиотроп» напоминал начищенный кирпичом до яркого блеска бокастый дымящийся самовар, болтающийся на невысоких волнах мелкого моря.

Тюлени лежали в теплой воде этого моря вверх брюхом, как купальщики. Изредка они лениво шевелили пухлыми ластами.

На рыбацких плавучих пристанях — рыбницах — свистели и хохотали вслед «Гелиотропу» белозубые девушки в синих матросских робах. Щеки у них были залеплены чешуей.

Белые облака и белые песчаные острова отражались в глянцевиной воде, и временами их было невозможно отличить друг от друга.

Городишко Гурьев курился кизячным дымком, а на Эмбу я ехал через безводную степь в только что пущенном моторном поезде.

В Доссоре на Эмбе сопели среди озер с ярко-розовой водой нефтяные насосы, пахло рассолом. В окнах домов не было стекол. Их заменяли частые металлические сетки. На них сидело снаружи столько гнуса, что в комнатах было темно.

При мне одного из инженеров укусила фаланга. Он через день умер.

Средняя Азия дышала зноем. Звезды по ночам светили сквозь пыль. Старые казахи ходили по улицам в широких коротких шароварах из набивного ситца с пестрым рисунком — по розовой ткани были разбросаны огромные черные пны и зеленые листья.

Но из каждой поездки я возвращался в Астрахань, в деревянный домик одного из сотрудников астраханской газеты. Он затащил меня к себе, и я у него прижился.

Домик стоял на берегу Варвацьева канала, в маленьком саду, где горами цвела настурция.

Я писал свои очерки в беседке — такой крошечной, что там мог поместиться только один человек. Там же я и ночевал.

Жена журналиста, болезненная и приветливая молодая женщина, весь день тайком плакала на кухне, перебирая распашонки, — у нее два месяца назад умер только что родившийся мальчик.

Из Астрахани я уехал в Махачкалу, Баку и Красноводск. Все дальнейшее описано у меня в «Кара-Бугазе».

Я возвратился в Москву, но через несколько дней

мне опять пришлось уехать корреспондентом на Северный Урал — в Березники и Соликамск.

Из неправдоподобной азиатской жары я попал в край сумрачных елей, болот, покрытых лишаями гор и ранней зимы.

Там я начал писать «Кара-Бугаз» — в гостинице в Соликамске. Она помещалась в бывшем монастырском здании.

В гостинице пахло XVII веком — ладаном, хлебом, кожами. По ночам сторожа в тулупах отбивали часы в чугунные доски. В мутном свете снегов белели древние алебастровые соборы времен «царствования Строгановых».

Ничто здесь не напоминало об Азии, и от этого мне было почему-то легче писать о ней.

Вот очень короткая, переданная скороговоркой, история «Кара-Бугаза». Нет возможности не только рассказать, но просто перечислить все встречи, поездки, разговоры и случаи, которые были связаны у меня с Кара-Бугазом.

Вы, конечно, заметили, что только часть — и то, пожалуй, небольшая — собранного материала вошла в повесть. Большая часть его осталась за бортом книги.

Но жалеть об этом не стоит. Этот материал в любое время может ожить на страницах новой книги.

Я писал «Кара-Бугаз» и не думал о правильном расположении материала. Я располагал его в той последовательности, в какой он накапливался во время поездки по берегам Каспийского моря.

После выхода «Кара-Бугаза» критики нашли в этой повести «композицию по спирали» и очень этому радовались. Но я в этом не виноват ни умом, ни сердцем.

Когда я работал над «Кара-Бугазом», я думал главным образом о том, что многое в нашей жизни наполнено лирическим и героическим звучанием, которое можно выразить живописно и точно. Будь то повесть о глауберовой соли или о постройке бумажной фабрики в северных лесах.

Все это способно с огромной силой ударить по сердцам, но при непременно условии, что человек, пишущий эти повести, стремится к правде, верит в силу разума, в спасительную власть сердца и любит землю.

О, память сердца! Ты сильнее  
Рассудка памяти печальной...

Батюшков

Читатели часто спрашивают людей пишущих, каким образом и долго ли они собирают материал для своих книг. И обыкновенно очень удивляются, когда им отвечают, что никакого нарочитого собирания материала нет и не бывает.

Сказанное выше не относится, конечно, к изучению материала научного и познавательного, необходимого писателю для той или иной книги. Речь идет только о наблюдениях живой жизни.

Жизненный материал — все то, что Достоевский называл «подробностями текущей жизни», — не изучают. Просто писатели живут, если можно так выразиться, внутри этого материала, — живут, страдают, думают, радуются, участвуют в больших и малых событиях, и каждый день жизни оставляет, конечно, в их памяти и сердце свои заметы и свои зарубки.

Необходимо, чтобы у читателей (а кстати, и у иных молодых писателей) исчезло представление о писателе как о человеке, бродящем повсюду с неизменной записной книжкой в руках, как о профессиональном «записывателе» и соглядатае жизни.

Тот, кто будет заставлять себя накапливать наблюдения и носиться со своими записями («как бы чего не забыть»), конечно, наберет без разбору груды наблюдений, но они будут мертвыми. Иначе говоря, если эти наблюдения перенести из записной книжки в ткань живой прозы, то почти всегда они будут терять свою выразительность и выглядеть чужеродными кусками.

Никогда нельзя думать, что вот этот куст рябины или вот этот седой барабанщик в оркестре понадобятся мне когда-нибудь для рассказа, и потому я должен особенно пристально, даже несколько искусственно, их наблюдать. Наблюдать, так сказать, «по долгу службы», из чисто деловых побуждений.

Никогда не следует насильственно втискивать в прозу хотя бы и очень удачные наблюдения. Когда понадобится, они сами войдут в нее и станут на место. Писатель часто бывает удивлен, когда какой-нибудь давно и начисто позабытый случай или какая-нибудь подроб-

ность вдруг расцветают в его памяти именно тогда, когда они бывают необходимы для работы.

Одна из основ писательства — хорошая память.

Может быть, все эти мысли станут яснее, если я расскажу о том, как был написан мною рассказ «Телеграмма».

Я поселился поздней осенью в деревне под Рязанью, в усадьбе известного в свое время гравера Пожалостина. Там одиноко дожидвала свой век дряхлая ласковая старушка — дочь Пожалостина, Катерина Ивановна. Единственная ее дочь, Настя, жила в Ленинграде и совсем позабыла о матери — она только раз в два месяца присылала Катерине Ивановне деньги.

Я занял одну комнату в гулком, большом доме с чернелыми бревенчатыми стенами. Старушка жила на другой половине. К ней надо было проходить через пустые сени и несколько комнат со скрипучими, пыльными половицами.

Кроме старушки и меня, в доме больше никто не жил. Дом этот считался мемориальным.

Позади двора с обветшалыми службами шумел на ветру большой и такой же запущенный, как и дом, сырой и озябший сад.

Я приехал работать и первое время писал у себя в комнате с утра до темноты. Темнело рано. В пять часов надо было уже зажигать старую керосиновую лампу с лбажуром в виде тюльпана из матового стекла.

Но потом я перенес работу на вечер. Было жаль прожигивать немногие дневные часы в комнате, когда я мог в это время бродить по лесам и лугам, уже готовым к приходу зимы.

Я бродил подолгу и видел много примет осени. По утрам в лужах под стеклянной коркой льда были видны пузыри воздуха. Иногда в таком пузыре лежал, как в полом хрустальном шаре, багровый или лимонный лист осины или березы. Мне нравилось разбивать лед, доставать эти замерзшие листья и приносить их домой. Скоро у меня на подоконнике собралась целая куча таких листьев. Они отогрелись, и от них тянуло запахом спирта.

Лучше всего было в лесах. По лугам дул ветер, а в лесах стояла похрустывающая ледком сумрачная тишина.

на. Может быть, в лесах было особенно тихо от темных облаков. Они так низко нависали над землей, что кроны сосен закутывались подчас туманом.

Иногда я ходил удить рыбу на протоки Оки. Там в зарослях от терпкого запаха ивовых листьев как будто сводило кожу на лице. Вода была черная, с глухим зеленоватым отливом. Рыба брала по осени редко и осторожно.

А потом полили дожди, растрепали сад, прибили к земле почернелую траву. В воздухе запахло водянистым снегом.

Много было примет осени, но я не старался запоминать их. Однако я знал твердо — что никогда не забуду этой осенней горечи, чудесным образом соединенной с легкостью на душе и простыми и ясными мыслями.

Чем угрюмее были тучи, волочившие по земле мокрые, обтрепанные подола, чем холоднее дожди, тем свежее становилось на сердце, тем легче, как бы сами по себе, ложились на бумагу слова.

Важно было ощущение осени, тот строй чувств и мыслей, какой она вызывала. А все, что называется материалом, — люди, события, отдельные частности и подробности, — это, как я знал по опыту, надежно спрятано до поры до времени где-то внутри этого ощущения осени. И как только я вернусь к этому ощущению в каком-нибудь рассказе, то все это тотчас появится в памяти и перейдет на бумагу.

Я не изучал тот старый дом, где жил, как материал для рассказа. Я просто полюбил его за угрюмость и тишину, за бестолковый стук ходиков, постоянный запах березового дыма из печки, старые гравюры на стенах (их осталось очень мало, так как почти все гравюры у Катерины Ивановны забрал областной музей): «Автопортрет» Брюллова, «Несение креста», «Птицелов» Перова и портрет Полины Виардо.

Стекла в окнах были старенькие и кривые. Они переливались радужным блеском, и язычок свечи отражался в них почему-то два раза.

Вся мебель — диваны, столы и стулья — была сделана из светлого дерева, блестела от времени и пахла кипарисом, как иконы.

В доме было много смешных и уже ненужных вещей: медные ночники в виде факелов, замки с секретом, фарфоровые пузатые флакончики с окаменелыми кремами

и надписью на этикетках «Париж», запыленный букетик камелий, сделанный из воска (он висел на огромном заржавленном костыле), круглая щеточка, чтобы стирать с ломберного стола записанные мелком карточные изытки.

Было три толстых календаря — за 1848, 1850 и 1852 годы. Там в списках придворных дам я нашел Наталью Николаевну Ланскую — жену Пушкина — и Елизавету Ксаверьевну Воронцову — женщину, связанную с Пушкиным любовью. И почему-то мне стало грустно от этого. До сих пор не понимаю: почему? Может быть, оттого, что в доме было мертвенно-тихо. Далеко на Оке, около Кузьминского шлюза, кричал пароход, и неотступно вспоминались стихи:

Ненастный день потух; ненастной ночи мгла  
По небу стелется одеждою свицовой;  
Как привидение, за рошею сосновой  
Луна туманная взошла...

По вечерам я приходил к Катерине Ивановне пить чай.

Она сама уже плохо видела, и к ней прибегала раза два-три за день для всяких мелких хозяйственных поделок соседская девочка Нюрка, по характеру своему угрюмая и всем недовольная.

Нюрка ставила самовар и пила с нами чай, громко высасывая его из блюдечка. На все тихие речи Катерины Ивановны Нюрка отзывалась только одними словами:

— Ну вот еще! Чего выдумали!

Я ее стыдил, но она и мне говорила:

— Ну вот еще! Будто я ничего не понимаю, будто я совсем серая!

Но на деле Нюрка, пожалуй, единственная любила Катерину Ивановну. И вовсе не за то, что иногда Катерина Ивановна дарила ей то старую бархатную шляпу с чучелом птицы колибри, то стеклярусовую наколку или желтое от времени кружево.

Катерина Ивановна жила когда-то с отцом в Париже, знала Тургенева, была на похоронах Виктора Гюго. Она рассказывала мне об этом, а Нюрка говорила:

— Ну вот еще! Чего выдумали!

Но Нюрка долго не засиживалась и уходила домой укладывать спать «своих младшеньких».

Катерина Ивановна никогда не выпускала из рук старенькую атласную сумочку. Там у нее хранились все ее богатства: письма Насти, скудные деньги, паспорт, фотография той же Насти — красивой женщины с тонкими изломанными бровями и затуманенным взглядом — и пожелтевшая фотография самой Катерины Ивановны, когда она была еще девушкой, — воплощение нежности и чистоты.

Катерина Ивановна никогда ни на что не жаловалась, кроме как на старческую слабость. Но я знал от соседей и от бестолкового доброго старика Ивана Дмитриевича, сторожа при пожарном сарае, что у Катерины Ивановны не жизнь, а одно горе горькое. Настя вот уже четвертый год как не приезжает, — забыла, значит, мать, а дни у Катерины Ивановны считанные. Не ровен час, так и умрет она, не повидав дочери, не приласкав ее, не погладив ее русые волосы «очаровательной красоты» (так говорила о них Катерина Ивановна).

Настя присылала Катерине Ивановне деньги, но и то, бывало, с перерывами. Как Катерина Ивановна жила во время этих перерывов — никому не известно.

Однажды Катерина Ивановна попросила меня проводить ее в сад, — в нем она не была с ранней весны, все не пускала слабость.

— Дорогой мой, — сказала Катерина Ивановна, — уж вы не взыщите с меня, со старой. Хочется мне напоследок посмотреть сад. В нем я еще девушкой зачитывалась Тургеневым. Да и кое-какие деревья я посадила сама.

Она одевалась очень долго. Надела старый теплый салопчик, теплый платок и, крепко держась за мою руку, медленно спустилась с крылечка.

Уже вечерело. Сад облетел. Палые листья мешали идти. Они громко трещали и шевелились под ногами. На зеленеющей заре зажглась звезда. Далеко над лесом висел серп месяца.

Катерина Ивановна остановилась около обветренной липы, оперлась о нее рукой и заплакала.

Я крепко держал ее, чтобы она не упала. Плакала она, как очень старые люди, не стыдясь своих слез.

— Не дай вам бог, родной мой, — сказала она мне, — дожить до такой одинокой старости! Не дай вам бог!

Я осторожно повел ее домой, а вечером Катерина Ивановна дала мне почтять связку желтых от старости писем, оставшихся от отца.





Там были письма художника Крамского и гравера Иордана из Рима. Иордан писал о своей дружбе со знаменитым датским скульптором Торвальдсенем, об удивительных мраморных статуях Латерана.

Я читал эти письма, как всегда, ночью. Ветер проносился за стеной, шумел в мокрых голых кустах, и лампа потрескивала, как бы разговаривая от скуки сама с собой. Почему-то странно и хорошо было читать эти письма из Рима именно здесь, в ненастную ночь, слушая, как деревенский сторож стучит у околицы в колотушку.

Тогда я заинтересовался Торвальдсенем, достал потом в Москве все, что можно было прочесть о нем, узнал о его дружбе со сказочником Христианом Андерсеном и несколько лет спустя написал об Андерсене рассказ. Этим рассказом я тоже был обязан старому деревенскому дому.

А еще через несколько дней Катерина Ивановна слегла и уже не вставала. У нее ничего не болело. Жаловалась она только на усталость.

Я послал телеграмму Насте в Ленинград. Нюрка перебралась в комнату Катерины Ивановны, чтобы на всякий случай быть поближе.

Однажды ночью Нюрка сильно застучала ко мне в стенку и крикнула испуганным голосом:

— Идите! Бабка помирает!

Катерина Ивановна лежала без сознания и только чуть заметно дышала. Я попробовал пульс — он не бился, а тихо дрожал, тоненький, как паутина.

Я оделся, зажег фонарь и пошел в сельскую больницу за доктором. Больница стояла далеко в лесу. Черный ветер нес с порубки запах опилок. Была поздняя ночь, даже не лаяли собаки.

Врач впрыснул Катерине Ивановне камфору, повздыхал и ушел, сказав напоследок, что это агония, но длиться она будет долго, потому что у Катерины Ивановны хорошее сердце.

Умерла Катерина Ивановна к утру. Мне пришлось закрывать ей глаза. Я, должно быть, никогда не забуду, как я осторожно прижал ее полузакрытые веки и неожиданно из-под них скатилась тусклая слеза.

Нюрка, задыхаясь от плача, дала мне помятый конверт и сказала:

— Тут Катерина Ивановна велела, в чем ее хоронить.

Я вскрыл конверт, прочел несколько слов, написанных дрожащей старческой рукой, — пожелание о том, что на-

дочь на нее после смерти,— и отдал записку женщинам, что пришли утром приготовить Катерину Ивановну в последний ее путь.

Потом я пошел на кладбище выбрать место для могилы, а когда вернулся, Катерина Ивановна уже лежала, прибранная, на столе, и я остановился, пораженный.

Она лежала тоненькая, как девушка, в старинном бальном платье золотистого цвета, со шлейфом. Шлейф был свободно обернут вокруг ее ног. Из-под него были видны маленькие, черные замшевые туфли. На руках, державших свечу, были туго натянуты до локтя белые лайковые перчатки. Букет из шелковых алых роз был приколот к корсажу.

Лицо было закрыто фатой, и если бы не сухие, сморщенные локти, видневшиеся между рукавом и краем белых перчаток, можно было бы подумать, что это лежит молодая и стройная женщина.

Настя опоздала на три дня и приехала уже после похорон.

Все рассказанное выше — это и есть тот писательский житейский материал, из которого рождается проза.

Характерно, что все обстоятельства, все подробности, самая обстановка деревенского дома и осени — все это было в полном соответствии с состоянием Катерины Ивановны, с той тяжелой душевной драмой, какую она переживала в последние свои дни.

Но, конечно, далеко не все увиденное и передуманное мною тогда вошло в «Телеграмму». Многое осталось за рамками рассказа, как это обычно и происходит.

Сплошь и рядом для короткого рассказа нужно, как говорится на писательском языке, «поднять» большой материал, чтобы выбрать из него самое ценное.

Мне не раз пришлось наблюдать работу хороших актеров, игравших второстепенные роли. У героя, которого играл такой актер, было всего две-три фразы на протяжении всей пьесы, но актер придирчиво расспрашивал автора не только о характере и внешности этого человека, но и о его биографии, о той среде, из которой он вышел.

Это точное знание нужно было актеру, чтобы правильно произнести свои две-три фразы.

То же самое происходит и с писателями. Запас материала должен быть гораздо больший, чем то количество его, которое понадобится для рассказа.

Я рассказал о «Телеграмме». Но у каждого рассказа своя история и свой материал.

Однажды зимой я жил в Ялте. Когда я открывал окна, в комнату залетали сухие дубовые листья. Они ползали от ветра по полу и шуршали. Это были листья не вековых дубов, а того низкорослого кустарникового дубняка, каким зарастают склоны крымской Яйлы.

По ночам холодный ветер дул с гор, присыпанных снегом. Снег магически сверкал в свете шевелящихся звезд.

Поэт Асеев, живший рядом, писал стихи о героической Испании (это было во время испанских событий), о «древнем небе Барселоны».

Поэт Владимир Луговской пел своим мощным басом старинные песни английских матросов:

Прощай, земля! Корабль уходит в море,  
И чайки след остался за кормой...

По вечерам мы собиравлись около радио и слушали сводки о боях в Испании.

Мы ездили в Симеизскую обсерваторию. Седой астроном показывал нам звездное небо — сияние редких и головокругжительных далеких огней в необъятных провалах неба.

Изредка до Ялты доносилась учебная стрельба кораблей Черноморского флота. Тогда вздрагивала в графинах вода, тихий гул перекачивался по Яйле, запутывался в сосновой хвое и затихал.

Ночью в небе рокотали невидимые самолеты.

Я читал книгу немецкого писателя Бруно Франка о Сервантесе. Книг было мало, и потому я прочел ее несколько раз.

В то время четырехлапая свастика начала быстро расползаться по Европе. Генрих Манн, Эйнштейн, Ремарк, Стефан Цвейг — благородные люди Германии — покинули свою родину, не желая быть сообщниками «коричневой чумы» и бесноватого негодяя Гитлера. Изгнанники унесли в своих сердцах непоколебимую веру в победу гуманизма.

Гайдар привел в наш дом огромную лохматую овчарку со смеющимися желтыми глазами. Он говорил, что это пастушеская горная собака.

Гайдар прикидывался, что ничего не понимает в литературе. Он вообще любил прикидываться простаком.

Черное море заунывно шумело по ночам. Шумело оно

и днем, но тогда его не было так хорошо слышно. Под шум моря было легче писать.

Вот целый ряд подробностей тогдашней «текущей жизни». Из них сложился рассказ «Созвездие Гончих Псов». В этом рассказе вы найдете почти все, о чем я упоминал выше: сухие дубовые листья, седого астронома, гул канонады, Сервантеса, людей, непоколебимо верящих и победу гуманизма, горную овчарку, ночной полет и многое другое.

Все это спаяно, конечно, в определенном соотношении и вошло в определенный сюжет.

Когда я писал этот рассказ, я все время старался сохранить в себе ощущение холодного ветра с ночных гор. Это было как бы лейтмотивом рассказа.

### **АЛМАЗНЫЙ ЯЗЫК**

Двишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок; все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное название еще драгоценнее самой вещи.

*Гоголь*

### **Родник в мелколесье**

Многие русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому как драгоценные камни излучают таинственный блеск.

Я понимаю, конечно, что ничего таинственного в их блеске нет и что любой физик легко объяснит это явление законами оптики.

Но все же блеск камней вызывает ощущение таинственности. Трудно примириться с мыслью, что внутри камня, откуда льются сияющие лучи, нет собственного источника света.

Это относится ко многим камням, даже к такому громкому, как аквамарин. Цвет его нельзя точно определить. Для него еще не нашли подходящего слова.

Аквамарин считается по своему имени (аквамарин — морская вода) камнем, передающим цвет морской волны. Это не совсем так. В прозрачной его глубине есть оттенки мягкого зеленоватого цвета и бледной синевы. Но все своеобразие аквамарина заключается в том, что он ярко

освещен изнутри совершенно серебряным (именно серебряным, а не белым) огнем.

Кажется, что если взглядеться в аквамарин, то увидишь тихое море с водой цвета звезд.

Очевидно, эти цветовые и световые особенности аквамарины и других драгоценных камней и вызывают у нас чувство таинственности. Их красота все же кажется нам необъяснимой.

Сравнительно легко объяснить происхождение «поэтического излучения» многих наших слов. Очевидно, слово кажется нам поэтическим в том случае, когда оно передает понятие, наполненное для нас поэтическим содержанием.

Но действие самого слова (а не понятия, которое оно выражает) на наше воображение, хотя бы, к примеру, такого простого слова, как «зарница», объяснить гораздо труднее. Самое звучание этого слова как бы передает медленный ночной блеск далекой молнии.

Конечно, это ощущение слов очень субъективно. На нем нельзя настаивать и делать его общим правилом. Так я воспринимаю и слышу это слово. Но я далек от мысли называть это восприятие другим.

Бесспорно лишь то, что большинство таких поэтических слов связано с нашей природой.

Русский язык открывается до конца в своих понятиях волшебных свойствах и богатстве лишь тому, кто кровно любит и знает «до косточки» свой народ и чувствует сокровенную прелесть нашей земли.

Для всего, что существует в природе: воды, воздуха, неба, облаков, солнца, дождей, лесов, болот, рек и озер, лугов и полей, цветов и трав,— в русском языке есть великое множество хороших слов и названий.

Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емкий и меткий наш словарь, у нас есть, помимо книг таких знатоков природы и народного языка, как Кайгородов, Пришвин, Горький, Алексей Толстой, Аксаков, Лесков, Бунин и многие другие писатели, главный и неиссякаемый источник языка — сам народ: крестьяне, паромщики, пастухи, пасечники, охотники, рыбаки, старые рабочие, лесные объездчики, бакеищики, кустари, сельские живописцы, ремесленники и все те бывалые люди, у которых что ни слово, то золото.

Особенно ясными для меня стали эти мысли после встречи с одним лесником.

Мне кажется, что я где-то уже рассказывал об этом. Если это верно, то прошу простить меня, но придется погорить старый рассказ. Он имеет значение для разговора о русской речи.

Шли мы с этим лесником по мелколесью. В незапамятные времена здесь было большое болото, потом оно высохло, заросло, и сейчас о нем напоминал только глубокий, вековой мох, небольшие окна-колодцы в этом мху да обилие багульника.

Я не разделяю распространенного пренебрежения к мелколесью. В мелколесье много своеобразной прелести. Юные деревца всех пород — ель и сосна, осина и береза — растут дружно и тесно. Там всегда светло и чисто, как в прибранной к празднику крестьянской горнице.

Каждый раз, когда я попадаю в мелколесье, мне кажется, что именно в этих местах художник Нестеров нашел многие черты своего пейзажа. Здесь каждый стебелек и веточка живут своей отдельной живописной жизнью и потому особенно заметны и хороши.

Кое-где по мху, как я уже говорил, попадались маленькие круглые окна-колодцы. Вода в них казалась неподвижной. Но если приглядеться, то можно было увидеть, как из глубины оконца все время подымается тихая струя и в ней вертятся сухие листики брусники и желтые сосновые иглы.

Мы остановились у одного такого оконца и напились воды. Она пахла скипидаром.

— Родник! — сказал лесник, глядя, как из оконца всплыл и тотчас пошел на дно неистово барахтавшийся жук. — Должно, Волга тоже начинается из такого оконца?

— Да, должно быть, — согласился я.

— Я большой любитель разбирать слова, — неожиданно сказал лесник и смущенно усмехнулся. — И вот скажи ми милость! Бывает же так, что пристанет к тебе одно слово и не дает покоя.

Лесник помолчал, поправил на плече охотничье ружье и спросил:

— Вы, говорят, вроде книги пишете?

• — Да, пишу.

— Значит, соображение слов у вас должно быть обдуманное. А я вот как ни прикидываю, а редко какому слову найду объяснение. Идешь по лесу, перебираешь в голове слово за словом, — и так их прикинешь и этак: откуда они взялись? Да ничего не получается. Познаний

у меня нет. Не обучен. А бывает, найдешь слову объяснение и радуешься. А чему радоваться? Мне не ребятам учить. Я лесной человек — простой обходчик.

— А какое слово к вам привязалось сейчас? — спросил я.

— Да вот этот самый «родник». Я это слово давно заметил. Все его обхаживаю. Надо думать, получилось оно оттого, что тут вода зарождается. Родник родит реку, а река льется-течет через всю нашу матушку-землю, через всю родину, кормит народ. Вы глядите, как это складно выходит, — родник, родина, народ. И все эти слова как бы родня между собой. Как бы родня! — повторил он и засмеялся.

Простые эти слова открыли мне глубочайшие корни нашего языка.

Весь многовековой опыт народа, вся поэтическая сторона его характера заключались в этих словах.

#### Язык и природа

Я уверен, что для полного овладения русским языком, для того чтобы не потерять чувство этого языка, нужно не только постоянное общение с простыми русскими людьми, но также общение с пажитями и лесами, водами, старыми ивами, с пересвистом птиц и с каждым цветком, что кивает головой из-под куста лещины.

Должно быть, у каждого человека случается свое счастливое время открытий. Случилось и у меня одно такое лето открытий в лесистой и луговой стороне Средней России — лето, обильное грозами и радугами.

Прошло это лето в гуле сосновых лесов, журавлиных криках, в белых громадах кучевых облаков, игре ночного неба, в непролазных пахучих зарослях таволги, в воинственных петушиных воплях и песнях девушек среди вечеряющих лугов, когда закат золотит девичьи глаза и первый туман осторожно курится над омутами.

В это лето я узнал наново — на ощупь, на вкус, на запах — много слов, бывших до той поры хотя и известными мне, но далекими и непережитыми. Раньше они вызвали только один обычный скудный образ. А вот теперь оказалось, что в каждом таком слове заложена бездна живых образов.

Какие же это слова? Их так много, что трудно решить

даже, с каких слов начинать. Легче всего, пожалуй, с «дождевых».

Я, конечно, знал, что есть дожди морозящие, слепые, обложные, грибные, спорые, дожди, идущие полосами — философские, косые, сильные окатные дожди и, наконец, ливни (проливни).

Но одно дело — знать умозрительно, а другое дело — испытать эти дожди на себе и понять, что в каждом из них заключена своя поэзия, свои признаки, отличные от признаков других дождей.

Тогда все эти слова, определяющие дожди, оживают, оцепеневают, наполняются выразительной силой. Тогда за каждым таким словом видишь и чувствуешь то, о чем говоришь, а не произносишь его машинально, по одной привычке.

Между прочим, существует своего рода закон воздействия писательского слова на читателя.

Если писатель, работая, не видит за словами того, о чем он пишет, то и читатель ничего не увидит за ними.

Но если писатель хорошо видит то, о чем пишет, то самые простые и порой даже стертые слова приобретают новизну, действуют на читателя с разительной силой и вызывают у него те мысли, чувства и состояния, какие писатель хотел ему передать.

В этом, очевидно, и заключается тайна так называемого подтекста.

Но вернемся к дождям.

С ними связано много примет. Солнце садится в тучи, дым припадает к земле, ласточки летают низко, без времени голосят по дворам петухи, облака вытягиваются по небу длинными туманными прядями — все это приметы дождя. А незадолго перед дождем, хотя еще и не натянуло тучи, слышится нежное дыхание влаги. Его, должно быть, приносит оттуда, где дожди уже пролились.

Но вот начинают капать первые капли. Народное слово «капать» хорошо передает возникновение дождя, когда еще редкие капли оставляют темные крапинки на пыльных дорогах и крышах.

Потом дождь расходится. Тогда-то и возникает чудесный прохладный запах земли, впервые смоченной дождем. Он держится недолго. Его вытесняет запах мокрой травы, особенно крапивы.

Характерно, что независимо от того, какой будет дождь, его, как только он начинается, всегда называют



очень ласково — дождиком. «Дождик собрался», «дождик припустил», «дождик траву обмывает».

Разберемся в нескольких видах дождя, чтобы понять, как оживает слово, когда с ним связаны непосредственные впечатления, и как это помогает писателю безошибочно им пользоваться.

Чем, например, отличается спорый дождь от грибного?

Слово «спорый» означает — быстрый, скорый. Спорый дождь льется отвесно, сильно. Он всегда приближается с набегающим шумом.

Особенно хорош спорый дождь на реке. Каждая его капля выбивает в воде круглое углубление, маленькую водяную чашу, подскакивает, снова падает и несколько мгновений, прежде чем исчезнуть, еще видна на дне этой водяной чаши. Капля блестит и похожа на жемчуг.

При этом по всей реке стоит стеклянный звон. По высоте этого звона догадываешься, набирает ли дождь силу или стихает.

А мелкий грибной дождь сонно сыплется из низких туч. Лужи от этого дождя всегда теплые. Он не звенит, а шепчет что-то свое, усыпительное, и чуть заметно возится в кустах, будто трогает мягкой лапкой то один лист, то другой.

Лесной перегной и мох впитывают этот дождь не торопясь, основательно. Поэтому после него начинают буйно лезть грибы — липкие маслята, желтые лисички, боровики, румяные рыжики, опенки и бесчисленные поганки.

Во время грибных дождей в воздухе попахивает дымком и хорошо берет хитрая и осторожная рыба — плотва.

О слепом дожде, идущем при солнце, в народе говорят: «Царевна плачет». Сверкающие на солнце капли этого дождя похожи на крупные слезы. А кому же и плакать такими сияющими слезами горя или радости, как не сказочной красавице царевне!

Можно подолгу следить за игрой света во время дождя, за разнообразием звуков — от мерного стука по тесовой крыше и жидкого звона в водосточной трубе до сплошного, напряженного гула, когда дождь льет, как говорится, стеной.

Все это — только ничтожная часть того, что можно сказать о дожде. Но и этого довольно, чтобы возмутить-

ся словами одного писателя, сказавшего мне с кислой гримасой:

— Я предпочитаю живые улицы и дома вашей утомительной и мертвой природе. Кроме неприятностей и неудобств, дождь, конечно, ничего не приносит. Вы просто фантазер!

Сколько превосходных слов существует в русском языке для так называемых небесных явлений!

Летние грозы проходят над землей и «заваливаются» за горизонт. В народе любят говорить, что туча не прошла, а свалилась.

Молнии то с размаху бьют в землю прямым ударом, то полыхают на черных тучах, как вырванные с корнем мстивые золотые деревья.

Радуги сверкают над дымной, сырой далью. Гром перекатывается, грохочет, ворчит, рокошет, встряхивает землю.

Недавно в деревне один маленький мальчик пришел во время грозы ко мне в комнату и, глядя на меня большими от восторга глазами, сказал:

— Пойдем смотреть грома!

Он был прав, сказав это слово во множественном числе: гроза была обложная, и гремело сразу со всех сторон.

Мальчик сказал «смотреть грома», и я вспомнил слова из «Божественной комедии» Данте о том, что «солнца луч умолк». И тут и там было смещение понятий. Но оно придавало слову необычайную выразительность.

Я уже упоминал о зарнице.

Чаще всего зарницы бывают в июле, когда созревают хлеба. Поэтому и существует народное поверье, что зарницы «зарят хлеб» — освещают его по ночам, — и от этого хлеб наливаются быстрее. В Калужской области зарницы называют «хлебозар».

Рядом с зарницей стоит в одном поэтическом ряду слово «заря» — одно из прекраснейших слов русского языка.

Это слово никогда не говорят громко. Нельзя даже представить себе, чтобы его можно было прокричать. Поэтому что оно сродни той устоявшейся тишине ночи, когда под зарослями деревенского сада занимается чистая и слабая синева. «Развидняет», как говорят об этой поре суток в народе.

В этот заревой час низко над самой землей пылает утренняя звезда. Воздух чист, как родниковая вода.

В заре, в рассвете, есть что-то девическое, целомудренное. На зорях трава омыта росой, а по деревьям пахнет теплым парным молоком. И поют в туманах за околицами пастушьи жалейки.

Светаёт быстро. В теплом доме тишина, сумрак. Но вот на бревенчатые стены ложатся квадраты оранжевого света, и бревна загораются, как слоистый янтарь. Восходит солнце.

Осенние зори иные — хмурые, медленные. Дню неохота просыпаться: все равно не отогреешь озябшую землю и не вернешь улыбающийся солнечный свет.

Все никнет, только человек не сдаётся. С рассвета уже горят печи в избах, дым мотаётся над селами и стелется по земле. А потом, глядишь и ранний дождь забарабанил по запотевшим стеклам.

Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. Мы часто путаем два понятия — закат солнца и вечернюю зарю.

Вечерняя заря начинается, когда солнце уже зайдет за край земли. Тогда она овладевает меркнувшим небом, разливает по нему множество красок — от червонного золота до бирюзы — и медленно переходит в поздние сумерки и в ночь.

Кричат в кустах коростели, и бьют перепела, гудит выпь, горят первые звезды, а заря еще долго дотлевет над далями и туманами.

Северные белые ночи, летние ночи Ленинграда — это непрерывная вечерняя заря или, пожалуй, соединенные двух зорь, вечерней и утренней.

Никто не сказал об этом с такой поразительной точностью, как Пушкин:

Люблю тебя, Петра творенье,  
Люблю твой строгий, стройный вид,  
Невы державное теченье,  
Береговой ее гранит,  
Твоих оград узор чугунный,  
Твоих задумчивых ночей  
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,  
Когда я в комнате моей  
Пишу, читаю без лампады,  
И ясны спящие громады  
Пустынных улиц, и светла  
Адмиралтейская игла,  
И, не пуская тьму ночную  
На золотые небеса,  
Одна заря сменил другую  
Спешит, дав ночи полчаса.

Эти строки — не только вершины поэзии. В них не только точность, душевная ясность и тишина. В них еще все волшебство русской речи.

Если бы можно было представить, что исчезла бы русская поэзия, что исчез бы самый русский язык, а остались от него только эти несколько строк, то и тогда богатство и певучая сила нашего языка были бы ясны каждому. Потому что в этих стихах Пушкина собраны, как в магическом кристалле, все необыкновенные качества нашей речи.

Тот народ, который создал такой язык,— поистине великий и счастливый народ.

### Груды цветов и трав

Не только лесник искал объяснения слов. Ищут их многие люди. И не успокаиваются, пока не находят.

Я помню, как меня поразило однажды слово «свей» в стихах у Сергея Есенина:

И меня по ветряному свею,  
По тому ль песку,  
Поведут с веревкою на шею  
Полюбить тоску.

Я не знал, что значит «свей», но чувствовал, что в этом слове заложено поэтическое содержание. Это слово как бы само по себе излучало его.

Я долго не мог узнать значение этого слова, а все догадки ни к чему не приводили. Почему Есенин сказал «ветряной свей»? Очевидно, это понятие было как-то связано с ветром. Но как?

Узнал я смысл этого слова от писателя-краеведа Юрина.

Юрин был придиричиво-любопытен ко всему, что имело хотя бы малейшее отношение к природе, укладу жизни и истории Средней России.

Этим он напоминал тех знатоков и любителей своего края, кропотливых исследователей и собирателей по зернышкам и по капелькам всяких интересных черт из краевой, а то и из районной географии, флоры, фауны и истории, что еще сохранились по маленьким российским городкам.

Юрин приехал ко мне в деревню, и мы пошли с ним в путь, за реку. Мы шли к мостушкам по чистому речному

песку. Накануне был ветер, и на песке, как всегда бывает после ветра, лежала волнистая рябь.

— Вы знаете, как это называется? — спросил меня Юрин и показал на песчаную рябь.

— Нет, не знаю.

— Свей,— ответил Юрин.— Ветер свеваает песок в эту рябь. Потому и такое слово.

Я обрадовался, как, очевидно, радовался лесник, когда находил разъяснение слову.

Вот почему Есенин написал «ветряной свей» и упомянул про песок («по тому ль песку...»). Больше всего я был рад, что это слово выражало, как я и предполагал, простое и поэтическое явление природы.

Родина Есенина — село Константиново (теперь Есенино) находилось недалеко за Окой.

В той стороне всегда садилось солнце. И мне с тех пор поэзия Есенина кажется наилучшим выражением широких закатов за Окой и сумерек в сырых лугах, когда на них ложится не то туман, не то синеватый дымок с лесных гарей.

В этих, как будто безлюдных, лугах было у меня много всяких случаев и неожиданных встреч.

Однажды я ловил рыбу на небольшом озере с высокими крутыми берегами, заросшими цепкой ежевикой. Озеро обступили старые ивы и осокори. Поэтому на нем всегда было безветренно и сумрачно, даже в солнечный день.

Сидел я у самой воды, в таких крепких зарослях, что сверху меня совершенно не было видно. По краю берега цвели желтые ирисы, а дальше в иловой, но глубокой воде все время струились со дна пузырьки воздуха,— должно быть, караси копались в иле, отыскивали пищу.

Наверху, надо мной, где по пояс стояли цветы, деревенские дети собирали щавель. Судя по голосам, там было три девочки и маленький мальчик.

Две девочки изображали в разговорах между собой многодетных деревенских женщин. Каждая, должно быть, подражала своей матери. Это у них была такая игра. Третья девочка все помалкивала и только запевала тоненьким голосом:

Так во время воздушной тревоги  
Народилась красавица дочь...

Дальше она слов не знала и, помолчав, снова завила свою песню о «воздушной трявоге».

— Трявога, трявога! — сердито сказала девочка с хриловатым голосом. — Маешься целый день, чтобы в школу их определить, всю эту ораву, всю братию, а чему они в школе научаются? Слово сказать и то не умеют по-людски! «Тревоги» надо говорить, а не «трявоги»! Вот скажу отцу, он тебя проучит.

— А мой Петька анадьсь, — сказала другая девочка, — двойку приволок. По арифметике. Уж я его утюжила-утюжила. Аж руки замлели.

— Врешь ты все, Нюрка! — сказал басом маленький мальчик. — Петьку маменька утюжила. И то чуть.

— Ишь сопливый! — прикрикнула Нюрка. — Разговаривай у меня!

— Слушайте, девочки! — радостно воскликнула хриловатая. — Ой, что я вам сейчас расскажу! Где-то тут около Птичьего брода растет куст. Как ночь, так он весь, до самой макушки, как почнет гореть синим огнем! Как почнет! И так горит и не сгорает до самой зарн. А подойти к нему страшно.

— А чего ж он горит, Клава? — испуганно спросила Нюрка.

— Клад показывает, — ответила Клава. — Клад под ним закопан. Золотой карандашик. Кто возьмет тот карандашик, напишет свои горячие желания — они тут же и сбудутся.

— Дай! — требовательно сказал мальчик.

— Чего тебе дать?

— Карандашик!

— Отвяжись ты от меня!

— Дай! — крикнул мальчик и неожиданно заревел противным, оглушительным басом. — Дай карандашик, дурная!

— Ах, ты так? — крикнула Нюрка, и тотчас же раздался звонкий шлепок. — Несчастье мое! На что только я тебя породила!

• Мальчик непонятно почему, но сразу затих.

— А ты, милая, — сказала Клава притворным, сладеньким голосом, — не бей ребятишек своих. Недолго и пяморки отбить. Ты вот, как я, действуй — учи их разуму. А то вырастут обалдуи — ни себе, ни людям никакой корыети.

— Чему его учить-то? — с сердцем ответила Нюрка. — Попробуй поучи его! Он те даст!

— Как не поучить! — возразила Клава. — Их всему надо учить. Вот увязался за нами, скулит, а кругом, гляди, один цвет не похож на другой. Их тут сотни, этих цветов. А что он знает? Ничегошеньки он не знает. Даже как зовется вот этот цвет — и то не знает.

— Курослеп, — сказал мальчик.

— Да не курослеп это, а медуница. Сам ты курослеп!

— Мядуница! — даже с некоторым восхищением повторил мальчик.

— Да не «мядуница», а «медуница». Скажи правильно.

— Медуница, — поспешно повторил мальчик и тут же спросил: — А это какой, розовый?

— Это мята. Повтори за мной: мята!

— Ну, мята! — согласился мальчик.

— Ты не нукай, а чисто за мной повторяй. А вот это таволга. Такая пахучая-пахучая! Такая нежная-пренежная! Хочешь, сорву?

Мальчику, видимо, понравилась эта игра. Он, посапывая, добросовестно повторял за Клавой названия цветов. А она так ими и сыпала:

— Вот глянь, это подмаренник. А это купава. Вот та, с белыми колокольцами. А это кукушкины слезки.

Я слушал и только удивлялся. Девочка знала множество цветов. Она называла дрему, ночную красавицу, гвоздику, пастушью сумку, копытень, мыльный корень, шпажник, валерьяну, чабрец, зверобой, чистотел и многих других цветов и трав.

Но этот удивительный урок ботаники был неожиданно сорван.

— Я обстрекалси-и-и! — вдруг опять густо заревел мальчик. — Куды вы меня завели, дурные?! В самые колочки! Теперь я домой не дойду!

— Эй, девчонки! — крикнул издали стариковский голос. — Вы чего малого обижаете?

— Да он, дед Пахом, сам обстрекалси! — крикнула в ответ поборница чистого произношения Клава и добавила вполголоса: — У-у-у, бессовестный! Ты сам всякого изобидишь!

Слышно было, как к детям подошел старик. Он заглянул вниз, на озеро, увидел мои удочки и сказал:

— Тут человек рыбу лавит, а вы калган подняли на весь свет. Мало вам, что ли, лугов!

— Где лавит? — поспешно спросил мальчик. — Пусть мне даст поудить!

— Куда полез? — крикнула Нюрка. — Еще сорвешься в воду, неслух окаянный!

Дети вскоре ушли, и я их так и не видел. А старик постоял на берегу, подумал, деликатно покашлял и спросил неуверенным голосом:

— У вас, гражданин, покурить не найдется?

Я ответил, что найдется, и старик со страшным шумом, цепляясь за петли ежевики, срываясь на откосе и чертыхаясь, спустился ко мне за папироской.

Старик оказался шуплый, маленький, но с огромным пожом в руке. Нож был в кожаном футляре. Сообразив, что я, чего доброго, обеспокоюсь из-за этого ножа, старик поспешно сказал:

— Я лозу пришел резать. Для корзин да вентерей. Плету помаленьку.

Я сказал старику, что вот какая тут была замечательная девочка — знает все цветы и травы.

— Это Клавка-то? — спросил он. — Да это колхозного конюха Карнаухова дочка. А чего ж ей не знать, когда у нее бабка первая травница на всю область! Вы с бабкой поговорите. Заслушаетесь. Да, — сказал он, помолчав, и вздохнул. — У каждого цвета свое наименование... Паспортизация, значит.

Я с удивлением взглянул на него. Старик попросил еще папироску и ушел. Вскоре ушел и я.

Когда я выбрался из зарослей на луговую дорогу, то увидел далеко впереди трех девочек. Они несли огромные охапки цветов. Одна из них тащила за руку маленького босого мальчика в большом картузе.

Девочки шли быстро. Было видно, как мелькают их пятки. Потом донесся тоненький голосок:

Так во время воздушной тревоги  
Народилась красавица дочь...

Солнце уже садилось за Окой, за селом Есенным, и освещало косым красноватым светом тянувшиеся стеной на востоке леса.



## Словари

Всякие мысли приходят иногда в голову. Например, мысль о том, что хорошо бы составить несколько новых словарей русского языка (кроме, конечно, уже существующих общих словарей).

В одном таком словаре можно, предположим, собрать слова, имеющие отношение к природе, в другом — хорошие и меткие местные слова, в третьем — слова людей разных профессий, в четвертом — мусорные и мертвые слова, всю канцелярщину и пошлость, засоряющие русский язык.

Этот последний словарь нужен для того, чтобы отучить людей от скудоумной и ломаной речи.

Мысль о том, чтобы собрать слова, имеющие отношение к природе, пришла мне в голову в тот день, когда на луговом озере я услышал, как хрипловатая девочка перечисляла разные травы и цветы.

Словарь этот будет, конечно, толковым. Каждое слово должно быть объяснено, и после него следует помещать несколько отрывков из книг писателей, поэтов и ученых, имеющих научное или поэтическое касательство к этому слову.

Например, после слова «сосулька» можно напечатать отрывок из Пришвина:

«Повислые под кручей частые длинные корни деревьев теперь под темными сводами берега превратились в сосульки и, нарастая больше и больше, достигли воды. И когда ветерок, даже самый ласковый, весенний, волновал воду и маленькие волны достигали под кручей концов сосулук, то волновали их, они качались, стуча друг о друга, звенели, и этот звук был первый звук весны, золова арфа».

А после слова «сентябрь» хорошо бы напечатать отрывок из Баратынского:

И вот сентябрь! замедля свой восход,  
Сияньем хладным солнце блещет,  
И луч его, в зеркале зыбком вод,  
Неверным золотом трепещет.

Думая об этих словарях, особенно о словаре «природных» слов, я делил его на разделы: слова «лесные», «полевые», «луговые», слова о временах года, о метеорологических явлениях, о воде, реках и озерах, растениях и животных.

Я понимал, что такой словарь нужно составить так, чтобы его можно было читать, как книгу. Тогда он давал бы представление как о нашей природе, так и о неисчерпаемых богатствах языка.

Конечно, эта работа была бы не под силу одному человеку. У него не хватило бы на нее всей жизни.

Каждый раз, когда я думал об этом словаре, мне хотелось сбросить со счета лет двадцать, чтобы, конечно, не самому составлять такой словарь — для этого у меня не было необходимых познаний, — но хотя бы участвовать в работе над ним.

Я даже начал делать кое-какие записи для этого словаря, но, как водится, растерял. Восстановить же их по памяти почти невозможно.

Однажды почти все лето я занимался сбором трав и цветов. Я узнавал их названия и свойства по старому определителю растений и заносил все это в свои записи. Это было увлекательное занятие.

Никогда до тех пор я не представлял себе так отчетливо целесообразности всего, что происходит в природе, всей сложности и совершенства каждого листка, цветка, корня или семени.

Эта целесообразность напоминала иногда о себе что-то внешне и даже болезненно.

Как-то осенью я со своим другом провел несколько дней на рыбной ловле на глухом, старом русле Оки. Оно потеряло связь с рекой несколько столетий назад и превратилось в глубокое и длинное озеро. Его окружили такие заросли, что пробраться к воде было трудно, а в иных местах и невозможно.

Я был в шерстяной куртке, и к ней пристало много колючих семян череды (похожих на плоские двузубцы), речейника и других растений.

Дни стояли ясные, холодные. Мы спали в палатке, не раздеваясь.

На третий день прошел небольшой дождь, куртка моя отсырела, и среди ночи я почувствовал в нескольких местах у себя на груди и руках резкую боль, будто от укулов булавки.

Оказалось, что круглые плоские семена какой-то травы, пропитавшись влагой, задвигались, начали разворачиваться спиралью и ввинчиваться в мою куртку. Они провинутили ее насквозь, потом прокололи рубашку и

среди ночи добрались наконец до моей кожи и начали осторожно покалывать ее.

Это был, пожалуй, один из самых ярких примеров целесообразности. Семя падало на землю и лежало там неподвижно до первых дождей. Ему не было смысла пробиваться в сухую почву. Но как только земля становилась влажной от дождя, семя, скрученное спиралью, набухало, оживало, ввинчивалось в землю, как бурав, и начинало в назначенный ему срок прорастать.

Я опять отвлекся от «основной нити повествования» и заговорил о семенах. Но пока я писал о семенах, мне вспомнилось еще одно удивительное явление. Я не могу не упомянуть о нем. Тем более что оно имеет некоторое, хотя и очень отдаленное, я бы сказал — чисто сравнительное, отношение к литературе, в частности к вопросу о том, какие книги будут жить долго, а какие не выдержат испытания временем и умрут, как тот сентиментальный цветок, что «не расцвел и отцвел в утре пасмурных дней».

Дело идет о пряном запахе цветов обыкновенной липы — романтического дерева наших парков.

Этот запах слышен только на отдалении. Вблизи дерева он почти неощутим. Липа стоит как бы окруженная на большом расстоянии замкнутым кольцом этого запаха.

В этом, очевидно, есть своя целесообразность, но она нами еще не разгадана.

Настоящая литература — как липовый цвет.

Часто нужно расстояние во времени, чтобы проверить и оценить ее силу и степень ее совершенства, чтобы почувствовать ее дыхание и неумирающую красоту.

Если время может погасить любовь и все другие человеческие чувства, как и самую память о человеке, то для подлинной литературы оно создает бессмертие.

Следует вспомнить слова Салтыкова-Щедрина, что литература изъята из законов тления. И слова Пушкина: «Душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит». И слова Фета: «Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопенье».

Можно привести много других таких же высказываний писателей, поэтов, художников и ученых всех времен и народов.

Эта мысль должна побуждать нас к «усовершенствованию любимых дум», к постоянному покою, к завоеванию новых вершин мастерства. И к сознанию неизмеримого расстояния, лежащего между подлинными творени-

ями человеческого духа и той серой, вялой и невежественной литературой, что совершенно не нужна живой душе человеческой.

Да, вот как далеко может завести разговор о свойствах липового цвета!

Очевидно, все может быть пособником человеческой мысли и ничем нельзя пренебрегать. Ведь рождаются же сказки при скромной помощи таких незначительных и даже ненужных вещей, как сухая горошина или горлышко от разбитой бутылки.

После этих отступлений я все же попытаюсь вкратце восстановить по памяти некоторые из тех записей, какие я делал для предполагаемых (почти фантастических) словарей.

У некоторых наших писателей, насколько я знаю, есть такие «личные» словари. Но они никому их не показывают и упоминают о них неохотно.

То, что я недавно говорил о роднике, дождях, грозах, заре, «свее» и именах разных трав и цветов,— тоже возобновленные в памяти «записи для словаря».

Первые мои записи были о лесах. Я вырос на безлесном юге, и потому, может быть, больше всего в среднерусской природе полюбил леса.

Первое «лесное» слово, какое меня совершенно заворожило, было — глухомань. Правда, оно относится не только к лесу, но я впервые услышал его (так же как и слово «глушняк») от лесников. С тех пор оно связано в моем представлении с дремучим, замшелым лесом, сырими чашами, заваленными буреломом, с йодистым запахом прели и гнилых пней, с зеленоватым сумраком и тишиной. «Сторона ли моя, ты сторонушка, вековая моя глухомань!»

А затем уже шли настоящие лесные слова: корабельная роща, осинник, мелколесье, песчаный бор, чапыга, мшары (сухие лесные болота), гари, чернолесье, пустошь, опушка, лесной кордон, березняк, порубка, корье, живица, просека, кондовая сосна, дубрава и много других простых слов, наполненных живописным содержанием.

Даже такой сухой технический термин, как «лесной межевой столб» или «пикет», полон неуловимой прелести. Если вы знаете леса, то согласитесь с этим.

Невысокие межевые столбы стоят на пересечении узких просек. Около них всегда есть песчаный бугор, заросший подсохшей высокой травой и земляникой. Этот

бугор образовался из того песка, который выбрасывали из ямы, когда копали ее для столба. На стесанной верхушке столба выжжены цифры — номер «лесного квартала».

Почти всегда на этих столбах греются, сложив крылья, бабочки, и озабоченно бегают муравьи.

Около этих столбов теплее, чем в лесу (или, может быть, так только кажется). Поэтому здесь всегда садишься отдохнуть, прислонившись к столбу спиной, слушая тихий гул вершин, глядя на небо. Оно хорошо видно над просеками. По нему медленно плывут облака с серебряными краями. Должно быть, можно просидеть так неделю и месяц и не увидеть ни одного человека.

В небе и облаках — тот же полуденный покой, что и в лесу, в склонившейся к подзолистой земле синей сухой чашечке колокольчика, и в вашем сердце.

Иногда через год-два узнаешь старый знакомый столб. И каждый раз думаешь, сколько пережил горя и радости, а этот столб стоит здесь и ночи и дни, и зиму и лето, будто дожидается тебя, как верный и безропотный друг. Только больше появилось на нем желтых лишаяв да повилика заплела его до самой макушки. Она цветет и горьковато пахнет миндалем, разогревшись от лесной теплоты.

Лучше всего смотреть на леса с пожарных вышек. Тогда хорошо видно, как они уходят за горизонт, поднимаются на увалы, спускаются в лощины, стоят крепостными стенами над песчаными ярами. Кое-где поблескивает вода — зеркало тихого лесного озера или омут лесной речки с красноватой «суровой» водой.

С вышки можно охватить взглядом все дремучее полестье, весь торжественный лесной край — неизмеримый и неведомый, властно зовущий человека в свои загадочные чащи.

Этому зову невозможно противиться. Нужно тотчас брать рюкзак, компас и уходить в леса, чтобы затеряться в этом зеленом хвойном океане.

Так мы и сделали однажды с Аркадием Гайдаром. Шли мы лесами весь день и почти всю ночь без дорог, под звездами, светившими сквозь кроны сосен одним только нам (потому что все вокруг спало непробудным сном), пока перед рассветом не вышли к извилистой лесной речке. Она была плотно закутана в туман.

Мы развели на берегу костер, сели около него и долго

молчали, слушали, как где-то бормотала вода под корягой, а потом печально протрубил лось. Мы сидели, молчали и курили, пока на востоке не заголубела нежнейшая зоря.

— Вот так бы сто лет! — сказал Гайдар. — Тебе бы хватило?

— Вряд ли.

— И мне бы не хватило. Давай котелок. Поставим чай.

Он пошел в темноту к реке. Я слышал, как он чистил котелок песком и ругал его за то, что у того отвалилась проволочная ручка. Потом он тихо замурлыкал незнакомую мне песню:

Лес дремучий, разбойничий  
Темен с давних времен.  
Нож булатный за пазухой  
Горячо наточен.

От его голоса было спокойно на душе. Лес стоял безмолвно, тоже слушал пение Гайдара, и только река все бормотала, ворчала, сердясь на мешавшую ей корягу.

Есть еще много слов и не лесных, но они с такой же силой, как и лесные, заражают нас скрытым в них очарованием.

Очень богат русский язык словами, относящимися к временам года и к природным явлениям, с ними связанным.

Возьмем хотя бы раннюю весну. У нее, у этой еще зябнущей от последних заморозков девочки-весны, есть в котомке много хороших слов.

Начинаются оттепели, ростепели, капли с крыш. Снег делается зернистым, ноздреватым, оседает и чернеет. Его съедают туманы. Постепенно развозит дороги, наступает распутица, бездорожье. На реках появляются во льду первые промоины с черной водой, а на буграх — проталины и проплешины. По краю слежавшегося снега уже желтеет мать-и-мачеха.

Потом на реках происходит первая подвижка льда (именно подвижка, а не движение), когда лед *начинает* косо надкалываться и смещаться, и из лунок, продухов и прорубей выступает наружу вода.

Ледоход начинается почему-то чаще всего темными почками, после того как «пойдут овраги» и полая, талая

вода, звеня последними льдинками — «черепками», сольется с лугов и полей.

Невозможно перечислить приметы всех времен года. Поэтому я пропускаю лето и перехожу к осени, к первым ее дням, когда уже начинается «сентябрь».

Увядает земля, но еще впереди «бабье лето» с его последним ярким, но уже холодным, как блеск слюды, сиянием солнца, с густой синевой небес, промытых прохладным воздухом, с летучей паутиной («пряжей богородицы», как кое-где называют ее до сих пор истовые старухи) и палым, повялым листом, засыпающим опустелые воды. Березовые рощи стоят, как толпы девушек-красавиц, в шитых золотым листом полушалках. «Унылая пора! очей очарованье!»

Потом — ненастье, обложные дожди, ледяной северный ветер «сиверко», бороздящий свинцовые воды, стынь, стылость, кромешные ночи, ледяная роса, темные зори.

Так все и идет, пока первый мороз не схватит, не скует землю, не выпадет первая пороша и не установится первопуток. А там уже и зима с вьюгами, метелями, поземкой, снегопадом, седыми морозами, вешками на полях, скрипом подрезов на розвальнях, серым, снеговым небом.

Много у нас слов связано с туманами, ветрами, облаками и водами.

Особенно богато представлены в русском словаре реки с их плесами, бочагами, паромами и перекатами, где в межень с трудом проходят пароходы и, чтобы не сесть на мель, надо держать только по «главной струе».

Я знал нескольких паромщиков и перевозчиков. Вот у кого нужно учиться русскому языку!

Паром — это шумный деревенский базар. Он заменяет собой народные сборища и деревенские чайные.

Где и поговорить, как не на пароме, пока женщины, притворно ругая лодырей мужиков, медленно перебирают проволочный трос, пока косматые и покорные своей судьбе лошаденки дергают с соседних возов сено и торопливо жуют его, косясь на грузовик, где предсмертно визжат и барахтаются в мешках поросята, пока не докурены до ногтей сигарки из ядовитого зеленого самосада!

Чтобы узнать все деревенские — и не только деревенские — новости, чтобы послушаться всяких мудрых и неожиданных сентенций и невероятных рассказов, надо пойти именно на заваленный сенной трухой щелястый па-

ром и только посиживать там, покуривать да слушать, переправляясь с берега на берег.

Почти все паромщики — люди словоохотливые, острые на язык и бывалые. Особенно они любят поговорить к вечеру, когда народ перестает валандаться взад-вперед через реку, когда спокойно опускается солнце за круто-иром — высоким берегом — и толчется в воздухе и зудит мошкара.

Тогда, сидя на лавочке около шалаша, можно деликатно взять загрубевшими от канатов пальцами папироску у залетного человека, который никуда не торопится, сказать, что, конечно, «легкий табак — одно баловство, не доходит он до нашего сердца», но все же с наслаждением закурить, прищуриться на реку и начать разговор.

Вообще вся шумная и разнообразная жизнь на речных берегах, на пристанях (их зовут дебаркадерами или «конторками»), около наплавных мостов-плашкоутов со множеством толкущегося там речного народа, с его особыми нравами и традициями, дает богатую пищу для изучения языка.

Необыкновенно богаты в языковом отношении Волга и Ока. Мы не можем представить себе жизнь нашей страны без этих рек, как не можем представить ее без Москвы, без Кремля, без Пушкина и Толстого, Чайковского и Шалипина, без Медного всадника в Ленинграде и Третьяковской галереи в Москве.

Языков, обладавший, по словам Пушкина, удивительным огнем языка, в одном из своих стихотворений великолепно описал Волгу и Оку. Особенно хорошо изображена Ока.

Языков приносит здесь поклон Рейну от великих русских рек, в том числе и от Оки:

...поемистой, дубравной,  
В раздолье муромских песков  
Текущей царственно, блистательно и плавно  
В виду почтенных берегов...

Ну что ж, запомним «почтенные берега» и будем благодарны за это Языкову.

Не менее чем «природными» словами, богата наша страна местными речениями и диалектами.

Злоупотребление местными словами обычно говорит о незрелости и недостаточной художественной грамотности



сти писателя. Слова берутся без разбора, малопонятные, а то и вовсе непонятные широкому читателю, берутся больше из щегольства, чем из желания придать живописную силу своей вещи.

Существует вершина — чистый и гибкий русский литературный язык. Обогащение его за счет местных слов требует строгого отбора и большого вкуса. Потому что есть немало мест в нашей стране, где в языке и произношении, наряду со словами — подлинными перлами, есть много слов корявых и фонетически неприятных.

Что касается произношения, то, пожалуй, больше всего режет слух произношение с выпадением гласных — все эти «быват» вместо «бывает», «понимат» вместо «понимает». И пресловутое «однако». Писатели, пишущие о Сибири и Дальнем Востоке, считают это слово священной принадлежностью речи почти всех своих героев.

Местное слово может обогатить язык, только если оно образно, благозвучно и понятно.

Для того чтобы оно стало понятным, совсем не нужно ни скучных объяснений, ни сносок. Просто это слово должно быть поставлено в такой связи со всеми соседними словами, чтобы значение его было ясно читателю сразу, без авторских или редакторских ремарок.

Одно непонятое слово может разрушить для читателя самое образцовое построение прозы.

Нелепо было бы доказывать, что литература существует и действует лишь до тех пор, пока она понятна. Непонятная, темная или нарочито заумная литература нужна только ее автору, но никак не народу.

Чем прозрачнее воздух, тем ярче солнечный свет. Чем прозрачнее проза, тем совершеннее ее красота и тем сильнее она отзывается в человеческом сердце. Коротко и ясно эту мысль выразил Лев Толстой: «Простота есть необходимое условие прекрасного».

Из многих местных слов, которые я услышал, к примеру, во Владимирской и Рязанской областях, часть, конечно, малопонятна и малоинтересна. Но попадаются слова, превосходные по своей выразительности, — например, старинное, до сих пор бытующее в этих областях слово «окоём» — горизонт.

На высоком берегу Оки, откуда открывается широкий горизонт, есть сельцо Окоемово. Из Окоемова, как говорят его жители, «видно половину России».

Горизонт — это все то, что способен охватить наш глаз на земле, или, говоря по-старинному, все то, что «емлет око». Отсюда и происхождение слова «окоём».

Очень благозвучно и слово «Стожары», — так в этих областях (да и не только в них) народ называет созвездие Ориона.

Это слово, по созвучию, вызывает представление о холодном небесном пожаре (Плеяды и впрямь очень яркие особенно осенью, когда они полыхают в темном небе действительно как серебряный пожар).

Такие слова украсят и современный литературный язык, тогда как, например, рязанское слово «уходился» вместо «утонул» невыразительно, малопонятно и потому не имеет никакого права на жизнь в общенародном языке. Так же как и очень интересное в силу своего архаизма слово «льзя» вместо «можно».

По рязанским деревням вы еще и теперь услышите примерно такие укоризненные возгласы:

— Эй, малый, да нешто льзя так баловаться! Совершенно даже нельзя.

Все эти слова — и окоём, и Стожары, и льзя, и глагол «сентябрит» (о первых осенних холодах) — я услышал в обыденной речи от старика с совершенно детской душой, истового труженика и бедняка, но не по бедности, а потому, что он довольствовался в своей жизни самым малым, — от одинокого крестьянина села Солотчи Рязанской области Семена Васильевича Елесина. Он умер зимой 1954 года.

Дед Семен был чистейшим образцом русского характера — гордого, благородного и щедрого, несмотря на ипешнюю скудость свбей жизни.

Обо всем он говорил по-своему и так, что это запомнилось на всю жизнь. Он любил рассказывать о трактирах, где «мужики кптели до утра» в спорах, чаепитии и махорочном дыму. Колхозную чайную он долго не признавал, потому что там кормят «по квитанции» (по чеку). Это ему казалось диким: «На што она мне, эта квитанция! Я заплатил, — значит, давай мне закуску, и все!»

У деда Семена была своя заветная и несбывшаяся мечта — стать столяром, но таким великим артистом-столяром, чтобы весь свет дивился на его волшебную работу.

Но на деле мечта эта сводилась к продолжительным и горячим спорам о том, как надо пригнать «заподлицо» оконный наличник или поправить сломанную ступеньку.

Тут шла в ход такая замысловатая терминология, что запомнить ее было невозможно.

Как человек озаряет те места, где он живет! Семен умер, и с тех пор эти места потеряли так много своей прелести, что трудно собраться с духом, чтобы поехать туда, где на песчаном кладбищенском бугре над рекой, среди плакучих ветел, лежит, говорят, на его могиле зернистый серый жернов.

В поисках слов нельзя пренебрегать ничем. Никогда не знаешь, где найдешь настоящее слово.

Изучая море, морское дело и язык моряков, я начал читать лоции — справочные книги для капитанов. В них были собраны все сведения о том или ином море: описания глубин, течений, ветров, берегов, портов, маячных огней, подводных скал, мелей и всего, что необходимо знать для благополучного плавания. Существуют лоции всех морей.

Первая лоция, попавшая мне в руки, была лоция Черного и Азовского морей. Я начал читать ее и был поражен великолепным ее языком, точным и неуловимо своеобразным.

Вскоре я узнал причину этого своеобразия: безыменные лоции издавались с начала XIX века через равные промежутки лет, причем каждое поколение моряков вносило в них свои поправки. Поэтому вся картина языковых изменений больше чем за сто лет с полной наглядностью отражена в лоции. Рядом с современным языком мирно сосуществует язык наших прадедов и дедов.

По лоции можно судить, как резко изменились некоторые понятия. Например, о самом жестоком и разрушительном ветре — новороссийском норд-осте (боре) — в лоции говорится так:

«Во время норд-оста берега покрываются густой мрачностью».

Для наших прадедов «мрачность» означала черный туман, для нас она — наше душевное состояние.

Вся морская терминология, так же как и разговорный язык моряков, великолепна. Почти о каждом слове можно писать поэмы, начиная от «розы ветров» и кончая «гремящими сороковыми широтами» (это не поэтическая вольность, а наименование этих широт в морских документах).

А какая крылатая романтика живет во всех этих фрегатах и баркантинах, шхунах и клиперах, вантах и реях, набестанах и адмиралтейских якорях, «собачьих» вахтах, июне склянок и лагах, гуле машинных турбин, сиренах, морзовых флагах, полных штормах, тайфунах, туманах, лепительных штилях, плавучих маяках, «приглубых» берегах и «обрубистых» мысах, узлах и кабельтовых — во всем том, что Александр Грин называл «живописным трудом мореплавания».

Язык моряков крепок, свеж, полон спокойного юмора. Он заслуживает отдельного исследования, так же как и язык людей многих других профессий.

### СЛУЧАЙ В МАГАЗИНЕ АЛЬШВАНГА

Зимой 1921 года я жил в Одессе, в бывшем магазине готового платья «Альшванг и компания». Я занял явочным порядком примерочную на втором этаже.

В моем распоряжении были три большие комнаты с зеркалами из богемского стекла. Зеркала так крепко были вмурованы в стены, что все попытки — и мои и поэта Эдуарда Багрицкого — выломать эти зеркала, чтобы обменять их на продукты на Новом базаре, ни к чему не привели. Ни одно зеркало даже не треснуло.

В примерочной не было никакой мебели, кроме трех пустых ящиков с гнилой стружкой. Хорошо еще, что стеклянная дверь легко снималась с петель. Каждый вечер я снимал ее, клал на два ящика и устраивал на этой двери свою постель.

Стеклянная дверь была очень скользкая, и потому по нескольку раз за ночь старый тюфяк сползал с нее вместе со мной и сваливался на пол.

Как только тюфяк начинал двигаться, я тотчас просыпался и лежал не дыша, боясь пошевелить даже пальцем, даю надеясь, что, может быть, тюфяк остановится. Но он сползал медленно и неумолимо, и моя хитрость не помогала.

Это было совсем не смешно. Зима стояла свирепая. Море замерзло от порта до Малого Фонтана. Жестокий морд-ост полировал гранитные мостовые. Снег не выпал ни разу, и от этого холод казался гораздо холоднее, чем если бы на улицах лежал снег.

В примерочной стояла маленькая жестяная печка «буржуйка». Топить ее было нечем. Да и невозможно было согреть этой жалкой печуркой три огромные комнаты. Поэтому на «буржуйке» я только кипятил морковный чай. Для этого хватало нескольких старых газет.

На третьем ящике был устроен стол. На нем по вечерам я зажигал коптилку.

Я ложился, наваливал на себя все теплое, что у меня было, и читал при свете коптилки стихи Хосе Мариа Эредиа в переводе Георгия Шенгели. Стихи были изданы в Одессе в этот голодный год, и я могу засвидетельствовать, что они не ослабили нашего мужества. Мы чувствовали себя стойкими, как римляне, и вспоминали стихи того же Шенгели: «Друзья, мы римляне, мы истекаем кровью...»

Кровью мы, конечно, не истекали, но все же и нам, молодым и веселым людям, бывало иногда чересчур холодно и голодно. Но никто не роптал.

Внизу, в первом этаже магазина, развертывала суетливую и несколько подозрительную деятельность некая художественная артель. Во главе этого предприятия стоял старый ворчливый живописец, известный в Одессе под кличкой «Король вывесок».

Артель принимала заказы на вывески, шитье женских шапочек, изготовление «деревяшек» (женских туфель, производство которых отличалось античной простотой: к деревянной подошве приколачивалось всего несколько тесемок!) и на рисование реклам для кино (их писали клеевыми красками на кривой фанере).

Но однажды мастерской повезло, и она получила заказ на так называемое «носовое украшение» для единственного в то время черноморского парохода «Пестель». Он собирался идти первым рейсом в Батум.

Сооружение это сделали из листового железа, а затем расписали по черному фону золотым растительным орнаментом.

Эта работа увлекла всех, и даже милиционер Жорж Козловский отлучался иной раз с соседнего поста, чтобы посмотреть на нее.

Я работал тогда секретарем в газете «Моряк». В ней вообще работало много молодых писателей, в том числе Катаев, Багрицкий, Бабель, Олеша и Ильф. Из старых, опытных писателей часто заходил к нам в редакцию толь-

ко Андрей Соболев — милый, всегда чем-нибудь взволнованный, неусидчивый человек.

Однажды Соболев принес в «Моряк» свой рассказ, раздерганный, спутанный, хотя и интересный по теме и, безусловно, талантливый.

Все прочли этот рассказ и смутились: печатать его в таком небрежном виде было нельзя. Предложить Соболеву исправить его никто не решался. В этом отношении Соболев был неумолим — и не столько из-за авторского самолюбия (его-то как раз у Соболева почти не было), сколько из-за нервозности: он не мог возвращаться к написанным своим вещам и терял к ним интерес.

Мы сидели и думали: что делать? Сидел с нами и наш корректор, старик Благов, бывший директор самой распространенной в России газеты «Русское слово», правая рука знаменитого издателя Сытина.

Это был неразговорчивый человек, напуганный своим прошлым. Всей своей солидной фигурой он совершенно не вязался с оборванной и шумной молодежью нашей редакции.

Я забрал рукопись Соболева с собой в магазин Альшванга, чтобы прочесть ее еще раз.

Поздним вечером (было не больше десяти часов, но город, погруженный в темноту, пустел уже в сумерки, и только ветер злорадно выл на перекрестках) милиционер Жора Козловский постучал в дверь магазина.

Я свернул тугой жгут из газеты, зажег его и пошел с ним, как с факелом, открывать тяжелую магазинную дверь, заложенную ржавым куском газовой трубы. Копилку брать с собой было нельзя — она гасла не только от самого слабого колебания воздуха, но даже от пристального взгляда.

— К вам гражданин просится, — сказал Жора. — Удостоверьте его личность, тогда я его впущу. Тут мажорские. Одних красок, говорят, на триста миллионов рублей.

Конечно, если принять во внимание, что я, например, получал в «Моряке» миллион рублей в месяц (по базарным ценам их хватало на сорок коробков спичек), то эта сумма была не такой уж баснословной, как казалось Жоре.

За дверью стоял Благов. Я удостоверил его личность. Жора впустил его в магазин и сказал, что часа через два он придет к нам погреться и попить кипятку.

— Вот что,— сказал Благов.— Я все думаю об этом рассказе Соболя. Талантливая вещь. Нельзя, чтобы она пропала. У меня, знаете, как у старого газетного волка, привычка не выпускать из рук хорошие рассказы.

— Что же поделаешь! — ответил я.

— Дайте мне рукопись. Клянусь честью, я не изменю в ней ни слова. Я останусь здесь, потому что возвращаться домой, на Ланжерон, невозможно,— наверняка раздранут. И при вас я пройду по рукописи.

— Что значит «пройду»? — спросил я.— «Пройтись» — это значит выправить.

— Я же вам сказал, что не выброшу и не впишу ни одного слова.

— А что же вы сделаете?

— А вот увидите.

В словах Благова я почувствовал нечто загадочное. Какая-то тайна вошла в эту зимнюю штормовую ночь в магазин Альшванга вместе с этим спокойным человеком. Надо было узнать эту тайну, и поэтому я согласился.

Благов вынул из кармана огарок необыкновенно толстой церковной свечи. Золотые полоски вились по ней спиралью. Он зажег этот огарок, поставил его на ящик, сел на мой потрепанный чемодан и склонился над рукописью с плоским плотницким карандашом в руке.

Среди ночи пришел Жора Козловский. Я как раз вскипятил воду и заваривал чай, но на этот раз не из сушеной моркови, а из мелко нарезанных и поджаренных кусочков свеклы.

— Поимейте в виду,— сказал Жора,— что издали вы похожи на вылитых фальшивомонетчиков. Чего это вы тут делаете?

— Исправляем рассказ,— ответил я.— Для очередного номера.

— Поимейте в виду,— снова сказал Жора,— что не каждый работник милиции поймет, чем вы занимаетесь. Благодарите бога, которого, конечно, нет, что тут я стою на посту, а не какой-нибудь другой тютя. Для меня культура выше всего. А что касается фальшивомонетчиков, то это такие артисты, что из одного и того же куса навоза сделают доллары и удостоверение на право жительства. В музее Лувр в Париже лежит, говорят, на черной бархатной подушке мраморная рука неописуемой красоты. Так то не рука Сары Бернар, Шопена или Веры Холодной. То слепок с руки самого знаменитого фальшивомо-

истчика в Европе. Забыл, как его звали. В свое время ему отрубили голову, а руку выставили, как будто он был скрипач-виртуоз. Поучительная история?

— Не очень,— ответил я.— У вас есть сахарин?

— Есть,— ответил Жора.— В таблетках. Могу поделиться.

Благов кончил работу над рукописью только к утру. Мне он рукописи не показал, пока мы не пришли в редакцию и машинистка не переписала ее начисто.

Я прочел рассказ и онемел. Это была прозрачная, лилая проза. Все стало выпуклым, ясным. От прежней скомканности и словесного разброда не осталось и тени. При этом действительно не было выброшено или прибавлено ни одного слова.

Я посмотрел на Благова. Он курил толстую папиросу из черного, как чай, кубанского табака и усмехался.

— Это чудо! — сказал я.— Как вы это сделали?

— Да просто расставил правильно все знаки препинания. У Соболя с ними форменный кавардак. Особенно тщательно я расставил точки. И абзацы. Это великая вещь, милый мой. Еще Пушкин говорил о знаках препинания. Они существуют, чтобы выделить мысль, привести слова в правильное соотношение и дать фразе легкость и правильное звучание. Знаки препинания — это как нотные знаки. Они твердо держат текст и не дают ему рассыпаться.

Рассказ был напечатан. А на следующий день в редакцию ворвался Соболев. Он был, как всегда, без кепки, волосы его были растрепаны, а глаза горели непонятным огнем.

— Кто трогал мой рассказ? — закричал он неслыханным голосом и с размаху ударил палкой по столу, где лежали комплекты газет. Пыль густым облаком взлетела над столом.

— Никто не трогал,— ответил я.— Можете проверить текст.

— Ложь! — крикнул Соболев.— Брехня! Я все равно узнаю, кто трогал!

Запахло скандалом. Робкие сотрудники начали быстро исчезать из комнаты. Но, как всегда, на шум примчались, стуча «деревяшками», обе наши машинистки — Люсьена и Люся.

Тогда Благов сказал спокойным и даже унылым голосом:



— Если вы считаете, что правильно расставить в вашем рассказе знаки препинания— это значит тронуть его, то извольте: трогал его я. По своей обязанности корректора.

Соболь бросился к Благову, схватил его за руки, крепко потряс их, потом обнял старика и троекратно, по-московски, поцеловал его.

— Спасибо! — сказал взволнованно Соболь.— Вы дали мне чудесный урок. Но только жалко, что так поздно. Я чувствую себя преступником по отношению к своим прежним вещам.

Вечером Соболь достал где-то полбутылки коньяка и принес в магазин Альшванга. Мы позвали Благова, пришли Багрицкий и Жора Козловский, сменившийся с поста, и мы выпили коньяк во славу литературы и знаков препинания.

После этого я окончательно убедился, с какой поразительной силой действует на читателя точка, поставленная в нужном месте и вовремя.

### КАК БУДТО ПУСТЯКИ

Почти у каждого из писателей есть свой вдохновитель, свой добрый гений, обыкновенно тоже писатель.

Стоит прочесть хотя бы несколько строк из его книги — и тотчас же захочется писать самому. Как будто бродильный сок брызжет из некоторых книг, опьяняет нас, заражает и заставляет браться за перо.

Удивительно, что нередко такой писатель, добрый гений, бывает далек от нас по характеру своего творчества, по манере и по темам.

Я знаю одного литератора — крепкого реалиста, бытовика, человека трезвого и спокойного. Для него таким добрым гением является безудержный фантаст Александр Грин.

Гайдар называл своим вдохновителем Диккенса. Что касается меня, то любая страница из «Писем из Рима» Стендаля вызывает желание писать, хотя я пишу вещи, настолько далекие от прозы Стендаля, что это удивляет даже меня самого. Однажды осенью, читая Стендаля, я написал рассказ «Кордон 273» — о заповедных лесах на реке Пре. Ничего общего со Стендалем в этом рассказе найти совершенно нельзя.

Признаться, я не задумывался над этим случаем. Упомянул же о нем лишь для того, чтобы поговорить о множестве незначительных, на первый взгляд, обстоятельств и привычек, помогающих писателям работать.

Всем известно, что Пушкин лучше всего писал осенью. Подаром «Болдинская осень» стала синонимом поразительной творческой плодовитости.

«Осень подходит,— писал Пушкин Плетневу.— Это — любимое мое время — здоровье мое обыкновенно крепнет, пора моих литературных трудов настает».

Догадаться, в чем тут дело, пожалуй, легко.

Осень — это прозрачность и холод, «прощальная краса» с ее четкостью далей и свежим дыханием. Осень вносит в природу скупой рисунок. Багрец и золото лесов и рощ редуют с каждым часом, усиливая резкость линий, оставляя обнаженными ветви.

Глаз привыкает к ясности осеннего пейзажа. Эта ясность постепенно завладевает сознанием, воображением, рукой писателя. Ключ поэзии и прозы бьет чистой ледяной водой, в ней изредка лишь позванивают льдинки. Голова свежа, сердце стучит сильно и ровно. Только немного зябнут пальцы.

К осени созревает урожай человеческих дум. Об этом хорошо сказал Баратынский: «И спеет жатва дорогая, и в зернах дум ее собираешь ты, судеб людских достигнув полноты».

Пушкин, по его собственным словам, каждой осенью расцветал вновь. Каждую осень он молодел. Очевидно, прав был Гете, когда утверждал, что у гениев на протяжении жизни бывает несколько возвратов юности.

В один из таких осенних дней Пушкин написал стихи, выражающие необычайно наглядно сложный процесс поэтического творчества:

И забываю мир, и в сладкой тишине  
Я сладко усыплен моим воображеньем,  
И пробуждается поэзия во мне:  
Душа стесняется лирическим волненьем,  
Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне,  
Излиться наконец свободным проявленьем —  
И тут ко мне идет незримый рой гостей,  
Знакомцы давние, плоды мечты моей.

И мысли в голове волнуются в отваге,  
И рифмы легкие навстречу им бегут,  
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,  
Минута — и стихи свободно потекут.

Это поразительный по тонкости анализ творчества. Его можно было сделать только в порыве высокого душевного подъема.

У Пушкина была еще одна особенность. Те места в своих вещах, которые ему не давались, он просто пропускал, никогда на них не задерживался и продолжал писать дальше. Потом он возвращался к пропущенным местам, но лишь в минуты вдохновенья, которое он никогда не старался вызвать насильственно.

Я видел, как работал Гайдар. Это было совсем не похоже на то, как обычно работают писатели.

Мы жили тогда в мешорских лесах, в деревне. Гайдар поселился в большом доме, выходящем на сельскую улицу, а я — в бывшей баньке, в глубине сада.

В то время Гайдар писал «Судьбу барабанщика». Мы сговорились честно работать с утра до обеда и не соблазнять в это время друг друга рыбной ловлей.

Однажды я писал в баньке около открытого окна. Не успел я написать и четверти страницы, как из большого дома вышел Гайдар и прошел мимо моего окна с совершенно независимым и равнодушным видом.

Я притворился, что не замечаю его. Гайдар походил по саду, что-то ворча про себя, потом опять прошел мимо окна, но теперь уже явно стараясь задеть меня. Он насвистывал и притворно кашлял.

Я молчал. Тогда Гайдар прошел мимо в третий раз и посмотрел на меня с раздражением. Я все молчал.

Гайдар не выдержал.

— Слушай,— сказал он,— не валяй дурака! Все равно ты пишешь так быстро, что тебе ничего не стоит оторваться. Подумаешь, какой Боборыкин! Если бы я так писал, то у меня уже было бы полное собрание сочинений в ста восемнадцати томах.

Ему очень понравилась эта цифра. Он с удовольствием повторил:

— В ста восемнадцати томах! Ни томом меньше!

— Ну,— сказал я,— выкладывай: что тебе нужно?

— А мне нужно, чтобы ты послушал, какую я чудную фразу придумал.

— Какую?

— Вот, слушай: «Пострадал старик, пострадал!» — говорили пассажиры». Хорошо?

— Откуда я знаю! — ответил я. — Смотри по тому, где она стоит и к чему относится.

Гайдар рассвирепел.

— «К чему относится», «к чему относится!» — передразнил он меня.— К тому, к чему надо, к тому и относится! Ну, черт с тобой! Сиди, выписывай свои сочинения. А я пойду запишу эту фразу.

Но долго он не выдержал. Через двадцать минут он опять ходил у меня под окном.

— Ну, какую еще гениальную фразу ты придумал? — спросил я.

— Слушай,— сказал Гайдар,— раньше я только смутно подозревал, что ты размагниченный интеллигент и насмешник. А теперь я в этом убедился. И притом — с горечью.

— Иди ты знаешь куда! — сказал я.— Честью прошу, не мешай!

— Подумаешь, какой Лажечников! — сказал Гайдар, но все-таки ушел.

Через пять минут он возвратился и еще издали прокричал мне новую фразу. Она, правда, была неожиданной и хорошей. Я похвалил ее. Гайдару только этого было и надо.

— Вот! — сказал он.— Теперь я к тебе больше не приду. Никогда! Как-нибудь напишу и без твоей помощи.

И вдруг добавил на ужасающем французском языке:

— О ревуар, месье л'экривен рюс советик! <sup>1</sup>

Он очень увлекался в то время французским языком и только что начинал его изучать.

Гайдар еще несколько раз возвращался в сад, но мне не мешал, а ходил по дальней дорожке и что-то бормотал про себя.

Так он и работал — придумывал на ходу фразы, потом записывал их, потом опять придумывал. Весь день он ходил из дома в сад. Я удивлялся и был уверен, что повесть у Гайдара едва-едва движется. Но потом оказалось, что он хитрил и записывал гораздо больше, чем по одной фразе.

Недели через две он окончил «Судьбу барабанщика», пришел ко мне в баньку веселый, довольный и спросил:

— Хочешь, я прочту тебе повесть?

Я, конечно, очень хотел послушать ее.

— Так вот, слушай! — сказал Гайдар, остановился посреди комнаты и засунул руки в карманы.

---

<sup>1</sup> До свидания, господин русский советский писатель!

— Где же рукопись? — спросил я.

— Только никудышные дирижеры, — наставительно ответил Гайдар, — кладут перед собой на пюпитр партитуру. Зачем мне рукопись! Она отдыхает на столе. Ты будешь слушать или нет?

И он прочел мне повесть наизусть, от первой до последней строчки.

— Ты где-нибудь чего-нибудь все-таки здорово напутал, — сказал я с сомнением.

— На пари! — крикнул Гайдар. — Не больше десяти ошибок! Если ты проиграешь, то завтра же поедешь в Рязань и купишь мне на барахолке старинный барометр. Я его уже присмотрел. У той старухи, — помнишь? — которая во время дождя надевает на голову абажур. Сейчас я принесу рукопись.

Он принес рукопись и второй раз прочел повесть наизусть. Я следил по рукописи. Только в нескольких местах он ошибся, да и то незначительно. Из-за этого у нас несколько дней шла распря, выиграл ли Гайдар пари или нет.

В общем, я купил, к великой его радости, барометр. Мы решили сообразовать с этим медным громоздким сооружением свою рыболовную жизнь, но сразу же попали в дурацкое положение и промокли до костей, когда барометр предсказал «великую сушь», а на самом деле три дня лил дождь.

То было чудесное время непрерывных шуток, «розыгрышей», споров о литературе и рыбной ловли по озерам и старицам. Все это каким-то неуловимым образом помогало нам писать.

Мне пришлось быть при том, когда Федин начал писать свой роман «Необыкновенное лето».

Да простит меня Федин, что я пишу об этом. Но мне кажется, что манера работы каждого писателя, особенно такого мастера, как Федин, интересна и полезна не только для писателей, но и для всех людей, любящих литературу.

Жили мы в Гаграх, в небольшом доме на самом берегу моря. Дом этот, похожий на дореволюционные дешевые «меблирашки», представлял из себя порядочную трущобу.

Во время бурь он трясся от ветра и ударов волн, скрипел, трещал и, казалось, разваливался на глазах. От сквозняков двери с вырванными замками сами по себе

медленно и зловеще отворялись и, постояв неподвижно несколько секунд и подумав, вдруг захлопывались с таким звоном, что с потолка сыпалась штукатурка.

Все бродячие псы из Новых и Старых Гагр иочевали юд террасой этого дома. Иногда, пользуясь временным отсутствием хозяев, они залезали в комнаты, ложились на кровати и мирно похрапывали.

Входить в свою комнату надо было с опаской, независимо от характера пса, захватившего вашу кровать. Пес совестливый и робкий вскакивал и с отчаянным визгом бросался вон. Если вы попадались ему под ноги, то он со страха мог вас укусить.

Если же пес попадался нахальный и опытный, то он, лежа на кровати и следя за вами ненавидящим взглядом, начинал так страшно рычать, что приходилось вызывать на подмогу соседей.

Окно из комнаты Федина выходило на террасу над морем. Во время штормов плетеные кресла с террасы сваливали в кучу около этого окна, чтобы они не намочили от брызг. На этой куче кресел всегда сидели собаки и смотрели сверху на Федина, писавшего за столом. Псы подвывали от желания попасть в его освещенную и теплую комнату.

Сначала Федин жаловался, что псы его просто бросают в дрожь. Стоило ему оторваться от рукописи и, задумавшись, посмотреть на окно, как десятки горящих ненавистью собачьих глаз впивались в него. Он чувствовал от этого даже некоторую неловкость, как будто был виноват, что живет в тепле и занимается явно бессмысленным делом, водя пером по бумаге.

Это, конечно, в какой-то мере мешало Федину работать, но он скоро привык и перестал считаться с собаками.

Мне думается, что простота и неустроенность нашей жизни напомнили ему молодость, когда мы могли писать на подоконнике, при свете коптилки, в комнате, где замерзали чернила,— при любых условиях.

Большинство писателей пишут по утрам, некоторые пишут и днем и очень немногие — ночью.

Федин мог работать, и зачастую работал, в любой час суток. Лишь изредко он отрывался, чтобы передохнуть.

Он писал по ночам под немолчный гул моря. Этот привычный шум не только не мешал, но даже помогал ему. Мешала, наоборот, тишина.

Однажды поздней ночью Федин разбудил меня и взволнованно сказал:

— Ты знаешь, море молчит. Пойдем послушаем на террасу.

Глубокая, казалось, космическая тишина остановилась над берегом. Мы затихли, чтобы уловить в темноте хотя бы слабый плеск волны, но ничего не могли услышать, кроме звона в ушах. Это звенела наша кровь. В высокой, тоже какой-то космической мгле тускло светили звезды. Мы, привыкшие к непрерывному морскому шуму, были даже подавлены этой тишиной. Федин в ту ночь не работал.

Невольно наблюдая за Фединым, я узнал, что он сидел писать только в том случае, если очередная глава была строго обдумана, выверена, обогащена размышлениями и воспоминаниями, если она складывалась в сознании вплоть до отдельных фраз.

Федин писал только о том, что ясно видел, и притом в законченной связи с целым.

Ясный, твердый ум и строгий глаз Фебина не могли мириться с зыбкостью замысла и его воплощения. Проза должна была быть, по мнению Фебина, отработана до предельной точности и закалена до твердости алмаза.

Флобер провел всю жизнь в мучительной погоне за совершенством слога. В своем стремлении к кристалльности прозы он порой не мог остановиться, правка рукописей делалась для него в некоторых случаях не дорогой к совершенствованию прозы, а самоцелью. Он терял способность верной оценки, уставал, приходил в отчаяние и явно засушивал и омертвлял свои вещи, или, как говорил Гоголь, «рисовал, рисовал, да и зарисовался».

Федин всегда умеет остановиться вовремя. Критик в нем никогда не дремлет, но и не подавляет писателя.

Флоберу в высокой степени было присуще то свойство писателя, которое теоретики литературы называют «персонификацией», а говоря проще — способностью перевоплощаться в своих героев с такой силой, что все происходящее с ними (по воле писателя) переживается самим писателем необыкновенно живо.

Известно, что, описывая смерть Эммы Бовари от яда, Флобер почувствовал все признаки отравления и ему пришлось прибегнуть к помощи врача.

Флобер был истинным мучеником. Он писал так медленно, что с отчаянием говорил: «Стоит самому себе набить морду за такую работу».

Для Бальзака все его герои были тоже живыми и близкими людьми. Он то хрипел от ярости, обзывая их негодяями и дураками, то посмеивался и одобрительно похлопывал по плечу, то неуклюже утешал их в несчастье.

Вера в реальность своих героев и в непреложность того, что он о них написал, была у Бальзака поистине фантастической. Об этом свидетельствует любопытный случай из его жизни.

В одном из рассказов Бальзака есть молодая монахиня (имя ее я не помню, но предположим, что звали ее Жанной). Настоятельница монастыря послала кроткую Жанну в Париж по каким-то монастырским делам. Молодая монахиня была потрясена блестящей, суетной, ослепительной жизнью столицы. В свете газовых рожков она часами рассматривала неслыханные богатства в витринах магазинов. Она видела женщин в тончайших и душистых платьях. Эти платья как бы раздевали этих красавиц и подчеркивали всю прелесть их тонких спин, высоких ног, маленьких острых грудей.

Она слышала странные, опьяняющие слова признаний, намеков, вкрадчивый шепот мужчин. Она была молода и красива. Ее преследовали на улицах. Ей говорили такие же странные слова. У нее дико колотилось сердце. Первый поцелуй, вырванный у нее силой в густой тени платана в каком-то саду, был оглушителен, как гром, и лишил ее рассудка.

Она осталась в Париже. Она истратила все монастырские деньги на то, чтобы превратиться в обольстительную парижанку.

Через месяц она пошла на панель.

В этом рассказе Бальзак упомянул название одного из существовавших в то время женских монастырей. Книга Бальзака случайно попала к его настоятельнице. В монастыре как раз была молоденькая монахиня Жанна. Настоятельница вызвала ее к себе и грозно спросила:

— Вы знаете, что пишет о вас господин Бальзак?! Он опозорил вас! Он очернил нашу обитель. Он клеветник и богохульник. Читайте!



Девушка прочла рассказ и разрыдалась.

— Немедленно! — сказала громовым голосом настоятельница. — Немедленно собирайтесь, поезжайте в Париж, разыщите там господина Бальзака и потребуйте, чтобы он сообщил всей Франции, что это клевета и что он унизил чистую девушку, никогда даже не бывавшую в Париже. Он оскорбил монастырь и всю нашу паству. Пусть он покается в этом своем безумном грехе. Вы должны добиться этого. В противном случае лучше не возвращайтесь.

Жанна уехала в Париж. Она отыскала Бальзака и с трудом добилась, чтобы он принял ее.

Бальзак сидел в старом халате, задыхающийся, как боров. Дым табака наполнял его комнату. Стол был завален горами торопливо исписанных листов бумаги.

Бальзак хмурился. Ему было некогда — жизнь ранее была рассчитана так, чтобы успеть написать не меньше пятидесяти романов. Но глаза Бальзака остро блестели. Он не спускал их с Жанны.

Жанна потупилась, покраснела и, призывая на помощь имя божье, рассказала господину Бальзаку всю историю в монастыре и попросила снять с нее позорную тень, которую господин Бальзак неизвестно зачем бросил на ее целомудрие и святость.

Бальзак явно не понимал, чего от него хочет эта красивая и нежная монахиня.

— Какую позорную тень? — спросил он. — Все, что я пишу, всегда святая правда.

Жанна повторила свою просьбу и тихо добавила:

— Сжальтесь надо мной, господин Бальзак. Если вы не захотите помочь мне, то я не знаю, что делать.

Бальзак вскочил. Глаза его гневно сверкнули.

— Как?! — закричал он. — Вы не знаете, что делать? У меня же совершенно ясно написано все, что случилось с вами! Совершенно ясно! Какие же могут быть сомнения?

— Неужели вы хотите сказать, чтобы я осталась в Париже? — спросила Жанна.

— Да! — закричал Бальзак. — Да, черт возьми!

— И вы хотите, чтобы я...

— Нет, черт возьми! — снова закричал Бальзак. — Я только хочу, чтобы вы сняли этот черный балахон. Чтобы ваше молодое тело, прекрасное, как живой жемчуг,

узнало, что такое радость и любовь. Чтобы вы научились смеяться. Идите же! Идите! Но не на панель!

Бальзак схватил Жанну за руку и потащил к выходной двери.

— У меня ведь все там написано, — говорил он. — Идите! Вы очень милы, Жанна, но из-за вас я уже потерял три страницы текста. И какого текста!

Жанна не могла вернуться в монастырь, так как господин Бальзак не снял с нее позорного пятна. Она осталась в Париже. Говорят, что через год ее видели среди молодежи в студенческом кабаке, который назывался «Серебряный выюк». Она была весела, счастлива и прелестна.

Сколько писателей — столько же и навыков работы.

В том деревенском доме под Рязанью, о котором я уже упоминал, я нашел письма нашего известного гравера Иордана к граверу Пожалостину (об этих письмах я тоже упоминал).

В одном из писем Иордан пишет, что потратил два года на то, чтобы выгравировать копию одной из итальянских картин. Работая, он все время ходил вокруг стола с гравировальной доской и протер в кирпичном полу заметный след.

«Я уставал, — пишет Иордан. — Но я все-таки ходил, двигался. Как же должен был уставать Николай Васильевич Гоголь, привыкший писать стоя за конторкой! Вот уж истинно мученик своего дела».

Лев Толстой работал только по утрам. Он говорил, что в каждом писателе сидит и свой собственный критик. Злее всего этот критик бывает по утрам, а ночью он спит, и потому по ночам писатель всецело предоставлен самому себе, работает без остротки и пишет много дурного и лишнего. Толстой ссылался при этом на Руссо и Диккенса, работавших только по утрам, и считал, что Достоевский и Байрон, любившие работать ночью, грешили этим против своего таланта.

Тягость писательской работы Достоевского была, конечно, не только в том, что он работал по ночам и при этом беспрерывно пил чай. Это в конце концов не так уж сильно отражалось на качестве его работы.

Тягость была в том, что Достоевский не выходил из безденежья и долгов и потому вынужден был писать очень много и всегда наспех.

Он садился писать, когда времени оставалось в самый обрез. Ни одну из своих вещей он не написал спокойно, в полную силу. Он комкал свои романы (не по количеству написанных страниц, а по широте повествования). Поэтому они выходили у него хуже, чем могли бы быть, чем были задуманы. «Гораздо лучше мечтать о романе, чем писать его», — говорил Достоевский.

Он всегда старался подольше жить со своим ненаписанным романом, все время изменяя и обогащая его. Поэтому он всеми силами оттягивал писание, — ведь каждый день и час могла родиться новая идея, а ее задним числом в роман, конечно, не вставишь.

Долги заставляли его торопиться, хотя он часто создавал, садясь писать, что роман еще не созрел. Сколько мыслей, образов, подробностей пропадало зря только потому, что они пришли в голову слишком поздно, когда роман или был уже окончен, или, по мнению писателя, непоправимо испорчен!

«От бедности, — говорил о себе Достоевский, — я принужден торопиться и писать для дела, следовательно — непременно портить».

Чехов в молодости умел писать на подоконнике в тесной и шумной московской квартире. А рассказ «Егеръ» он написал в купальне. Но с годами эта легкость в работе исчезла.

Лермонтов писал свои стихи на чем попало. Все кажется, что они сразу слагались у него в сознании, пели у него в душе, и он потом только наспех записывал их без всяких поправок.

Алексей Толстой мог писать, если перед ним лежала стопа чистой, хорошей бумаги. Он признавался, что, садясь за письменный стол, часто не знал, о чем будет писать. У него в голове сидела одна какая-нибудь живописная подробность. Он начинал с нее, и она постепенно вытаскивала за собой, как за волшебную нитку, все повествование.

Рабочее состояние, вдохновение Толстой называл по-своему — накатом. «Если накатит, — говорил он, — то я пишу быстро. Ну, а если не накатит, тогда надо бросать».

Конечно, Толстой был в значительной степени импровизатором. Мысль у него опережала руку.

Все писатели, должно быть, знают то замечательное состояние во время работы, когда новая мысль или картина появляются внезапно, как бы прорываются, как испышки, на поверхность из глубины сознания. Если их тут же не записать, то они могут так же бесследно исчезнуть.

В них свет, трепет, но они непрочны, как сны. Те сны, которые мы помним только какую-то долю секунды после пробуждения, но тут же забываем. Сколько бы мы ни мучились и ни старались вспомнить их потом, это не удастся. От этих снов сохраняется только ощущение чего-то необыкновенного, загадочного, чего-то «дивного», как сказал бы Гоголь.

Надо успеть записать. Малейшая задержка — и мысль, блеснув, исчезнет.

Может быть, поэтому многие писатели не могут писать на узких полосках бумаги, на гранках, как это делают журналисты. Нельзя слишком часто отрывать руку от бумаги, потому что даже эта ничтожная задержка на какую-то долю секунды может быть губительной. Очевидно, работа сознания совершается с фантастической быстротой.

Французский поэт Беранже писал свои песенки в дешевых кафе. И Эренбург, насколько я знаю, тоже любил писать в кафе. Это понятно. Потому что нет лучшего одиночества, как среди оживленной толпы, если, конечно, никто и ничто непосредственно не отрывает тебя от мыслей и не покушается на твою сосредоточенность.

Андерсен любил придумывать свои сказки в лесах. У него было хорошее, очень сильное зрение. Поэтому он мог рассматривать кусок коры или старую сосновую шишку и видеть на них, как сквозь увеличительную линзу, такие подробности, из которых легко составлялась сказка.

Вообще-то всё в лесу — каждый замшелый пенек и каждый рыжий муравей-разбойник, который тащит, как похищенную прелестную принцессу, маленькую мышку с прозрачными зелеными крылышками, — все это может обернуться сказкой.

Мне не хотелось бы говорить о своем собственном литературном опыте. Это вряд ли прибавит что-либо существенное к тому, что уже сказано. Но все же несколько слов от себя добавлю.

Если мы хотим добиться наивысшего расцвета нашей литературы, то надо понять, что самая плодотворная форма общественной деятельности писателя — это его творческая работа. Скрытая от всех до выхода книги работа писателя превращается после ее выхода в общечеловеческое дело.

Нужно беречь время, силы и талант писателей, а не разминивать их на изнурительную околотературную возню и заседания.

Писателю, когда он работает, нужны спокойствие и, по возможности, отсутствие забот. Если впереди ждет какая-нибудь, даже отдаленная, неприятность, то лучше не браться за рукопись. Перо будет валиться из рук или из-под него поползут вымученные пустые слова.

Я несколько раз в своей жизни работал с легким сердцем, сосредоточенно и неторопливо...

Однажды я плыл зимой на совершенно пустом теплоходе из Батума в Одессу. Море было серое, холодное, тихое. Берега тонули в пепельной мгле. Тяжелые тучи, будто в летаргическом сне, лежали на хребтах отдаленных гор.

Я писал в каюте, иногда вставал, подходил к иллюминатору, смотрел на берега. Тихо пели в железной утробе теплохода могучие машины. Пищали чайки. Писать было легко. Никто не мог оторвать меня от любимых мыслей. Ни о чем, совершенно ни о чем не надо было думать, кроме как о рассказе, который я писал. Я ощущал это как величайшее счастье. Открытое море защищало меня от всяких помех.

И еще очень помогало работать сознание движения в пространстве, смутное ожидание портовых городов, куда мы должны были заходить, предчувствие, может быть, каких-то неутомительных и коротких встреч.

Теплоход резал стальным форштевнем бледную зимнюю воду, и мне казалось, что он несет меня к неизбежному счастью. Так мне казалось, очевидно, потому, что удавался рассказ.

И еще я помню, как легко было работать в мезонине деревенского дома, осенью, в одиночестве, под потрескивание свечи.

Темная и безветренная сентябрьская ночь окружали меня и так же, как море, защищала от всяких помех.

Трудно сказать почему, но очень помогало писать сознание, что за стеной всю ночь напролет облетает старый

деревенский сад. Я думал о нем, как о живом существе. Он был молчалив и терпеливо ждал того времени, когда я пойду поздним вечером к колодцу за водой для чайника. Может быть, ему было легче переносить эту бесконечную ночь, когда он слышал брнчанье ведра и шаги человека.

Но, во всяком случае, ощущение одинокого сада и холодных лесов, тянувшихся за околицей на десятки километров, лесных озер, где в такую ночь, конечно, не может быть и нет ни единой человеческой души, а только звезды отражаются в воде, как отражались сто и тысячу лет назад,— это ощущение помогало мне. Пожалуй, я могу сказать, что в эти осенние вечера я был действительно счастлив.

Хорошо писать, когда впереди тебя ждет что-нибудь интересное, радостное, любимое, даже такой пустяк, как рыбная ловля под черными ивами на отдаленной старице реки.

### СТАРИК В СТАНЦИОННОМ БУФЕТЕ

Худой старик с колючей щетиной на лице сидел в углу станционного буфета в Майори. Над Рижским заливом свистящими полосами проносились зимние шквалы. У берегов стоял толстый лед. Сквозь снежный дым было слышно, как грохочет прибой, налетая на крепкую ледяную закраину.

Старик зашел в буфет, очевидно, погреться. Он ничего не заказывал и понуро сидел на деревянном диване, загнув руки в рукава неумело заплатанной рыбацкой куртки.

Вместе со стариком пришла белая мохнатая собачка. Она сидела, прижавшись к его ноге, и дрожала.

Рядом за столиком шумно пили пиво молодые люди в тугими, красными затылками. Снег таял у них на шляпах. Талая вода капала в стаканы с пивом и на бутерброды с копченой колбасой. Но молодежь люди спорили о футбольном матче и не обращали на это внимания.

Когда один из молодых людей взял бутерброд и откусил сразу половину, собачка не выдержала. Она подо-

шла к столику, стала на задние лапы и, заискивая, начала смотреть в рот молодому человеку.

— Пети! — тихо позвал старик. — Как же тебе не стыдно! Зачем ты беспокоишь людей, Пети?

Но Пети продолжала стоять, и только передние лапы у нее все время дрожали и опускались от усталости. Когда они касались мокрого живота, собачка спохватывалась и подымала их снова.

Но молодые люди не замечали ее. Они были увлечены разговором и то и дело подливали себе в стаканы холодное пиво.

Снег залеплял окна, и дрожь пробежала по спине при виде людей, пьющих в такую стужу совершенно ледяное пиво.

— Пети! — снова позвал старик. — А Пети! Ступай сюда!

Собачка несколько раз быстро мотнула хвостом, как бы давая понять старику, что она его слышит и извиняется, но ничего с собой поделать не может. На старика она не взглянула и даже отвела глаза совсем в другую сторону. Она как бы говорила: «Я сама знаю, что это нехорошо. Но ты же не можешь купить мне такой бутерброд».

— Эх, Пети! Пети! — шепотом сказал старик, и голое его чуть дрогнуло от огорчения.

Пети снова вильнула хвостом и вскользь, умоляюще посмотрела на старика. Она как бы просила его больше ее не звать и не стыдить, потому что у нее самой нехорошо на душе и она, если бы не крайность, никогда бы, конечно, не стала просить у чужих людей.

Наконец один из молодых людей, скуластый, в зеленой шляпе, заметил собаку.

— Присишь, стерва? — спросил он. — А где твой хозяин?

Пети радостно вильнула хвостом, взглянула на старика и даже чуть взвизгнула.

— Что же это вы, гражданин! — сказал молодой человек. — Раз собаку держите, так должны кормить. А то некультурно получается. Собака у вас милостыню выпрашивает. Нищенство у нас запрещено законом.

Молодые люди захохотали.

— Ну и отмочил, Валька! — крикнул один из них и бросил собачке кусок колбасы.

— Пети, не смей! — крикнул старик. Обветренное его лицо и тощая, жилистая шея покраснели.

Собачка сжалась и, опустив хвост, подошла к старику, даже не взглянув на колбасу.

— Не смей брать у них ни крошки! — сказал старик.

Он начал судорожно рыться в карманах, достал немного серебряной и медной мелочи и пересчитывал ее на ладони, сдувая мусор, прилипший к монетам. Пальцы у него дрожали.

— Еще обижается! — сказал скуластый молодой человек. — Какой независимый, скажи пожалуйста.

— А, брось ты его! На что он тебе сдался! — примерно произнес один из его товарищей, наливая всем пиво.

Старик не проронил ни слова. Он подошел к стойке и положил несколько монет на мокрый прилавок.

— Один бутерброд! — сказал он хрипло.

Собачка стояла рядом с ним, поджав хвост.

Продавщица подала старику на тарелке два бутерброда.

— Один! — сказал старик.

— Берите! — тихо сказала продавщица. — Я на вас не ризорюсь...

— Палдиес! — сказал старик. — Спасибо!

Он взял бутерброды и вышел на платформу. Там никого не было. Один шквал прошел, второй подходил, но был еще далеко на горизонте. Даже слабый солнечный свет упал на белые леса за рекой Лиелупа.

Старик сел на скамейку, дал один бутерброд Пети, а другой завернул в серый носовой платок и спрятал в карман.

Собачка судорожно ела, а старик, глядя на нее, говорил:

— Ах, Пети, Пети! Глупая собака!

Но собачка не слушала его. Она только ела. Старик смотрел на нее и вытирал рукавом глаза — верно, они лезились у него от ветра.

Вот, собственно, и вся маленькая история, случившаяся на станции Майори на Рижском взморье.

Зачем я ее рассказал?

Размышляя о значении подробностей в прозе, я вспомнил эту историю и понял, что если передать ее без одной главной подробности — без того, что собака всем своим видом извинялась перед хозяином, без этого заискиваю-



шего жеста маленького существа, то история эта станет грубее, чем она была на самом деле.

А если выбросить и другие подробности — неумело заплатанную куртку, свидетельствующую о вдовстве или одиночестве, капли талой воды, падавшие со шляп молодых людей, ледяное пиво, мелкие деньги с прилипшим к ним сором из кармана да, наконец, даже шквалы, налетавшие с моря белыми стенами, то рассказ от этого стал бы значительно суше и бескровнее.

В последние годы подробности начали исчезать из нашей беллетристики, особенно в вещах молодых писателей.

Но без подробности вещь не живет. Любой рассказ превращается тогда в ту сухую палку от копченого сига, о какой упоминал Чехов. Самого сига нет, а торчит одна тощая щепка.

Смысл подробности заключается в том, чтобы, по словам Пушкина, мелочь, которая обычно ускользает от глаз мелькнула бы крупно, стала видной всем.

С другой стороны, есть писатели, страдающие утомительной и скучной наблюдательностью. Они заполняют свои сочинения горами подробностей — без отбора, без понимания того, что подробность имеет право жить и необходимо нужна только в том случае, если она характерна, если она может сразу, как лучом света, вырвать из темноты любого человека или любое явление.

Например, чтобы дать представление о начавшемся крупном дожде, достаточно написать, что первые его капли громко щелкали по газете, валявшейся на земле под окном.

Или, чтобы передать страшное ощущение смерти грудного ребенка, достаточно сказать об этом так, как сказал Алексей Толстой в «Хождении по мукам»:

Измученная Даша уснула, а когда проснулась, ее ребенок был мертв.

«Схватила его, развернула, — на высоком черепе его светлые и редкие волосы стояли дыбом.

...Даша сказала мужу:

— Покуда спала, к нему пришла смерть... Пойми же — у него волосики стали дыбом... Один мучился... Я спала...

Никакими уговорами нельзя было отогнать от нее видения одинокой борьбы мальчика со смертью».

Эта подробность (легкие детские волосы, вставшие дыбом) стоит многих страниц самого точного описания смерти.

Обе эти подробности верно бьют в цель. Только такой и должна быть подробность — определяющей целое и, кроме того, обязательной.

В рукописи одного молодого писателя я наткнулся на такой диалог:

*«Здорово, тетя Паша!»* — сказал входя, Алексей. (Перед этим автор говорит, что Алексей открыл дверь в комнату тети Паши рукой, как будто дверь можно открыть головой.)

— *Здравствуй, Алеша,* — приветливо воскликнула тетя Паша, оторвалась от шитья и посмотрела на Алексея. — Что долго не заходил?

— Да все некогда. Собрания всю неделю проводил.

— *Говоришь, всю неделю?*

— *Точно, тетя Паша! Всю неделю. Володьки нету?* — спросил Алексей, оглядывая пустую комнату.

— *Нет. Он на производстве.*

— *Ну, тогда я пошел. До свиданья, тетя Паша. Будьте здоровы.*

— *До свидания, Алеша,* — ответила тетя Паша. — *Будь здоров.*

Алексей направился к двери, открыл ее и вышел. Тетя Паша посмотрела ему вслед и покачала головой.

— Бойковитый парень. Моторный».

Весь этот отрывок состоит, помимо небрежностей и разгильдяйской манеры писать, из совершенно необязательных и пустых вещей (они подчеркнуты). Все это ненужные, нехарактерные, ничего не определяющие подробности.

В поисках и определении подробностей нужен строжайший отбор.

Подробность теснейшим образом связана с тем, что мы называем интуицией.

Интуицию я представляю себе как способность по отдельной частности, по подробности, по одному какому-либо свойству восстановить картину целого.

Интуиция помогает авторам исторических произведений воссоздавать не только подлинную картину жизни прошедших эпох, но самый их неповторимый колорит, существования людей, их психику, которая, по сравнению с нашей, была, конечно, несколько иной.

Интуиция помогла Пушкину, никогда не бывшему в Испании и в Англии, написать великолепные испанские стихи, написать «Каменного гостя», а в «Пире во время чумы» дать картину средневековой Англии, не худшую, чем это могли бы сделать Вальтер Скотт или Бернс — уроженцы этой туманной страны.

Хорошая подробность вызывает и у читателя интуитивное и верное представление о целом — о человеке и его состоянии, о событии или, наконец об эпохе.

## БЕЛАЯ НОЧЬ

Старый пароход отвалил от пристани в Вознесенье и вышел в Онежское озеро.

Белая ночь простиралась вокруг. Я впервые видел эту ночь не над Невой и дворцами Ленинграда, а среди северных лесистых пространств и озер.

На востоке низко висела бледная луна. Она не давала света.

Волны от парохода бесшумно убегали вдаль, покачивая куски сосновой короны. На берегу, должно быть, в каком-нибудь древнем погосте, сторож пробил на колокольне часы — двенадцать ударов. И хотя до берега было далеко, этот звон долетел до нас, миновал пароход и ушел по водной глади в прозрачный сумрак, где висела луна.

Я не знаю, как лучше назвать томительный свет белой ночи. Загадочным? Или магическим?

Эти ночи всегда кажутся мне чрезмерной щедростью природы — столько в них бледного воздуха и призрачного блеска фольги и серебра.

Человек не может примириться с неизбежным исчезновением этой красоты, этих очарованных ночей. Поэтому, должно быть, белые ночи и вызывают своей непременностью легкую печаль, как все прекрасное, когда оно обречено жить недолго.

Я впервые ехал на север, но все казалось мне здесь знакомым, особенно груды белой черемухи, отцветавшей в ту позднюю весну в заглохших садах.

Много этой холодной и пахучей черемухи было в Вознесенье. Никто здесь ее не обрывал и не ставил на столы в кувшины.

Я ехал в Петрозаводск. В то время Алексей Максимович Горький задумал издавать серию книг под рубрикой «История фабрик и заводов». К этому делу он привлек многих писателей, причем было решено работать бригадами, — тогда это слово впервые появилось в литературе.

Горький предложил мне на выбор несколько заводов. Я остановился на старинном Петровском заводе в Петрозаводске. Он был основан Петром Первым и существовал сначала как завод пушечный и якорный, потом занимался бронзовым литьем, а после революции перешел на изготовление дорожных машин.

От бригадной работы я отказался. Я был уверен тогда (как и сейчас), что есть области человеческой деятельности, где артельная работа просто немыслима, в особенности работа над книгой. В лучшем случае может получиться собрание разнородных очерков, а не цельная книга. В ней же, по-моему, несмотря на особенности материала, все равно должна была присутствовать индивидуальность писателя со всеми качествами его восприятия действительности, его стиля и языка.

Я считал, что как нельзя одновременно играть вдвоем или втроем на одной и той же скрипке, так же невозможно писать сообща одну и ту же книгу.

Я сказал об этом Алексею Максимовичу. Он насулился, побарабанил, по своему обыкновению, пальцами по столу, подумал и ответил:

— Вас, молодой человек, будут обвинять в самоуверенности. Но, в общем, валяйте! Только оконфузиться вам нельзя — книгу обязательно привозите. Всенепременно!

На пароходе я вспомнил об этом разговоре и поверил, что книгу напишу. Мне очень нравился север. Это обстоятельство, как мне тогда казалось, должно было значительно облегчить работу. Очевидно, я надеялся пропустить в эту книгу о Петровском заводе пленившие меня черты севера — белые ночи, тихие воды, леса, черемуху, певучий новгородский говор, черные челны с изогнутыми носами, похожими на лебединные шеи, коромысла, расписанные разноцветными травами.

Петрозаводск был в то время тихим и пустынным. На улицах лежали большие мшистые валуны. Город был весь какой-то слюдяной — должно быть, от несильного блеска, исходившего от озера, и от белесого, невзрачного, но милого неба.

В Петрозаводске я засел в архивах и библиотеке и начал читать все, что относилось к Петровскому заводу. История завода оказалась сложной и интересной. Петр Первый, шотландские инженеры, наши крепостные талантливые мастера, карронский способ литья, водяные машины, своеобразные нравы — все это давало обильный материал для книги.

Прежде всего я набросал ее план. В нем было много истории и описаний, но мало людей.

Я решил писать книгу тут же, в Карелии, и потому снял комнату у бывшей учительницы Серафимы Ионовны — совершенно опростившейся старушки, ничем не похожей на учительницу, кроме очков и знания французского языка.

Я начал писать книгу по плану, но, сколько ни бился, книга просто рассыпалась у меня под руками. Мне никак не удавалось спаять материал, сцементировать его, дать ему естественное течение.

Материал расползлся. Интересные куски провисали, не поддержанные соседними интересными кусками. Они одиноко торчали, не подкрепленные тем единственным, что могло бы вдохнуть жизнь в эти архивные факты, — живописной подробностью, воздухом времени, близкой мне человеческой судьбой.

Я писал о водяных машинах, о производстве, о мастерах, писал с глубокой тоской, понимая, что пока у меня не будет своего отношения ко всему этому, пока хотя бы самое слабое лирическое дыхание не оживит этот материал, ничего из книги не получится. И вообще никакой книги не будет.

(Кстати, в то время я понял, что писать о машинах нужно так же, как мы пишем о людях, — чувствуя их, любя их, радуясь и страдая за них. Не знаю как кто, но я всегда испытываю физическую боль за машину, хотя бы за «Победу», когда она, напрягаясь, берет из поледних сил крутой подъем. Я устаю от этого, пожалуй, не меньше чем машина. Может быть, этот пример не очень удачен, но я убежден, что к машинам, если хочешь написать о них, надо относиться как к живым существам. Я заметил, что хорошие мастера и рабочие так к ним и относятся.)

Ничего нет отвратительнее и тяжелее беспомощности перед материалом.

Я чувствовал себя человеком, взявшимся не за свое дело, как если бы мне пришлось выступать в балете или редактировать философию Канта.

А память нет-нет да и колола меня словами Горького: «Только оконфузиться вам нельзя — книгу обязательно привозите».

Я был подавлен еще и тем, что рушилась одна из основ писательского мастерства, которую я свято чтил. Я считал, что писателем может быть только тот, кто умеет легко и не теряя своей индивидуальности овладеть любым материалом.

Это мое состояние кончилось тем, что я решил сдать-ся, ничего не писать и уехать из Петрозаводска.

Мне не с кем было поделиться своей бедой; кроме Серафимы Ионовны. Я было уже совсем собрался рассказать ей о своей неудаче, но оказалось, что она сама это почувствовала, должно быть, каким-то своим особым учительским чутьем.

— Вы как, бывало, мои дуры гимназистки перед экзаменом, — сказала она мне. — Так забывают себе головы, что ничего не видят и не могут понять, что важно, а что ерунда. Просто переутомились. Я вашего дела писательского не знаю, но думается мне, что тут напором ничего не возьмешь. Только перетянете себе нервы. А это и вредно и просто опасно. Вы сгоряча не уезжайте. Отдохните. Поездите по озеру, погуляйте по городу. Он у нас славный, простой. Может, что и получится.

Но я все же решил уехать. Перед отъездом я пошел побродить по Петрозаводску. До тех пор я его как следует и не видел.

Я побрел к северу вдоль озера и вышел на окраину города. Домишки кончились. Потянулись огороды. Среди них то тут, то там виднелись кресты и могильные памятники.

Какой-то старик полол грядки моркови. Я спросил его, что это за кресты.

— Тут ране кладбище было, — ответил старик. — Вроде иностранцев здесь погребали. А сейчас эта земля пошла под огороды, памятники поубирали. А что осталось, так это ненадолго. До будущей весны постоят, не дольше.

Памятников, правда, было мало — всего пять-шесть. Один из них был обнесен чугунной оградой великолепного тяжелого литья.

Я подошел к нему. На гранитной сломанной колонке виднелась надпись на французском языке. Высокий репейник закрывал почти всю эту надпись.

Я сломал репейник и прочел: «Шарль-Евгений Лонсевиль, инженер артиллерии Великой армии императора Наполеона. Родился в 1778 году в Перпиньяне, скончался летом 1816 года в Петрозаводске, вдали от родины. Да снизойдет мир на его истерзанное сердце».

Я понял, что передо мной была могила человека незаурядного, человека с печальной судьбой, и что именно он выручит меня.

Я вернулся домой, сказал Серафиме Ионовне, что остаюсь в Петрозаводске, и тотчас пошел в архив.

Там работал совершенно высохший, даже как будто прозрачный от худобы старичок в очках, бывший преподаватель математики. Архив не был еще целиком разобран, но старичок прекрасно управлялся в нем.

Я рассказал ему, что со мной произошло. Старичок страшно разволновался. Он привык выдавать, да и то редко, скучные справки, главным образом выписки из церковных метрических книг, а сейчас нужно было произвести трудный и интересный архивный розыск — найти все, что касалось загадочного наполеоновского офицера, умершего почему-то в Петрозаводске больше ста лет назад.

И старичок и я — мы оба беспокоились. Найдутся ли в архиве хоть какие-нибудь следы Лонсевила, чтобы по ним можно было с большей или меньшей вероятностью восстановить его жизнь? Или мы ничего не найдем?

В общем, старичок неожиданно заявил, что не пойдет ночевать домой, а будет рыться в архиве всю ночь. Я хотел остаться с ним, но оказалось, что посторонним в архиве находиться нельзя. Тогда я отправился в город, купил хлеба, колбасы, чаю и сахару, принес все это старичку, чтобы он мог ночью поесть, и ушел.

Поиски длились девять дней. Каждое утро старичок показывал мне список дел, где, по его догадкам, могли быть какие-нибудь упоминания о Лонсевиле. Против наиболее интересных дел он ставил «птички», но называл их, как математик, «радикалами».

Только на седьмой день была найдена запись в кладбищенской книге о погребении при несколько странных

обстоятельствах пленного капитана французской армии Шарля-Евгения Лонсевилья.

На девятый день были найдены упоминания о Лонсевиле в двух частных письмах, а на десятый — оборванное, без подписи донесение олонецкого губернатора о кратковременном пребывании в Петрозаводске жены «означенного Лонсевилья Марии-Цецилии Тринитэ, приезжавшей из Франции для установки памятника на его могиле».

Материалы были исчерпаны. Но и того, что нашел сиявший от этой удачи старичок-архивариус, было достаточно, чтобы Лонсевиль ожил в моем воображении.

Как только появился Лонсевиль, я тотчас засел за книгу — и весь материал по истории завода, что еще недавно так безнадежно рассыпался, вдруг лег в нее. Улегся плотно и как бы сам собой вокруг этого артиллериста, участника французской революции и наполеоновского похода в Россию, взятого в плен казаками под Гжатском, сосланного на Петрозаводский завод и умершего там от горячки.

Так была написана повесть «Судьба Шарля Лонсевилья».

Материал был мертв, пока не появился человек.

Кроме того, весь заранее составленный план книги разлетелся вдребезги. Теперь повествование уверенно вел за собой Лонсевиль. Он как магнит притянул к себе не только исторические факты, но и многое из того, что я видел на севере.

В повести есть сцена оплакивания умершего Лонсевилья. Слова женского плача над ним я взял из подлинных причитаний. Этот случай заслуживает того, чтобы о нем упомянуть.

Я ехал на пароходе вверх по Свири, из Ладожского озера в Онежское. Где-то, кажется в Свирице, на нижнюю палубу внесли с пристани простой сосновый гроб.

В Свирице, оказывается, умер старейший и самый опытный на Свири лоцман. Его друзья-лоцманы решили провезти гроб с его телом по всей реке — от Свирицы до Вознесенья, чтобы покойный как бы простился с любимой рекой. И кроме того, чтобы дать возможность береговым жителям попрощаться с этим очень уважаемым в тех местах, своего рода знаменитым человеком.

Дело в том, что Свирь порожистая и стремительная река. Пароходы без опытного лоцмана не могут прохо-



дять свирские стремнины. Поэтому на Свири с давних пор существовало целое племя лоцманов, очень тесно связанных между собой.

Когда мы проходили стремнины — пороги, наш пароход тащили два буксира, несмотря на то что он сам работал полным ходом.

Вниз по течению пароходы шли в обратном порядке — и пароход и буксир работали задним ходом против течения, чтобы замедлить спуск и не налететь на пороги.

О том, что на нашем пароходе везут умершего лоцмана, дали телеграмму вверх по реке. Поэтому на каждой пристани пароход встречали толпы жителей. Впереди стояли старухи-плакальщицы в черных платках. Как только пароход подваливал к пристани, они начинали оплакивать умершего высокими, томительными голосами.

Слова этого поэтического плача никогда не повторялись. По-моему, каждый плач был импровизацией.

Вот один из плачей:

«Пошто отлетел от нас в смертную сторону, пошто покинул нас, сиротинушек? Нешто мы тебя не привечали, не встречали добрым да ласковым словом? Погляди на Свирь, батюшка, погляди в останний раз, — кручи запеклись рудой кровью, течет река из одних наших бабьих слез. Ох, за что же это смерть к тебе пришла не ко времени? Ох, чего ж это по всей Свири-реке горят погребальные свечечки?»

Так мы и плыли до Вознесенья под этот плач, не прекращавшийся даже ночью.

А в Вознесенье на пароход взошли суровые люди — лоцманы — и сняли с гроба крышку. Там лежал седой могучий старик с обветренным лицом.

Гроб подняли на льняных полотенцах и понесли на берег под звонкий плач. За гробом шла молодая женщина, прикрыв шалью бледное лицо. Она вела за руку белоголового мальчика. За ней в нескольких шагах позади шел средних лет мужчина в форме речного капитана. Это были дочь, внук и зять умершего.

На пароходе приспустили флаг, и, когда гроб понесли на кладбище, пароход дал несколько протяжных гудков.

И еще одно впечатление отразилось в этой повести. Ничего значительного в этом впечатлении не было, но

почему-то оно в моей памяти накрепко связано с севером. Это необыкновенный блеск Венеры.

Никогда я еще не видел блеска такой напряженности и чистоты. Венера переливалась, как капля алмазной влаги на зеленеющем предрассветном небе.

Это была действительно посланница небес, предвестница прекрасной утренней зари. В средних широтах и на юге я как-то никогда не замечал ее. А здесь казалось — она одна сверкает в своей девственной красоте над пустошами и лесами, одна властвует в предутренние часы над всей северной землей, над Онегой и Заоночьем, над Ладогой и Заонежьем.

### ЖИВОТВОРЯЩЕЕ НАЧАЛО

Однажды Золя в обществе нескольких друзей заметил, что воображение совершенно не нужно писателю. Работа писателя должна быть основана только на точном наблюдении. Как у него, у Золя.

Бывший при этом Мопассан спросил:

— Как же тогда объяснить, что вы пишете свои огромные романы на основании какой-нибудь одной газетной заметки и при этом месяцами не выходите из дому?

Золя промолчал.

Мопассан взял шляпу и вышел. Его уход мог быть истолкован как оскорбление. Но он не боялся этого. Никому, даже Золя, он не мог позволить отрицать воображение.

Мопассан, как и каждый писатель, глубоко дорожил воображением — великолепной средой для расцвета творческой мысли, золотоносной землей поэзии и прозы.

Оно было животворящим началом искусства, его, как выражались восторженные поэты из Латинского квартала, «вечным солнцем и богом».

Но это ослепительное солнце воображения загорается только от прикосновения к земле. Оно не может гореть в пустоте. В ней оно гаснет.

Что такое воображение? Легче всего было бы ответить, как отвечал на такие каверзные вопросы Гайдар. Он подозрительно смотрел на собеседника и спрашивал:

— Опять ты меня решил подловить? Черта с два! Все равно не скажу.

Чтобы нам самим стали более или менее ясны некоторые понятия, лучше всего разобраться в них так, как делают это в разговорах с детьми взрослые.

Дети спрашивают: «А что это?», «А зачем это?», «А почему это?». Они не успокаиваются, пока не вынудят нас отыскать на все эти вопросы хотя бы сносные ответы.

Если бы у нас нашелся маленький собеседник, который мог бы выговорить слово «воображение», разговор, очевидно, происходил бы так:

— А что такое воображение?

И если бы мы в этом случае заговорили о «солнце искусства» или его «святая святых», то забралась бы в такие заумные чаши, что из них оставался бы только один выход — бегство от своего собеседника.

Дети требуют ясности. Поэтому мы будем вынуждены ответить предполагаемому собеседнику, что воображение — это свойство человеческой природы.

— Какое?

— Это свойство человека, пользуясь запасом жизненных наблюдений, мыслей и чувств, создавать наряду с действительностью вымышленную жизнь, с вымышленными людьми и событиями. (Конечно, это надо сказать значительно проще.)

— А для чего? — спросит нас собеседник. — Есть же настоящая жизнь. Зачем же выдумывать другую?

— А затем, что настоящая жизнь большая и сложная и человеку никогда не удастся узнать ее целиком и во всем разнообразии. Да многое он и не может увидеть и пережить. Например, он не может перенестись на триста лет назад и стать учеником Галилея, быть участником взятия Парижа в тысяча восемьсот четырнадцатом году или, сидя в Москве, прикоснуться рукой к мраморным колоннам акрополя. Или беседовать с Гоголем, бродя по улицам Рима. Или заседать в Конvente и слышать речи Марата. Или смотреть с палубы на Тихий океан, усеянный звездами. Хотя бы потому, что этот человек никогда в жизни не видел даже моря. А человек хочет знать, видеть и слышать все, хочет пережить все. И вот воображение дает ему то, что не успела или не может ему дать действительность. Воображение заполняет пустоты человеческой жизни.

Тут вы, конечно, забудете о своем собеседнике и начнете говорить вещи, для него непонятные.

Кто может провести резкую границу между воображением и мыслью? Ее нет, этой границы.

Воображение создало закон притяжения, бином Ньютона, печальную повесть Тристана и Изольды, расщепление атома, здание Адмиралтейства в Ленинграде, «Золотую осень» Левитана, «Марсельезу», радио, электрический свет, принца Гамлета, теорию относительности и фильм «Бемби».

Человеческая мысль без воображения бесплодна, равно как бесплодно и воображение, оторванное от действительности.

Есть французское выражение: «Великие мысли исходят из сердца». Пожалуй, вернее было бы сказать, что великие мысли исходят из всего человеческого существа. Сердце, воображение и разум — вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой.

Но есть одна вещь, которую даже наше могучее воображение не может себе представить. Это — исчезновение воображения и, значит, всего, что им вызвано к жизни. Если исчезнет воображение, то человек перестанет быть человеком.

Воображение — великий дар природы. Оно заложено в натуре человека.

Воображение, как я уже говорил, не может жить без действительности. Оно питается ею. С другой стороны, воображение очень часто в какой-то мере влияет на течение нашей жизни, на наши дела и мысли, на наше отношение к людям.

Об этом, как я уже упоминал, хорошо сказал Писарев. Если бы человек, говорил он, не мог представить себе в ярких и законченных картинах будущее, если бы человек не умел мечтать, то ничто бы не заставило его действовать во имя этого будущего, вести упорную борьбу, даже жертвовать жизнью.

Случайно на ноже карманном  
Найти пылинку дальних стран —  
И мир опять предстанет странным,  
Закутанным в цветной туман!

Это — из Блока. А другой поэт сказал:

В каждой луже — запах океана.  
В каждом камне — веянье пустынь...

Пылинка дальних стран и камень на дороге! Часто с таких вот пылинок и камней начинается неукротимая работа воображения. В связи с этим мне вспомнилась история одного старого испанского гидальго.

Возможно, что этот гидальго знал лучшие дни, но ко времени нашего рассказа он скудно жил в своем поместье в Кастилии. Поместье — клочок земли с угрюмым каменным домом, похожим на крепостной каземат, — досталось ему в наследство от предков.

Гидальго был одинок. В доме у него жила только старуха нянька. Она с трудом готовила самую простую еду и ничего уже не помнила. Бесполезно было даже разговаривать с ней.

Гидальго целыми днями сидел в потертом кресле около стрельчатого окна и читал книги. Тишину нарушал только треск пересохшего клея в корешках книг.

Изредка гидальго смотрел за окно. Там торчало сухое дерево, черное, как железо, и тянулось по горизонту скучное плоскогорье. Эта область Испании была пустынна и неприветлива, гидальго к ней привык.

Он был уже не молод, чтобы покидать свой дом ради утомительных и долгих путешествий с их возможными неприятностями. Да и для чего путешествовать, если во всем королевстве у него не было ни родных, ни друзей!

Какова была прошлая жизнь гидальго, мало кто знал. Говорили, что у него была жена и красавица дочь, но они умерли в один и тот же год и месяц от моровой язвы. С тех пор он заперся в своем доме и неохотно пускал к себе даже случайных путников, застигнутых ночью или непогодой.

Однажды в дом постучался обветренный человек в грубом плаще. Он привязал к черному дереву старого осла. За ужином у пылающего очага он рассказал гидальго, что — благодарение мадонне! — вернулся невредимым из опасного плавания на запад, куда король, соблазненный речами некоего итальянца Колумба, послал несколько каравелл.

Они плыли через океан несколько недель и слышали голоса морских женщин — сирен. Женщины вкрадчиво просили поднять их на каравеллы, чтобы они могли согреться на палубах, закутав свои обнаженные тела, как в покрывала, в собственные длинные волосы.

Капитан приказал не отвечать на просьбы сирен. Мат-

росы негодовали. Они истомились по любви, по крутым и упругим женским бедрам.

Все это окончилось неудачным бунтом. Трех вожakov повесили на рее.

Они плыли дальше и увидели небывалое море, покрытое морской травой. В траве цвели большие синие цветы. Тогда отслужили мессу и начали огибать это море, пока на горизонте внезапно не открылась новая земля — неведомая и прекрасная. Ветер с ее берегов приносил ласковый шум леса и одуряющий запах растений.

Капитан поднялся на мостик, вынул шпагу, поднял ее к небу, и на острие клинка вспыхнул золотой огонь — знак того, что они открыли наконец страну Эльдорадо, где горы полны драгоценных камней, золота и серебра.

Гидальго молча слушал этот рассказ.

Уезжая, человек достал из кожаной сумки розовую морскую раковину из страны Эльдорадо и подарил ее старому гидальго в благодарность за ужин и ночлег. Это была безделица, и потому гидальго ее принял.

Человек уехал, а ночью пришла гроза. Молнии медленно загорались и гасли над каменистой равниной.

Раковина лежала на столе около постели гидальго.

Он проснулся и увидел ее, озаренную вспышкой небесного огня. В глубине раковины сверкнуло и погасло видение волшебной страны, созданной из розового света, пены и облаков.

Молния погасла. Гидальго дождался следующей вспышки и снова увидел страну в раковине, еще более отчетливо, чем в первый раз. С отвесных ее берегов лились в море, пенясь и сверкая, широкие каскады воды. Что это было? Должно быть, реки. Он даже как будто почувствовал свежесть этих рек. Лицо ему запылила водяная пыль.

Он приписал это ощущение непрошедшему сну, встал, придвинул кресло к столу, сел против раковины, нагнулся к ней и с непонятно отчего бьющимся сердцем старался рассмотреть все новые подробности страны, заключенной внутри раковины. Но молнии сверкали все реже, а вскоре и совсем погасли.

Гидальго боялся зажечь свечу, чтобы при ее грубом свете не убедиться, что все это обман зрения и никакой страны в раковине нет.

Так он просидел до утра. В лучах рассвета раковина оказалась ничем не замечательной. В ее глубине не было

ничего, кроме чуть заметного дымчатого сияния, будто загадочная страна отодвинулась за ночь на тысячи лье.

В тот же день гидальго уехал в Мадрид и преклонил колени перед королем, умоляя как о великой милости дать королевское соизволение снарядить за свой счет каравеллу и отплыть на запад для поисков неведомой страны.

Король был милостив и разрешил ему это. После ухода гидальго он сказал своим приближенным:

— Этот гидальго явный безумец! Чего он может достигнуть на единственной жалкой каравелле? Но бог руководит даже путями безумных. Чего доброго, этот старик присоединит к нашей короне новые земли.

Гидальго плыл на запад несколько месяцев. Он пил только воду и ел очень мало. Волнение высушило его тело. Он старался не думать о волшебной стране, боясь, что никогда до нее не доплывет. А если и увидит ее, то она окажется скучной равниной с колючей травой, и ветер будет гнать по ней серые столбы пыли.

Гидальго молился мадонне, чтобы она избавила его от этого разочарования.

Грубо вырезанная из дерева мадонна была прикреплена к носу каравеллы. Она неслась, покачиваясь, впереди корабля по волнам. Ее выпуклые синие глаза неподвижно смотрели в морскую даль. На волосах со стертой позолотой и на выцветшем пурпуре ее плаща блестели брызги.

— Веди нас! — заклинал ее гидальго. — Не может быть, чтобы этой страны не существовало. Я так ясно вижу ее и наяву и во сне.

Однажды вечером матросы выловили в воде сломанную ветку. Это означало близость земли.

Ветка была покрыта большими листьями, похожими на перья страуса. Листья пахли сладко и освежающе.

В эту ночь никто на корабле не спал.

И вот наконец в блеске утренней зари от одного края моря до другого открылась страна, сияющая разноцветными стенами гор. Прозрачные реки низвергались с этих гор в океан. Над зеленью лесов летали стаи веселых птиц. Листва была так густа, что птицы не могли проникнуть внутрь леса и потому кружились над его вершинами.

Блаженный запах цветов и плодов долетел с берега. Казалось, что каждый глоток этого запаха вливает в грудь бессмертие.

Взошло солнце, и страна, окруженная пеленой водяной пыли от водопадов, вдруг вспыхнула всеми красками, какие дарит солнечный свет, когда он преломляется в граненых хрустальных сосудах.

Страна блистала, как алмазный пояс, забытый на краю моря девственной богиней неба и света.

Гидальго упал на колени, протянул трясущиеся руки к неведомой земле и сказал:

— Благодарю тебя, провидение! В конце жизни ты поселило во мне тоску по новизне и заставило мою душу томиться видением благословенной страны. Иначе я никогда бы не отыскал ее и глаза мои высохли бы и ослепли от однообразного зрелища плоскогорий. Эту счастливую землю я хочу назвать именем моей дочери Флоренсии.

От берега навстречу каравелле бежали десятки маленьких радуг. От них у гидальго закружилась голова. Солнце зажгло эти радуги в пене водопадов, но не они бежали к каравелле, а она быстро приближалась к ним.

На мачтах торжественно гудели паруса и, ликуя, хлопали поднятые командой праздничные знамена.

Гидальго упал лицом на теплую, влажную палубу и замолк. Усталое его сердце не выдержало единственной и великой радости, ниспосланной ему в этот день. Он умер.

Так, говорят, была открыта страна, названная впоследствии Флоридой.

Вряд ли нужно истолковывать этот рассказ. Но все же следует наметить его основные узлы, чтобы стала совершенно ясной мысль, что воображение, рожденное жизнью, в свою очередь получает иной раз власть и над жизнью.

Толчок воображению гидальго дал человек в грубом плаще. С этой минуты воображение завладело старым гидальго, и только потому он увидел в глубине раковины необыкновенную страну.

Одно из замечательных свойств воображения заключается в том, что человек ему верит. Без этой веры оно было бы пустой игрой ума, бессмысленным детским калейдоскопом.

Эта вера в воображение и есть та сила, что заставляет человека искать воображаемое в жизни, бороться за его воплощение, идти на зов воображения, как это сделал ста-



рый гидальго, наконец — создавать воображаемое в действительности.

Но прежде всего и сильнее всего воображение связано с искусством, с литературой, с поэзией.

Воображение основано на памяти, а память — на явлениях действительности. Запасы памяти не представляют из себя чего-то хаотического. Есть некий закон — закон ассоциаций, или, как называл его Ломоносов, «закон совоображения», который весь этот хаос воспоминаний распределяет по сходству или по близости во времени и пространстве — иначе говоря, обобщает — и вытягивает в непрерывную последовательную цепь. Эта цепь ассоциаций — путеводная нить воображения.

Богатство ассоциаций говорит о богатстве внутреннего мира писателя. При наличии этого богатства любая мысль и тема тотчас обрастают живыми чертами.

Есть очень насыщенные минеральные источники. Стоит положить в такой источник ветку или гвоздь, что угодно, как через короткое время они обрастут множеством белых кристаллов и превратятся в подлинные произведения искусства. Примерно то же происходит и с человеческой мыслью, погруженной в источник нашей памяти, в насыщенную среду ассоциаций. Мысль превращается в произведение искусства.

Можно взять любой пример ассоциации. При этом надо помнить, что у каждого из нас ассоциации связаны с его жизнью, биографией, с его воспоминаниями. Поэтому ассоциации одного человека могут быть совершенно чужды другому. Одно и то же слово вызывает разные ассоциации у разных людей. Дело писателя состоит в том, чтобы передать или, как говорится, донести свои ассоциации до читателя и вызвать у него подобные же ассоциации.

Простейший пример ассоциации приводит Ломоносов в своей «Риторике». Ассоциация, по словам Ломоносова, «есть душевное дарование с одной вещью, уже представленною, купно воображать другие, как-нибудь с ней сопряженные, например: когда, представив в уме корабль, с ним воображаем купно и море, по которому он плавает, с морем — бурю, с бурей — волны, с волнами — шум в берегах, с берегами — камни и так далее».

Это, так сказать, «хрестоматийная» ассоциация. Часто ассоциации бывают гораздо сложнее.

Вот, к примеру, одна из них.

Я пишу сейчас в маленьком доме на дюнах на берегу

Рижского залива. В соседней комнате читает вслух свои стихи веселый человек — латышский поэт. Он носит красный вязаный свитер. Такой же свитер я видел давно, еще во время войны, на режиссере Эйзенштейне. Я встретил Эйзенштейна на улице в Алма-Ате. Он тащил пачку только что купленных книг. Подбор книг был несколько странный: «Руководство для игры в волейбол», хрестоматия по истории средних веков, учебник алгебры и «Цусима» Новикова-Прибоя.

— Режиссеру полагается знать все,— сказал Эйзенштейн.— И для всего находить зрительное выражение.

— Даже для алгебраических формул? — спросил я.

— Безусловно! — ответил Эйзенштейн.

Поэт Владимир Луговской писал в то время большую поэму. В ней была глава об Эйзенштейне под названием «Алма-Ата — город снов». В поэме были описаны мексиканские маски, висевшие в комнате у Эйзенштейна. Он привез их из поездки в Центральную Америку.

Вообще вся история завоевания Америки — это история человеческой подлости. Ее так и нужно озаглавить. Хорошее название для исторического романа: «Подлость». Оно звучит как пощечина.

О, эти постоянные мучительные поиски названий!

Выдумывание названий — особый талант. Есть люди, которые хорошо пишут, но не умеют давать названия своим вещам. И наоборот. Так же как есть люди, которые превосходно рассказывают, но плохо пишут. Они просто выбалтываются. Нужен сильный талант, такой, как у Горького, чтобы многократно рассказывать одну и ту же историю, а потом написать ее свежо и по-иному, чем сложился словесный рассказ! А рассказывал Горький великолепно. Подлинный случай сейчас же обрастал у него подробностями. При каждом новом рассказывании одного и того же случая подробности разрастались, менялись, становились все интереснее. Его устные рассказы были, по существу, подлинным творчеством. Поэтому Горький нестерпимо скучал среди людей пресных и точных, позволявших себе сомневаться в подлинности его рассказов. Он хмурился, замолкал и, казалось, говорил: «Скучно жить с вами на этом свете, товарищи!»

Этой способностью к прекрасному устному рассказу на основании подлинных фактов обладали многие писате-

ли. Например, Марк Твен. Один критик, борющийся за мелкую правду, уличил Марка Твена во лжи. Марк Твен расвирепел. «Как вы можете судить, соврал я или нет,— сказал ему Марк Твен,— если сами вы не умеете даже бездарно соврать и не имеете никакого представления о том, как это делается? Чтобы так смело утверждать, нужен большой опыт в этом деле. А у вас его нет и быть не может. В этой области вы невежда и профан».

Ильф рассказывал, что в маленьком городке на родине Марка Твена он видел памятник Тому Сойеру и Гекльберри Финну. Финн на этом памятнике держит за хвост дохлую кошку. Правда, почему и у нас не ставить памятников литературным героям? Например, Дон-Кихоту или Гулливеру, Павлу Корчагину, Татьяне Лариной, Тарасу Бульбе, Пьеру Безухову, чеховским трем сестрам, лермонтовскому Максиму Максимычу или Бэле.

Все написанное выше — цепь ассоциаций. Число их может быть бесконечным. Если поставить рядом первое и последнее звено этой ассоциации — красный свитер и памятник Бэле, — то весь, вполне естественный, ход ассоциации покажется бредом.

Я много говорю об ассоциациях лишь потому, что они теснейшим образом участвуют в творчестве.

Из длинного этого разговора о воображении ясно только одно — без воображения нет подлинной прозы и нет поэзии.

Пожалуй, лучше всех сказал о воображении Бестужев-Марлинокий:

«Хаос — предтеча творения чего-нибудь истинного, высокого и поэтического. Пусть только луч гения пронзит этот мрак. Враждующие, равносильные доселе пылинки оживут любовью и гармонией, стекутся к одной сильнейшей, слепятся стройно, улягутся блестящими кристаллами, возникнут горами, разольются морем, и живая сила испишет чело нового мира своими исполинскими гиероглифами».

Приходит ночь, и постепенно оживает сила души, — ей нет пока имени. Как назвать ее? Воображением, фантазией, проникновением в мельчайшие поры человеческого со-

знания, вдохновением? Душевным восторгом или спокойствием? Радостью или печалью? Кто знает!

Я гашу лампу, и ночь начинает медленно светлеть. Темнота пропитывается отсветом снега. Морской залив во льду. Как огромное тусклое зеркало, он подсвечивает ночь и превращает ее в прозрачный сумрак.

Видны черные вершины балтийских сосен. С мерно нарастающим гулом проходят вдали электрички. И снова тишина, такая тишина, что кажется, слышно малейшее шуршание хвои за окном и непонятное легкое потрескивание. Оно совпадает с вспышками звезд. Может быть, это иней слетает с них и осторожно потрескивает и позванивает.

В доме пусто. Я один. Рядом — море на сотни миль. За дюнами обширные болота и низкие леса... Никого нет около. Но стоит зажечь лампу, сесть к столу и начать писать о чем бы то ни было, как ощущение одиночества пропадает. Я не один. Из этой тесной комнаты я могу поговорить с тысячами людей, со всем миром. Я могу им рассказывать всяческие истории, смешить их и печалить, вызывать раздумие и гнев, любовь и сострадание, вести их за руку, как поводырь, по жизни. Она создана здесь, в этих четырех стенах, но прорывается во Вселенную.

Вести их за руку навстречу заре. Она придет неизбежно. Она уже чуть заметно приподняла на востоке темный полог ночи и осветила край неба еще пока что очень далекой, едва заметной голубизной.

Пока еще я сам не знаю, что буду писать. Мысль существует во мне, как волнение, как желание передать другим все то, что наполняет сейчас мой разум, мое сердце, все мое существо. Мысль живет во мне, но во что она выльется, какие найдет пути для своего выражения, мне неясно еще самому. Но я знаю, для кого я буду писать. Я буду говорить со всем миром. Трудно, почти невозможно зрительно представить себе это понятие — весь мир.

Всегда думаешь о ком-нибудь одном, хотя бы о девочке с нестерпимо сияющими глазами, что когда-то бежала ко мне навстречу по лугам, чтобы, добежав, схватить меня за локоть и сказать, задыхаясь от бега:

— А я вас давно здесь жду. Уже набрала целый снопок цветов и девять раз прочла наизусть вторую главу из «Ев-

гения Онегина». И все вас ждут дома, потому что нам одним скучно. И вы сейчас расскажете всем, что с вами случилось на озере, и, пожалуйста, выдумайте что-нибудь интересное. Или нет, не выдумывайте, а расскажите все, как было, потому что и так в лугах такая прелесть и второй раз зацвел шиповник! И вообще хорошо!

А может быть, для женщины, чья жизнь связана с моею многими годами тяжести, радости и нежности так крепко, что теперь уже ничто нас не страшит.

А может быть, для друзей. В моем возрасте их становится с каждым годом меньше.

Но в конце концов я пишу для всех, кто захочет прочесть написанное мной.

Я не знаю, о чем буду писать. Может быть, потому, что слишком много хочу рассказать и пока еще не выбрал из мыслей именно ту одну, что, как магнит, притянет остальные и заставит их стройно лечь в границы повествования.

Это состояние знакомо всем пишущим.

«Поэты,— сказал Тургенев,— недаром говорят о вдохновении. Конечно, муза не ходит к ним с Олимпа и не приносит им готовых песен, но у них бывает особенное настроение, похожее на вдохновение. Те стихи Фета, над которыми так смеялись, где он говорит, что не знает сам, что будет петь, но «только песня зреет», прекрасно передают это настроение. Находят минуты, когда чувствуешь желание писать,— еще не знаешь, что именно, но чувствуешь, что будешь писать. Это настроение поэты и называют «приближением бога». Эти минуты составляют единственное наслаждение художника. Если бы их не было, никто бы и писать не стал. После, когда приходится приводить в порядок все то, что носится в голове, когда приходится излагать все это на бумаге,— тут-то и начинается мучение».

Внезапно среди ночи возникает звук. Это отдаленный пароходный гудок. Откуда он здесь, во льдах?

Вчера в рижской газете писали, что из Ленинграда вышел в залив ледокол. Очевидно, это гудок ледокола.

Неожиданно мне приходит на память рассказ штурмана одного из ледоколов о том, что, пробиваясь сквозь Финский залив, он увидел на льду замерзшую охалку

простых полевых цветов. Они были присыпаны снегом. Кто потерял их здесь, в ледяной пустыне? Очевидно, их уронили с какого-нибудь парохода, когда он ломал первый, тонкий лед.

Образ возник. С непонятной силой он начинает вести к еще неясной сказке.

Нужно разгадать тайну этих замерзших цветов. В разгадке участвуют все. У каждого, видевшего эти цветы, есть соображения по этому поводу.

Есть они и у меня, хотя я цветов и не видел. Не те ли это цветы, что собирала в лугах девочка, прибежавшая ко мне навстречу? Должно быть, это те же цветы. Но как они попали на лед? Это могло случиться только в сказке, не ведающей преград ни во времени, ни в пространстве.

Тут же возникает мысль об особом, чисто женском отношении к цветам. Оно разнится от нашего, мужского. Для нас цветы — это украшение. Для женщин — это живые существа, гости из мира, который мы, взрослые и деловые люди, замечаем только мимоходом и относимся к нему со снисходительным пренебрежением.

Досадно, что так быстро разгорается заря. Дневной свет может прогнать эти мысли, сделать их просто смешными в глазах серьезных людей.

От солнечного света многие сказки сжимаются и прячутся, как улитки в свою скорлупу.

Да, но сказка — пока еще туманная — родилась. Остановить сказку, рассказ, повесть, когда они появляются на свет, почти невозможно. Это равносильно убийству живого существа. Они начинают расцветать в нашем сознании как бы сами по себе.

И наконец наступает тот час, когда сказка ложится на бумагу. Писать ее большей частью так же трудно, как передать словами слабый запах травы. Сказку пишешь почти не дыша — чтобы не сдуть тончайшую пыльцу, которой она покрыта. И пишешь быстро, потому что мелькание света, теней и отдельных картин происходит стремительно и легко. Нельзя опоздать, нельзя отстать от бега воображения.

Сказка окончена. И хочется с благодарностью еще раз взглянуть в те сияющие глаза, где она живет постоянно.

## НОЧНОЙ ДИЛИЖАНС

Я хотел написать отдельную главу о силе воображения и его влияния на нашу жизнь. Но, подумав, я написал вместо этой главы рассказ о поэте Андерсене. Мне кажется, что он может заменить эту главу и даст более ясное представление о воображении, чем общие разговоры на эту тему.

В старой и грязной венецианской гостинице нельзя было допроситься чернил. Да и зачем было держать там чернила? Чтобы писать дутые счета постояльцам?

Правда, когда Христиан Андерсен поселился в гостинице, то в оловянной чернильнице оставалось еще немного чернил. Он начал писать ими сказку. Но с каждым часом сказка бледнела на глазах, потому что Андерсен несколько раз разбавлял чернила водой. Так ему и не удалось окончить ее — веселый конец сказки остался на дне чернильницы.

Андерсен усмехнулся и решил, что следующую сказку он так и назовет: «История, оставшаяся на дне высохшей чернильницы».

Он полюбил Венецию и называл ее «увядающим лотосом».

Над морем клубились низкие осенние тучи. В каналах плескалась гнилая вода. Холодный ветер дул на перекрестках. Но когда прорывалось солнце, то из-под плесени на стенах проступал розовый мрамор, и город появлялся за окном, как картина, написанная старым венецианским мастером Каналетто.

Да, это был прекрасный, хотя и несколько печальный город. Но пришло время покинуть его ради других городов.

Поэтому Андерсен не чувствовал особого сожаления, когда послал гостиничного слугу купить билет на дилижанс, отправлявшийся вечером в Верону.

Слуга был под стать гостинице — ленивый, всегда навеселе, нечистый на руку, но с открытым, простодушным лицом. Он ни разу не прибрал в комнате у Андерсена, даже не подмел каменный пол.

Из красных бархатных портьер золотистыми роями вылетала моль. Умываться приходилось в треснувшем фаянсовом тазу с изображением полногрудых купальщиц.

Масляная лампа была сломана. Взамен ее на столе стоял тяжелый серебряный канделябр с огарком сальной свечи. Его, должно быть, не чистили со времен Тициана.

Из первого этажа, где помещалась дешевая остерия, разило жареной бараниной и чесноком. Там весь день оглушительно хохотали и ссорились молодые женщины в потертых бархатных корсажах, кое-как затянутых порванными тесемками.

Иногда женщины дрались, вцепившись друг другу в волосы. Когда Андерсену случалось проходить мимо дерущихся женщин, он останавливался и с восхищением смотрел на их растрепанные косы, рдеющие от ярости лица и горящие жаждой мести глаза.

Но самым прелестным зрелищем были, конечно, гневные слезы, что брызгали у них из глаз и стекали по щекам, как алмазные капли.

При виде Андерсена женщины затихали. Их смущал этот худой и элегантный господин с тонким носом. Они считали его заезжим фокусником, хотя и называли почтительно «синьор поэт». По их понятиям, это был странный поэт. В нем бурлила кровь. Он не пел под гитару раздрающие сердце баркаролы и не влюблялся по очереди в каждую из женщин. Только один раз он вынул из петлицы алую розу и подарил ее самой некрасивой девочке — судомойке. Она была к тому же хромая, как утка.

Когда слуга пошел за билетом, Андерсен кинулся к окну, отодвинул тяжелый занавес и увидел, как слуга шел, насвистывая, вдоль канала. Он походя ущипнул за грудь краснолицую продавщицу креветок и получил оглушительную оплеуху.

Потом слуга долго и сосредоточенно плевал с горбатого моста в канал, стараясь попасть в пустую половинку яичной скорлупы. Она плавала около свай.

Наконец он попал в нее, и скорлупа утонула. После этого слуга подошел к мальчишке в рваной шляпе. Мальчишка удил. Слуга сел около него и бессмысленно уставился на поплавок, дожидаясь, когда клюнет какая-нибудь бродячая рыба.

— О боже! — воскликнул с отчаянием Андерсен. — Неужели я сегодня не уеду из-за этого болвана?

Андерсен распахнул окно. Стекла задребезжали так сильно, что слуга услышал их звон и поднял голову. Андерсен воздел руки к небу и яростно потряс кулаками.

Слуга сорвал с мальчишки шляпу, восторженно пома-



хал ею Андерсену, снова нахлобучил ее на мальчишку, вскочил и скрылся за углом.

Андерсен рассмеялся. Он ничуть не был рассержен. Его страсть к путешествиям усиливалась изо дня в день даже от таких забавных пустяков.

Путешествия всегда сулили неожиданности. Никогда ведь не знаешь, когда блеснет из-под ресниц лукавый женский взгляд, когда покажутся вдаль башни незнакомого города и закачаются на горизонте мачты тяжелых кораблей, какие стихи придут в голову при виде грозы, бушующей над Альпами, и чей голос пропоет тебе, как дорожный колокольчик, песенку о нераспустившейся любви.

Слуга принес билет на дилижанс, но не отдал сдачу. Андерсен взял его за шиворот и вежливо вывел в коридор. Там он шутливо хлопнул слугу по шее, и тот помчался вниз по шаткой лестнице, перепрыгивая через ступеньки и распевая во все горло.

Когда дилижанс выехал из Венеции, начал накрапывать дождь. На болотистую равнину опустилась ночь.

Возница проворчал, что сам сатана придумал, должно быть, отправлять дилижансы из Венеции в Верону по ночам.

Пассажиры ничего не ответили. Возница помолчал, в сердцах сплюнул и предупредил пассажиров, что, кроме огарка в жестяном фонаре, свечей больше нет.

Пассажиры и на это не обратили внимания. Тогда возница выразил сомнение в здравом рассудке своих пассажиров и добавил, что Верона — глухая дыра, где порядочным людям нечего делать.

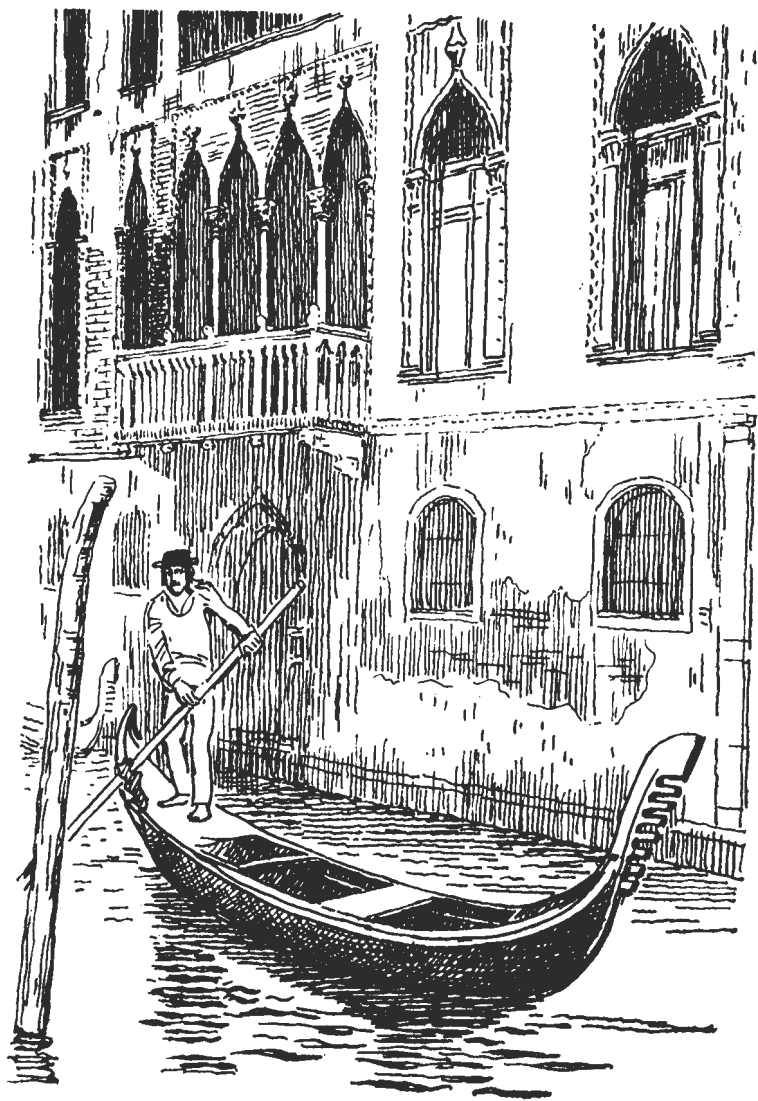
Пассажиры знали, что это не так, но никто не захотел возразить вознице.

Пассажиров было трое — Андерсен, пожилой угрюмый священник и дама, закутанная в темный плащ. Она казалась Андерсену то молодой, то пожилой, то красавицей, то дурнушкой. Все это были шалости огарка в фонаре. Он освещал даму каждый раз по-иному — как ему приходило в голову.

— Не погасить ли огарок? — спросил Андерсен. — Сейчас он не нужен. Потом, в случае необходимости, нам нечего будет зажечь.

— Вот мысль, которая никогда бы не пришла в голову итальянцу! — воскликнул священник.

— Почему?



— Итальянцы не способны что-либо предвидеть. Они спохватываются и вопят, когда уже ничего нельзя исправить.

— Очевидно,— спросил Андерсен,— ваше преподавание не принадлежит к этой легкомысленной нации?

— Я австриец!— сердито ответил священник.

Разговор оборвался. Андерсен задул огарок. После некоторого молчания дама сказала:

— В этой части Италии лучше ездить ночью без света.

— Нас все равно выдает шум колес,— возразил ей священник и недовольно добавил: — Путешествующим дамам следует брать с собой кого-нибудь из родственников. В качестве провожатого.

— Мой провожатый,— ответила дама и лукаво засмеялась,— сидит рядом со мной.

Она говорила об Андерсене. Он снял шляпу и поблагодарил свою спутницу за эти слова.

Как только огарок погас, звуки и запахи усилились, как будто они обрадовались исчезновению соперника. Громче стал топот копыт, слышнее шорох колес по гравью, дребезжание рессор и постукивание дождя по крыше дилижанса. И гуще потянуло в окна запахом сырой травы и болота.

— Удивительно! — промолвил Андерсен.— В Италии я ожидал услышать запах померанцевых рощ, а узнаю воздух своей северной родины.

— Сейчас все переменится,— сказала дама. — Мы подымаемся на холмы. Там воздух теплее.

Лошади шли шагом. Дилижанс действительно подымался на отлогий холм.

Но ночь от этого не посветлела. Наоборот, по сторонам дороги тянулись старые вязы. Под их раскидистыми ветвями темнота стояла плотно и тихо, чуть слышно перешептываясь с листьями и дождевыми каплями.

Андерсен опустил окно. Ветка вяза заглянула в дилижанс. Андерсен сорвал с нее на память несколько листьев.

Как у многих людей с живым воображением, у него была страсть собирать во время поездок всякие пустяки. Но у этих пустяков было одно свойство — они воскрешали прошлое, возобновляли то состояние, какое было у него, Андерсена, именно в ту минуту, когда он подбирал какой-нибудь осколок мозаики, лист вяза или маленькую ослиную подкову.

«Ночь!» — сказал про себя Андерсен.

Сейчас ее мрак был приятнее, чем солнечный свет. Темнота позволяла спокойно размышлять обо всем. А когда Андерсену это надоедало, то она помогала выдумывать разные истории, где он был главным героем.

В этих историях Андерсен представлял себя неизменно красивым, юным, оживленным. Он щедро разбрасывал вокруг себя те опьяняющие слова, которые сентиментальные критики называют «цветами поэзии».

На самом же деле Андерсен был очень некрасив и хорошо это знал. Он был долговяз и застенчив. Руки и ноги болтались у него, как у игрушечного человечка на веревочке. Таких человечков у него на родине дети зовут «хампельманами».

С этими качествами нечего было надеяться на внимание женщин. Но все же каждый раз сердце отзывалось обидой, когда юные женщины проходили мимо него, как около фонарного столба.

Андерсен задремал.

Когда он очнулся, то прежде всего увидел большую зеленую звезду. Она плыла над самой землей. Очевидно, был поздний час ночи.

Дилижанс стоял. Снаружи доносились голоса. Андерсен прислушался. Возница торговался с несколькими женщинами, остановившими дилижанс в пути.

Голоса женщин были такими вкрадчивыми и звонкими, что весь этот мелодичный торг напоминал речитатив из старинной оперы.

Возница не соглашался подвезти женщин до какого-то, очевидно, очень маленького городка или местечка за ту плату, какую они предлагали. Женщины наперебой уверяли, что они сложились втроем и больше денег у них нет.

— Довольно! — сказал Андерсен вознице. — Я приплачу вам до той суммы, которую вы нагло требуете. И прибавлю еще, если вы перестанете грубить пассажирам и болтать вздор.

— Ладно, красавицы, — сказал возница женщинам, — садитесь. Благодарите мадонну, что вам попался этот иностранный принц, который сорит деньгами. Он просто не хочет задерживать из-за вас дилижанс. А вы-то сами ему нужны, как прошлогодние макароны.

— О Иисусе! — простонал священник.

— Садитесь рядом со мной, девушки,— сказала дама.— Так нам будет теплее.

Девушки, тихо переговариваясь и передавая друг другу вещи, влезли в дилижанс, поздоровались, робко поблагодарили Андерсена, сели и затихли.

Сразу же запахло овечьим сыром и мятой. Андерсен смутно различал, как поблескивали стекляшки в дешевых серьгах девушек.

Дилижанс тронулся. Снова затрещал гравий под колесами. Девушки начали шептаться.

— Они хотят знать,— сказала дама, и Андерсен догадался, что она усмехается в темноте,— кто вы такой. Действительно ли вы иностранный принц? Или обыкновенный путешественник-форестьер?

— Я предсказатель,— ответил, не задумываясь, Андерсен.— Я умею угадывать будущее и видеть в темноте. Но я не шарлатан. И пожалуй, я своего рода бедный принц из той страны, где некогда жил Гамлет.

— Да что же вы можете увидеть в такой темноте? — удивленно спросила одна из девушек.

— Хотя бы вас,— ответил Андерсен.— Я вижу вас так ясно, что мое сердце наполняется восхищением перед вашей прелестью.

Он сказал это и почувствовал, как у него холодеет лицо. Приближалось то состояние, какое он всякий раз испытывал, выдумывая свои поэмы и сказки.

В этом состоянии соединялись легкая тревога, неизвестно откуда берущиеся потоки слов, внезапное ощущение своей поэтической силы и власти над человеческим сердцем.

Как будто в одной из его историй отлетела со звоном крышка старого волшебного сундука, где хранились невысказанные мысли и дремлющие чувства, где было спрятано все очарование земли,— все ее цветы, краски и звуки, душистые ветры, просторы морей, шум леса, муки любви и детский лепет.

Андерсен не знал, как называется это состояние. Одни считали его вдохновением, другие — восторгом, третьи — даром импровизации.

— Я проснулся и услышал среди ночи ваши голоса,— помолчав, спокойно сказал Андерсен.— Для меня этого было довольно, милые девушки, чтобы узнать вас и — даже больше того — полюбить, как своих мимолетных сестер. Я хорошо вас вижу. Вы девушки с легкими

светлыми волосами. Вы хохотушки и так любите все живое, что даже дикие дрозды садятся вам на плечи, когда вы работаете на огороде.

— Ой, Николина! Это же он говорит про тебя! — громким шепотом сказала одна из девушек.

— У вас, Николина, горячее сердце, — так же спокойно продолжал Андерсен. — Если бы случилось несчастье с вашим любимым, вы бы пошли, не задумываясь, за тысячи лье через снежные горы и сухие пустыни, чтобы увидеть его и спасти. Правду я говорю?

— Да уж пошла бы... — смущенно пробормотала Николина. — Раз вы так думаете.

— Как вас зовут, девушки? — спросил Андерсен.

— Николина, Мария и Анна, — охотно ответила за всех одна из них.

— Что ж, Мария, я бы не хотел говорить о вашей красоте. Я плохо говорю по-итальянски. Но еще в юности я поклялся перед богом поэзии прославлять красоту повсюду, где бы я ее ни увидел.

— Иисусе! — тихо сказал священник. — Его укусил тарантул. Он обезумел.

— Есть женщины, обладающие поистине потрясающей красотой. Это почти всегда замкнутые натуры. Они переживают наедине сжигающую их страсть. Она как бы изнутри опалает их лица. Вот вы такая, Мария. Судьба таких женщин часто бывает необыкновенной. Или очень печальной, или очень счастливой.

— А вы встречали когда-нибудь таких женщин? — спросила дама.

— Не далее как сейчас, — ответил Андерсен. — Мои слова относятся не только к Марии, но и к вам, сударыня.

— Я думаю, что вы говорите так не для того, чтобы скоротать длинную ночь, — сказала дрогнувшим голосом дама. — Это было бы слишком жестоко по отношению к этой прелестной девушке. И ко мне, — добавила она вполголоса.

— Никогда я еще не был так серьезен, сударыня, как в эту минуту.

— Так как же? — спросила Мария. — Буду я счастлива? Или нет?

— Вы очень много хотите получить от жизни, хотя вы и простая крестьянская девушка. Поэтому вам нелегко быть счастливой. Но вы встретите в своей жизни чело-

века, достойного вашего требовательного сердца. Ваш избранник должен быть, конечно, человеком замечательным. Может быть, это будет живописец, поэт, борец за свободу Италии... А может быть, это будет простой пастих или матрос, но с большой душой. Это в конце концов все равно.

— Сударь,— застенчиво сказала Мария,— я вас не вижу, и потому мне не стыдно спросить. А что делать, если такой человек уже завладел моим сердцем? Я его видела всего несколько раз и даже не знаю, где он сейчас.

— Найдите его,— воскликнул Андерсен,— и он вас полюбит!

— Мария! — радостно сказала Анна.— Так это же тот молодой художник из Вероны...

— Замолчи! — прикрикнула на нее Мария.

— Верона не такой большой город, чтобы человека нельзя было отыскать там,— сказала дама.— Запомните мое имя. Меня зовут Елена Гвиччиоли. Я живу в Вероне. Каждый веронец укажет вам мой дом. Вы, Мария, придете в Верону. И вы будете жить у меня, пока не произойдет тот счастливый случай, какой предсказал наш милый попутчик.

Мария нашла в темноте руку Елены Гвиччиоли и прижала к своей горячей щеке.

Все молчали. Андерсен заметил, что зеленая звезда погасла. Она зашла за край земли. Значит, ночь перешла за половину.

— Ну, а что же вы мне ничего не посулили? — спросила Аина, самая разговорчивая из девушек.

— У вас будет много детей,— уверенно ответил Андерсен.— Они будут выстраиваться гуськом за кружкой молока. Вам придется терять много времени, чтобы каждое утро их всех умывать и причесывать. В этом вам поможет ваш будущий муж.

— Уж не Пьетро ли? — спросила Анна.— Очень он мне нужен, этот пентюх Пьетро!

— Вам еще придется тратить много времени, чтобы несколько раз за день перецеловать всех эти крошечных мальчиков и девочек в их сияющие любопытством глаза.

— В папских владениях были бы немыслимы все эти безумные речи! — сказал раздраженно священник, но никто не обратил внимания на его слова.

Девушки опять о чем-то пошептались. Шепот их все время прерывался смехом. Наконец Мария сказала:

— А теперь мы хотим знать, что вы за человек, сударь. Мы-то не умеем видеть в темноте.

— Я бродячий поэт,— ответил Андерсен.— Я молод. У меня густые волнистые волосы и темный загар на лице. Мои синие глаза почти все время смеются, потому что я беззаботен и пока еще никого не люблю. Мое единственное занятие — делать людям маленькие подарки и совершать легкомысленные поступки, лишь бы они радовали моих ближних.

— Какие, например? — спросила Елена Гвиччиоли.

— Что же вам рассказать? Прошлым летом я жил у знакомого лесничего в Ютландии. Однажды я гулял в лесу и вышел на поляну, где росло много грибов. В тот же день я вернулся на эту поляну и спрятал под каждый гриб то конфету в серебряной обертке, то финик, то маленький букетик из восковых цветов, то наперсток и шелковую ленту. На следующее утро я пошел в этот лес с дочерью лесничего. Ей было семь лет. И вот под каждым грибом она находила эти необыкновенные вещицы. Не было только финика. Его, наверное, утащила ворона. Если бы вы только видели, каким восторгом горели глаза малютки. Я уверил ее, что все эти вещи спрятали гномы.

— Вы обманули невинное создание! — возмущенно сказал священник.— Это великий грех!

— Нет, это не было обманом. Она-то запомнит этот случай на всю жизнь. И, уверяю вас, ее сердце не так легко очерствеет, как у тех, кто не пережил этой сказки. Кроме того, замечу вам, ваше преподобие, что не в моих привычках выслушивать непрошенные наставления.

Дилижанс остановился. Девушки сидели не двигаясь, как зачарованные. Елена Гвиччиоли молчала, опустив голову.

— Эй, красотики! — крикнул возница.— Очнитесь! Приехали!

Девушки опять о чем-то пошептались и встали.

Неожиданно в темноте сильные руки обняли Андерсена за шею и горячие губы прикоснулись к его губам.

— Спасибо! — прошептали эти горячие губы, и Андерсен узнал голос Марии.

Николина поблагодарила его и поцеловала осторожно и ласково, зашекетав волосами лицо, а Анна — крепко и шумно. Девушки соскочили на землю. Дилижанс



покатился дальше по мощеной дороге. Андерсен выглянул в окно. Ничего не было видно, кроме черных вершин деревьев на едва зеленеющем небе. Начинаясь рассвет.

Верона поразила Андерсена великолепными зданиями. Торжественные фасады соперничали друг с другом. Соразмерная архитектура должна была способствовать спокойствию духа. Но на душе у Андерсена спокойствия не было.

Вечером Андерсен позвонил у дверей старинного дома Гвиччиоли, в узкой улице, подымавшейся к крепости.

Дверь ему открыла сама Елена Гвиччиоли. Зеленое бархатное платье плотно облегалo ее стан. Отсвет от бархата падал на ее глаза, и они показались Андерсену совершенно зелеными, как у валькирии, и невыразимо прекрасными.

Она протянула ему обе руки, сжала его широкие ладони холодными пальцами и, отступая, ввела его в маленький зал.

— Я так соскучилась,— сказала она просто и виновато улыбнулась.— Мне уже не хватает вас.

Андерсен побледнел. Весь день он вспоминал о ней с глухим волнением. Он знал, что можно до боли в сердце любить каждое слово женщины, каждую ее потерянную ресницу, каждую пылинку на ее платье. Он понимал это. Он думал, что такую любовь, если он даст ей разгореться, не вместит сердце. Она принесет столько терзаний и радости, слез и смеха, что у него не хватит сил, чтобы перенести все ее перемены и неожиданности.

И кто знает, может быть, от этой любви померкнет, уйдет и никогда не вернется пестрый рой его сказок. Чего он будет стоить тогда!

Все равно его любовь окажется в конце концов безответной. Сколько раз с ним уже так бывало. Такими женщинами, как Елена Гвиччиоли, владеет каприз. В один печальный день она заметит, что он урод. Он сам был противен себе. Он часто чувствовал за своей спиной насмешливые взгляды. Тогда его походка делалась деревянной, он спотыкался и готов был провалиться сквозь землю.

«Только в воображении,— уверял он себя,— любовь может длиться вечно и может быть вечно окружена свер-

кающим нимбом поэзии. Кажется, я могу гораздо лучше выдумать любовь, чем испытать ее в действительности».

Поэтому он пришел к Елене Гвиччиоли с твердым решением увидеть ее и уйти, чтобы никогда больше не встречаться.

Он не мог прямо сказать ей об этом. Ведь между ними ничего не произошло. Они встретились только вчера в дилижансе и ничего не говорили друг другу.

Андерсен остановился в дверях зала и осмотрелся. В углу белела освещенная канделябрами мраморная голова Дианы, как бы побледневшая от волнения перед собственной красотой.

— Кто обессмертил ваше лицо в этой Диане? — спросил Андерсен.

— Канова, — ответила Елена Гвиччиоли и опустила глаза. Она, казалось, догадывалась обо всем, что творилось у него на душе.

— Я пришел откланяться, — пробормотал Андерсен глухим голосом. — Я бегу из Вероны.

— Я узнала, кто вы, — глядя ему в глаза, сказала Елена Гвиччиоли. — Вы Христиан Андерсен, знаменитый сказочник и поэт. Но, оказывается, в своей жизни вы боитесь сказок. У вас не хватает силы и смелости даже для короткой любви.

— Это мой тяжкий крест, — сознался Андерсен.

— Ну что ж, мой бродячий и милый поэт, — сказала она горестно и положила руку на плечо Андерсену, — бегите! Спасайтесь! Пусть ваши глаза всегда смеются. Не думайте обо мне. Но если вы будете страдать от старости, бедности и болезней, то вам стоит сказать только слово — и я приду, как Николина, пешком за тысячи лье, через снежные горы и сухие пустыни, чтобы утешить вас.

Она опустила в кресло и закрыла руками лицо. Трещали в канделябрах свечи.

Андерсен увидел, как между тонких пальцев Елены Гвиччиоли просочилась, блеснула, упала на бархат платья и медленно скатилась слеза.

Он бросился к ней, опустился на колени, прижался лицом к ее теплым, сильным и нежным ногам. Она, не открывая глаз, протянула руки, обняла его голову, наклонилась и поцеловала в губы.

Вторая горячая слеза упала ему на лицо. Он почувствовал ее соленую влагу.

— Идите! — тихо сказала она.— И пусть бог поэзии простит вас за все.

Он встал, взял шляпу и быстро вышел.

По всей Вероне звонили к вечерне колокола.

Больше они никогда не виделись, но думали друг о друге все время.

Может быть, поэтому незадолго до смерти Андерсен сказал одному молодому писателю:

— Я заплатил за свои сказки большую и, я бы сказал, непомерную цену. Я отказался ради них от своего счастья и пропустил то время, когда воображение, несмотря на всю его силу и весь его блеск, должно было уступить место действительности.

Умейте же, мой друг, владеть воображением для счастья людей и для своего счастья, а не для печали.

### ДАВНО ЗАДУМАННАЯ КНИГА

Довольно давно, больше десяти лет назад, я решил написать трудную, но, как я тогда думал, да думаю и сейчас, интересную книгу.

Книга эта должна была состоять из биографий замечательных людей.

Биографии должны были быть короткие и живописные.

Я начал даже составлять для этой книги список замечательных людей.

В эту книгу я решил вставить и несколько жизнеописаний самых обыкновенных людей, с которыми я встречался,— людей безвестных, забытых, но мало, в сущности, уступавших тем людям, что стали известными и знаменитыми. Просто им не повезло и они не смогли оставить после себя хотя бы слабый след в памяти потомков. Большой частью это были бессребреники и подвижники, охваченные какой-нибудь всепоглощающей страстью.

Среди них был речной капитан Оленин-Волгарь — человек поистине феерической жизни. Он вырос в музыкальной семье и учился пению в Италии. Но ему захотелось обойти пешком всю Европу, он бросил учение и действительно обошел Италию, Испанию и Францию

как уличный певец. В каждой стране он пел под гитару песни на ее родном языке.

Я познакомился с Лениным-Волгарем в 1924 году в редакции одной из московских газет. Однажды после работы мы попросили Ленина-Волгаря спеть нам несколько песенок из его уличного репертуара. Достали где-то гитару, и сухошавый невысокий старик в форме речного капитана вдруг преобразился в виртуоза, в удивительного актера и певца. Голос у него был совершенно молодой.

Мы, замерев, слушали, как свободно лились итальянские кантилены, как отрывисто гремели песни басков, как ликовала, вся в звоне труб и пороховом дыму, «Марсельеза».

После скитаний по Европе Ленин-Волгарь работал матросом на морских пароходах, выдержал экзамен на штурмана дальнего плавания, прошел много раз вдоль и поперек Средиземное море, потом вернулся в Россию и служил капитаном на Волге. В то время, когда я познакомился с ним, он водил пассажирские пароходы из Москвы в Нижний Новгород.

Он первый на свой страх и риск провел через узкие и ветхие москворецкие шлюзы большой волжский пассажирский пароход. Все капитаны и инженеры уверяли, что это невозможно.

Он первый предложил выпрямить русло Москвы-реки в знаменитых Марчугах, где река петляла так сильно, что даже от одного вида на карте ее бесчисленных поворотов могла закружиться голова.

Ленин-Волгарь написал много превосходных статей о реках России. Теперь эти статьи потеряны и забыты. Он знал все омуты, перекаты и карчи на десятках рек. У него были свои простые и неожиданные планы, как улучшить судоходство на этих реках.

В свободное время он переводил на русский язык «Божественную комедию» Данте.

Это был строгий, добрый и спокойный человек, считавший, что все профессии одинаково почетны, потому что служат делу народа и дают каждому возможность проявить себя «хорошим человеком на этой хорошей земле».

И еще был у меня один простой и милый знакомый — директор краеведческого музея в маленьком городке Средней России.

Музей помещался в старинном доме. Помощников у директора не было, кроме жены. Они вдвоем не только держали музей в образцовом порядке, но сами ремонтировали дом, заготавливали дрова и делали всякую черную работу.

Однажды я их застал за странным занятием. Они ходили по улочке около музея — тихой улочке, заросшей муравой, — и подбирали все камни и битый кирпич, какие валялись вокруг.

Оказывается, мальчишки выбили камнем в музее окно. Чтобы впредь у мальчишек не было под рукой метательных снарядов, директор решил собрать все камни с улочки и снести их во двор.

Каждая вещь в музее — от старинного кружева или редкого плоского кирпича XIV века до образцов торфа и чучела аргентинской водяной крысы — внутри, недавно выпущенной для размножения в окрестные болота, — была изучена и тщательно описана.

Но этот скромный человек, говоривший всегда вполголоса, покашливая от смущения, совершенно расцветал, когда показывал картину художника Переплетчикова. Он нашел ее в закрытом монастыре.

Правда, это был превосходный пейзаж, написанный из глубокой амбразуры окна, — белый северный вечер с уснувшими молодыми березками и светлой, как олово, водой небольшого озера.

Работать этому человеку было трудно. С ним мало считались. Работал он в тишине, никому не надоедал. Но даже если бы его музей и не приносил большой пользы, то разве самое существование такого человека не было для местных людей, особенно для молодежи, примером преданности делу, скромности и любви к своему краю?

Недавно я нашел список замечательных людей, который составлял для этой книги. Он очень велик. Вряд ли стоит приводить его полностью. Выберу из него наугад только несколько писательских имен.

Рядом с каждым именем я делал короткие заметки о тех ощущениях, какие были связаны у меня с тем или иным писателем.

Приведу здесь некоторые из этих записей. Я упорядочил их и несколько расширил.

У многих из нас есть плохая привычка записывать в двух-трех словах свои мысли, впечатления и номера телефонов на папиросных коробках. Потом, как правило, коробки эти теряются, а с ними исчезают из памяти целые дни нашей жизни.

День жизни — это совсем не так просто и не так мало, как может показаться. Попробуйте вспомнить любой свой день минута за минутой: все встречи, разговоры, мысли, поступки, все события и душевные состояния, свои и чужие, — и вы убедитесь, что восстановить весь этот поток времени можно, только написав целую книгу, если не две, а то и все три!

Однажды биограф Чехова А. И. Роскин предложил нам, собравшимся зимой в ялтинском Доме писателей, заняться этой, как он шутя говорил, «работкой».

Мы с радостью встретили идею Роскина. Каждый начал писать свою «Книгу одного дня», но вскоре все бросили это занятие. «Работка» оказалась труднейшей, почти непосильной даже для опытных и работоспособных мастеров. Она требовала непрерывного напряжения памяти и брала уйму времени, несмотря на то что при ней отпадали тяжелые для писателя заботы о теме, сюжете и композиции — все предлагала нам сама жизнь.

Я тоже привык записывать свои мысли на чем попало, в частности на папиросных коробках. Я всегда рассчитывал, что сохраню их, но тотчас же терял.

Эти небрежные свои записи я оправдывал тем, что Эдуард Багрицкий читал мне свои стихи «По рыбам, по звездам проносит шаланду...», считывая их с затрепанной папиросной коробки «Герцеговины Флор».

Но несколько коробок у меня все же уцелело. Одна из них имеет отношение к Чехову и чеховскому дому в Ялте. Я попытаюсь расшифровать сохранившиеся на этой коробке полустертые и короткие записи.

Я обещал одной газете написать статью о Чехове. Но, начав ее, тут же убедился, что писать сейчас о Чехове в том жанре, какой мы определяем словом «статья», очень трудно и, пожалуй, почти невозможно. Кажется, что все слова в русском языке, которые можно отнести к Чехову, уже сказаны, уже истрачены. Любовь к Чехову переросла наши словарные богатства. Она, как и каждая большая любовь, быстро исчерпала за-

пас наших лучших выражений. Возникает опасность повторов и общих мест.

О Чехове сказано как будто все. Но пока еще мало сказано о том, что оставил Чехов нам в наследство в наших характерах и как Чехов своим существованием определил сегодня жизнь тех, кому он дорог.

Почти ничего не сказано о «чувстве Чехова» — всегда живого и милого нам человека, о чувстве сильном и благодарном.

И вот я решил статьи не писать, а обратиться к своим записям на папиросной коробке. Может быть, там где-нибудь и проскользнет то «чувство Чехова», которое я не могу еще точно определить.

Записи эти, как я уже говорил, очень короткие. Например: «1950 год. Я один в доме. Мохнатая собачка лает вниз. По традиции ее зовут Каштанкой».

Память получила легкий толчок и начинает восстанавливать прошлое.

Это было осенью 1950 года. Я пришел в ялтинский дом Чехова к Марии Павловне. Ее не было, она ушла куда-то по соседству, а я остался ждать ее в доме. Старуха работница провела меня на террасу.

Стояла та обманчивая и удивительная ялтинская осень, когда нельзя понять, доцветает ли весна или расцветает прозрачная осень. За балюстрадой горел на солнце во всей своей девственной белизне куст каких-то цветов.

Цветы уже осыпались от каждого веяния, или, вернее, дыхания воздуха. Я знал, что этот куст был посажен Антоном Павловичем, и боялся прикоснуться к нему, хотя мне и хотелось сорвать на память пусть самую ничтожную веточку. Наконец я решился, протянул руку к кусту и тотчас же отдернул ее, — снизу, из сада, на меня залаяла мохнатая рыжая собачка по имени Каштанка. Она отбрасывала задними лапами землю и лаяла совершенно так, как описывал это Чехов:

— Р-р-р... нга-нга-нга! Р-р-р... нга-нга-нга!

Я невольно рассмеялся. Собачка села, расставила уши и прислушалась. Солнце просвечивало ее желтые добрые глаза.

Было тихо, тепло. Синий солнечный дым подымался к небу со стороны моря, как широкий занавес, и за этим занавесом мощно и мужественно, в три тона, протрубил теплоход.

Я услышал в комнатах голос Марии Павловны, и вдруг у меня сердце сжалось с такой силой, что я с трудом сдержал слезы. О чем? О том, что жизнь неумолима, что хотя бы некоторым людям, без которых мы почти не можем жить, она должна бы дать если не бессмертие, то долгую жизнь, чтобы мы всегда ощущали у себя на плече их легкую руку.

Я тут же постарался отогнать эти мысли, но горечь не проходила. Разум говорил одно, а сердце — другое. Мне казалось, что в то мгновение я отдал бы половину своей жизни, чтобы услышать за дверью спокойные шаги и покашливание давным-давно ушедшего отсюда хозяина этого дома. Давным-давно! Со дня его смерти прошло сорок шесть лет. Этот срок казался мне одновременно и ничтожным, и невыносимо огромным.

Цветы за балюстрадой тихонько опадали. Я смотрел на порхание легчайших лепестков, боялся, чтобы Мария Павловна не вошла раньше времени и не заметила моего волнения, и успокаивал себя нарочитыми мыслями о том, что в каждой ветке этого куста есть нечто вечное, постоянное движение соков под корой — такое же постоянное, как и ночное движение светил над тихо шумящим морем.

Пришла Мария Павловна, заговорила о Левитане, рассказала, что была влюблена в него, и, рассказывая, покраснела от смущения, как девочка.

Сам не зная почему, но, выслушав Марию Павловну, я сказал:

— У каждого, должно быть, была своя «Дама с собачкой». А если не было, то обязательно будет.

Мария Павловна снисходительно улыбнулась и ничего не ответила.

После этого я много раз навещал чеховский дом в разные времена года. Внутрь я входил редко. Чаще всего я прислонялся к ограде и, постояв немного, уходил.

Особенно притягательным был этот дом зимой. Низкая тьма висела над морем. В ней тускло проступали бортовые огни парохода, и я, по рассказам моряков, знал, что с палубы парохода иногда можно увидеть в бинокль освещенное лампой с зеленым абажуром окно чеховского кабинета.

Странно было думать, что огонь этой лампы был зажжен на самом краю страны, что здесь обрывалась над морем Россия, а там, дальше, уже лежат в ночи древние малоазиатские страны.



Я разобрал еще одну запись: «Зима в Ялте, снег на Яйле, его свет над Ауткой». Да. Зимой на Яйле лежала кромка легкого снега. Он отсвечивал в блеске луны. Ночная тишина спускалась с гор на Ялту.

Чехов все это видел вот так же, как мы, все это знал. Иногда, по словам Марии Павловны, он гасил лампу и долго сидел один в темноте, глядя за окна, где неподвижно сияли снега.

Иногда он выходил в сад, но тайком, чтобы не разбудить и не напугать мать и сестру. Мучила бессонница, и он долго бродил в ночной темноте один, как бы забытый всеми, несмотря на то что слава его уже жила во всем мире. Но в такие вечера она не тяготила его.

А рядом белел дом, ставший приютом русской литературы. Давно замолкли в нем голоса Куприна, Горького, Мамина-Сибиряка, Станиславского, Бунина, Рахманинова, Короленко, но отголосок их как бы жил в доме. И дом ждал их возвращения. Ждал и хозяин, тревожившийся только наедине с собой, по ночам, когда никто не мог этого заметить, когда его болезнь, тоска и тревога никого не могли взволновать.

В огромной мемуарной литературе о Чехове почти нет упоминаний о том, что Чехов когда-нибудь плакал.

Но все же его слезы видел, например, писатель Тихонов (Серебров), когда Чехов незадолго до смерти приезжал с Саввой Морозовым на Урал. То были скрытые от всех ночные слезы одинокого, по существу, брошенного и умирающего человека.

И слезы свои, и свои страдания Чехов скрывал по своей доброте, по огромному своему мужеству и благородству — чтобы не омрачать жизнь близких, чтобы не причинять окружающим даже тени неприятности.

Я разобрал еще одну запись: «Россия всегда мало» — и сразу же вспомнил вечер, когда мы с поэтом Луговским стояли в кабинете Чехова перед каминным и смотрели на левитановские «Стога».

Серые сумерки и бледная луна над мглистыми болотами, крик дергачей, огромные пространства лесов, простоявших этой ночью и сотнями других ночей втуне. Потому, что никто не видел их сырой и поблескивающей березовой листвы и не слышал их загадочных шорохов.

Леса были покинуты, пустынно. Ночь одиноко и напрасно шла над ними к отдаленному рассвету. И у Чехова болело сердце оттого, что он тратил время здесь, в

Крым, ничего не видя, когда ему нужно, до зарезу нужно было быть там, в России, на севере, чтобы следить за отблесками ночи на тесовой крыше избы или в омутах родных притихших озер.

Он рвался в Россию, он мучился и сгорал от досады, от горечи, от того, что не видел, а только угадывал всю ее нерассказанную и нераскрытую красоту.

Сожаление о жизни, очень короткой и, по его мнению, почти бесплодной и только слегка задевшей его своим быстрым крылом, мучило его в этом уютном доме.

И не только его. Почему-то почти каждый человек, попавший в этот дом, начинал думать о своей судьбе, особенно если он проглядел свою жизнь и только сейчас спохватился.

Очевидно, гармоничность и содержательность чеховской жизни заставляли людей проверять по ней свою собственную жизнь.

Запись «Цепь фотографий» напомнила один вечер, когда мне удалось достать сразу много карточек Чехова.

Я разложил их по годам — от гимназических до последней карточки, сделанной перед смертью.

Ничего более поучительного я не видел. Весь путь Чехова — от бездумного обывателя и пустоватого шутника с легкой пошлинкой до человека удивительной внутренней красоты, благородства и спокойного мужества — был поразительно нагляден.

Он сам себя воспитал и дал нам суровый урок порядочности по отношению к людям и к своему писательскому делу.

Две последние записи очень коротки, только по одному слову. Первая запись — «гений», а вторая — «доброта».

Но ничего неясного в этих записях для меня нет.

Чехов — писатель гениальный. Это бесспорно. Но из уважения к его исключительной скромности никто из людей, писавших о нем, не сказал об этом прямо. Даже после смерти Чехова мы стесняемся об этом говорить, чтобы не рассердить его. Сам Чехов наложил запрет на это слово.

Чехов был скромнен, как может быть скромным только подлинно великий человек. Он не терпел чванства, спеси, хвастовства.

Он писал, что самое характерное качество бездарного писателя заключается в том, что он ведет себя надутò и

спесиво, как первосвященник. Скромность — одна из величайших черт русского народа. Скромными были все простые и замечательные русские люди. Ни один из них не занимался самохвальством, не улюлюкал на чужаков, не ставил себя в пример всем.

В скромности — моральная сила и чистота народа, в бахвальстве — его ничтожность и недостаток ума.

Относительно записи «доброта» можно сказать очень много.

Можно говорить о доброте самого Чехова как человека, но гораздо важнее то обстоятельство, что Чехов был добр и гуманен как писатель. Пожалуй, нет в нашей литературе другого человека, который бы с большим доброжелательством относился к людям, страдал за них и стремился им помочь.

Да, он был добр, но беспощаден. Он умел ненавидеть, он не был мягкотелым проповедником всепрощения. Но он знал глубину человеческого горя и ужас людского несчастья, знал, как врач и писатель, и требовал от людей милосердия друг к другу.

Влияние Чехова в этом отношении было и остается огромным. Почти все передовое итальянское кино в лучших своих образцах — таких, как «Рим в одиннадцать часов», «Похитители велосипедов», «Машинист», «Полицейские и воры», «Мечты на дорогах», — вышло из чеховского гуманизма.

Этой чеховской доброты, его взыскательного гуманизма не хватает некоторым произведениям нашей литературы. Это обедняет их и лишает одного из важнейших качеств — силы воздействия на душу читателя.

Вот расшифровка записей, какие я нашел на своей старой папиросной коробке. Благодаря им я смог поделиться своими мыслями о Чехове, обаятельном человеке и замечательном писателе.

Самое его существование напоминает нам о возможности и достижимости подлинного человеческого счастья, ради которого мы работаем, боремся и побеждаем.

#### **Александр Блок**

Нет более трудной задачи, чем рассказать о запахе речной воды или о полевой тишине. И притом рассказать так, чтобы собеседник явственно услышал этот запах и почувствовал тишину.

Как передать «хрустальный (по выражению Блока) звон» пушкинских стихов, возникающих в нашей памяти совершенно внезапно при самых разных обстоятельствах.

Есть в мире сотни замечательных явлений. Для них у нас еще нет слов, нет выражения. Чем удивительнее явление, чем оно великолепней, тем труднее рассказать о нем нашими омертвевшими словами.

Одним из таких прекрасных и во многом необъяснимых явлений нашей русской действительности является поэзия и жизнь Александра Блока.

Чем больше времени проходит со дня трагической смерти Блока, тем труднее верится в самый факт существования среди нас этого гениального человека.

Он слился для многих из нас с необыкновенными людьми, с поэтами Возрождения, с героями общечеловеческих мифов. В частности, для меня Блок стоит в ряду любимейших полубогородных, а то и вовсе легендарных людей, таких, как Орланд, Петрарка, Абельяр, Тристан, Леопарди, Шелли или до сих пор не понятый Лермонтов — мальчик, успевший сказать за время своей короткой жизни о жаре души, растроченном в пустыне.

Блок сменил Лермонтова. О нем он сказал печальные и точные слова: «В томленьях его иступленных — тоска небывалой весны».

Одной из больших потерь своей жизни я считаю то обстоятельство, что никогда не видел и не слышал Блока.

Я не слышал Блока, не знаю, как он читал стихи, но я верю поэту Пясту, написавшему маленькое исследование об этом.

Тембр голоса у Блока был глухой, отдаленный, равномерно спокойный. Его голос доходил даже до его современников, как голос из близкой дали. Было в нем нечто магическое, настойчивое, как гул долго не затихающей струны.

Тот Блок, о котором я говорю, прочно существует в моем сознании, в моей жизни, и я никогда не смогу думать о нем иначе. Я провел с ним в молчании много ночей, у меня так часто падало сердце от каждой наугад прочитанной и поющей его строки. «Этот голос — он твой, и его непонятному звуку жизнь и горе отдам».

Таким он вошел в мою жизнь еще в далекой трудной юности, таким он остался для меня и сейчас, когда, по словам Есенина, «пора уже в дорогу бранные пожитки собирать».

Среди «бранных пожитков» никогда не будет стихов Блока. Потому что они не подчиняются законам бренности, законам тления и будут существовать, пока жив человек на нашей земле и пока не исчезнет «чудо из божьих чудес» — свободное русское слово.

Да, я жалею о том, что не знал Блока. Он сам сказал: «Сознание того, что чудесное было рядом с нами, приходит слишком поздно».

Оборванная жизнь необратима. Блока-человека мы не воскресим и никогда уже не увидим в нашей повседневной жизни. Но в мире есть одно явление, равное чуду, повторяющееся часто жестокие законы природы и потому утешительное. Это явление — искусство.

Оно может создать в нашем сознании все и воскресить все! Перечитайте «Войну и мир», и я ручаюсь, что вы ясно услышите за своей спиной смех спрятавшейся Наташи Ростовской и полюбите ее, как живого, реального человека.

Я уверен, что любовь к Блоку и тоска по Блоку так велики, что рано или поздно он возникнет в какой-нибудь поэме или повести, совершенно живой, сложный, пленительный, испытавший чудо своего второго рождения. Я верю в это потому, что страна не оскудела талантами, и сложность человеческого духа еще не свелась к одному знаменателю.

Простите, но здесь мне придется сказать несколько слов о себе.

Я начал писать автобиографическую повесть и дошел в ней до середины своей жизни. Это не мемуары, но именно повесть, где автор волен отступать от подлинных событий. Но в главном я более или менее придерживаюсь этих событий.

В автобиографической повести я пишу о своей жизни, какой она была в действительности. Но есть, должно быть, у каждого, в том числе и у меня, вторая жизнь, вторая биография. Она, как говорится, «не вышла» в реальной жизни, не случилась. Она существует только в моих желаниях и в моем воображении.

И вот про эту-то вторую жизнь я и хочу написать. Написать свою жизнь такой, какой она бы непременно была, если бы я создавал ее по своей воле, вне зависимости от всяких случайностей.

Вот в этой второй «автобиографии» я хочу и могу вплотную встретиться с Блоком, даже подружиться с ним и написать о нем все, что думаю, с той великой призна-

тельностью и нежностью, какую я к нему испытываю. Этим я хочу как бы продлить жизнь Блока в себе.

Вы вправе спросить у меня, зачем это нужно.

Нужно для того, чтобы моя жизнь была гармонически закончена, и для того, чтобы показать на примере своей жизни силу поэзии Блока. Повторяю, я не видел Блока. В последние годы его жизни я был далеко от Петербурга. Но сейчас я стараюсь хотя бы косвенно наверстать эту потерю.

Быть может, это выглядит несколько наивно, но я ищу встречи со всем, что было связано с Блоком,— с людьми, обстановкой, петербургским пейзажем. Он почти не изменился после смерти поэта.

Уже давно меня начало мучить непонятное мне самому желание найти в Ленинграде дом, где жил и умер Блок, но найти непременно одному, без чьей бы то ни было помощи, без расспросов и изучения карты Ленинграда. И вот я, смутно зная, где находится река Пряжка (на набережной этой реки на углу теперешней улицы Декабристов жил Блок), пошел на Пряжку пешком и при этом не спрашивал никого о дороге. Почему я так поступил, я сам не совсем понимаю. Я был уверен, что найду дорогу интуитивно, что сила моей привязанности к Блоку, подобно поводью, приведет меня за руку к порогу его дома.

Первый раз я не дошел до Пряжки. Начинилось наводнение, и были закрыты мосты.

Я только, продрогнув, смотрел в глухую аспидную муть на западе. Там была Пряжка. Оттуда бил в лицо сырой ветер, нес мглу, и в этой мгле, как каменные корабли в шторме, вздымались неясные громады домов.

Я знал, что дом Блока стоял у взморья и, очевидно, первым принимал на себя удары балтийской бури.

И только во второй раз я дошел до дома на Пряжке. Я шел не один. Со мной была моя девятнадцатилетняя дочь, юное существо, сиявшее грустью и радостью просто от того, что мы ищем дом Блока.

Мы шли по набережной Невы, и почему-то весь путь я запомнил с необыкновенной ясностью.

Был октябрьский день, мгlistый, с кружащейся опадающей листвой. В такие дни кажется, что редкий туман над землей лег надолго. Он слегка моросит, наполняя свежестью грудь, покрывая мельчайшей водяной пылью чугунные решетки.

У Блока есть выражение. «Тень осенних дней». Так вот, был день, наполненный этой тенью — темноватой и холодной. Слепо блестели стекла особняков, израненных во время блокады осколками снарядов. Пахло каменноугольным дымом — его, должно быть, наносило из порта.

Мы шли очень медленно, часто останавливались, долго смотрели на все, что открывалось вокруг. Почему-то я был уверен, что Блок чаще возвращался домой именно этим путем, а не по скучной Офицерской улице.

Сильно пахло тинистой водой и опилками. Тут же, у берега пустынной в этом месте Невы, какие-то девушки в ватниках пилили циркулярной пилой березовые дрова. Опилки летели длинными фейерверками, но всегда раздражающий визг пилы звучал здесь почему-то мягко, приглушенно. Пила как бы пела под сурдинку.

За темным каналом — это и была Пряжка — подымались ступени судостроительных заводов, трубы, дымы, закопченные фабричные корпуса.

Я знал, что окна квартиры Блока выходили на запад, на этот заводской пейзаж, на взморье.

Мы вышли на Пряжку, и я тотчас увидел за низкими каменными строениями единственный большой дом — кирпичный и очень обыкновенный. Это был дом Блока.

— Ну вот мы и пришли,— сказал я своей спутнице.

Она остановилась. Глаза ее вспыхнули радостью, но тотчас же к этому радостному сиянию прибавился блеск слез. Она старалась сдержаться, но слезы не слушались ее, все набегали и маленькими каплями скатывались с ресниц. Потом она схватилась за мое плечо и прижалась лицом к моему рукаву, чтобы скрыть слезы.

В окнах дома блеснул ленинградский слепой свет, но для нас обоих и это место, и этот свет казались священными.

Я подумал о том, как счастлив поэт, которому юность отдает свою первую любовь — застенчивую и благодарную. Юность отдает свое признание юному поэту. Потому что Блок в нашем представлении всегда был и всегда останется юным. Таков удел почти всех трагически живших и трагически погибших поэтов.

Даже в свои последние годы, незадолго до смерти, Блок, измученный никому не высказанной внутренней тревогой, так и оставшейся неразгаданной, сохранил внешние черты молодости.

Здесь следует сделать одно маленькое отступление.

Широко известно, что есть писатели и поэты, обладающие большой заражающей силой творчества.

Их проза и стихи, попавшие в ваше сознание, даже в самых маленьких дозах, взбудораживают вас, вызывают поток мыслей, роение образов, заражают непреодолимым желанием закрепить все это на бумаге.

В этом смысле Блок безошибочно воздействовал на многих поэтов и писателей. Воздействовал не только стихами, но и обстоятельствами своей жизни. Я приведу здесь один, может быть, не очень характерный, но пришедший мне на память пример.

У писателя Александра Грина есть посмертный и еще не опубликованный роман «Недотрога». Обстановка и многие детали этого романа совпадают с рассказами Блока о его жизни в Бретани, в маленьком порту Абервраке.

Там Блок впервые приобщился к морской жизни. Она вызвала у него почти детское восхищение. Все было сказочно интересным.

Он пишет матери: «Мы живем, окруженные морскими сигналами. Главный маяк освещает наши стены, вспыхивая через каждые пять секунд. В порту стоит разоруженный фрегат 20-х годов (прошлого века), который был в Мексиканской войне, а теперь отдыхает на якорях. Его зовут «Мельпомена». На носу — белая статуя, стремящаяся в море».

Еще один характерный отрывок из письма: «Недавно на одном из вертящихся маяков умер старый сторож, не успев приготовить машину к вечеру. Тогда его жена заставила двух маленьких детей вертеть машину руками всю ночь. За это ей дали орден Почетного легиона».

«Я думаю,— замечает Блок,— русские сделали бы то же».

Так вот, вблизи Аберврака на острове был расположен старый форт Санзон. Французское правительство очень дешево продавало его за полной старостью и ненадобностью.

Блоку, видимо, очень хотелось купить этот форт. Он даже подсчитал, что покупка его вместе с обработкой земли, разбивкой сада и ремонтом обойдется в двадцать пять тысяч франков.

В этом форте все было романтично: и полуразрушенные подъемные мосты, и казематы, и пороховые погреба, и старинные пушки.



Родные отговорили Блока от покупки. Но он много рассказывал друзьям и знакомым о старом форте,—мечта не так легко уступала трезвым соображениям.

Грин услышал этот рассказ и написал роман, где некий старый человек с молодой красавицей дочерью, прозванной «Недотрогой», покупает у правительства старый форт, поселяется в нем и превращает заброшенные валы в душистые заросли и цветники.

В романе происходят всякие события, но, пожалуй, лучше всего написан сам форт — добрый (давно разоруженный), мирный, романтический. Прекрасно также описание сада с живописными определениями деревьев, кустов и цветов.

Должен признаться, что некоторые стихи Блока натолкнули и меня на странную на первый взгляд идею — написать несколько рассказов, связанных с этими стихами общностью настроения.

Эта мысль не оставляет меня и сейчас. Пока же я написал рассказ «Дождливый рассвет», целиком вышедший из стихотворения Блока «Россия».

И невозможное возможно,  
Дорога долгая легка,  
Когда блеснет в дали дорожной  
Мгновенный взор из-под платка...

Я не хочу и не могу давать свое толкование жизни и поэзии Блока. Я не очень постигаю пророческий и мистический ужас Блока перед грядущими испытаниями России и человечества; мне чуждо его ощущение рокового одиночества, безвыходные сомнения и катастрофические падения, слишком усложненное восприятие им революции.

Меня в Блоке привлекает и захватывает совершенно конкретная поэзия его зрелых стихов и его жизни. Туманы символизма, нарочитые, лишённые живых образов, живой крови, бесплотные — это только затянувшееся гимназическое увлечение.

Иногда я думаю, что многое в Блоке непонятно для людей последнего поколения, для новой молодежи.

Непонятна, например, его любовь к нищей России. Как можно было, с точки зрения нынешней молодежи, любить ту страну, где «низких нищих деревень не счесть, не смерть оком, и светит в потемневший день костер в лугу далеком».

Это трудно понять молодежи потому, что такой Россия уже нет. Нет именно в том ее качестве, в каком ее знал и любил Блок. Если еще и остались глухие деревни, гати, дебри, то человек в этих деревнях и дебрях уже другой. Сменилось поколение, и внуки уже не понимают дедов, а порой и сыновья отцов.

Внуки не понимают и не хотят понять нищету, оплаканную песнями, украшенную поверьями и сказками, глазами робких бессловесных детей, опущенными ресницами испуганных девушек, встревоженную рассказами странников и калек, постоянным чувством живущей рядом — в лесах, в озерах, в гнилых колодах, в плаче старух, в заколоченных избах — томительной тайны и столь же постоянным ощущением чуда. «Дремлю, и за дремотой — тайна, и в тайне ты почиешь, Русь».

Нужно было большое и выносливое сердце и великая любовь к своему народу, чтобы полюбить эти серые избы, причитанья, запах золы, бурьяна и увидеть за всей этой скудостью бледную красоту России, опоясанной лесами и окруженной дебрями. Ее видели и многие предшественники Блока. Но эта Русь умирала. Блок оплакал ее и отпел:

Не в богатом покоишься гробе  
Ты, убогая финская Русь!

Новая Россия, «Новая Америка» встает для Блока в южных степях.

Нет, не вьются там по ветру чубы,  
Не пестреют в степях бунчуки...  
Там чернеют фабричные трубы,  
Там заводские стонут гудки.

Для людей старшего поколения почти в равной степени знакома и старая и новая Русь. В таком обширном знании России — богатство этого поколения.

Нельзя знать новую Россию, не зная старой, не зная всего, что «чужд начудила и мера намерила», не зная старой деревни, не зная очарованных странников, бродивших по всей стране, не увидев заката в крови над полем Куликовым.

Стихи Блока о любви — это колдовство. Как всякое колдовство, они необъяснимы и мучительны. О них почти невозможно говорить. Их нужно перечитывать, повторять, испытывая каждый раз сердцебиение, угорать от их

томительных напевов и без конца удивляться тому, что они входят в память внезапно и навсегда.

В этих стихах, особенно в «Незнакомке» и «В ресторане», поэтическое мастерство доходит до предела. Оно даже пугает, кажется непостижимым. Вероятно, думая об этих стихах, Блок сказал, обращаясь к своей музе:

И коварнее северной ночи,  
И хмельней золотого ан,  
И любви цыганской короче  
Были страшные ласки твои...

Стихи Блока о любви только крепнут от времени, томят людей своими образами. «И веют древними поверьями ее упругие шелка», «Я вижу берег очарованный и очарованную даль», «И очи синие, бездонные цветут на дальнем берегу».

Это не столько стихи о вечно женственном, сколько порыв огромной поэтической силы, берущей в плен и искушенные и неискушенные сердца.

Какая-то «неведомая сила» превращает стихи Блока в нечто высшее, чем одна только поэзия, в органическое слияние поэзии, музыки и мысли, согласованное с биением каждого человеческого сердца, в то явление искусства, которое не нашло еще своего сколько-нибудь удачного определения.

Достаточно прочесть одну всем известную строфу, чтобы убедиться в этом:

Ты рванулась движеньем испуганной птицы,  
Ты прошла, словно сон мой, легка...  
И вздохнули духи, задремали ресницы,  
Зашептались тревожно шелка.

Блок прошел в своих стихах и прозе огромный путь российской истории от безвременья 90-х годов до первой мировой войны, до сложнейшего переплетения философских, поэтических, политических и религиозных школ, наконец, до Октябрьской революции «в белом венчике из роз». Он был хранителем поэзии, ее менестрелем, ее чернорабочим и ее гением.

Блок говорил, что гений излучает свет на неизмеримые временные расстояния. Эти слова целиком относятся и к нему. Его влияние на судьбу каждого из нас, писателя и поэта, может быть, не сразу заметно, но необычайно значительно.

Еще в юности я понял смысл его величайших слов и поверил им:

Сотри случайные черты.  
И ты увидишь — жизнь прекрасна...

Я стремился следовать этому совету Блока. И я ему глубоко благодарен. Мы живем в светоносном излучении его гения, и оно дойдет, быть может, только более ясным, до будущих поколений нашей страны.

#### Ги де Мопассан

Он таил от нас свою жизнь.  
*Ренар о Мопассане*

У Мопассана была на Ривьере яхта «Милый друг». На этой яхте он написал самую горькую и потрясающую свою вещь — «На воде».

На «Милом друге» у Мопассана служили двое матросов. Старшего звали Бернар.

Матросы ни словом, ни жестом не выдавали Мопассану своей тревоги за него, хотя и видели, что с «хозяином» в последнее время творится что-то неладное и он может сойти с ума не то что от мыслей, а от одних только невыносимых головных болей.

Когда Мопассан умер, матросы прислали в редакцию одной из парижских газет короткое и неумелое письмо, полное большого человеческого горя. Может быть, только двое этих простых людей и знали, вопреки общему предвзятому мнению о Мопассане, что у их хозяина было чуткое и стыдливое сердце.

Что они могли сделать в память Мопассана? Только стараться изо всех сил, чтобы его любимая яхта не попала в чужие, равнодушные руки.

И матросы старались. Они оттягивали ее продажу, сколько могли. А они были бедные люди, и один лишь бог знает, как это было им трудно.

Они обращались к друзьям Мопассана, к писателям Франции, но тщетно. Так яхта и перешла к богачу и бездельнику графу Бертелеми.

Когда Бернар умирал, он сказал окружающим:

— Думаю, что я был неплохой моряк.

Нельзя с большей простотой выразить мысль о благородстве прожитой жизни. К сожалению, очень немно-

гие могут с полным правом сказать о себе такие слова.

Эти слова — завещание, которое устами своего матроса оставил нам Мопассан.

Он прошел поразительно быстрый и блестящий писательский путь. «Я вошел в литературную жизнь, как метеор,— говорил он,— и выйду из нее, как молния».

Беспощадный наблюдатель человеческой скверны, анатом, называвший жизнь «клиникой для писателей», незадолго до своего конца он потянулся к чистоте, к прославлению любви-страдания и любви-радости.

Даже в последние часы, когда ему казалось, что его мозг изъеден какой-то ядовитой солью, он с отчаянием думал о том, сколько сердечности он отшвырнул от себя в своей торопливой и утомительной жизни.

Куда он звал? Куда он вел за собою людей? Что он им обещал? Помог ли он им своими сильными руками лодочного гребца и писателя?

Он понимал, что этого он не сделал и что, если бы к его разоблачениям прибавилось сострадание, он мог бы остаться в памяти человечества гением добра.

Он тянулся к нежности, как брошенный ребенок, хмурясь и стесняясь. Он поверил наконец в то, что любовь не только вождение, но и жертва, и скрытая радость, и поэзия этого мира. Но было уже поздно, и на его долю остались одни укоры совести и напрасные сожаления.

И он жалел, он глубоко досадовал на себя за небрежно отброшенное и осмеянное счастье. Ему вспоминалась русская художница Башкирцева, почти девочка. Она была влюблена в него. Он ответил на эту любовь насмешливой, даже несколько кокетливой перепиской. Его тщеславие мужчины было удовлетворено. Большого он не хотел.

Но что Башкирцева! Гораздо сильнее он жалел о молодой работнице одной из парижских фабрик.

Случай с этой работницей описал Поль Бурже. Мопассан негодовал. Кто дал право этому салонному психологу непрошенно врываться в подлинную человеческую трагедию? Конечно, он сам, Мопассан, виноват в этом. Но чем поможешь, что поделаешь, когда уже нет сил и соль слоями оседает у него в голове! Он даже слышит по временам треск ее маленьких острых кристаллов, когда они вонзаются в мозг.

Работница! Наивная, прелестная девушка! Она начи-

талась его рассказов, один только раз в жизни видела Мопассана и полюбила его со всем пылом своего сердца — такого же чистого, как и ее сияющие глаза.

Наивная девушка! Она узнала, что Мопассан не женат и одинок, и безумная мысль отдать ему свою жизнь, заботиться о нем, быть его другом, женой, рабой и служанкой зародилась у нее с такой силой, что она не могла ей противиться.

Она была бедна и плохо одета. Целый год она голодала и откладывала сантим за сантимом, чтобы сшить себе изящный туалет и появиться в нем перед Мопассаном.

Наконец туалет был готов. Она проснулась ранним утром, когда Париж еще спал, когда сны заволакивали его, как туман, и сквозь этот туман неярко светило только что вставшее солнце. Это был тот единственный час, когда в аллеях лип на бульварах можно было услышать пение птиц.

Она облилась холодной водой и медленно и осторожно, как невесомые и душистые драгоценности, начала надевать на себя тончайшие чулки и маленькие блестящие туфли и, наконец, прекрасное платье. Она посмотрелась в зеркало и не поверила своему отражению. Перед ней стояла искрящаяся радостью и волнением тонкая, прелестная женщина с темными от любви глазами и нежным алым ртом. Да, такой она появится перед Мопассаном и признается ему во всем.

Мопассан жил на даче за городом. Она позвонила у калитки. Ей открыл один из друзей Мопассана, жуир, циник и ловелас. Он, усмехаясь и раздевая ее глазами, сказал, что господина Мопассана нет дома, что он уехал на несколько дней со своей любовницей в Этрета.

Девушка вскрикнула и быстро пошла прочь, хватаясь маленькой рукой в слишком тугий лайковой перчатке за прутья железной ограды.

Друг Мопассана догнал ее, посадил в фиакр и отвез в Париж. Она плакала, бессвязно говорила о мести и в тот же вечер, назло себе, назло Мопассану, отдалась этому жуиру.

Через год она уже была известна в Париже как одна из молодых куртизанок. А Мопассан, узнав тогда об этом от своего друга, не выгнал его, не дал ему пощечину, не вызвал его на дуэль, а только усмехнулся: история с

девушкой показалась ему довольно забавной. Да, пожалуй, это был неплохой сюжет для рассказа.

Как страшно, что сейчас нельзя было вернуть то время, когда эта девушка стояла за калиткой его дома, как благоухающая весна, и доверчиво держала в протянутых к нему маленьких ладонях свое сердце!

Он даже не знал ее имени и называл ее теперь самыми ласковыми именами, какие мог придумать.

Он извивался от боли. Он готов был целовать следы ее ног и умолял о прощении, он, недоступный, великий Мопассан... Но ничем уже нельзя было помочь. Вся эта история послужила лишь поводом для того, чтобы Бурже мог написать еще один забавный анекдот из области малопонятных человеческих чувств.

Малопонятных? Нет, очень понятных теперь для Мопассана! Они благословенны, эти чувства! Они — святая святых нашего несовершенного мира! И он написал бы сейчас об этом со всей силой своего таланта и мастерства, если бы не соль. Она съедала его, несмотря на то, что он выплевывал ее целыми горстями. Целыми большими горстями.

### **Иван Бунин**

Как ни грустно в этом непонятном мире, но он все же прекрасен.

*И. Бунин*

Еще в гимназии я начал зачитываться Буниним. В то время я мало знал о нем. Кое-что я узнал из автобиографической заметки, написанной самим Буниним для «Словаря писателей» Венгерова. Там было сказано, что Бунин провел свое детство в деревне где-то между Ельцом и городком Ефремовом (в тогдашней Тульской губернии), а потом учился в елецкой гимназии.

В холодном апреле 1916 года я впервые приехал в Ефремов к родственнице — одинокой старушке. Она звала меня погостить у нее и отдохнуть после моих скитаний по югу.

Старушка учительствовала в ефремовской городской школе. Как все учительницы, она часто болела ангиной. Лечилась она всякими способами, даже по «знахарскому методу Бунина».

— Какого Бунина? — спросил я удивленно.

— Евгения Алексеевича. Брата писателя. Он служит у нас в Ефремове в акцизе. Открыл способ лечить ангину. Натирает шею сухой шкуркой, и ангина тотчас проходит. Только мне не помогла эта шкурка. А Евгений Бунин — деловой и довольно неприятный господин. Вот брат его, писатель, говорят, человек чудесный, замечательный. Он иногда сюда приезжает.

С той минуты, как я узнал, что здесь бывает Бунин, Ефремов сразу преобразился для меня, хотя вообще-то был городком достаточно унылым. Теперь же он представлялся мне воплощением российского провинциального уюта.

Почти все наши захолустные города были схожи друг с другом. Все они, по словам Чехова, были типичными Ефремовами — с запущенными монастырскими подворьями, с землистыми ликами угодников над каменными воротами церковей, с залиvistыми колокольцами на тройке исправника, с острогом на выгоне, земским собранием — единственным домом, где у подъезда горел каменный фонарь, с крикливыми галками на кладбищенских липах и глубокими оврагами. Летом в них стенами стояла глухая крапива, а зимой па сером от золы снегу сизо чадили головешки, выброшенные из печей и самоваров.

Тогда, в Ефремове, вошла в меня бунинская Россия и завладела мной надолго.

Елец был рядом. Я решил съездить туда, чтобы посмотреть этот бунинский город.

С ранней юности у меня была неистребимая страсть посещать места, связанные с жизнью любимых писателей и поэтов. Лучшим местом на земле я считал (и считаю до сих пор) холм под стеной Святогорского монастыря в Псковщине, где похоронен Пушкин. Таких далеких и чистых далей, какие открываются с этого холма, мало в России.

Из Ефремова до Ельца ходил рабочий поезд, так называемый «Максим Горький». Я поехал на нем в Елец.

Холодный рассвет застал меня в дребезжащем, старом вагоне. Я сидел под мигающей свечой и читал в растрепанной старой книжке журнала «Современный мир» бунинский рассказ «Илья Пророк».

По своей пронзительной горечи этот рассказ — один из лучших в русской литературе. Каждая подробность, каждая черта этого рассказа (даже «бледные, как са-



ван, овсы») щемила сердце предчувствием неизбежной беды, нищенством, сиротью, ставшими уделом тогдашней России.

От этой России временами хотелось бежать без оглядки. Но редко кто на это решался. Ведь нищенку мать любят и в горьком ее унижении.

Бунин тоже ушел от своей единственной любимой страны. Но ушел только внешне. Человек необыкновенно гордый и строгий, он до конца своих дней тяжело страдал по России и пролил по ней много скрытых слез в чужих ночах Парижа и Граса, слез человека, добровольно изгнавшего себя из отечества.

Я ехал в Елец. Тощие зеленыя тянулись за окнами вагона. Ветер посвистывал в жестяных вентиляторах, гнал низкие тучи. Я перечитывал «Илью Пророка», перечитывал скорбную историю Семена Новикова, крестьянина Елецкого уезда Предтеченской волости. И старался понять: как, какими словами, каким волшебством достигнуто это подлинное чудо? Чудо создания короткого и сильного, горестного и великолепного рассказа.

В Ельце я не останавливался в гостинице. Для этого я был тогда слишком беден. Весь день до позднего вечера, когда отходил обратный поезд на Ефремов, я бродил по городу и очень, конечно, устал.

Был серый высокий день. Пошел неожиданный запоздалый снежок. Ветер сдувал его с мостовых, обнажая каменные, избитые подковами, белые плиты.

Город был весь каменный. Чудилось в этом его каменном обличе что-то от крепости. Оно чувствовалось и в пустынности улиц, и в их тишине. Я слышал, что Елец всегда был шумным торговым городом, и удивлялся этому городскому покою, пока не понял, что тишина и малолюдство — следствие войны.

Елец действительно был крепостью. Бунин в «Жизни Арсеньева» говорил о нем:

«...Город... гордился своей древностью и имел на то полное право: он и впрямь был одним из самых древних русских городов, лежал среди великих черноземных полей Подстепья на той роковой черте, за которой некогда простирались «земли дикие, неизвестные», а во времена княжеств Суздальского и Рязанского принадлежал к тем важнейшим оплотам Руси, что, по слову летописцев, первые вдыхали бурю, пыль и хлад из под грозных азиатских туч...»

Почти каждое слово в этом отрывке доставляет наслаждение своей простотой, точностью, образностью. Чего стоят одни только слова о том, что эти древние города вдыхали бурю и хлад азиатских набегов! Эти слова воскрешают тревожный свист караульных, грохот колотушек по чугунным доскам, призыв всех жителей на городские валы.

Я долго простоял около здания мужской гимназии с каменным двором. В этой гимназии учился Бунин. Внутри было тихо, за окнами шли уроки.

Потом я прошел через базарную площадь, удивляясь обилию запахов. Пахло укропом, конским навозом, старыми сельдяными бочками, ладаном из открытых дверей церкви, где кого-то отпевали; пахло палым, уже перебродившим листом из садов за высокими серыми заборами.

Я напился чаю в трактире. Там было пусто и холодно. Из трактира я пошел на окраину города. До поезда оставалось еще много времени.

На окраине — уходящем в низину длинном и голом выгоне — чадил и звенел от ударов по наковальням черные кузнцы. Над выгоном белело небо. Рядом тянулась кладбищенская стена.

Я зашел на кладбище. Чуть позванивали и скрипели от ветра побитые фарфоровые розы и жестяные заржавленные листья на погребальных венках.

Кое-где на железных с витиеватыми завитушками и облупившейся масляной краской крестах виднелись коричневые, смятые дождями фотографии в металлических медальонах.

К вечеру я пришел на вокзал. В своей жизни я часто бывал одинок, но редко испытывал такое горькое ощущение неприкаянности, как в тот вечер в Ельце.

Где-то рядом, за стенами домов, в теплых комнатах, шла жизнь, может быть, веселая и светлая, а может быть, скудная и молчаливая. Но я был вне этих теплых стен. Я сидел в тускло освещенном зале третьего класса, где вояло керосином и дуло холодом по ногам.

У каждого в жизни бывали странные, порой приятные, порой печальные совпадения. Были они и у меня. Такое удивительное совпадение случилось в этот вечер на елецком вокзале.

Я купил в газетном киоске сырой номер «Русского слова». В зале третьего класса из-за темноты читать было трудно. Я пересчитал свои деньги. Их хватало на то,

чтобы напиться чаю в ярко освещенном вокзальном буфете и даже дать какую-то мелочь подвыпившему официанту.

Я сел в буфете за стол около пустого мельхиорового ведра для шампанского и развернул газету...

Опомнился я только через час, когда вокзальный швейцар, мотая колокольчиком, прокричал нарочито гнусавым голосом: «Второй звонок на Ефремов, Волово, Тулу!»

Я вскочил, бросился в вагон и присидел, забившись в угол около темного окна, до самого Ефремова.

Все внутри меня дрожало от печали и любви. К кому?

К дивной девушке, к убитой вот на этом вокзале гимназистке Оле Мещерской. В газете был напечатан рассказ Бунина «Легкое дыхание».

Я не знаю, можно ли назвать эту вещь рассказом. Это не рассказ, а озарение, самая жизнь с ее трепетом и любовью, печальное и спокойное размышление писателя, эпитафия девичьей красоте.

Я был уверен, что проходил на кладбище мимо могилы Оли Мещерской, и ветер робко позванивал в старом венке, как бы призывая меня остановиться.

Но я прошел, ничего не зная. О, если бы я знал! И если бы я мог! Я бы усыпал эту могилу всеми цветами, какие только цветут на земле. Я уже любил эту девушку. Я содрогался от непоправимости ее судьбы.

За окнами дрожали, погасая, редкие и жалкие огни деревень. Я смотрел на них и наивно успокаивал себя тем, что Оля Мещерская — это бунинский вымысел, что только склонность к романтическому приятию мира заставляет меня страдать из-за внезапной любви к этой погибшей девушке.

Пожалуй, в эту ночь в холодном вагоне среди черных и серых полей России, среди шумящих от ночного ветра, еще не распустившихся березовых рощ я впервые до конца, до последней прожилки понял, что такое искусство и какова его возвышающая и вечная сила.

Я несколько раз разворачивал газету и перечитывал при умирающем огне свечи, а потом при водянистом свете бездомной зари все одни и те же слова о легком дыхании Оли Мещерской, о том, что «теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре».

Второй съезд советских писателей встретил овацней слова о том, что Бунин должен быть возвращен русской литературе.

И он был возвращен. Были возвращены на родину драгоценнейшие бунинские вещи, и в их числе повесть «Жизнь Арсеньева».

Об этой повести писать трудно, почти невозможно, так же как и о самом Буине. Он так богат, так щедр, так многообразен, так беспощадно и точно видит любого человека от господина из Сан-Франциско до плотника Аверкия, видит каждый малейший жест и каждое душевное движение так удвительно ясно, одновременно строго и нежно, говорит о природе, неотделимой от течения человеческих дней, что писать об этом, как говорится, «из вторых рук» бесполезно и почти бессмысленно.

Бунина надо читать и навсегда отказаться от жалких попыток рассказывать обыденными, не бунинскими словами о том, что написано им с классической силой и четкостью.

Нельзя рассказать своими словами «Ненастный день потух...» Пушкина, «Над вечным покоем» Левитана или «Воздушный корабль» Лермонтова. Это так же бесполезно, как поверять сухой алгеброй гармонии Моцарта и других великих композиторов. Поэтому я не буду делать напрасных попыток пересказывать Бунина и толковать его вещи применительно к «злобе дня».

«Злоба дня», иными словами, понятие современности, не может существовать без теснейшей связи со всем, что предшествовало нашему времени и что в какой-то мере его определило.

Книги Бунина тем и замечательны, что они целиком — в своем времени и вместе с тем связаны живой связью с прошлым нашего народа.

В прозе и поэзии Бунина явственно присутствует ощущение жизни как длительного и в основе своей прекрасного пути от рождения человека до его смерти. Особенно сильно это ощущение выражено в «Жизни Арсеньева».

Эта повесть не только славословие России, не только итог жизни Бунина, не только выражение глубочайшей и поэтической его любви к своей стране, выражение печали и восторга перед ней, изредка блещущего

со страниц книги скупыми слезами, похожими на редкие ранние звезды на небосклоне. Это еще нечто другое.

Это не только вереница русских людей.— крестьян, детей, нищих, разорившихся помещиков, прасолов, студентов, юродивых, художников, прелестных женщин,— многих людей, присутствовавших на всех путях и перепутьях писателя и написанных с резкой, порой ошеломляющей силой.

«Жизнь Арсеньева» в каких-то своих частях напоминает картины художника Нестерова «Святая Русь» и «На Руси». Эти полотна — наилучшее выражение своей страны и народа в понимании художника.

Перелески и взгорья, почернелые бревенчатые церкви, позабытые погосты и деревеньки. И на их фоне — вся Русь! Древний царь в тяжелой парче и литом золоте, робкие сермяжные мужички, подпаски с длинными кнутами, странники и странницы в скуфейках, девушки с опущенными, будто пасурмленными ресницами, что бросают нежную тень на их бледные лица, озаренные каким-то целомудренным внутренним светом. Юроды, побирушки, истовые старухи, грозные старцы с посохами, белоголовые дети.

В толпе — Лев Толстой, а недалеко от него — Достоевский. Они вместе со своим ищущим правды народом идут в ясные, но пока еще далекие дали, о которых они не уставали говорить всю жизнь.

Что-то общее у этих картин с книгами Бунина. С тем только отличием, что родная страна у Бунина еще скромнее и беднее, чем у Нестерова.

Срединная наша Россия предстает у Бунина в прелести серых дней, покое полей, дождях и туманах, а порой в бледной лучезарности, в тлеющих широких закатах.

Здесь уместно будет сказать, что у Бунина было редкое и безошибочное ощущение красок и освещения.

Мир состоит из великого множества соединений красок и света. И тот, кто легко и точно улавливает эти соединения, — счастливейший человек, особенно если он художник или писатель.

В этом смысле Бунин был очень счастливым писателем. С одинаковой зоркостью он видел все: и среднерусское лето, и пасмурную зиму, и «скудные, свинцовые, спокойные дни поздней осени», и море, «которое из-за диких лесистых холмов вдруг глянуло на меня всей своей темной громадной пустыней».

В записках Бунина есть одна короткая фраза. Она относится к началу лета 1966 года. «Начинается пора прелестных сблоков», — записал Бунин и этим как бы открыл нам одну из тайн своей писательской жизни. Это слова о приближении неизбежного и много труда, связанного у Бунина с летней порой, «порой облаков», «порой дождей», «порой цветения».

Этими четырьмя словами Бунин отмечает начало своей работы по наблюдению за небом, по изучению облаков, всегда таинственных и притягательных.

Каждый раз, когда читаешь бунинские строки о лете, вспоминаешь эту его запись. Слова о лете у него всегда томительны, даже если и занимают всего две строки.

«Отцвел и оделся сад, целый день пел соловей в саду, целый день были подняты нижние рамы окон...»

Бунин одинаково остро и тонко видел все, что приводило его увидеть в жизни. А видел он очень много, с юных лет заболел скитальчеством, непокоем, жаждой непременно увидеть все, до той поры не виданное.

Он признавался, что никогда не чувствовал себя так счастливо, как в те минуты, когда ему предстояла большая дорога.

Есть некая крепкая связь между такими явлениями, как свет, запах, звук и цвет.

В чем эта связь? Хотя бы в том, что, глядя на неизвестные, похожие на огромные крокусы, цветы на картине Ван-Гога, глядя на плотный свет, напоминающий прозрачный сок каких-то не наших плодов, неожиданно вдыхаешь сладковатый дразнящий запах этих плодов и свежее и слабое дыхание сырого морского песка. Этот запах как бы доносит от картинной галереи равномерный ветер с чужих островов.

Читая Бунина, часто ловишь себя на ощущениях такого же рода. Краска рождает запах, свет — краску, а звук восстанавливает ряд удивительно точных картин. Все это вместе рождает особое душевное состояние то сосредоточенности и печали, то легкости и радости жизни с ее теплыми ветрами, шумом деревьев, беспредельным гулом океана, милым смехом детей и женщин.

О своем чувстве красок, об отношении к цвету в природе Бунин говорит в «Жизни Арсеньева»:

«Я весь дрожал при одном взгляде на ящик с красками, пачкал бумагу с утра до вечера, часами простаивал,

глядя на ту дивную, переходящую в лиловое, синеву неба, которая сквозит в жаркий день против солнца в верхушках деревьев, как бы купающихся в этой синеве,— и навсегда проникся глубочайшим чувством истинно божественного смысла и значения земных и небесных красок. Подводя итоги того, что дала мне жизнь, я вижу, что это один из важнейших итогов. Эту лиловую синеву, сквозящую в ветвях и листве, я и умирая вспомню...»

Слегка приглушенные краски, характерные для Средней России, сразу же приобретают зной и густоту, когда Бунин говорит о юге, тропиках, Малой Азии, о Египте и Палестине.

Осенью 1912 года Бунин жил на Капри и подолгу в то время беседовал со своим племянником Николаем Алексеевичем Пушешниковым.

Сохранились записки Пушешникова об этих беседах. Они очень простые, эти записки. Они показывают нам Бунина — человека очень сдержанного — в часы редкой его откровенности.

Все эти записки говорят о неистовой любви Бунина к жизни. Глядя из окна вагона на тень от паровозного дыма, таящую в воздухе, Бунин сказал:

— Какая радость — существовать! Только видеть, хотя бы видеть лишь один этот дым и этот свет. Если бы у меня не было рук и ног и я бы только мог сидеть на лавочке и смотреть на заходящее солнце, то я был бы счастлив этим. Одно нужно только — видеть и дышать. Ничто не дает такого наслаждения, как краски. Я привык смотреть. Художники научили меня этому искусству... Поэты не умеют описывать осень, потому что они не описывают красок и неба. Французы — Эредиа, Леконт де Лиль — достигли необычайного совершенства в описаниях.

В записках Пушешникова есть место удивительное, раскрывающее «тайну» бунинского мастерства.

Бунин говорил, что, начиная писать о чем бы то ни было, прежде всего он должен «найти звук». «Как скоро я его нашел, все остальное дается само собой».

Что это значит — «найти звук»? Очевидно, в эти слова Бунина вкладывал гораздо большее значение, чем кажется на первый взгляд.

«Найти звук» — это найти ритм прозы и найти ос-

мовное ее звучание. Ибо проза обладает такой же внутренней мелодией, как стихи и музыка.

Это чувство ритма прозы и ее музыкального звучания, очевидно, органично и коренится также в прекрасном знании и тонком чувстве родного языка.

Даже в детстве Бунин остро чувствовал этот ритм. Еще мальчиком он заметил в прологе к пушкинскому «Руслану» кругообразное легкое движение стихов («ворожбу кругообразных, непрестанных движений»):

«И днем — и ночью — кот — ученый — все ходит — по цепи — кругом».

В области русского языка Бунин был мастером непревзойденным.

Из необъятного числа слов он безошибочно выбирал для каждого рассказа слова наиболее живописные, наиболее сильные, скрепленные какой-то незримой и почти таинственной связью с повествованием и единственно для этого повествования необходимые.

Каждый рассказ и каждое стихотворение Бунина подобны магниту, который притягивает отовсюду все частицы, нужные для этого рассказа.

Существуй сейчас сказочник, подобный Христиану Андерсену, он, может быть, написал бы сказку о том, как слетаются к писателю, обладающему волшебным магнитом, всякие неожиданные вещи вплоть до солнечного луча в кустарнике, покрытом инеем, лохмотьев туч в сизых траурных ризах, а писатель располагает их в своем особом, ему одному ведомом порядке, обрызгивает живой водой, и вот в мире уже живет новое произведение — поэма, стихи или повесть, — и ничто не сможет убить его. Оно бессмертно, пока жив на земле человек.

Язык Бунина прост, почти скуп, чист и живописен. Но вместе с тем он необыкновенно богат в образном и звуковом отношении — от кимвального пения до звона родниковой воды, от размеренной чеканности до интонаций удивительно нежных, от легкого напева до гремящих библейских обличений, а от них — до меткого, разящего языка орловских крестьян.

Я только упомянул о «Жизни Арсеньева». А между тем эта повесть требует пристального чтения.

Я назвал «Жизнь Арсеньева» повестью. Это, конечно, неверно. Это не повесть и не роман. Это вещь нового, еще не названного жанра. Жанр этот изумительный,



единственный, берущий человеческое сердце в мучительный и вместе с тем светлый плен.

Принято думать, что «Жизнь Арсеньева» — автобиография. Бунин отрицал это. Для автобиографии «Жизнь Арсеньева» была написана слишком свободно.

Это не автобиография. Это — слиток из многих земных горестей, очарований, размышлений и радостей. Это — удивительный свод событий одной человеческой жизни, скитаний, стран, городов, морей, но среди этого многообразия земли на первом месте всегда наша Средняя Россия. «Зимой безграничное снежное море, летом — море хлебов, трав и цветов... И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание...»

Бунину удалось в «Жизни Арсеньева» собрать свою жизнь в некоем магическом кристалле, но, в отличие от пушкинского кристалла, даль этой повести, даль жизни писателя очень резко очерчена, просвечена до самого дна.

Я продолжаю называть «Жизнь Арсеньева» повестью, хотя с таким же правом мог бы назвать ее поэмой или сказанием.

«Жизнь Арсеньева» — это одно из замечательнейших явлений мировой литературы. К великому счастью, оно в первую очередь принадлежит литературе русской.

В этой удивительной книге поэзия и проза слились воедино, слились органически, создав новый замечательный жанр.

В этом слиянии поэтического восприятия мира с внешне прозаическим его выражением есть нечто строгое, подчас суровое. Есть в самом стиле этой вещи нечто библейское.

В этой книге нельзя уже отличить поэзию от прозы, и многие ее слова ложатся на сердце, как раскаленная печать.

Достаточно прочесть несколько строк о матери, чтобы понять, что Бунин нашел для всего, о чем он хотел сказать, единственно нужное и единственно возможное выражение.

Эти строки нельзя читать без душевного потрясения:

«В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире и да будет вовеки благословенно ее бесценное имя. Ужели та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще захудалого русского города, на

дне уже безыменной могилы, ужели это она, которая некогда качала меня на руках?»

Сила языка, сила точного образа в «Жизни Арсеньева» таковы, что рождают грусть, волнение и даже слезы. Те редкие слезы, которые вызывает прекрасное.

Новизна «Жизни Арсеньева» еще и в том, что ни в одной из бунинских вещей не раскрыто с такой полнотой то явление, которое мы, по скудости своего языка, называем «внутренним миром» человека. Как будто есть ясная граница между внутренним и внешним миром? Как будто внешний мир не являет собой одно целое с миром внутренним?

Все, о чем говорит Бунин в этой книге, очень видно, слышно, осязаемо, вещно и надолго радует или печалит нас. Я приведу из этой книги несколько отрывков. Вот, например, первая встреча маленького мальчика с городом:

«Всего... поразительнее оказалась в городе вакса. За всю мою жизнь не испытывал я от вещей, виденных мною на земле,— а я видел много! — такого восторга, такой радости, как на базаре в этом городе, держа в руках коробочку ваксы. Круглая коробочка эта была из простого лыка, но что это было за лыко и с какой несравненной художественной ловкостью была сделана из него коробочка! А сама вакса! Черная, тугая, с тусклым блеском и упоительным спиртным запахом».

Описание родного нищего края сделано Буниным со скупой выразительностью.

«Где я родился, рос, что видел? Ни гор, ни рек, ни озер, ни лесов,— только кустарники в лощинах, кое-где перелески и лишь изредка подобие леса, какой-нибудь Заказ, Дубровка, а то всё поля, поля, беспредельный океан хлебов... Это... Подстепье, где поля волнисты, где всё буераки да кособоры, неглубокие луга, чаще всего каменистые, где деревушки и лапотные обитатели их кажутся забытыми богом,— так они неприхотливы, первобытно-просты, родственны своим лозинам и соломе».

У писателей есть термин, заимствованный у скульпторов,— «лепка людей». У не многих писателей такая безошибочно верная и порой то безжалостная, то трогательная «лепка людей», как у Бунина. Вот, к примеру, подпасок:

«Мальчишка-подпасок... был необыкновенно интересен: посконная рубашонка и коротенькие портчонки бы-

ли у него дыра на дыре, ноги, руки, лицо высушены, сожжены солнцем и лупились, губы болели, потому что вечно жевал он то кислую ржаную корку, то лопухи, то эти самые козельчики, разъедавшие губы до настоящих язв, а острые глаза воровски бегали: ведь он хорошо понимал всю преступность нашей дружбы с ним, и то, что он подбивал и нас есть бог знает что. Но до чего сладка была эта преступная дружба! Как заманчиво было все то, что он нам тайком, отрывисто, поминутно оглядываясь, рассказывал. Кроме того, он удивительно хлопал, стрелял своим длинным кнутом и бесовски хохотал, когда пробовали и мы хлопать, пребольно обжигая себя по ушам концом кнута...»

Русский пейзаж с его мягкостью, застенчивыми веснами, с его невзрачностью, которая через короткое время оборачивается тихой печальной красотой, нашел наконец своего выразителя, никогда не пытавшегося его приукрасить. Не было в русском пейзаже даже самой малой малости, которую бы не заметил и не описал Бунин.

«Миновали глинистый пруд, жарко и скучно блестящий своей удлинненной поверхностью в ложине среди выбитых скотиной косогоров. На них кое-где как-то беспринужно на юру в раздумье сидели грачи».

В «Жизни Арсеньева» есть небольшая глава. Она начинается словами:

«Очень русское было все то, среди чего жил я в мои отроческие годы». Дальше Бунин говорит о большой дороге вблизи деревни Становая, о разбойниках, страхе, ночах, но какая удивительная картина недавней России набросана здесь:

«Большая дорога возле Становой спускалась в довольно глубокий лог, по-нашему, верх, и это место всегда внушало почти суеверный страх всякому запоздавшему проезжему... И не раз испытал в молодости этот чисто русский страх и я сам, проезжая под Становой... Все представлялось: глядь, а они и вот они — не спеша идут наперерез тебе, с топориками в руках, туго и низко, по самым кострецам, подтянутые, с надвинутыми на зоркие глаза шапками, и вдруг останавливаются, негромко и преувеличенно-спокойно приказывают: «Постой-ка, минутку, купец...»

Великолепных мест в этой книге великое множество. Я не нахожу в нашей прозе такого описания зимы, какое я приведу ниже:

«А еще помню я много серых и жестких зимних дней, много темных и грязных оттепелей, когда становится особенно тягостна русская уездная жизнь, когда лица у всех делались скучны, недоброжелательны,— первобытно подвержен русский человек природным влияниям!— и все на свете, равно как и собственное существование, томил своей ненужностью...

Помню, как иногда по целым неделям несло непроглядными азиатскими метелями, в которых чуть маячили городские колокольни. Помню крещенские морозы, наводившие мысль на глубокую древнюю Русь, на те стужи, от которых земля на сажень трескалась: тогда над белоснежным городом, совершенно потонувшим в сугробах, по ночам грозно горело на черно-вороненом небе белое созвездие Ориона, а утром зеркально, зловеще блистало два тусклых солнца и в тугой и звонкой неподвижности жгучего воздуха весь город медленно и дико дымился алыми дымами из труб и весь скрипел и визжал от шагов прохожих и санных полозьев...»

Говоря о Бунине, невольно делаешься человеком навязчивым. Все время хочется показать собеседнику-читателю прекрасные места бунинских книг одно за другим. Все кажется, вот это — последнее. Но оказывается, что дальше — еще лучшее место, и нет сил промолчать о нем. Вот, например, слова о юности и почти детской любви. Каждый думает о минувшей юности с грустью. Тогда мы любили любовь и все, что она приносила нам: и «семицветную звезду, тихо мерцавшую на востоке, далеко за садом, за деревней, за летними полями, откуда иногда чуть слышно и потому особенно очаровательно доносился далекий бой перепела», и дыхание спящей любимой девушки,— «как же передать те чувства, с которыми смотрел я, мысленно видя там, в этой комнате, Лизу, спящую под лепет листьев, тихим дождем струящихся за открытыми окнами, в которые то и дело входит и веет этот теплый ветер с полей, лелея ее полудетский сон, чище, прекраснее которого не было, казалось, на всей земле!»

\* \* \*

Чем больше я читаю Бунина, тем яснее становится, что Бунин почти неисчерпаем.

Во всяком случае, нужно много времени, чтобы узнать все им написанное и узнать бунинскую бурную,

несмотря на элегичность автора, беспокойную и стремительную в своем движении жизнь.

Часть своей жизни Бунин рассказал сам (в «Жизни Арсеньева» и во многих рассказах, которые почти все в той или иной мере связаны с его биографией), часть рассказала его жена Вера Николаевна Муромцева-Бунина, выпустившая в 1958 году в Париже свою книгу «Жизнь Бунина» — очень ценный свод воспоминаний и материалов о Буине.

Жизнь Бунина вся до последних дней была отдана скитаниям и творчеству.

Бунин был смел, честен в своих убеждениях. Он один из первых в своей «Деревне» развенчал сладенький миф о русском крестьянине-богоносце, созданный кабинетными народниками.

У Бунина, кроме блестящих, совершенно классических рассказов, есть необычайные по чистоте рисунка, по великолепной наблюдательности и по ощущению далеких стран путевые очерки об Иудее, Малой Азии, Турции, Греции и Египте.

Бунин — первоклассный поэт чистой, если можно так выразиться, «кастальской» школы. Его стихи до сих пор не оценены. Среди них встречаются подлинные шедевры по выразительности и передаче трудноуловимых вещей.

Всю жизнь Бунин ждал счастья, писал о человеческом счастье, искал путей к нему. Он нашел его в своей поэзии и прозе, в любви к жизни и к своей родине и сказал великие слова о том, что счастье дано только знающим.

Бунин прожил сложную, иногда противоречивую жизнь. Он много видел, знал, много любил и ненавидел, много трудился, не раз ошибался, но всю жизнь величайшей, нежнейшей, неизменной его любовью была родная страна, Россия.

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,  
И лазурь, и полуденный зной...  
Срок настанет — господь сына блудного спросит:  
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я все — вспомню только вот эти  
Полевые пути меж колосьев и трав —  
И от сладостных слез не успею ответить,  
К милосердным коленам припав.

## Максим Горький

Об Алексее Максимовиче Горьком писали так много, что, если бы не его огромность, можно было бы легко смутиться, отступить и не прибавить к тому, что уже написано о нем, ни одной строчки.

Горький занимает большое место в жизни каждого из нас. Я даже решусь сказать, что существует «чувство Горького», ощущение его постоянного присутствия в нашей жизни.

Для меня в Горьком — вся Россия. Как я не могу представить себе Россию без Волги, так не могу подумать, что в ней нет Горького.

Он был полномочным представителем бесконечно талантливого русского народа. Он любил и досконально знал Россию, знал, как говорят геологи, во всех «разрезах» — и в пространстве и во времени. Не было ничего, чем бы он пренебрегал в этой стране и что бы он не увидел по-своему, по-горьковски.

Это был человек, определяющий эпоху. От таких людей, как Горький, можно начинать летосчисление.

При первом знакомстве меня прежде всего поразило в нем необыкновенное его внешнее изящество, несмотря на легкую сутулость и глуховатый говор. Он был в той стадии духовной зрелости и расцвета, когда внутреннее совершенство накладывает неизгладимый отпечаток на внешность, на жест, манеру говорить, на одежду — на весь облик человека.

Это изящество, соединенное с уверенной силой, было заметно в широких кистях его рук, во внимательном взгляде, в походке и в костюме, который он носил свободно и даже несколько артистически небрежно.

Я часто мысленно вижу его таким, как об этом рассказывал мне один писатель, живший у Горького в Крыму, в Тессели.

Писатель этот проснулся однажды очень рано и подошел к окну. По морю катился разгонистый шторм. С юга дул напряженный, упругий ветер, шумел в садах и скрипел флюгерами.

Невдалеке от домика, где жил писатель, рос огромный тополь. Поднебесный тополь, сказал бы о нем Гоголь. И вот писатель увидел, что около тополя стоит Горький и, подняв голову и опираясь на трость, пристально смотрит на могучее дерево.

Вся тяжелая и густая листва тополя дрожала и шумела от шторма. Все листья были напряженно вытянуты по ветру, запрокинувшись серебряной изнанкой. Тополь гудел, как исполинский орган.

Горький очень долго стоял неподвижно и смотрел на тополь, сняв шляпу. Потом он что-то сказал и пошел в глубину сада, но несколько раз останавливался и оглядывался на тополь.

За ужином писатель осмелел и спросил Горького, что он сказал тогда, около тополя. Горький не удивился и ответил:

— Ну, раз вы за мной подглядели, то так и быть, сознаюсь. Я сказал — какое могущество!

Однажды я был у Алексея Максимовича в его загородном доме в Горках. Стоял летний день, весь в кудрявых, легких облаках, пестривших прозрачной тенью цветущие зеленые взгорья за Москвой-рекой. По комнатам дуло теплым ветром.

Горький говорил со мной о моей последней повести — «Колхиде» — так, как будто я был знатоком субтропической природы. Это меня сильно смущало. Но, несмотря на это, мы поспорили о том, болеют ли собаки малярией, и Горький в конце концов сдался и даже вспомнил, добродушно улыбаясь, случай из своей жизни, когда он видел около Поти больных малярией, взъерошенных и стонущих кур.

Говорил он так, как сейчас уже никто из нас говорить не умеет, — выпуклым, сочным языком.

Тогда я только что прочел очень редкую книгу одного нашего моряка, капитана Гернета. Называлась она «Ледяные лишаи».

Гернет был одно время советским морским представителем в Японии, там написал эту книгу, сам набрал ее в типографии, так как не нашел среди японцев наборщика, знающего русский язык, и отпечатал всего пятьсот экземпляров этой книги на тонкой японской бумаге.

В книге капитан Гернет изложил свою остроумную теорию возвращения в Европу миоценового субтропического климата. Во времена миоцена по берегам Финского залива, и даже на Шпицбергене росли магнолиевые и кипарисовые леса.

Я не могу здесь подробно рассказать о теории Гернета — для этого понадобилось бы слишком много места. Но Гернет неопровержимо доказал, что если бы удалось

растопить ледяной шапкой Гренландии, то в Европу вернулся бы миоцен, и в природе наступил золотой век.

Единственной слабостью этой теории была полная невозможность растопить гренландский лед. Сейчас, после открытия атомной энергии, об этом можно было бы, пожалуй, подумать.

Я рассказал Горькому о теории Гернета. Он барабанил пальцами по столу, и мне показалось, что он слушает меня только из вежливости. Но оказалось, что он был захвачен этой теорией, ее стройной неопровержимостью и даже какой-то торжественностью.

Он долго обсуждал ее, все больше оживляясь, и попросил прислать ему эту книгу, чтобы переиздать ее большим тиражом в России. И долго говорил о том, сколько умных и хороших неожиданностей подкарауливают нас на каждом шагу.

Но издать книгу Гернета Алексей Максимович не успел — он вскоре умер.

#### Виктор Гюго

На острове Джерсе в Ла-Манше, где Виктор Гюго жил в изгнании, ему сооружен памятник.

Памятник поставлен на обрыве над океаном. Постамент у памятника очень невысокий, всего в двадцать или тридцать сантиметров. Он весь зарос травой. Поэтому кажется, что Гюго стоит прямо на земле.

Гюго изображен идущим против сильного ветра. Он согнулся, плащ на нем развевается. Гюго придерживает шляпу, чтобы ее не снесло. Он весь в борьбе с напором океанской бури.

Памятник поставлен в местности дикой и пустынной, откуда видна скала, где погиб матрос Жиллиат из «Тружеников моря».

Вокруг, насколько хватает глаз, гудит беспокойный океан, лижет тяжелыми волнами подножия утесов, вздымая и раскачивая заросли морской травы, и с тяжелым грохотом врывается в подводные пещеры.

Во время туманов слышно, как мрачно режут сирены на далеких маяках. А по ночам маячные огни лежат по горизонту на самой поверхности океана. Они часто окунаются в воду. Только по этому признаку можно понять, какие огромные валы, застилая огни маяков, катит океан на берег Джерсея.



В годовщину смерти Виктора Гюго жители Джерсея кладут к подножию памятника несколько веток омелы. Чтобы положить омелу к ногам Гюго, выбирают самую красивую девушку на острове.

У омелы очень плотные овальные листочки оливкового цвета. Омела, по местным поверьям, приносит счастье живым и долгую память умершим.

Поверье сбывается. И после смерти мятежный дух Гюго бродит по Франции.

Это был неистовый, бурный, пламенный человек. Он преувеличивал все, что видел в жизни и о чем писал. Так было устроено его зрение. Жизнь для него складывалась из великих страстей, приподнято и торжественно выраженных.

Это был великий дирижер словесного оркестра, состоявшего из одних духовых инструментов. Ликующая медь труб, грохот литавр, пронзительный и заунывный свист флейт, глухие крики гобоев. Таков был его музыкальный мир.

Музыка его книг была такой же могучей, как гром океанских прибоев. От нее содрогалась земля. И содрогались слабые человеческие сердца.

Но он не жалел их. Он был неистов в своем стремлении заразить все человечество своим гневом, восторгом и своей шумной любовью.

Он был не только рыцарем свободы. Он был ее глашатаяем, ее вестником, ее трубадуром. Он как бы кричал на перекрестках всех земных дорог: «К оружию, граждане!»

Он ворвался в классический и скучноватый век, как ураган, как вихрь, что несет потоки дождя, листья, тучи, лепестки цветов, пороховой дым и сорванные со шляп кокарды.

Этот ветер называется Романтикой.

Он просквозил застоявшийся воздух Европы и наполнил его дыханием неукротимой мечты.

Я был оглушен и очарован этим неистовым писателем еще в детстве, когда прочитал пять раз подряд «Отверженных». Я кончал этот роман и в этот же день принимался за него снова.

Я достал карту Парижа и отмечал на ней все те места, где происходило действие романа. Я как бы сам стал его участником и до сих пор в глубине души считаю Жана Вальжана, Козетту и Гавроша друзьями детства.

Париж с тех пор стал не только родиной героев Виктора Гюго, но и моей. Я полюбил его, еще никогда не видев. С годами это чувство все крепчало.

К Парижу Виктора Гюго присоединился Париж Бальзака, Мопассана, Дюма, Флобера, Золя, Жюль Валлеса, Анатоля Франса, Роллана, Доде, Париж Вийона и Рембо, Мериме и Стендаля, Барбюса и Беранже.

Я собирал стихи о Париже и выписывал их в отдельную тетрадь. К сожалению, я ее потерял, но многие строчки из этих стихов запомнил наизусть. Разные строчки — и пышные и простые.

Вы увидите сказочный город,  
О котором молнили века,  
И душа позабудет укоры,  
И усталая дрогнет рука.  
В Люксембургском саду у фонтана  
Вы пройдете по дальней меже  
Под широкой листвою платанов,  
Как Мими из романа Мюрже...

Гюго внушил многим из нас эту первую любовь к Парижу, и за это мы благодарны ему. Особенно те, кому не посчастливится воочию увидеть этот великий город.

#### Маленькая роза в петлице

(ЮРИЙ ОЛЕША)

У меня было много встреч с Юрием Карловичем Олешей. Каждая встреча оставалась в памяти надолго. Об одной из этих встреч я и расскажу сейчас.

Это было в самом начале войны, в июле 1941 года. Я приехал в Одессу с фронта, из-под Тирасполя, на военном грузовике, соскочил с него около вокзала и пошел в «Лондонскую гостиницу».

Я шел по безлюдной Пушкинской улице. Начинало светать. Лил дождь.

В первые дни войны одесские жители покрасили белые южные дома густо разведенной сажей. Считалось, что черные дома не так заметны с воздуха, как белые.

Сложное предприятие с окраской домов, носившее звонкое имя «камуфляж», оказалось совершенно бесполезным. Лето выдалось дождливое. После первого же дождя дома облезли и покрылись потеками грязи.

Я шел по Пушкинской улице и не узнавал давно знакомый и милый город. Это была Одесса и вместе с тем со-

всем не она. Будто я видел город одновременно и наяву и во сне.

Из водосточных труб хлестала какая-то зловещая вода. Ни единого звука не слышалось вокруг, кроме торопливого стука дождя по железным крышам. Пожалуй, только запах промокшей листвы акаций напоминал недавние солнечные летние дни.

В то время я был почему-то уверен, что война принесла с собой новый воздух. Она сорвала с земли старый воздушный слой — мягкий, теплый, временами туманный — и заменила его воздухом жестким, пустым, изменившим вид всех мест и предметов. Новый воздух был похож на жидкий нитроглицерин. Запах его напоминал гарь, смешанную с пронзительным лекарством.

Должно быть, от этого чужого воздуха, от вымерших улиц и дождевой сырости я чувствовал полное одиночество, будто приехал в совершенно обезлюдевший город.

Поэтому я с облегчением вздохнул, когда в сумрачном вестибюле «Лондонской гостиницы» увидел старого небритого человека в лиловых подтяжках и измятой рубашке.

Он сидел за конторкой и читал «Королеву Марго» Александра Дюма.

Желтый огарок неподвижно горел перед ним. Едва заметный синий угар завивался над пламенем, как кудель.

— Вы портье? — спросил я неуверенно.

— Предположим, что я.

— Можно у вас переночевать?

— Странный вопрос! — рассердился старик. — В гостинице нет ни души. Выбирайте любой номер. С альковом или без алькова. Если у вас широкая натура, то можете жить один в двух номерах. Или в трех. И при этом совершенно бесплатно. Гратис!

Портье сказал старомодное слово купцов и коммивояжеров, — слово «гратис», обозначавшее, что товар отпускается бесплатно.

— Гратис! — повторил старик. — Платить абсолютно никому. «Интурист» эвакуировали. Я здесь за сторожа.

— Неужели в гостинице нет ни души? — спросил я, прислушиваясь, как по коридорам позванивают битые стекла.

— Как нет?! — возмущенно воскликнул старик. — А Юрия Карловича Олешу вы не считаете?

— Он здесь?

— Безусловно. Где же ему быть, скажите, как не в

Одессе. Я знаю Юрия Карловича давно. Он вырос здесь и жил, когда Одесса крутилась целые сутки, как карусель. Все скакало перед глазами: пароходы, Уточники, шикарные женщины, фраеры, капитаны, налетчики, итальянские примадонны, знаменитые доктора и скрипачи. И я знаю, кто еще! Теперь на Одессу навалилась беда. Тогда Олеша был тут, но и теперь он тут. Он — чистый одессит, вы понимаете! Сейчас он сидит в номере один. После болезни. Каждый раз, когда начинается тревога, я иду к нему, чтобы уговорить его сойти в подвал. Но он ни за что не сходит, а с места в карьер начинает шутить. «Соломон Шаевич,— говорит он,— поглядывайте, чтобы во время бомбежки фрицы не побили те фонари, которые я описал в сказке «Три толстяка». Что я могу ответить? И я тоже, знаете, шучу. Я говорю, что если бы моя воля, то я бы те фонари посеребрил, чтобы Одесса всегда помнила про эту книгу.

Я поднялся в комнату к Олеше. Он сидел, нахохлившись, за столом и что-то писал своим крупным и вольным почерком.

Мы расцеловались. Олеша был безнадежно небрит, страшно худ — он только что перенес дизентерию. Сухая желтизна покрывала его щеки. Но глаза смотрели, как всегда, пронизательно, с доброй усмешкой. И, как всегда, были готовы тотчас загореться огнем выдумки, схваченного на лету вдохновения, блеском метких и неожиданных сопоставлений. Когда он начинал говорить, жизнь сразу становилась интересной и как бы сияющей. Чем? Огнем его юмора, поэзии и мгновенного и точного понимания человеческих сердец.

Мне всегда казалось (а может быть, это было и вправду так), что Юрий Карлович всю жизнь неслышно беседовал с гениями и детьми, с веселыми женщинами и добрыми чудаками.

Спорил он смело и стремительно. Свои возражения он вонзал в собеседника беспощадно и победоносно.

Вокруг Олеша существовала, то сгущаясь, то разрежаясь, особая жизнь, тщательно выбранная им из окружающей реальности и украшенная его крылатым воображением. Эта жизнь шумела вокруг него, как описанная им в «Зависти» ветка дерева, полная цветов и листьев.

В Олеше было что-то бетховенское, грозное, мощное. Даже в его голосе. Его зоркие глаза видели вокруг мно-

го великолепных и утешительных вещей. Он писал о них коротко, точно, хорошо зная закон, что два слова могут быть неслышанно сильными, а четыре слова — уже вчетверо слабее.

В углу комнаты стояла самодельная палка. На ее набалдашнике висела клетчатая котомка.

— Вот,— сказал Олеша и кивнул на палку и котомку,— когда придет последний час, последняя минута, я иду пешком на Николаев, а потом на Херсон. Чтобы дойти, нужно ни о чем не думать, а только идти, идти, идти, пока держат ноги... Кстати, достаньте мне какую-нибудь карту, хотя бы из школьного атласа. Без карты мне будет трудно идти.

Я слушал его и засыпал сидя. Надо было лечь хоть на час, отдохнуть. Олеша пошел вместе со мной по пустым коридорам гостиницы выбрать самую лучшую комнату.

Почти все окна были выбиты взрывной волной. По гостинице, вздувая пыльные бордовые портьеры, носились сквозняки. Вслед им трещали засохшими листьями пальмы.

Сон у меня уже прошел. Мы ходили по комнатам и привередничали, бракуя одну комнату за другой. Одну за то, что в ней пахнет земляничным мылом, другую — за разбитое трюмо, третью — за картину «Боярский пир», запыленную известкой от недавнего взрыва.

Наконец мы выбрали самую маленькую и темную комнату. Окна ее выходили на внутренний дворик. Там росли вековые платаны.

— Блиндаж! — сказал Олеша. — Самая безопасная комната в гостинице.

Я тотчас уснул, не раздеваясь. Проснулся я от далекого гула уходящих бомбардировщиков. Закатный свет золотился в чешуйчатом от старости стекле открытого окна.

Я вскочил и пошел к Олеше. В номере его не было. Я нашел его в узком и темном зале ресторана при гостинице.

То был исторический ресторан. Как принято говорить в газетных отчетах, «его стены видели» многих знаменитых людей. Недавно еще этот зал сверкал хрусталами, серебром, фаянсом и мельхиором. Твердые синеватые скатерти на столиках трещали, как пергамент. Люстры

в виде виноградных кистей горели под вычурным лепным потолком. В серебряных ведерках хрустел лед, и меню было таинственным и роскошным.

Сейчас зал был пуст, темен, под потолком болезненно светила единственная лампочка военного времени. Ее никогда не гасили. Два старых, как сама Одесса, официанта в помятых белых куртках, приятели Олеша, бродили по залу и подавали редким посетителям пустой чай и черную скользкую вермишель.

Олеша сидел за столом с печальным молчаливым негром — актером Одесской киностудии.

— Только что был налет,— сказал мне Олеша.— Вы его проспали. Ну, что вы скажете «за Одессу»?

Я ответил, что город изменился с начала войны, замер, и одесситы как будто потеряли свою традиционную живость.

— Че-пу-ха! — сказал Олеша раздельно и внятно.— Одесситы не сдаются и не умирают. Их остроумие замешано на бесстрашии. Их храбрость расцветает от острых слов. У вас предвзятое представление об одесситах. Такое же, как, скажем, и о Диогене.

Я, конечно, понимал, что я здесь ни при чем, что свое мнение о Диогене я никогда при Олеше не высказывал хотя бы просто потому, что у меня его не было. Диоген был поводом для какой-нибудь острой выдумки.

— Вот,— сказал Олеша,— все, в том числе и вы считают Диогена главой циников. А какой он циник! Он робкий бестолковый старик. Жил, между прочим, в бочке. Тоже от бестолковости. А бочка все-таки какая-никакая, а жилплощадь. За нее надо платить. У Диогена, понятно, никогда не было ни копейки, ни драхмы. Хозяин бочки постоянно грозился выбросить старика на улицу за долги. Тогда Диоген шел к друзьям и начинал, краснея, бормотать: «Дайте денег на бочку». Боже мой, какой тогда подымался визг и крик: «Деньги на бочку?», «Нахал!», «Рвач!», «Циник!»

Молчаливый негр неожиданно захотел. Олеша метнул на него быстрый взгляд и сказал:

— Одесситы и сейчас, во время войны, такие же мужественные, веселые и смешливые, как и всегда. Пойдемте походим по городу, и я могу поручиться, что где-нибудь мы увидим старых, ни перед чем не сдающихся одесситов. А это тоже своего рода героизм.

Мы вышли из гостиницы. Прозрачный воздух розовел от заката. Бульвар шумел.

Над морем шли в сторону Очакова фашистские эскадрильи. Их веско и гулко обстреливали морские зенитки.

Мы пошли на Греческий базар. Там, по словам Олеси, еще доживала последние часы чайная, где подавали настоящую молдавскую брынзу.

Но мы не дошли до Греческого базара. Нас настигла воздушная тревога. Милиционеры открыли ожесточенную пушечную пальбу в воздух (очевидно, для тех, кто не слышал тревоги по радио). Кроме того, они загоняли всех прохожих во дворы.

Мы вошли в первый же двор. То был типичный греческий двор. Описать такой двор почти невозможно, его надо видеть или даже пожить в нем несколько дней, чтобы понять всю его прелесть.

Это — прямоугольные дворы, окруженные со всех сторон старыми двухэтажными домами. Единственный выход из этих дворов — ворота на улицу. Все комнаты и квартиры изо всех этажей греческих домов выходят на старые наружные деревянные террасы и на такие же старые лестницы.

Террасы тянутся вдоль всех стен дома, шатаются и скрипят. Они служат самым оживленным и любимым придатком к комнатам и квартирам.

На террасах жарят на керосинках скумбрию или камбалу, готовят знаменитую икру из «синеньких», купают детей, стирают, ссорятся (этаж с этажом), слушают патефоны и даже танцуют.

Мы вошли в такой двор. Он был пуст.

Немецкие бомбардировщики пикировали с железным визгом и воем. Грохотали взрывы. По камням двора щелкали осколки зенитных снарядов.

Мы стали под навесом верхней террасы, чтобы укрыться от осколков. Рядом с нами сидел на ящике и спал старый дворник с рваным противогазом на плече. Он так и не проснулся, несмотря на грохот, свист и пыль. Ее вдувало во двор с улицы целыми залпами.

Прямо напротив нас мы увидели крыльцо с массивной дверью. Она вела, очевидно, в отдельную квартиру. К двери была привинчена медная дощечка с выгравированной надписью «Зубной врач И. С. Вайнтрауб».

Твердый знак в конце фамилии свидетельствовал, что Вайнтрауб поселился здесь в незапамятные времена.

— Еще до революции! — заметил Олеша. — Это звучит сейчас, как «еще до рождества Христова» или «еще до всемирного потопа».

Рядом с крыльцом было венецианское окно с задернутыми занавесками. За ними просвечивали черные листья фикусов.

Завыл самолет. Загremели железными обвалами взрывы и залпы зениток.

Тогда мы увидели простое и ничем не примечательное зрелище. Я, между прочим, до сих пор не понимаю, почему мы с Олешей долго потом хохотали, вспоминая о нем.

Кто-то гневно отдернул занавески на венецианском окне, ударил ладонью в раму, и она с треском распахнулась. Створки окна отлетели к стене.

В окно высунулся старый, плохо выбритый еврей в спущенных подтяжках и мятой рубашке. Это был, очевидно, сам доктор Вайнтрауб. В руке он держал газету. Он, должно быть, спал и прикрывался этой газетой от мух. Взрывы и вой самолетов разбудили его.

Он высунулся в окно, упираясь ладонями в подоконник. Красными от раздражения склеротическими глазами он посмотрел на промахнувшийся низко над двором с сатанинским воем самолет и крикнул с негодованием:

— Что? Опять? Босяки!!

Он яростно плюнул вслед самолету, с треском захлопнул окно и задернул занавеску.

Тогда дворник, не просыпавшийся даже от взрывов, сразу очнулся, зевнул и печально сказал:

— Самый отчаянный жилец на весь наш двор: Наполеон!

Налет окончился. Мы вышли на улицу. Уже стемнело.

— Видите, — сказал Олеша, — я был прав. Вот она — старая, ни перед чем не сдающаяся Одесса.

— Вам просто повезло, — ответил я.

Мы пошли в «Лондонскую гостиницу». Около Оперного театра лежала вырванная с корнями акация. Корни ее застряли на втором этаже старинного дома, зацепившись за решетку балкона.

Около подъезда стояла карета «Скорой помощи». С подоконника на втором этаже медленно капала на тротуар очень яркая кровь.



Над морем полосами тянулся дым. На Пересыпи где-то горело. А может быть, там за лиманами всходила луна.

Фонари из «Трех толстяков» уцелели, и я обрадовался этому не меньше, чем Олеша.

Я мог бы еще многое рассказать об Олеше, но пока еще это трудно. Он умер недавно, и никак нельзя забыть прекрасное его лицо — лицо человека, спокойно задумавшегося перед нами. И нельзя забыть маленькую красную розу в петлице его старенького пиджака. Этот пиджак я видел на нем много лет.

### Михаил Пришвин

Если бы природа могла чувствовать благодарность к человеку за то, что он проник в ее жизнь и воспел ее, то прежде всего эта благодарность выпала бы на долю Михаила Пришвина.

Михаил Михайлович Пришвин — это было имя для города, а в тех местах, где Пришвин чувствовал себя дома — в избах объездчиков, в затянутых туманом речных поймах, под тучами и звездами полевого русского неба, — звали его просто «Михалычем». И, очевидно, огорчались, когда этот человек исчезал в городах, где только ласточки, гнездившиеся под железными крышами, напоминали ему об его «журавлиной родине».

Жизнь Пришвина — пример того, как человек отрезал от всего наносного, навязанного ему средой и начал жить только «по велению сердца». В таком образе жизни заключается величайший здравый смысл. Человек, живущий «по сердцу», в согласии со своим внутренним миром, — всегда созидатель, обогатитель и художник.

Неизвестно, что сделал бы в своей жизни Пришвин, если бы он остался агрономом (это была его первая профессия). Во всяком случае, он вряд ли бы открыл миллионам людей русскую природу как мир тончайшей и светлой поэзии. Просто на это у него не хватило бы времени. Природа требует пристального глаза и непрерывной внутренней работы по созданию в душе писателя как бы «второго мира» этой природы, обогащающего нас мыслями и облагораживающего нас увиденной художником ее красотой.

Если внимательно прочесть все написанное Пришвиным, то остается убеждение, что он не успел рассказать нам и сотой доли того, что он превосходно видел и знал.

Для таких мастеров, как Пришвин, мало одной жизни,— для тех мастеров, что могут написать целую поэму о каждом слетающем с дерева осеннем листе. А этих листьев падает множество. Сколько же листьев упало, унося с собой невысказанные мысли писателя — те мысли, о каких Пришвин говорил, что они падают, как листья, без всяких усилий!

Пришвин происходил из старинного русского города Ельца. Из этих же мест вышел и Бунин, точно так же, как и Пришвин, умевший наполнять природу окраской человеческих дум и настроений.

Чем это объяснить? Очевидно, тем, что природа восточной части Орловщины, природа вокруг Ельца очень русская, очень простая и небогатая. И вот в этом ее свойстве, даже в некоторой ее суровости, и лежит разгадка писательской зоркости Пришвина. На простоте яснее выступают качества земли, острее делается взгляд и собраннее мысль.

Простота говорит сердцу сильнее, чем блеск, множество красок, бенгальский огонь закатов, кипение звездного неба и лакированная растительность тропиков, напоминающая мощные водопады, целые Ниагары листьев и цветов.

О Пришвине писать трудно. Его нужно выписывать для себя в заветные тетрадки, перечитывать, открывая новые ценности в каждой строке, уходя в его книги, как мы уходим по едва заметным тропинкам в дремучий лес с его разговором ключей и благоуханием трав,— погружаясь в разнообразные мысли и состояния, свойственные этому чистому разумом и сердцем человеку.

Пришвин думал о себе как о поэте, «распятом на кресте прозы». Но он ошибался. Его проза гораздо сильнее наполнена соком поэзии, чем многие стихи и поэмы.

Книги Пришвина, говоря его же словами,— это «бесконечная радость постоянных открытий».

Несколько раз я слышал от людей, только что отложивших прочитанную пришвинскую книгу, одни и те же слова: «Это настоящее колдовство!»

Из дальнейшего разговора выяснялось, что под этими словами люди понимали трудно объяснимое, но явное, присущее только Пришвину очарование.

В чем его тайна? В чем секрет этих книг? Слова «колдовство», «волшебность» относятся обыкновенно к сказкам. Но ведь Пришвин не сказочник. Он человек земли,

«матери сырой земли», свидетель всего, что совершается вокруг него в мире.

Секрет пришвинского обаяния, его колдовства — как раз в этой его зоркости.

Это та зоркость, что в каждой малости открывает интересное, что под прискучившим покровом окружающих явлений видит глубокое содержание.

Все сверкает поэзией, как трава от росы. Самый ничтожный листок осины живет своей жизнью.

Я беру книгу Пришвина, открываю ее и читаю:

«Ночь прошла под большой чистой луной, и к утру лег первый мороз. Все было седое, но лужи не замерзали. Когда явилось солнце и разогрело, то деревья и травы обдались такой сильной росой, такими светящимися узорами глянули из темного леса ветки елей, что на эту отделку не хватило бы алмазов всей нашей земли».

В этом поистине алмазном кусочке все просто, точно и полно неумирающей поэзией.

Присмотритесь к словам в этом отрывке, и вы согласитесь с Горьким, когда он говорил, что Пришвин обладал «совершенным умением придавать гибким сочетанием простых слов почти физическую осязаемость всему».

Но этого мало. Язык Пришвина — язык народный. Он мог сложиться лишь в тесном общении русского человека с природой, в труде, в простоте и мудрости народного характера.

Несколько слов: «Ночь прошла под большой чистой луной» — совершенно ясно передают молчаливое и величавое течение ночи над спящей страной. И «лег мороз», и «деревья обдались сильной росой» — все это народное, живое, никак не подслушанное или взятое из записной книжки, а собственное, свое. Потому что Пришвин был человеком народа, а не только наблюдателем этого народа со стороны, в качестве материала для своих писаний, как это, к сожалению, часто случается с писателями.

У ботаников есть термин — разнотравье. Он обычно относится к цветущим лугам. Разнотравье — это сплетение сотен разнообразных и веселых цветов, раскинувшихся сплошными озерами по поймам рек.

Прозу Пришвина можно с полным правом назвать разнотравьем русского языка. Слова у Пришвина цветут, сверкают. Они то шелестят, как травы, то бормочут, как родники, то пересвистываются, как птицы, то позванива-



ют, как первый лед, то, наконец, ложатся в нашей памяти медлительным строем, подобно течению звезд.

Колдовство пришвинской прозы именно и объясняется его обширными познаниями. В любой области человеческого знания заключается бездна поэзии. Поэтам давно надо было бы это понять.

Насколько более величественной стала бы любимая поэтами тема звездного неба, если бы они хорошо знали астрономю.

Одно дело — ночь с безыменным и потому недостаточно выразительным небом и совсем другое дело — та же ночь, когда поэт знает законы движения звездной сферы и когда в воде озер отражается не какое-то созвездие вообще, а блистательный Орион.

Примеров того, как самое незначительное знание открывает для нас новые области красоты, можно привести много. У каждого в этом отношении свой опыт.

Но сейчас я хочу рассказать об одном случае, когда одна строчка Пришвина объяснила мне явление, которое до тех пор казалось мне случайным. И не только объяснила, но и наполнила его, я бы сказал, закономерной прелестью.

Я давно заметил в заливных лугах на Оке, что цветы местами как бы собраны в отдельные пышные куртины, а местами среди обычных трав вдруг тянется извилистая лента сплошных одинаковых цветов. Особенно хорошо это видно с маленького самолета «У-2», который прилетает в луга опылять от комарья мочежины и болотца.

Я годами наблюдал эти высокие и душистые ленты цветов, восхищался ими, но не знал, чем объяснить это явление. Да, признаться, и не задумывался над этим.

И вот у Пришвина во «Временах года» я наконец нашел это объяснение всего в одной строке, в крошечном отрывке под названием «Реки цветов»:

«Там, где мчались весенние потоки, теперь везде потоки цветов».

Я прочел это и сразу понял, что полосы цветов выросли именно там, где весной проносилась полая вода, оставляя после себя плодородный ил. Это была как бы цветочная карта весенних потоков.

Невдалеке от Москвы протекает река Дубна. Она обжита человеком в течение тысячелетий, хорошо известна, нанесена на карты. Она спокойно течет среди подмосковных рощ, заросших хмелем, синеющих взгорий и по-

лей, мимо старинных городов и сел. — Дмитрова, Вербилок, Талдома. Тысячи людей перебивали на этой реке. Были среди этих людей писатели, художники и поэты. И никто не заметил в Дубне ничего особенного, достойного описания. Никто не прошел по ее берегам, как по неоткрытой стране.

Сделал это Пришвин. И скромная Дубна засверкала под его пером среди туманов и тлеющих закатов, как географическая находка, как открытие, как одна из интереснейших рек страны — со своей особой жизнью, растительностью, единственным, свойственным только ей ландшафтом, бытом приречных жителей и историей.

У нас были и есть ученые-поэты, такие, как Тимирязев, Ключевский, Кайгородов, Ферсман, Обручев, Мензбир, Арсеньев, как умерший в молодых годах ботаник Кожевников, написавший строго научную и увлекательную книгу о весне и осени в жизни растений.

И у нас были и есть писатели, сумевшие ввести науку в свои повести и романы как необходимейшее качество прозы, — Мельников-Печерский, Аксаков, Горький, Пннегин и другие.

Но Пришвин занимает среди этих писателей особое место. Его обширные познания в области этнографии, фенологии, ботаники, зоологии, агрономии, метеорологии, истории, фольклора, орнитологии, географии, краеведения и других наук органически входят в его писательскую жизнь. Они не лежат мертвым грузом. Они живут в нем, непрерывно обогащаясь его опытом, его наблюдательностью, его счастливым свойством видеть научные явления в самом их поэтическом выражении, на малых и больших, но одинаково неожиданных примерах.

Пришвин пишет о человеке, как бы чуть прищурившись от своей пронизательности. Его не интересуется напосное. Его занимает та мечта, что живет у каждого в сердце, будь он лесоруб, сапожник, охотник или знаменитый ученый.

Вытащить из человека наружу его сокровенную мечту — вот в чем задача. А сделать это трудно. Ничто человек так глубоко не прячет, как мечту. Может быть, потому, что она не выносит самого малого осмеяния, даже шутки, и уж, конечно, не выносит прикосновения равнодушных рук.

Только единомышленнику можно безнаказанно поверить мечту. Таким единомышленником безвестных наших

мечтателей и был Пришвин. Вспомните хотя бы его рассказ «Башмаки» о сапожниках-«волчках» из Марьиной Рощи, задумавших сделать самую изящную и легкую в мире обувь для женщины коммунистического общества.

После Пришвина осталось большое количество записей и дневников. В этих записях заключено много размышлений Михаила Михайловича о писательском мастерстве. В этом деле он был так же проникновенен, как и в своем отношении к природе.

Мне кажется образцовым по верности мысли рассказ Пришвина о простоте прозы. Называется он «Сочинитель». В рассказе идет разговор писателя с мальчишкой, подпаском, о литературе.

Вот этот разговор. Подпасок говорит Пришвину:

«— Если бы ты по правде писал, а то ведь, наверное, все выдумал.

— Не все,— ответил я,— но есть немного.

— Вот я бы так написал!

— Все бы по правде?

— Все. Вот взял бы и про ночь написал, как ночь на болоте проходит.

— Ну, как же?

— А вот так! Ночь. Куст большой-большой у бочага. Я сижу под кустом, а утята — свись, свись, свись...

Остановился. Я подумал — он ищет слов или дожидается образов. Но он вынул жалеюку и стал просверливать в ней дырочку.

— Ну, а дальше-то что? — спросил я. — Ты же по правде хотел ночь представить.

— А я же и представил,— ответил он,— все по правде. Куст большой-большой! Я сижу под ним, а утята всю ночь — свись, свись, свись.

— Очень уж коротко.

— Что ты, «коротко»? — удивился подпасок. — Всю-то ночь напролет: свись, свись, свись...

Соображая этот рассказ, я сказал:

— Как хорошо!

— Неуж плохо,— ответил он.

В своем писательском деле Пришвин был победителем! Невольно вспоминаются его слова: «...Если даже дикие болота одни были свидетелями твоей победы, то

и они процветут необычайной красотой,— и весна останется тебе навсегда, одна весна, слава победе».

Да, весна прижвинской прозы останется навсегда в жизни наших людей и нашей советской литературы.

### Александр Грин

Во времена моей юности все мы, гимназисты, зачитывались выпусками «Универсальной библиотеки». Это были маленькие книжечки в желтой бумажной обложке, напечатанные петитом.

Стоили они необыкновенно дешево. За десять копеек можно было прочесть «Тартарена» Доде или «Мистерии» Гамсуна, а за двадцать — «Давида Копперфильда» Диккенса или «Дон-Кихота» Сервантеса.

Русских писателей «Универсальная библиотека» печатала только в виде исключения. Поэтому, когда я купил очередной выпуск со странным названием «Синий каскад Теллури» и увидел на обложке имя автора — Александр Грин, то, естественно, подумал, что Грин иностранец.

В книге было несколько рассказов. Помню, я открыл книгу, стоя около кювета, где я ее купил, и прочел наугад:

«Нет более бестолкового и чудесного порта, чем Лисс... Разноязычный город определенно напоминает бродягу, решившего наконец погрузиться в дебри оседлости. Дома рассажены как попало среди неясных намеков на улицы, но улиц, в прямом смысле слова, не могло быть в Лиссе уже потому, что город возник на обрывках скал и холмов, соединенных лестницами, мостами и... узенькими тропинками. Все это завалено сплошной густой тропической зеленью, в веерообразной тени которой блестят детские, пламенные глаза женщин. Желтый камень, синяя тень, живописные трещины старых стен; где-нибудь на бугрообразном дворе — огромная лодка, чинимая босоногим, трубку покуривающим нелюдимом; пенне вдали и его эхо в овраге; рынок на сваях, под тентами и огромными зонтиками; блеск оружия, яркое платье, аромат цветов и зелени, рождающий глухую тоску, как во сне — о влюбленности и свиданиях; гавань — грязная, как молодой трубочист; свитки парусов, их сон и крылатое утро, зеленая вода, скалы, даль океана; ночью — магнетический пожар звезд, лодки со смеющимися голосами — вот Лисс».



Я читал, стоя в тени цветущего киевского каштана, читал не отрываясь, пока не прочел до конца эту причудливую, как сон, необыкновенную книгу.

Внезапно я ощутил тоску по блеску ветра, по солоноватому запаху морской воды, по Лиссу, по его жарким переулкам, опаляющим глазам женщин, шершавому желтому камню с остатками белых ракушек, розовому дыму облаков, стремительно взлетающему в синеву небосвода.

Нет! Это была, пожалуй, не тоска, а страстное желание увидеть все это воочию и беззаботно погрузиться в вольную приморскую жизнь.

И тут же я вспомнил, что какие-то отдельные черты этого блестящего мира я уже знал. Неизвестный писатель Грин только собрал их на одной странице. Но где я все это видел?

Я вспоминал недолго. Конечно, в Севастополе, в городе, как бы поднявшемся из зеленых морских волн на ослепительное белое солнце и перерезанном полосами теней, синих, как небо. Вся веселая путаница Севастополя была здесь, на страницах Грина.

Я начал читать дальше и наткнулся на матросскую песенку:

Южный Крест там сияет вдали.  
С первым ветром проснется компас.  
Бог, храня корабли,  
Да помилует нас!

Тогда я еще не знал, что Грин сам придумывал песенки для своих рассказов.

Люди пьянеют от вина, солнечного сверкания, от беззаботной радости, щедрости жизни, никогда не устающей открывать нам блеск и прохладу своих заманчивых уголков, наконец — от «чувства высокого».

Все это существовало в рассказах Грина. Они опьяняли, как душистый воздух, что сбивает нас с ног после чада душных городов.

Так я познакомился с Грином. Когда я узнал, что Грин русский и что зовут его Александр Степанович Гриневский, то не был этим особенно удивлен. Может быть, потому, что Грин был для меня к тому времени явным черноморцем, представителем в литературе того племени авторов, к которому принадлежали и Багрицкий, и Катаев, и многие другие писатели-черноморцы.

Удивился я, когда узнал биографию Грина, узнал его неслыханно тяжкую жизнь отщепенца и неприкаянного бродяги. Было непонятно, как этот замкнутый и избитый невзгодами человек пронес через мучительное существование великий дар мощного и чистого воображения, веру в человека и застенчивую улыбку. Недаром он написал о себе, что «всегда видел облачный пейзаж над дрянью и мусором невысоких построек».

Он с полным правом мог бы сказать о себе словами французского писателя Жюль Ренара: «Моя родина — там, где проплывают самые прекрасные облака».

Если бы Грин умер, оставив нам только одну свою поэму в прозе «Алые паруса», то и этого было бы довольно, чтобы поставить его в ряды замечательных писателей, тревожащих человеческое сердце призывом к совершенству.

Грин писал почти все свои вещи в оправдание мечты. Мы должны быть благодарны ему за это. Мы знаем, что будущее, к которому мы стремимся, родилось из непобедимого человеческого свойства — умения мечтать и любить.

### **Эдуард Багрицкий**

Можно заранее предупредить биографов Эдуарда Багрицкого, что им придется хлебнуть много горя или, как говорят, «узнать, почем фунт лиха», потому что биографию Багрицкого установить трудно.

Багрицкий столько рассказывал о себе удивительных небылиц, они в конце концов так крепко срослись с его жизнью, что порой невозможно распознать, где здесь истина, а где легенда. Невозможно восстановить правду, «одну только правду и ничего, кроме правды».

К тому же я не уверен в том, стоит ли вообще заниматься этим неблагодарным трудом. Выдумки Багрицкого были характерной частью его биографии. Он сам искренне верил в них.

Без них нельзя представить себе этого поэта с серыми смеющимися глазами и задыхающимся, но певучим голосом.

На побережье Эгейского моря живет живописное племя «левантийцев» — веселых и деятельных людей. Это

племя объединяет представителей разных народов — греков и турок, арабов и евреев, сирийцев и итальянцев.

И у нас в Советском Союзе есть свои «левантийцы». Это «черноморцы» — тоже люди разных народов, но одинаково жизнерадостные, насмешливые, смелые и влюбленные без памяти в свое Черное море, в сухое солнце, портовую жизнь, в «Одессу-маму», в абрикосы и кавуны, в пестрое кипение береговой жизни.

К этому племени принадлежал Эдуард Багрицкий.

Он напоминал то ленивого матроса с херсонского дубка, то одесского «пацана»-птицелова, то забубенного бойца из отряда Котовского, то Тиля Уленшпигеля.

Из этих как будто несовместимых черт, если прибавить к ним самозабвенную любовь к поэзии и огромную поэтическую эрудицию, слагался цельный и обаятельный характер этого человека.

Впервые я встретился с Багрицким на волноломе в одесском порту. Он только что написал стихи об арбузе — настоящую поэму, удивительную по сочности ощущений и слов, как бы забрызганную штормовой черноморской волной.

Мы ловили на длинные шнуры-самоловы, закинутые в море, бычков и барабульку. Мимо нас проходили на заплатанных парусах черные дубки из Очакова с горами полосатых арбузов. Задувал свежак, и дубки качались и до бортов садились в воду, разбрасывая вокруг себя пену.

Багрицкий облизал соленые губы и, задыхаясь, начал читать нараспев «Арбуз».

Девушка находит на берегу выброшенный прибоем арбуз с нарисованным сердцем — очевидно, с погибшей шаланды.

И некому здесь надоумить ее,  
Что в руки взяла она сердце мое!..

Он охотно читал на память стихи любого поэта. Память у него была феноменальная. В его чтении даже в хорошо знакомых стихах неожиданно появлялась новая певучая мелодия. Ни до Багрицкого, ни после него я не слышал больше такого чтения.

Все звуковые качества каждого слова и строфы поднимались до своего полного, томительного и щемящего выражения. Был ли то Бернс с его песней о Джоне Яч-

менное Зерно, блоковские «Шаги командора» или пушкинское «Для берегов отчизны дальней...», — что бы ни читал Багрицкий, его нельзя было слушать без сжимающего горло волнения.

С раннего утра мы ничего не ели. И потому прямо из порта пошли на Греческий базар. Там была чайная, где выдавали к чаю сахари, ломтик черного хлеба и брынзу.

В Одессе в то время жил старый нищий. Он наводил страх на весь город тем, что просил милостыню не так, как это обыкновенно делается. Он не унижался, не протягивал дрожащую руку и не пел гнусаво: «Господа милосердные! Обратите внимание на мое калецтво!»

Нет! Высокий, седобородый, с красными склеротическими глазами, он ходил только по чайным. Еще не переступив порога, он начинал посылать хриплым, громовым голосом проклятья на головы посетителей.

Самый жестокий библейский пророк Иеремия, прославленный как непревзойденный мастер проклятий, мог бы, как говорят одесситы, «сойти на нет» перед этим нищим.

— Где ваша совесть, люди вы или не люди?! — кричал этот старик и тут же сам отвечал на свой риторический вопрос: — Какие же вы люди, когда сидите и кушаете хлеб с жирной брынзой без всякого внимания, а старый человек ходит с утра голодный и пустой, как бочонок! Узнала бы ваша мамаша, на что вы стали похожи, так; может, она бы радовалась, что не дожидает увидеть такое нахальство. А вы чего отворачиваетесь от меня, товарищ? Вы же не глухой? Лучше успокойте свою черную совесть и помогите старому голодному человеку!

Все подавали этому нищему. Никто не мог вынести его натиска. Говорили, что на собранные деньги старик крупно спекулировал солью.

В чайной нам подали чай и чудесную острую брынзу, завернутую в мокрую полотняную тряпочку. От этой брынзы болели десны.

В это время вошел нищий и уже с порога закричал свои проклятья.

— Ага! — зловеще сказал Багрицкий. — Он, кажется, попался. Пусть он только подойдет к нам. Пусть он толь-

ко попробует подойти! Пусть он только осмелится подойти!

— Что же тогда будет? — спросил я.

— Худо ему будет, — ответил Багрицкий. — Ой, худо! Только бы он подошел к нашему столику.

Нищий надвигался неумолимо. Наконец он остановился около нас, несколько секунд смотрел на брынзу бешеными глазами, и что-то клокотало в его горле, — может быть, это была настолько сильная ярость, что старик задыхался и не мог ее высказать. Но все-таки он прокашлялся и закричал:

— Когда наконец у этих молодых людей проснется совесть! Это же надо посмотреть со стороны, как они торопятся скушать брынзу, чтобы не отдать хоть четверть ее, — я не говорю половину, — несчастному старику.

Багрицкий встал, прижал руку к сердцу и тихо и проникновенно начал говорить, не спуская глаз со склеротического старика, — говорить с дрожью в голосе, со слезой, с трагическим надрывом:

Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат,  
Кто б ты ни был, не падай душой...

Нищий осекся. Он усталился на Багрицкого. Глаза его побелели. Потом он начал медленно отступать и при словах: «Верь, настанет пора и погибнет Ваал» — повернулся, опрокинул стул и побежал на согнутых ногах к выходу из чайной.

— Вот видите, — сказал Багрицкий серьезно, — даже одесские нищие не выдерживают Надсона!

Вся чайная гремела от хохота.

Целыми днями Багрицкий пропадал в степи за Сухим лиманом и ловил там силками птиц.

В беленной известкой комнате Багрицкого на Молдаванке висели десятки клеток с облезлыми птицами. Он ими очень хвастался, особенно какими-то необыкновенными джурбаями. Это были невзрачные степные жаворонки, такие же растрепанные, как и все остальные птицы.

Из клеток все время сыпалась на голову гостям и хозяину шелуха от расклеванных семян.

На корм для этих птиц Багрицкий тратил последние деньги.

Одесские газеты платили ему гроши: по пять — десять рублей за великолепные стихи. Спустя несколько лет эти стихи знала и заучивала наизусть вся молодежь.

Багрицкий, очевидно, считал, что это справедливо. Он не знал себе настоящей цены и в практических делах был робок. Когда он в первый раз приехал в Москву, то никогда не ходил в издательства и редакции один, а брал с собой «для храбрости» кого-нибудь из друзей. Переговоры вел главным образом друг, а Багрицкий помалкивал и улыбался.

В Москве он остановился у меня в подвале на Обыденском переулке. За целый месяц он вышел в город только два раза, а все остальное время просидел на тахте, поджав по-турецки ноги, задыхаясь от астматического кашля.

Он был обложен книгами, рукописями чужих стихов и пустыми коробками от папирос. На них он записывал свои стихи. Иногда он терял их, но огорчался этим очень недолго.

Вскоре он совсем переехал в Москву и вместо птиц завел теперь огромные аквариумы с рыбами. Его комната была похожа на подводный мир. Он мог часами сидеть на диване, думать и смотреть на разноцветных рыб.

Примерно такой же загадочный подводный мир был виден с одесского волнолома — так же качались стебли серебряной подводной травы, похожие на кораллы, и медленно проплывали голубые медузы, толчками разрывая морскую воду.

Багрицкий умер рано, еще не перебродив, не готовый к тому, чтобы взять, как он говорил, еще несколько трудных вершин поэзии.

За его гробом шел, звонко цокая подковами по гранитной мостовой, кавалерийский эскадрон. И вспоминалась «Дума про Опанаса», конь Котовского, что «сверкает белым рафинадом», широкая степная поэзия, которая ходила вместе с Багрицким, держась за его руку, по пыльным горячим шляхам, поэзия — наследница «Слова о полку Игореве» и Тараса Шевченко, крепкая, как запах чабреца, загорелая, как приморская девчонка, неселая, как свежий ветер левант над родным Черноморьем.

## ИСКУССТВО ВИДЕТЬ МИР

Живопись учит смотреть и видеть (это вещи разные и редко совпадающие). Благодаря этому живопись сохраняет живым и нетронутым то чувство, которым отличаются дети.

*Александр Блок*

Человек останавливается, пораженный, перед такими вещами, какие не могут играть никакой роли в его жизни: перед отражениями, которые нельзя схватить, перед отвесными скалами, которые нельзя засеять, перед удивительным цветом неба.

*Джон Рескин*

Есть неоспоримые истины, но они часто лежат втуне, никак не отзываясь на человеческой деятельности, из-за нашей лени или невежества.

Одна из таких неоспоримых истин относится к писательскому мастерству, в особенности к работе прозаиков. Она заключается в том, что знание всех смежных областей искусства — поэзии, живописи, архитектуры, скульптуры и музыки — необыкновенно обогащает внутренний мир прозаика и придает особую выразительность его прозе. Последняя наполняется светом и красками живописи, емкостью и свежестью слов, свойственными поэзии, соразмерностью архитектуры, выпуклостью и ясностью линий скульптуры и ритмом и мелодичностью музыки.

Все это добавочные богатства прозы, как бы ее дополнительные цвета.

Я не верю писателям, не любящим поэзию и живопись. В лучшем случае это люди с несколько ленивым и высокомерным умом, в худшем — невежды.

Писатель не может пренебрегать ничем, что расширяет его видение мира, конечно, если он мастер, а не ремесленник, если он создатель ценностей, а не обыватель, настойчиво высасывающий благополучие из жизни, как жуят американскую жевательную резинку.

Часто бывает, что после прочитанного рассказа, повести или даже длинного романа ничего не остается в памяти, кроме сутолоки серых людей. Мучительно стараешься увидеть этих людей, но не видишь, потому что автор не наделил их ни одной живой чертой.

И действие этих рассказов, повестей и романов проис-

ходит среди какого-то студенистого дня, лишённого красок и света, среди вещей только названных, но не увиденных автором и потому нам, читателям, не показанных.

Несмотря на современность темы, беспомощностью веет от этих вещей, написанных зачастую с фальшивой бодростью. Ею пытаются подменить радость, в особенности радость труда.

Причина этой тоскливости не только в эмоциональной глухоте и неграмотности автора, но в его вялом, рыбьем глазе.

Такие повести и романы хочется разбить, как наглухо заклеенное окно в душной и пыльной комнате, чтобы со звоном полетели осколки и сразу же хлынули снаружи ветер, шум дождя, крики детей, гудки паровозов, блеск мокрых мостовых — ворвалась бы вся жизнь с ее беспорядочной на первый взгляд и прекрасной пестротой света, красок и шумов.

У нас немало книг, написанных как будто слепыми. А предназначены они для зрячих, и в этом заключается вся нелепость появления таких книг.

Для того чтобы прозреть, нужно не только смотреть по сторонам. Нужно научиться видеть. Хорошо может видеть людей и землю только тот, кто их любит. Стертость и бесцветность прозы часто бывают следствием холодной крови писателя, грозным признаком его омертвления. Но иногда это простое неумение, свидетельствующее о недостатке культуры. Тогда это дело, как говорится, поправимое.

Как видеть, как воспринимать свет и краски — этому могут научить нас художники. Они видят лучше нас. И они умеют помнить увиденное.

Когда я был еще юным писателем, знакомый художник сказал мне:

— Вы, мой милый, еще не совсем ясно видите. Немного мутновато. И грубо. Судя по вашим рассказам, вы замечаете только основные цвета и сильно окрашенные поверхности, а переходы и оттенки сливаются у вас в нечто однообразное.

— Что же я могу поделаты! — ответил я, оправдываясь. — Такой уж глаз.

— Ерунда! Хороший глаз — дело наживное. Поработайте, не ленитесь, над зрением. Держите его, как говорится, в струне. Попробуйте месяц или два смотреть на все с мыслью, что вам это обязательно надо написать кра-



сками. В трамвае, в автобусе, всюду смотрите на людей именно так. И через два-три дня вы убедитесь, что до этого вы не видели на лицах и десятой доли того, что заметили теперь. А через два месяца вы научитесь видеть, и вам уже не надо будет понуждать себя к этому.

Я послушался художника, и действительно — и люди и вещи оказались гораздо интереснее, чем раньше, когда я смотрел на них бегло и торопливо.

И меня охватило сожаление о невозвратимом и глупо потраченном времени. Сколько бы я мог увидеть за прошлые годы превосходных вещей! Сколько интересного ушло, и его уже не воскресить!

Это был первый урок, который я получил от художника. Второй урок был еще нагляднее.

Однажды осенью я ехал из Москвы в Ленинград, но не через Калинин и Бологое, а с Савеловского вокзала — через Калязин и Хвойную.

Многие москвичи и ленинградцы даже не подозревают о существовании этого пути. Он хотя и дальше, но интереснее, чем привычный путь на Бологое. Интереснее тем, что дорога проходит по пустынным и лесистым краям.

Моим попутчиком оказался маленький, мешковато одетый человек с узенькими, но очень живыми глазами. Человек этот вез большой ящик с масляными красками и рулоны загрунтованного холста. Нетрудно было догадаться, что это художник.

Мы разговорились. Мой попутчик рассказал, что едет под город Тихвин, где у него приятель-лесник, будет жить у него на кордоне и писать осень.

— А почему же вы забираетесь так далеко, под Тихвин? — спросил я.

— Там у меня облюбовано одно место, — доверительно ответил художник. — Всем местам место! Такого второго нигде не найдете. Чистый осиновый лес! Кое-где только попадаются редкие ели. Осина дает осенью такой нарядный убор, как ни одно дерево. Лист у нее чистой раскраски. Пурпурный, лимонный, лиловый и даже черный с золотым крапом. Под солнцем получается великолепный костер. Поработаю там до зимы, а зимой подамся на берег Финского залива, за Ленинград. Там, вы знаете,

самый лучший иней в России. Нигде я такого инея не видел.

Я сказал, конечно, шутя, что при таких познаниях мой спутник мог бы составить ценный путеводитель для художников, где что писать.

— А что же вы думаете! — серьезно ответил художник. — Составить нетрудно. Но только нет смысла. Все набьются в одно место, тогда как сейчас каждый ищет себе красоту в отдельности. А это не в пример лучше.

— Почему?

— Разнообразнее раскрывается страна. В русской земле столько прелести, что всем художникам хватит на тысячи лет. Но знаете, — добавил он с тревогой, — что-то человек начал очень уж затаптывать и разорять землю. А ведь красота земли — вещь священная, великая вещь в нашей социальной жизни. Это одна из конечных наших целей. Не знаю, как вы, но я в этом убежден. Без понимания этого какой же может быть передовой человек!

Днем я уснул, но вскоре мой сосед разбудил меня.

— Вы уж не сердитесь на меня, — говорил он смущенно, — но лучше встаньте. Разворачивается удивительная картина — гроза в сентябре. Поглядите!

Я взглянул за окно. С юга подымалась тяжелая и высокая, вполнеба, туча. Ее передергивало вспышками молний.

— Мать честная! — воскликнул художник. — Какая уйма красок! Такое освещение никак не напишешь, будь ты хоть сам Левитан.

— Какое освещение? — спросил я растерянно.

— Господи! — с отчаянием сказал художник. — Куда же вы смотрите? Вон видите — там лес совершенно темный, глухой; это на нем легла тень от тучи. А вон подальше, на нем бледные желтые и зеленоватые пятна: это от приглушенного солнечного света из-за облаков. А вдали он весь в солнце. Видите? Весь как отлитый из красного золота. И весь оквозной. Точно золотая узорчатая стена. Или вроде как протянули по горизонту плат, что вышили мастерицы в наших тихвинских золотильнях. Теперь смотрите ближе, на полосу елей. Видите бронзовый блеск на двое? Это от золотой стены леса. Она обдает ели своим светом. Отраженный свет. Писать его трудно — легко загрубить. А вон, видите, там только слабое сияние, я бы сказал — такая нежность освещения, что нужна, конечно, очень спокойная и верная рука, чтобы его передать.

Художник посмотрел на меня и засмеялся.

— Какая сила все-таки у света, отраженного от осенних лесов! Все купе как в зареве. И, в частности, ваше лицо. Вот бы так вас написать. Но, к сожалению, все это мимолетно.

— В этом и дело художников,— сказал я,— чтобы останавливать на столетия мимолетные вещи.

— Стараемся,— ответил художник.— Если это мимолетное не застанет нас врасплох, как сейчас. В сущности говоря, художник никогда не должен расставаться с красками, холстом и кистью. Вам лучше, писателям. Вы эти краски носите в памяти. Смотрите, как все это быстро меняется. Ишь как лес пышет то светом, то темнотой!

Впереди грозовой тучи бежали на нас рваные облака и своим стремительным движением действительно перемешали на земле все краски. Путаница багреца, червонного и белого золота, малахита, пурпура и синей тьмы началась в лесных далях.

Изредка солнечный луч, прорвавшись сквозь тучи, падал на отдельные березы, и они вспыхивали одна за другой, как золотые факелы, но тотчас гасли. Предгрозовой ветер налетал порывами и усиливал эту сумятицу красок.

— А небо, небо какое! — закричал художник.— Смотрите! Что оно только творит!

Грозовая туча курилась пепельным дымом и быстро опускалась к земле. Вся она была однообразного аспидного цвета. Но каждая вспышка молнии открывала в ней желтоватые зловещие смерчи, синие пещеры и извилистые трещины, освещенные изнутри розовым мутным огнем.

Пронзительный блеск молний сменялся в глубине тучи полыханием медного пламени. А ближе к земле, между тучей и лесами, уже опустились полосы проливного дождя.

— Каково! — кричал возбужденный художник.— Таковую чертовщину не часто увидишь!

Мы переходили с ним от окна в купе к окну в коридоре. Занавески трепетали от ветра и усиливали мелькание света.

Хлынул ливень. Проводник торопливо поднял окна. Косые шнуры дождя заструились по стеклам. Свет померк, и только страшно далеко, у самого горизонта, сквозь пелену дождя еще светилась последняя позолоченная полоска леса.

— Вы что-нибудь запомнили? — спросил художник.

— Кое-что.

— И я только кое-что,— с огорчением сказал он.— Вот пройдет дождь, тогда краски будут крепче. Понимаете, солнце заиграет на мокрой листве и стволах. Между прочим, в пасмурный день перед дождем приглядитесь к свету. До дождя он один, во время дождя — другой, а после дождя — совершенно особый. Потому что мокрые листья придают воздуху слабый блеск. Серый, мягкий и теплый. Вообще изучать краски и свет, милый вы мой,— наслаждение. Я свою долю художника ни на что не променяю.

Художник сошел ночью на маленькой станции. Я вышел на платформу попрощаться с ним. Светил керосиновый фонарь. Впереди тяжело дышал паровоз.

Я позавидовал художнику и вдруг рассердился на всякие дела, из-за которых должен был ехать дальше и не мог остаться хотя бы на несколько дней в северной стороне. Здесь каждая ветка вереска могла вызвать столько мыслей, что их хватило бы на несколько поэм в прозе.

Сейчас особенно обидным показалось мне то обстоятельство, что на протяжении жизни я, как и многие, не позволял себе жить по велению своего сердца, а был занят только неотложными и обязательными делами.

Краски и свет в природе надо не столько наблюдать, сколько ими попросту жить. Для искусства годится только тот материал, который завоевал прочное место в сердце.

Живопись важна для прозаика не только тем, что помогает ему увидеть и полюбить краски и свет. Живопись важна еще и тем, что художник часто замечает то, чего мы совсем не видим. Только после его картин мы тоже начинаем видеть это и удивляться, что не замечали этого раньше.

Французский художник Моне приехал в Лондон и написал Вестминстерское аббатство. Работал Моне в обыкновенный лондонский туманный день. На картине Моне готические очертания аббатства едва выступают из тумана. Написана картина виртуозно.

Когда картина была выставлена, она произвела смятение среди лондонцев. Они были поражены, что туман у Моне был окрашен в багровый цвет, тогда как всем известно, что цвет тумана серый.

Дерзость Моне вызвала сначала возмущение. Но возмущавшиеся, выйдя на лондонские улицы, взгляделись в туман и впервые заметили, что он действительно багровый.

Тотчас начали искать этому объяснение. Согласились на том, что красный оттенок тумана зависит от обилия дыма. Кроме того, этот цвет туману сообщают красные кирпичные лондонские дома.

Но как бы там ни было, Моне победил. После его картины все начали видеть лондонский туман таким, каким его увидел художник. Моне даже прозвали «создателем лондонского тумана».

Если обращаться к примерам из собственной жизни, то я впервые увидел все разнообразие красок русского неместья после картины Левитана «Над вечным покоем».

До тех пор неместье было окрашено в моих глазах в один унылый цвет. Вся тоскливость неместья и вызывалась, как я думал, именно тем, что оно съедало краски и заволакивало землю мутью.

Но Левитан увидел в этом унынии некий оттенок величия, даже торжественности, и нашел в нем много чистых красок. С тех пор неместье перестало угнетать меня. Наоборот, я даже полюбил его за чистоту воздуха, холод, когда горят щеки, оловянную рябь рек, тяжелое движение туч. Наконец, за то, что во время неместья начинаешь ценить самые простые земные блага — теплую избу, огонь в русской печи, писк самовара, сухую солому на полу, застланную грубым рядом для ночлега, усыпительный шум дождя по крыше и сладкую дремоту.

Почти каждый художник, к какому бы времени и к какой бы школе он ни принадлежал, открывает нам новые черты действительности.

Мне посчастливилось несколько раз побывать в Дрезденской галерее.

Помимо «Сикстинской мадонны» Рафаэля, там есть много картин старых мастеров, перед которыми просто опасно останавливаться. Они не отпускают от себя. На них можно смотреть часами, может быть, сутками, и чем дольше смотришь, тем шире нарастает непонятное душевное волнение. Оно доходит до той черты, когда человек уже с трудом удерживает слезы.

В чем причина этих непроливающихся слез? В том, что в этих полотнах — совершенство духа и власть ге-

ния, заставляющие нас стремиться к чистоте, силе и благородству собственных помыслов.

При созерцании прекрасного возникает тревога, которая предшествует нашему внутреннему очищению. Будто вся свежесть дождей, ветров, дыхания цветущей земли, полуночного неба и слез, пролитых любовью, проникает в наше благодарное сердце и навсегда завладевает им.

Импрессионисты как бы залили свои полотна солнечным светом. Они писали под открытым небом и иногда, может быть, нарочно усиливали краски. Это привело к тому, что земля на их картинах предстала в каком-то ликующем освещении.

Земля стала праздничной. В этом не было никакого греха, как нет его ни в чем, что прибавляет человеку хотя бы немного радости.

Импрессионизм принадлежит нам, как и все ~~остав-~~шее богатое наследие прошлого. Отказываться от него — значит сознательно толкать себя к ограниченности. Ведь не отказываемся мы от «Сикстинской мадонны» Рафаэля, хотя эта гениальная картина написана на религиозную тему. Чем же опасны для нас новатор Пикассо, импрессионисты Матисс, Ван-Гог или Гоген? Тот, который, кстати говоря, вступил в борьбу с колониальными французскими властями за независимость таянши?

Что опасного или дурного в творчестве этих художников? В каких завистливых или приспособленческих мозгах может появиться мысль о необходимости вычеркнуть из человеческой и, в частности, нашей русской культуры плеяду блистательных художников?

После встречи в поезде с художником я приехал в Ленинград. Снова открылись передо мной торжественные ансамбли его площадей и пропорциональных зданий.

Я подолгу всматривался в них, стараясь разгадать тайну их архитектуры. Она заключалась в том, что эти здания производили впечатление величия, на самом же деле были не велики. Одна из самых замечательных построек — здание Главного штаба, вытянутое плавной дугой против Зимнего дворца, по своей высоте не превышает четырехэтажного дома. А между тем оно гораздо величественнее любого высотного дома Москвы.

Разгадка была проста. Величественность зданий зависела от их соразмерности, гармонических пропорций

и от небольшого числа украшений — оконных наличников, картушей и барельефов.

Всматриваясь в эти здания, понимаешь, что хороший вкус — это прежде всего чувство меры.

Я уверен, что эти же законы соразмерности частей, простоты, при которой видна и доставляет истинное наслаждение каждая линия, — все это имеет некоторое отношение и к прозе.

Писатель, полюбивший совершенство классических архитектурных форм, не допустит в своей прозе тяжело-весной и неуклюжей композиции. Он будет добиваться соразмерности частей и строгости словесного рисунка. Он будет избегать обилия разжижающих прозу украшений — так называемого орнаментального стиля.

Композиция прозаической вещи должна быть доведена до такого состояния, чтобы ничего больше нельзя было выбросить и ничего прибавить, не нарушая смысл повествования и закономерное течение событий.

Как всегда в Ленинграде, больше всего времени я провел в Русском музее и Эрмитаже.

Легкий сумрак эрмитажных залов, тронутый темной позолотой, казался мне священным. Я входил в Эрмитаж, как в хранилище человеческого гения. В Эрмитаже я впервые, еще юношей, почувствовал счастье быть человеком. И понял, как человек может быть велик и хорош.

Первое время я терялся среди пышного шествия художников. У меня кружилась голова от обилия и густоты красок, и, чтобы отдохнуть, я уходил в зал, где была выставлена скульптура.

Там я сидел очень долго. И чем больше я смотрел на статуи безвестных эллинских ваятелей или на едва заметно улыбавшихся женщин Кановы, тем яснее понимал, что вся эта скульптура — зов к прекрасному в самом себе, что она предвестница чистой утренней зари человечества. Тогда поэзия будет властвовать над сердцами и социальный строй — тот строй, к которому мы идем через годы труда, забот и душевного напряжения, — будет основан на красоте справедливости, красоте ума, сердца, человеческих отношений и человеческого тела.

Наша держава — в золотой век. Он наступит. Конечно, конечно, что мы не доживем до него. Но мы должны быть

счастливы тем, что ветер этого века уже шумит вокруг нас и заставляет сильнее биться наши сердца.

Недаром Гейне приходил в Лувр, часами просиживал около статуи Венеры Милосской и плакал.

О чем? О поруганном совершенстве человека. О том, что путь к совершенству тяжел и далек и ему, Гейне, отдавшему людям яд и блеск своего ума, уж конечно, не дойти до той обетованной земли, куда его всю жизнь звало беспокойное сердце.

В этом — сила скульптуры, та сила, без внутреннего огня которой невысказано передовое искусство, особенно искусство нашей страны. А тем самым невысказана и полновесная проза.

Прежде чем перейти к влиянию поэзии на прозу, я хочу сказать несколько слов о музыке, тем более что музыка и поэзия подчас неразделимы.

Этот короткий разговор о музыке придется ограничить только тем, что мы называем ритмом и музыкальностью прозы.

У подлинной прозы всегда есть свой ритм.

Прежде всего ритм прозы требует такой расстановки слов, чтобы фраза воспринималась читателем без напряжения, вся сразу. Об этом говорил Чехов Горькому, когда писал ему, что в сознании читателя «беллетристика должна укладываться сразу, в секунду».

Читатель не должен останавливаться над книгой, чтобы восстановить правильное движение слов, соответствующее характеру того или иного куска прозы.

Вообще писатель должен держать читателя в постоянном напряжении, вести его за собой и не допускать в своем тексте неясных или неритмичных мест, чтобы читатель не рисковал споткнуться на этих местах и не вышел тем самым из-под власти писателя.

В этом напряжении, в овладении читателем, в том, чтобы заставить его думать и чувствовать одинаково с автором, и заключается задача писателя и действительность прозы.

Я думаю, что ритмичность прозы никогда не достигается искусственным путем. Ритм прозы зависит от таланта, от чувства языка, от хорошего «писательского слуха». Этот хороший слух в какой-то мере соприкасается со слухом музыкальным.



Но больше всего обогащает язык прозаика знание поэзии.

Поэзия обладает одним удивительным свойством. Она возвращает слову его первоначальную, девственную свежесть. Самые стертые, до конца «выговоренные» нами слова, начисто потерявшие для нас свои образные качества, живущие только как словесная скорлупа, в поэзии начинают сверкать, звенеть, благоухать!

Чем это объяснить, я не знаю. Предполагаю, что слово оживает в двух случаях.

Во-первых, когда ему возвращают его фонетическую (звуковую) силу. А сделать это в певучей поэзии значительно легче, чем в прозе. Поэтому и в песне и в романсе слова действуют на нас сильнее, чем в обычной речи.

Во-вторых, даже стертое слово, поставленное в стихах в мелодический музыкальный ряд, как бы насыщается общей мелодией стиха и начинает звучать в гармонии со всеми остальными словами.

И, наконец, поэзия богата аллитерациями. Это одно из ее драгоценных качеств. На аллитерацию имеет право и проза.

Но главное не в этом.

Главное в том, что проза, когда она достигает совершенств, является, по существу, подлинной поэзией.

Чехов считал, что лермонтовская «Тамань» и пушкинская «Капитанская дочка» доказывают родство прозы с сочным русским стихом.

«Где граница между прозой и поэзией,— писал Лев Толстой,— я никогда не пойму». С редкой для него горячностью он спрашивает в своем «Дневнике молодости»:

«Зачем так тесно связана поэзия с прозой, счастье с несчастьем? Как надо жить? Стараться ли соединить вдруг поэзию с прозой или насладиться одною и потом пуститься жить на произвол другой?»

В мечте есть сторона, которая лучше действительности; в действительности есть сторона, которая лучше мечты. Полное счастье было бы соединением того и другого».

В этих словах, хотя и сказанных наспех, заключена верная мысль: самым высоким, покоряющим явлением в

литературе, подлинным счастьем может быть только органическое слияние поэзии и прозы, или, точнее, проза, наполненная сущностью поэзии, ее животворными соками, прозрачным воздухом, ее пленительной властью.

В этом случае я не боюсь выражения «пленительный» (иными словами — «берущий в плен»). Потому что поэзия берет в плен, пленяет и незаметным образом, но с непреодолимой силой, возвышает человека и приближает его к тому состоянию, когда он действительно становится украшением земли, или, как простодушно, но искренне говорили наши предки, «венцом творения».

Прав отчасти был Владимир Одоевский, когда сказал, что «поэзия есть предвестник того состояния человечества, когда оно перестанет достигать и начнет пользоваться достигнутым».

### В КУЗОВЕ ГРУЗОВОЙ МАШИНЫ

В июле 1941 года я ехал на военной грузовой машине из Рыбницы-на-Днестре в Тирасполь. Я сидел в кабине рядом с молчаливым водителем.

Бурая пыль, раскаленная солнцем, взрывалась клубами под колесами машины. Все вокруг — хаты, подсолнухи, акации и сухая трава — было покрыто этой шершавой пылью.

Солнце дымилось в обесцвеченном небе. Вода в алюминиевой фляге нагрелась и пахла резиной. За Днестром гремела канонада.

В кузове ехали несколько молодых лейтенантов. Иногда они начинали стучать кулаками по крыше кабины и кричали: «Воздух!» Водитель останавливал машину, мы выскакивали, отбегали подальше от дороги и ложились. Тотчас со злорадным воем на дорогу пикировали черные немецкие «мессеры».

Иногда они замечали нас и били из пулеметов. Но, к счастью, никто не пострадал. Пули подымали смерчи пыли. «Мессеры» исчезали, и оставался только жар во всем теле от раскаленной земли, гул в голове и отчаянная жажда.

После одного из таких налетов водитель неожиданно спросил меня:

— Вы о чем думаете, когда лежите под пулями? Вспоминаете?

— Вспоминаю,— ответил я.

— И я вспоминаю,— сказал, помолчав, водитель.— Леса наши вспоминаю костромские. Останусь жив, вернусь на родину — буду проситься в лесники. Возьму с собой жену — она у меня спокойная, красивая — и девочку, и будем жить в сторожке. Поверите ли, как подумаю об этом, так с сердцем делаются перебои. А водителям это не положено.

— Я тоже,— ответил я.— Вспоминаю свои леса.

— А ваши хороши? — спросил водитель.

— Хороши.

Водитель натянул пилотку на лоб и дал газ. Больше мы не разговаривали.

Пожалуй, никогда я не вспоминал с такой остротой любимые места, как на войне. Я ловил себя на том, что нетерпеливо жду ночи, когда где-нибудь в сухой степной балке, лежа в кузове грузовой машины и укрывшись шинелью, можно будет вернуться мыслью к этим местам и пройти по ним медленно и спокойно, вдыхая сосновый воздух. Я говорил себе: «Сегодня я пойду на Черное озеро, а завтра, если буду жив, на берега Пры или на Требутино». И у меня замирало сердце от предчувствия этих воображаемых походов.

Вот так однажды я лежал под шинелью и представлял в мельчайших подробностях путь на Черное озеро. Мне казалось, что не может быть в жизни большего счастья, чем опять увидеть эти места и пройти по ним, забыв обо всех заботах и невзгодах, слушая, как легко стучит в груди сердце.

В этих своих мечтах я всегда выходил из деревенского дома ранним утром и шел по песчаной улице мимо старых изб. На подоконниках в жестянках от консервов цвел огненный бальзамин. Его в тамошних местах зовут «Ванька мокрый». Должно быть, потому, что толстый ствол бальзамина просвечивает против солнца зеленым соком и в этом соке иногда даже видны пузырьки воздуха.

Возле колодца, где весь день гремят ведрами босоногие болтливые девочки в ситцевых выгоревших платьях, надо свернуть в проулок, или, по-местному, в «прожок». В этом проулке, в крайней избе, живет известный на всю округу красавец петух. Он часто стоит на одной ноге на

самом солнцепеке и пылает своим оперением, как груда рдеющих углей.

За петухом избы кончаются, и тянется, заворачивая плавной дугой в дальние леса, игрушечное полотно узкоколейки. Удивительно, что по откосам этого полотна растут совсем не те цветы, что вокруг. Нигде нет таких зарослей цикория, как около горячих от солнца узеньких рельсов.

За полотном узкоколейки непроходимым частоколом стоит молодой сосняк. Непроходимым он кажется только издали. Сквозь него всегда можно продраться, но, конечно, маленькие сосенки исколют вас иглами и оставят на пальцах липучие пятна смолы.

Между сосенок на песчаной земле растет высокая сухая трава. Середина каждой травинки седая, а края темно-зеленые. Эта трава режет руки. Тут же цветет много желтых, шуршащих под пальцами чешуйчатых бессмертников — иммортелей и белой пахучей гвоздики с красноватыми пятнышками на растрепанных лепестках. А под соснами полно молочных маслюков. Их ножки облеяны чистым серым песком.

За сосняком начинается высокий бор. По его краю идет заросшая дорога.

Под первой же раскидистой сосной хорошо прилечь и отдохнуть от духоты молодой чащи. Лечь на спину, почувствовать сквозь тонкую рубашку прохладную землю и смотреть на небо. И может быть, даже уснуть, потому что белые, сияющие своими краями облака нагоняют дремоту.

Есть хорошее русское слово «истома». За последнее время мы совсем позабыли о нем и почему-то даже стесняемся произносить его. Но никаким другим словом нельзя лучше определить то спокойное и немного сонное состояние, какое охватывает вас, когда вы лежите в теплом утреннем лесу и смотрите на бесконечные цепи облаков. Они рождаются где-то в синеватой дали и непрерывно уплывают неведомо куда.

Лежа на этой лесной опушке, я часто вспоминал стихи Брюсова:

...Быть вольным, одиноким,  
В торжественной тиши раскинутых полей  
Идти своим путем, бесцельным и широким,  
Без будущих и прошлых дней.

Срывать цветы, мгновенные, как маки,  
Впивать лучи, как первую любовь,  
Упасть, и умереть, и утонуть во мраке,  
Без горькой радости воскреснуть вновь и вновь!

В этих стихах, несмотря на упоминание о смерти, была заключена такая полнота жизни, что ничего не хотелось иного, как только вот так лежать часами и думать, глядя в небо.

Заросшая дорога ведет через старый сосновый лес. Он растет на песчаных холмах, сменяющих друг друга с равномерностью широких морских валов. Эти холмы — остатки ледниковых наносов. На вершинах их цветет много колокольчиков, а низины сплошь заросли папоротником. Листья его с изнанки покрыты спорами, похожими на красноватую пыль.

Лес на холмах светлый. В нем далеко видно. Он залит солнцем.

Лес этот тянется неширокой полосой (километра на два, не больше), а за ним открывается песчаная равнина, где зреют, поблескивая и волнуясь под ветром, хлеба. За этой равниной простирается, насколько хватает глаз, дремучий бор.

Над равниной плывут особенно пышные облака. Может быть, так кажется потому, что широко видно все небо.

Пересекать равнину нужно по меже между хлебов, заросшей репейником. Кое-где на меже большими разливами синеют твердые колокольчики приточной травы.

Все, что я мысленно представил сейчас, — только преддверие настоящих лесов. В них, в эти леса,ходишь, как в огромный, полный тени, громадный собор. Надо сначала идти по узкой просеке мимо пруда, покрытого ярской, как твердым ярко-зеленым ковром. Если остановиться около пруда, то можно услышать тихое чавканье — это пасутся в подводной траве караси.

Потом начинается небольшой участок сырого березового леса с блестящим, как изумрудный бархат, мхом. Там всегда пахнет палым листом, оставшимся на земле от прошлой осени.

(Я думаю обо всем этом, лежа в кузове грузовой ма-

шины. Поздняя ночь. Со стороны станции Раздельной ухают взрывы — там идет бомбежка. Когда взрывы затихают, слышен робкий треск цикад — они испуганы взрывами и пока что трещат вполголоса. Над головой падает трассирующим снарядом голубоватая звезда. Я ловлю себя на том, что невольно слежу за ней и прислушиваюсь: когда же она взорвется? Но звезда не взрывается, а безмолвно гаснет над самой землей. Как далеко отсюда до знакомого березового перелеска, до торжественных лесов! Там теперь тоже ночь, но беззвучная, пылающая огнями созвездий, пахнувшая не бензиновым чадом и пороховыми газами, — может быть, следует говорить «взрывными» газами, — а устоявшейся в лесных озерах глубокой водой и хвоей можжевельника.)

За березовым перелеском дорога круто подымается на песчаный обрыв. Сырая низина остается позади, но легкий ветер изредка доносит и сюда, в сухой жаркий лес, йодистый воздух этих низин.

На пригорке второй привал. Я сажусь на горячую хвою. Все, к чему ни прикоснешься, — сухое и теплое: старые и давно уже пустые сосновые шишки, желтые, прозрачные и трескучие, как пергамент, пленки молодой сосновой коры, лни, прогретые до сердцевины, каждая ветка, шершавая и пахучая. Даже листочки земляники — и те теплые.

Старый пенёк можно разломать просто руками и насыпать себе на ладонь горсть коричневой горячей трухи.

Зной, тишина. Безмятежный день созревшего до соломённой спелости лета.

Маленькие стрекозы с красными крылышками спят на пнях. А на лиловатых и твердых зонтичных цветках сидят шмели. Они сгибают своей тяжестью эти цветы до самой земли.

Я сверяюсь по самодельной карте — до Черного озера осталось еще восемь километров. На эту карту нанесены все приметы — сухая сосна у дороги, межевой столб, заросли бересклета, муравьиная куча, снова низинка, где всегда цветут незабудки, а за ней сосна с вырезанной на коре буквой «О» — озеро. От этой сосны надо свернуть прямо в лес и идти по зарубкам, сделанным еще в 1932 году. Каждый год они зарастают и заплывают смолой. Их надо подновлять.

Когда найдешь зарубку, то обязательно остановишься и проведешь рукой по ней, по застывшему на ней янтарию. А иной раз отлочишь затвердевшую каплю смолы и рассматриваешь раковистый излом. В нем играет желтоватыми огоньками солнечный свет.

Ближе к озеру начинаются среди леса глухие, глубокие впадины, так густо заросшие ольхой, что нечего и думать пробраться в глубь этих впадин. Должно быть, это бывшие маленькие озера.

Потом снова подъем в зарослях можжевельника с черными сухими ягодами. И наконец, последняя примета — ссохшиеся лапти, повешенные на ветку сосны. За лаптями тянется узкая травянистая прогалина, а за ней — крутой обрыв.

Лес кончается. Внизу высохшие болота — мшары, поросшие мелким лесом: березняком, осинами и ольхой.

Здесь последний привал. День уже перевалил за полонину. Он густо звенит, как рой невидимых пчел. Тусклый блеск волнами ходит по мелколесью от каждого, даже самого слабого ветерка.

Где-то там, в двух километрах отсюда, среди мшар, скрывается Черное озеро — государство темных вод, коряг и огромных желтых кувшинок.

Идти по мшарам надо осторожно: в глубоком мху торчат обломленные и заостренные временем, как пики, стволы березок — колки. О них можно жестоко поранить ноги.

В мелколесье душно, пахнет прелью, хлюпает под ногами черная торфяная вода. От каждого шага качаются и дрожат деревья. Нужно идти и не думать о том, что у тебя под ногами, под слоем торфа и перегноя толщиной только в метр, — глубокая вода, подземное озеро. В нем, говорят, живут совершенно черные, как уголь, болотные щуки.

Берег озера немного выше и потому суше мшар, но и на нем нельзя долго стоять на одном месте — след обязательно нальется водой.

К озеру лучше всего выйти в поздние сумерки, когда все вокруг — слабый блеск воды и первых звезд, сияние гаснущего неба, неподвижные вершины деревьев, — все это так прочно сливается с настороженной тишиной, что кажется рожденным ею.

Сесть у костра, слушать треск сучьев и думать о том, что жизнь необыкновенно хороша, если ее не бояться и принимать с открытой душой...

Так я бродил в воспоминаниях по лесам, потом по набережным Невы или по голубым от льна холмам суровой псковской земли.

Я думал обо всех этих местах с такой саднящей болью, как будто я потерял их навсегда, как будто больше никогда в жизни их не увижу. И очевидно, от этого чувства они приобретали в моем сознании необыкновенную прелесть.

Я спрашивал себя, почему я не замечал этого раньше, и тут же догадывался, что, конечно, я все это видел и чувствовал, но только в разлуке черты родного пейзажа возникли перед моим внутренним взором во всей своей захватывающей сердце красоте. Очевидно, в природу надо входить, как входит каждый, даже самый слабый звук в общее звучание музыки.

Природа будет действовать на нас со всей своей силой только тогда, когда мы внесем в ощущение ее свое человеческое начало, когда наше душевное состояние, наша любовь, наша радость или печаль придут в полное соответствие с природой и нельзя уже будет отделить свежесть утра от света любимых глаз и мерный шум леса от размышлений о прожитой жизни.

Пейзаж — не довесок к прозе и не украшение. В него нужно погрузиться, как если бы вы погрузили лицо в грудку мокрых от дождя листьев и почувствовали их роскошную прохладу, их запах, их дыхание.

Проще говоря — природу надо любить, и эта любовь, как и всякая любовь, найдет верные пути, чтобы выразить себя с наибольшей силой.

### **НАПУТСТВИЕ САМОМУ СЕБЕ**

На этом я кончаю первую книгу своих заметок о писательском труде с ясным ощущением, что работа только начата и впереди ее — непочатый край. Нужно сказать еще об очень многом — об эстетике нашей литературы, глубочайшем ее значении как воспитательницы нового человека с его богатым и высоким строем мыслей и



чувств, о сюжете, юморе, лепке человеческих характеров, изменениях русского языка, о народности литературы, романтизме, хорошем вкусе, правке рукописей — всего не перечтешь.

Работа над этой книгой напоминает путешествие по малознакомой стране, когда на каждом шагу открываются новые дали и дороги. Они ведут неведомо куда, но сулят много неожиданного, дающего пищу для размышлений. Поэтому заманчиво и просто необходимо хотя бы и неполно, как говорится, начерно, но все же разобраться в сложном переплетении этих дорог.

**1955—1964**

# МАЛЕНЬКИЕ ПОВЕСТИ







## СУДЬБА ШАРЛЯ ЛОНСЕВИЛЯ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

Шарль Лонсевиль, инженер по литью пушек, был взят в плен во время отступления из Москвы наполеоновской армии. У Лонсевиля была отморожена нога. Старый мундир пропах гарью пожарищ, глаза слезились от блеска снегов.

Несколько раз за время жизни в России Лонсевиль упоминал, что был когда-то бонапартистом.

Он был благодарен Бонапарту, бросавшему его как незаметную частицу своей армии из Ломбардии в Моравию и из Пруссии в Россию.

Произнося слово «бонапартизм», Лонсевиль вспоминал вечера Венеции, каналы на окраинах, где артиллеристы купали лошадей, дубовые леса Германии, горячую кровь, капающую в сырую траву, дым сражений, заставлявший полевые дороги и реки...

В плену Лонсевиль понял, что прошлое убито окончательно и возврата к нему нет.

В 1810 году Лонсевиль встретил в почтовом дилижансе по пути в Гренобль высокую и тонкую женщину с живыми глазами. Ее сопровождал кавалерийский офицер в пыльном мундире и мягких сапогах, обшитых мехом. Была зима. Дилижанс поминутно застревал в грязи. Ночью ехать стало невозможно. Остановились в ближайшей деревне, где в «кабачке» нашлось чудесное вино. Офицер топил камин можжевельником и хвалил сырой ветер,

дувший с Альп. Женщина дремала. Почти всю ночь офицер болтал с Лонсевилем. Потом Лонсевиль уснул и сквозь сон слышал, как офицер сказал женщине суровым тоном наставника:

— Мой молодой друг, пределом глупости является желание повторить вчерашний день.

Утром Лонсевиль вспомнил во всех мелочах ночную болтовню, и она показалась ему блестящей и увлекательной. Расставаясь со своими спутниками, Лонсевиль узнал их имена. Женщина оказалась молодой поэтессой Марией Тринните. Имя офицера он забыл.

Год спустя Лонсевиль посетил Марию Тринните в Париже. Она читала ему стихи о подорожнике и звоне колоколов над Луарой. Через три месяца девица Тринните стала женой Лонсевилья. С ней он прожил всего две недели, потом начались походы.

Изредка он получал от нее письма и читал их в пыльных палатках. Жена писала о жестоком времени, одиночестве, вытопанной солдатскими конями Европе. Лонсевиль улыбался — за тягостью походов он видел победы. Но они не пришли. Пришли разгром и плен.

Лонсевиль сначала жил в Калуге. Затем его отправили на пушечный завод в Петрозаводск.

Путь был уныл. У Лонсевилья осталась память о тусклых реках и молчаливых людях, глядевших на француза с покорностью и удивлением.

Приезд его в Петрозаводск совпал с посещением завода императором Александром. Царь медленно обошел закоптелые низкие мастерские. Он взял молот у кузнеца, три раза ударил по раскаленному стволу пушки и помахал в воздухе бледной рукой с длинными, будто искусственно оттянутыми, пальцами. Потом он вышел во двор, где у пруда толпой стояли рабочие, лениво вынул золотую монету и швырнул ее в пруд. Тотчас несколько рабочих бросились в воду в одежде, и один из них вынырнул с монетой в зубах.

— Молодец! — внятно сказал царь, вытирая руки мягким фуляром: на пальцы попали брызги прудовой тухлой воды.

— Рад стараться, ваше величество! — хрипло прокричал рабочий.

Лонсевиль смотрел на царя с отвращением и гневом

Так вот каков этот «брат», а потом соперник Бонапарта, метавшийся по своей стране, как мечется рыба с порванным плавательным пузырем!

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Вскоре после переезда в Петрозаводск Лонсевиль был вызван к начальнику завода, обер-берггауптману<sup>1</sup>, англичанину Адаму Армстронгу.

Стояла осень. Черные реки — Неглинка и Лососинка — проносили через город желтые березовые листья и нагромождали их в пышные кучи около зеленых от гнили плотин.

Столбы тусклого пламени из доменных печей озаряли по ночам мертвый город, и в освещении этом он чудился Лонсевиллю бредом. Зарево выхватывало из крошечной темноты куски незнакомой и угнетавшей Лонсевилля жизни: страшные усы будочника, поломанные мосты, мокрый нос пьяного, оравшего песню: «Не знаешь, мать, как сердцу больно, не знаешь горя ты мово», обрывки афишек, извещавших, что в знак посещения завода государем с рабочих будут отчислять по две копейки с заработанного рубля на сооружение церкви в слободе Голиковке.

Армстронг жил в губернаторском доме, построенном двумя полукружьями по обочинам площади, заросшей травой. Дом был благороден и прекрасен, как и все творения зодчего Растрелли.

Лонсевиль долго не мог припомнить, в каком городе он видел подобное здание. Потом вспомнил и улыбнулся. Конечно, в Веймаре, куда они входили июньским утром. Как можно забыть запах воды и лип и росу, падавшую с ветвей на сукно серых мундиров! Как можно забыть дым жаровен и золотую пену — ее приходилось с силой сдувать с тяжелых пивных кружек! Как можно забыть дом Гете, где в тишине, среди бальзаминов, рождались мысли, волиовавшие лучшие умы Европы!

Воспоминание о Веймаре являлось, пожалуй, последней вспышкой детского бонапартизма. Портрет императора был потерян во время отступления, и новые мысли

---

<sup>1</sup> Обер-берггауптман — высший чин инженера по горному делу в XVIII веке. (Здесь и далее подстрочные примечания принадлежат автору.)

волновали Лонсевиля — мысли об удивительной стране, где он находился.

Армстронг принял Лонсевиля в темном кабинете, загроможденном, как старая кузница, образцами изделий завода — ядрами, кандалами, гирями и моделями пушек.

Армстронг был толст и сумрачен. Губы его подергивались неопределенной усмешкой.

Разговор пришлось вести через старичка-переводчика, гувернера детей Армстронга, — англичанин плохо знал французский язык.

— Я докладывал императору о вас, — пролаял Армстронг, не глядя на Лонсевиля. — Его величество повелел оставить вас на заводе до окончания войны и, буде вы покажете старания и опыт в своем деле, заключить с вами контракт на работу в дальнейшем. Вы назначаетесь в литейную мастерскую помощником пушечного мастера Кларка.

— Я пленный, — горячо ответил Лонсевиль. — До окончания войны я принужден жить и работать здесь, но ничто в дальнейшем не заставит меня остаться в этой жестокой стране.

Армстронг поднял темные веки и тяжело взглянул на Лонсевиля. Тот невольно отвернулся. Все в этом англичанине — вплоть до припухлых век и редких бакенбард — казалось отлитым из чугуна. С чугунной усмешкой Армстронг порылся в ящике стола, вынул горсть мелких бляшек и разложил их перед собой.

— Последствия свободы, равенства и братства столь очевидны и отвратительны, — сказал он, перебирая бляшки, — что жестокость необходима. Вы — джентльмен, и я хочу говорить с вами свободно. Россию можно назвать страной не столь жестокой, сколь несчастной. Беззаконие господствует сверху донизу — от приближенных венценосца до последнего городничего. Вот небольшой тому пример: в разгар войны, когда ядра были нужнее хлеба, я получил приказ изготовлять в числе прочих вещей железные пуговицы с гербами всех губерний Российской империи.

Армстронг придвинул бляшки Лонсевилею. Рука его тяжело прошла по столу, точно он толкал стальную отливку.

Лонсевиль рассеянно взглянул на пуговицы с орлами, секирами и летящими на чугунных крылышках архист-

ратигами и потер лоб,— разговор с англичанином раздражал его и вызывал утомление. Этим утром в литейном цехе он видел обнаженного до пояса старика рабочего, со спиной, исполосованной синими шрамами.

То были следы порки.

— Вы — британец. Вы — сын страны, кричащей на всех перекрестках об уважении к человеку,— Лонсевиль взглянул на крутой лоб Армстронга,— как можете вы терпеть порку?

Армстронг встал, давая понять, что разговор, принявший острый характер, окончен.

— Мне нет дела до чужих законов,— промолвил он сухо.— Я думаю, что в армии Бонапарта тоже было принято хлестать плетью лошадей, чтобы заставить работать, а не кормить их сахаром. Мой знаменитый предшественник, начальник завода, шотландский инженер и кавалер Гаскойн, потребовал у царского правительства полной независимости от русских властей. Только благодаря этому он создал завод и ввел самый удобный карронский способ литья чугуна<sup>1</sup> в воздушных печах.

Армстронг проводил Лонсевиля до дверей кабинета и пригласил в ближайшее воскресенье к себе на бал. Балы Армстронга славились по Олонецкому краю обилием еды, пышностью и скукой.

Лонсевиль вышел. Ветер с Онежского озера доносил запах мокрой сосновой коры. По черной озерной воде плавала мертвая карта северного звездного неба.

Только к рассвету, когда озеро покрылось редкими хлопьями чаек и рыбачьих парусов, Лонсевиль уснул. Тоска по Франции, по ветру с Альп мучила его в эту ночь с особой силой.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Гувернера детей Армстронга звали Филипп Бараль. Он был француз, родом из Эльзаса. Подружившись с Лонсевилем, старичок выболтал ему невеселую историю своей жизни.

---

<sup>1</sup> Карронский способ литья чугуна — плавка руды горячим воздухом. Впервые был введен на Карронском литейном заводе в Шотландии.



В 1765 году его старший брат, негодант, получил от императрицы Екатерины разрешение возвести на месте закрытого чугунолитейного завода в Петрозаводске, построенного еще при Петре, небольшую жестяную фабрику. Брат вызвал Филиппа из Эльзаса и поручил ему вести счетоводство. Фабрика изготовляла из сибирской руды жестяную посуду, серпы, наперстки и стальные кирасы.

Бараль с восхищением вспоминал парады кирасирских полков в Петербурге в новеньких баралевских кирасах.

— Мы зажгли на этой холодной стали солнце Прованса! — кричал он пронзительно, как все глуховатые люди, и утирал остренький нос коричневым платком.

Через несколько лет фабрика пришла в упадок: русское правительство отказалось отпускать Баралю сибирскую руду. Бараль-старший вернулся во Францию, где был убит во время революции. Бараль-младший остался распродавать фабричное имущество. Связь с Францией была потеряна, и старик поступил конторщиком на Александровский завод. В то время его восстанавливали, и адмирал Грейг привез на завод из Шотландии множество инженеров, мастеров и художников во главе с кавалером Гаскойном.

Гаскойн умер несколько лет назад, но до сих пор Бараль с ужасом вспоминал этого «бесноватого англичанина». По его словам, Гаскойн был груб, жаден и нетерпим. Не было такого порока, которого бы старик не приписал Гаскойну. Он даже считал его виновником своей глухоты. Помилуйте, разве можно производить такие дикие пробы новых пушек, какне придумал Гаскойн?!

Пробы эти называли «тягчайшим аглицким коронным испытанием». В пушку забивали порох, пыжи и пять ядер — последнее ядро торчало из дула — и стреляли, полагаясь на милосердие святой девы. Иные пушки разлетались в куски. Во время одного из взрывов погибло трое рабочих, а Бараль оглох на левое ухо. И во всем этом был виноват Гаскойн.

Лонсевиль заинтересовался Гаскойном. Имя его повторялось на заводе непрерывно.

Болтовне пустого и раздражительного гувернера Лонсевиль доверял очень мало, особенно после того, как узнал, что Бараль — роялист. Когда пришло известие о бит-

ве при Ватерлоо, в страшный день падения Бонапарта, Бараль устроил для себя праздник. Он надел шелковый камзол, кружевной галстук с вышитыми серебром королевскими лилиями и пошел гулять на набережную. Он постукивал палкой по мшистым валунам и размышлял о плеяде Людовиков, создавших из Франции рай для легкомысленных вельмож и прелестных женщин.

Если бы Лонсевиль не был артиллерийским инженером, он занялся бы составлением биографий замечательных людей. Любимой его книгой всегда оставался Плутарх.

Лонсевиль любил распутывать историю чужих существований, как клубок свалявшихся ниток. Он справедливо считал, что нет ни одной, даже самой ничтожной, человеческой жизни, где не отражалась бы эпоха, то блистательная, то грубая и жестокая, как империя Александра.

Склонность Лонсевиля к изучению биографий вызывала симпатии к нему среди окружающих. Следуя своему влечению, Лонсевиль любил беседовать с людьми различных общественных ступеней и молча выслушивать исповеди, давая каждому право считать себя его мимолетным другом и наперсником. В свободные часы Лонсевиль думал над всем услышанным, и лицо его приобретало холодное и острое выражение. Он совсем не был так человеколюбив без разбора, как то могло показаться на первый взгляд.

На Александровском заводе из трех занимавших его людей — Гаскойна, квартирного хозяина, литейщика Мартынова, и чернорабочего, старика Костыля, — Лонсевилю удалось узнать кое-что лишь о Гаскойне и Мартынове. От Костыля Лонсевиль ничего не мог добиться.

На лбу и щеках у Костыля были выжжены три буквы: В, О и З. В ответ на расспросы Лонсевиля Костыль поглядывал испуганно и дико.

Мартынов же побанвался посвятить Лонсевиля в тайну Костыля, мало пока доверяя французскому офицеру.

Гаскойн оказался совсем не таким, каким он чудился жалкому гувернеру. Этот спокойный светлоглазый шотландец был по натуре реформатором и воротилой-дельцом. Он создал на развалинах Петровского завода луч-

ший пушечный завод в России, названный Александровским. Он ввел карронский способ литья в воздушных печах и начал работать на английском угле.

Он добился больших прав и не терпел ни малейшего вмешательства в дела завода. Он холодно третировал немудрых олонецких губернаторов и окружил себя армией соотечественников — англичан. Он потребовал для себя две тысячи пятьсот фунтов стерлингов в год и крупной доли из прибылей завода. Берг-коллегия<sup>1</sup> согласилась. Гаскойн стал неограниченным правителем завода и почти всего Олонецкого края.

Доходы завода росли с неслыханной быстротой. Это объяснялось просто. Гаскойн ввел много новых производств, а рабочим платил нищенские деньги — от двадцати пяти до ста рублей в год.

Бараль подарил Лонсевилью отлитый из чугуна тончайшей работы барельеф — «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Литье это было исполнено по распоряжению Гаскойна. Лонсевиль повесил барельеф над койкой. Разглядывая его, он вспоминал фрески итальянских церквей, как бы просвечивавшие через мутную воду.

Лонсевиль всегда чувствовал склонность к архитектуре и считал, что единственное свойство, достойное уважения в «бесноватом англичанине», — его любовь к литью барельефов, бюстов, балюстрад и садовых решеток.

Но Гаскойн относился к художественному литью как к забаве и отдыху. Он начал изготавливать на Александровском заводе земледельческие и прядильные машины и отлил огненную (паровую) машину для Воицкого золотого рудника. Это было настоящее дело, достойное английского инженера. Серьезные работы задерживались из-за пустяков: от Гаскойна требовали отливки садовых скамеек, перил для петербургских дворцов и бронзовых ваз для дворцовых парков.

Гаскойн пожимал плечами, соглашался: «Ну что ж, рабская страна взамен машин требует украшений — будем ее украшать!»

---

<sup>1</sup> Берг-коллегия — ведомство, управлявшее горной промышленностью в XVIII веке; была учреждена Петром I.

То было время, когда великие зодчие — Растрелли, Кваренги, Камерон и Воронихин — создавали каменный величественный ансамбль императорской России. Его густо обкуривал нищий дым деревень. Порфир блестел над Невой, как бы омытый слезами безвестных строителей. Россия боязливо кряхтела, скрывая под отрепьями сизые рубцы от плетей. Блистательные фейерверки взлетали над навозом крепостных погостов, и огненный вензель императрицы — громадная буква *E* — высовывал насмешливый язык в ответ на проклятья.

Гаскойн добросовестно отливал цветочные вазы, дельфинов и нимф, бюсты Павла с вздернутыми ноздрями и кандалы для каторжан. Вазы принимались по внешнему виду, кандалы — по звону. Лучшими считали те, что звенели от малейшего прикосновения.

Но главной работой была отливка морских пушек, лафетов, бомб, гранат и брандкугелей. Принимать их приезжали чины адмиралтейства — очень схожие друг с другом красноносые старички, пившие в изобилии наливки и нечистые на руку.

Пушки принимали на глаз, грузили на баржи-галиоты и отправляли в Кронштадт.

Незадолго до смерти Гаскойн был назначен директором Кронштадтского и Луганского пушечных заводов. Он приобрел облик русского вельможи: стал ленив, тяжело-ват, грубо шутил, толкал палкой в затылок ямщиков и ходил по заводу в халате.

Воспоминания о тумакной Шотландии, о танцах под звуки волынки, песнях Оссиана и реках, полных форели, приходили к Гаскойну все реже. Только по старой привычке он изредка вздыхал и приговаривал:

— Чудно живется в веселом городке Эдинбурге!

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Лонсевиль не любил англичан и всего английского. Завод работал на английской глине и английском угле. Только руда шла местная, озерная, но в ней было столько воды, что в доменных печах постоянно случались взрывы.

Лонсевиль решил заменить английскую глину олонечкой. Говорили, что на южном берегу озера, около Вытегры, есть превосходная глина, годная для литейного дела. Лонсевиль получил разрешение от Армстронга поехать в Вытегру. Он взял с собой Мартынова и четырех чиновников заводской конторы.

Три дня они плыли по свинцовому озеру. Изредка оно серебрилось от ряби. Стояло бабье лето. Лонсевиль читал Плутарха и Руссо и беседовал с Мартыновым, коверкая русские слова. Чиновники пили водку. Они условились пить, не произнося самого слова «водка». Каждое утро начинался один и тот же разговор.

— Не плохо бы, а? — спрашивал один из чиновников.

— Да, не вредно бы, — отзывался другой.

— Пожалуй, стоит, как полагаешь?

— Так в чем дело? Я сбегаю в каюту и принесу.

Днем чиновники, напившись, спали на палубе и храпели так, что Лонсевиль не находил себе места. Матросы пинали их сапогами и грозили выбросить в воду. Матросы были раскольники из «поморского согласия» и не потрещали ни водки, ни табаку.

Шкипер, тощий мужик с ястребиными глазами, тяжело икал и хватался за низ живота. Он рассказал Лонсевилью, что у него «вывалилась кишка», и случилось это все из-за того же «подлого англичанина» Гаскойна. Гаскойн отлил несколько икон из чугуна весом по пяти пудов. Шкипер пытался один поднять такую икону во время крестного хода, но в животе лопнула таинственная «жила» и «хряснул мосолок».

На корабле Лонсевиль написал письмо Марии Трините.

«Дорогой друг, я не решаюсь просить вас приехать сюда хотя бы на месяц. Разрешение вы могли бы получить у русского посланника в Париже, но дорога утомительна и угрюма. Я не хочу подвергать ваше воображение столь тяжким испытаниям.

До сих пор я живу подобно пленному и знаю, что отсюда меня не выпустят. Начальник завода англичанин Армстронг в ответ на мою просьбу отпустить меня во Францию рассказал много интересных подробностей о Шлиссельбургской тюрьме, находящейся недалеко отсюда. Туда царь заточает людей на всю жизнь, и имена их раньше смерти заносятся в списки мертвых.

Я устал. Я часто болею лихорадкой.

Любовь моя к вам прошла ряд тяжелых испытаний в ошибках, сражениях и одиночестве. Я берегу ее как последнее ощущение юности. Прошло два года, но я не имею никаких известий от вас».

В Вытегре остановились в подворье женского монастыря. Пахло кислым хлебом и болнголовом. На горах белели церкви и березы. У плотин шумела зеленая вода. Монахини-белички с черным флером, свисавшим до пят, семеняли по дорожкам и опускали перед Лонсевилем глаза. Их пухлые щеки покрывала больная монастырская бледность.

В Вытегре Лонсевиль купался вместе с чиновниками и Мартыновым. Когда чиновники разделись, Лонсевиль вздрогнул от отвращения на их ягодицах синели тонкие злые шрамы.

— Неужто в России бьют плетью даже чиновников? — спросил Лонсевиль Мартынова.

— Да ведь они заводские чиновники, сироты, — ответил Мартынов равнодушно. — К нам на завод привозят сирот из Рязани и Тулы, учат счету и письму, потом они и служат здесь до самой смерти. У нас почитай вся контора из сирот. Их, конечно, порют: они не дво-ряне.

В нескольких верстах от Вытегры Лонсевиль нашел глину. Чиновники были оставлены для добычи глины и отправки ее на завод. Лонсевиль же с Мартыновым выехали обратно в Петрозаводск.

Опять на озере стояло безветрие, и солнце погружалось в серый пепел туч. Лонсевилья трепала жестокая лихорадка. Мартынов сидел рядом с Лонсевилем и вполголоса рассказывал о своей жизни.

— Меня тоже секли, ваше высокородие. Дали мне пятьдесят ударов. Год хворал, все нутро рудой запеклось. Пороли меня за нашего деревенского попа. Пьяница-поп, охальник-поп всю деревню держал в трепете.

Работал я в тогдашнее время на заводе шйшельником<sup>1</sup>. Сталь мы делали знаменитую, даже в Англию ее отсылали. При царице Екатерине приезжали за этой сталью аглицкие морские офицеры. Солидны, бело-русые, в синих тонких камзолах, при серебряных шпагах.

<sup>1</sup> Шйшельник — рабочий, изготовляющий из глины формы для литья.

Работали мы круглый год без отдыха. Только на рождество да на пасху давали нам на неделю выход. Платили, милоч, плохо, как и сейчас платят. Мне назначили сорок рублей серебром в год да на малых ребят по двадцать рублей в год,— у меня их двое. Считай, восемьдесят рублей.

Повиновение у нас на заводе военное. Шагнул не так — получай вычет. Аккуратно надо было себя держать. Особенно с аглицкими мастерами. Вы — человек французского звания, доходчивый к простому народу,— вам не обидно такие слова слышать.

Приехал я как-то на пасху и слышу — поп похваляется по деревне, что женку мою себе забрал. Встретил я его пьяного и плюнул в рыжее рыло. Он — в кулаки. Я, как замечаете, был парень крепкий. Пришлось попу плохо.

Взяли меня в наручники, привезли на завод, судили. И вышла во время суда такая история, ваше высококородие, что почитай по всей Руси другой такой не было.

Суд у нас помещался в губернаторском доме,— сгорел теперь тот дом,— а рядом через прихожую жил и сам губернатор, его превосходительство господин Державин. Гимны писал, но человек был тихий. Завел он себе медвежонка по имени Яша.

Судят меня. Поговорили то да се. Поп на суде сидит трезвый и кроткий, как овца, только волос рыжий злым огнем горит. Начали читать приговор, и вдруг — шашть — медвежонок в присутственный зал вкатился, прямо к столу. Схватил лапами красное сукно и со всеми делами, и стаканами, и колокольчиками, и чернильницами — грох на пол. Зачал рвать на мелкие части. Рычит. Зерцало разбил. Писарю руку окровенил. Едва солдаты Яшу поймали.

Судьи объявили: поелику зеркало разбито неосмысленным зверем, приговор силу теряет, и надо, мол, судить сызнова, а на господина Державина послать жалобу в Санкт-Петербург.

Пошло дело в сенат, потом к самой императрице, и повелела она дать мне безо всякого суда пятьдесят плетей, а медвежонок того убить.

Однако отсидел я в остроге, дожидаясь царской милости, лишний годок. Да до суда отсидел год пять месяцев. Вот и сочтите, ваше высококородие, сколько выйдет. Ежели

правду сказать, то доля моя счастливая. Иные прочие, дожидаясь суда, по десять лет гниют в цепях да в царских ямах. Ко времени суда никакой вины не остается. Вся вина в воздух уходит, и остаются от человека одни вши да смрад.

Рассвет зеленел над туманным озером. На далеком берегу горели костры. Над ними переливалась блеском ключевой воды утренняя звезда Венера.

— Судьбина наша чугунная, а сами мы царские да барские,— промолвил Мартынов.— И вам назначено царской волей помереть на Александровском заводе.

Лонсевиль глухо застонал. Ему приснился фрегат, быстро резавший мутные волны.

В каюте капитана блестел лакированный ларец. В нем лежал пакет — письмо от Марин.

— Зачем вы отправили письмо морем? — спросил Лонсевиль и открыл глаза.

— А-а-ай, а-а-ай! — кричали над ним испуганные чайки. На лбу выступила обильная испарина.

Мартынов отошел на цыпочках и сел покурить у борта.

Озеро уже шумело. Начиналась предрассветная качка.

— Судьбина наша чугунная,— пробормотал Мартынов,— и конца ей никак не сыщешь. Вот, милоч француз, ваше высокородие, какие наши дела.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Балы у Армстронга поражали Лонсевиля не меньше, чем порка. То были длинные и вялые балы, где надоевшие друг другу люди приправляли провинциальную скуку жареной медвежатиной и острой сплетней. Балы устраивались по любому поводу. На этот раз балом было ознаменовано открытие на заводе мастерских для сверления пушечных жерл по английскому способу.

В официальной переписке новые мастерские назывались «свиреленными», рабочие же звали их попросту «свирельными». Четыре исполинских сверла, вращаемых волдой, медленно врезались в пушечные стволы. Работа в «свирельных» мастерских почиталась самой тяжелой. Было трудно почти на глаз, без точных приборов, опреде-



лить середину ствола и просверлить его до назначенного предела.

В день пуска мастерских на Абрамовском мосту по наущению городничего устроили кулачный бой. Голиковка вышла стенкой на Гористую улицу. Рабочие дрались с купеческими молодцами.

Дым слоился над крышами, закрывая угрюмое солнце.

Посмотреть на бой пришли даже англичане. Русские способны праздновать технические победы казались им занимательными. Но бой начался вяло и разгорелся лишь к темноте, когда гости не могли видеть крови, разъедавшей красными проталинами истоптанный снег.

Победили купеческие молодцы. Рабочие дрались неохотно, лишь бы не ссориться с начальством, пожелавшим отпраздновать пуск новых машин крупным «кулачным делом».

Лонсевиль подошел близко и видел кровь. Он видел сизое от сокрушительных ударов лицо молотобойца Степана, слышал, как выл, катаясь по снегу, десятилетний мальчишка. Мартынов, пытаясь успокоить Лонсевилья, объяснял, что мальчишку нечаянно ударили «под душу», мучиться он будет недолго и вскорости отойдет.

На бал Лонсевиль приехал бледный от незлитого раздражения.

Чиновники губернских учреждений совместно с женами ставили любительский спектакль. Шла опера под названием «Олонецкая русалка».

То была грубая пародия на «Энеиду», сплошная дичь, усилившая раздражение Лонсевилья. Карфагенские министры пили романеечку, а Дидона плясала «барыню», помахивая платочком. При этом она визгливо пела:

В нашем зеленом саду  
Девка рвала лебеду.  
Она рвала,  
В фартук клала,  
Приговаривала.

Припев подхватывали все карфагенские министры:

Кому тошно по нам,  
Тот пускай придет сам.  
Кому хочется,  
Тот сволочится.

Зрители искренне хлопали в ладоши, но после спектакля Лонсевиль слышал, как седовласый толстяк, держа за пуговицу гувернера Баралья, громко возмущался, называя оперу якобинской.

— Что означает сия пьеска? — Старик задыхался и поводил желтыми глазами, будто ожидая сочувствия от потемневших портретов. Лицо его вздрагивало при каждом треске нагоравших свечей.— Министры возносятся друг перед другом своей сонливостью и выражаются самыми подлыми речами, как они спокойно почивают при воплях подданных. Не есть ли это самая колкая критика на министерства?

Лонсевиль отошел. Казалось, скука воплотилась в чад свечей и мерцание грубой позолоты приземистых и жарких зал. Декабрьская ночь черным камнем давила на сердце.

«Опять лихорадка»,— подумал Лонсевиль и вытер лоб холодным белоснежным платком.

Но испарина не проходила.

— Где я? — спросил Лонсевиль почти вслух. По привычке одиноких людей он часто говорил сам с собой.— Откуда столько пьяных англичан и русских? Какая тяжелая ночь! Как болит голова от дыма канделябров и сладкой вони жареных уток! Сейчас я должен уйти.

Он оглянулся на залы, откуда доносило тошный запах пачулей.

— Ах, не то, не то! — поморщился Лонсевиль и пошел к выходу.

Кровь! Он видел ее очень много в боях, еще во время революции. То была чистая артериальная кровь. На политой ею земле, как говорила ему мать, расцветают гвоздики. То была кровь борьбы, кровь изорванных в клочья, но победоносных армий санкюлотов, кровь марсельезы, высыхающая мгновенно от палящих пожаров. Наконец, то была благородная кровь мщения. А здесь? Здесь он видел густую венозную кровь унижений, порок, драк в угоду начальству.

А балы? Как еще памятны балы Гренобля, где девушки прикалывали к корсажам букеты полевых ромашек, а легкое вино, выпитое за счастье товарщицей, напоминало по цвету солнечный день.

У выхода Лонсевиль задержал секретарь Армстронга Юрий Ларин. С живостью двадцатилетнего юноши он

взял Лонсевиля под руку и мягко, но сильно повел обратно к столу, болтая без умолку. Ларин говорил шепотом, глаза его блестели.

— Ну, какова пьеса? Это наше общее сочинение, наша посильная сатира на министерства. Не правда ли, забавно? Великая революция владеет умами и находит отклик даже в таких медвежьих углах, как наш завод.

Лицо Лонсевиля покрылось бледностью. Они подошли к столу, где, погромыхая креслами, рассаживалась к ужину петрозаводская знать.

— Сударь,— сказал Лонсевиль,— вы позволяете себе оскорблять великую революцию моей родины, считая жалкую эту пьеску детищем революционных идей. Вы не знаете революции. Ее дыхание кроваво и беспощадно. Я благодарен небу за то, что был ее участником и очевидцем. Вы, полагающие себя чуть ли не монтаньярами, знаете ли вы, что в новых английских машинах, пушенных сегодня на заводе, в тысячу крат больше революционного пороха, чем в десятке таких глуповатых спектаклей?

Лонсевиль сознавал, что мысли его не совсем ясны от начинавшейся лихорадки. Во время горячечных припадков он начинал плохо видеть и слышать. Иначе он заметил бы тяжелую и грозную тишину, воцарившуюся в зале. Иначе он увидел бы рядом с собой голубую ленту губернаторского мундира и шелковый камзол гувернера Барая.

— Чем вы ознаменовали начало работ новых машин? — продолжал Лонсевиль.— Кулачным боем и баллом, где лишь глупость и жирная пища вызывают веселье гостей. Сегодня я узнал, что в здешнем суде лежит три тысячи нерассмотренных дел. Остроги переполнены. На заводе секут плетью рабочих. Все это требует жесточайшего конца.

Лонсевиль остановился, пытаясь собрать разбегавшиеся мысли. Треск свечей походил на отдаленную ружейную пальбу.

— Если вы располагаете временем и охотой,— Лонсевиль слегка поклонился Ларину,— я готов в свободное время подробно посвятить вас в ход революции. Тогда вы поймете ее истинные задачи и способы осуществления.

Лонсевиль вышел. Губернатор взглядом подозвал адъютанта и промолвил, почти не шевеля губами:

— Надлежит немедленно поставить в известность канцелярию его величества.

Звон шпор подтвердил, что приказ услышан и будет исполнен.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

В конце зимы на завод приехал принимать пушки величественный генерал Ламсдорф.

Мартынов рассказал Лонсевиллю, что этот генерал, будучи еще молоденьким офицером, участвовал в подавлении восстания крестьян, приписанных к Александровскому заводу.

Восстание? Это слово звучало неправдоподобно. Полно, не горячечный ли это сон олонецких пустошей?

Неверие Лонсевилья раздосадовало Мартынова. Он посвятил француза в историю мятежа, длившегося три года.

Народное возмущение! Что может быть благороднее этой темы для исследователя, каким был по натуре Лонсевиль?

С некоторых пор Лонсевиль переживал странное ощущение времени — оно как бы ускорило свой бег. Эпохи сменяли друг друга, подобно картинам, освещенным короткими вспышками молний. Будущее, порожденное прошедшим, надвигалось с неясным гулом, а прошедшее таяло безвозвратно.

Лонсевиль решил записывать, хотя бы наспех, все, что касалось переплетения эпох, на переломе которых ему суждено было жить.

Первый толчок к записям дала встреча Ламсдорфа с Костылем.

На пробе пушек присутствовало все заводское начальство. Падал пухлый и теплый мартовский снег. Он был настолько непрочен, что от самого ничтожного звука — от удара кувалды по наковальне и великопостного звона колоколов — слетал с деревьев и падал хлопьями на серые плащи офицеров. Костыль был приставлен сметать снег с бронзовых орудийных стволов. Вензель императора Александра блеснул на них самоварной медью.

Ламсдорф пристально взглянул на Костыля и сделал знак, чтобы тот подошел.

Генеральские баки и глаза ничем не отличались от цвета пасмурного неба. Костыль понуро стоял перед Лам-

сдорфом и смотрел на острые носки генеральских сапог. По привычке ему хотелось нагнуться и смахнуть пыль с черного лака.

Ламсдорф шагнул к Костылю, величественным жестом выпростал руку из-под плаща — золотое шитье мундира тускло блеснуло в глаза окружающим — и сдернул с Костыля шапку. Армстронг поморщился: он ждал грубой вспышки генеральского гнева на непочтительного холопа. Но Ламсдорф улыбнулся сухими губами и спросил:

— Меня знаешь?

— Как не знать, знаю.— Костыль поглядел на шапку: генерал бросил ее в снег около орудий.

— Вот, государи мои,— Ламсдорф положил на голову Костыля тяжелую руку в кожаной перчатке,— вот пример подлинного монаршего благоволения к заблудшим подданным. Глядите сюда.

Ламсдорф взял Костыля за волосы, откинул его голову и медленно обвел пальцами шрамы на его щеках и лбу — клейма В, О и З.

— Сии знаки выжжены по приговору императорского сената.

Он поворачивал голову Костыля решительно и умело, точно показывал собравшимся ручного зверя. Костыль и вправду стал похож на ярмарочного медведя. Он топтался, глядя в снег, и багровая кровь неторопливо растекалась от его шеи к ушам.

— В Кижях был?

— Так точно, был,— тихо ответил Костыль.

— Климку Соболева помнишь?

— Запомятовал, ваша светлость.

— То-то, запомятовал!

Ламсдорф, забыв о том, что рука его крепко держит Костыля за взъерошенные волосы, взглянул на почтительную толпу, окружавшую его, и медленно заговорил:

— Вот один из девяти тысяч мятежников, возмущившихся против императрицы Екатерины. Приписные к вашему заводу холопы, пользуясь дикостью окрестных лесов и отсутствием гарнизона, безнаказанно буйствовали три года, остановили завод и лишили государство оружия, потребного для войны с турками. Роте Зюдерманландского полка, в коем я служил в то время в малом чине, посчастливилось окружить мятежников в погосте Кижии и принудить к покорности орудийной пальбой. История сии

поучительна. О ней надлежало бы рассказывать более пространно вечером за фараоном и бутылкой рейнвейна.

Армстронг хмуро поклонился, выражая согласие на вечер с фараоном и бутылкой рейнвейна.

Ламсдорф вспомнил, что держит Костыля за волосы, оттолкнул его и отряхнул перчатки.

Торжественный и прямой, он двинулся вперед под унылый перезвон колоколов и шепот инженеров, поспешавших сзади.

Громыкнула первая пушка — началась проба. Солдаты стояли у лафетов, не смея шелохнуться. Талый снег шекотал их лица, капал с носов и стекал по рыжим усам на мокрые мундиры.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

О приписных крестьянах Лонсевиль занес в свою тетрадь все, что удалось узнать от Мартынова.

При Петре I к заводу приписали крестьян Вытегрской, Белозерской, Олонецкой и Петрозаводской вотчин. Приписка означала худший вид рабства. Только лопарей, признанных царским правительством ни к чему не годными людишками, освободили от приписки. За это с них драли неслыханные налоги и взятки.

Приписные вместо подушной подати должны были работать на заводе. Расценка для них была в четыре раза меньше, чем для вольных.

Отработка подати требовала непосильного напряжения. Никто из приписных толком не знал расценок. Они менялись с хитрым расчетом, чтобы заставить крестьян работать круглый год, даже в горячую пору пахоты и жатвы.

Приписной получал примерно пять копеек в день. За этот пятак надо было пропитаться самому и задать корм коню.

Приписные возили лес, выжигали уголь, добывали руду, клали заводские здания и плотины, мяли глину и жгли известь.

Зачастую приписных гнали на завод за триста — четыреста верст для работы на два дня. Измываться над приписными вошло в обычай. Этим занимались все — от начальника завода до последнего рыластого писца.

Жалоб не слушали. В ответ на жалобы поминали пер-

вого начальника завода голландца Генина<sup>1</sup>, поровшего приписных, и грозили цепями и каторгой.

Зипунное горе настаивалось крепко, подобно кислому хлебу. От приписных за версту несло тоской и беспомощностью. Лошаденки их ходили в кровавых подтеках.

Жить было обидно и подло. И день и ночь над головой свистели батогн. И день и ночь — тоска бесконечных обозов с мокрыми бревнами, урчащие от голода животы, окрики. В 1769 году приписные восстали.

«Память моя ослабевает,— писал Лонсевиль в своей тетради. Метель свирепела над озером и выла в холодных боровах. Этот заунывный звук напоминал ему отдаленные сигналы трубачей к атаке.— Я в упор смотрю в глаза истории и замечаю, как быстро иссыкает время великих общих дел. Вопреки этому я здесь, в России, я переживаю одушевление, присущее смелым и свободным мыслям. Такое состояние напоминает предчувствие далекого рассвета, неизбежного и в этой стране.

Россия имеет свои способы возмущения, называемые бунтами. Примечательно, что поводом для бунтов весьма часто являются подлинные или подложные царские указы.

Пятьдесят лет назад императрица Екатерина подписала указ об увеличении подушной подати с крестьян на один рубль. Слух об этом с непостижимой быстротой дошел до деревень — раньше, чем фельдъегеря прискакали с указом в губернские города, и вызвал бунт, длившийся несколько лет.

Я убедился, что Россия живет ожиданием чуда. О чуде гнусаво бормочут монахини, оплакивая мертвых. О чуде возглашают в церквях спившиеся певчие. Чудо предсказывают нищие, чья одежда блестит от лампадного масла,— их здесь почитают святыми и называют странниками. Наконец, о чудесных капризах царей любят рассказывать старые солдаты, облысевшие от тяжелых париков.

Иногда я ловлю себя на глупой мысли, что действительно только чудо может спасти этих крестьян, скребу-

---

<sup>1</sup> Генин в числе других иностранных инженеров и техников поступил на русскую службу при Петре I, был назначен начальником олонекских заводов, способствовал там большим техническим достижениям. Впоследствии был назначен Петром I начальником всех уральских заводов. Построил город Екатеринбург (ныне Свердловск).

ших липкую глину полей и хлебающих щи, столь же соленые, как слезы. Наивная вера в милосердие царя до сих пор существует в народе.

В России, так же как и всюду, царская воля получает осуществление в указах, написанных языком торжественным и непонятным.

Указов ждут, но, когда они появляются, их почти никто не читает — нет грамотных людей. Немногочисленным чтецам верят на слово и толкуют указы так, как желательно каждому.

Когда был издан указ 1769 года, приписные решили, что царица отменила приписку и взамен работы на Александровском заводе можно вносить в государственное казначейство по семьдесят копеек с души.

Заводское начальство объявило, что царица отнюдь не отменяла приписку и, наоборот, впредь придется отработывать вдвое больше. Приписные этому не поверили. Впрочем, возможно, что и поверили, но прикинулись дурачками и упорно толковали указ по-своему.

Приписной Емельян Каллистратов поехал по вотчинам. Он собирал приписных и призывал их не выходить на работу.

Мартынов знал Каллистратова. Насколько я понял его боязливый рассказ о восстании, Каллистратов был угрюмый и насмешливый мужик. Но он, как и многие в те времена, верил, что в золоченых залах дворца живет, подобно райской птице, нетленная и прекрасная правда, и только министры не дают ей дойти до народа.

На сходах Каллистратов кричал короткие и взволнованные речи. Он называл вельмож захребетниками (людьми, живущими на чужой шее), ругал приписных за робость последними словами и требовал отправки выборных людей в столицу.

Я не могу отказаться от искушения записать речь Каллистратова совершенно так, как передавал ее мне Мартынов:

«Работу кидай! Ни единого коня не ставить, ни единого бревна, ни единой меры руды! Правду спрятали от нас захребетники, как золотое колечко в навоз. Правду надо достать. Царица живет за семью дверьми. Министры и гвардия вокруг нее стенкой стоят. Стенку надо сломать, поднести челобитную,— пусть льется горе мужицкое к царским ногам. Гляди, какие мы. Гляди, чего с нами делают, с верноподданными, с людьми в державе твоей, бо-



гом хранимой. Обману положим конец! Правду взыщем. Министрам тем вырвут языки, сгнойт их в Пельымских острогах<sup>1</sup>. За что сгнойт, пытаешь? За бездолье твое, за раннюю твою смерть, вот за что. Терпежом всю жизнь жгли, теперь от терпежа одни крохи остались».

По приписным вотчиннам стоял гул. Гудел весь полуостров Заонежье, где начался бунт. Кричали люди, гудели набаты, сзывая крестьян на сходы, плакали от радости женщины. Работы на заводе остановились. Заводское начальство растерялось. Каллистратов с прошением за пазухой уехал в Петербург.

Он присылал оттуда короткие и радостные письма. Он ждал приема у царицы и требовал присылки в Петербург ста выборных крестьян, чтобы вместе с ними подать жалобу Екатерине.

«Чем более будет нас, мужиков,— писал он,— тем более горе мужицкое встрянет в глаза царице».

(Смысл слова «встрянет» мне никто не мог объяснить. Остается предположить, что это слово соответствует словам «вонзятся», «вопьется» или хотя и имеет иное значение, но близко к указанным выше).

Вскоре письма прекратились. По Заонежью прошел слух, что Каллистратова заковали в цепи и бросили в страшные подвалы Петропавловской крепости.

Слух скоро подтвердился. Подтвердил его сам Каллистратов, выпущенный из заключения.

Он приехал худой и пристыженный. Он снова созывал приписных и говорил, что из столицы едет чрезвычайная комиссия, назначенная царицей, и комиссия эта найдет наконец настоящую правду. Но Каллистратова слушали плохо. Воздух освобождения проветрил головы.

В деревне Кондопоге молодой парень крикнул Каллистратову дерзкие слова:

— Хорошо поет твоя царица, райская птица, только здорово гадит на голову. Что ж не показываешь языки, у министров отрезанные?

Каллистратов погрозил ему кулаком. Приписные зароптали:

— Ты не грози. «Мы «кулаченные и перекулаченные». (Эти слова Лонсевиль написал по-русски.) Ты правду про царицу скажи. Много вас, царских угодников!

---

<sup>1</sup> Пелым — город в Западной Сибири, к северу от Тобольска; место ссылки в XVIII веке.

В июле 1770 года на Александровский завод действительно приехала чрезвычайная следственная комиссия.

По вотчинам разослали гонцов с приказом всем приписным выбрать старост и прислать на завод.

Тогда выступил новый главарь восстания, приписной Клим Соболев.

Он занимал Лонсевиля гораздо больше, чем угрюмый и неуравновешенный Каллистратов.

По словам Мартынова и Костыля, Соболев был весельчак и балагур. Он хорошо знал грамоту. Он составил от имени приписных заявление обо всех беззакониях и подал его председателю комиссии — беззубому и пышному вельможе, распространявшему сладкий запах ландышевых капель.

В заявлении в числе прочих обид было указано, что за последние сорок лет заводское начальство незаконно взыскало с приписных пятьсот тысяч рублей якобы неотработанных денег.

Это же подтвердили все старосты. Они излагали свои жалобы неясно и торопливо. Они стояли перед столом комиссии, как перед церковным аналоем, и дурели от могильного запаха ландышевых капель. Вельможа слушал, закрыв глаза. Когда он открывал их, что означало нежелание слушать дальше, секретарь обрывал допрашиваемого и вызывал следующего. Вельможа зевал и говорил добродушно:

— О-хо-хо! Сие совершенно верно, но польза государственная двулика, как бог Янус. Токмо таковым соображением надлежит комиссии руководствоваться. Понятно вам, государи мои?

Члены комиссии наклоняли головы в белоснежных столичных париках.

Опросив старост, комиссия уехала. Сенат, приславший комиссию, был обескуражен ее работой: вместо крутых мер беззубый вельможа — председатель комиссии — ограничился сонным докладом. Тогда на завод был послан генерал Лыкошин. Он, ознакомившись с делом, вызвал войска. Пока рота солдат и артиллерия под командой подпоручика Ламсдорфа двигалась к заводу, приписные по-прежнему не выходили на работу — ждали вестей из столицы.

Настало затишье, какое часто бывает в разгар народных волнений.

«Дальнейший ход событий не совсем ясен,— записал Лонсевиль.— Следует расспросить о нем не только Мартынова и Костыля, но и Ларина — в его руках находятся все документы, имеющие касательство к восстанию.

Отныне я пишу не биографию великого человека, как предполагал ранее, но биографию крестьянского возмущения».

На этом запись Лонсевиля обрывалась. Дальнейшие события не дали ему возможности закончить начатую работу по изучению мятежа приписных крестьян.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Вечеринки у Юрия Ларина носили иногда таинственный характер. Собирались молодые чиновники губернских учреждений. Они играли в фараон, пели песни, пили водку и под шумок вели вольнодумные разговоры. Сборы эти получили наименование «парижского парламента».

Лонсевиль несколько раз бывал у Ларина, стремясь изучить русские нравы и получить новые сведения о Климе Соболеве и конце крестьянского восстания.

Особенно памятным для Лонсевиля был последний вечер, совпавший с приездом Ламсдорфа.

С утра шел снег, падавший густо и совершенно отвесно. В зимнем пейзаже господствовали две краски — серая и белая. Белой была земля, а серым и темным — небо. Поэтому свет, вопреки обычным законам, падал не с неба, а подымался с земли, что придавало редкую причудливость садам, превращенным инеем в гигантские кружевные видения, городу и лицам людей, освещенным снизу.

У Ларина пахло угаром, дымили шандалы, и собравшиеся молодые люди пели излюбленную песенку «парижского парламента»:

Наше вечное согласие  
Нам подаст веселы дни.  
Насадим народам счастье  
Мира сладкого в тени.

На этот раз среди чиновников сидел грузный старик с бегающими глазами вора и льстивым голосом.

Он тер ноги, обутые в меховые сапоги, и охал.

— Вот осколок екатерининского века, бывший полковник Тарновский.— Ларин подвел Лонсевилья к старику.— Очевидец многих событий, вас интересующих. При императоре Павле он был сослан к нам на завод писарем, но до сих пор не получил помилования. Отсюда вы можете судить, как жестоки наши российские законы и как беспощадна Тайная экспедиция.

— За что вы сосланы? — спросил Лонсевилья.

«Явный мошенник»,— подумал он про себя и пожал плечами: неразборчивость Ларина начинала его удивлять.

— Я без водки рассказывать не согласен! — прокричал старец сипло и весело.

Лонсевилья пристально смотрел на Тарновского.

Фамилия эта всплывала в глубине памяти. Она была связана с чем-то давно забытым, от нее осталось одно только ощущение противности и смрада.

Наконец Лонсевилья вспомнил — да, эту фамилию он слышал в городе Кале, где сооружал помосты для погрузки пушек на корабли. Там ему рассказывали об английской авантюристке герцогине Кингстон, жившей в Кале, и об управителе ее имениями и водочными заводами в России полковнике Тарновском. Так вот кто сидел перед ним! Беседа обещала быть занимательной.

— Кстати,— промолвил Ларин,— вы осведомлялись о значении букв В, О и З, выжженных на лице у Костыля? Они составляют слово «Возмутитель».

— Это что! Холопам жгут лбы за дело,— пробормотал Тарновский.— А вот у герцогини Кингстон выжгли позорное клеймо на левой руке за двоемужество, и с тех пор она не могла носить бальных туалетов. То холоп, а то герцогиня несравненной красоты. Разницу постигаете?

Лонсевилья промолчал.

— Юрий Петрович сообщил мне, что вы, будучи историком, интересуетесь бунтом здешних холопов.— Тарновский икнул.— Ну что ж, история — вещь почтенная, хотя и малосовместимая со званием инженера. История — это и.— Старик ударил себя в грудь. Он заметно пьянел.— Я был управителем богатейшей женщины в Европе, замившей блеском своих брильянтов императриц. Я приехал из Лондона в Петербург корабль с картинами, подаренными матушке Екатерине герцогиней Кингстон. Це-

лый фрегат, батенька, одних Рембрандтов. Мы пили чай на ящиках с творениями Рафаэля. Это надо понимать! В этом есть проявление широкой русской природы!

Когда леди Кингстон прибыла в Петербург на собственной яхте, вся столица заполнила набережную и приветствовала красавицу криками и бросанием цветов. Леди Кингстон блистала на всех балах и, выражаясь фигурально, была летней розой на всех зимних праздниках и парадах. А чего стоил тот зимний парад, когда холоп Клим Соболев, приписной к Александровскому заводу, подал царице челобитную... Стой, не мешай, дай рассказать по порядку. Я рассказчик отменный.

Было это зимой тысяча семьсот семидесятого года. Слышал я стороной о мятеже на заводе и о посылке следственной комиссии, но делом сим не интересовался.

Говаривали, что восстание стихло и что мятежники сидят, мол, и ждут царицына решения. Ждали, ждали, да заждались. Прислали в столицу Соболева. День выдался морозный, золотой, солище блистало, батенька мой, не хуже, чем сабли гвардейцев.

Старик выпил.

— Ты не гляди на меня, Юрий Петрович, точно я бродяга. Когда выпью, во мне поэзия возгорается. Недаром я Державину сказал обидные стишки:

За счастье поруки нету,  
И чтоб твой свет светил нетленно свету,  
Не беися об заклад.

— А не тебе ли Державин сказал их? — спросил юноша в грязном малиновом фраке.

— Замолкни, птенец! Слушай, что будет. День был трескучий и снежный. Царица ехала в золоченой карете на полозьях, а за нею невдалеке следовала в открытых санях леди Кингстон.

Внезапно к карете императрицы подбежал молодой холоп в чистом армяке, пал на колени в снег и крикнул весело и требовательно: «Царица-матушка, примай челобитную на великие наши обиды!»

Царица подняла веки, — а надлежит помнить, что подымать их было трудно, ибо они тяжелели от сурьмы, — светлые ее глаза блеснули улыбкой. Улыбку ту она изучила в совершенстве и могла вызывать на усты в любое мгновение.

Лошади остановились. Граф Орлов подъехал к че-

лобитчику. Я заметил, как в гневе тряслась, сжимая повод, его рука с синим родимым пятном на пальце. Признаться, я был напуган.

«Ну, что ты? — спросила царица протяжно, что означало приветливость.— Поддай сюда. Кто ты таков?»

Холоп, впоследствии оказавшийся Климом Соболевым, подполз на коленях, протягивая перед собой сложенную вчетверо бумагу.

На оную бумагу глядели все: и Екатерина, и Орлов, и герцогиня Кингстон, и шпалеры солдат, что застыли могучим покоем вокруг кареты матушки-царицы, и офицеры, вздымавшие к небу стальные клинки, и тысячное скопление горожан, пестревшее шелковыми салопами щеголих... Эх, пышность! — Старик потер ноги и помолчал.— Вот будто сейчас помню. Поверите ли, стало слышно, как скрипнул снег под ногой покачнувшегося солдата. Даже тяжело стало от безмолвия, пока Клим Соболев не крикнул хриплым голосом, ровно из могилы:

«Мы, мол, приписные твоего величества холопы с Александровского завода. Спаси, голубушка, от министров-собак!»

Тут точно ветер прошел по шеренгам солдат — штыки дрогнули. Орлов, натурально, смял челобитчика коном, и карета тронулась. Ударили барабаны, дабы заглушить крик Соболева, схваченного гвардейцами и связанного по рукам.

Дальнейшего я не видел, но рассказываю со слов приятеля — дворцового офицера. Будто позднее ночью прискакал от генерала Лыкошина фельдъегерь и привез донесение, в коем Лыкошин сообщал, что все Заонежье вооружилось и выступило против властей. Посланный отряд под начальством подпоручика Ламсдорфа мятежники привели в расстройство, Ламсдорф отступил к заводу. То было тогда, а сейчас — каким орлом глядит!

Говаривали, что императрица, получив донесение, отложила свою книгу под титулом «Опровержение аббата Дидерота», распорядилась послать Лыкошину подкрепление, дабы бунт прекратить немедленно, и притом добавила: «Народ — точно дети. Решив воспитать в нем добрые начала, его надлежит изредка сечь».

Лонсевиль, чтобы поощрить старика к рассказу, выпил с ним немного водки. Ее подавали в черных бутылках с надписью «Чудлейская мыза».

Рюмки покрылись потом. За окнами тлел закат, придавленный к снегам облачным небом. Галки кружились вокруг церковных крестов.

Вольнодумных разговоров никто не вел: опасались Тарновского и хотели поскорее его выпроводить. С минуты на минуту должен был приехать Ламсдорф в сопровождении Армстронга — игра в фараон была назначена у Ларина.

Тарновскому сунули в карман бутылку рому, и двое чиновников подняли и повели его домой. Остальные притихли, а кое-кто незаметно исчез: встреча с Ламсдорфом и Армстронгом не сулила удовольствия.

Лонсевиль собрался уходить, но вспомнил, что Ламсдорф обещал рассказать о восстании, и замешкался. Воспоминание о Кале неожиданно приобрело ясность, — ну конечно, он знает очень многое о леди Кингстон.

— Имя леди Кингстон, — сказал Лонсевиль, ни к кому не обращаясь, — является напоминанием об одной из самых удушливых и бесплодных эпох. Кстати, известно ли вам, что Александровский завод отливал статуи для ее дома в Петербурге? Но не в том дело. Будучи в Кале с армией Бонапарта, я слышал от обитателей этого города рассказы о герцогине Кингстон.

Весь город трепетал перед ней. Женщины осыпали ее цветами. Мэр приказал покрыть мостовую около ее дома соломой, дабы стук колес не тревожил покоя этой авантюристки и отравительницы. Она хотела поселиться в Кале навсегда.

Благосостояние города зависело от капризов надменной женщины. Ежели бы она стала гражданкой Кале, это обстоятельство сулило бы городу неслыханное благополучие: богатства Кингстон почитались баснословными. Богатства эти приобретались отравлениями, подлогами, спаванием крестьян и дворцовыми интригами.

То было время, когда города преклонялись перед низостью, усыпанной алмазами. Что может быть позорнее этого зрелища! Что может быть позорнее почета, воздававшегося Кингстон всеми европейскими дворами! Она кричала на королей и била туфлей по лицу придворных дам.

Когда Кингстон находилась в гостях у польского князя Радзивилла, он сжег ей на потеху деревню со всем нищим скарбом своих крепостных. В пламени погибли дети. И все потому, что герцогине наскучили фейерверки непревзойденного пиротехника генерала Мелессино. Ей хотелось более величественного и жизненного зрелища.

Радзивилл устроил в честь герцогини ночную охоту на кабанов при свете факелов. Чтобы попасть на охоту, герцогиня ехала из Риги в Литву, и по всему ее пути соигнали крестьян — жечь костры и застилать хворостом дороги. Однажды лошади понесли, и герцогиня едва не была убита перевернувшейся коляской. Вне себя от злости, она выдумала гнусную историю, что некий холоп швырнул в коней горячей головешкой. Радзивилл приказал засечь двадцать крестьян. Кингстон наградила его за это одной из своих фальшивых улыбок.

Неужто мы можем забыть, что жизнь тысяч людей была отдана на произвол взбалмошных и злых куртизанок? Неужто мы можем без содрогания вспоминать черные времена абсолютизма?

Как примириться с тем, что Европе снова наступил на горло императорский каблук и народами руководят короли, злые и нечистоплотные, как обезьяны?

Лонсевиль сжал голову руками. Потом он встал и стремительно вышел. Ларин взглянул на его бледный профиль, промелькнувший в багровом пламени задрожавших свечей, и прошептал соседу:

— Как он похож на Руже де Лиля!

Он настолько растерялся, что позабыл проводить Лонсевилья до дверей.

Лонсевиль быстро шел по улицам. Сырой ветер шумел в садах, и было явственно слышно, как хрустит и оседает снег. В порывах ветра Лонсевиль улавливал похожий на рыданье и радостный крик напев отдаленной «Марсельезы». Он усмехнулся, вспомнив о выпитом вине.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Лонсевиль не слышал рассказа Ламсдорфа о подавлении восстания приписных крестьян.

Расспросив Ларина и двух смущенных юношей, присутствовавших при рассказе генерала, он составил ясную картину последних дней восстания.



Поздней осенью 1770 года Соболев бежал из арестного дома в Петербурге и появился в Великой Губе.

Лыкошин, предпочитавший отсиживаться на заводе в надежде, что восстание погаснет само по себе, получил из Петербурга приказ арестовать мятежника.

Лыкошин отправил в Великую Губу солдат, но мятежники разоружили их. Вернувшись, солдаты рассказывали, что крестьяне вооружены, кроме самопалов, рогатины и пестами.

Лыкошин понял, что дальнейшее бездействие будет стоить чинов, орденов и даже свободы. Он двинул в гнездо восстания — деревню Кижы — крупные силы. После жестокого боя войска опять отступили. Ламсдорф донес, что мятежники идут сражаться, соблюдая все правила военного искусства. Когда солдаты подходили к Кижам, утопая в снегах, отряды лыжников-крестьян окружили их и нанесли сокрушительный удар с тыла.

Численность мятежников Ламсдорф определил в девять тысяч человек. Он высказал предположение, что во главе восставших стоит умелый и упорный руководитель.

— Климка Соболев, не иначе, — заметил Лыкошин, выслушав донесение.

К тому времени обстановка складывалась для Лыкошина благоприятно. В Москве началась чума, и Екатерина как бы забыла о мятеже в Олонецком крае. Можно было выждать еще малость, благо на заводе от безделья шла картежная игра и гремели балы.

Лыкошин во всем, кроме военных дел, был человеком азарта. То был полководец второго ранга, ленивый и хитроватый. Военной славе он предпочитал славу балных зал, где блеск вышитого мундира не требовал изнурительной погони за наглым холопом.

Губернатор торопил Лыкошина. Он опасался, что в Заонежье воскресли нравы Великого Новгорода и крепнет крестьянская республика, грозящая всему краю жакерией.

— Полноте, ваше сиятельство, — отвечал благодушно Лыкошин, — вот снежок растает, тогда мы и подпалим зад у ваших новгородцев. Воины, как говаривал Юлий Цезарь, даже бездействуя, бывают ужасны врагам.

В начале лета 1771 года пришло известие о возмущении яицких казаков, и Лыкошин получил предписание, где было сказано:

«Поелику олонецкие мятежники могут обнадежиться преступным возмущением яицкого люда, надлежит их разбить тотчас же с силой и решимостью, не медля, подобно прежнему, и не боясь причинить огорчительность государыне великим пролитием мужицкой крови».

Тогда Лыкошин послал в Кизи с пехотой и артиллерией князя Урусова, Ламсдорфу он уже не доверял. Мятежники так привыкли к лености и бездеятельности войск, что допустили их войти в деревню и засели за церковной оградой.

Начались хитроумные переговоры о сдаче. Клим Соболев отвечал князю резко и весело. Урусов багровел от гнева, чувствуя, что этот смерд находчивее его, князя, чье острословие стало притчей игорных домов.

Дабы внести раздор в ряды мятежников, Урусов послал к ним Каллистратова, окончатльно раскаявшегося и перешедшего на сторону начальства. Мятежники Каллистратова избили и прогнали.

Воспользовавшись сумятицей с Каллистратовым, Урусов подвез пушки и навел их на церковный двор. Мятежники смеялись и показывали артиллеристам кукиши. В церкви шла непрерывная служба — Соболев был уверен, что офицеры не решатся стрелять по храму во время богослужения. Он ждал предательства, но не допускал мысли о кощунстве,— такова была дикая логика екатерининских времен.

Урусов снял шляпу с плюмажем и махнул артиллеристам.

Ударил первый залп. Мятежники смешались. Раздались крики, брань, потом одиночные выстрелы.

— Картечь, картечь! — кричал в испуге Урусов, и залпы били в упор, в толпу крестьян.

Три часа мятежники сопротивлялись, прячась в церкви и среди могильных плит. Убитых сносили в алтарь. После каждого залпа от церкви отлетали щепки. Свинец дымился и распространял кислый дым. Кровь, густая, как слюна, капала в пыльную крапиву.

К вечеру мятежники сдались. Восемьдесят человек во главе с Соболевым были согнаны на завод, закованы в цепи и отправлены в Петербург.

Всем им, по приговору сената, вырвали ноздри, выжгли на лице знаки: на лбу букву В, на правой щеке — О, на левой — З, и погнали на каторгу в Пелым.

Клейма для знаков отлили на Александровском заводе.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Ранней весной Лонсевиль был арестован и отправлен под конвоем в Петербург.

Везли его небритые солдаты, охрипшие от бессонницы и водки. В возке было тесно. Угловатые тесаки били по ногам. От солдат несло сырым табачищем и потом. На ночлегах конвоиры били вшей, поили Лонсевиля жидким чаем и безо всякого успеха любезничали со злыми хозяйками, пытаясь выклянчить у них вареной картошки и каши.

В Петербурге Лонсевиль был доставлен к начальнику жандармской команды.

Лонсевилю предъявили обвинение в распространении на Александровском заводе крайних мыслей, подрывающих устои империи.

— Я офицер французской армии.— Лонсевиль посмотрел в глаза жандармского генерала, напоминавшие по цвету спитой чай.— Я имею право высказывать любые мысли. Вам известно, что в вашей стране я нахожусь помимо свей воли. Неразумно требовать, чтобы человек, подчинившийся жестокой судьбе и живущий в обстановке враждебной, оправдывал варварство, столь же ему чуждое, как вам чужды идеи революции.

Лонсевиль замолчал. В кабинете стояла густая тишина. За высокими окнами, за туманом серенького денька во дворе казарм, желтых и величественных до скуки, глухо гремел барабан.

— Да, вы офицер, но бывшей армии Бонапарта,— язвительно ответил генерал, потер сапогами один о другой и вздрогнул от пронзительного скрипа голенищ. Лицо его передернуло гримаса отвращения. Обдуманый ответ был сорван. Он вылетел из головы от этого омерзительного скрипа. Генерал никак не мог припомнить ответ и заключить его в полные изыщества французские периоды. Он молчал. Молчание длилось так долго, что становилось тягостным и неприличным.

Лонсевиль сказал требовательно:

— Вы не можете карать меня, как подданного иностранной державы. Империя Бонапарта разгромлена. Война окончена. Лучшим исходом из неприятной истории было бы высочайшее разрешение вернуться мне во Францию.

Генерал поднял глаза от сапог. Хотелось поскорее избавиться от изможденного и скупого на слова французского офицера, пойти переменить сапоги и упечь в яму негодяя сапожника.

— Я представлю вашу просьбу на благоусмотрение императора.— Генерал встал, и сапоги, зацепившись один за другой, снова взвизгнули зло и оглушительно.

Лонсевиль посмотрел на ноги генерала. Тот покраснел и пробормотал быстро и резко:

— Вы свободны. Разрешительные бумаги будут вскорости высланы на Александровский завод, где вам надлежит их дожидаться.

Как передать чувство облегчения, охватившее Лонсевилья после этих слов? Оно было подобно прорыву соленого ветра с моря. Сбегая по каменной, веющей холодом лестнице, Лонсевиль взглянул на себя в зеркало. Его глаза и волосы молодо блестели. Лонсевиль быстро накинул шинель и вышел на набережную.

Под мостами шуршал зернистый ладожский лед. Величие тумана, несшегося над гранитной столицей, напоминало океан, берега Бискайского залива, где Лонсевиль провел часть детства.

У Лонсевилья в Петербурге не было друзей. Единственным знакомым был архитектор Воронихин, приезжавший на Александровский завод заказывать чугунные базы для колонн Казанского собора. Лонсевиль пошел к нему.

Перспектива величественного города разворачивалась перед ним, смягченная мглой. О чугунные решетки мостов и бронзовые плечи памятников ударялись капли дождя. Они падали с черных ветвей. Сады источали запах лежалой листвы, сбрызнутой спиртом.

Воронихина Лонсевиль застал за чертежной доской. Сухой и седоватый архитектор заканчивал постройку Казанского собора.

Обстоятельства встречи с Воронихиным Лонсевиль почти забыл — от утомления у него началась лихорадка. Он запомнил лишь утреннюю прогулку по городу в соп-

ровождении архитектора, рассказ Воронихина о своей жизни — здесь Лонсевиль в последний раз отдал дань склонности к изучению биографий, — строгие мосты и садовые решетки, украшавшие Петербург и изготовленные на Александровском заводе.

Они долго стояли у моста через Мойку, отлитого Гаскойном. Воронихин восхищался изгибом арки и обработкой мельчайших деталей, напоминавших нагромождение индийских плодов. Налет на перилах моста был зеленоват, как цвет петербургского воздуха.

Беседуя с Воронихиным, Лонсевиль вспомнил почему-то о Моцарте, Байроне, Гете, о всех людях, живших блистательно и мудро и возвеличивших эпоху своим неповторимым существованием.

Рассказ о жизни Воронихина, выслушанный Лонсевилем с величайшим вниманием, несколько примирил его с Россией. Прощаясь с архитектором, он даже почувствовал сожаление, что покидает эту страну. Он сравнивал ее с петербургскими туманами, — за грязной их пеленой нет-нет да и проглянет светлое золото Адмиралтейской иглы.

Воронихин был крепостным графа Строганова, владельца Пермского края. Архитектор родился в городе Усолье — диком и сером, как волчья шкура, окруженном болотами, лесами и соляными варницами. Он прожил детство, ничем не отличное от детства других крестьянских детей.

В отрочестве способности к рисованию выделили его из среды неуклюжих и запуганных товарищей. Его послали в ученье. Он жил в Петербурге, Риме, Флоренции, и багряная итальянская осень, гравюры Пиранези<sup>1</sup> и мраморы Рима создали из курносого усольского мальчишки величайшего русского архитектора. Он научился воплощать в бронзе и граните чужие мысли о славе. Он строил величественный Казанский собор, точно невесомый на первый взгляд, — настолько соразмерны были его объемы.

Из Петербурга Лонсевиль уехал на рассвете холодного апрельского дня. В двух верстах от столицы, когда был еще виден шпиль адмиралтейства, возок застрял в грязи.

---

<sup>1</sup> Пиранези (1720—1778) — итальянский художник-гравёр, прославившийся гравюрами, изображавшими архитектурные памятники Италии.

Грязь и нищета снова окружили Лонсевиля, сменив холодное великолепие петербургских проспектов.

Лонсевиль закутался в шинель, откинулся в глубину возка и уснул. Небо побрызгивало частым дождем.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В селе Подпорожье, на Свири, жила знаменитая плакальщица, бабка Анфиса. Изба ее стояла над рекой. По реке несло онежский лед, громыхавший в каменных порогах. Конец апреля выпал жаркий. Березовые рощи качались в зеленом дыму маслянистых почек. Синий ветер раздувал по небу клочья облаков.

Рыжий ямщик Лихарев пришел к бабке с великой просьбой отпеть проезжего, умершего от горячки. Бабка накинула шаль и пошла на почтовую станцию.

Проезжий лежал в амбаре в длинном гробу, сколоченном из неструганных досок.

— Где же его хоронить-то? — спросила бабка.

— Да, надо быть, повезу на завод.

— А какой он веры?

— Французской. Больно строгий до себя человек. Надьсь вызвал меня, сам чуть дышит. Письмо дал. Отправь, говорит, с завода на родину. Велел мне достать из баула значок военный, приколол его к вороту шинели, накрылся той самой шинелью и помер.

— Говорил чего?

— Да чего-то говорил не по-нашему. Смотрительша с им была.

Бабка Анфиса вошла в амбар, откинула платок с лица покойника и ахнула — до чего ж похож! Похож на сына Ивана, убитого на германской земле, вот как похож! Бабка обняла тело Лонсевиля, прижалась головой к медному значку на вороте серой шинели — номеру наполеоновского полка, где служил француз, — и запела звенящим томительным голосом.

Анфиса никогда не пела обыкновенных причитаний. Она их придумывала около каждого гроба, и почему-то каждый покойник был ей жалок и мил, как родной.

— Вот весна пришла, за окном стоит, а ты лежишь, соколик милый, ничего не надобно тебе — ни слезы материнской, ни жалости девичьей. Причала ладыя к последнему небесному плоту. Сам господь к тебе идет, сам

господь подымает тебя — знает, помер на далекой сторонущке.

Лихарев утер армяком нос — больно жалостливо пела старуха.

— Горе великое ходило за тобой по земле. Сердце кровавое носил, боль сиротскую. Нешто можно жить одному на чужих глазах, помереть в пути да в распутицу?

Только три человека плакали над трупом инженера по литью пушек Шарля Лонсевиля — бабка Анфиса, ямщик и жена смотрителя почтовой станции, молодая пригладная женщина с насурмленными бровями.

Прощаясь, она поцеловала Лонсевиля в лоб, и крупная слеза упала на мертвое лицо и запуталась в ресницах.

Лихарев перекрестился, закрыл гроб крышкой и увязал мокрой веревкой.

В деревне Роп-ручей, вблизи Петрозаводска, тележку Лихарева остановили жандармы. Они отобрали у Лихарева все вещи Лонсевиля. Только письмо Лихарев скрыл у себя на груди.

Жандармы открыли гроб, осмотрели умершего и приказали Лихареву везти тело в Петрозаводск, на немецкое кладбище, да поменьше болтать в дороге. Лихарев повздыхал и поехал. Дорогой он выпил и беседовал со своим немым спутником, бахвалясь, что перехитрил жандармов и не отдал письма, за что будет ему, Лихареву, богатая mzда на небесах.

— Родимый,— бормотал Лихарев, икая на ухабах,— ты на меня надейся. Я все постигаю. В свой срок ты, видать, помер. Не в смерть я тебя завез, так в острог, а он, надо быть, горше смерти.

Через сутки тело Лонсевиля лежало в холодной часовне на немецком кладбище в Петрозаводске.

Письмо Лонсевиля Лихарев передал по начальству, и оно попало к Армстронгу.

Армстронг вызвал Баралю, запер кабинет на ключ, вскрыл пакет и потребовал перевести письмо на английский язык.

— Было бы недостойно джентльмена,— сказал он,— вскрывать частные письма, но мы имеем дело с человеком, заподозренным в якобинстве. Прямой долг повелевает мне узнать содержание пакета.

— Письмо на имя женщины... Марии Трините,— тихо промолвил Бараль.

— Все равно, читайте!

«Я был арестован, отвезен в Петербург, но после допроса получил свободу и разрешение вернуться во Францию.

Впервые за годы сердечных лишений и одиночества я испытал ощущение полного счастья. Но напрасно. На обратном пути в Петрозаводск я заболел тяжчайшей лихорадкой.

Я лежу на почтовой станции в деревне Подпорожье, в трех днях пути от Петербурга.

Не пугайтесь, если на этом листе вы найдете следы крови. Невежественный здешний лекарь поставил мне пиявки к вискам, и все лицо у меня залито кровью. Я очень слаб, часто впадаю в беспамятство. Я умру не позже чем ночью.

Я вспоминаю свою жизнь и заклинаю вас: любите память обо мне, иначе мысль о смерти становится невыносимой. Вы знаете, что я был честен, ненавидел рабство и варварство и любил свободу, мудрость и веселье. Всю глубину человеческого несчастья я узнал только в России на Александровском заводе.

Я бы вернулся во Францию иным — не офицером победоносной армии, пахнущим пылью походов и сиренью рейнских садов, а мстителем и солдатом. Я жил бы во имя возмездия, во имя мудрости и блеска человеческого ума, задушенного королевским режимом.

Я любил и люблю вас. Здесь, в черном мраке этой ужасной страны, я готов кричать от отчаяния и плакать по вас, как плачет ребенок по убитой на его глазах матери.

Я поступил предусмотрительно. Прежде всего я написал адрес на конверте, чтобы отправить письмо, даже если оно не будет закончено.

Опять вечер. Над черными елями там, далеко, где Париж, заходит луна. Я прислушиваюсь к собственным стонам. Почему я не умер под Бородином или на Висле? Комната залита заревом луны. Светило ночи восходит над обширной страной очень медленно, и столь же медленно иссякают мои последние силы. Я хотел бы дожидаться солнца...»



— Всё,— сказал Бараль.— Письмо не дописано.

— «Светило ночи»,— пробурчал Армстронг, и кривая усмешка сползла с его губ и исчезла в дыму коротенькой трубки.

— *Astre de nuit*,— повторил он по-французски.— Господин Бараль, для чего нужны на земле поэты?

— Для усовершенствования в языке, сударь.

— Но не для литья пушек, я полагаю. Каждая страна прекрасно обошлась бы без поэтов. К сожалению, закон разрешает оплачивать человеческую болтовню. Письмо этого поэта отправьте по адресу и сообщите от себя обстоятельства его смерти. Надо уважать чувства близких.

Армстронг выколотил трубку о кандалы, издавшие мелодический звон.

Бараль поклонился и вышел. Он нес письмо, брезгливо держа его за уголок кончиками пальцев. Так выносят в мусорное ведро убитую мышь...

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

«Получив наисекретнейшее предписание вашей светлости, я тотчас же выехал с двумя жандармами на ближайшую к Петрозаводску почтовую станцию Роп-ручей, где и дожидался проезда бывшего офицера французской армии, инженера Александровского завода Шарля-Евгения Лонсевилья.

На четвертые сутки, когда я потерял всяческую надежду задержать одного Лонсевилья, полагая, что он, предупрежденный неизвестными лицами, скрылся, в Роп-ручей приехал ямской крестьянин Лихарев, доставивший сосновый гроб, обвязанный веревками, и вещи, принадлежавшие Лонсевилью.

Вещи были отобраны и препровождены в канцелярию его высокопревосходительства господина олонецкого губернатора.

Гроб был вскрыт, и в нем обнаружено тело упомянутого Лонсевилья, завернутое в военную французского образца шинель с номерным знаком 37-го Савойского полка.

Из опроса ямского крестьянина Лихарева, равно как и из обозрения тела, оказалось, что Лонсевиль умер от горячки в селе Подпорожье.

Тело по моему приказанию было немедленно отправлено в Петрозаводск и предано земле без всякой огласки.

Ввиду вышеизложенных обстоятельств мною не мог быть выполнен приказ вашей светлости о тайном задержании государственного преступника Лонсевиля на пути его из Петербурга в Александровский завод и препровождении оного Лонсевиля в Шлиссельбургскую крепость для пожизненного заключения, дабы содержать его там без фамилин под номером 26.

О последующем жду распоряжений.

Вашей светлости покорнейший слуга ротмистр *Тучков*.

### ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В двадцатых годах прошлого столетия, через несколько лет после смерти Лонсевиля, в Петрозаводск приехала французская гражданка Мария Трините, назвавшая себя женою Шарля Лонсевиля.

Узнав о смерти Лонсевиля, Трините решила ехать в Россию, чтобы видеть те места, где он жил, и поговорить с людьми — свидетелями его последних дней. Готовясь к поездке в течение нескольких лет, Трините изучила русский язык и изъяснялась на нем довольно свободно.

Она прожила в Петрозаводске с весны до поздней осени. Очень часто она отправляла письма во Францию, своей подруге Рашель Мартисон.

Судя по письмам, Мария Трините обладала острой пронизательностью и склонностью к меланхолии. Многие места из ее писем заслуживают лучшей участи, нежели медленное тление в пахнущих сухим жасмином семейных архивах Мартисон.

«Сегодня начальник завода мистер Фуллон,— писала Трините,— был настолько любезен, что сам вызвался показать мне мастерские.

Представь себе, Рашель, грязную кузницу в Руане, увеличенную в двадцать раз,— это и будет тот завод, где страдал и умер Шарль.

Помещения блестят от окаменелой копоти. Рабочие похожи на бородатых негров. Едкий дым выжигает глаза. Люди работают молча и безо всякой спешки.

Здесь все из дерева. Весь завод приводится в движение водой, и шум ее господствует над маленьким городом.

Фуллон — весьма просвещенный англичанин. Он лично знал шотландского писателя Вальтера Скотта.

Он рассказал мне историю этого завода со времен царя Петра, добавив, что неудивительно, если твердую копь на стенах я приму за окаменелую кровь.

— Этот завод,— сказал мне Фуллон,— олицетворяет режим своей страны.

Слова эти были произнесены около исполинской плющильной машины. Вообрази себе стальные плиты. Они сдавливают с чудовищной силой раскаленные шведские пушки, превращая их в куски чугуна.

Фуллон показал тонкой рукой в черной перчатке на эту машину и сравнил ее с Россией. Мы говорили по-французски, и никто нас не мог понять.

— В противоположность своим соотечественникам, английским директорам завода,— добавил Фуллон,— я стремлюсь поскорее покинуть Россию и вернуться в Англию. Я не ощущаю особого удовольствия от мысли о всех своих предшественниках. Завод этот насчитывает свыше ста лет существования. Он был построен еще при Петре. Начальником завода в те времена был голландец Вильям Генин.

Он рассказал мне историю Генина. Она заслуживает того, чтобы передать ее тебе.

Генин отличался суетливостью и добродушием. Еще в молодости, в Голландии, он изводил старушку мать любовью к кошкам. Он подбирал на улицах котят и приносил их домой в карманах камзола. Котята пачкали полы, и старушка весь день затирала кошачьи следы лавандовым маслом.

Однажды Генин привел вместо котенка неотесанного русского парня. Парень заблудился в ночном Амстердаме. Он спал очень беспокойно, тяжело дышал и вскрикивал во сне.

За утренним кофе старушка хотела сказать русскому, что у него в носу полипы, но Генин строго посмотрел на нее и промолвил, что их скромный дом осчастливлен пребыванием русского царя. Тогда старушка пролила кофе, а царь похлопал ее по плечу. Старушка сделала книксен и скрылась на кухне.

Через год Генин уехал с русским царем в Москву. Сначала он обучал боярских сыновей артиллерийскому делу, потом был назначен начальником Петровского пушечного завода.

Завод работал скверно. Управители погрязли в лихоимстве. Рабочие и рекруты разбежались сотнями. Тогда добродушный Генин выпустил кошачьи когти — он не хотел рисковать своей головой. Он порол рабочих, ходил по заводу, охал, кричал и жаловался на жестокость Петра.

Слух об этом дошел до царя, и на завод прислали следить за Гениным фискал Ижорина.

Генин обиделся. Он заваливал Петербург жалобами на несносные притеснения Ижорина.

Он хвастал своими успехами и угрожал бросить завод, если фискал немедленно не будет отозван.

Царь молчал.

Сообщения Генина, что из отлитой им тысячи пушек разорвалось только три, что шпажные клинки с Петровского завода не хуже зольингенских, что ружья завод изготовляет по лучшему, штеттинскому способу, оставались без ответа.

Царь молчал, а Генин пугался и учащал порки.

Вокруг завода по топким дорогам были выставлены караулы, ловившие беглых рабочих.

Рабочий завода Рябоев открыл вблизи Кончозера источник целебной воды. Генин дал Рябоеву три рубля и приказал молчать. Он поставил около источника камень с надписью, что воды открыты им, Вильямом Гениным, и отправил в Петербург донесение, где именовал новые воды марциальными и звал царя попользоваться ими.

Тотчас же пришло повеление построить около источника летний дворец. Царь приехал с царицей и принял несколько ваин. Воды помогли. Генин в благодарность был произведен в генералы.

Я вполне согласилась с Фуллоном — не очень весело иметь за спиной таких предшественников.

Ты знаешь, только здесь, на заводе, я поняла, отчего умер Шарль. Возвращение во Францию его не спасло бы. Как может радостно смотреть на небо человек, видевший, как истязают людей!

Ты представь себе наглые бакенбарды военных инженеров, невежественных и пьющих водку целыми ведрами, картежную игру, где нет места даже азарту, рабочих, обреченных быть скотамн, и скотов, обреченных работать до последнего издыхания, муштровку солдат — их бьют по щекам за дрогнувший носок сапога, — полную невозможность протеста, рассказы о Сибири, плетях и каторге, злых женщин и тоску неописуемых непроблазных до-

рог, где ямщики хрипнут от самой подлой брани, — представь все это в сиянии чистейшего неба, в свежем ветре с озер, в душистом молчании лесов, и ты поймешь, как прекрасна эта страна и как терпелив народ, ее населяющий.

На заводе отливают надгробный памятник Шарлю. Я поставлю его и уеду во Францию. Но я привезу землю с могилы Шарля, землю этой страны, и посажу в нее в нашем саду лучшие цветы, какие мне даст отец. Пусть хоть эта холодная земля радуется их благоуханию».

«Третьего дня, наконец, — писала Трините, — поставили над могилой Шарля чугунный памятник и ограду, похожую по тонкости работы на кружево.

Теперь мне здесь больше нечего делать. На днях я уезжаю. Меня пугает обратный путь. Какая предстоит горечь от зрелища плоских и бесцветных озер под таким же плоским и сереньким небом...

Мне придется ехать водой. Как передать тебе монотонность этого пути по каналам на скрипучих и медленных баржах, простаивающих сутками около безлюдных деревень?

Все будет пропитано смрадом воды, гниющей в трюмах, и едким табаком — его курят здешние рабочие.

Необходимо брать пищу до Петербурга. В дороге ничего нельзя купить, кроме чая, постного сахара, пахнущего салом, и черствого хлеба. Когда я вижу этот хлеб, колючий от соломы, я почему-то вспоминаю слезящиеся глаза мужиков и их растрепанные ветром рыжие бородавки — одно из самых ярких впечатлений моего путешествия по России.

Да, путь будет печален, как возвращение с похорон. Здесь я оставляю свое сердце. Здесь умер Шарль, который так жестоко и наивно страдал в силу своего чистосердечия и жажды высшей справедливости».

«Вчера я пережила первый радостный день в России.

Не помню, писала ли я тебе, что мистер Фуллон посоветовал мне познакомиться с его секретарем Юрием Лариным. По словам Фуллона, Ларин, человек весьма начитанный и обладающий живым умом, был искренним другом Шарля.

Но, к несчастью, незадолго до моего приезда в Россию Ларин был послан в Англию, чтобы завербовать там для завода несколько литейных мастеров, и возвратился в Петрозаводск только третьего дня.

Вчера, 15 августа, завод не работал по случаю праздника успения, и я совершила большую бестактность: я пошла к Ларину, даже не предупредив его о своем визите. Я уверена, что ты меня не осудишь. Ты знаешь, как мне дорога память о каждом слове и каждом поступке Шарля. Кто лучше Ларина мог рассказать о его последних днях?

Я очень волновалась. Меня встретил высокий приветливый человек с пытливыми и несколько насмешливыми глазами.

— Чем могу служить вам, сударыня? — спросил он меня по-русски.

Я назвала себя. Спазмы сжимали мое горло.

— Так это вы жена Лонсевилья? — тихо спросил Ларин по-французски. — Бог мой, какую радость вы принесли мне своим приездом!

Он волновался не меньше меня. Он нервно ходил по комнате и непрерывно говорил. Он вспоминал день за днем жизнь Шарля, передавал его рассказы, его гневные речи. Он говорил о любви к Шарлю простых людей и рабочих, о неожиданном аресте, о том, что только смерть спасла Шарля от пожизненного заключения и что, может быть, только благодаря этой смерти он избавился от потери рассудка в глухих казематах Шлиссельбургской крепости.

— Лонсевиль был человеком прекрасных душевных порывов, — сказал он, остановившись и глядя в окно, где золотые березы осторожно сбрасывали на землю легкие листья. — Ему я обязан тем, что перестал быть глупым юнцом, вздыхающим о революции, как о любимой женщине. Он зажег меня ненавистью к тирании и холодной решимостью. Он вложил в меня мысль, что освобождение невозможно без жестокого уничтожения угнетателей. Он заставил меня изучить историю французской революции и творения великих мыслителей. Вскоре после знакомства с ним я с дрожью в сердце понял, что этот человек любит наш народ умной и горячей любовью борца, тогда как мы только и делаем, что проливаем слезы над жалкой долей холопов в армяках лишь за бутылкой водки.

Ларин быстро отошел от окна и засмеялся, всплеснув руками.

— Сударыня, мы попали с вами в поповскую мышловку. Сегодня праздник. По нашим обычаям, священ-

нки с причтом ходят по домам и служат молебны. Вон, видите, отец Серафим направляется ко мне, и мы уже не успеем скрыться. Утешительно лишь то, что эта церемония продлится две минуты, ибо отец Серафим изрядно пьян.

Отец Серафим вошел в дом в сопровождении дьякона с таким шумом, точно в залу впустили стадо слонов. Покричав и покадив две минуты около иконы, он сунул в губы Ларину и мне холодный серебряный крест и торопливо сел к столу.

Слуга подал вино и закуску. Выпив рюмку водки, отец Серафим начал несносно хвастаться своим дедом, священником Семеном, жившим в селе Кижы. Он рассказал, что некогда царь Петр на пути в Петербург остановился в этой деревне и зашел в церковь. Он рассеянно слушал торжественную службу и ковырял пальцем иконы, отлитые из чистой меди.

После службы царь подошел к Семену,— по словам Серафима, то был черный поп с днкими глазами,— и спросил, указывая на иконы:

— Кто отливал?

Семен ответил, что иконы и кресты отлил голландец Бутенат, державший при царе Алексее медный завод в Кижях.

Бутенат был лютеранин, и поп Семен не мог этого снести. Несколько раз собирал крестьян, бил в колокола и устраивал на заводе погромы. Бутенат не выдержал войны с попом и бежал в Голландию, а завод крестьяне разворовали по бревнам.

— Поп,— сказал Петр тихо,— про тебя мне доносили многое. Кожу сдеру!

Поп воздел руки, вытаращил глаза и крикнул:

— Еретиков изведу заодно с их семенем — царя не побоюся!

Петр сплюнул и вышел.

— Каков прадед, таков и правнук,— сказал мне Ларин по-французски. Он был раздосадован хвастовством и нечистоплотностью священника, евшего мясо руками.

Отец Серафим вытер бороду, где застряли кусочки вареной моркови, попрощался и ушел, сотрясая прихожую топотом глубоких кожаных калош.

— Я не могу выносить дым ладана,— поморщился Ларин,— он напоминает мне похороны и вызывает миг-

рени. Ежели вы не устали, то не лучше ли нам пройти на набережную.

Я с радостью согласилась.

Мы ходили по набережной до позднего вечера. Свечи в редких фонарях горели неподвижно и тускло — над озером установилось безветрие. В темной воде отражались печальные звезды. Из заброшенных садов был слышен запах вянувших листьев.

— Вы не должны ненавидеть нашу страну,— говорил мне вполголоса Ларин.— Жажда освобождения терзает лучшие умы. Молодые люди, совершившие поход во Францию, привезли оттуда не только зажившие раны и обветренные лица, но и порох революционных надежд. Россия охвачена предрассветным холодом и тревогой. Не принимайте этот холод за дыхание смерти. Разве иначе, как не предвозвестником зари, мы можем назвать нашего поэта Пушкина? Известны ли вам его стихи о карающем кинжале? «Как адский луч, как молния богов, немое лезвие злодею в очи блещет, и, озираясь, он трепещет среди своих пиров». Пушкин — это поистине молния богов.

Над озером блеснула тусклая зарница, и лишь минуту спустя прокатился далекий гром. Ларин засмеялся.

— Осенняя гроза,— промолвил он и остановился.— Прекрасное будущее приближается неотвратно. Когда оно наступит, нам не дано знать. Ради него жил последние годы ваш муж, беспощадно вырвавший из своего сердца все черты наивности и благодушия. Не впадайте в отчаяние. Какая беда в том, что он страдал нашими горестями? Неужто вы склонны к мысли, что революций достоин лишь народ французский?

Сударыня,— продолжал, помолчав, Ларин и показал мне на небо,— звезды светят с неизмеримо меньшей яркостью, чем солнце, но в наши зимние ночи они освещают путь и служат путеводными знаками. Нет великих и малых дел, ежели человек всем сердцем стремится к великому и справедливому, ибо в этом случае все дела имеют великие вес и последствия.

В город мы вернулись через темный и облетевший сад. Листья шумно пересыпались под нашими ногами. Я как бы выпила легкого вина,— внезапно Россия показала мне страной, любимой до боли в сердце».

«Завтра я уезжаю. Безоблачные дни сменились ненастьем. С Белого моря дует неровный ветер и несет снег



впережку с дождем. Как говорят русские, «дождь се-чет». Какое иное сравнение мог придумать народ, при-выкший к тому, что его секут постоянно?

Дождь сечет.

Пейзаж за моими окнами приобрел вид картины, косо повешенной на стене. Косые струи дождя, косой дым из низких заводских труб, косые деревья, наклонившиеся люди, пробивающиеся через дождь и ветер, наконец, ко-сой полет ворон, зловеще каркающих над пустырями.

Перед отъездом я видела забавное зрелище — бого-служение под дождем, панихиду по императрице Екате-рине.

Шеренги солдат стояли в жидкой грязи. Генералы кутались в черные плащи. С желтых волос отца Сера-фима вода текла на черную рнзу, и певчие пели уныло и хрипло, прикрывая рты посиневшими руками.

Рабочие стояли поодаль, глядя в землю и крестясь быстро и машинально. Они все были в черном, в тяжелых сапогах и напоминали толпу галерников, слушающих на-путствие перед отправкой на каторжные работы.

Потом запели «вечную память». Генералы, солдаты, рабочие, чиновники и женщины в кринолинах опустились на колени в желтую от навоза грязь. Хоругви склонились до земли от налетевшего ветра. Повалил серый липкий снег.

У меня болит сердце от сострадания к этому народу.

Я прошла на кладбище и положила на могилу Шарля несколько белых астр.

Ветер тотчас же унес их, будто Шарль отбросил их рукой, протестуя против моего отъезда.

Я расплакалась. Боже, что мне делать? В этой стране я оставляю свою душу. Мне не следовало приезжать сюда».

«Ларин, провожая меня, дал мне несколько писем своим друзьям в Петербурге.

Рашель, я впервые увидела людей, столь же полных нервическим ощущением нашего грозного времени, как полон им был Шарль. Я встретила русских, соединявших в себе гражданскую доблесть с самой привлекательной мягкостью славянской природы.

Один из них,— я не буду называть тебе его имени,— выслушав горестную историю Лонсевиля, сказал мне:

— Сударыня, придет время, когда наши потомки вы-чеканят новую надпись на надгробном памятнике Лоп-

севиля. Благородные его стремления не получили развития. Императорская Россия убила его, как убивает лучших детей народа. Отныне он наш.

— Какую надпись? — спросила я.

— Вы владеете русским языком?

Я утвердительно наклонила голову. Он понизил голос и прочел, волнуясь:

Товарищ, верь: взойдет она,  
Звезда пленительного счастья,  
Россия вспрянет ото сна,  
И на обломках самовластья  
Напишут наши имена!

Мы стояли на набережной Невы около Летнего сада. Я подняла голову и сквозь слезы увидела в лунной голубой полночи корабль, который должен был увезти меня во Францию. Матросы зажигали на его бортах фонари. Облака, подобные низкому дыму, быстро неслись со стороны моря.

— Он наш,— повторил русский, и я поняла, что отныне эта прекрасная и несчастная страна так же близка мне, как Франция».

1932

---

## ОРЕСТ КИПРЕНСКИЙ

Поздней осенью 1836 года в устье Невы против Галерного острова бросил якорь грязный итальянский корабль. Он пришел из Ливорно.

Падал первый снег. Он сваливался пластами с грубых парусов, но тонким серебром ложился на реи. В сумерки корабль, занесенный снегом и освещенный огнем фонарей, казался даже собственным матросам нарядным и легким.

Корабль привез редкий груз — последние картины русских художников, живших в то время в Риме. Полотна Брюллова и Бруни, портреты Кипренского и гравюры Иордана были бережно завернуты и сложены в пустой каюте.

Прихода корабля долго ждали петербургские любители живописи. Первым на пристань приехал писатель Нестор Кукольник. Он стряхнул сырой снег с плаща и цилиндра и прошел в каюту капитана.

Свеча дрожала на черном столе. Она освещала в пыльной стеклянной вазе несколько апельсинов.

Капитан ел апельсины. Пахучий сок стекал по его загорелым пальцам. Кукольник, усмехнувшись, сказал, что наконец он чувствует и здесь, в Петербурге, воздух Италии.

Капитан пробормотал что-то невнятное и, дожевывая апельсин, выдвинул ящик стола. Там среди истрепанных географических и игральных карт лежало письмо. Капитан протянул его Кукольнику. Кукольник вскрыл конверт и начал читать.

«В конце сентября,— читал Кукольник,— Орест Кипренский занемог жестокой горячкой, от которой усердием доктора начал было оправляться и стал выходить, как

простудился снова, и горячка возвратилась. Художник не вставал более. Он скончался здесь, в Риме, третьего прошедшего октября».

Кукольник встал.

— Вы привезли тяжкую весть,— сказал он несколько напыщенно капитану.— В Риме умер один из величайших художников нашего века, мой соотечественник Орест Кипренский.

Капитан не ответил. Он перебирал апельсины. Вверху, на палубе, перекликались матросы. Итальянский язык казался особенно звонким в густом снегу, засыпавшем пустынные проспекты и дворцы Петербурга.

Капитан выбрал самый большой апельсин и подбросил его на ладони.

— Вот — возьмите,— сказал он и улыбнулся. Блеск зубов преобразил его угрюмое лицо.— В Италии никогда не перестанут созревать апельсины и художники.

Кукольник попрощался и вышел. Он спрятал апельсин в карман плаща и всю дорогу чувствовал его тяжесть и запах.

Кукольник медленно шел, прикрывая рукою рот от ветра, и думал, что не только в Италии, но и в Петербурге никогда не перестанут рождаться художники. Умер милый волшебник Орест, но живы Брюллов, Иванов и Уткин.

Петербургские дома, выкрашенные в зеленоватый, лимонный и серый цвета, казались фарфоровыми. Свет фонарей дрожал на античных фронтонах домов.

— Великий Рим среди болот и северных лесов! — сказал Кукольник, думая о Петербурге.— Великий Рим в снегах и мраке ночи. Судьба его будет прекрасна.

Эта мысль принесла утешение.

Ни одна газета и ни один журнал не откликнулись на смерть Кипренского. Кукольник недоумевал. Трудно было понять причины молчания, окружившего смерть этого мастера.

Почти через месяц после смерти Кипренского Кукольник напечатал в «Художественной газете» несколько печальных строк.

«Смерть Ореста Кипренского,— писал он,— столь неожиданно лишившая Россию одного из блистательнейших художников, промелькнула в повременных изданиях как тень, наведенная мимолетной тучей, гонимой сильным ветром. Правда, немногие подробности о последних днях Кипренского достигли до северной столицы,— но отчего не раздались даже обычные газетные элегии над гробом знаменитым? Отчего не отдана последняя дань уважения художнику? Отчего? Решить не можем, но причины обнаружатся».

Причина была проста. Кипренский был не нужен тогдашней николаевской России, как были ей не нужны Федотов и Пушкин, Рылеев и Лермонтов, Гоголь и Иванов.

Кипренский прожил короткую жизнь. Она началась блестяще, но окончилась глупо и печально. Россия сжала его за шею и медленно пригибала к земле, пока не поставила на колени перед знатью, перед царем и Бенкендорфом. И Кипренский-художник сбился с пути и умер гораздо раньше, чем спился и умер Кипренский-человек.

Итальянский апельсин долго лежал у Кукольника на письменном столе. Он придавал особую мягкость воздуху, наполненному запахом старых книг и слабой копотью свечей.

Кукольник берег его и все время старался вспомнить слышанный давно, лет пять назад, рассказ Кипренского об апельсине. Потом он все же вспомнил его и записал, но, как всегда, потерял запись среди множества заметок о живописи и неоконченных стихов.

Помнится, Кипренский рассказывал о своем детстве. Упоминал он о нем неохотно. Оно прошло на мызе под Ораниенбаумом. «Ораниенбаум» по-немецки означает «оранжевое, или апельсиновое дерево».

Старики, помнившие век Елисаветы, говорили, что название это было дано не зря. При основателе Ораниенбаума Меншикове в теплицах тамошнего дворца вызревали апельсины. Даже на гербе Ораниенбаума было изображено серебряное поле с апельсиновым деревом, усыпанным созревшими плодами.

Старики, помнившие век Елисаветы, были матросы из морской богадельни в Ораниенбауме — первые наставники и учителя мальчика Кипренского. Их звали «сурками». Все время они проводили в неторопливых беседах и сне.

Чаще всего они рассказывали о морских бурях, налетавших на линейные корабли, грохоте воли и треске снастей. После их рассказов казалось, что вся земля наполнена холодными ураганами, тяжелым дымом туч, ветрами, дождями и грозами. Старые матросы хвастались бурями, как будто сами их вызывали.

Мрачность их рассказов соответствовала окружающей природе, — белесое небо простиралось над болотистым берегом Финского залива, и томительно проходили тусклые осени и зимы.

Нетерпеливый мальчик — а Кипренский всю жизнь был нетерпелив и горяч — дожидался лета, когда солнце превратит наконец в бледное золото воды залива и зашевелится светлыми стрелами в листве дворцовых садов.

Летом матросы выползали на солище. Их беззубые рты улыбались шуму деревьев и робкому свисту птиц. Менялись и матросские рассказы. В них среди вечных непогод наступало короткое затишье. Матросы вспоминали Италию, путали названия южных морей. Их память с напугой проникала через вереницу тяжелых матросских лет, через свищевые туманы, через мутную воду старческой слепоты и вдруг озарялась светом полуденных стран, тонущих в оливковых рощах и перезвоне колоколов.

Крепкая вера моряков в то, что за пеленой дождей и бурь их ждут тихие гавани, сказывалась в этих летних рассказах матросов с особенной силой.

Мальчик Кипренский — побочный сын бригадира Дьяконова, отданный отцом на воспитание своему крепостному Адаму Швальбе, — был с ранних лет предоставлен себе. Он мог часами слушать рассказы матросов или бегать из дому в ораниенбаумские сады и прятаться там от сторожей и садовников.

Эти сады славились каналами. Веснами в них отражались заросли цветущей сирени. Мраморные статуи смотрели в зеленоватую воду холодных прудов, где плавали форели.

Ораниенбаум пугал мальчика своим безлюдьем.

Театр и дворец, построенные Растрелли, давно пустовали. На Катальной горе ни разу за многие годы не было слышно грохота увеселительных колясок. Сады, казалось, навсегда застыли в пышном запустении. Дворцовые зеркала не отражали никого, а холодные залы годами не слышали шума шагов и военной музыки времен императора Павла.

Мальчик был волен населять эти залы выдуманными героями и прекрасными женщинами. Он делал это со страстью и с полной верой в их существование.

Так с детства Кипренский привык мечтать. Спустя много лет эта героическая мечтательность сообщила особое очарование его работам. Это было в те годы, когда Кипренский превратился из крепостного мальчика в художника и о его «магической кисти» заговорила вся Европа.

В Ораниенбауме Кипренскому изредка удавалось пробираться мимо полосатой будки гренадера к самому дворцу. Мальчик осторожно подымался на террасу и, прижав лоб к холодному стеклу дверей, долго, до ломоты в висках, рассматривал старинные портреты, висевшие в залах.

Короли и императоры неторопливо скакали на этих портретах в желтом пороховом дыму. Багровые вспышки мортир освещали крутые и надменные лица. Блестели кирасы. Знамена развевались в синих грозových тучах, обрезанных тяжелой золоченой рамой.

Дома Кипренский по памяти рисовал эти портреты, а добродушный Адам Швальбе тайком от него показывал их своему барину Дьяконову. Рисунки были хорошие, и Дьяконов решил отдать совсем еще маленького мальчика в Академию художеств.

Несмотря на то, что Кипренский был сыном Дьяконова, по казенным бумагам отцом его считался Швальбе. Тотчас после рождения мальчика Дьяконов приказал Швальбе усыновить его и дать ему при крещении фамилию Копорский — по месту рождения мальчика в городке Копорье, вблизи Ораниенбаума. Под этой фамилией Кипренский и жил вплоть до поступления в Академию.

В Академии ему переименовали фамилию на Кипренский. В то время «незаконным» детям можно было выдумывать

и менять фамилии сколько угодно. Это считалось в порядке вещей.

В Академии художеств прошли детство и вся юность Кипренского.

Рассказы «сурков» о бурях, дворцовые сады и темные портреты остались в памяти Кипренского на всю жизнь.

Может быть, старым матросам он был обязан тем, что любовь к бурям, грозе и непогоде была выражена у него с особенной резкостью.

То было время французской революции, когда ветер романтики шумел над Европой.

Бледные поэты — в зарницах, в бурях и громах — пели вдохновенные песни о прелести дружбы, благородных порывах, свободе и мужестве. Наполеоновские солдаты разносили по самым глухим городкам славу побед, революционные декреты, шелест изорванных знамен. Тревога очищала умы от сытости и жеманства восемнадцатого века.

Во время учения в Академии Кипренский был покорен романтикой. Он искал ее всюду. После утомительного сидения в классах за снисыванием гипсовых Зевсов и Афродит Кипренский уходил на набережную Невы, бродил по ней и читал нараспев стихи неведомого поэта:

Ночь опустила тьму на старые сады.  
Холодный ветер свистит и бьется на полянах.  
И сердце нежное, все в пламени и ранах,  
Трепещет с полночи до утренней звезды.  
Увы, любимцы муз, свершился жребий мой!  
Поет военный рог той полночью стоокой,  
Бушуют облака. И точно! Дланью рока  
Замахнут тяжкнй меч над юною главой.

Эти стихи вызывали у Кипренского слезы. В них было все, что он любил еще с детства, — старые сады, холодный ветер, ночные лучи и нежное сердце. Потом эта любовь к бурной природе и беспокойному человеческому сердцу окрепла под влиянием времени.

«Мне часто мерещится, — писал Кипренский впоследствии, — черная качающаяся аллея дерев. Земля, кажется, окаменела, и до сих пор сохраняет она вид ужаса».

Недаром на всех портретах, написанных Кипренским в юношескую пору, позади взволнованных людей, позади поэтов, воинов и печальных женщины всегда стоит непроницаемое грозное небо. Невольно кажется, что далекий



гром и дыхание ливней покрывают нервной бледностью их лица.

Толпа этих странных и привлекательных людей как будто только что сошла на берега Невы с корабля, пришедшего из земли, созданной Байроном, из страны, где мудрые беседы и пылкие страсти сообщают существованию необычайную прелесть.

Учителя Кипренского по Академии Угрюмов и Дойен относились к живописи со страстью и строгостью. Они требовали от учеников умения рисовать с закрытыми глазами.

Дойен заставлял воспитанников Академии накладывать краски на полотно так, чтобы даже под лупой почти не было заметно следов кисти. Поверхность картины должна была быть гладкой, как полированная кость. Только после этого Дойен разрешал молодым художникам работать широкими и свободными мазками.

Все время уходило на рисование. Кипренский научился владеть карандашом с такой точностью, как хирург работает скальпелем. На чтение не оставалось времени.

Над умами художников властвовал тогда Левицкий — хитрый и добродушный украинец, создавший гениальные портреты кавалеров и дам екатерининской эпохи.

Все пытались подражать золотистому теплomu тону его картин. Этот тон молодые художники ловили и изучали всюду — в пыльных классах Академии, когда закатное солнце бросало косые лучи на паркет, в отблесках куполов и игре бронзовых шандалов, в зрачках красавиц, позлащенных пламенем свечей.

На последних картинах Левицкого золотистый тон исчез. Он сменился фиолетовым и малиновым — холодным и старческим тоном.

Это дало повод Дойену произнести перед учениками речь о различном ощущении красок в юности, зрелом возрасте и старости.

— Юности свойственна пестрота красок, зрелости тонкая мера в употреблении теплых и глубоких тонов, и старости — синеватые и холодные краски, столь похожие на цвет жил на старческих руках, — говорил Дойен и восхищался собственной пронизательностью. — Не только каждый возраст человека имеет свои любимые краски, но также и каждая страна и каждое столетие на всем про-

тяжении рода человеческого. Изучайте лица людей и краски своего века, если хотите стать его живописцами!

Кипренский следовал совету Дойена. Он изучал лица людей и краски своего века с присущей ему горячностью.

Подобно Пушкину, только что выпущенному из Лицея, Кипренский вел в то время жизнь петербургского повесы.

Но и в беспокойстве легкой жизни, среди балов, бессонных ночей и бесчисленных увлечений красавицами у Кипренского бывали минуты сосредоточенности и внимания.

Они приходили внезапно. Они застигали художника то среди улицы, то на извозчике во время возвращения с товарищеской пирушки, то в разгаре беседы с друзьями.

Как бы от сильного внутреннего толчка окружающий мир внезапно преображался. Куда ни взглянешь, всюду лежали чистые краски, то плотные, то совершенно прозрачные, созданные светом северного солнца, снегом, огнем фонарей.

Привычная земля казалась в такие минуты творением гениальных художников или архитекторов. Цвет неба и облака были как будто написаны венецианцами, а горизонты, синие от прохладного воздуха, провел своим безошибочным карандашом Растрелли.

Однажды на зимнем рассвете Кипренский возвращался из гостей. Он шел по мосту через Неву, опустив голову, и ни о чем не думал,— ему хотелось спать. Запоздалая тройка пронеслась мимо. Колкая морозная пыль посыпалась в лицо.

Кипренский очнулся, поднял голову и остановился. То, что он увидел вокруг, было больше похоже на торжественный сон, чем на петербургское утро.

Ночь не хотела уходить из столицы. Она лежала пластами тяжелого сизого воздуха у подножия зданий в глубине садов.

Взошло солнце. Багровый свет уже загорался в окнах дворцов и падал вниз, в темноту, вырывая из нее то полосатую будку часового, то бронзовый памятник полководцу, седой от снежной пыли, то капитель колонны, украшенную замерзшими листьями аканта.

Небо Италии простиралось в зените, чистое и прекрасное, с грудой легких розовеющих облаков. Летел густой, медленный снег. При ясности неба это казалось непонят-

ным. Чудилось, что снег зарождается в чистом воздухе между землей и небесным сводом.

Кипренский долго смотрел на торжественное падение снега среди немоты и безлюдья петербургских площадей. Снег осторожно ложился на чугунные перила мостов, на меховой ворот шинели и спины спящих извозчиков.

Столица покрывалась белым блеском. Далекие куранты пробили семь. Вокруг был разлит запах лесов, подступавших к Петербургу с севера и востока.

«Как я счастлив, что родился в России»,— подумал Кипренский.

У себя в комнате Кипренский сбросил мокрую шинель и сел к топившейся печке.

— Где,— сказал он с тоской,— где я возьму красок, чтобы изобразить это зимнее безмолвие, и этот блеск, и дворцы, утратившие объем и тяжесть, и, наконец, волнение своего сердца? Какой божественной кистью я смогу передать немой восторг этого утра?

А назавтра после этих мыслей молодой художник — снова щеголь и повеса — забывал обо всем, откладывал кисти и спешил на вахтпарад. Там, стоя на одной ноге и вытянув носки, замирали под водянистым и бешеным взглядом императора Павла полки. Там ждала Кипренского знакомая девушка — любительница военных учений.

Сверканье сабель, поднятых к небу, грохот барабанов и мерный топот полков, вращавшихся вокруг курносого императора,— все это вызывало ее восхищение.

— Я могла бы отдать сердце только военному,— сказала она однажды Кипренскому.

На следующем вахтпараде Кипренский прорвался сквозь строй солдат, бросился к Павлу и крикнул:

— Ваше величество! Я художник, но я хочу променять кисть на саблю. Молю принять меня в армию.

Павел, сморщившись, посмотрел на молодого франта и придержал коня.

— Убрать его,— сказал он сквозь зубы.— Военный парад есть таинство. Никому не вольно нарушать его безрассудными криками.

Кипренский получил жестокий выговор от начальства. Выговор был прочитан в присутствии всех учеников Академии.

Товарищи обидно пожимали плечами. Трудно было понять, как юноша, обладающий таким талантом, столь

легкомысленно хотел променять его на расположение женщины.

Кипренский мучился тяжелым стыдом, но вскоре забыл о случае на вахтпараде. Он был легкомыслен не только в молодости, но и потом, в зрелые годы. Детская неустойчивость и погоня за внешним блеском в конце концов погубили его.

Еще в Академии Кипренский написал пейзаж «Пруд» — один из прекраснейших пейзажей русской живописи. Он полон тишины и прелести.

Пруд неподвижен. Вода в нем гладкая и дымная, — такую она бывает ранним утром или после заката.

Стены высоких деревьев, темные чащи неподвижно стоят по берегам пруда. В небе висят серые, насыщенные росой облака. Мраморная статуя женщины на берегу печально смотрит в светлую воду.

По своей простоте и мягкости эта картина Кипренского равна пушкинским элегиям. Поэзия сумерек выражена в ней с тончайшим мастерством.

Друзья Кипренского говорили, что он, как ночная птица, начинал жить только в сумерки.

Невольно кажется, что к Кипренскому относятся две позабытые пушкинские строчки, начало неоконченных стихов:

Скажи мне, ночь, зачем твой тихий мрак  
Мне радостней...

Последняя строка оборвана, но содержание ее ясно. Мрак ночи радостнее разоблачающего дневного света. Романтиков всегда привлекали сумерки, когда не только природа, но и лица людей чудятся таинственными и вдохновенными.

Почти в то же время Кипренский написал портрет своего отца.

Много лет спустя он выставил этот портрет в Неаполе. Неаполитанские художники пришли в величайшее волнение. Кипренский был вызван к президенту Неаполитанской академии художеств Николини.

Старый и желчный итальянец встретил Кипренского подозрительно и сказал, что лучшие знатоки живописи тщательно исследовали портрет и нашли, что он не мог быть написан художником девятнадцатого века. Портрет

был признан работой Рубенса, которую Кипренский выдает за свою. Правда, голоса знатоков разделялись. Иные считали портрет работой Ван-Дейка, другие — Рембрандта.

Кипренский расхохотался в лицо президенту. Николини закричал, что неаполитанские академики не позволят столь наглым образом обманывать себя какому-то иностранцу.

Конечно, Кипренский без труда доказал, что портрет принадлежит его кисти, и долго потом издевался над неаполитанцами.

В 1803 году Кипренский блестяще окончил Академию. Начались лучшие годы его жизни.

Недаром Кипренский следовал совету Дойена и изучал лица людей своего века. Он создал галерею портретов, где каждое лицо передавало законченный внутренний образ человека, самые примечательные черты его характера.

Изучение портретов Кипренского вызывает такое же волнение, как если бы вы долго беседовали со многими полководцами, писателями, поэтами и женщинами начала девятнадцатого века.

Кипренский писал свежо, широко и законченно.

На его портретах существуют не только лица, но как бы вся жизнь написанных им людей — их страдания, порывы, мужество и любовь. Все это оставило след на их облике и было перенесено на холст.

Один из современников Кипренского говорил, что, оставаясь наедине с его портретами, он слышит голоса людей.

В этом была доля правды. Живость впечатления так велика, что, глядя на портрет Пушкина, как будто слышишь давно знакомый голос поэта, обращенный к нам, его далеким потомкам.

Галерея работ Кипренского разнообразна. Это великолепные автопортреты, портреты детей и его современников — поэтов, писателей, государственных мужей, полководцев, любителей живописи, купцов, актеров, крестьян, моряков, декабристов, художников, масонов, скульпторов, коллекционеров, просвещенных женщин и архитекторов.

Достаточно перечислить несколько имен, чтобы понять, что Кипренский был подлинным живописцем своего времени: Пушкин, Крылов, Батюшков, слепой поэт Козлов, Ростопчин, графиня Кочубей, знаток искусств Оленин, Голенищев-Кутузов, масоны Комаровский и Голицын, адмирал Кушелев, Брюллов, актер Мочалов, переводчик «Илиады» Гнедич, легендарный кавалерист Денис Давыдов — «боец чернокудрявый с белым локоном на лбу», партизан Фигнер, строитель одесского порта де Воллан, декабрист Муравьев, поэты Вяземский и Жуковский, архитектор Кваренги.

Этот список юношеских работ Кипренского далеко не полон. Кипренский оставил еще несколько автопортретов.

Он писал себя то подмастерьем живописи, то мечтательным мальчиком, читающим стихи, то изящным и оживленным светским юношей, объединившим в себе образы Моцарта и Евгения Онегина.

Но на всех этих портретах он одинаков — нервный, легкомысленный, тонкий, с косыми взлетающими бровями. Товарищи звали его «нежным франтом», а один из них оставил о Кипренском скупую, но выразительную запись:

«Был он среднего роста, довольно строен и пригож, но еще более любил делать себя красивым».

Незадолго до войны 1812 года Кипренский был послан в Москву в помощники скульптору Мартосу. Мартос работал в то время над памятником Минину и Пожарскому.

В Москве Кипренский продолжал писать с прежней горячностью и мастерством.

Он мечтал о поездке в Италию, о Риме — второй родине художников, но границы были закрыты.

Армия Наполеона шла по Европе в громе сражений и побед. Музей сотрясался от гула канонады. Ядра скакали по бульварам музыкальной Вены. Художники ушли с полей, уступив место лафетам, пыльной гвардии и санитарным повозкам.

Кипренский смирился и усердно помогал Мартосу — умному скульптору, уже прославленному памятником герцогу Ришелье в Одессе.

В это время талант Кипренского достиг полного выражения. Легкомыслие как бы покинуло художника. Он

чувствовал глубоко и сильно и со смелостью и тактом передавал то, что чувствовал.

Работа ему давалась легко. Он был подлинным «баловнем счастья».

Из Москвы Кипренский переехал в Тверь, где в то время жила дочь Павла Первого, принцесса Екатерина Павловна. Она пригласила Кипренского к себе и окружила заботами.

Дворец Екатерины Павловны был превращен в своего рода клуб литературы и изящных искусств. Многие выдающиеся люди Москвы бывали здесь запросто.

Окна дворца каждый вечер пылали сотнями свечей. В гостиной курили, спорили, читали стихи и остро словили московские поэты и писатели, меценаты и художники.

Приближалась война. Дыхание боевых дней, передвижение армии, тревога, охватившая страну,— все это способствовало напряженной и взволнованной мысли.

Иногда в полночь быстро входил новый неожиданный гость. От его плаща шел запах ветра и полей. Он нетерпеливо скакал из Москвы в Тверь на перекладных, чтобы сообщить последние вести о баталиях и выслушать чтение высокопарных стихов и шум страстных споров.

Тусклый фонарь у тверского шлагбаума и ленивый сторож-инвалид перевидали в то время много приезжих, памятных всей России.

Кипренский жил вместе со всеми приподнятой и бессонной жизнью.

Но однажды вечером никто не приехал. На городскую площадь вошел на рысях полк угрюмых улан и расположился биваком. Горели костры, освещая черные капли дождя. Громко жевали лошади. Запах дыма, навоза, лошадиного пота и хлеба был неотделим от хриплой брани и дребезжащего голоса трубы. Москва была занята Наполеоном.

В Твери стало тихо. Больше никто не приезжал. Кипренскому было некогда рисовать. Тогда он начал писать портреты крестьян и пейзажи на окраинах Твери и берегах Волги.

Карандаш сменил кисть. Кипренский только подцвечивал свои рисунки с удивительной тонкостью.

Слава молодого Кипренского росла стремительно.

Он вернулся из Твери в Петербург почти признанным гением. Слух о нем проник в Западную Европу. Вся сто-

лица говорила о «волшебном карандаше» художника. Легкость, с какою он создавал свои портреты, казалась чудом.

Кипренский был приглашен ко двору писать портреты великих князей. Все именитые люди столицы добивались чести быть увековеченными Кипренским.

Законное признание художника знатоками живописи преобразилось в петербургском высшем свете в пустую и трескучую моду. Кипренский стал моден, как в то время были модны коралловые ожерелья среди женщин и звонкие брелоки — «шаривари» — среди мужчин.

Кипренский начал писать еще лучше. Мастерство его портретов, особенно портрета Хвостовых, достигает как бы предела человеческих возможностей. Петербург подхватывает брошенное кем-то крылатое слово, что краски Кипренского действуют на людей, как рейнвейн. Они рождают резкие переходы от улыбки к необъяснимой печали, от восторга к задумчивости.

Кипренский, обладавший величайшим даром импровизации, но лишенный многих необходимых знаний, упорства и мужества, погружался в блеск славы. Он не жалел себя. Вдохновение — непередаваемое состояние, предел мечтаний художников и поэтов — длилось дни, недели, месяцы.

Вдохновение заставляло его смеяться от радости при каждом удачном ударе кисти, страдать от бессонницы, бродить по Петербургу в зелени и блеске белых ночей, всматриваться в спящие многоцветные воды, чтобы потом перенести эти краски на полотно.

Вера в могущество и светлый дар своих рук, глаз, своего ощущения мира держала художника в непрерывном внутреннем напряжении.

Из мастерской, пахнувшей лаком, он едет в императорские дворцы, где воздух кажется ему благородным от множества картин, мебели и бронзы, сделанных руками славных мастеров. Выйдя из дворца, он встречает друзей, приветствующих его молодо и радостно. Он встречает женщин, открыто улыбающихся ему, его славе, его счастливой юности, — женщин прекрасных и ждущих столь же прекрасной любви.

Кружится голова. Дни мелькают в жестоком напряжении. Где-то в глубине мозга уже родилась, как мышшь, усталость и начинает грызть, пока еще осторожно и роб-



ко, вызывая приступы головной боли. Усталость и головную боль Кипренский заглушал вином.

Кипренский не знал, да и не мог знать, что слава для таких людей, как он, — страшнее смерти.

Он любовался славой, гордился ею. Он искренне верил лести и трескучим тирадам журналистов. Он думал, что мир уже лежит у ног, покоренный его мастерством.

Он не знал, что талант, не отлитый в строгие формы культуры, после мгновенного света оставляет только чад. Он забыл, что живопись существует не для славы. Он пренебрег словами Пушкина о том, что «служенье муз не терпит суеты; прекрасное должно быть величаво...».

За это он расплатился впоследствии тяжело и жестоко.

Кто знает, чем бы кончились эти напряженные дни, если бы не наступила передышка. Кипренскому было разрешено уехать в Рим «для усовершенствования в живописном мастерстве».

Может быть, Кипренский надорвался бы и умер молодым, как умирали многие талантливые люди в тогдашней России. Может быть, живя вблизи Жуковского и Пушкина, живя в кругу людей, знавших его душевную неуравновешенность, он никогда не сделал бы искусство средством для жизненного успеха. Кто знает?

Сам он втайне сознавал, что совершает ошибку, но, не привыкший разбираться в своих душевных состояниях, не мог решить, как найти от нее избавление.

Он неясно тосковал о друге, который удержал бы его от погони за удачей и внешним блеском, вылечил бы от безволия и внушил мудрость большого человека и скромность подлинного гения. Тоска о друге-хранителе преследовала Кипренского до самой смерти, но жажда легкой жизни и удачи преодолела все.

От Петербурга до Любека Кипренский плыл на корабле. Море бушевало. Кипренский восхищался. Ему казалось, что корабль несет его в туманные страны романтики, взлелеянные в мечтах еще с детства.

Любек поразил его пустынностью. Недавно из города ушли последние наполеоновские полки. Германия встре-

тила художника шелестом придорожных тополей и шумом быстро текущего Рейна. Наконец коляска Кипренского достигла Швейцарии. Он увидел Альпы.

«Я видел,— восклицает он в письме к Оленину,— горы, осужденные на вечные льды».

Кипренский остановился в Женеве, где написал несколько портретов и был избран членом художественного общества. Это избрание он встретил как должное.

Из Женевы он выехал в Италию. Радость не покидала его. Цветение чуждой природы создало вокруг него новый живописный мир.

Густые леса на берегах Лаго-Маджоре встречали его легким гулом. Свет солнца трепетал на их листве, как на поверхности моря. «Винограды горели, как яхонты. Селения улыбались своему изображению в лазоревой воде». Голоса пастухов звучали непонятно и весело в теплом неподвижном воздухе.

В Милане Кипренский целые дни проводил около «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Сторожа, хранители картины, рассказывали ему, как сам Наполеон несколько часов сидел перед творением Леонардо в глубокой задумчивости. Созерцание «Тайной вечери» внушило Кипренскому новую веру в свои силы.

«При виде творений гения,— писал он,— рождается смелость, которая в одно мгновение заменяет несколько лет опытности».

В миланском театре Кипренский впервые услышал «Волшебную флейту» Моцарта.

Чистые звуки моцартовской музыки, похожие на голоса серебряных труб, привели его в восхищение. В музыке Моцарта Кипренский хотел найти оправдание для себя,— ведь создал же Моцарт, капризный и ветреный, как женщина, проводивший ночи в пирушках и похождениях, эту высокую музыку.

Но Кипренский не знал, что Моцарт никогда не подчинял музыку низкому житейскому успеху.

Дилижанс въехал в Рим поздним вечером. Он задержался в Альбани, где ленивые жандармы окуривали серой вещи путешественников. В окрестностях Рима свирепствовала холера.

Когда стих грохот колес по каменной мостовой, Кипренский услышал свежий шум воды в городских фонтанах. Вода журчала и пела, наполняя ночь усыпительным плеском.

Сердце у Кипренского тяжело билось. Его провели в темную сводчатую комнату гостиницы и зажгли свечи.

Он тотчас же погасил их и распахнул окно. Ночь, великая, как далекое прошлое, стояла над Римом. Казалось, атланты держали ночное небо на широких плечах и от усталости все ниже склонялись к земле, приближая к ней звезды.

Неразгаданный город лежал у ног художника. Кипренский долго всматривался, пытаясь различить величественные руины, и внезапно вздрогнул,— в темноте высился огромный тяжелый купол собора, более черный, чем ночь. Это был храм святого Петра.

Кипренскому стало страшно. Он вспомнил последние петербургские годы. Внезапная усталость спутала его мысли.

«Не исчерпал ли я себя петербургским нествованием? — подумал Кипренский, отходя от окна.— Хватит ли сил продолжать начатое столь же успешно? Достигнули ли я вершин Рафаэля? А достигнуть надобно».

«Нет!» — мерно сказал кто-то из темноты за окном.

Кипренский быстро обернулся,— это тяжелый церковный колокол отсчитывал часы.

«Нет!» — повторил колокол и стих, но темнота еще долго гудела от его медного голоса.

Было два часа ночи. Силы оставили Кипренского. Он уснул, не раздеваясь.

А утром в лицо полилось густое римское небо. Голубой воздух наполнял комнату. Пели фонтаны. Звонили колокола. Внизу на тесной площади бранились итальянки, продавщицы овощей, и отчаянно вопили погонщики ослов.

Кипренский быстро умылся, сбежал, насвистывая, с лестницы и смешался с пестрой толпой, расступившейся перед красной каретой кардинала.

Ветер пролетал над Римом и нес сухие и пышные облака, такие же, как на картинах старых мастеров.

Кипренский, отравленный славой, растерялся в загадочном Риме.

С каждым днем он все больше убеждался, что вершины Рафаэля ему не по силам. Он испытывал чувство, описанное Гоголем: «Могучие создания кисти возносились сумрачно перед ним на потемневших стенах, все еще непостижимые и недоступные для подражания».

В чем была тайна Рафаэля? В чем было очарование старых мастеров? Как открыть эту тайну и перенести на свои холсты легкость чужой кисти?

Кипренский не знал. Он хотел покорить Рим, как недавно покорил Петербург. Он торопился и потому пошел по самому легкому пути.

Картины Рафаэля были выписаны тонко и гладко. Кипренский решил выписывать свои работы так же тщательно, как Рафаэль и Корреджо. Выходило сухо, мертво. Художник изменил себе. Глаза его как будто не видели живых красок.

Вместо великолепных портретов он начал писать скучные композиции Христа, окруженного детьми, и слащавые головки цыганок с розами в волосах.

Он хотел покорить Рим, но не знал Рима.

Однажды Кипренский услышал, как на улице весело распевали песню о Брюллове. Впервые зависть вошла в сердце. Рим — вечный Рим! — пел песню о молодом русском художнике, но не о нем, не о блистательном Оресте.

Кипренский был чужд Риму. Галерея Уффици во Флоренции заказала ему его собственный портрет. Но Кипренскому было мало этого. О портрете знали многие, но не весь Рим.

Кипренскому хотелось быть блестящим не только в живописи, но и в повседневной жизни. Он мечтал о том, как всюду — в остерях и дворцах, в Ватикане и академиях, среди прелестных римлянок и завистливых художников — громкая слава летит за ним, кружит головы, дает богатство, беспечность, любовь, преклонение.

В Риме для Кипренского пришло время последнего выбора между суровой жизнью подлинного художника и позолоченным существованием модного живописца. Кипренский выбрал последнее.

В то время военная гроза уже отшумела. Наполеон был сослан на пустынный остров в океане. Громы революции затихли в сонном воздухе Европы.

Романтика умирала, не находя опоры в окружающей жизни. Место прежних героев и бледных от нежности женщин заняли Чичиков и Хлестаков. Романтика умирала, и вместе с ней медленно умирал художник Кипренский.

Русские художники, жившие в Риме, скоро наскучили Кипренскому.

Все дни напролет они свистели, как дрозды, за мольбертами в своих тесных комнатах, а по вечерам заполняли остерии на Испанской площади, затевая за дешевым вином бесплодные споры.

Они отращивали бороды, чтобы быть похожими на мастеров Возрождения, небрежно закидывали через плечо плащи, мечтали о славе Кановы, болели римской лихорадкой «терцаной» и время от времени умирали от чахотки. Рим был губителен для северян.

Только двое русских привлекали Кипренского — Брюллов и застенчивый чахоточный Тamarinский.

Дружба с Брюлловым не ладилась. Он обидно молчал, рассматривая последние итальянские работы Кипренского. Мнительный Кипренский объяснял это завистью.

Тamarinский тоже молчал, но в глазах его не было осуждения. Даже в Риме он кутал в шарф худую шею и жаловался на сырость ночей,— по вечерам ветер приносил из Кампаньи запах болот.

Тamarinский был сыном дьякона. Его отец надорвался, читая Евангелие на литургии в присутствии императора Павла. Этим обстоятельством друзья Тamarinского объясняли хилое здоровье художника, родившегося через год после этого случая.

Тamarinский был знаком со знаменитым датским скульптором Торвальдсенем, соперником итальянского скульптора Кановы, жившим в то время в Риме.

Торвальдсен только что закончил бюст лорда Байрона. Весь Рим говорил о недавнем посещении города английским поэтом.

Кипренский еще с петербургских дней хранил в своем сердце память о Байроне. Он горько досадовал на судьбу, приведшую его в Рим уже после отъезда Байрона. Он завидовал даже слугам в остериях, видевшим прекрасного британца.

Кипренский уговорил Тamarinского вместе пойти к

Торвальдсену посмотреть бюст Байрона и поговорить о поэте.

В то время Кипренский писал картины на аллегорические сюжеты — «Анакреонтову гробницу» и «Цыганку с миртовой веткой в руке». Писал он вяло, стараясь приятностью красок и зализанностью мазка вызвать восхищение итальянской публики.

Картины хвалили, особенно «Анакреонтову гробницу». Итальянский поэт Готти даже воспел ее в тяжеловесных стихах. Но все это было не то, — в похвалах не хватало искреннего волнения, как и в картинах уже не было живой игры красок и свободной кисти.

Посещение Торвальдсена доставило Кипренскому величайшую горечь и радость.

Светловолосый датчанин — обычно ленивый и беспечный — был в тот вечер сердит и взволнован.

Когда Кипренский вместе с Тамаринским поднимались в мастерскую Торвальдсена по железной грохочущей лестнице, из дверей мастерской выскочил толстый человек. Обмахивая шляпой потное лицо, он промчался мимо Кипренского и едва не сбил его с ног. Кипренский узнал в нем скульптора-итальянца, известного своими ловко сделанными, безжизненными статуями.

Внезапно дверь мастерской распахнулась. В ней появился Торвальдсен.

— Я зубами высеку из мрамора лучше, чем ты резцом! — крикнул он вслед убежавшему скульптору и захлопнул дверь.

Кипренский поколебался и осторожно постучал. Слуга открыл дверь. Торвальдсен быстро ходил по мастерской. На диване с цилиндром в руке сидел красавец Камуччини — известный Риму исторический живописец — и смеялся, глядя на Торвальдсена.

— Я удивляюсь, как развитой человек может сейчас смеяться! — сказал Торвальдсен и обернулся. Гнев быстро сошел с его лица. Через минуту он уже наливал в стаканы вино и отгонял мохнатых собак, царапавших лапами бархатные жилеты гостей.

Оживленно беседовали о скульптуре. Кипренский сказал, что мраморы Ватикана представляются ему мертвыми и не вызывают волнения, свойственного великим творениям искусства.

— Мой русский друг, — сказал Торвальдсен, посмеиваясь и разглядывая на свет вино, — мой знаменитый

друг, позвольте мне сегодняшней ночью показать вам эти мраморы, и вы измените ваше легкомысленное суждение.

— Как, ночью?— воскликнул Кипренский.

— Не будем раньше времени разглашать нашу тайну,— хитро сказал Торвальдсен.

Камуччини снисходительно улыбнулся.

— Нельзя оскорблять мрамор!— воскликнул Торвальдсен.— Ничто лучше мрамора не может выразить чистоту человеческого тела. Он слишком тонок для моих грубых рук. Я преклоняюсь перед благородным резцом Кановы. С детства я привык высекать статуи из дерева. Я помогал отцу. Мой отец—исландец, резчик по дереву в Копенгагене,—делал деревянные фигуры для носов кораблей. Он был плохой художник. Его деревянные львы были похожи на толстых собак, а нериды—на торговков рыбой.

Торвальдсен засмеялся.

— Отец очень горевал, что ему не удастся работа. Вечером, за несколько часов перед моим рождением, мать сидела за прялкой. Она ждала родов, была рассеянна и забыла завязать нитку на прялке. Это у нас, датчан, считается счастливой приметой. «Петер,— сказала мать отцу уже после того, как я родился,— не горюй. Я забыла завязать нитку на прялке. Значит, сын принесет нам счастье».— «Я не знаю, что это такое»,— сказал отец. «Я тоже хорошенько не знаю»,— ответила мать,— но я думаю, что счастлив тот, кто доставляет счастье многим людям».

Торвальдсен налил Кипренскому вина.

— Пейте! Все матери ошибаются, когда говорят о своих детях. И моя мать ошибалась, когда так думала обо мне. Я рассказал вам это затем, мой знаменитый русский друг, чтобы привести наивные слова моей матери о счастье. Я завидую вам. Вы должны быть беззаботно счастливым человеком. Я знаю ваши петербургские работы. Поэтому пейте и не спрашивайте меня о бюсте Байрона. Я его не покажу.

— Почему?

— Об этом мы поговорим по дороге в Ватикан.

Торвальдсен встал.

— Ночь уже достаточно темна,— сказал он,— чтобы смотреть античные статуи.

Кипренский недоумевал. Они вышли. Римская ночь была полна тьмы, огней, затихающего грохота колес и запаха жасмина.

— Почему вы не хотите показать нам бюст Байрона?— спросил Камучинни.— Неужели мы не достойны этого?

Торвальдсен остановился около лавчонки с фруктами и закурил трубку от толстой свечи, прилепленной к прилавку. Связки сухой кукурузы висели попеременно с гроздьями апельсинов.

— Друзья,— сказал Торвальдсен,— не обижайтесь. Я не покажу вам Байрона потому, что эта работа несовершенна и не передает души поэта. Когда Байрон вошел в мою мастерскую, я обрадовался так сильно, как исландские дети радуются после зимы летнему солнцу. Я пел, работая над бюстом, хотя Байрон позировал ужасно. Его лицо было все время в движении. Ни на одно мгновение оно не могло застыть. Тысячи выражений срывались с этого прекрасного лица точно так же, как с его губ срывались тысячи то веселых, то острых, то печальных слов. Я делал ему замечания, но это не помогало. Когда я кончил бюст, Байрон мельком взглянул на него и сказал: «Вы сделали не меня, а благополучного человека. На вашем бюсте я не похож».— «Что же дурного, если человек счастлив?»— спросил я. «Торвальдсен,— сказал он и лицо его побледнело от гнева,— счастье и благополучие так же различны, как мрамор и глина. Только глупцы или люди с низкой душой могут искать благополучия в наш век. Неужели на моем лице нет ни одной черты, говорящей о горечи, мужестве и страданиях мысли?» Я поклонился ему и ответил: «Вы правы. Мой резец мне изменил. Я радовался, глядя на вашу голову, а радость туманит глаза».— «Мы еще встретимся»,— сказал Байрон, пожал мою руку и вышел. На днях один богатый русский предложил мне за бюст тысячу цехинов.

— И что? — живо спросил Кипренский.

— Ничего. Я сказал ему: «Если бы вы, сударь, предложили мне деньги за то, чтобы разбить бюст, я взял бы их охотно. Свои ошибки я не продаю».

Торвальдсен засмеялся. Кипренский молчал. Все, что говорил Торвальдсен, причиняло ему боль. Датчанин бередил открытую рану.

«Даю ли я сейчас счастье многим людям, как это бы-



ло ранее? — думал Кипренский.— Неужели только глупцы пытаются устроить благополучие своей жизни?»

Размышления эти были прерваны приходом в Ватикан. Торвальдсен передал привратнику пропуск от кардинала.

При свете тусклой свечи они прошли по темным и гулким залам, где столетиями жили в тишине статуи, фрески, картины и барельефы. Лысый старик монах шел следом за Торвальдсеном.

Торвальдсен остановился посреди обширного зала. В нишах тускло белели мраморы.

— Отец! — негромко позвал Торвальдсен монаха.

Старик подошел. Торвальдсен взял из его рук факел, не замеченный ранее Кипренским, и поднес к нему свечу.

Багровое пламя рванулось к потолку, и под стенами внезапно засверкали статуи, озаренные колеблющимся светом.

— Теперь смотрите! — негромко сказал Торвальдсен.

Художники стояли неподвижно. Кипренский всматривался в неясную игру огня на теплом камне. Он старался закрепить в памяти движения теней, сообщавшие необычайную живость лицам героев и мраморных богинь. Знакомая по петербургским дням, давно позабытая душевная дрожь овладела им. Слезы комком подступили к горлу.

— Ну, что же, камень живет? — тихо спросил Торвальдсен.

— Живет, — глухо ответил Кипренский.

— Живет, — повторили Камуччини и Тамаринский.

— Друзья, — веско сказал Торвальдсен, — только так рождаются образы от античной скульптуры и создаются в тайниках нашей души законы мастерства.

Художники все еще стояли неподвижно. Они молчали. Огонь шумел, освещая бесконечные залы.

Всю эту ночь Кипренский не спал. Как всегда, звонили колокола, и от тяжелых слез болело сердце.

«Где, на каких путях я потерял законы мастерства? Смогу ли я быть снова свободным?» — спрашивал себя Кипренский, но тотчас же эта мысль тонула в дремоте и в пении старых позабытых строк:

И сердце нежное, все в пламени и ранах,  
Трепещет с полночи до утренней звезды...

Утомленный художник уснул. Рассвет разгорался над Римом.

Потрясение, пережитое в залах Ватикана, не прошло бесследно. Снова с прежним волнением Кипренский начал работать над портретом князя Голицына — одним из самых поэтических полотен русской живописи.

С прежним проникновением изображен у Кипренского этот мистик и аристократ, личный друг императора Александра.

Эта работа Кипренского написана в глубоких, бархатистых коричневатых и синих тонах. Позади сидящего бледного князя виден Рим, купол собора святого Петра, темные деревья и небо, покрытое пышными грозowymi облаками — такими, как на картинах старых мастеров.

Второй портрет — княгини Щербатовой — Кипренский написал в мягких и блестящих красках, таких же мягких, как шелковая шаль, накинутая на плечи княгини. Все лучшее, что осталось в Кипренском от житейских встреч с женщинами, он воплотил в образе Щербатовой — задумчивость, нежность, девческую чистоту.

Это, пожалуй, были последние работы Кипренского, если не считать прекрасного портрета Голенцевой-Кутузовой и нескольких рисунков. В последний раз Кипренский вызывал своей кистью из глубин воображения любимых героев и женщин, — их уже не было в подлинной жизни. Это была вспышка перед концом.

После этого Кипренский писал слащавые и фальшивые вещи — жеманных помещиц, скучных богатых людей, представителей равнодушной знати. Он пытался заменить прежние острые характеристики изображением бытовых подробностей. Он наивно думал, что одежда, перстни, кресла и трубки смогут рассказать о человеке больше, нежели рассказывала раньше его гениальная кисть.

Свободные движения людей на портретах сменила деревянная и тупая поза. Краски сделались грязными, мутными и угнетали глаз. Заказы сыпались сотнями. В ящике письменного стола кучами валялись ассигнации и звенело золото.

В это время случилось событие загадочное, оставившее черную тень на всей дальнейшей жизни Кипренского.

Для картины «Анакреонтова гробница» Кипренский разыскал красивую натурщицу. У нее была дочь — маленькая девочка Мариучча. Кипренский рисовал и мать и дочь.

Однажды утром натурщицу нашли мертвой. Она умерла от ожогов. На ней лежал холст, облитый скипидаром и подожженный.

Через несколько дней в городской больнице «Санта-Спирито» умер от неизвестной болезни слуга Кипренского — молодой и дерзкий итальянец.

Глухие слухи поползли по Риму. Кипренский утверждал, что натурщица убита слугой. Медлительная римская полиция начала расследование уже после смерти слуги и, конечно, ничего не установила.

Римские обыватели, а за ними и кое-кто из художников открыто говорили, что убил натурщицу не слуга, а Кипренский.

Рим отвернулся от художника. Когда он выходил на улицу, мальчишки швыряли в него камнями из-за оград и свистели, а соседи — ремесленники и торговцы — грозили убить.

Кипренский не выдержал травли и бежал из Рима в Париж.

Перед отъездом он отвел маленькую сироту Мариуччу в сиротскую школу для девочек, в «консерваторию», и поручил ее настоятелю-кардиналу. Он оставил деньги на воспитание девочки и просил немногих художников, еще не отшатнувшихся от него, заботиться о Мариучче и сообщать ему о ее судьбе.

В Париже русские художники, бывшие друзья Кипренского, не приняли его. Слух об убийстве дошел и сюда. Двери враждебно захлопывались перед ним. Выставка картин, устроенная им в Париже, была встречена равнодушно. Газеты о ней промолчали.

Кипренский был выброшен из общества. Он затаил обиду. В Италию возврата не было. Париж не хотел его замечать. Осталось одно только место на земле, куда он мог уехать, чтобы забыться от страшных дней и снова взяться за кисть. Это была Россия, покинутая родина, видевшая его расцвет и славу.

В 1823 году, усталый и озлобленный, Кипренский вернулся в Петербург.

Сырое небо Петербурга залечивало раны медленно. Старые друзья не знали, о чем говорить. Никто из них не расспрашивал Кипренского об Италии. Их нарочито веселые и однообразные возгласы при встрече: «Ба, Орест, да ты все таков же!» — смертельно надоели художнику.

Кипренский понял, что дружба хиреет от долгой разлуки. Прошрое вспоминалось со вздохом, а иной раз с равнодушием и скукой.

Только сады, холодная Нева и небо оставались все те же, — их дружба была неразделимой и вечной. Она не требовала ответных чувств.

Кипренский работал, получая достойные заказы, бывал при дворе, где рисовал с бюста Торвальдсена портрет только что умершего императора Александра Первого, изредка его навещали покровители и друзья.

Но все это было не то. Потускнели глаза, в них появилось беспокойное выражение, ослаб голос. По утрам художник часами лежал в постели, ни о чем не думая и ни к чему не прислушиваясь.

Иногда, накладывая на полотно серую или молочно-розовую краску и как бы не замечая ее мертвого тона, Кипренский вдруг бросал с бешенством кисть на пол, срывал с вешалки плащ и выбегал на улицу. Он шел, не замечая людей, на окраины города, где гнили в тумане тусклые домишки, и возвращался только к ночи.

Бывало это всякий раз в то время, когда что-нибудь в окружающей Кипренского петербургской жизни напоминало ему Италию. Глухая сердечная боль по светлому воздуху, по древним колоннам, горячим от солнца, по запаху жасмина приходила все чаще и чаще. С непонятным упорством Кипренский показывал друзьям картины, написанные в Италии, и требовал похвал. Все сделанное в Италии казалось ему прекрасным. Друзья хмурились и пожимали плечами.

Кипренский писал сейчас ни хорошо, ни плохо, — что-то погасло внутри. Однажды к нему прислали от Бенкендорфа. Граф просил Кипренского написать портреты его детей.

Кипренский махнул рукой и согласился. Теперь ему было все равно — писать ли Пушкина или Бенкендорфа, Кюхельбекера или Аракчеева. Слабость свою Кипренский пытался прикрыть напускным легкомыслием и старался не вспоминать слов, сказанных им много лет назад, когда ему посоветовали писать портрет Аракчеева:

— Писать его надо не красками, а грязью и кровью, а таких вещей на моей палитре не водится.

Только два события запомнились Кипренскому из этих последних петербургских лет: наводнение 1824 года и работа над портретом Пушкина.

В день наводнения Кипренский ни разу не вспомнил об Италии. Утром он проснулся от пушечных ударов, сотрясавших стены. Ветер свистел в темных коридорах пустого дома. Кипренский распахнул дверь мастерской и засмеялся,— его, еще горячего от сна, сразу же обдуло запахом морской воды. За окнами непрерывно мчалось к востоку черное угрюмое небо.

— Буря! — крикнул Кипренский и подбежал к окну.

Буря бушевала над Петербургом, как возвращенная молодость. Редкий дождь хлестал в окна. Нева вспухала на глазах и переливалась через гранит. Люди пробегали вдоль домов, придерживая шляпы. Ветер хлопал черными шинелями. Неясный свет, зловещий и холодный, то убывал, то разгорался, когда ветер вздувал над городом полог облаков.

Кипренский спустился на улнцу. Пушкин били все тревожнее и чаще. Мокрые уланы неслись вскачь по затопленным мостовым, шумно взбивая пену. Смоленские лодки качались на привязи около чугунных оград. Нева шла громадой железной воды и грозно рокотала около мостовых устоев. В домах горели свечн.

Непонятный восторг вселился в душу Кипренского,— он дрожал от холода и возбуждения. Художник торопливо вернулся домой, зажег огонь в круглой чугунной печке и схватил краски. Чем было лучше всего передать цвет этого ненастного дня? Кипренский выбрал сепию. Рисунок он нанес нервным брызгающим гусиным пером. Так появилось его «Наводнение».

Когда Кипренский писал портрет Пушкина, поэт был озабочен, хотя и пытался шутить.

Кипренский решил всю прелесть пушкинской поэзии вложить не в лицо поэта, бывшее в то время утомленным и даже чуть желтоватым, а в его глаза и пальцы. Глазам художник сообщил почти недоступную человеку чистоту, блеск и спокойствие, а пальцам поэта придал нервическую тонкость и силу.

— Ты мне льстишь, Орест,— промолвил грустно Пушкин, глядя на оконченный портрет.

Однажды Пушкин прочел Кипренскому стихи об Италии, как бы чувствуя тоску художника по недавно покинутой «стране высоких вдохновений»:

Где пел Торквато величавый;  
Где и теперь во мгле ночной  
Адрнатической волной  
Повторены его октавы;  
Где Рафаэль живописал;  
Где в наши дни резец Кановы  
Послушный мрамор оживлял  
И Байрон, мученик суровый,  
Страдал, любил и проклинал...

Кипренский слушал, опустив голову и задержав кисть на полотне. Он в то время набрасывал губы поэта, а чтение стихов нарушало их замкнутую линию, столь похожую на линию юношеских губ.

— Александр Сергеевич,— сказал Кипренский, не подымая головы,— я хотел бы унести твой голос с собой в могилу.

— Полно, Орест,— ответил Пушкин и вдруг закричал тонким голосом, каким кричали на улицах торговли-чухонки: — Клюква, клюква, ай ягода-клюква!

Кипренский рассмеялся и легко ударил кистью по холсту.

В 1827 году Кипренский вновь уехал в Рим. Ему все казалось, что в Риме вернется былая слава. Но жизнь уже приближалась к концу, и талант был тяжело подорван.

В Риме Кипренский скучал. Он ждал событий, перемен. Мариучча выросла, стала стройной и милой девушкой. Кипренский полюбил ее, но долго скрывал это и от себя, и от Мариуччи, и от немногих друзей.

От тоски и необъяснимой тревоги художник начал пить. Работа быстро утомляла его, а без нее не было денег. И Кипренский работал, как сотни итальянских художников-ремесленников, снимавших копии с Рафаэля, Корреджо и Микеланджело для богатых иностранцев. Он часто писал по заказу портреты безразличных ему людей и зевал от скуки.

Рим был прежним, несмотря на медленное умира-ние художника. «Все тот же теплый ветер верхи дерев колышет, все тот же запах роз, и это все — есть смерть».

Так же пылали величественные закаты, так же, как и раньше, художники ходили смотреть на них с холма Пинчио. Грозный свет и сумрак римских вечеров любил Гоголь. Вместе с художниками он смотрел на закаты и приходил в раздражение, когда его оклика-ли.

— Не мешайте мне,— восклицал он,— хотя бы на од-но мгновение стать прекрасным человеком в этом нела-сковом мире.

Все так же пахли плесенью и вином каменные полы в остериях, где Кипренский встречался по вечерам со своим новым другом, гравером Иорданом. Иордан любил Кипренского и называл его «предоброй душой».

Десять лет, проведенных в Риме, Иордан потратил на гравировку рафаэлевского «Преображения». В кирпич-ном полу своей комнаты около гравировального станка он протер ногами глубокую яму. Об этой яме любил рас-сказывать художникам Гоголь. Художники почитали Го-голя, но стеснялись его,— писатель был необщителен и молчалив.

Иванов в то время уже писал свое «Явление Христа народу».

Кипренский же сидел в остериях. Он носил с собой хлеб и кормил им бродячих собак. Собаки ходили за ху-дожником стаями, но в остерии их не пускали. Тогда они садились у дверей и терпеливо ждали, помахивая хво-стами.

По стаям собак, сидевших то у одной, то у другой остерии, заказчики разыскивали Кипренского. Они за-ставали его за столом, уставленным бутылками. Он все-гда требовал у слуги свечу, ставил ее перед собой и, прежде чем выпить вино, долго рассматривал его на свет.

— Жаль, друг мой милый,— сказал он однажды Иор-дану,— что нельзя писать картины вином. Сколько бы света и трепета мы вкладывали тогда в свои творения.

— Ваши краски, Орест Адамович,— ответил вежли-вый Иордан,— не уступают игре вина.

Кипренский досадливо поморщился и отвернулся.

— Что было, то быльем поросло,— сказал он глухо.

Кипренский не знал, что оставалось ему делать в жизни. Существовать было одиноко и неуютно. Тогда измученный Кипренский совершил последнюю ошибку — женился на Мариучче. Она его не любила, но была привязана к нему, как к человеку, спасшему ее от нищеты и голода. Чтобы жениться на Мариучче, Кипренский принял католичество.

Вместе с Мариуччей Кипренский уехал в Неаполь.

Ненадолго жизнь стала светлее. Каждый час большой и печальный художник чувствовал рядом с собой присутствие прекрасной юной итальянки. Она читала ему книги по истории Италии, трактаты о живописи и стихи.

Кипренский следил за каждым ее движением, пытаясь уберечь Мариуччу от самых ничтожных житейских неприятностей и оградить от скуки.

Уходило много денег. Кипренский ради заработка был готов на все. Он начал писать модные в то время сладкие пейзажи с дымящимся Везувием, продавал в Петербург копии с картин знаменитых итальянцев, унижался перед графом Шереметьевым, снабжавшим его деньгами, и писал ему жалкие шутовские письма в стихах:

Уж времечко катилось к лету,  
А у меня денег нету.

Он просил у Бейкендорфа взаймы двадцать тысяч рублей на пять лет. Он намекал на то, что ему, Кипренскому, следовало бы пожаловать какой-нибудь орден за прошлые его заслуги живописца. Но Петербург молчал.

Падение художника шло с неизбежностью. Кто знает, понимал ли Кипренский всю глубину своего душевного несчастья, вызванного слабостью воли, погоней за житейским успехом, отсутствием твердых вкусов и взглядов?

Если он и не понимал этого, то все же чувствовал, как крепнет в нем человек ничтожный и пошлый и теряется в туманах прошлого образ гениального и веселого юноши, сына романтического века.

В Неаполе Кипренский написал, собрав последние силы, полный высокой поэзии портрет Голенищевой-Кутузовой. Этот портрет возник среди дешевых и вымученных его работ, как последнее сверканье прошлого.

Из Неаполя Кипренский уехал с Мариуччей во Флоренцию и Болонью, а оттуда вернулся в Рим.

Погасшими глазами он смотрел на эти пустынные величественные города, вяло бродил по улицам, заросшим



цветущей травой, и не предавался воспоминаниям. Очарование прошлого было ему уже недоступно. Хотелось покоя, вина, беспечных снов, действующих как лекарство, помогающих забыть тревогу последних лет.

В Риме Кипренский поселился в старом дворце Клавдия, где когда-то жил французский художник Лоррен.

Кипренский сильно пил. Каждую ночь он возвращался пьяный и приводил с собой подозрительных завсегдаев остерий.

«Молодая жена его,— пишет Иордан,— не желая видеть великого художника в столь неприглядном виде, часто не впускала его, и он ночевал под портиком своего дома».

В одну из таких ночей в октябре 1836 года Кипренский простудился, несколько дней перемогался, а потом слег.

Мариучча вызвала старого доктора Риккарди, лечившего всех русских художников.

Лысый и вертлявый старик, похожий на запыленное чучело птицы, вошел вприпрыжку в низкую комнату, где лежал Кипренский. От каменных пустых стен тянуло холодом. Риккарди огляделся и высоко поднял брови — в комнате знаменитого художника висела только одна картина — неоконченный портрет Мариуччи, сидящей у окна.

Кипренский бредил.

Эхо чьих-то торопливых шагов доносилось из далеких пустующих комнат. Густая темнота лежала в углах и в длинных каменных коридорах. Жить в таком доме было сиротливо и холодно.

Риккарди выслушал больного. Ночной осенний ветер шумел над Римом. Старый дворец был полон странного гула, низкого пения каминных труб, хлопанья ставен, скрипа дверных петель.

Риккарди долго смотрел на бледное лицо Кипренского, откинув с его лба блестящие от испарины темные волосы.

— Синьора,— сказал он Мариучче,— у вашего мужа грудная горячка. Шум ветра не дает мне возможности

выслушать его со всей тщательностью. Он очень плох. Надо пустить кровь.

Мариучча молчала. Ей было страшно оставаться одной с этим бредящим, внезапно ставшим совсем чужим человеком.

В бреду Кипренский говорил по-русски. Мариучча почти ничего не понимала. Она заплакала. Кипренский очнулся, пристально посмотрел на Риккарди и схватил его за руку.

— Александр Сергеевич,— сказал он очень тихо, и слезы поползли по его небритым щекам.— Спасибо... как же ты шел так далеко, милый... Ночь какая ненастная, а ты меня не хотел оставить...

Риккарди наклонился к больному.

— Это кто? — спросил тревожно Кипренский.— Цирюльник?

— Я доктор,— сказал медленно Риккарди.— Очнитесь. Я доктор. Говорите.

— У меня тяжелая кровь,— спокойно сказал Кипренский.— Краски застыли в жилах. Выпустите кровь, она не греет. Она холодит сердце.

— Прекрасно! — сказал Риккарди.

— Что вы понимаете,— прошептал Кипренский.— Люди великие, благородные, блиставшие умом и талантом, благословляли мое имя. Жуковский поцеловал меня в голову, Пушкин писал мне элегии, и знаменитые войны считали мою руку столь же верной, как их стальные клинки.

Он поднял худую руку и долго рассматривал ее на свет. Риккарди быстро сжал Кипренского за локоть, подставил оловянную чашку и проткнул острым скальпелем кожу. Брызнула темная кровь.

— *Miserere mi, Domine*,— сказал Кипренский и глубоко вздохнул.— Никто не знает... Лишь один я их помню, милые слова, любовь моего сердца...

Он помолчал и сказал тихо:

И сердце нежное, все в пламени и ранах,  
Трепещет с полночи до утренней звезды...

Слезы снова потекли по его щекам.

— Друзей! — вдруг дико закричал Кипренский и сел на постели. Оловянная чашка опрокинулась, и кровь растеклась из нее по простыне и подушке.— Друзей!

Он упал на постель, на кровавые пятна, и лицо его

начало медленно и торжественно бледнеть. Тихо дрожали свечи. Риккарди приложил щеку к губам Кипренского.

Старый дворец гудел от ветра, как громадный струнный оркестр, играющий под сурдинку реквием.

Эхо чьих-то торопливых шагов несло по пустующим залам. Быстро вошел Торвальдсен. Он увидел лицо Кипренского, очищенное от страданий, от следов пороков и болезней,— лицо более прекрасное, чем мрамор античных скульптур.

Торвальдсен снял шляпу, стал на колени у тела Кипренского и прижался лбом к его свисавшей с постели руке.

Осенний ветер шумел над Римом.

1936

---

## ИСААК ЛЕВИТАН

У художника Саврасова тряслись худые руки. Он не мог выпить стакан чая, не расплескав его по грязной суровой скатерти. От седой неряшливой бороды художника пахло хлебом и водкой.

Мартовский туман лежал над Москвой сизым самоварным чадом. Смеркалось. В жестяных водосточных трубах оттаивал слежавшийся лед. Он с громом срывался на тротуары и раскалывался, оставляя груды синеватого горного хрусталя. Хрусталь трещал под грязными сапогами, тотчас превращался в навозную жижу.

Великопостный звон тоскливо гудел над дровяными складами и тупиками старой Москвы — Москвы восьмидесятых годов прошлого века.

Художник пил водку из рюмки, серой от старости. Ученик Саврасова Левитан — тощий мальчик в заплатанном клетчатом пиджаке и серых коротких брюках — сидел за столом и слушал Саврасова.

— Нету у России своего выразителя, — говорил Саврасов. — Стыдимся мы еще родины, как я с малолетства стыдился своей бабки-побирушки... Тихая была старушенция, все моргала красными глазками, а когда померла, оставила икону Сергия Радонежского. Сказала мне напоследок: «Вот, внучек, учись так-то писать, чтобы плакала вся душа от небесной и земной красоты». А на иконе были изображены травы и цветы — самые наши простые цветы, что растут по заброшенным дорогам, и озеро, заросшее осинником. Вот какая оказалась хитрая бабка! Я в то время писал акварели на продажу, носил их на Трубу мелким барышникам. Что писал — совестно припомнить. Пышные дворцы с башнями и пруды с розовыми лебедями. Чепуха и срам. С юности и до старинных лет приходилось мне писать совсем не то, к чему лежала душа.

Мальчик застенчиво молчал. Саврасов зажег керосиновую лампу. В комнате соседа-скорняка защелкала и запела канарейка.

Саврасов нерешительно отодвинул пустую рюмку.

— Сколько я написал видов Петергофа и Ораниенбаума — не сосчитать, не перечислить. Мы, нищие, благоговели перед великолепием. Мечты создателей этих дворцов и садов приводили нас в трепет. Куда нам после этого было заметить и полюбить мокрые наши поля, косые избы, перелески да низенькое небо. Куда нам!

Саврасов махнул рукой и налил еще рюмку. Он долго вертел ее сухими пальцами. Водка вздрагивала от грохота кованых дрог, проезжавших по улице. Саврасов воровато выпил.

— Работает же во Франции, — сказал он, поперхнувшись, — замечательный мастер Коро. Смог же он найти прелесть в туманах и серых небесах, в пустынных водах. И какую прелесть! А мы... Слепые мы, что ли, глаз у нас не радуется свету. Филины мы, филины ночные, — сказал он со злобой и встал. — Куриная слепота, чепуха и срам!

Левитан понял, что пора уходить. Хотелось есть, но полупьяный Саврасов в пылу разговора забыл напоить ученика чаем.

Левитан вышел. Перемешивая снег с водой, шли около подвод и бранились ломовые извозчики. На бульварах хлопья снега цеплялись за голые сучья деревьев. Из трактиров, как из прачечных, било в лицо паром.

Левитан нашел в кармане тридцать копеек — подарок товарищей по Училищу живописи и ваяния, изредка собиравших ему на бедность, — и вошел в трактир. Машина звенела колокольцами и играла «На старой Калужской дороге». Мятый половой, пробегая мимо стойки, оскалился и громко сказал хозяину.

— Еврейчику порцию колбасы с ситным.

Левитан — нищий и голодный мальчик, внук раввина из местечка Кибарты Ковенской губернии, — сидел, сгорбившись, за столом в московском трактире и вспоминал картины Коро. Замызганные люди шумели вокруг, ныли слезные песни, дымили едкой махоркой и со свистом тянули желтый кипяток с обсосанных блюдец. Мокрый снег налипал на черные стекла, и нехотя перезванивали колокола.

Левитан сидел долго, — спешить ему было некуда. Ночевал он в холодных классах училища на Мясницкой, прятался там от сторожа, прозванного «Нечистая сила». Единственный родной человек — сестра, жившая по чужим людям, изредка кормила его и штопала старый пиджак. Зачем отец приехал из местечка в Москву, почему в Москве и он и мать так скоро умерли, оставив Левитана с сестрой на улице, — мальчик не понимал. Жить в Москве было трудно, одиноко, особенно ему, еврею.

— Еврейчику еще порцию ситного, — сказал хозяину половой с болтающимися, как у петрушки, ногами, — видать, ихний бог его плохо кормит.

Левитан низко наклонил голову. Ему хотелось плакать и спать. От теплоты сильно болели ноги. А ночь все лепила и лепила на окна пласты водянистого мартовского снега.

В 1879 году полиция выселила Левитана из Москвы в дачную местность Салтыковку. Вышел царский указ, запрещавший евреям жить в «исконной русской столице». Левитану было в то время восемнадцать лет.

Лето в Салтыковке Левитан вспоминал потом как самое трудное в жизни. Стояла тяжелая жара. Почти каждый день небо обкладывали грозы, ворчал гром, шумел от ветра сухой бурьян под окнами, но не выпадало ни капли дождя.

Особенно томительны были сумерки. На балконе соседней дачи зажигали свет. Ночные бабочки тучами бились о ламповые стекла. На крокетной площадке стучали шары. Гимназисты и девушки дурачились и ссорились, доигрывая партию, а потом, поздним вечером, женский голос пел в саду печальный романс:

Мой голос для тебя и ласковый, и томный...

То было время, когда стихи Полонского, Майкова и Апухтина были известны лучше, чем простые пушкинские напевы, и Левитан даже не знал, что слова этого романса принадлежали Пушкину.

Он слушал по вечерам из-за заборов пение незнакомки и запомнил еще один романс о том, как «рыдала любовь».

Ему хотелось увидеть женщину, певшую так звонко и печально, увидеть девушек, игравших в крокет, и гим-

назистов, загонявших с победными воплями деревянные шары к самому полотну железной дороги. Ему хотелось пить на балконе чай из чистых стаканов, трогать ложечкой ломтик лимона, долго ждать, пока стечет с той же ложечки прозрачная нить абрикосового варенья. Ему хотелось хохотать и дурачиться, играть в горелки, петь до полночи, носиться на гигантских шагах и слушать взволнованный шепот гимназистов о писателе Гаршине, написавшем рассказ «Четыре дня», запрещенный цензурой. Ему хотелось смотреть в глаза поющей женщины, — глаза поющих всегда полузакрываются и полины печальной прелести.

Но Левитан был беден, почти нищ. Клетчатый пиджак протерся вконец. Юноша вырос из него. Руки, измазанные масляной краской, торчали из рукавов, как птичьи лапы. Все лето Левитан ходил босиком. Куда было в таком наряде появляться перед веселыми дачниками!

И Левитан скрывался. Он брал лодку, заплывал на ней в тростники на дачном пруду и писал этюды, — в лодке ему никто не мешал.

Писать этюды в лесу или в полях было опаснее. Здесь можно было натолкнуться на яркий зонтик щеголихи, читающей в тени берез книжку модного тогда писателя Альбова, или на гувернантку, кудахчущую над выводком детей. А никто не умел презирать бедность так обидно, как гувернантки.

Левитан прятался от дачников, тосковал по ночной певунье и писал этюды. Он совсем забыл о том, что у себя, в Училище живописи и ваяния, Саврасов прочил ему славу Коро, а товарищи — братья Коровины и Николай Чехов — всякий раз затевали над его картинами споры о прелести настоящего русского пейзажа. Будущая слава Коро тонула без остатка в обиде на жизнь, на драные локти и протертые подметки.

Левитан в то лето много писал на воздухе. Так велел Саврасов. Как-то весной Саврасов пришел в мастерскую на Мясницкой пьяный, в сердцах выбил пыльное окно и поранил руку.

— Что пишете! — кричал он плачущим голосом, вытирая грязным носовым платком кровь. — Табачный дым? Навоз? Серую кашу?

За разбитым окном неслись облака, солнце жаркими пятнами лежало на куполах, и летал обильный пух от

одуванчиков,— в ту пору все московские дворы зарастали одуванчиками.

— Солнце гоните на холст! — кричал Саврасов, а в дверь уже неодобрительно поглядывал старый сторож — «Нечистая сила». — Весеннюю теплынь прозевали! Снег таял, бежал по оврагам холодной водой,— почему не видел я этого на ваших этюдах? Липы распускались, дожди были такие, будто не вода, а серебро лилось с неба,— где все это на ваших холстах? Срам и чепуха!

Со времени этого жестокого разноса Левитан начал работать на воздухе. Вначале ему было трудно привыкнуть к новому ощущению красок. То, что в прокуренных комнатах представлялось ярким и чистым, на воздухе непонятным образом жухло, покрывалось мутным налетом.

Левитан стремился писать так, чтобы на картинах его был ощутим воздух, обнимающий своей прозрачностью каждую травинку, каждый лист и стог сена. Все вокруг казалось погруженным в нечто спокойное, синее и блестящее. Левитан называл это нечто воздухом. Но это был не тот воздух, каким он представляется нам. Мы дышим им, мы чувствуем его запах, холод или теплоту. Левитан же ощущал его как безграничную среду прозрачного вещества, которое придавало такую пленительную мягкость его полотнам.

Лето кончилось. Все реже был слышен голос незнакомки. Как-то в сумерки Левитан встретил у калитки своего дома молодую женщину. Ее узкие руки белели из-под черных кружев. Кружевами были оторочены рукава платья. Мягкая туча закрыла небо. Шел редкий дождь. По-осеннему горько пахли цветы в палисадниках. На железнодорожных стрелках зажгли фонари.

Незнакомка стояла у калитки и пыталась раскрыть маленький зонтик, но он не раскрывался. Наконец он подался, и дождь зашуршал по его шелковому верху. Незнакомка медленно пошла к станции. Левитан не видел ее лица,— оно было закрыто зонтиком. Она тоже не видела лица Левитана, она заметила только его босые грязные ноги и подняла зонтик, чтобы не зацепить Левитана. В неверном свете он различил бледное лицо. Оно показалось ему знакомым и красивым.



Левитан вернулся в свою каморку и лег. Чадила свеча, гудел дождь, на станции рыдали пьяные. Тоска по материнской, сестринской, женской любви вошла с тех пор в сердце и не покидала Левитана до последних дней его жизни.

Этой же осенью Левитан написал «Осенний день в Сокольниках». Это была первая его картина, где серая и золотая осень, печальная, как тогдашняя русская жизнь, как жизнь самого Левитана, дышала с холста осторожной теплотой и щемила у зрителей сердце.

По дорожке Сокольнического парка, по ворохам опавшей листвы шла молодая женщина в черном — та незнакомка, чей голос Левитан никак не мог забыть. «Мой голос для тебя и ласковый, и томный...» Она была одна среди осенней рощи, и это одиночество окружало ее ощущением грусти и задумчивости.

«Осенний день в Сокольниках» — единственный пейзаж Левитана, где присутствует человек, и то фигуру человека написал Николай Чехов. После этого люди ни разу не появлялись на полотнах Левитана. Их заменили леса и пажити, туманные разливы и нищие избы России, безгласные и одинокие.

Годы учения в Училище живописи и ваяния окончились. Левитан написал последнюю, дипломную работу — облачный день, поле, копны сжатого хлеба.

Саврасов мельком взглянул на картину и написал мелом на изнанке: «Большая серебряная медаль».

Преподаватели училища побаивались Саврасова. Вечно пьяный, задиристый, он вел себя с учениками, как с равными, а напившись, ниспровергал все, кричал о беспотанности большинства признанных художников и требовал на холстах воздуха, простора, света.

Неприязнь к Саврасову преподаватели переносили на его любимого ученика — Левитана. Кроме того, талантливый еврейский мальчик раздражал иных преподавателей. Еврей, по их мнению, не должен был касаться русского пейзажа, — это было делом коренных русских художников. Картина была признана недостойной медали. Левитан не получил звания художника, ему дали всего лишь диплом учителя чистописания.

С этим жалким дипломом вышел в жизнь один из тончайших художников своего времени, будущий друг Чехова, первый и еще робкий певец русской природы.

На сарае в деревушке Максимовке, где летом жил Левитан, братья Чеховы повесили вывеску: «Ссудная касса купца Исаака Левитана».

Мечты о беззаботной жизни наконец сбылись. Левитан сдружился с художником Николаем Чеховым, подружился с чеховской семьей и прожил три лета рядом с нею. В то время Чеховы проводили каждое лето в селе Бабкине около Нового Иерусалима.

Семья Чеховых была талантливой, шумной и насмешливой. Дурачествам не было конца. Каждый пустяк, даже ловля карасей или прогулка в лес по грибы, разрастался в веселое событие. С утра за чайным столом уже начинались невероятные рассказы, выдумки, хохот. Он не затихал до позднего вечера. Каждая забавная человеческая черта или смешное слово подхватывались всеми и служили толчком для шуток и мистификаций.

Больше всех доставалось Левитану. Его постоянно обвиняли во всяческих смехотворных преступлениях, и, наконец, устроили над ним суд. Антон Чехов, загримированный прокурором, произнес обвинительную речь. Слушатели падали со стульев от хохота. Николай Чехов изображал дурака-свидетеля. Он давал сбивчивые показания, путал, пугался и был похож на чеховского мужичка из рассказа «Злоумышленник»,— того, что отвинтил от рельсов гайку, чтобы сделать грузило на шелеспера. Александр Чехов — защитник — пропел высокопарную актерскую речь.

Особенно попадало Левитану за его красивое арабское лицо. В своих письмах Чехов часто упоминал о красоте Левитана. «Я приеду к вам, красивый, как Левитан»,— писал он. «Он был томный, как Левитан».

Но имя Левитана стало выразителем не только мужской карсоты, но и особой прелести русского пейзажа. Чехов придумал слово «левитанистый» и употреблял его очень метко.

«Природа здесь гораздо левитанистее, чем у вас»,— писал он в одном из писем. Даже картины самого Левитана различались,— одни были более левитанистыми, чем другие.

Вначале это казалось шуткой, но со временем стало ясно, что в этом веселом слове заключен точный смысл — оно выражало собою то особое обаяние пейзажа Средней России, которое из всех тогдашних художников умел передавать на полотне один Левитан.

Иногда на лугу около бабкинского дома происходили странные вещи. На закате на луг выезжал на старом осле Левитан, одетый бедуином. Он слезал с осла, садился на корточки и начинал молиться, обратясь лицом на восток. Он подымал руки кверху, жалобно пел и кланялся в сторону Мекки. То был мусульманский намаз.

В кустах сидел Антон Чехов со старой берданкой, заряженной бумагой и тряпками. Он хищно целился в Левитана и спускал курок. Тучи дыма разлетались над лугом. В реке отчаянно квакали лягушки. Левитан с пронзительным воплем падал на землю, изображая убитого. Его клали на носилки, надевали на руки старые валенки и начинали обносить вокруг парка. Хор Чеховых пел на унылые похоронные распевы всякий вздор, приходивший в голову. Левитан трясся от смеха, потом не выдерживал, вскакивал и удирает в дом.

На рассвете Левитан уходил с Антоном Павловичем удить рыбу на Истру. Для рыбной ловли выбирали обрывистые берега, заросшие кустарником, тихие омуты, где цвели кувшинки и в теплой воде стаями ходили красноперки. Левитан шепотом читал стихи Тютчева. Чехов делал страшные глаза и ругался тоже шепотом, — у него клевало, а стихи пугали осторожную рыбу.

То, о чем Левитан мечтал еще в Салтыковке, случилось, — игры в горелки, сумерки, когда над зарослями деревенского сада висит тонкий месяц, яростные споры за вечерним чаем, улыбки и смущение молодых женщин, их ласковые слова, милые ссоры, дрожание звезд над рощами, крики птиц, скрип телег в иочных полях, близость талантливых друзей, близость заслуженной славы, ощущение легкости в теле и сердце.

Несмотря на жизнь, полную летней прелести, Левитан много работал. Стены его сарая — бывшего курятника — были сверху донизу завешаны этюдами. В них на первый взгляд не было ничего нового — те же знакомые всем извилистые дороги, что теряются за косогорами, перелески, дали, светлый месяц над околицами деревень, тропки, протоптанные лаптями среди полей, облака и ленивые реки.

Знакомый мир возникал на холстах, но было в нем что-то свое, не передаваемое скупыми человеческими словами. Картины Левитана вызывали такую же боль, как воспоминания о страшно далеком, но всегда заманчивом детстве.

Левитан был художником печального пейзажа. Пейзаж печален всегда, когда печален человек. Веками русская литература и живопись говорили о скучном небе, тощих полях, кособоких избах. «Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые — как слезы первые любви!»

Из рода в род человек смотрел на природу мутными от голода глазами. Она казалась ему такой же горькой, как его судьба, как краюха черного мокрого хлеба. Голодному даже блистающее небо тропиков покажется неприветливым.

Так вырабатывался устойчивый яд уныния. Он глушил все, лишал краски их яркости, игры, нарядности. Мягкая разнообразная природа России долгое время считалась слезливой и хмурой. Художники и писатели лгали на нее, не сознавая этого.

Левитан был выходцем из гетто, лишеного прав и будущего, выходцем из Западного края — страны захудалых еврейских местечек, чахоточных ремесленников, черных синагог, тесноты и скудности.

Бесправие преследовало Левитана всю жизнь. В 1892 году его вторично выслали из Москвы, хотя он уже был художником со всероссийской славой. Ему пришлось скрываться во Владимирской губернии, пока друзья не добились отмены высылки.

Левитан был безрадостен, как безрадостна была история его народа, его предков. Он дурачился в Бабкине, увлекался девушками и красками, но где-то в глубине сознания постоянно жила мысль, что он парий, отверженный, сын расы, испытавшей унижительные гонения.

Иногда эта мысль целиком завладевала Левитаном. Тогда начинались приступы болезненной хандры. Она усиливалась от недовольства своими работами, от сознания, что рука не в силах передать в красках то, что давно уже создало его свободное воображение.

Когда приходила хандра, Левитан бежал от людей. Они казались ему врагами. Он становился груб, дерзок, нетерпим. Он со злобой соскабливал краски со своих картин, прятался, уходил с собакой Вестой на охоту, но не охотился, а без цели бродил по лесам. В такие дни одна только природа заменяла ему родного человека, — она утешала, проводила ветром по лбу, как материнской ру-

кой. Ночью поля были безмолвны, — Левитан отдыхал такими ночами от человеческой глупости и любопытства.

Два раза во время припадков хандры Левитан стрелялся, но остался жив. Оба раза спасал его Чехов.

Хандра проходила. Левитан возвращался к людям, снова писал, любил, верил, запутывался в сложности человеческих отношений, пока его не настигал новый удар хандры.

Чехов считал, что левитановская тоска была началом психической болезни. Но это была, пожалуй, неизлечимая болезнь каждого требовательного к себе и к жизни большого человека.

Все написанное казалось беспомощным. За красками, наложенными на полотно, Левитан видел другие — более чистые и густые. Из этих красок, а не из фабричной киновари, кобальта и кадмия он хотел создать пейзаж России — прозрачный, как сентябрьский воздух, праздничный, как роща во время листопада.

Но душевная угрюмость держала его за руки во время работы. Левитан долго не мог, не умел писать светло и прозрачно. Тусклый свет лежал на холстах, краски хмурились. Он никак не мог заставить их улыбаться.

В 1886 году Левитан впервые уехал из Москвы на юг, в Крым.

В Москве он всю зиму писал декорации для оперного театра, и эта работа не прошла для него бесследно. Он начал смелее обращаться с красками. Мазок стал свободнее. Появились первые признаки еще одной черты, присущей подлинному мастеру, — признаки дерзости в обращении с материалами. Свойство это необходимо всем, кто работает над воплощением своих мыслей и образов. Писателю необходима смелость в обращении со словами и запасом своих наблюдений, скульптору — с глиной и мрамором, художнику — с красками и линиями.

Самое ценное, что Левитан узнал на юге, — это чистые краски. Время, проведенное в Крыму, представлялось ему непрерывным утром, когда воздух, отстоявшийся за ночь, как вода в гигантских водоемах горных долин, так чист, что издали видна роса, стекающая с листьев, и за десятки миль белеет пена волн, идущих к каменистым берегам.

Необъятные просторы воздуха лежали над южной землей, сообщая краскам резкость и выпуклость.

На юге Левитан ощутил с полной ясностью, что только солнце властвует над красками. Величайшая живописная сила заключена в солнечном свете, и вся кажущаяся серость русской природы хороша лишь потому, что является тем же солнечным светом, но приглушенным, прошедшим через слои влажного воздуха и тонкую пелену облаков.

Солнце и черный свет несовместимы. Черный цвет — это не краска, это труп краски. Левитан сознал это и после поездки в Крым решил изгнать со своих холстов темные тона. Правда, это не всегда ему удавалось.

Так началась длившаяся много лет борьба за свет.

В это время во Франции Ван-Гог работал над передачей на полотне солнечного огня, превращавшего в багровое золото виноградники Арля. Примерно в то же время Моне изучал солнечный свет на стенах Реймского собора. Его поражало, что световая дымка придавала громаде собора невесомость. Казалось, что собор выстроен не из камня, а из разнообразно и бледно окрашенных воздушных масс. Надо было подойти к нему вплотную и провести рукой по камню, чтобы вернуться к действительности.

Левитан работал еще робко. Французы же работали смело, упорно. Им помогало чувство личной свободы, культурные традиции, умная товарищеская среда. Левитан был лишен всего этого.

Со времени поездки на юг к обычной хандре Левитана присоединилось еще постоянное воспоминание о сухих и четких красках, о солнце, превращавшем в праздник каждый незначительный день человеческой жизни.

В Москве солнца не было. Левитан жил в меблированных комнатах «Англия» на Тверской. Город за ночь так густо заволакивало холодным туманом, что за короткий зимний день он не успевал поредеть. В номере горела керосиновая лампа. Желтый свет смешивался с темнотой промозглого дня и покрывал грязными пятнами лица людей и начатые холсты.

Снова, но уже ненадолго, вернулась нужда. Хозяйке за комнату приходилось платить не деньгами, а этюдами.

Тяжелый стыд охватывал Левитана, когда хозяйка надевала пенсне и рассматривала «картинки», чтобы выбрать самую ходкую. Поразительнее всего было то, что

ворчание хозяйки совпадало со статьями газетных критиков.

— Мосье Левитан,— говорила хозяйка,— почему вы не нарисуете на этом углу породистую корову, а здесь под липой не посадите парочку влюбленных? Это было бы приятно для глаза.

Критики писали примерно то же. Они требовали, чтобы Левитан оживил пейзаж стадами гусей, лошадьми, фигурами пастухов и женщин.

Критики требовали гусей, Левитан же думал о великолепном солнце, которое рано или поздно должно было затопить Россию на его полотнах и придать каждой березе весомость и блеск драгоценного металла.

После Крыма в жизнь Левитана надолго и крепко вошла Волга.

Первая поездка на Волгу была неудачна. Моросили дожди, волжская вода помутнела. Ветер гнал по ней короткие скучные волны. От надоедливого дождя слезились окна избы в деревне на берегу Волги, где поселился Левитан, туманились дали, все вокруг съела серая краска.

Левитан страдал от холода, от скользкой глины волжских берегов, от невозможности писать на воздухе.

Началась бессонница. Старуха хозяйка храпела за перегородкой, и Левитан завидовал ей и писал об этой зависти Чехову. Дождь барабанил по крыше, и каждые полчаса Левитан зажигал спичку и смотрел на часы.

Рассвет затерялся в непроглядных ночных пустошах, где хозяйничал неприветливый ветер. Левитана охватывал страх. Ему казалось, что ночь будет длиться неделями, что он сослан в эту грязную деревушку и обречен всю жизнь слушать, как хлещут по бревенчатой стене мокрые ветки берез.

Иногда он выходил ночью на порог, и ветки больно били его по лицу и рукам. Левитан злился, закуривал пипиросу, но тотчас же бросал ее,— кислый табачный дым сводил челюсти.

На Волге был слышен упорный стук пароходных колес,— буксир, моргая желтыми фонарями, тащил вверх, в Рыбинск, вонючие баржи.

Великая река казалась Левитану преддверием хмурого ада. Рассвет не приносил облегчения. Тучи, бестолково теснясь, неслись с северо-запада, волоча по земле вода-

нистые подошвы дождей. Ветер свистел в кривых окнах, от него краснели и мерзли руки. Тараканы разбегались из ящика с красками.

У Левитана не было психической выносливости. Он приходил в отчаяние от несоответствия между тем, чего он ожидал, и тем, что видел в действительности. Он хотел солнца, — солнце не показывалось; Левитан слеп от бешенства и первое время даже не замечал прекрасных оттенков серого и сизого цвета, свойственных ненастью.

Но в конце концов художник победил неврастенку. Левитан увидел прелесть дождей и создал свои знаменитые «дождливые работы»: «После дождя» и «Над вечным покоем».

Картину «После дождя» Левитан написал за четыре часа. Тучи и оловянный цвет волжской воды создали мягкое освещение. Оно могло исчезнуть каждую минуту. Левитан торопился.

Картины Левитана требуют медленного рассматривания. Они не ошеломляют глаз. Они скромны и точны, подобно чеховским рассказам, но чем дольше вглядываешься в них, тем все милее становится тишина провинциальных посадов, знакомых рек и проселков.

В картине «После дождя» заключена вся прелесть дождливых сумерек в приволжском городке. Блестят лужи. Облака уходят за Волгу, как низкий дым. Пар из паровых труб ложится на воду. Баржи у берега почернели от сырости.

В такие летние сумерки хорошо войти в сухие сени, в низкие комнаты с только что вымытыми полами, где уже горят лампы и за открытыми окнами шумит от падающих капель и дико пахнет заброшенный сад. Хорошо слушать игру на старом рояле. Его ослабевшие струны звенят, как гитара. Темный фикус стоит в кадке рядом с роялем. Гимназистка сидит в кресле, поджав ноги, и читает Тургенева. Старый кот бродит по комнатам, и ухо у него нервно вздрагивает, — он слушает, не застучат ли в кухне ножи.

С улицы пахнет рогожами. Завтра — ярмарка, и на Соборную площадь съезжаются телеги. Пароход уходит вниз по реке, догоняет дождевую тучу, закрывавшую полнеба. Гимназистка глядит вслед пароходу, и глаза ее делаются туманными, большими. Пароход идет к низовым городам, где театры, книги, заманчивые встречи.

А вокруг городка день и ночь мокнут растрепанные ржаные поля.



В картине «Над вечным покоем» поэзия ненастного дня выражена с еще большей силой. Картина была написана на берегу озера Удомли в Тверской губернии.

С косогора, где темные березы гнутся под порывистым ветром и стоит среди этих берез почти сгнившая бревенчатая церквушка, открывается даль глухой реки, потемневшие от ненастья луга, громадное облачное небо. Тяжелые тучи, напитанные холодной влагой, висят над землей. Косые холстины дождя закрывают просторы.

Никто из художников до Левитана не передавал с такой печальной силой неизмеримые дали русского ненастья. Оно так спокойно и торжественно, что ощущается как величие.

Вторая поездка на Волгу была удачнее первой. Левитан поехал не один, а с художницей Кувшинниковой. Многие, да и сам Левитан, считали, что эта трогательно любившая его женщина была описана Чеховым в рассказе «Попрыгунья». Левитан жестоко обиделся на Чехова за этот рассказ. Дружба была нарушена, а примирение шло туго и мучительно. До конца жизни Левитан не мог простить Чехову этого рассказа.

Левитан уехал с Кувшинниковой в Рязань, а оттуда спустился на пароходе вниз по Оке до слободы Чулково. В слободе он решил остановиться.

Солнце садилось в полях за глинистым косогором. Мальчишки гоняли красных от заката голубей. На луговом берегу горели костры, в болотах угрюмо гудели выи.

На пристани в Чулкове к Левитану подошел низкий старик с вытекшим глазом. Он нетерпеливо потянул Левитана за рукав чесучового пиджака и долго мял шершавыми пальцами матерю.

— Тебе чего, дед? — спросил Левитан.

— Суконце, — сказал дед и икнул. — Суконцем охота полюбоваться. Ишь скрипит, как бабий волос. А это кто, прости господи, жена, что ли? — Дед показал на Кувшинникову. Глаза его стали злыми.

— Жена, — ответил Левитан.

— Та-ак, — зловеще сказал дед и отошел. — Леший зас разберет, что к чему, зачем по свету шляетесь.

Встреча не предвещала ничего хорошего. Когда на следующее утро Левитан с Кувшинниковой сели на косо-

горе и раскрыли ящики с красками, в деревне началось смятение. Бабы зашмыгали из избы в избу. Мужики, хмурые, с соломой в волосах, распояской, медленно собирались на косогор, садились поодаль, молча смотрели на художников. Мальчишки сопели за спиной, толкали друг друга и переругивались.

Беззубая баба подошла сбоку, долго смотрела на Левитана и вдруг ахнула:

— Господи Сусе Христе, что ж это ты делаешь, охальник?

Мужики зашумели, Левитан сидел бледный, но сдержался и решил отшутиться.

— Не гляди, старая,— сказал он бабе,— глаза лопнут.

— У-у-у, бесстыжий,— крикнула баба, высморкалась в подол и пошла к мужикам. Там уже трясся, опираясь на посох, слезливый монашек, неведомо откуда забредший в Чулково и прижившийся при тамошней церкви.

— Лихие люди!— выкрикивал он вполголоса.— Чего делают — непонятно. Плаиы с божьих лугов снимают. Не миновать пожару, мужички, не миновать бяды.

— Сход! — крикнул старик с вытекшим глазом.— Нету у нас заведения картинки с бабами рисовать! Сход!

Пришлось собрать краски и уйти.

В тот же день Левитан с Кувшинниковой уехали из слободы. Когда они шли к приетани, около церкви гудел бестолковый сход и были слышны визгливые выкрики монашка:

— Лихие люди. Некрещеные. Баба с непокрытой головой ходит.

Кувшинникова не носила ни шляпы, ни платка.

Левитан спустился по Оке до Нижнего и там пересел на пароход до Рыбинска. Все дни он с Кувшинниковой просиживал на палубе и смотрел на берега — искал места для этюдов.

Но хороших мест не было, Левитан все чаще хмурился и жаловался на усталость. Берега наплывали медленно, однообразно, не радуя глаз ни живописными селами, ни задумчивыми и плавными поворотами.

Наконец в Плесе Левитан увидел с палубы старинную маленькую церковь, рубленную из сосновых кряжей. Она чернела на зеленом небе, и первая звезда горела над ней, переливаясь и блистая.

В этой церкви, в тишине вечера, в певучих голосах баб, продававших на пристани молоко, Левитану почуди-

лось столько покоя, что он тут же решил остаться в Плесе.

С этого времени начался светлый промежуток в его жизни.

Маленький городок был беззвучен и безлюден. Тишину нарушали только колокольный звон и мычание стада, а по ночам колотушки сторожей. По уличным косограм и оврагам цвел репейник и росла лебеда. В домах за кисейными занавесками сушился на подоконниках липовый цвет.

Дни стояли солнечные, устойчивые, сухие. Русское лето, чем ближе к осени, тем больше бывает окрашено в спелые цвета. Уже в августе розовеет листва яблоневых садов, сединой блестят поля, и вечерами над Волгой стоят облака, покрытые жарким румянцем.

Хандра прошла. Было стыдно даже вспоминать о ней.

Каждый день приносил трогательные неожиданности — то подслеповатая старуха, приняв Левитана за нищего, положит ему на ящик с красками стертый пятак, то дети, подталкивая друг друга в спину, попросят нарисовать их, потом прыснут от смеха и разбегутся, то придет тайком молодая соседка-староверка и будет певиче жаловаться на свою тяжелую долю. Ее Левитан прозвал Катериной из «Грозы» Островского. Он решил вместе с Кувшинниковой помочь Катерине бежать из Плеса, от постылой семьи. Бегство обсуждалось в роще за городом. Кувшинникова шепталась с Катериной, а Левитан лежал на краю рощи и предупреждал женщин об опасности тихим свистом. Катерине и впрямь удалось бежать.

До поездки в Плес Левитан любил только русский пейзаж, но народ, населявший эту большую страну, был ему непонятен. Да и кого он знал? Грубого училищного сторожа «Нечистую силу», трактирных половых, наглых коридорных из мебелированных комнат, диких чулковских мужиков. Он часто видел злобу, грязь, тупую покорность, презрение к себе, еврею.

До жизни в Плесе он не верил в ласковость народа, в его разум, в способность многое понимать. После Плеса Левитан ощутил свою близость не только к пейзажу России, но и к ее народу — талантливому, обездоленному и как бы притихшему не то перед новой бедой, не то перед великим освобождением.

В эту вторую поездку на Волгу Левитан написал много полотен. Об этих вещах Чехов сказал ему: «На твоих картинах уже есть улыбка».

Свет и блеск впервые появились у Левитана в его «волжских» работах — в «Золотом Плесе», «Свежем ветре», «В вечернем звоне».

Почти у каждого из нас остались в памяти еще с детства лесные поляны, засыпанные листвой, пышные и печальные уголки родины, что сияют под нежарким солнцем в синеве, в тишине безветренных вод, в криках кочующих птиц.

В зрелом возрасте эти воспоминания возникают с поразительной силой по самому ничтожному поводу, — хотя бы от мимолетного пейзажа, мелькнувшего за окнами вагона, — и вызывают непонятное нам самим чувство волнения и счастья, желание бросить все: города, заботы, привычный круг людей — и уйти в эту глушь, на берега неизвестных озер, на лесные дороги, где каждый звук слышен так ясно и долго, как на горных вершинах, — будь то гудок паровоза или свист птицы, перепархивающей в кустах рябины.

Такое чувство давно виденных милых мест остается от «волжских» и «осенних» картин Левитана.

Жизнь Левитана была бедна событиями. Он мало путешествовал. Он любил только Среднюю Россию. Поездки в другие места он считал напрасной тратой времени. Такой показалась ему и поездка за границу.

Он побывал в Финляндии, Франции, Швейцарии и Италии.

Границы Финляндии, ее черная речная вода, студенистое небо и мрачное море нагоняли тоску. «Вновь я захандрил без меры и границ, — писал Левитан Чехову из Финляндии. — Здесь нет природы».

В Швейцарии его поразили Альпы, но вид этих гор ничем не отличался для Левитана от видов картонных макетов, размалеванных крикливыми красками.

В Италии ему понравилась только Венеция, где воздух полон серебристых оттенков, рожденных тусклыми лагунами.

В Париже Левитан увидел картины Моне, но не запомнил их. Только перед смертью он оценил живопись импрессионистов, понял, что он сам отчасти был их русским предшественником, — и впервые с признанием упомянул их имена.

Последние годы жизни Левитан проводил много времени около Вышнего Волочка на берегах озера Удомли. Там, в семье помещиков Панафидиных, он опять попал в путаницу человеческих отношений, стрелялся, но его спасли...

Чем ближе к зрелости, тем чаще мысль Левитана останавливалась на осени.

Правда, Левитан написал несколько превосходных весенних вещей, но почти всегда это была весна, похожая на осень.

В «Большой воде» затопленная разливом роща обнажена, как поздней осенью, и даже не покрылась еще зеленоватым дымом первой листвы. В «Ранней весне» черная глубокая река мертво стоит среди оврагов, еще покрытых рыхлым снегом, и только в картине «Март» передана настоящая весенняя яркость неба над тающими сугробами, желтый солнечный свет и стеклянный блеск талой воды, каплющей с крыльца деревянного дома.

Самые мягкие и трогательные стихи, книги и картины написаны русскими поэтами, писателями и художниками об осени.

Левитан, так же как Пушкин, Тютчев и многие другие, ждал осени, как самого дорогого и мимолетного времени года.

Осень снимала с лесов, с полей, со всей природы густые цвета, смывала дождями зелень. Рощи делались сквозными. Темные краски лета сменялись робким золотом, пурпуром и серебром. Изменялся не только цвет земли, но и самый воздух. Он делался чище, холоднее, и дали были гораздо глубже, чем летом. Так у великих мастеров литературы и живописи юношеская пышность красок и нарядность языка сменяется в зрелом возрасте строгостью и благородством.

Осень на картинах Левитана очень разнообразна. Невозможно перечислить все осенние дни, нанесенные им на полотно. Левитан оставил около ста «осенних» картин, не считая этюдов.

На них были изображены знакомые с детства вещи: стога сена, почерневшие от сырости; маленькие реки, кружащие в медленных водоворотах палую листву; одинокие золотые березы, еще не обитые ветром; небо, похожее на тонкий лед; косматые дожди над лесными порубками. Но во всех этих пейзажах, что бы они ни изображали, лучше всего передана печаль прощальных дней, сыплющихся

листьев, увядающих трав, тихого гудения пчел перед холодами и предзимнего солнца, едва заметно прогревающего землю.

Исподволь, из года в год, у Левитана развивалась тяжелая сердечная болезнь, но ни он, ни близкие ему люди не знали о ней, пока она не дала первой бурной вспышки.

Левитан не лечился. Он боялся идти к врачам, боялся услышать смертный приговор. Врачи, конечно, запретили бы Левитану общаться с природой, а это для него было равносильно смерти.

Левитан тосковал еще больше, чем в молодые годы. Все чаще он уходил в леса,— жил он в лето перед смертью около Звенигорода,— и там его находили плачущим и растерянным. Он знал, что ничто — ни врачи, ни спокойная жизнь, ни иступленно любимая им природа не могли отдалить приближавшийся конец.

Зимой 1899 года врачи послали Левитана в Ялту.

В то время в Ялте жил Чехов. Старые друзья встретились постаревшими, отчужденными. Левитан ходил, тяжело опираясь на палку, задыхался, всем говорил о близкой смерти. Он боялся ее и не скрывал этого. Сердце болело почти непрерывно.

Чехов тосковал по Москве, по северу. Несмотря на то что море, по его собственным словам, было «большое», оно суживало мир. Кроме моря и зимней тихой Ялты, казалось, ничего не оставалось в жизни. Где-то очень далеко за Харьковом, за Курском и Орлом лежал снег, огни нищих деревень мигали сослепу в седую метель; она казалась милой и близкой сердцу, гораздо ближе бёклиновских кипарисов и сладкого приморского воздуха. От этого воздуха часто болела голова. Милым казалось всё: и леса, и речушки — всякие Пехорки и Вертушинки, и стога сена в пустынных вечерних полях, одинокие, освещенные мутной луной, как будто навсегда позабытые человеком.

Больной Левитан попросил у Чехова кусок картона и за полчаса набросал на нем масляными красками вечернее поле со стогами сена. Этот этюд Чехов вставил в камин около письменного стола и часто смотрел на него во время работы.

Зима в Ялте была сухая, солнечная, с моря дули тепловатые ветры. Левитан вспомнил свою первую поездку в Крым, и ему захотелось в горы. Его преследовало воспоминание об этой поездке, когда с вершины Ай-Петри он

увидел у своих ног пустынное облачное небо. Над головой висело солнце,— здесь оно казалось гораздо ближе к земле, и желтоватый его свет бросал точные тени. Облачное небо дымилось внизу в пропастях и медленно подползало к ногам Левитана, закрывая сосновые леса.

Небо двигалось снизу, и это пугало Левитана так же, как пугала никогда не слыханная горная тишина. Изредка ее нарушал только шорох осыпи. Шифер сползал с откоса и раскачивал сухую колючую траву.

Левитану хотелось в горы, он просил отвезти его на Ай-Петри, но ему в этом отказали — разреженный горный воздух мог оказаться для него смертельным.

Ялта не помогла. Левитан вернулся в Москву. Он почти не выходил из своего дома в Трехсвятительском переулке.

Двадцать второго июля 1900 года он умер. Были поздние сумерки, когда первая звезда появляется над Москвой на страшной высоте и листва деревьев погружена в желтую пыль и в отсветы гаснущего солнца.

Лето было очень поздним. В июле еще доцветала сирень. Ее тяжелые заросли заполняли весь палисадник около дома. Запах листвы, сирени и масляных красок стоял в мастерской, где умирал Левитан, запах, всю жизнь преследовавший художника, передавшего на полотне печаль русской природы,— той природы, что так же, как и человек, казалось, ждала иных, радостных дней.

Эти дни пришли очень скоро после смерти Левитана, и его ученики смогли увидеть то, чего не видел учитель,— новую страну, чей пейзаж стал иным потому, что стал иным человек, наше щедрое солнце, величие наших просторов, чистоту неба и блеск незнакомых Левитану праздничных красок.

Левитан не видел этого потому, что пейзаж радостен только тогда, когда свободен и весел человек.

Левитану хотелось смеяться, но он не мог перенести на свои холсты даже слабую улыбку.

Он был слишком честен, чтобы не видеть народных страданий. Он стал певцом громадной нищей страны, певцом ее природы. Он смотрел на эту природу глазами измученного народа,— в этом его художественная сила и в этом отчасти лежит разгадка его обаяния.

1937.

---

## РАЗЛИВЫ РЕК

Поручик Тенгинского пехотного полка Лермонтов ехал на Кавказ, в ссылку, в крепость Грозную.

Весна выдалась непохожая на обыкновенные русские весны. Поздно распустились деревья, поздно цвела по загложшим уездным садам черемуха. И реки запоздали и долго не могли войти в берега.

Разливы задерживали Лермонтова. Приходилось дожидаться паромов, а иной раз, если паром был поломан или ветер разводил на разливе волну, даже останавливаться на день-два в каком-нибудь захолустном городке.

Лермонтов равнодушно слушал жалобы проезжающих на высокую воду и дрянные отечественные дороги. Он был рад задержкам. Куда было скакать сломя голову? Под чеченскую пулю?

Впервые за последние годы он с тревогой думал о смерти. Прошло мальчишеское время, когда ранняя гибель казалась ему заманчивым исходом в жизни. Никогда еще ему так не хотелось жить, как сейчас.

Все чаще вспоминались слова: «И может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной». Он был бесконечно благодарен Пушкину за эти строки. Может быть, он еще увидит в жизни простые и прекрасные вещи и услышит речи бесхитростные, как утешения матери. И тогда раскроется сердце, и он поймет наконец, какое оно, это человеческое счастье.

Городок, где пришлось задержаться из-за гнилого парома, был такой маленький, что из комнаты в «Номерах для проезжающих» можно было рассмотреть совсем рядом — рукой подать — поля, дуплистые ивы по пояс в воде и заречную деревню. Ее избы чернели на просыхающем откосе, как стая грачей. Навозный дымок курился над ними.



Из окна было слышно, как далеко, за краем туманной земли, поет, ни о чем не тревожась, пастуший рожок.

— Когда пройдет это кружение сердца? — спросил себя Лермонтов и усмехнулся. Он снял пыльный мундир и бросил на стул. — Круженье сердца! Кипенье дум! Высокие слова! Но иначе как будто и не скажешь.

Вошел слуга.

— Тут какие-то офицеры картежные стоят, — доложил он Лермонтову. — В этих номерах. Хрипуны, охальники — не дай бог! Про вас спрашивали.

— Будет врать! Откуда они меня знают?

— Ваша личность видная. Играть с ними будете? Ай нет?

— Отстань!

— А то я вам мундир почищу. В таком мундире к столу сесть совестно. Одна пыль!

— Не трогай мундир! — приказал Лермонтов и добавил, ничуть не сердясь, а даже с некоторым любопытством: — Станешь ты меня слушать или нет?

— Как придется, — уклончиво ответил слуга. — Я перед вашей бабкой Евангелие целовал за вами смотреть.

— Знаешь что, — спокойно сказал Лермонтов, — ступай ты подальше! Надоел.

Слуга вышел. Лермонтов расстегнул рубаху, лег на шаткую койку и закинул руки за голову.

В дощатом домишке рядом с «номерами» сидел у окна худой паренек и вот уже который час наигрывал на гармонике один и тот же мотив, — должно быть, совсем ошалел от скуки: «Ах ты, барыня-сударыня моя! Ах ты, барыня-сударыня моя! Ах ты, барыня-сударыня моя!»

Лермонтов слушал, глядя сумрачными глазами на стену. Там было старательно выведено синим карандашом: «Пристанище для путешествующих по державе Российской».

Российская держава, Россия! Нескладная родная страна!

Утром Лермонтову встретился на улице слепой солдат. Он просил милостыню. Солдата вела за руку девочка лет четырнадцати, вся в лохмотьях. Сквозь грязную рвань просвечивало ее детское нежное тело.

— Кем он тебе приходится, этот солдат? — спросил Лермонтов девочку.

— Да никем. Я сирота. А ему пушечным огнем глаза выжгло.



— В бою под Тарутином! — хрипло прокричал солдат. По его зажатым воспаленным векам ползали мухи, но солдат их не отгонял.

«Ах, ты барыня-сударыня моя! Ах ты, барыня-сударыня моя!» — повизгивала гармоника.

Лермонтов дал солдату полтинник.

Слуга лежал на подоконнике в «номерах» и смотрел на улицу.

— Напрасно вы их балуете, Михаил Юрьевич, — сказал он укоризненно из окна.

— Помалкнвай, пока я тебя не отправил в Тарханы!

Да, Россия... В Москве, на вечере у Погодина, Лермонтов впервые встретился с Гоголем. Гости сидели в саду. В этот день было народное гулянье. Из-за кирпичной ограды проникал с бульвара запах пропотевшего ситца. Пыль, золотясь от вечерней зари, оседала на деревьях.

Гоголь, прищурив глаза, долго смотрел на Лермонтова — чуть сутуловатого офицера — и лениво говорил, что Лермонтов, очевидно, не знает русского народа, так как привык вращаться в свете. «Попейте кваску с мужиками, поспите в курной избе рядом с телятами, поломайте поясницу на косье — тогда, пожалуй, вы сможете — и то в малой мере — судить о доле народа».

Лермонтов вежливо промолчал. Это Гоголю не понравилось.

Лермонтов был удивлен разговорами Гоголя, его брюзгливым голосом. За ужином Гоголь долго выбирал, помахивая в воздухе вилкой, в какой соленый груздь эту вилку вонзить.

Одно было ясно Лермонтову: Гоголь им пренебрегал. «Способный, конечно, юноша. Написал превосходные стихи на смерть Александра Сергеевича. Но мало ли кому удаются хорошие стихи! Писательство — это богослужение, тяжкая схи́ма. А офицер этот никак не похож на схимника».

В ответ Гоголю Лермонтов, выждав время, прочел отрывок из «Мцыри».

— Еще что-нибудь, — приказал Гоголь.

Тогда Лермонтов прочел посвящение Марии Щербатовой:

На светские цепи,  
На блеск утомительный бала  
Цветущие степи  
Украины она променяла...

Гоголь слушал, сморщив лицо, ковырял носком сапога песок у себя под ногами, потом сказал с недоумением:

— Так вот вы, оказывается, какой! Пойдемте!

Они ушли в темную аллею. Никто не пошел вслед за ними. Гости сидели в креслах на террасе. Обгорали на свечах зеленые прозрачные мошки. На бульваре лихо по-званивала карусель.

В аллее Гоголь остановился и повторил:

Как ночи Украины,  
В мерцании звезд незакатных,  
Исполнены тайны  
Слова ее уст ароматных...

Он схватил Лермонтова за руку и зашептал:

— «Ночи Украины в мерцании звезд незакатных...»  
Боже мой, какая прелесть! Заклинаю вас: берегите свою юность.

Гоголь сел на скамью, вынул из кармана клетчатый платок и прижал его к лицу. Лермонтов молчал. Гоголь слабо махнул ему рукой, и Лермонтов, стараясь не шуметь, ушел в глубину сада, легко перелез через ограду и вернулся к себе.

За окном прогремели по булыжникам колеса, брякнул и замолк колокольчик под дугой, захрапели лошади; топоча сапогами, скатился по лестнице гостиничный слуга, знакомая девочка-нищенка пропела серебряным голоском «Барыня-красавица, подайте копеечку убогому слепцу-кавалеру», и гармоника споткнулась и ватихла. Кто-то новый приехал в гостиницу.

Лермонтов встал с койки и подошел к окну.

Из запыденной коляски выходила, слегка подобрав дорожное платье, Мария Щербатова — высокая, тонкая, с бронзовым блеском в волосах.

Лермонтов отшатнулся от окна. Откуда она здесь, в этом заштатном городке? Так недавно еще он расстался с ней в Петербурге.

Любила ли она его? Он не знал. Вообще он не знал, любил ли его по-настоящему хоть кто-нибудь в жизни. Все привязанности кончались обманом. Наталья Иванова променяла его на проворовавшегося офицера, Лопухина вышла замуж за богача.

Как же Щербатова попала сюда? В Петербурге она ничего не говорила ему об этой поездке. Потом он вспомнил: городок этот лежал по пути на ее Украину. Какой все же славный городок! Там, в степях Заднепровья, выросла эта юная женщина с лазурными глазами.

Любила ли она его, он не знал. Но он, если бы мог, подарил ей всю землю. Вся теплота этой любви сосредоточилась в нем одном. Он берег ее, он жил с ней одиноко и счастливо.

Он был благодарен за это Щербатовой. Не важно, знала она об этом или нет. Достаточно того, что она жила и случай столкнул их на несхожих житейских дорогах.

Он позвал слугу и велел получше почистить мундир.

Мария Щербатова была здесь! Он слышал ее голос в пропахшем кислыми щами коридоре, шум ее платья, знакомые шаги, хлопанье разошедшихся дверей, свежий плеск воды в тазу, запах лавандовых духов. И наконец он услышал заглушенные слова, каких ждал с той минуты, когда увидел ее выходящей из коляски:

— Неужели Михаил Юрьевич здесь? Вот забавный случай! Тогда передай ему вот это.

«Вот это» было запиской, наспех набросанной на клочке бумаги. Ее принес слуга.

В записке было два слова:

«Приходите скорей!»

Никакие слова не казались ему такими зовущими и ласковыми, как два этих маленьких слова.

Марии Щербатовой тоже казалось, что впервые в жизни она написала такие удивительные и важные слова.

В них было все: смятение ее любви, утаенной печали.

С детства она верила в счастливые неожиданности, ждала их, но ожидание это никогда не сбывалось. Ничего, кроме горечи, не приносило это ожидание. А вот сейчас — сбылось!

Еще там, в Петербурге, узнав о ссылке Лермонтова, Щербатова решила тотчас уехать к себе на Украину. Нет, еще бьется сердце, и она не променяла цветущие украинские степи на мертвую суету Петербурга. Он был не прав, когда упрекал ее в этом.

Она решила ехать. В глубине души, как исчезающий, неуловимый сон, жила надежда: может быть, она еще встретит его, догонит в пути. Мало ли что случается в жизни. Есть же такое утешительное слово — «наугад».

И вот — сбылось! Лермонтов здесь. И она должна решиться и сказать ему наконец, как он ей дорог. И потом плакать от нежности, от безнадежности добиться хотя бы недолгого счастья.

Она не могла объяснить себе многого. Сейчас ей хотелось запомнить на всю жизнь этот городок, гостинный двор с желтыми облупившимися сводами, голубей на базаре, зеленую вывеску трактира «Чай да сахар!», каждую щепку на горбатой мостовой.

— Я думаю совсем не о том, не о том! — шептала Щербатова, торопливо причесываясь перед темным гостиничным зеркалом. — Думаю о пустяках, а этот свободный для сердца день не повторится. Никогда! Что я скажу ему? Где? Нет, только не в этих «номерах»! Уйдем за город, к реке. Вон в ту рощу, где блестит на солнце покосившийся крест над часовней. Должно быть, там кладбище.

Но встреча, как это всегда бывает, получилась совсем не такой, как ожидала Щербатова.

Когда послышались шаги Лермонтова, Щербатова вышла в коридор, сбежала, задыхаясь, по лестнице и остановилась в воротах. В руке она держала за синюю шелковую ленту соломенную шляпу.

Они встретились у ворот, и Лермонтов, наклонившись, чтобы поцеловать ее руку, пропустил тот единственный миг, когда слеза блеснула в ее синих, как шелковая лента, глазах и тотчас исчезла.

И пошли они не в кладбищенскую рощу, а в городской запущенный сад. Там так громко трещали воробьи, что Лермонтов, усмехнувшись, заметил:

— Как будто на сотне сковородок жарят яичницу на украинском сале.

Щербатова слабо улыбнулась. Она поняла, что вряд ли скажет ему сейчас то, что хотела сказать минуту назад. Они все время уходили в сторону от единственно важного для них разговора.

Под горой в мутноватой воде кружились отражения облаков. И весь этот скромный весенний день казался Щербатовой тайным подарком. Он принадлежал только ей. Никто не знает, где она, с кем она сейчас. Сердце полно до краев. Пальцы вздрагивают, когда она прикасается к рукаву его грубого мундира. Прижать бы к груди эту милую голову, пригладить волосы...

Но этого тоже не случилось. Лермонтов, сгорбившись и застенчиво улыбаясь, заговорил о России, о том, что любит в ней как раз то, чего не любят другие. Вот все досадуют на разлив, а он готов прожить хоть месяц в этом городке и только то и делать, что смотреть на полную воду. Должно быть, все занимательно для нас, если душа открыта для самых простых впечатлений.

Он говорил с ней, как с другом, как с женщиной. В его темных глазах появился влажный блеск.

Он рассказал о слепом солдате и девочке-поводыре. Они весь день не выходили у него из головы.

— Михаил Юрьевич! — Щербатова положила пальцы на горячую руку Лермонтова. — Я догадываюсь обо всем, что вы можете думать обо мне. Но я не такая. Я выросла среди простонародья. Я бегала босиком по крапиве и пасла телят и гусей. До сих пор я не могу без слез слушать наши малороссийские песни. «Закувала та сыва зозуля раным-рано на зори». Вы понимаете? «Закувала серая кукушка на ранней заре».

— Я понимаю, — ответил Лермонтов и начал чертить ножнами шашки по песку.

— Михаил Юрьевич! — сказала с отчаянием Щербатова. — Опять у вас тоска! Я не знаю, что сделать, чтобы ее не было.

— Все кончится, — спокойно ответил Лермонтов. — Мы украли у этого дурацкого света единственный день. Но все равно вы ничем не можете помочь мне. Просто вы не решитесь.

— Да, не решусь, — призналась Щербатова и опустила голову.

— Вы не виноваты, — сказал, успокаивая ее, Лермонтов. — Мне грустно оттого, что я вас люблю, и знаю, что за этот легкий день вам придется дорого рассчитаться. Мы не скроемся. Здесь шайка петербургских офицеров. И среди них один. Я давно приметил его. Или, вернее, он давно преследует меня, как тень. Некий жандармский ротмистр с черной повязкой на глазу. Единственный, но зоркий глаз Бенкендорфа.

— Ну, вот, — Щербатова встала и протянула Лермонтову руки, как бы желая помочь ему подняться с низкой садовой скамейки. — Вы так просто сказали то, что я не решаюсь сказать сама.

Она слегка потянула его за руки. Лермонтов встал, и она, обняв его за плечи, поцеловала в губы, потом в гла-

за — поцеловала прямо, открыто, глядя в побледневшее лицо.

И опять все случилось не так, как она думала. Не было ни бурных слов, ни пылких признаний, ни клятв, а только разрывающая сердце нежность.

Слепой солдат зашел в ренковский погребок и купил на весь полтинник, полученный от Лермонтова, казенного вина. Но он не стал его пить в погребок, а отнес на «квартиру» — солдат ночевал на окраине городка, в Слободке, в дальней кривой избе.

Хозяин избы, непутевый шорник, вдовец, увидев штоф с вином, засуетился, постлал на стол дырявое, но чистое рядом, насыпал в деревянную миску соленых желтых огурцов, достал краюху хлеба и солонку с красной, заржавевшей солью.

В избе было по-весеннему сыро. Пахло гнилой кожей. Из рта валил пар.

Начали пить, отдуваясь, поминая святых угодников.

Девочка сидела на скамье, поджав босые ноги, и жевала корку. Тощая, только что окотившаяся кошка терлась о ноги девочки. Девочка чувствовала тепло кошачьей шкурки, смотрела на кошку прозрачными, пустыми глазами, потом отломилла кусок корки и бросила кошке.

Кошка стала жадно грызть корку, как пойманную мышь, — урча, давясь и встряхивая ушами.

— Ишь ты, — сказал хозяин избы, — мамзель какая! Хлеб животному стравливает. Это, я считаю, безобразие.

Девочка ничего не ответила, а солдат закричал хозяину:

— Тысячи нас, солдат, сполняют царскую службу! Понимаешь ты это, серая твоя башка? На солдате государство стоит...

— То-то вас порют через каждого третьего, — заметил хозяин. — Ты лучше расскажи, откуда ты родом.

— А я и не помню! — бесшабашно ответил солдат. — Ей-богу, забыл. Одно помню: стояла мать под раkitой и крестилась на солнце, когда меня угоняли. Мать у меня была раскрасавица, прямо цыганка!

— Ну, бреши, утешайся, — согласился хозяин избы. — Куда ты только подавание деваешь? У самого в брюхе шелк. И девочка у тебя засохла, насквозь светится.



— Она вроде немая,— ответил солдат.— Только милостыню за меня просит. А чтобы другое слово сказать, так этого за ней не водится. Катька! — крикнул он.— Хочешь вина?

Девочка молча покачала головой, не спуская глаз с кошки.

— Слушай! — закричал солдат и стукнул желтой ладонью по столу.— Слушай мое объяснение, сиворайдовский мужик! Меня сам командир за бой под Тарутином облобызал. Видишь, крест егорьевский! Перед ним встать следует, а не сидеть раскорякой. С тем крестом я могу во дворец беспрепятственно войти — часовые меня не тронут. Войти и сказать караульному генералу: «Доложи государю, такой-растакой сын, что старослужащий солдат желает ему представиться на предмет вспоможения». И генерал — ни-ни, не пикнет! Только забренчит орденами и побегит к царю докладывать.

— Да ну! — притворно удивился хозяин избы.— Так-таки и побегит?

— Еще как! Мне вот офицер дал полтинник. Катька говорит — молодой офицер, чернявый. Это не каждому полтинник дают! Это, брат, заслужить надо. Я самого Кутузова видел. Полководца! Одноглазый генерал. Облик львиный. Скачет в дыму, знамена над ним шумят, «ура» катится до самой Москвы. И кричит он нам: «Ребята, умрем за отечество! Умрем, кричит, за отечество!»

Солдат сморщил лоб и заплакал. Плакал он молча, сидя навывтяжку, придерживая на груди почернелый Георгиевский крест.

— Все герои, а пока что в дерьме преем,— вздохнул хозяин.— Ты лучше пей, кавалер. Солдат веселиться должен. По уставу.

— Видит бог, должен! — закричал солдат с натугой, лицо его начало чернеть, и он запел:

Ах ты, сукин сын, камаринский мужик!

Солдат тяжело затопал ногами под столом.

Ты, видать, видать, к веселию привык!

— Дедушка,— испуганно сказала девочка и положила синеватые пальцы на набухшую узлами руку солдата.— Ты не пой: закашляешься.

— Полк, слуша-а-ай! — закричал солдат и тотчас закашлялся.

Кашлял он долго, навалившись грудью на стол, выпу-

чив красные от удушья глаза. Хозяин избы жевал огурец и с любопытством смотрел на солдата.

— Чего ж ты сидишь? — сказал он наконец девочке. — Видишь, человек кончается. Паралик его разбирает.

Солдат упал головой на стол, захрипел и сполз, свалив лавку, на земляной пол. Кошка, прижав уши, отбежала с недоеденной коркой к холодной печке.

Девочка стала на колени около солдата, схватила его за голову.

— Дедушка! — закричала она. — Встань! Чего ж ты по полу валяешься? Худо тебе?

— Тихо! — прохрипел солдат. — Слушай мою команду. Офицер дал мне полтнник. Душа-офицер! Доложи ему: помер, мол, старослужащий солдат и кавалер Трифон Калугин с весельем, как полагается.

Ах ты, сукин сын, камаринский мужик!

— Дедка! — звонко вскрикнула девочка, легла головой на грудь солдату и обхватила его плечи.

И должно быть, солдат почувствовал скудное и последнее для него тепло детских рук. Он задвигался и положил девочке на лицо тяжелую ладонь.

— Темно мне помирать, — сказал он. — Хоть бы солнышко вполглаза увидеть! Ты не кричи. Жизнь солдатская — портянка. Снял и выкинул. Беги к офицеру, скажи... хоронить надо солдата по правилам службы.

Солдат дернулся и застыл. В наступившей тишине было слышно, как кошка догрызала хлебную корку и тяжело дышал хозяин избы.

— Вот тоже, — сказал он наконец, — навязались постояльцы на мой задривок. Погодь!

Он оттолкнул девочку и начал ловко шарить в карманах у солдата.

— Мошна-то глубока, да пуста, — зло бормотал он. — Голь перекатная! А вию пьют. Да еще угощают! Мне двугривенный полагается за постой.

Девочка вскочила. Хозяин качнулся, хотел схватить ее за подол, но девочка метнулась к порогу и, не оглядываясь, выбежала из избы.

Бывает такая внутренняя уверенность в себе, когда человек может сделать все.

Он может почти мгновенно написать такие стихи, что потомки будут повторять их несколько столетий.

Он может вместить в своем сознании все мысли и мечты мира, чтобы раздать их первым же встречным и ни на минуту не пожалеть об этом.

Он может увидеть и услышать волшебные вещи там, где их никто не замечает: серебряный пень в лунную ночь, звон воздуха, небо, похожее на старинную морскую карту. Он может придумать множество удивительных рассказов.

Примерно такое же состояние испытывал сейчас Лермонтов. Он был спокоен и счастлив. Но не только любовью Щербатовой. Разум говорил, что любовь может зачахнуть в разлуке. Он был счастлив своими мыслями, их силой, широтой, своими замыслами, всепроникающим присутствием поэзии.

Днем Лермонтов обошел со Щербатовой весь городок. Из сада они пошли посмотреть на разлив и узнали, что паром починят только завтра. Они долго сидели на теплых от солнца сосновых бревнах, наваленных на береговом песке. Щербатова рассказывала о своем детстве, о Днепре, о том, как у них в усадьбе оживали весной высохшие, старые ивы и выпускали из коры мягкие острые листочки.

Она увлеклась воспоминаниями. В голосе у нее появилось мягкое южное придыхание. Лермонтов любовался ею.

Они пообедали у известной в городке бригадирской вдовы-поварихи. Она накрыла стол в саду. Цвела яблоня. Лепестки падали на толстые ломти серого хлеба и в тарелки с крутым борщом. К чаю бригадирша подала тягучее вишневое варенье и сказала Лермонтову:

— Я его берегла для праздника. А вот сейчас не стерпела, выставила для вашей жены. Где это вы отыскивали такую красавицу?

Щербатова вспыхнула слабым румянцем. Лермонтов впервые за этот день увидел слезу на глазах Щербатовой. Она незаметно смахнула ее мизинцем.

Он не узнавал ее. Она была прелестна в Петербурге, но куда сейчас девалась ее тамошняя сдержанность, снежная, почти мраморная красота и горделивость движений? Сейчас перед ним была простая, ласковая женщина, и тайная радость, что она переменялась так внезапно ради него, не покидала Лермонтова.

Только к вечеру они вернулись в «номера». Огромное солнце склонялось к разливу.

Из большой комнаты в «номерах», занятой офицерами, доносились то дружный хохот, то рыдающие стоны гитары и нестройное пение:

Коперник весь свой век трудился,  
Чтоб доказать Земли вращенье,  
Дурак, зачем он не напился,—  
Тогда бы не было сомненья!

Под стеной «номеров» сидела на земле, обхватив руками колени и положив на них голову, знакомая нищенка. Она, казалось, спала. Лермонтов остановился.

— Почему ты одна? — спросил он. — Где солдат?

Девочка подняла голову, но не встала.

— Где солдат? — повторил Лермонтов.

— На Слободке. Лежит в хате.

— Что с ним?

— А он помер. Как почернел, так и свалился под лавку. А меня к вам послал.

— Зачем?

— А я не знаю, — шепотом ответила девочка, и лицо у нее задрожало. — Велел добежать до вас, а я не дослушала.

— Испугалась?

— Ага! — еще тише ответила девочка.

Щербатова вскинула на Лермонтова глаза. Лицо его стало суровым и нежным. Она ни разу не видела у него такого лица. Легкая боль кольнула ей сердце.

— Я не знала, что вы так чувствительны.

Лермонтов пристально взглянул на нее.

— Я не люблю благоденствий, — сказал он, чуть сердясь. — Все это вздор! Но со вчерашнего дня мне все кажется, что я отвечаю за эту детскую жизнь.

Слуга Лермонтова, по своему обыкновению, лежал на подоконнике и, сощутив глаза, смотрел на улицу. Он явно показывал проходящим, что нестерпимо скучает в этой серой провинции. Лермонтов резко окликнул его и приказал накормить девочку.

Когда Лермонтов проходил со Щербатовой по тесному коридору «номеров», дверь из офицерской комнаты распахнулась. Из нее высунулся жандармский ротмистр с черной повязкой на глазу. Увидев Лермонтова, он тотчас захлопнул дверь.

— Извините, мне надобно отлучиться,— сказал Лермонтов Щербатовой, поклонился и быстро открыл дверь в офицерскую комнату.

Шум за дверью оборвался.

Щербатова пошла к себе, но в комнату не вошла, а остановилась у дверей. Она была оскорблена внезапным уходом Лермонтова.

«Господи! — сказала она про себя.— Дорога каждая минута, а он теряет время на карты. Что это значит?!»

Тяжелая боль сжала ей грудь. В одно это мгновение она поняла, что даже короткая разлука приводит ее в отчаяние. Что же будет завтра, когда придется расставаться надолго, может быть, навсегда?

Небо за окном в конце коридора становилось все зеленее. День быстро угасал. На смену ему шла тишина ночи со слабым заревом звезд.

Если бы можно было остановить медленный ход ночи над этим глухим уголком России! Остановить, чтобы никогда не наступал завтрашний день...

Офицеры играли и пили вторые сутки.

Лермонтов вошел, не постучавшись. Он уронил на пороге белоснежный носовой платок и так ловко и незаметно поднял его, что кое-кто из офицеров подумал:

«Да, с этим разжалованным гусаром лучше не связываться. Бьет, как пить дать, в пикового туза пулей в плечо».

Жандармский ротмистр с черной повязкой на глазу встал и вышел в соседнюю комнату. Лермонтов посмотрел ему в спину. Одноглазый! А может быть, нарочно завязал глаз для нечистой игры.

Офицеры замолкли. По их напряженным лицам Лермонтов догадался, что они только что говорили о нем и Щербатовой. Нижняя губа у него дернулась, но усилив воли он сдержал нервную дрожь, кивнул всем и сказал:

— Жаль, что так поспешно ушел господин ротмистр. Мне бы надобно сразиться именно с ним.

Жандармский ротмистр быстро открыл дверь из соседней комнаты и остановился на пороге.

— Я к вашим услугам,— сказал он добродушно и слегка поклонился.— Всегда рад сразиться с прославленным русским поэтом.

— Насколько я знаю,— спокойно ответил Лермон-

тов,— вы играете только втемную. Ну что ж, сыграем и втемную.

Ротмистр деланно засмеялся и подошел к столу. Глаз его прищурился от злобы.

— Играю на тысячу,— сказал Лермонтов.— Не больше. Без отыгрыша. После выигрыша тотчас уйду. Идет?

Ротмистр кивнул.

— Идет! — ответил за него банкOMET, белобрысый драгунский капитан.— Остановка за малым — за выигрышем. А я, признаться, думал, что вам сейчас не до игры, господин Лермонтов.

— Мысли ваши держите в кармане рейтуз,— резко ответил Лермонтов.

— Ежели бы вы не ехали на Кавказ, под пули...— сказал, краснея, банкOMET и осекся.

Лермонтов смотрел на него выжидательно и спокойно.

— То что бы случилось, позвольте узнать? — спросил он с вежливым любопытством.

— Да так... ничего,— пробормотал банкOMET.

Ротмистр кивнул и бросил на стол пачку ассигнаций.

Лермонтов тоже вынул деньги.

— Здесь тысяча,— сказал он.— Иду на все!

— Вы об этом уже изволили докладывать. Вот ваша карта.

Офицеры столпились у расшатанного стола. Хмель сразу слетел с них. Всем было ясно, что Лермонтов играет неспроста. Не такой уж мальчик уродился, чтобы чего-нибудь не выкинуть. Только совсем юный и пьяный до беспомощности чиновник прокричал:

Вам не видать таких сражений!

— Замолчите! — ласково сказал ему Лермонтов.

Чиновник всхлипнул и затих. Лермонтов быстро открыл карты.

— Ваша тысяча! — сказал банкOMET с наигранным равнодушием.

— Посмотрим, как вы отыграетесь,— сказал Лермонтов ротмистру, взял деньги, засунул их, не считая, в карман, кивнул и вышел.

С этой минуты Лермонтов с полной ясностью понял, что ротмистр послан следить за ним.

— Индюк! — зло сказал ротмистр банкOMETу. Тот удивленно моргнул красными от бессонницы веками.— Тюфяк! — повторил ротмистр.— Пропустил такой случай

расквитаться с этим наглецом! Он же лез на ссору, а ты вильнул и скис. «Да так... ничего...» — передразнил он банкомета.

— От такого и тремя откупишься,— пробормотал конопатый пехотный капитан.— По всем повадкам видно— головорез!

Тогда вдруг зашумел чиновник.

— Стреляться с Лермонтовым? — закричал он.— Не допущу! Извольте взять свои слова обратно!

— Проспитесь сначала, фитюк! — брезгливо ответил ротмистр.

А банкомет еще долго сидел, недоумевая, и моргал красными веками, пока двое драгун не взяли его под руки и не уложили на рваный, стреляющий пружинами диван.

После выигрыша Лермонтов пошел на Слободку.

К себе в «номера» он вернулся поздним вечером. Девочки в комнате не было. Слуга сидел у стола и лениво отковыривал ногтем воск на чадающей свече.

От внезапного тяжелого гнева у Лермонтова заныл затылок. Припадки такого гнева случались с ним все чаще. Последний раз так было на маскараде в Благородном собрании, когда великая княжна игриво ударила его веером по руке и сказала, что хочет причислить поэта к своим приближенным. Он не сдержался, сказал княжне дерзость. Но тогда этот гнев был понятен.

Но почему гнев вспыхнул сейчас? Он не мог разобраться в этом. Может быть, потому, что в комнате не оказалось девочки, а может быть, от сонной и, как ему показалось, насмешливой рожи слуги.

— Подай мне мокрое полотенце,— хрипло сказал Лермонтов.— Свеча чадит, а ты сидишь как истукан. Где девочка?

Слуга начал мочить полотенце под медным рукомойником.

— Пить бы вам надо поменьше,— сказал он наставительно.

— Где девочка? — повторил Лермонтов, и голос его зазвенел.

— Кабы вы приказали мне ее караулить... — обиженно начал слуга, но Лермонтов не дал ему окончить.

— Где?! — крикнул он, и слуга отшатнулся, увидев его взбешенные глаза.

— Княгиня сюда заходили и увели ее к себе,— скороговоркой пробормотал слуга.— Что ж я, силком ее, что ли, буду держать, христарадницу эту!

Лермонтов вырвал из рук слуги полотенце, обвязал им голову.

— Ступай к себе,— сказал он, сдерживаясь.— И соби-райся в дорогу. Завтра поедешь в Тарханы. К черту!

— Это как же? — спросил, прищурившись, слуга.

— Ступа-а-ай! — повторил Лермонтов так протяжно и яростно, что слуга, сжавшись, выскочил в коридор.

За дверью он перекрестился. «И впрямь лучше поеду,— подумал он.— А то еще убьет. Ей-богу, убьет... Смотри, какой бешеный!»

Лермонтов сел к окну, оперся локтями о подоконник и сжал ладонями голову.

Ночная прохлада лилась в окно из зарослей черемухи, будто черемуха весь день прятала эту прохладу в своих ветвях и только ночью отпускала ее на волю. Низко в небе вздрагивал огонь звезды.

«Надо пойти к Щербатовой,— думал Лермонтов.— Но можно ли? Там камеристка. Да все равно ничего не удержишь в тайне. Зачем случилась эта встреча? Опять пришла тоска, дурные предчувствия». Он привык к одиночеству. Иногда он даже бравировал им: «Некому руку подать в минуту душевной невзгоды». Но вот сейчас и невзгода и есть кому руку подать, а тоска растет, как лавина, вот-вот раздавит сердце.

Никогда ему не хотелось ни о ком заботиться. А вот теперь...

У него, как и у этой девочки, не было ни матери, ни отца. Сиротство родило их, прославленного поэта и запуганную нищенку. Он думал, усмехаясь над собой, что, должно быть, поэтому он так обеспокоен ее судьбой.

Он смутно помнил свою мать,— вернее, ему казалось, что помнил,— ее голос, теплые слабые руки, ее пение. Думая о ней, он написал стихи о звуках небес, о том, что их не могли заменить скучные земные песни.

За окном стучал в колотушку сторож. И как люди считают, сколько раз прокуковала кукушка, чтобы узнать, долго ли им осталось жить, так он начал считать удары колотушки. Выходило каждый раз по-иному: то три года, то девять, а то и все двадцать лет. Двадцати лет ему, пожалуй, хватит.



За спиной Лермонтова открылась дверь. Сквозной ветер согнул пламя свечи.

— Опять ты здесь,— сказал устало Лермонтов.— Я же говорил, чтобы ты оставил меня в покое.

Теплые руки обняли Лермонтова за голову, горячее лицо Щербатовой прижалось к его лицу, и он почувствовал у себя на щеке ее слезы.

Она плакала безмолвно, навзрыд, цепляясь за его плечи побелевшими пальцами. Лермонтов обнял ее.

— Радость моя! — сказала она.— Сердечко мое! Что же делать! Что делать!

Оттого, что в этот горький час она сказала, как в детстве, украинские ласковые слова, Лермонтов внезапно понял всю силу ее любви.

Что делать, он не знал. Неужели смириться? Жизнь взяла его в такую ловушку, что он не в силах был вырваться. Внезапная мысль, что он должен отдать себя под защиту народа, мелькнула в его сознании. Но он тотчас прогнал ее и засмеялся. Глупец! Что он сделал для того, чтобы заслужить всенародное признание? Путь к великому назначению поэта так бесконечно труден и долг — ему не дойти!

— Мария,— сказал он, и голос его дрогнул,— если бы вы только знали, как мне хочется жить! Как мне нужно жить, Машенька!

Она прижала его голову к груди. Он впервые за последние годы заплакал — тяжело, скупно, задыхаясь в легком шелку ее платья, не стыдясь своих слез.

— Ну что ты? Что ты, солнце, радость моя? — шептала Щербатова.

Лермонтов сжал зубы и сдержался. Но долго еще он не мог вздохнуть всей грудью.

— Пойдем сейчас ко мне,— шептала Щербатова.— Я покажу тебе девочку. Она спит. Я вымыла ее, расчесала. Я возьму ее к себе.

— Хорошо,— сказал он.— Иди. Я сейчас умоюсь и приду.

— Только скорее, милый.

Она незаметно вышла. Лермонтов умываться не стал. Он сел к столу и быстро начал писать:

Мне грустно, потому что я тебя люблю,  
И знаю: молодость цветущую твою  
Не пощадит молвы коварное гоненье.

Он встал, спрятал стихи за обшлаг мундира, задул свечу и вышел.

Глухая ночь проходила неведомо куда над городком, над черными полями и разливом. И лениво, как бы засыпая, ударил один раз в колотушку ночной сторож.

Рано утром Лермонтов снова ушел на Слободку и вернулся только к полудню. Перед уходом он послал записку Щербатовой. Она была написана по-французски:

«Я обязан сегодня отдать последний долг солдату. Если у вас есть черное платье, то, прошу вас, наденьте его. Я зайду за вами и за девочкой».

Щербатова достала простое черное платье и торопливо переделалась.

Лермонтов пришел сдержанный, молчаливый, и они втроем пошли на Слободку.

Солдат лежал в неструганом гробу на столе, прибранный, покрытый рваным рядом. Он как бы прислушивался, дожидаясь утренней побудки, пения полковой трубы.

Высокая старуха читала псалтырь, проглатывая слова, точно боясь, что ее остановят. По столу около гроба суетливо бегали рыжие тараканы. Старуха смахивала их ладонью.

Хозяин избы, уже успевший опохмелиться на полученную от Лермонтова трешку, не то плакал, не то кричал, стоя в углу и вытирая лицо ситцевым рукавом.

Пришел рыжий веселый священник с дряхлым дьячком, надел через голову старую ризу, выпростал жирные волосы, вытер лицо коричневым платком, попробовал голос и начал отпевание.

Щербатова стояла, опустив голову. Воск капал ей на пальцы с тонкой, согнувшейся свечи. Но она не замечала этого. Она думала о бездомном солдате, о своей нарядной и утомительной жизни в Петербурге и вдруг удивилась: зачем ей эта жизнь? И зачем ради нее она должна отказаться от любви, от радости, от веселья, даже от того, чтобы пробежать босиком по мокрой траве? Она думала о Лермонтове. Их родственная и светлая близость не может пройти никогда. Она думала обо всем этом, и ей казалось, что она молится за солдата, за Лермонтова, за свою самую печальную на свете любовь.

Девочка, одетая в серенькое, наспех подшитое на ней платье, смотрела, не мигая, за окно.

За окно смотрел и Лермонтов. Там сняла последняя для солдата весна. Легкий сквозняк уносил дым ладана. Небо и деревья светились сквозь этот дым тусклой позолотой.

«Может быть, это и моя последняя весна», — подумал Лермонтов, но тотчас начал торопливо думать о другом — о Щербатовой, о том, что уже починили, должно быть, паром и через несколько часов он расстанется с ней.

— Кутузовский кавалер! — вздыхал позади хозяин. — Царствие ему небесное, вечный покой!

Лермонтов улыбнулся. Щербатова с тревогой подняла на него глаза. Со времени встречи в городке малейшее его душевное движение тотчас передавалось ей. А он подумал, что вот эти слова будут когда-нибудь петь и над ним. Петь о вечном покое над человеком, созданным для вечного покоя. Ну что ж, тогда ему будет все равно!

Кладбище оказалось в той маленькой роще за городом, где Щербатова хотела встретиться с Лермонтовым. Дымные тени от недавно распутившихся берез шевелились под ногами.

Хозяин избы подошел к гробу с молотком и гвоздями, чтобы заколотить крышку. Гвозди он держал во рту. Лермонтов отстранил его, наклонился и поцеловал бугристую руку солдата. Смуглое лицо его побледнело.

Щербатова опустила на колени перед гробом, тоже поцеловала холодную солдатскую руку и подумала, что никогда она не забудет об этом дне.

Не забудет о шуме ветра в березах, застенчивом солнечном тепле, дрожащих губах девочки, голосе Лермонтова, о каждом сказанном им слове, об этих двух днях, что останутся в памяти, как святая святых, — коротких дней, затерянных среди тысячи других дней в потоке времени.

Все неподвижно смотрели, как сырая земля сыпалась на крышку гроба. Щербатова взяла руку Лермонтова и незаметно и нежно поцеловала ее. За все: за прошлые его страдания, за погибшую молодость, за счастье жить с ним под одним небом.

Щербатова сидела в коляске, закрыв глаза, закутав голову. Она сослалась на нездоровье, чтобы ее не тревожили.

После разлуки с Лермонтовым она не могла смотреть ни на степь, ни на людей, ни на попутные села и города. Они как бы заслоняли воспоминание о нем, тогда как все ее сердце принадлежало только ему. Все, что не было связано с ним, могло бы совсем не существовать на свете.

С детских лет она слышала разговоры, что любовь умирает в разлуке. Какая ложь! Только в разлуке бережешь, как драгоценность, каждую малость, если к ней прикасался любимый.

Вот и сейчас к подножке коляски прилип листок тополя. Когда Лермонтов, прощаясь со Щербатовой, вскочил на подножку, он наступил на него.

Щербатова смотрела на этот трепещущий от ветра жалкий лист и боялась, что его оторвет и унесет в поле. Но он не улетал. Лист оторвался и улетел только на третий день к вечеру, когда из-за днепровских круч ударил в лицо грозовой ветер и молнии, обгоняя друг друга, начали бить в почерневшую воду.

Гроза волокла над землей грохочущий дым и ликовала, захлестывая поля потоками серой воды.

Кучер повернул к видневшейся вдалеке деревне. Испуганные кони скакали, прижав уши, храпя, косясь на раскаты грозы, обгонявшие коляску то справа, то слева.

Щербатова привстала, сбросила шаль. Тополевого листка на подножке не было.

Гром расколол над головою небо.

«Зачем я не бросила все,— подумала с тоской Щербатова,— и не поехала с ним на Кавказ?»

Ничего не нужно сейчас — ни покоя, ни прочности в жизни. Только бы увидеть его, взять за руки. И знать, что он здесь, рядом, и что никакая сила в мире не сможет теперь оторвать их друг от друга.

Девочка испугалась грозы. Щербатова обняла ее, прижала к себе и тогда только заметила, что девочка плачет.

— О ком ты плачешь? — спросила Щербатова порывисто. — О ком?

Девочка только затрясла головой и крепче прижалась к Щербатовой.

Гроза несла над ними на юг, к Кавказу, обрывки разодранного в клочья неба. И старик-украинец в накиннутой на голову свитке торопливо отворял перед взмыленными лошадьми скрипучий плетень и говорил:

— В такую грозу разве мыслимо ехать! Убьет и размечет. Заходите скорийше до хаты.

Опять задержка. Но теперь не из-за поломанного паррома, а из-за грозы. Она долго кружила над ночной степью в полыханни синего небесного огня. Серебряная путаница сухих стеблей и колосистых трав вдруг возникла во мраке по сторонам степного шляха и тотчас гасла, чтобы через мгновение вспыхнуть снова с нестерпимой, пугающей яркостью.

Каждый раз при вспышке молнии Лермонтов видел ее вороватый отблеск на эфесе своей шашки и на медной бляхе на спине ямщика. И каждый раз появлялась и снова тонула в кромешном мраке припавшая к широким балкам степная станица. Она как бы прилегла к земле, спасаясь от грозы.

В одной из хат Лермонтов остановился переждать грозу. Он думал назавтра ехать дальше, но черноземные дороги превратились от ливня в озера липкой грязи. Надо было дождаться, пока они немного просохнут.

Хата была ветхая. На жердях под потолком висели пучки пересохшей полыни. Жили в хате старуха Христина, промышлявшая знахарством и гаданием, и ее муж, сельский скрипач Захар Тарасович. Он играл на крестинах и свадьбах. Скрипочка у него была совсем детская, высохшая от старости, как пучки полыни под потолком. И такая же легкая, как эти пучки.

Лермонтов прожил в станице два дня. Все время напролет он писал. Слугу он отправил в Тарханы, и никто не мешал ему, не приставал с разговорами.

Мысли были ясные, как безоблачная ночь. На душе было легко от этих мыслей и от ощущения, что все вокруг подвластно поэзии. Разлука со Щербатовой, воспоминания, тоска по юной любящей женщине — все это помогало Лермонтову писать. Он с грустью думал, что в сердце поэта, кажется, нет большей привязанности, чем привязанность к поющей строфе.

В последний вечер перед отъездом из станицы Захар Тарасович зазвал Лермонтова с собой на свадьбу.

Лермонтов согласился. В этот вечер ему не хотелось оставаться одному. Он был встревожен, и его тянуло к людям. Днем он видел, как ротмистр с черной повязкой на глазу вошел в хату, где жила молодая шинкарка. Опять этот ротмистр вьется около него.

На свадьбе Лермонтов сидел в углу на темной от времени лавке. Девушки в венках из бумажных цветов искоса поглядывали на него, опускали глаза и заливались румянцем. Сваты, повязанные вышитыми рушниками, степенно пили пшеничную водку и закусывали розовым салом и квашеной капустой.

Девушки тихо пели:

Ой, в Ерусалиме  
Рано зазвонили.  
Молода дивчина  
Сына спородыла.

Невеста украдкой вытирала слезы, а Захар Тарасович подыгрывал девушкам на скрипке.

В полночь Лермонтов попрощался с хозяевами и вышел. Звезды медленно роились над головой. Ночь была южная, непроглядная. Из степи тянуло чебрецом.

Невдалеке от своей хаты Лермонтов столкнулся с пьяным. Пьяный молча загородил Лермонтову дорогу. Лермонтов сделал шаг в сторону, чтобы обойти его, но пьяный засмеялся и снова загородил дорогу.

— Ты со мной не шути, приятель,— сказал, сдерживая гнев, Лермонтов.— Дай мне пройти.

— Куда? — тихо спросил пьяный и крепко схватил Лермонтова за руку.

Лермонтов вырвался. Ни пистолета, ни шашки при нем не было.

— Долго ты у меня не находишься,— сказал со смешком пьяный.

Лермонтов с силой оттолкнул его и тут только заметил, что от пьяного не пахнет водкой.

Лермонтов пошел к своей избе. Сзади было тихо. Лермонтов оглянулся, и в то же мгновение сверкнул тусклый огонь из пистолетного дула, и пуля, подвывая, прошла около плеча и ударила в стену хаты. Посыпалась сухая белая глина.

Лермонтов в ярости бросился назад. Но там уже никого не было. Только брехали по всей станице собаки, встревоженные ночным выстрелом.

Лермонтов вернулся в хату, зажег свечу и при ее свете заметил, что левый погон у него оторван. Он потрогал плечо. Оно чуть болело.

Бабка лежала на печке.

— Вот клятый нуда! — сказала она. — Злодий, чтобы добра ему не было! Не поранил он вас?

— Нет. А откуда ты знаешь, что это в меня стреляли?

— Да так... ниоткуда, — ответила бабка. — Свечку лучше задуйте да отойдите от окна. А то он упорный.

— Кто это «он»?

— А кто ж его знает, — неохотно ответила бабка. — Он всего третий год как приехал до нашей станицы. За карбованец любого подпалит, а за два карбованца — так и до смерти забьет. Он кат, палач, людей вешал. Свое отслужил, так начальство и заховало его к нам в станицу, в скрытность.

Лермонтов зарядил пистолет, погасил свечу, лег на лавку и укрылся буркой.

Он думал, что год назад ни за что бы не погасил свечу, а наоборот, сел бы при свете к окну, чтобы бросить вызов судьбе. А сейчас он берег каждый час своей жизни.

Сейчас он не имеет права играть собой. Он отвечал за все, еще не свершенное им, за каждое будущее слово, за каждую будущую строфу. Перед кем? Перед людьми, перед своей совестью, перед поэзией. Нечего играть в прятки. Порой он сам восхищался тем, что создал, но, конечно, никому не признавался в этом. Разве он не написал слова, что «звезда с звездой говорит»? Ради этого стоило погасить свечу и лежать тихо, прислушиваясь, трогая время от времени теплую сталь пистолета.

— Ну что ж, пока вам еще не удалось отыграться, господин ротмистр, — сказал вслух Лермонтов.

Он задремал. Сквозь дремоту он ощущал легкий, даже легчайший ветер на лице. Щербатова вошла в избу, оставила открытой скрипучую дверь, и звездный свет сиял за дверью, как синяя глубокая заря. И свежесть иочи, огромная успокоительная свежесть, собравшая весь хо-

лод родников, что журчат повсюду по степным балкам, прикоснулась к его лицу. От этого прикосновения ночной прохлады губы Щербатовой, приникшие сквозь сон к его глазам, показались такими горячими, будто солнечный луч каким-то чудом прорвался сквозь ночь и упал на лицо Лермонтова.

Лермонтов проснулся. Сердце билось медленно. На печке Христина шепталась с Захаром Тарасовичем, вернувшимся со свадьбы, — рассказывала ему о ночном происшествии с Лермонтовым.

Лермонтов пролежал с закрытыми глазами до рассвета. Он лежал один в крошечной хате, затерянной в широкой степи под неохватным небом, лежал, укрывшись буркой.

Он вспомнил, как девочка-нищенка на кладбище обняла плечи солдата худыми руками и на мгновение прижалась к его груди. Что бы он дал теперь, чтобы почувствовать на себе эту детскую ласку!

— Нет, не успеть! — сказал он и покачал головой.

Было слышно, как где-то, должно быть в соседней хате, плакал ребенок. Этот слабый звук наполнял ночь живым ощущением горя. Что делать, чтобы прошло это сиротство, одиночество?

Лермонтов сел на лавке. Старики на печке зашевелились и затихли. Не зажигая свечи, Лермонтов начал писать карандашом на обертке от табака:

Не смейся над моей пророческой тоскою;  
Я знал: удар судьбы меня не обойдет;  
Я знал, что голова, любимая тобою,  
С твоей груди на плаху перейдет;  
Я говорил тебе: ни счастья, ни славы  
Мне в мире не найти; настанет час кровавый,  
И я паду...

А потом были длинные жаркие месяцы, ветер с невысоких гор под Ставрополем, пахнувший бессмертниками, серебряный венец Кавказских гор, схватки у лесных завалов с чеченцами, визг пуль. Пятигорск, чужие люди, с которыми надо было держать себя, как с друзьями. И снова мимолетный Петербург и Кавказ, желтые вершины Дагестана и тот же любимый и спасительный Пятигорск. Короткий покой, широкие замыслы и стихи, легкие и взлетающие к небу, как облака над вершинами гор. И дуэль. И последнее, что он заметил на земле,—



одновременно с выстрелом Мартынова ему почудился второй выстрел, из кустов под обрывом, над которым он стоял.

Кавказ сотрясаясь от раскатов грома. Лермонтов упал. Тотчас, вся в летнем прозрачном солнце, склонилась над ним Мария Щербатова, и он сказал ей:

— Не плачьте. Я видел смерть. Значит, я буду жить вечно. На мне они не отыграются.

Гром не затихал в теснинах Кавказа. Это было 27 июля 1841 года — сто одиннадцать лет назад.

1952

---

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>К. Паустовский</i> . Несколько отрывочных мыслей (Вместо предисловия) . . . . .	3
------------------------------------------------------------------------------------	---

### СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ

Часть первая . . . . .	17
Часть вторая . . . . .	52
Часть третья . . . . .	91

### ПОВЕСТЬ О ЛЕСАХ

Скрипучие половицы . . . . .	121
Мечтательница . . . . .	137
Разговоры за чайным столом . . . . .	142
Овраги . . . . .	151
Старая яблоня . . . . .	157
Речные фонари . . . . .	162
Дорожная кннга . . . . .	166
«Не боги горшки обжигают» . . . . .	177
Мать и дочь . . . . .	188
Глухомань . . . . .	192
Встречный огонь . . . . .	200
Ровные стружки . . . . .	206
Ленинградские парки . . . . .	212
Встреча с читателем . . . . .	222
Аграфена . . . . .	226
Железное время . . . . .	241
Ожидание . . . . .	249
В тумане спрятанного солнца . . . . .	255
Короткое научное сообщение . . . . .	256
Гонкое дерево . . . . .	265
Кнпрей . . . . .	269
Старые серьги . . . . .	276

## ЗОЛОТАЯ РОЗА

Драгоценная пыль . . . . .	286
Надпись на валуне . . . . .	295
Цветы из стружек . . . . .	302
Первый рассказ . . . . .	305
Молния . . . . .	314
Бунт героев . . . . .	318
История одной повести	
«Планета Марс» . . . . .	322
Ливенские грозы . . . . .	326
Изучение географических карт . . . . .	337
Зарубки на сердце . . . . .	342
Алмазный язык	
Родник в мелколесье . . . . .	351
Язык и природа . . . . .	354
Груды цветов и трав . . . . .	359
Словари . . . . .	364
Случай в магазине Альшванга . . . . .	375
Как будто пустыки . . . . .	380
Старик в стационарном буфете . . . . .	393
Белая ночь . . . . .	398
Животворящее начало . . . . .	405
Ночной дилижанс . . . . .	418
Давно задуманная книга . . . . .	430
Чехов . . . . .	433
Александр Блок . . . . .	438
Ги де Мопассан . . . . .	447
Иван Бунин . . . . .	450
Максим Горький . . . . .	465
Виктор Гюго . . . . .	467
Маленькая роза в петлице (Юрий Олеша) . . . . .	469
Михаил Пришвин . . . . .	476
Александр Грин . . . . .	483
Эдуард Багрицкий . . . . .	485
Искусство видеть мир . . . . .	490
В кузове грузовой машины . . . . .	501
Напутствие самому себе . . . . .	507

## МАЛЕНЬКИЕ ПОВЕСТИ

Судьба Шарля Лонсевиля . . . . .	511
Орест Кипренский . . . . .	558
Исаак Левитан . . . . .	591
Разливы рек . . . . .	611

**Паустовский К.**

- П 21 Северная повесть / Ил. и оф. Б. А. Школьника.—  
М.: Правда, 1989.— 640 с., ил.

В сборник К. Паустовского (1892—1968) «Северная повесть» вошли повести «Золотая роза», рассказывающая о писательском труде; «Повесть о лесах», затрагивающая взаимоотношения человека и природы; исторические повести — «Северная повесть», «Судьба Шарля Лонсевиля», а также жизнеописание людей искусства «Орест Кипренский», «Исаак Левитан», «Разливы рек».

П  $\frac{4702010200-1873}{080(02)-89}$  1873—89

84 Р 7

**Константин Георгиевич ПАУСТОВСКИЙ**

**СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ**

**Редактор**

**Г. Н. Захарова**

**Художественный редактор**

**Р. А. Клочков**

**Технический редактор**

**Т. В. Мешкова**

**ИБ 1873**

---

Дано в набор 24. 06. 88. Подписано к печати 24. 11. 88.  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага книжно-журнальная.  
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.  
Усл. печ. л. 33,60. Усл. кр.-отт. 33,60. Уч.-изд. л. 34,84.  
Тираж 200 000 экз. Заказ № 1817 Цена 3 р. 10 к.

---

Набрано и сматрировано в ордена Ленина и ордена  
Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина  
издательства ЦК КПСС «Правда».  
125865. ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

---

Отпечатано в типографии издательства «Поділля»  
Хмельницкого обкома Компартии Украины,  
г. Хмельницкий, проспект Мира, 59.

